

Л. Б. (2-Р) 7  
С. 006

Владимир  
Олоухин

Владимир  
Олоухин

4

**МОСКВА**  
**«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»**  
**1984**

# ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



МОСКВА  
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА •  
1984

# ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ  
ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРЕКРАСНАЯ АДЫГЕНЕ

ПОВЕСТЬ



**ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ**

ТРЕТЬЯ ОХОТА



ГРИГОРОВЫ ОСТРОВА



ТРАВА



МОСКВА  
•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•  
1984



P2  
C60

Оформление художника  
Д. ШИМИЛИСА

С  $\frac{4702010200-325}{028(01)-84}$  подписное

© Состав, оформление. Издательство «Художественная литература», 1984 г.

ПРЕКРАСНАЯ  
АДЫГЕНЕ



ПОВЕСТЬ

Взойдя на вершину, человек испытывает глубокое удовлетворение не только от тесного общения с нею, но прежде всего от чувства самоутверждения, познания своих физических и моральных сил, познания своей способности к достижению трудной и опасной цели.

*Спутник альпиниста*

Умный в гору не пойдет...

*Популярная песенка*

---

Разорвать кольцо...

Как в берлоге медведь бывает обложен охотниками и собаками, и ружья со всех сторон заранее нацелены в то место, где должна появиться над снегом для посторонних лохматая и злая, а для самого медведя затуманенная сном тяжелая голова, и нет никакой возможности изловчиться и убежать, так и человек бывает обложен обстоятельствами, обязанностями (кругом обязанностей), многолетними привычками и устоявшимся образом жизни.

Сограждане (когда окажешься с ними в купе вагона, например) ужасно любят все разузнать и выспросить. А кто вы такой? Кем работаете? Где работаете? Вынь да положи.

— А я, знаете ли, нигде не работаю. Я надомник.

Озадачивается взгляд согражданина, а тем более согражданки. Они и не верят, и одновременно завертелись в мозгу колесики, захлопали алюминиевые пластинки, как у автоматического справочного бюро, когда хлопают они, прежде чем выскочит нужный город, нужный номер поезда, часы отправления. Но пластинки хлопают холостые, потому что озадаченный собеседник никак не может подобрать подходящую к внешности специальность, которая допускала бы надомничество. Мелькают в мозгу портной и сапожник, ну, может быть, еще скорняк. Однако не похоже на сапожника, да и не стал бы настоящий надомник хвалиться своим надомничеством, обязательно сослался бы на артель, на мастерскую, на ателье.

Но и правда, мое рабочее место — домашний письменный стол. Я сидячий работник умственного труда. За столом я должен проводить большую часть своего времени. Я могу менять обстановку, переезжая из московской квартиры в другой город, в деревню, в санаторий, в Дом творчества, на берег Черного моря «дикарем», но всюду я первым делом ищу удобный письменный стол и раскладываю на нем свои бумаги.

С одной стороны, хорошо, что жизнь пока обходится без верещания будильника, без давки в пиковые часы в автобусе, электричке или метро, без железной бляшки, называемой табельным номером, без косога взгляда недовольного

твоей работой начальника, без сложных отношений с сослуживцами, без премиальных, без графика отпусков.

Но с другой стороны, прибежал бы, протолкавшись сквозь пиковый час, на свое рабочее место, к своему телефону — и можно расслабиться.

Впечатления от вчерашнего футбола, которыми надо обменяться с соседним столом, к месту и вовремя подоспевший анекдот, телефонный звонок, прогулка до туалета, папираса в коридоре на подоконнике... Солдат спит, а служба идет.

Нет, все держится только в твоих руках. Ни начальства, ни подчиненных. Ты сам себе и генерал, и солдат. Сам велишь, сам исполняешь. Никто не спросит, когда ты сел за стол, когда встал. И сел ли ты вообще или пошел прогуляться под мелким дождичком, обдумать сюжет рассказа, найти поворот в статье, поймать необходимую рифму. Кажется бы, вольная воля, райский рай.

Однако запомнилось из биологической книжки опровержение банального представления о птичьей свободе, которая возведена чуть ли не в символ, не в идеал: «Свободен, как птица», «Птичка божия не знает ни заботы, ни труда».

Правда, что птица не знает человеческих — моральных, психологических и государственных — границ. Отсюда, наверное, и сложились представления о птичьей свободе. Между тем у птиц есть свои границы, и всякая птица живет в железных цепях и путах предписанных ей законов, ограничений и необходимостей. Участок обитания строго ограничен фактом обитания вокруг других птиц, не допускающих вторжения со стороны. Трудоемкая необходимость из травинки и прутиков сложить гнездо. Изнурительная необходимость сидеть неподвижно и согревать яйца. Занудная механическая работа по доставке птенцам десятков тысяч червячков, мошек и гусениц. Да и для собственного горения надо поглотить пищи в сутки побольше иногда собственного веса. А затем властная необходимость лететь за три, за семь, за двенадцать тысяч километров, набивая себе под крыльями костяные мозоли.

Я тоже называюсь свободный художник. Людям, связанным в жизни с будильниками, пиковыми автобусами и проходной, моя жизнь (и моих братьев по профессии) представляется, возможно, океаном голубой беззаботности.

Но в сентябре истекает срок сдачи в издательство книги рассказов, а рассказов для книги не хватает и нигде их,

представьте, не возьмешь. Надо их написать. Для этого надо (кроме времени), чтобы они уже были во мне, причем в девятимесячной готовности появления на свет.

Если я не сдам рукопись в издательство в срок, никто мне не сделает выговора, но книга не выйдет в будущем году и вылетит из плана издательства. А если не выйдет книга... Отсутствие в жизненном обиходе табельной доски автоматически сопрягается с отсутствием тех двух дней в каждом месяце (третьего и восемнадцатого, кажется), которые столь популярны среди широкой массы трудящихся.

По той же причине для меня очень важно, чтобы в декабре закончить перевод длинного, с пугающей добро-совестностью написанного романа (шестьсот страниц), а к четвергу надо написать статью для газеты, которую я опометчиво пообещал.

На моем столе лежат также четыре папки — четыре рукописи, присланные одним издательством для отзыва. Авторы этих рукописей — живые люди. Они ждут решения судьбы, и, значит, не следует держать эти рукописи у себя слишком долго. Сначала их надо внимательно прочитать (скажем, по два дня на рукопись), а потом написать развернутые рецензии, затратив на каждую из них по два драгоценных рабочих утра.

Еще восемнадцать папок-рукописей лежат на моем окне, сложенные в четыре стопы. Они присланы не издательством, которое все же заплатит за рецензирование, но по почте самими авторами.

Мне бы, свободному художнику, почитать Уоррена, Саган, новый роман Василия Белова «Капуны», перечитать бы «Бесов» (есть такая потребность), а я открываю папку весом в шесть килограммов под названием «Рябиновые рассветы». Рукописей пока что восемнадцать. Если по четыре дня на каждую рукопись...

В моем столе существует ящик, куда складываются письма, на которые не успел ответить. Их накопилось за месяц семьдесят — восемьдесят штук. Если на каждое письмо по двадцать минут... Но стоп. Телефонный звонок.

— Володенька? Старик Ляшкевич...

То есть, значит, Дмитрий Ефимович Ляшкевич, директор Всесоюзного бюро пропаганды художественной литературы.

— Тюмень и Тобольск. — Говорит Ляшкевич предельно кратко. — Семь дней. Большая бригада. Иностранцы.

Просьба Маркова. Возглавляет Алим Кешоков. В Тобольске открытие памятника Ершову, автору «Конька-Горбунка». Надо произнести речь.

— Дмитрий Ефимович, погибаю, цейтнот. Поверите ли...

— Володенька, дорогой, я все понимаю. Но — Ершов. «Конек-Горбунок». Кому же, как не тебе. Там уж и в газетах объявлено.

— Но ведь с приездом-отъездом десять дней пролетит.

— Что в наше время десять дней! Надо, Володя. Надо.

Нависает декада русской литературы в Грузии. Включен в бригаду. Рукописей на окне становится двадцать три. Они обретают очертания братской могилы. Рукописей на столе (издательских) уже не четыре, а шесть. Писем в ящике стола уже не семьдесят, а сто двадцать. Неудержимо приближаются сентябрь и декабрь. Вот еще одно письмо, открываю. «Союз болгарских писателей хотел бы видеть вас своим гостем сроком на тридцать дней в любое время до конца этого года».

Отрываясь от письменного стола, уезжаешь в редакции газет и журналов, в издательства, на киностудии, в Союз писателей, в Дом литераторов, где сидишь (сидишь), принимая участие в разнообразных обсуждениях и разговорах, иногда требуя и ругаясь, иногда соглашаясь, идя на уступки, выслушивая и доказывая, но всегда торопясь в еще одно похожее место. Эта беготня (за отсутствием слова «ездотня») чаще всего кончается таким разговором:

— Ну ладно, это все хорошо. А где ты сегодня обедаешь?

— Пока не думал. Который час?

— Третий. Пора и подумать.

— Может, объединимся? Ты с колесами?

— Куда?

— Не проблема. Давай позвоним Ивану (Саше, Мише, Толе, Сергею), давно не виделись.

Втроем-вчетвером заходим в заведение — легкие, голодные, жаждущие дружеских бесед. Выходим через два-три часа отягощенные (дружескими беседами), и день, как таковой, полезный рабочий день, можно считать законченным.

Вечера складываются по-разному. Тихих чаепитий, семейных или с привлечением добрых знакомых, как-то нынче не принято, по крайней мере в нашем кругу и на уровне нашего возраста.

Сидеть в театре, сидеть в концертном зале, сидеть в кино, сидеть в гостях, сидеть дома с гостями, сидеть на стадионе, сидеть перед телевизором, сидеть в мастерской знакомого художника, сидеть на банкете, на приеме иностранцев, за шахматной доской, за книгой, на сиденье автомобиля, в кресле самолета, сидеть и сидеть.

Некоторые из моих знакомых ходят, правда, целыми вечерами вокруг бильярдного стола с кием в руках, в облаках табачного дыма, но эта ходьба никаких преимуществ, по-моему, перед сидением не имеет и ничего, кроме одуряющей усталости с дальнейшей потребностью в снотворном, не дает.

Центральный Дом литераторов — великолепная прорва, куда можно ворохами и охапками валить свои вечера. И не попусту. Обсуждение новой прозаической книги, новых стихов поэта, новых пьес, новых песен. Встреча с авиаконструктором Ильюшиным, встреча с академиком Колмогоровым, встреча с министром внутренних дел (проблема преступности и борьба с ней). У нас в гостях канадский ученый (проблема снежного человека). У нас в гостях цыганский театр «Ромэн», у нас в гостях Чарльз Сноу, Джеймс Олдридж (у нас в гостях космонавты, футболисты, кибернетики), у нас просмотр нового фильма, у нас выставка грузинской чеканки, у нас в ресторане свежая вырезка, у нас иногда бывают даже и раки.

В фойе сражаются шахматисты, в буфете шипит кофейный аппарат, в бильярдной стучат шары, в ресторане звенят бокалы, в большом зале — юбилейный вечер, в малом зале — заседание секции. Жизнь кипит, жизнь идет — жизнь проходит.

А что такое вечер, проведенный в Доме литераторов, если он даже — обсуждение книги, просмотр фильма, встреча с генетиками или участниками последних олимпийских игр? Это полная физическая бездеятельность, если не считать за деятельность рукопожатия и жестикуляцию, а также неизбежная, пусть и небольшая, доза какого-нибудь алкогольного напитка. Почему неизбежная? Разболтанность, и не более того. Посидел, послушал, принял участие и немедленно уходи. Как же! Так тебе и удастся уйти, если от каждого столика тянется приятельская рука, чтобы схватить тебя за полу, пока ты проходишь мимо. Да, собственно говоря, и самому перед выходом на мороз почему бы не выпить рюмочку, закусив ее чем-нибудь остреньким, почему бы и не поужинать?



Заканчивается день в надежде на просветленное свежес утра. Нет, пожалуй, надо скорее в Тюмень и Тобольск на открытие памятника Ершову. Сменить обстановку, подальше от редакций, от Дома литераторов, от Дома кино, от всех Домов так называемых смежных искусств.

Но что такое поездка в Тюмень и Тобольск, кроме того, что это — посещения нефтяников, рыбаков, хлеборобов, газопроводчиков, встречи с общественностью города и открытие памятника славному автору «Конька-Горбунка»? Это полная физическая бездеятельность (автомобиль, вертолет, катер), а также неизбежная доза какого-нибудь алкогольного напитка. Так вас и отпустят нефтяники с рыбаками, не угостив со всей сибирской и к тому же северной широтой! Вырвался один раз, поехали с работниками местной газеты ловить стерлядку на Иртыше. Вот подышу свежим воздухом, вот хлебну предутреннего простора, вот проветрюсь на иртышском солнечном ветерке!

Стерлядь доставали из воды, немедленно пластали острым ножом, разрезали вдоль по животу, прорезая до спинной кожи. Потом надрезали частыми поперечными косыми надрезами и на эти надрезы сыпали соль. Через двадцать минут начали есть. Еда называется — сыроежка. Так я и поверю вам, что вы, сидя на берегу у костра, начали вгрызаться в сырую стерлядку, не подержав перед этим стакана, если не для удовольствия, то хотя бы для смелости. И уже поспекает ведро стерляжьей ухи, и перед ухой — как полагается по-русски, и тем более по-сибирски...

Теперь вспомним, что такое декада русской литературы в Грузии (Армении, Таджикистане, Украине). Это литературные вечера-встречи с рабочими металлургического завода, угольной шахты, работницами шелкового комбината... И полная физическая бездеятельность (автомобиль, самолет, пароход), и определенная доза... Впрочем, тут вернее будет сказать — неопределенная доза.

И наконец, что представляет собою поездка за границу, в гости к болгарским (польским, венгерским, датским) писателям, в Англию по приглашению Королевского Британского совета, во Францию или в Швецию по приглашению соответствующего издателя? Что представляют собой все эти поездки, помимо осмотра старинных соборов и музеев современной живописи, древних крепостей и королевских дворцов, помимо посещения университетов, художни-

ков, писателей, магазинов, театров, стадионов, мемориальных домов (скажем, дома Вальтера Скотта в Шотландии), бесчисленных ресторанов и кафе? Это полная физическая бездеятельность (автомобиль, самолет, поезд) и неизбежная, практически ежедневная доза...

Во Франции не обедают без вина. Во всем мире не беседуют друг с другом без сигареты в левой руке и без стакана в правой. Сколько протокольных мест вы посетите за день (газета, телевидение, режиссер театра, мэр городка, известный художник, Общество культурных связей), столько вы и получите чашечек кофе и рюмочек коньяка к нему. Восемь посещений — восемь чашечек. Удобное кресло, сигаретный дымок, доброжелательный, но дежурный разговор, запланированный тем департаментом международных дружественных связей, который осуществляет по отношению к вам французское (румынское, польское, датское, чехословацкое) гостеприимство.

Постепенно накапливаются годы и годы физического бездействия, и, конечно, пятнадцатиминутная утренняя гимнастика, если бы она и была ежедневной, уже не меняла бы плачевного положения дела.

Вот поеду на летнее время к себе в деревню, там возьмусь за себя как следует. И правда, вскочив утром, пробежишься до речки, помашешь руками вверх и в стороны, окунешься в холодную воду. Все это заняло у тебя полчаса.

Потом потянет с севера знобким, обжигающим ветром, прыснет дождь, грязь разведется под ногами. Чтобы идти на речку, надо надевать плащ, резиновые сапоги. Пропустишь одно утро, пропустишь второе, на третье окажется, что вода в реке замутилась после дождей.

Отводишь себе два железных часа для прогулки в дальний лес, для быстрой ходьбы. Не бог весть какая физическая деятельность, но все же рубашка прилипает к лопаткам, и так приятно омыться по пояс, переодеться в сухое. Но приходишь однажды с такой прогулки — и ждет тебя телеграмма, вызывающая в Москву по неотложным литературным делам. А то и просто без телеграммы понадобится съездить во Владимир для ремонта машины, или наступает жара, в которую никак не захочется высовывать нос из прохладного, затененного дома.

В грибную пору двигаешься больше обычного. Приходится даже и нагибаться, но недолго длится активная грибная пора. Да и смешно называть работой, физической нагрузкой неторопливое, лирическое собирание грибов.

Пресловутый бег трусцой, который мог бы быть ежедневным и только в этом случае действительно полезным, почему-то не прививается ко мне, хотя и было несколько добросовестных попыток. Во-первых, и в молодости, в пору физкультурных трусов и маек, в пору кроссов и значков ГТО, я не любил бегать. Легкие начинают распирать от острой боли, во рту накапливается клейкая, горьковатая слюна; вместо спортивной радости испытываешь мучения, которые продолжаются еще с полчаса после того, как дистанция пройдена. Вернуться к ненавистным ощущениям теперь, когда вместо двадцати трех лет тебе сорок восемь, а вместо семидесяти двух килограммов ты вешишь все девяносто, пожалуй, граничило бы с маленьким подвигом. Но попытки, говорю, были.

В Кобулети есть красивая набережная, с одной стороны освещенная синим морем, а с другой затененная узловатыми низкорослыми соснами. Она заасфальтирована, бегать по ней было бы удобно, и около шести часов вечера я побежал. До выбранной глазами отметки и обратно получалось километра два. Для начала достаточно. Мужественно я трусил через недоуменные взгляды грузинских старух в черных одеждах, вылезших на набережную подышать вечерним морем; через понимающие, но иронические взгляды русских отдыхающих, прогуливающих небольшие группками и попарно; через веселые взгляды местных смуглокожих мальчишек, гоняющих по широкой набережной на велосипедах и выполняющих в горизонтальной плоскости что-то вроде фигур высшего пилотажа.

Реплики были самые разные. Что говорили мне вслед старые грузинки, я не знал. Они говорили по-своему. Мальчишки-велосипедисты бросали мне, поравнявшись, что бегать надо утром, а не теперь. Из трех русских женщин, шедших прогулочным рядком, одна, поглядев на меня, насмешливо спросила:

— Ну и что?

— Потом посмотрим, — ответил я ей, но она, наверное, уже не слышала.

— Что это значит? — спросила другая, из другой группы.

— Надо рубашку надевать, — серьезно посоветовал мужчина моих же лет. — Ветерок пойдет с моря, застудишься.

— Жирок растрясает, — пояснил следующий мужчина своим спутникам.

— Эх, родимый... — посочувствовал третий.

Тут я поравнялся с пивным ларьком, и круглолицый и добродушный рязанец или владимирец, с животиком, заметно растягивающим синий тренировочный костюм, и в тапочках на босу ногу, сказал мне, сдувая пену:

— Ну чего мучаешься-то? Остановись, пивка выпьем. У меня и воблинка есть.

Мимо пивного ларька я пробежал аскетически и бегал по набережной еще два раза. Потом приехал из Батуми мой друг, грузинский поэт Фридон Халваши, и увез меня в горную деревню Верхней Аджарии, где ждало нас под чинарой застолье с зеленой фасолью, перемешанной с толчеными орехами (лобио), сыр, запеченный в тесте (хачапури), маринованные баклажаны с орехами, огненные кукурузные лепешки (мчади), свежая брынза, жареные цыплята, острое мясо на сковороде, вороха зелени (кинза, рехан, цицмат, тархун, петрушка), и еще что-то, и еще что-то, и все потонуло в золотистом крестьянском вине типа цоликаури.

После экскурсии в аджарскую деревню два дня я не мог и помыслить о беге трусцой, — как раз вплоть до знаменитого батумского субтропического дождя, который, если начинается, идет беспрерывно две недели.

Этот дождь показал, правда, что старая спортивная армейская закваска еще оставалась у меня. Один только я из всего санатория шел утром на пляж и бросался в море, хотя уже и штормило — расплескивались по берегу белой пеной, примерно так с меня ростом, гладкие и зеленые, как бутылочное стекло, валы. Полчаса я барахтался в пене, плавал под дождем. И это была вся моя физическая деятельность. Немного.

Так накапливались и напластывались годы физического бездействия. Я уж думал иногда, хорошо бы быть каким-нибудь высокопоставленным лицом, премьером маленького государства, что ли, но не ради того, чтобы управлять, а ради того, чтобы можно было распорядиться, и поставили бы мне к определенному часу ежедневные кубометры ровных и колких (лучше всего осиновых) дров. Я бы их щелкал ежедневно до третьего пота.

Смешно! Ежедневной работы захотел. Будто уж нельзя найти, если хочешь, ежедневной физической работы. Но если вникнуть и подойти всерьез, не так просто ее найти. Во-первых, все-таки для здоровья должна быть работа, которая нравится. Я, например, люблю колоть дрова или рубить хворост. Люблю косить траву и метать стога. Мне

нравилось бы чистить и убирать снег (нешто в дворники записаться?), но я органически почему-то не люблю копать землю.

Во-вторых, работа должна быть не во всякое время, а в определенные часы, потому что с утра я должен делать свое основное дело — писать, расставаться с которым я не собираюсь, да и не имею права. В-третьих, работа должна быть под руками, чтобы не ехать за ней через всю Москву. В-четвертых, она должна быть интенсивной, чтобы в короткое время, скажем, за два часа (больше времени не выкроишь в своем рабочем и суматошном дне), получить хорошую нагрузку. А как быть, если (допустим!) такая работа назначена от пяти до семи, а уже в семь я должен быть в Колонном зале Дома союзов на вечере, посвященном столетию со дня рождения Пришвина, или на коктейле в югославском посольстве по случаю приезда в Москву группы югославских писателей?

Я знаю, что в Москве можно, если захочешь, найти себе работу по вкусу, а вернее сказать — любую физическую работу. Но я говорю о том, что ее трудно сочетать с тоже рабочим, но своеобразным днем московского литератора, притом не бездельника, пишущего по наитию три стихотворения в год, а упрямого вола, влекущего за собой вороха исписанной, а более того — исчерканной, изведенной в черновики, но все равно вобравшей в себя и время и труд бумаги.

Спихватившись, оглядываешься назад. Действительно — годы! Сердце, отвыкшее от энергичной ритмичной работы, едва барахтается среди вялых, полусонных внутренностей. Чтобы немного встряхнуть его (как обморочного будят дробью пощечин), вливаешь внутрь чашку горячего крепкого кофе. Начинает там, внутри, просыпаться и шевелиться. Кровь побежала быстрее. В голове тает противная серая вуаль. Мысль проясняется, рука твердеет, появляются слова, сочетания слов, — начинается мой рабочий день.

Но утрачена мышечная радость бытия. Утрачено само ощущение мышц: спины, бицепсов, брюшного пресса, ног. Как сказали бы медики или спортсмены: детренированный организм. Полностью детренированный организм. Невольное резкое движение отзывается болью в сухожилиях или в суставе. После десяти приседаний три дня болят икры и мышцы выше колен. Шестой этаж (испортился лифт) — учащенное дыхание и сердцебиение. От восьмикилограм-

мовой сумки (с базара) за десять минут пути пять раз переменишь руку.

В Туркмении, на Декаде искусств Российской Федерации, мы, писатели, музыканты, киноактеры, оказались на пестром (халаты, тюбетейки, лиловополосатый шелк женских платьев) и шумном (бубны, зурна, человеческий смех) национальном празднике. В песчано-солнечном круге с черными протуберанцами зрительской толпы на поясах боролись туркмены. Праздник был устроен для нас, и один борец стал вызывать в круг кого-нибудь из гостей. На мгновение я почувствовал, как руки наливаются силой и как перекатились мышцы под кожей ног. Я бывал на ковре. Перекидывали меня приемом «через бедро» (турдеган со стойки), перекидывал и я. Соблазн выйти в круг и не посрамить славный отряд столичной интеллигенции был велик. Да и взгляды москвичей (и москвичек) невольно обратились ко мне — обманывали комплекция и пропорции. Туркмен все вызывал, топчась среди круга и взмахивая руками, а я не двигался. Я понял, что через две минуты борьбы превращусь в запыхавшегося, раскрывшего рот и хватающего воздух рохлю, на которого жалко будет смотреть. Детренированный организм.

Утрата ощущения мышц и их силы не есть ли во многом и утрата себя? В здоровом теле — здоровый дух. Я, правда, больше люблю эту истину в вывороченном наизнанку, как овчинная варежка, виде: «Здоровое тело благодаря здоровому духу». Но тогда где же он, этот дух? И где это тело? Сорок восемь лет, почти пятьдесят. Неужели так по инерции и поволоку до конца своих дней девяностокилограммовый мешок с костями и мясом, который будет, вероятно, и еще тяжелесть. Мясо будет все больше дрябнуть, кости скрипеть, сердце трепыхаться, а там пойдут снотворные порошки и пилюли, капли Зеленина, валидол и нитроглицерин, иглока в левой части груди, то тупая, то острая. Потом начнет отдавать под лопатку, под ключицу, запоем печень, появятся всякие камни, частично отключится нога, окостенеет и перестанет прогибаться поясница, помутнеют и заслезятся глаза...

Телефонный звонок остановил работу воображения, которое зашло; может быть, слишком далеко, но в общем-то не вырываясь из сферы реальности.

Позволил мне хороший знакомый, Саша Кузнецов, которого я к моменту звонка не называл еще (как это скоро

произойдет) Александром Александровичем. Поскольку в этой замедленно, но верно развивающейся истории он будет играть едва ли не главную роль, то позволительно представить его, хотя бы кратко.

Он потомок русской фамилии Муравьевых, восходящей одной ветвью к прославленным декабристам, а другой — к менее популярному Муравьеву, возглавлявшему известный карательный поход русских войск. Но, конечно, все это не имеет никакого отношения к тому светловолосому юноше, которого я увидел лет двадцать пять — двадцать шесть назад, когда мы были студентами: я литературного института, а он театрального. Строго говоря, я не был тогда с ним знаком. Но в нашем общежитии у него были друзья, и, значит, визуально мы могли знать друг друга.

Гораздо явственнее я вижу Сашу не у нас в общежитии, а на экране кино. В то время он сыграл уже три роли, в фильмах «Сибиряки», «Зоя» и «В дальнем плавании». «Сибиряков» не помню совсем, в «Зое», хотя была у него и вторая по главности роль, Саша почему-то тоже не запомнился мне. Но фильм «В дальнем плавании», по мотивам Станюковича, я помню отчетливо, и молодой матрос Егорка с вечным синяком под глазом от боцманского кулака (на вопрос капитана — всегда: «Зашибся, ваше благородие») как живой стоит перед моими глазами.

Потом Саша Кузнецов внезапно исчезает из Москвы, пренебрегая хорошо начавшейся дорогой киноактера. Тут есть две версии. Одна из них, более романтическая, включает легочную болезнь и категорический совет врачей («если хотите жить») оставить Москву и переменить климат. Будто бы Саша бросил все, уехал в горы, в Заплийское Алатау, сделался альпинистом, горнолыжником, мастером спорта, защитил кандидатскую диссертацию о птицах Тянь-Шаня и, наконец, стал писать рассказы и повести — и в этом именно качестве вновь всплыл для меня в Москве, потому что его повесть «Сидит и смотрит на огонь» прислала мне на отзыв из издательства «Молодая гвардия».

Вторая версия, более верная и спокойная, но, впрочем, тоже с решительным рывком в нужном месте, гласит, что после окончания вуза Саша получил распределение в Алма-Атинский драматический театр. Оказавшись вблизи гор, он стал приобщаться к охоте, познакомился с альпинистами, понял вкус этого спорта и в один прекрасный день, бросив театр, уехал в горы.

Кроме специальных книг по птицам, рекомендую его

книги «Горы и люди», «Внизу — Сванетия» и «В северном краю». Сейчас он — доцент на кафедре физкультуры Московского института инженеров геодезии, аэрофото-съемки и картографии (бывший Межевой институт). Редкую коллекцию птиц, собранную собственноручно, — около восьмисот штук — он разрознил, подарив большую ее часть Зоологическому музею МГУ, а грифа (размах крыльев 280 см) краеведческому музею города Фрунзе. Увлекается собирательством: старинное оружие и немного иконы. Патологически честен. В Монте-Карло, где он ночевал со спортивной группой после восхождения на Монблан, выбежал утром из отеля на зарядку. Самой удобной для зарядки оказалась площадка, на которой с вечера стояли автомобили, теперь разехавшиеся. В свежем снежке что-то блеснуло. Потянул — бриллиантовое кольцо. Прервав зарядку, побежал и вручил колье портье, которая в шоке не сказала даже «мерси». Однажды при встрече вынул из кармана мелко сложенную газетную вырезку и протянул ее мне со словами:

— Мои друзья альпинисты, уважающие тебя как писателя, просили тебе вернуть.

Еще недоразвернув вырезку, я понял, что это моя статья, написанная по заказу одной газеты, за которую мне стыдно и до сих пор.

Итак, позвонил мой хороший знакомый, Саша Кузнецов, которого я к моменту звонка не называл еще Александром Александровичем. Пустяковое дело (кажется, посмотреть икону, которую ему отказала тетка) мы решили в одну минуту, договорившись, что завтра он заедет ко мне в четвертом часу. Но предтелефонное настроение не совсем еще рассеялось, и я неожиданно для самого себя, как это всегда у меня бывает в переломных и важных моментах жизни, вдруг заговорил в трубку:

— Слушай, Саша, ты все там знаешь, в горах. Нельзя ли устроиться на месяц в какой-нибудь альпинистский лагерь? Но только так, чтобы отдельная комната. Мне все равно, где работать, но там я стал бы совершать прогулки по горным тропам; может быть, удастся порыбачить в горной реке. Хочется переменить обстановку и встряхнуться.

— В каком месяце?

— В июне мне необходимо поехать в свою деревню и во Владимир, в июле — съезд Всероссийского общества по охране памятников архитектуры. Он будет проходить в Ленинграде. Август — это не очень поздно для гор?



— Прекрасное время. А какие горы ты хочешь? Кавказ, Памир, Тянь-Шань? Или, может, Алтай?

— Собственно... мне все равно, лишь бы отдельная комната.

— Хорошо, я свяжусь со своими друзьями, все узнаю и позвоню.

Повторный звонок раздался неожиданно скоро, через пятнадцать минут. Не мог он за это время связаться ни с Памиром, ни с Тянь-Шанем.

— Совсем забыл. Я ведь в самом начале августа увожу в горы группу своих студентов. Они будущие бродяги: топографы, геодезисты. Вся жизнь в экспедициях. Альпинизм у нас вроде зачета. Сначала на уровне значка, потом желающие могут выходить на разряд. Поедем с нами?

Я молчал и дышал в трубку. Саша неожиданно вдохновился:

— Брось ты все, и поедем. Горы! Поживи ими один раз в жизни. Это будет прекрасно. Зайти на вершину и плюнуть на все, что ниже. Один раз можно себе позволить.

— Постой, постой. Какая вершина? Я хочу отдельную комнату и письменный стол. Мне работать надо.

— Хорошо, будешь работать. Будешь самостоятельно гулять. Но все равно вокруг тебя будут горы.

— Пожалуй, ты меня соблазнил. Но ведь теперь только апрель, а вы поедете в августе. Много изменится, подспеют дела.

— У нас ничего не изменится. Мы едем твердо. Разрешите мне в начале августа быть настойчивым.

— Каким образом?

— Приведу своих ребят, свяжем тебя репшнурками и унесем на вокзал.

— Это, пожалуй, слишком. Но мысль ты заронил. Я буду иметь в виду, что в начале августа... Шнуры — это, пожалуй, слишком. Но, правда, прояви некоторую настойчивость, выдерни меня из этой паутины. Пожалуйста!

— До третьего августа! — решительно объявил Саша и, дабы избежать других вариантов, положил трубку.

Но почему все же горы? Почему у кого-нибудь другого из своих знакомых я не попросился в тайгу или на рыболовный сейнер? Или в Беловежскую пущу? Или в иной заповедник, где разъезжали бы с егерем верхом, наблюдая за поведением заповедных зверей? Почему в течение два-

дцати разноцветных лет, сквозь темную лиловую хвою грибного леса, на вечерней глади тихой реки, освещенной кувшинками, на серой, но и розоватой панораме Парижа, на уличном мелькании Москвы, сквозь чередование знакомых лиц и коловращение событий, сквозь обстановку московской квартиры, сквозь бумагу, на которой приходилось писать, сквозь зыбкие волны сна в момент засыпания, проступали иногда наподобие водяного знака белые шатры гор, подкрашенные с одной стороны золотистым цветом, но тем синее с другой, не солнечной стороны? Грохотала река, прыгая по округлым камням. Кромка снега граничила с зеленой травой и цветами. Начинался от этого снега и струился среди цветов ледяной ручей. Серые скалы громоздились одна на другую, и далеко внизу, на дне ущелья, скапливалась вечерняя мгла, в то время как у снегов было еще светло, и только синяя звезда в холодном небе напоминала о том, что и сюда идет ночь.

Двадцать лет назад судьба журналиста занесла меня на два дня на высокие, поднебесные горы Тянь-Шаня. Собственно, был я в горах больше, чем два дня. Но езда в автомобиле, ночевки в киргизских юртах, фотографирование отар и табунов, питье кумыса и поглощение бешбармака, скачки на спортивном празднике, посещение санатория Джеты-Огус, купание в Иссык-Куле, знакомство с городом Пржевальском — все это не были горы в чистом виде, и поэтому я считаю, что горных дней было только два, когда, покойный теперь, старый альпинист Рудольф Павлович Маречек затащил нас с фотокорреспондентом Тункелем к границам снегов. С тех пор отпечатался на листе моей жизни тот самый белоснежный водяной знак, который просвечивал иногда сквозь разноцветные события последующих двадцати лет.

Трудно сказать, почему горы произвели на меня такое неизгладимое впечатление, но я постоянно вспоминал их, не теряя надежды вдохнуть еще раз тот горный воздух, который так сладко, по-раннеапрельски холодит гортань, в то время как губы жжет горячее высокогорное солнце.

Конечно, Маречек провел нас тогда по удобной тропе, и наш поход не имел ничего общего со спортивным альпинистским походом. Но все же шли и карабкались, ночевали около больших камней, жгли костер, видели горных козлов, пили из ручья, гляделись в моренное озерко. По прошествии лет это стало казаться приснившимся, потому что осталось далеко позади и повториться, по всей вероятности,

не могло, как все, что остается позади и только обманывает нас: будто стоит захотеть, протянуть руку, нажать на клавиши — и остановить, переменить вращение бобины, как это делаем мы, когда, манипулируя с магнитофоном, хотим вернуться к началу песни, дослушанной почти до конца.

Как-то июльским вечером, придя домой из очередного выхода в Дом литераторов, я нашел у себя странные вещи. Тяжелые ботинки, сплошь окованные снизу шиповатым железом. Еще одни длинные игольчатые шипы с ремнями, как видно, для того, чтобы их привязывать к ботинкам, когда собственных ботиночных шипов окажется недостаточно. Предмет, похожий на кирку, но более изящный и легкий. Память подсказала, что, кажется, он называется ледорубом. Спальный мешок. Белый полотняный мешок, похожий на саван. Не трудно было догадаться, что он вкладывается в спальный мешок вместо простыни. Широкий брезентовый ремень с пряжкой, а в него, как в баранку, продет еще один брезентовый ремень, сплошной и без пряжки. Моток шнура толщиной с карандаш. Большой и тяжелый моток веревки. Металлическая штуковина, похожая на деформированную букву «о», размером — положить на ладонь. Брезентовые штаны, брезентовая куртка и брезентовые рукавицы. Короткая записка, лежащая тут же, гласила: «Отъезд в понедельник. Нужны еще: шерстяная шапочка типа лыжной, темные очки (обязательно!), свитер (чем теплее, тем лучше), кеды, потник (нательная рубашка, которую снимаешь после занятий). Желательно иметь тренировочный костюм, куртку, более теплую, чем свитер, варежки, шорты. Идеально: достать пуховую куртку. Бывают такие, на гагачьем пуху. У альпинистов называются «пуховками». Назначение оставленного мною снаряжения поймешь в процессе занятий. С приветом. Саша».

Скорее набрал Сашин номер, чтобы мне разъяснили, что все это значит.

— Это я взял для тебя у нас в «Эдельвейсе». Есть такая спортивная база. Нет, ты, конечно, будешь жить в отдельной комнате, я уже договорился с начальником лагеря. Но вдруг тебе захочется прогуляться с нами, размяться, полазать по скалам, сходить на ледник, взойти на вершину... Это очень полезно. Гарантирую тебе четыре-пять килограммов и три-четыре года жизни.

Надо было понимать, что килограммы убавятся, а жизнь продлится. И то и другое вообще-то меня устраивало, тем

более при твердой гарантии, но все же я высказал Саше некоторые мои опасения, которые он поочередно опровергал.

— Я совершенно детренирован. Дыхание, сердце...

— Втянешься. Не сразу же — восхождение. Нагрузка будет увеличиваться постепенно.

— Но мне уже сорок восемь. В то время как твоим студентам по двадцать.

— Мне тоже сорок семь.

— Ты мастер спорта. Разве можно нас сравнивать?

— Ничего. Я думаю, ты потянешь. Все будет прекрасно. Впрочем, если захочешь. А комната тебе уже обещана.

— Там есть удобства? Умывальник, горячая вода, туалет? Знаешь, с годами вырабатываются привычки...

После этого вопроса Саша долго молчал. Я уж подумал, что Саша отошел от трубки — скажем, кто-то позвонил в дверь, — но, справившись со своим замешательством, он наконец ответил:

— Если ты действительно хочешь пожить горами, то заранее примиришься с некоторыми неудобствами, вернее, с отсутствием некоторых удобств. Теплого клозета не будет. Умываться будешь в ручье. Ну и вообще... Горы есть горы.

— А ручей, значит, будет?

— Да, будет прекрасный ручей с ледниковой водой.

— И река?

— И замечательная река.

— Грохочет по круглым камням?

— Грохочет по круглым камням.

— И вблизи будет снег?

— Ослепительный снег.

— Я чувствую, если я сейчас не поддамся твоим усилиям затащить меня на гору, то никогда этого не случится.

— Да, это твой последний шанс. Надо решаться. Разорвать паутину.

— Разорвать кольцо.

— Это мечта — взойти на вершину и оглядеться вокруг.

— Это хрустальная мечта. Так говоришь, отъезд в понедельник?

— Поездом. Но ты, если не хочешь трястись, можешь прилететь самолетом. Я тебя встречу. Но не позже четверга. В этот же день мы уедем в лагерь.

— А куда лететь?

— Вот так раз! Во Фрунзе, конечно. Пять с половиной часов беспосадочного полета — и ты во Фрунзе. В сущности, очень близко.

В разговорах с другими людьми я все чаще стал употреблять слово «горы». Люди же при упоминании о горах непременно произносили слово «сердце».

— Никуда не собираешься в ближайшее время из Москвы?

— Собираюсь. Я еду в горы. В альпинистский лагерь. Надеюсь совершить восхождение на вершину.

— А сердце?

— Что сердце?

— Как у тебя с сердцем? Опасную ты затеваешь игру. В нашем возрасте с сердцем шутки плохи.

— Хочу попробовать. Если я не способен взойти на вершину, то куда я гожусь?

— Но все же рисковать ради нелепой вершины! Сердце...

— Туда, значит, мне и дорога.

Варианты разговоров в конце концов сводились к одному:

— В августе, наверно, займешься грибами?

— Нет, уезжаю в горы.

— В какие горы, зачем?

— Тянь-Шань. В переводе на русский язык — «Небесные горы».

— Наверно, в санаторий, где пьют кумыс?

— Нет. Хочу взойти на вершину.

— Ты разве альпинист?

— В том-то и дело, что нет. Но, говорят, этому можно научиться.

— С ума сошел! Всяким спортом занимаются в молодости.

— Я не собираюсь ставить рекорды и добиваться разряда. Мне бы только одну вершину.

— Зачем?

— Хочется. И потом, если я не смогу взойти на вершину сейчас, в этом году, то, наверно, не смогу сделать этого никогда.

В Ленинграде я оказался в гостях у моего друга, художника Евгения Мальцева. Пили, ели, вели разговоры.

Дошла очередь до моих предстоящих гор. Брат художника Виктор, крупный инженер, постарше нас с Женей лет на пять, начал горячиться и спорить.

— Ни в коем случае восхождения тебе делать нельзя. Ничего, кроме инфаркта, не добьешься. Я знаю, что говорю. Когда ты поднимался в горы последний раз?

— Двадцать лет назад.

— Высоко?

— Не знаю. Что-нибудь около трех километров.

— Считай, что ты вообще никогда не поднимался. А сколько раз ты приседаешь на одной ноге? Давай выходи на середину комнаты. Давай одну ногу выбрасывай и вытягивай вперед, а на другой опускайся, приседай. Ниже, ниже...

Я когда-то умел это делать. Но теперь равновесие потерялось, и я оказался сидящим на полу в самом грустном, нелепом положении.

— Ну вот, — торжествовал Виктор Мальцев. — Нужно для начала присесть на каждой ноге не меньше восьми раз. Альпинисту требуются сильные ноги. А сколько метров ты пролезаешь по канату на одних руках?

— Не знаю. Я давно не лазил.

— Как давно?

— Лет двадцать пять или тридцать.

Виктор обвел всех победоносным взглядом.

— И он собирается покорять вершину! А сердце?

— Что сердце?

— Когда ты его проверял на выносливость? Сколько километров ты можешь бежать в хорошем темпе — три, пять, десять? Какой у тебя потолок?

— Какой еще потолок?

— У каждого альпиниста есть свой потолок, выше которого ему ходить нельзя. Иначе — сердечная недостаточность и обратный путь на носилках. Ты знаешь свой потолок? А лет тебе, может, двадцать или двадцать четыре?

Вдохновившись моим молчанием, моей опущенной (по упрямо опущенной) головой, а также одобрительным роком гостей, Виктор вскочил на стул, схватил фломастер, подвернувшийся под руку, и на чистой стене горячно, повторяя вслух каждое слово, стал писать.

Должен сказать, что в этой надписи (не знаю, цела ли она до сих пор) содержится очевидная переоценка значения рвущегося на гору литератора, так что как-то нескромно даже списывать ее со стены. Но, во-первых, она не

придумана, и исказать ее я не могу. Во-вторых, это оценка не литературоведа, а, прямо скажем, приятеля. В-третьих, она сделана уже в конце вечера, а это имеет некоторое значение. И в-четвертых, Виктор мог пойти на эту переоценку сознательно. Ведь ему важно было убедить меня и остановить от безрассудного, как ему казалось, поступка. Как бы то ни было, вот она, эта надпись: «Солоухина мы любим. Терять его мы не хотим. Идти на гору ему категорически запрещаем. От имени гостей и всех читателей...» Тут фломастер сломался от усердия пишущего, и подписи не получилось.

Между прочим, с той же чистосердечностью, с какой писались слова на стене, и с той же, можно сказать, любовью Виктор восклицал вчера, когда видел, что я ставлю на стол невыпитую рюмку:

— Нехорошо, нехорошо, надо выпить до дна!

Но надпись, которой я был тогда до слез растроган, можно теперь стереть, потому что я пишу эти строки не на высоких горах, а на нулевой отметке, в ста шагах от морского прибоя, и батумский тропический дождь барабанит за моим окном по широким и ярким магнолиевым, лавровишневым и банановым листьям.

Начало августа катастрофически надвигалось. Тут возникло новое обстоятельство, а вместе с ним еще одно действующее лицо, без которого теперь, задним числом, нельзя уже и представить себе нашу маленькую альпинистскую одиссею. Дверь кабинета распахнулась, на пороге я увидел свою дочь Олю (неполных шестнадцать лет, перешла в девятый класс специальной экспериментальной школы № 7), а в глазах у нее увидел отчаянную решимость:

— Папа, ты едешь в горы? Я поеду с тобой.

Должен объяснить теперь, почему я не мог отказать Оле, и заодно обрисовать этого ребенка, как она сама любит называть себя. «Папа, твой ребенок завтра получит двойку». Хотя дальнейшие события показали, что в момент стояния Оли на пороге моего кабинета я совсем не знал своей дочери, чтобы иметь право ее обрисовывать. Оправдывает меня лишь то, что она и сама в то время еще не знала себя.

В пять часов утра в нашем доме начинает греметь будильник. Это Ольга встает доучивать уроки, которые не

успела доучить вчера вечером. Она отрывается от сладкого сна, когда все еще спят, и успевает выпить чашечку кофе. Вскоре из ее комнаты доносятся разные английские слова, которые она учит вслух. Уже в третьем классе мы заметили за ней эту особенность — учить уроки фанатично, до самозабвения, до истощения сил.

Сначала я ей говорил шутя:

— Оля, ты опять учишь уроки? Ну-ка хватит, иди гуляй! И вообще учись немножко похуже. Четверочка, троечка — и прекрасно.

— Папа, — смеялась Оля, — ну какие родители внушают своим детям, чтобы они учились похуже?! Услышала бы тебя моя учительница.

Но и напряженных уроков ей казалось мало. Совет пионерской дружины, уроки музыки, фигурного катания, школа современного танца, проглатывание книг, все более серьезных и сложных (читает она новым методом, в несколько раз быстрее своего консервативного отца), театр, концертные залы и опять уроки, уроки с ежедневным будильником, повышенная изнурительная программа специальной экспериментальной школы — все это не могло кончиться добром. Вскоре начались тревожные признаки. Сначала частые головные боли, потом иногда головокружения, потом однажды — глубокий обморок. Это могло быть явлением переходного возраста, могло быть истощением нервной системы, могло быть чем-нибудь и похуже. Знаменитый профессор, консилиум, энцефалограмма. Но четкого диагноза так и не получилось.

— Посмотрим, что будет дальше, — сказал профессор. — Не случится ли нового головокружения. Пусть избегает мест, откуда можно упасть. Освобождение от физкультуры.

— Можно ли увезти ее на зимние каникулы в Кисловодск?

— Ни в коем случае. Перепад высоты на несколько сот метров. Ни в коем случае. И потом, не может быть и речи о самолете.

Некоторое время она глушила какие-то таблетки, но вскоре стало заметно, что от этих таблеток слабеет память. Властью, данной мне богом, я велел весь запас таблеток, рассчитанный на три, кажется, года, выбросить в фаянсовое округлое вместилище, имеющееся в нашей квартире. Воду, для гарантии, я спустил сам. Остальную часть таблеток, хранящуюся в деревне, Оля предала публичному



сожжению на костре, при восторженном содействии олепинской детворы.

Но становиться на табуретку, чтобы достать, скажем, книгу с полки, все равно считалось недопустимым и опасным. Освобождение от физкультуры оставалось в силе. Правда, уроки музыки Оле удалось отстоять, и еще не могли мы справиться с ее ранним будильником.

Возвратных явлений как будто не было, но утомление наступало быстро. А то, что приучаться к кофе в ее возрасте нежелательно, она понимала и сама, хотя этот напиток успел сделаться для нее любимым. В довершение всего в мае (а дело идет, как помните, к началу августа) ей в больнице № 52 вырезали вялый, застарелый, двухгодичной будто бы давности, весь в сложных и болезненных спайках аппендицит.

Было в этой истории для меня несколько психологических моментов, которые невозможно забыть. Ее увезли ночью, а утром я, естественно, пошел узнавать о результатах операции. У сестры, дежурной по этажу, я спросил, где находится такая-то, поступившая ночью.

— Ее оперировали, — беззаботно ответила сестра, — пойдемте, я ее вам покажу.

Подойдя к нужной палате, сестра открыла дверь, и я вошел. На койке увидел неподвижно лежащую, изможденную страданием девушку, в которой нельзя уже было узнать нашей Оли.

— Оля, — выговорил я, весь холодея, — что они с тобой сделали? Да, может, это не ты?

Больная пошевелила губами и прошептала:

— Не я.

Я выскочил из палаты, пошел по коридору и в конце его, около большого окна, увидел свою дочь, как бы воскресшую, весело щебечущую с другой больной ее возраста.

Сестра перепутала. Операции не было ни в этот день, ни в последующие несколько дней. Познакомившись с историей болезни, врачи усомнились в диагнозе, начались новые исследования, доисследования. Однако на всякий случай с меня взяли подписку, что я, как отец, согласен на операцию. Не дай вам бог ставить свою подпись при таких обстоятельствах и такого значения.

Прошла неделя. Поговаривали о том, что Олю выпишут. И вдруг ее все же положили на операционный стол. Мы узнали об этом, что называется, после факта. На всякий ли случай распотрошили девчонку, действительно ли там был

вялый, двухгодичной давности, весь в сложных и болезненных спайках аппендицит, мы об этом уже не узнаем. Вырезали, и слава богу. Но случай, как видно, и правда был не простой и доставил врачам много хлопот.

Когда я принес хирургу (Иде Львовне) охапку белых и красных роз и, не застав ее в кабинете, положил розы на стол, а сам пошел искать ее по палатам и когда я безмолвно стал на пороге палаты, а Ида Львовна подняла на меня глаза, то я увидел, как побледнела хирург и схватилась за спинку стула.

— Что-нибудь произошло?

— Розы... Мы вам так благодарны.

Впереди лежало и тонуло в золотистой дымке зеленое каникулярное лето. Все, что я обещал своей дочери в предыдущие годы, после того как заглянул в черную бездну, пошло напертываться одно за другим: Ленинград, Псков, Печорский монастырь, Михайловское, Тригорское, Святые Горы, Рижское взморье. Предполагалось, что август она проведет в деревне, дабы улеглись и усвоились впечатления от поездок. Но вот она стоит на пороге и произносит с решительностью в глазах: «Папа, ты едешь в горы? Я поеду с тобой».

По пути на аэродром Ольга получила от матери последние наставления. Часть наставлений перепала и мне.

— Ты помнишь, что больше двух килограммов ей поднимать нельзя? Помнишь? Два килограмма. Понял? Запомнил? А ты, Оля, помнишь, что гулять только по ровному месту? Пусть папа, если хочет, гуляет и по крутым тропинкам. Всегда найдется для тебя ровное место. Одевайся получше. Нарядные кофты на дне чемодана. А главное — не слушайся папу, не ходи в горы. Помни, от движения в гору напрягаются мышцы живота, может разойтись кишечный шов. И больше двух килограммов поднимать нельзя.

Уже металлическая изгородь отделила провожающих и отлетающих, уже мы удаляемся в сторону самолета, оборачиваемся и машем руками. Расстояние увеличивается. Жена сжевила рупором ладони около губ и что-то кричит нам вслед. Мы скорее догадываемся, чем слышим.

— Два килограмма, помни! — Она показывает издали два растопыренных пальца. — Два! Оля, не слушайся папу. Не слушайся папу, поняла?

С этим напутствием мы отрываемся от земли. Я откидываюсь в кресле, потому что полет для меня — сотый или

двухсотый, а Оля жадно прилипает к иллюминатору, потому что все это для нее впервые в жизни.

...Через пять с половиной часов (Оля: «А сколько меня пугали самолетом!») мы едем с аэродрома во Фрунзе. Саша Кузнецов несколько смущен тем, что я прилетел не один. Он пристрастно расспрашивает Олю о ее физических возможностях, о ее «прошлом».

— Физкультурой занимаешься регулярно?

— Я освобождена.

— В туристских походах не бывала?

— Только в автобусе.

— Высоты не боишься? Приходилось ли залезать на высокие деревья, подходить к краю крыши? Подниматься по пожарной лестнице?

— Как папа говорит, выше табуретки я никогда не поднималась.

Саша задумчиво смотрит на ее раскрасневшееся лицо. Что-то соображает. Принимает какое-то решение. Потом дотрагивается до Олиной руки и облегченно и весело обещает:

— Ну ничего, успокойся. Я из тебя сделаю человека.

В тот далекий двухдневный проблеск, когда я впервые приобщился к горам, днем светило солнце, а ночью луна. Снега, к которым мы подошли тогда совсем близко, днем слепили глаза нестерпимой белизной, а ночью зеленовато горели, как бы погруженные на дно океана, заполненного вместо воды несколько более прозрачным, чем вода, лунным светом.

Я понимал, уезжая тогда из гор, что бывают в горах и снег, и дожди, и туманы, и снежные бури. Но как отпечатались они просветленными и сияющими, так и жили во мне, и никак я не мог их представить себе иными.

Не зная, как расположен лагерь, в который едем, из каких он состоит домов и строений, какая его окружает панорама, я ждал, однако, встречи с такими же самыми, запомнившимися картинами гор, и оттого, что увижу их очень скоро, уже сегодня, оттого, что покажу их также и Оле, было радостно, и нетерпение охватывало меня.

Автобус, арендованный Сашей Кузнецовым на фрунзенской спортивной базе, оказался заполненным от пола до потолка наполовину рюкзаками, наполовину студентами. Я сроду не видел таких огромных, таких раздувшихся рюкзаков. Что касается юношей и девушек, то при первом взгляде на них, как это всегда бывает, они не распались

еще на отдельных, не похожих друг на друга Лену, Лиду, Галю, Олю, Тамару, Игоря, Володю, Илью, Виталия, Колю, но воспринялись все вместе как нечто молодое, загорелое, румяно-бородатое, одетое в дешевую и невзрачную спортивную одежку.

Саша объявил, когда мы втиснулись в автобус через переднюю дверь и оказались лицом к этому обобщенному нашим первым разбежавшимся взглядом многоглазому и улыбающемуся лицу:

— Вот, ребята, это Владимир Алексеевич, о котором я вам говорил. А это его дочь Оля. Они будут жить и заниматься вместе с нами! Поехали!

Старый, еще с обособленной, выдающейся вперед моторной частью автобус преодолевал сорок километров два с половиной часа не только потому, что он был малосилен и перегружен, но и потому, что дорога оказалась крутой. Фрунзе, как известно, расположен на высоте от 600 до 800 метров над уровнем моря (он лежит на наклонной плоскости), а лагерь «Алаарча» — на 2100 метров.

Во Фрунзе стояла летняя жара, и все мы были одеты соответственно лету, однако уже через полчаса пути воздух заметно похолодал, а дорога оказалась мокрой от недавно прошедшего дождя. Еще через полчаса на крышу автобуса кто-то бросил гигантскую пригоршню воды, по стеклам потекло, впереди нас все замутилось, горы завалило клочьями серой ваты — мы въехали в крупный и холодный устойчивый дождь. У переднего стекла водителя, снаружи, но шкалой к нам, был прикреплен градусник. Красная ниточка, дремавшая во Фрунзе на двадцати пяти, медленно, но верно поползла вниз по мере того, как автобус тоже медленно, но верно лез вверх. И хотя в автобусе было все еще относительно тепло, красная ниточка миновала отметку десять градусов. Я думал, что это будет предел ее опускания, но дорога все поднимала нас, дождь все шел, и, когда мы въехали в сваренные из железных трубок ворота лагеря, всего тепла на улице, при сильном дожде, едва набралось пять градусов.

С первых минут я оказался обманутым в своих надеждах. Так, может быть, человек, уехав в детстве из родного деревенского дома, вспоминает его и видит во сне сложенным из солнечных бревен, просторным, прекрасным теремом, а, возвратившись под старость, находит осевшую, грязную темную халупу, а то и вовсе кучу гнилушек.

И вокруг нас, и сверху нас была все та же серая, темно-

серая вата, а под ногами лужи воды и грязь; грязи не было только на той, тоже, кстати, серой, бетонированной площадке, на которой остановился автобус. Корявая елка стояла неподалеку, с привязанным к ее толстой ветви баллоном из-под газа, игравшим здесь, как видно, роль сигнального рельса, в который бьют теперь везде по широкой Руси за упразднением колоколов.

Наша сиротливость под дождем подчеркивалась не столько рюкзаками, вытасченными под дождь, и тем, что мы сразу все съезжились, но тем, что автобус, высадив нас, поспешно развернулся, миновал ворота, облегченно и резко покатиł вниз.

Не время разглагольствовать под дождем, но необходимо теперь же объяснить, на каких правах прибыл наш отряд в «Алаарчу» и почему, не имея к лагерю никакого отношения, мы все же приехали сюда и высадились в самом его центре на бетонированной площадке.

Саша Кузнецов зимовал в этом ущелье, когда не было здесь ни двухэтажного деревянного дома, ни двух рядов стандартных палаток, ни домика начальника лагеря, ни медицинского пункта, ни бухгалтерии, ни прачечной, ни душевой, ни финской бани, ни склада, ни некоторых других построек, но стоял единственный домик, который совмещал в себе все перечисленное.

Горные козлы бродили вокруг, словно домашние козы. Антилопы спускались с гор в это ущелье. Недостатка в мясе не испытывали ни зимовщики (Саша с женой), ни огромный и свирепый беркут, которого Саша пытался приручить и сделать охотником. Позже, когда образовался лагерь «Алаарча», Саша работал в нем начальником учебной части. На правах ветерана он и привез сюда свою группу, но не с тем, однако, чтобы влиться в лагерь со всеми вытекающими из этого обязанностями и правами, но с тем, чтоб расположиться поблизости (в трехстах шагах) самостоятельным палаточным бивуаком, с самостоятельным распорядком, самостоятельной программой, самостоятельным питанием. Договорились заранее, что лагерь берет нас под свое крыло только в рассуждении медицины и спасательной службы. Ну, еще душ иногда, ну, еще свободное хождение по территории, ну, еще посещение клуба с двумя столами (бильярдным и для пинг-понга), а также со шкафом, в котором наберется сотня книг: Либединский, Сейфуллина, Сабит Муканов, Серебрякова, Караваева, Ольга Форш...

— Разобрать рюкзаки!

Я отвел Олю в сторону пошущукаться.

— У нас на двоих есть одна комната в том деревянном доме и один спальный мешок. Нелепо тебе в такой дождь и в такой холод спать в мешке на сырой земле. Значит, давай пока устроимся в моей комнате, а завтра посмотрим, попросим у начальника лагеря еще одну комнату.

— Нет. Если я хоть на одну ночь оторвусь от девочек, я буду для них чужая на все это время. Что бы ни было, я буду делать все, что они, и жить вместе с ними. Если они могут — значит, смогу и я.

— Они все лето жили в полевых условиях, в палатках, на практике. Они ко всему привыкли. А ты из-под московского одеяла.

— Когда-нибудь надо привыкать.

— Пошли! — тихо скомандовал Саша.

Мимо прозрачного озера, которое среди лагерных построек выглядело скорее прудиком, мы пошли по мокрым кустам, с камня на камень перепрыгнули ручеек, по редко положенным камням перебрались через болотце, перешагнули еще один ручей и вышли на поляну среди кустов и деревьев. В десяти шагах грохотала река, несущая под крутой уклон беловатую, словно подбеленную молоком, но отнюдь не грязную воду. Сразу же за рекой, от самой воды, поднимались скалистые горы, так что взгляд не мог брать вдаль и вширь, но только вверх, цепляясь за кусты, нависшие камни, скальные выходы, пока не добирался до гребня, очерченного ломаной линией, и там должно бы начинаться синее небо, но теперь висела серая мгла.

Саша отдавал деловые распоряжения:

— Прежде чем ставить палатку, набросайте на это место веток арчи. Матраца они не заменят, но все же будет теплее... Николай, Игорь, Илья, из больших камней нужно сложить очаг. Дрова собирать сейчас поздно, они к тому же сырые. Володя и Виталий, разводите примуса, воду брать из ручья.

Ночью я проспался, как от толчка. От внутреннего толчка. За окном хлестал дождь. С вечера я оставил окно открытым — ради свежего (горного!) воздуха. И теперь моя отдельная, но крохотная — не семи ли метровая? — комнатка вполне сравнялась с пятиградусной уличной стужей.

— Что же я наделал? — спросил я сам себя вслух. — Совершенно неприспособленному ребенку разрешил спать

в такую ночь на сырой земле в ватном (а бывают пуховые) спальном мешке. Их там, правда, в палатке пять девчонок, улегшихся тесно одна к другой. С боков будет не холодно. Но снизу! Человек ли — крупица тепла — нагреет под собой влажную землю, земля ли пронизет своим холодом и остудит эту крупицу?

С вечера я успел — при помощи Саши, конечно, — позаимствовать у альпинистов кусок поролона, довольно толстый, завернутый в целлофан. Без целлофана, мне объяснили, поролон напитывается от сырой земли влагой. Но кусок оказался квадратным — для сидячего холодного ночлега. Так что, будучи подложенным под спальный мешок, он мог предохранить от ледящей земли только часть тела. Конечно, в свитере, в джинсах и в теплых носках забралась Оля в спальный мешок, но все равно! Все равно! И каково завтра утром ей, продрогшей за ночь, вылезать из мешка на холод и дождь?

Чтобы отвлечься от тревоги, я начал вслушиваться в законный шум, стараясь отделить в нем отдаленный шум реки от близкого шума дождя о землю, от еще более близкого шума дождя о крышу и от еще более близкого шума водосточной трубы. Дремота временами одолевала меня, но, едва забывшись, я вздрагивал снова, и снова сжимающая, спазматическая волна непоправимого прокатывалась по мне. Впрочем, когда перестал шуметь дождь, я не слышал.

Условились, что я буду вставать в семь часов (общелагерный подъем — в восемь) и бежать в наш маленький лагерь, для которого Александр Александрович назначил свой распорядок дня, с подъемом в семь. Я должен был успевать на зарядку. Затем — умывание в ручье, завтрак и выход на занятие.

Сначала решили, что я буду питаться в лагерной столовой и вообще чувствовать себя независимым человеком и лишь иногда, по желанию присоединяться к молодежной Сашиней группе. Но уже установилось ясно для меня, что есть только два пути: либо присоединиться как следует, либо не присоединяться совсем и не путаться у них под ногами и в этом случае выбросить из головы мысль о восхождении на вершину.

Уже с утра вступали в противоречие два распорядка дня. Отряд при ранних подъеме и завтраке мог идти заниматься в половине девятого, а в лагере только в девять

часов стучали молотком по газовому баллону, приглашая на завтрак. К тому же гонг, как правило, задерживался на десять — двадцать минут. Значит, поневоле завтракать я должен был с ребятами на бивуаке, у костра, из ведра.

Все это выяснилось днем позже, а пока я вскочил ровно в семь часов, выглянул в окно и зажмурился от чистого и ярко-синего неба, в котором еще плавала одна истончившаяся от рассвета, прозрачная звездочка. О дожде не было и помина. Коричневые скалистые горы, явственные и словно приближенные благодаря особенной чистоте мало того что горного, но еще и утреннего, но еще и промытого ночным дождем воздуха, загораживали нижние две трети неба. Прямо против моего окна эти коричневые явственные горы немного расступились, как театральный занавес, открытый в середине сцены, ну, скажем, на три метра, и показывали мне в глубине сцены белоснежную вершину с округлой шапкой. Эта вершина уже видела со своей высоты солнца, наверное, только что показавшееся вдалеке над ровным земным горизонтом. Левая половина ее желтела и розовела, в то время как скалистые горы пребывали в тени. Тем более сумрачно и холодно было у нас в ущелье. Потом окажется, что солнце к нам приходит около десяти часов. Тогда можно снимать длинные брюки от тренировочного костюма и надевать шорты.

Светлое утро немного развеяло мои ночные тревоги, но все же, подходя к бивуаку, я вспомнил все свои страхи и опасения. Издали, сквозь прогалины в кустах и деревьях, стал я вглядываться в сторону бивуака и тотчас заметил там признаки жизни. Над очагом поднимался дымок. Голоса. Смех. Переливчатый свисток. Наподобие милицейского.

В двадцати шагах от палаток, на поляне, ограниченной с трех сторон кустарником, а с одной стороны горной рекой, начинающие альпинисты занимались зарядкой. Впрочем, это меньше всего походило на обыкновенную утреннюю гимнастику. Валерий Георгиевич Лунычкин, заместитель Саши по физической подготовке, заставлял одних стоять широко расставив ноги, а других меж этих расставленных ног проныривать. Потом была чехарда, потом он связал им всем ноги репшнурами и так заставил играть в мяч. Ребята скакали по поляне, как стреноженные лошади, падали, хохотали. В такой суматохе я не сразу отыскал глазами Олю, которая тоже прыгала и бегала, как и все.

В стороне, около самой реки, а вернее даже, на безводной части ее каменистого русла, Саша занимался настоя-



щей зарядкой, и я присоединился к нему. В дальнейшем у нас появилось совместное упражнение. Мы становились друг против друга на некотором расстоянии и брали увесистый валун сплюсненной формы. Этот валун мы кидали друг другу. Но так как просто поймать и удержать тяжелый камень нельзя, то, схватив его на лету и сильно согнувшись, приходилось пускать камень вниз, между расставленными ногами, и затормаживать постепенно. То же самое делал партнер. Получалось, что камень летал по амплитуде маятника. Прекрасное упражнение и для рук, и для спины, и для брюшного пресса. Можно и одному заниматься с камнем подобным образом, то распрямляясь и поднимая его над головой на вытянутых руках, то сгибаясь, пуская его по дуге между ногами. При этом он заставит вас согнуться не так, как вы согнулись бы без него. Он будет сжимать, скручивать вас, как пружину, и, как пружину же, растягивать, взлетая вверх, когда вы закидываете его за голову, сильно прогибаясь в пояснице. Все тело выпрямлено и натянуто как струна. Вам не видно себя со стороны — ни живота, растянутого излишней едой и излишним питьем, ни общего жирка, обволакивающего мышцы предательской оболочкой. По ощущению же вы покажетесь себе стройным и сильным, состоящим из одних мышц, которые радостно подчиняются вам и начинают приятно ныть от разогревающей их неожиданной, давно забытой нагрузки. Разве вот дыхание и сердце напомнят, что вовсе вы не струна и не четко работающая система мышц, но система костная, заржавевшая, скрипящая. Одни узлы у нее развинтились, разболтались, другие застарели, с большим трудом и вот именно со скрипом сдвигаются с места и проворачиваются. Камень вверх, камень вниз. Саша бросает — я ловлю. Завтра можно взять камень еще тяжелее. Камень вверх, камень вниз. Делается тепло. Дыхание выравнивается. Саша отбрасывает камень в сторону. Стоп. На сегодня хватит.

— Раздеться до пояса, умыться! — слышу я на поляне команду Лунычкина.

Светлая струя ручейковой воды раздваивается перед большим валуном и обтекает его с двух сторон, заполняя ею же самой промытую ямку. Вода так светла, что ее как бы нет. Из ямки я зачерпываю горсть светлой воды и выливаю ее себе на левое разгоряченное разминкой плечо. Вода льется вниз по руке и обжигает ее как кипятком. Тогда я беру еще горсть воды, прищелпываю ее около запястья

и быстрым движением препровожаю вверх к плечу. Руке становится все лучше и радостнее в струях светлой воды. Черпаю левой рукой и омываю правую. От плеча и до кисти, от запястья и до плеча. В двух пригоршнях светлую воду я поднимаю до уровня горла и быстро прилепываю ее к груди. Кряканье и восторженные возгласы раздаются справа и слева. Громче всех, пожалуй, крякаю я сам. Еще. Вот так. Теперь горсть воды перекинуть через плечо, чтобы она потекла по левой лопатке. Так. Достать поясницу. Светлая ледяная вода. «Будет ли умывальник?» — спрашивал я у Саши. Неужели я спрашивал, будет ли умывальник?

От тела курится парок, потому что солнце еще не пришло в наше ущелье и мокрая кожа (что естественно) горяча по сравнению с окружающим ее воздухом. Так. Растереться. Надеть сухую рубашку. Таких утр будет двадцать. Всего лишь двадцать?

Лунычкин по физкультурной профессии — баскетболист. Играл в составе сборной СССР, выезжал для игр за границу. Он кандидат наук (физкультурных?), преподаватель физкультуры в том же институте, что и Саша, то есть в Институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Он высок, легок, невероятно вынослив, но все же главной его чертой я назвал бы усердие. Горячее усердие. Страстное усердие. Патологическое усердие. Двадцать утр он водил ребят на зарядку, и ни разу не повторилось какое-нибудь одно упражнение. К зарядкам он готовился с вечера, листая книги или конспекты, подходил, что называется, творчески. Нам, детренированным и далеким от спорта людям (особенно Ольге), бешеные зарядки Лунычкина оказались чрезмерными. Кроме того, нагрузка (вспышка нагрузки) падала сразу и на сердце, и на дыхание. Доставалось и мышцам, но как-то беспорядочно и в суете, а я люблю разминать мышцы по порядку и с чувством. Все же я сделал еще одну попытку присоединиться к общей зарядке и попробовать, что это такое. Мы выстроились на линейке, и Саша рассказал, из чего будет состоять наш очередной день.

— А теперь — на зарядку. Валерий Георгиевич, вводите.

Лунычкин обвел строй взглядом, в котором расселились еще последние остатки сна, задумался на секунду и сказал:

— Так. Сели друг на друга.

Как-то не получилось у меня психологически сесть на шею Жене Юдину или Лене Цымбаловой. Так же не получилось, чтобы мне сели на шею. Поэтому я скорее отошел в сторону, отдернув за руку Олю, и веселая кавалькада сидящих друг на друге людей промчалась мимо нас от палаток к поляне.

Мы занимались зарядкой с Олей. Попробовали с ней бросать и камень, выбрав полегче. Но ее руки оказались слабоватыми для этого упражнения. Руки были самым слабым местом Оли во все эти дни. Пойманный ею камень оттянул руки вниз, пришибив один палец около ногтя к другому камню, лежащему на земле. Брызнула кровь. Это был у Оли первый горный ушиб в ряду последующих многих ушибов.

В конце зарядки вместо подпрыгивания Оля (прекрасная танцовка) шутя учила меня элементам современного танца, в частности шейка, давая голосом точный ритм.

В девять часов мы построились на линейке в самой легкой форме: шорты, кеды, без рюкзаков. В остальном — у кого рубашка в клетку, у кого кофта, у кого свитерок. Саша, как всегда, — в особой форме: в сером, железного цвета, крупновязаном свитере, похожем на кольчугу, и в серой войлочной сванской шапочке. Свитер, наверное, тоже сванский, грубой крестьянской вязки, возможно даже, с плеча Михаила Хергиани, великого альпиниста и Сашинго друга. Он разбился в Альпах, улетев со стены.

Люди (народы), живущие в горах, редко приобщаются к спортивному альпинизму. Может быть, здесь действует тот же самый закон, по которому люди, живущие на берегу моря, очень редко кунаются. Или, может быть, горы для тех народов — сама жизнь, сам быт. Охота, пастбища, нужные растения. За века прогонтаны тропы, освоены перевалы. Существуют для передвижения в горах мулы, лошади, ослы. Бессмысленно лезть по горе там, где нет тропы, где ничего для практической жизни не нужно. Ведь и русский крестьянин не полезет на крышу своей избы только для того, чтобы любоваться пейзажем с высокой точки. Разве что починить трубу. Вот почему жители гор чаще всего просто горцы, но не альпинисты. Киргиз, едущий нам навстречу на своей небольшой лошадке, недоуменно смотрит на вереницу людей, нагруженных огромными рюкзаками и отправившихся в горы ни за чем, просто чтобы за-

браться на гору. Альпинисты, в свою очередь, осуждающе смотрят на местных подростков, которые, разыгравшись вблизи лагеря, лихо, но неграмотно, без должного снаряжения, карабкаются на скалы, хотя им не нужно сдавать зачета, нет соревнований по скалолазанию и вообще — одно баловство.

Исключенные, говорят, составляют сваны, которые очень легко приобщаются к альпинизму как к спорту. Ну а Михаил Хергиани был лучшим и даже великим альпинистом.

Недавно группа восходителей на пик Победы обнаружила завернутую в целлофан книгу Саша Кузнецова «Вниз — Сванетия». На второй странице обложки восходители прочитали: *«Восхождение на пик Победы посвящаю памяти моего отца Свитова Михаила Ивановича и памяти Михаила Хергиани, человека, посвятившего всю свою жизнь альпинизму.»*

*Восхождение совершено с ледника Дикий через пик Важа Пшавела по маршруту М. Хергиани 1961 года в составе экспедиции ленинградского «Локомотива». Привет следующим покорителям Победы. Просьба передать книгу автору Александру Кузнецову, которого я считаю лучшим нашим писателем по альпинизму.*

*16 августа 1971 г. В. Ситов»*

Сама книга тоже посвящена Хергиани. Кузнецов в предисловии поясняет: «Эта книга не могла быть написана без участия Михаила Хергиани — замечательного человека и спортсмена с мировым именем. После его трагической гибели я не стал вносить в текст изменения: пусть для читателей, как и для нас, его друзей, Миша останется живым».

Вот почему сванская шапочка на голове. Вот почему грубый, словно железный, свитер — вязаная кольчуга. Благодаря рыжеватой бороде Саша и сам похож на свана.

Линейку он вчера в первую очередь приказал обозначить камушками. Ребята протянули по мелкой траве цепочку из камней с куринос яйцо, а то и с ладонь. Теперь мы стоим на линейке, касаясь этой ровной цепочки носками наших ботинок.

Мне все неудобнее называть Сашу Сашей. Для студентов он преподаватель, доцент, руководитель нашего сбора. Для них он — только Александр Александрович. Мое «Саша» в присутствии студентов стало резать мне слух

самому. Тем более что я и сам сейчас его рядовой ученик. Тем более что меня при студентах он называет всегда по имени-отчеству.

Александр Александрович прошелся перед нами вдоль линейки, тихо заговорил:

— Никаких занятий сегодня не будет. Сегодня мы совершим небольшую прогулку, поднимемся к кладбищу альпинистов. Там в лесу мы наберем дров и спустим их в лагерь. Альпинисты в горах ходят только строем. Я буду всегда идти первым. За мной — Владимир Алексеевич, за ним девочки, потом все остальные. Замыкающим — Валерий Георгиевич. Постепенно мы отработаем травянистые склоны и осыпи, скалы, снег и лед. Сегодня я скажу только несколько слов о движении вверх и вообще. Альпинисты вверх идут тихо. Вам это покажется непривычным. Что главное при движении вверх? Экономия сил. Когда работает одна нога, другая должна быть предельно расслаблена. Мышцы отдыхают. Доля секунды. Но таких долей будут десятки тысяч. Из них сложатся часы. Если камень возвышается над другими хотя бы на десять сантиметров, не становитесь на него, проносите ногу дальше, не делайте лишних вертикальных усилий. Подняв свое тело на десять сантиметров (а с рюкзаком вы будете весить все сто килограммов), вы совершите один килограммометр работы. Но за время подъема наберутся многие тонны. Особенно это важно при движении по моренам, то есть по очень крупным камням. Один камень выше, другой ниже. Линия движения ваших ног может быть более ровной и более зубчатой. Старайтесь, чтобы она была более ровной. Если на пути во время подъема лежит небольшой камешек, старайтесь, чтобы он оказался под каблуком, а не под носком. Стопа встанет более горизонтально, и мышцам ноги будет легче. В отряде не должно быть «гармошки», когда часть отряда то отстает, то догоняет или когда между идущими образуются разные интервалы. Мы должны идти ровно шаг в шаг. Пятьдесят минут движения, десять минут отдыха. Это правило, от которого возможны небольшие отступления. Скажем, пятьдесят минут прошло, а впереди, в десяти минутах, — водопад. Отдыхать приятнее около водопада. В этом случае я могу удлинить время марша. Или на очень трудных участках можно идти по схеме: сорок пять и пятнадцать. И последнее: горы не допускают никаких одиночных действий. Если одному человеку необходимо вернуться в лагерь, его должен сопровождать другой человек.

Потому что если он сломает ногу или его ударит камнем, то одному ему будет... неприятно.

Александр Александрович чуть-чуть помолчал и потом еще тише, чем говорил до сих пор, без малейшей командирской интонации, нарочито буднично и как бы даже с сожалением произнес:

— Пошли.

Первые мои шаги в альпинистском строю. Впереди Александр Александрович, сзади — весь строй. Теперь, что бы ни случилось, какие бы крутизны, скалы, расселины, ледники, снега, реки ни ждали нас на пути, мое место определено. Оказаться в хвосте, а тем более отстать мне не позволят. Что бы ни случилось, последним будет идти замыкающий — Валерий Георгиевич. Сзади него не может оказаться ни один человек из нашей группы. Выйти из строя и сдать я не позволю себе сам. Не должен позволить. В этом состоит моя главная задача на эти дни. У ног будут свои трудности, у плеч (под рюкзаком) — свои. Критическая нагрузка падает на сердце. Но все же главная нагрузка ляжет на тот участок сознания, на тот департамент, который заведует понятием «не должен себе позволить». То есть понятием «должен», если перевести его в другую грамматическую конструкцию. Я должен идти в строй между Сашей и остальным отрядом. Удержаться на этом месте во что бы то ни стало — цель моей жизни на ближайшие двадцать дней.

Каждое утро, становясь на свое место, я буду спрашивать себя: выдержу ли я нагрузку этого дня? Над этим приходилось задумываться, потому что дней было мало и нагрузка с каждым днем возрастала резко. От нуля она должна была за двадцать дней подняться до той отметки, которая позволила бы совершить восхождение на вершину.

— Пошли.

Я думал, что мы сейчас, по крайней мере пока ровное место, быстро рванемся вперед, и боялся, как бы на первых же минутах не сбилось мое дыхание. Но ботинок Александра Александровича лениво, нехотя приподнялся и переступил. То же самое сделал и мой ботинок. Долго еще предстоит мне смотреть крупным планом на ботинки Александра Александровича. Земля и его ботинок, переступающий по ней, земля и ботинок, переступающий по ней. Это не значит, что я совсем не поднимал глаз или не оглядывался назад — как там Оля? — но все же большую часть похода смотрел себе под ноги. В горах и нельзя иначе. Но если под

ноги, то невольно — на ноги впереди идущего альпиниста. Потом и во сне, еще более крупным планом, будет мелькать передо мной: камень — ботинок, камень — ботинок, камень — ботинок. Ноги у Александра Александровича (он в шортах) тонкие, похожие скорее на ноги гимнаста, нежели альпиниста (ждешь бугров мышц, переливающихся под волосатой кожей), но видно, как они просят ходу во время этой первой горной разминки. Идет, как играет. Ему не надо думать, сумеет он подняться до назначенной цели или не сумеет, собьется его дыхание или не собьется. Не идет, а танцует. Но если это киносъемка, то, представьте себе, замедленная. Лениво, нехотя, как в изнеможении, переступают с камня на камень башмаки и в то же время играя, когда чувствуется, что никакого изнеможения тут нет и что уйти таким шагом башмаки способны куда угодно. Темп, взятый Александром Александровичем, в первую минуту внушил мне, что до кладбища я сегодня дойду.

Камень — ботинок, камень — ботинок, трава — ботинок, сухая земля — ботинок, стремительный взлет ботинка над шустрым ручьем. Стук ботинок по настилу узкого, с высокими перилами моста (внизу низвергается по камням водопад реки), камень — ботинок; сухая земля — ботинок, сухая земля — ботинок, сухая земля — ботинок.

Мы стали подниматься по тропе между зарослями арчи, в честь которой и назван весь наш лагерь. Алаарча — пестрая арча. Почему она показалась пестрой тому киргизу, который назвал некогда это урочище, я не знаю. Но в том, что всюду по ущелью здесь растет арча, мы убедились с первых минут пребывания. Ведь именно ветви арчи стелили ребята под свои палатки.

Солице начало греть как следует, заросли арчи начали источать свой крепкий и душистый аромат. Первые капельки горячего пота потекли у меня сначала по вискам, потом со лба, потом приходилось время от времени стряхивать и сдувать их с губ, потом они стали капать с лица на землю, а ботинки Александра Александровича, словно играючи, уходили от меня. Но не должны были уйти.

Большого перепада высоты здесь быть не могло. И беспрерывный подъем, местами очень крутой, в первую очередь сказывался на ногах, но все же и сердце сразу почувствовало, что попало в передрягу. Мое лицо налилось кровью, как если бы шею перетянули жгутом. В груди бухало до слышимости. Было изнутри по вискам. Вся моя набухшая кровью голова пульсировала, а в левой части

затылка больно дергалась какая-то жилка. Я давно знаю у себя это место. Иногда в минуту переутомления там дернется острой болью несколько раз, а потом перестанет. Это бывало не часто, но все же я всегда знал, что у меня в левой части затылка живет больной нервик или сосудик или что там может дергаться и болеть? Это слабое место теперь и обнаружило себя в первую очередь.

Могло случиться, что я и один решил бы подняться по этой тропе к альпинистскому кладбищу. Но, наверное, я бы сел отдохнуть, остыть, постоял бы на высоте, полюбовался на окружающее. В том-то и был смысл этих дней, как потом оказалось, что никогда бы я не смог самостоятельно дать себе такую нагрузку. Пожалуй, не получилось бы и пяти процентов нагрузки, потому что кто же заставит сам себя двигаться под рюкзаком в двадцать килограммов несколько часов и все время в крутую гору? Погулял часик-другой, садись отдыхай на камушки. Дождался первой испарины на лбу или на лопатках, остынь, полежи на траве. И уж конечно, остановись, если начало дергать в затылке и молотками стучать в висках и не успеваешь сдувать с губ горячий пот, разлетающийся от дуновения обильными брызгами, словно из трубки пульверизатора.

Ноги Александра Александровича играют как заведенные, но, к счастью, все в том же темпе. Если бы он сейчас сделал рывок, заставил нас взбежать хотя бы на сто шагов высоты, не знаю, как другие, но я бы запалился и лег. А так можно еще жить и дышать. Только бы не хвататься руками за ветки арчи. Только бы не помогать себе руками на очень крутых местах, не оказаться на четвереньках, только бы идти, как ведущий, только бы не думать о том, что идти, наверно, не близко. Пусть ноги болят сами по себе, это их дело. В конце концов, не отвалятся же они, а ты иди себе и не думай про ноги. Пока они еще не ватные, не онемели, прекрасно переступают с места на место, ну и пусть переступают, разве не их дело переступать?

Подкатило и укололо в левом боку. Вот так. Вся слабина сейчас полезет наружу, все слабые звенья заговорят о себе. Что может колоть в левом боку? Селезенка? Поджелудочная железа? Диафрагма? Поколет и перестанет. Если бы шел один, тотчас бы дал поблажку селезенке и диафрагме. Не надо давать поблажки. Поколет и перестанет.

● Тропа загибает все круче. Сухая земля — ботинок, сухая земля — ботинок. Благословляю ботинки за то, что двигаются лениво, нехотя, словно в последней степени



измождения. Что из того, что мы поднимаемся вверх медленно? Зато возникает спокойствие и уверенность, что я дойду, куда бы ни повели меня эти ботинки. Мало ли что болят ноги, да и мышцы живота начало резать, мало ли что голову словно накачивают изнутри автомобильным насосом, мало ли что совсем залило потом глаза. Не падаешь ведь пока. Можно еще идти. Тогда почему же не идти?

Когда Александр Александрович остановился и отряд начал подтягиваться для отдыха, Оля, увидев меня, воскликнула:

— Папа, какой ты мокрый!

— Конечно, когда выжимают мокрую тряпку, неизбежно течет вода.

К арче неожиданно примешались молодые сосенки и лиственницы, явно посаженные человеком. В диком виде они тут не встречаются. Тем более не могла возникнуть сама собой загородка и калитка в ней, завязанная сквозь замочные проушины обыкновенной веревочкой.

Александр Александрович веревочку развязал, и мы вереницей, по одному, прошли в огороженное пространство к альпинистским могилам.

Как бы заботясь о престиже этого молодого кладбища, Александр Александрович тотчас нам пояснил, что альпинистов здесь погибает значительно больше, но ведь обычно приезжают родные и увозят погибших в свои города. Некоторых хоронят на месте гибели. Например, альпинист Художин лежит под пиком Победы на полке, завернутый в палатку и завязанный репшнуром.

— Что случилось с Художинным? Улетел? — спросил я, щеголяя альпинистским словечком.

— Нет. Сердечная недостаточность.

Мы остановились перед могилами. На крайней из них только что сооружен самодельный памятник. Впечатления в жизни любят иногда выстраиваться в рядок. Мы с Олей вчера, проходя через территорию лагеря, обратили внимание на молодую светлую женщину, одетую в черное пончо. У нее был какой-то очень не альпинистский, не лагерный вид. И кроме того, нельзя было ошибиться, что она из Прибалтики. Лежит на людях этого края некая печать, по которой почти безошибочно определяются латыши, литовцы, эстонцы.

Теперь оказалось, что эта молодая женщина — эстонка,

вдова погибшего здесь альпиниста. Она приехала, чтобы собственными руками соорудить памятник над могилой мужа. Из диких камней эстонка сложила модель колокольни, увенчала эту колокольню железным крестом, а в проеме повесила небольшой колокольчик, который во время сильного ветра будет раскачиваться и звонить.

Рядом с эстонцем покоится альпинист-художник Афанасий Шубин. Афоня — так до сих пор называют его между собой альпинисты. Альпинистские гравюры Шубина широко известны среди спортсменов. В лагере они висят и в клубе, и в бухгалтерии, и у начальника учебной части. Все мы тоже через двадцать дней, уезжая, купим на память по несколько гравюр Афанасия Шубина.

— У него был низкий потолок, — объяснил Александр Александрович.

— То есть?

— У каждого человека есть потолок, выше которого в горы ему ходить нельзя. Афанасий был хорошим альпинистом, но потолок его был 4 200 метров, а он пошел на 4 600. Стало плохо. Ему предложили спуститься, но он не захотел бросать группу. В результате — сердечная недостаточность.

На могиле Аллы Глуховской выставлена фотография молодой симпатичной женщины. Мастер спорта. Погибла в лавине вместе с другим альпинистом, с которым шла в связке.

Мне неудобно было тут же расспрашивать Александра Александровича о всех могилах, а тем более записывать имена. Да я и не брал с собой в горы ничего пишущего. Потом узнаю. Но потом нахлынули новые впечатления. Когда же я позвонил Александру Александровичу в Москву, чтобы уточнить имена похороненных, оказалось, что он и сам не все помнит. Пришлось ему писать письмо во Фрунзе своему другу, альпинисту и выдающемуся педагогу альпинизма Алимю Васильевичу Романову. Выписываю часть романовского письма:

«...Эстонец погиб от камня на стене «Свободной Корен». Хейно Пальцер. В 1962 году он был у меня в отделении в школе инструкторов в альплагере «Шхельда» (там находилась тогда центральная школа инструкторов, я был тренером отделения). Был там еще один отличный парень (Володя Жердев), которого Хейно звал «Валёдка». Валёдка погиб в 1969 году на спасработках, где-то в районе Безенги. Хейно и Валёдка были моими согревателями,

когда на пике Гермогенова получил по башке Кирилл Баров.

Володя Кургашев, который тоже лежит на кладбище, умер в шесть часов утра 6 сентября 1964 года от перегрузки и высоты в палатке на седловине между 5-й и 6-й башнями Короны, то есть на высоте около 4600 м. Подробности описаны в одном моем рассказике в «Литературном Киргизстане»... Между прочим, он умер на руках у моего брата Ремира Ветрова, который ночью пришел туда вместе с Леоном Алибегашвили, совершив траверз 2-я — 5-я башни Короны.

Вместе с Аллой Глуховской погиб не Володя, а Вениамин (Венька) Пенкин, студент нашего института».

Ну вот, теперь прояснились все пять могил.

1. Эстонец Хейно Пальцер.
2. Художник Афанасий Шубин.
3. Володя Кургашев.
4. Вениамин Пенкин.
5. Алла Глуховская.

Одного из них убило камнем, двое погибли в лавине, а двое умерли от перегрузки и высоты. Двое из пяти — немалый процент. Было над чем подумать мне, почти пятидесятилетнему, не имеющему представления о своем потолке.

На обратный путь нагрузились дровами, но тяжесть их была мне уже не страшна. Я дошел, поднялся до нужного места, а теперь — всего только вниз. Чтобы не путаться с вязанкой, которая неудобно расползалась бы на плечах, я нашел монолитную корягу — перекрученный комель арчи — и взвалил ее себе на плечо. И хотя предстояло еще тащить на себе литую тяжесть бревна в течение полутора часов, все же первое испытание можно было считать выдержанным, а первый день — завершённым. После обеда полагался сон, а потом — свободное личное время.

В этот день, ближе к вечеру, около домика начальника лагеря можно было наблюдать некоторую нелагерную суету. Остановилась черная легковая машина: шофер, генерал и еще три офицера. Некоторое время спустя около домика запылал мангал. Один офицер раздувал пламя фанеркой, поблизости свеживали барана. Другой офицер пошел мне навстречу, неся в руках две гирлянды бутылок. Минеральная вода и бутылки с темно-коричневым содержимым.

Суть происходящего была несложна. В лагере есть превосходная финская баня, и в нее привезли проводящего во Фрунзе свой отпуск московского генерала, чтобы он наслаждался финской баней в сочетании с горным воздухом. Шашлык после бани и то, что перед шашлыком, — вовсе не предосудительно для генерала, и не для осуждения я извлек из памяти этот маленький эпизод.

Дело в том, что хоть у меня и нет генеральского звания, но мне довольно легко было бы представить себя на территории лагеря в качестве именно такого однодневного гостя. Приехал во Фрунзе по делам Союза писателей. Слушай, говорят мне, здесь недалеко, в пятидесяти километрах, есть превосходная финская баня. Не хочешь? Красивое ущелье, шумит река, соорудим шашлычок. Ну как, согласен? Конечно, согласен. Кто же откажется от шашлыка на берегу горной реки в красивом ущелье. Приехали бы мы, стали бы хлопотать около домика начальника лагеря, раздувать мангал, носить бутылки из багажника на облюбованную лужайку, а мимо нас ходили бы основные обитатели лагеря в брезентовых куртках, тяжелых горных ботинках, обожженные солнцем. Ну что же, у них своя жизнь, у нас своя. Мы попаримся в бане, похлещемся вениками, поужинаем и уедем во Фрунзе заниматься своими делами (скажем, семинар молодых киргизских прозаиков проводить), а они останутся здесь с иными заботами, для нас непонятными или, во всяком случае, недоступными. Может, и мелькнула бы мысль, не приехать ли сюда когда-нибудь, не попроситься ли пожить здесь на горном воздухе, поработать. Но за суетой эта мысль мелькнула бы и погасла.

Как же все перевернулось на свете, если я на легковую машину, приехавшую из Фрунзе, и на все события, связанные с ее приездом, смотрю теперь с этой, непривычной для меня стороны?

Другой мир, другая планета — вот как показался офицер, несущий бутылки, мне, идущему к начальнику лагеря выпрашивать обмундирование для Оли. Надо было выпросить и получить: страховочный пояс, кошки, трикони (ботинки, окованные железом), штормовку, пуховку и ледоруб.

Больше всего я боялся, как бы у них не зашел там разговор и как бы не пришло им в голову позвать к шашлыку залетного московского литератора. Опасения мои оказались не напрасными, и только то, что я своевременно ушел за пределы лагеря посидеть на камне около шумной реки,

где и пробыл до полной темноты, сохранило меня в моей новой, необычной и прекрасной позиции.

Ловлю себя на мысли, насколько мне было бы легче во всех испытаниях, если бы я был один, без Оли, если бы думать нужно было только о себе, за себя, страдать и мучиться самому. Каждый трудный взлет, каждый опасный участок скалы, которую я уже преодолел, мне приходится психологически еще преодолевать и за Олю, которая идет сзади меня. Мне хватило бы и своего сильного прерывистого дыхания, но я слышу еще и дыхание Оли, тоже сильное и прерывистое, и оно давит на меня постоянным психологическим гнетом.

Перепрыгивая через расселину или цепляясь ногой за скальный выступ и выкарабкиваясь за счет чрезмерного напряжения брюшного пресса, я физически ощущаю, как расходитесь у Оли только заживший после операции кишечный шов.

Подтягиваясь на руках и выходя вверх за счет силы рук, я физически ощущаю слабость ее рученок.

Оттягивая руками лямки рюкзака, чтобы на несколько секунд ослабить их давление на плечи, я чувствую, как болят ее плечи, никогда не соприкасавшиеся с рюкзачными лямками.

Все так. Но если совершится невероятное, если мы победим и взойдем на вершину, во сколько раз будет больше моя радость, потому что присоединится радость и за нее! А между тем Александр Александрович приглядывается к нам, особенно к Оле: как мы себя ведем, каково наше самочувствие, каковы наши возможности? Чувствуется, что он еще не решил окончательно, можно ли брать нас на восхождение, выдержим ли мы. Всю ответственность в конечном счете он должен взять на себя. Он дал понять мне в разговоре, что завтрашний день будет настоящим рабочим днем и что многое завтра прояснится.

Централизованное снабжение подвело. На складе не оказалось нужного для Оли обмундирования. Предстояло проявить инициативу. Выяснилось, что из лагеря уезжает московский сбор — спортивное общество «Буревестник». Они уже отходили, откарабкались, сделали все, что хотели, а обмундирование у них свое, московское. Слушок о литераторе, оказавшемся в альпинистах, уже прошелестел по лагерным палаткам, и поэтому, когда я пришел к руководи-

телям московского сбора, мне не надо было ни представляться, ни объяснять, зачем я здесь. Я сказал только, что нам нужно: страховочный пояс, кошки, штормовка, пуховка, трикони, ледоруб...

Нам дали две пуховки, и для меня тоже. Они были еще влажные со стороны подкладки, особенно около воротника, и пахли спортивным залом. Человек, надевший пуховку (куртка на гагачьем пуху, почти ничего не весит, пышная со всех сторон, как подушка, с такими же пышными рукавами, может быть свернута, стиснута и тогда занимает очень мало места, но при малейшей возможности и даже как бы вырываясь из рук, когда ее комкаешь, возвращается к пухлому состоянию, совершенно не пропускает холода, можно в ней лежать на льду, застегивается на молнию), итак, человек, надевший пуховку, становится похожим не то на водолаза, не то на космонавта, но все же наиболее сильное впечатление из обмундирования произвели на Олю трикони — ботинки, окованные железом. Было в них вопиющее несоответствие размера для ноги (35-й помер), то есть внутреннего пустого пространства, с внешними габаритами и весом. Требовались усилия, чтобы их приподнять от земли. Когда Оля надела трикони на свои привыкшие к босоножкам и туфелькам ноги, она усомнилась, можно ли вообще в них передвигаться.

Но это было обманчивое впечатление. Очень скоро человек начинает себя чувствовать в них увереннее и устойчивее на земле, а особенно на крутых ее склонах, на камнях и на скалах. Снег и лед лишь подтвердят потом превосходство этой обуви над всякой другой.

Ольгины трикони были очень тяжелы, тяжелее даже моих, но у них перед моими было одно бесценное преимущество: они были разношены, а мои ни разу еще не надевались на ноги.

Я четыре года был солдатом, я знаю, что значит на походе трущая и наминая нога обувь, я знаю, что значит подобрать и подогнать обувь по ноге. Даже в армии, в суровых условиях обстоятельств и дисциплины, мы выбирали себе сапоги из груды сапог, и старшина начинал морщиться и сердиться, если очень уж зарылся солдат в сапогах и примеряет десятую, скажем, пару.

Мне теперь совсем не из чего было выбирать. Надо бы мне в Москве самому сходить в магазин и купить трикони, а не надеяться на те случайные, которые мне принес Саша.

С тревогой, боясь не только неудачи, но катастрофы,

я погрузил ногу в недра ботинка, и сразу у меня завертелись в мозгу многочисленные литературные воспоминания о каторжных колодках, об испанских инквизиторских сапогах, о том, что «гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фантазия у Гете», о том, что «ничего не может быть страшнее зубной боли и тесной обуви» (не помню откуда), и о том, что простой тесный сапог покажет вам всю зависимость вашего высокого духа от нужд и забот брэнного тела (вольное изложение по памяти известного места не то из Белинского, не то из Герцена).

Наверное, я сморщился, когда надел оба ботинка и встал на ноги. Не то чтобы они были малы, но они были жесткими, словно сделаны не из кожи, а из кости, причем удивительно не совпадали всякие там линии моей ноги с линиями колодки. Где выступ — там выемка, и наоборот. Левую ногу сжало, как тисками, в самом широком месте ступни, а правую стиснуло в подъеме, который у меня и правда очень высок. Я выбросил из ботинок стельки, и ногам стало как будто просторнее, но все равно жестокая, неудобная теснота ботинок при каждом шаге ломала и мучила мои ноги, приспособливая их по себе. В конце концов победит нога, жесткая кожа ботинок в конце концов уступит, но сколько потребуется времени, пока это произойдет, сколько мучений мне предстоит перенести. Надо бы разнашивать ботинки по часу в день еще в Москве, давая потом ногам заслуженный отдых. Но время уже упущено. Завтра, как было сказано, будет настоящий рабочий день — «травянистые склоны и осыпи».

Травянистые склоны и каменные осыпи. Александр Александрович так нам и сказал на линейке:

— Сегодня отработываем травянистые склоны и осыпи.

Но сначала надо до них дойти. Тропа, пожалуй, не круче вчерашней, но идти придется гораздо дольше.

Кстати, сразу надо сказать, что понятие дальности в километрах у альпинистов не существует. Много раз я спрашивал у Александра Александровича, сколько километров придется идти до ледника Аксай и сколько километров при восхождении на вершину, если бы я осмелился и если бы меня взяли. Александр Александрович задумывался, прикидывал в уме, соображал, но потом искренне признавался:

— Нельзя. На километры ничего тут мерить нельзя.

В горах не бывает одинаковых километров. Один километр приходится преодолевать в десять раз дольше другого. Иногда на стене приходится двигаться по сто метров в сутки. У альпинистов существуют только два понятия: время и высота. До Аксай с рюкзаками, скажем, десять часов пути. Высота стоянки 3200, высота подножия Короны 3800 метров. Все понятно. А сколько километров до стоянки, ей-богу, не знаю, да и знать незачем. Километры не имеют никакого значения. За десять часов по ровному месту можно пройти километров пятьдесят. Конечно, до Аксай гораздо ближе, но что из того, если идти туда нужно десять часов.

Отмечаю про себя, что до первого привала — пятьдесят минут крутого подъема по земляной тропе — я прошел легче вчерашнего. А когда мы поднялись еще выше и лепились, как мушинные точки, посредине грандиозной, как бы стартовой в космос зеленой плоскости, то внизу увидели вереницу альпинистов. Маленькие человечки выглядели несущественными придатками к разжиревшим, раздувшимся рюкзакам. Это была вереница рюкзаков, а не людей. Рюкзаки передвигались таким же темпом, каким нас водит Александр Александрович. Шаг на месте. Топтание. Они топтались у подножия нашей зеленой плоскости, пересекая ее поперек, тогда как мы поднимались по вертикали. Оглянувшись через некоторое время, я ждал, что рюкзаки на том же месте, едва лишь передвинулись, но подножие плоскости было чисто и пусто. «Не бойся двигаться медленно, бойся стоять на месте». Неправдоподобно далеко для такого темпа ушли альпинисты за эти десять — пятнадцать минут и дойдут куда надо, достигнут цели.

— Значкисты. На Аксай, обрабатывать снег и лед, — пояснил Александр Александрович, видя, что я оглядываюсь на альпинистов. Через пять дней предстоит и нам, а пока что — травянистые склоны и осыпи.

Травянистым склонам в «Спутнике альпиниста» (есть такая справочная полезная книга) не посвящено ни строки. Конечно, это самая простейшая составная часть горного ландшафта, но все же, наряду со скалами и моренами, между зоной лесов и линией снегов травянистые склоны иногда во многом определяют эстетическую ценность горного ландшафта. Среди сурового, серого, с разными оттенками, от черного до сиреневого, от белесого до коричневого, нагромождения каменных глыб и стен зеленая гладь, то коническая, то горбатая, то чистая, как сукно бильярдного



стола, то пропоротая изнутри острыми скалами, разнообразит цветовую гамму гор, умягчает человеческий глаз, даст ему отдых.

Наверно, мы и правда выглядели черными мушными точечками на огромной зеленой плоскости, размахнувшейся от горизонтальной тропы над ущельем до облаков. Как раз одно белое облачко приплыло и устроилось на склоне ближе к его верхнему обрезу, но все же ниже обреза, не загораживая и не размывая четкой и плавной линии.

— У вас в руках ледоруб, — учил нас Александр Александрович. — Альпинисты шутят, что у ледоруба девяносто девять назначений, от прямого — рубить ступени во льду — до открывания консервных банок. Так вот, одно из главных предназначений ледоруба — самостраховка при движении по травянистым склонам. Поскольку это ваш самый главный инструмент, посмотрим на него самым внимательным образом.

Я стал разглядывать находящийся у меня в руках предмет, который жена в Москве презрительно именовала штырем: «Штырь не укладывается в чемодан», «Штырь торчит из рюкзака», «Смотри не задень кого в самолете своим штырем».

Больше всего ледоруб похож на кирку. Один конец, четырехгранный и острый, плавно изогнутый, называется клювом, другой, тоже острый, но плоский, — лопаточкой. На конце древка — острый штычок. По древку скользит брезентовая петля, которую можно надеть на руку и закрепить, передвинув кожаное колечко. При ходьбе можно опираться на ледоруб, как на трость, тем более что он легкий и прочный, но Александр Александрович нам внушает:

— Походное положение ледоруба таково... — Он берет ледоруб за середину древка наперевес и показывает, как надо нести его в правой руке. — Однако по травянистому склону, а тем более крутому, как этот, нужно идти с самостраховкой. Темляк надет на кисть правой руки и закреплен антапкой. Правая рука держит ледоруб почти за середину древка, левой рукой держитесь за головку. Клюв смотрит вниз и всегда в сторону склона. При падении вы молниеносно втыкаете ледоруб клювом в землю и тем самым тормозите свое падение. Вот мы двигаемся по склону зигзагом. Справа от нас склон, слева — пустота. Ледоруб находится около правого бедра, нацелен в склон. Мы совершаем зигзаг, поворачиваемся. Теперь склон слева, а пустота справа. Вы перехватываете ледоруб, правой

рукой сжимаете головку, а левой древко. Ледоруб около левого бедра, нацелен в склон...

Травянистый склон — не отвесная скала, не стена, не пропасть. Но все же головокружительно и непривычно видеть под собой так много высоты и еще столько же высоты над собой. А что будет, если поскользнешься и покатишься вниз? Наверное, далеко не укатишься; строго говоря, падать здесь некуда. Существует у альпинистов такое точное выражение: «Есть куда падать». Каждое место, по которому предстоит пройти, они оценивают и с этой точки зрения. Если есть куда падать, значит, нужна страховка, надо привязываться к веревке, натягивать перила и вообще идти осторожнее.

Допустим, что, в строгом смысле слова, здесь, на травянистом склоне, падать некуда. Но отчего же такая зыбкость в коленках? Трикони не скользят. Мы медленно, все в том же замечательном темпе то поднимаемся, ставя ботинки «елочкой», то есть идем вертикально вверх, то набираем высоту, двигаясь зигзагом, почти горизонтально правым боком к склону, затем, почти так же горизонтально, левым боком к склону, а в результате вошли на головокружительную высоту. Но голова не должна кружиться. Эта высота — не табуретка, с которой можно слезть на пол. С нее никуда не денешься, кроме как сойдешь вниз тем же путем или поднимешься еще выше, перевалишь гребень и спустишься с другой стороны горы.

Склон сделался настолько крутым, что все время хочется занять еще одну точку опоры помимо трех имеющихся (две ноги и ледоруб), и здесь-то, на самом крутом месте склона, когда боишься сделать лишнее движение, чтобы не покатиться вниз, Александр Александрович останавливает отряд. Стоим, опираясь на ледорубы. Смотреть вниз и заманчиво, и жутковато. Падать, может, и некуда, но катиться, кувыряясь и обдирая себя о жесткую землю, сплошь, так сказать, инкрустированную камнем, очень даже есть куда. Александр Александрович разрешает сесть, но стоять на такой крутизне как-то проще и даже удобнее.

— Сейчас мы будем отрабатывать самозадержание при помощи ледоруба при падении. Если вы поскользнулись и начали падать... ну, сейчас сухо, а представьте себе этот склон после дождя либо, не дай бог, обледенелым. Прошел дождь, снежок, схватило ледяной корочкой. Неприятно. Значит, если вы поскользнулись и начали падать, то пер-

вым движением вы должны выбросить ледоруб на вытянутых руках над головой. Это необходимо, чтобы во время кувыркания не напороться на острый клюв ледоруба. Таким образом, вы падаете с поднятыми руками, а в руках — ледоруб. Теперь вы должны во что бы то ни стало перевернуться на живот, а клюв ледоруба вонзится в землю. Он не сразу задержит вас, особенно если вы успели набрать скорость. Он будет чертить по земле, а вы будете давить на него все сильнее, подтягивая его к груди. Когда вы навалитесь на ледоруб всей грудью, он вонзится в землю глубоко и затормозит ваше падение. Ясно? Показываю.

Александр Александрович поднялся еще на несколько шагов, нелепо взмахнул руками, словно поскользнувшись, и стремительно покатился вниз по склону. Все у него получилось как по-писаному. Выкинув руки с ледорубом вверх, перевернулся на живот, вонзил клюв ледоруба в землю, подтянул его к груди, навалился, остановил падение. На всю операцию у него ушло метров десять — пятнадцать склона.

— По очереди каждый из вас будет делать то же самое.

Значит, вот она какая, наука. Если ты боишься поскользнуться, покачнуться и покатиться вниз, если тебе страшно просто стоять на склоне, то падай и катись нарочно, останавливай сам себя. Парни в рвении и в избытке сил падали и кувыркались еще более стремительно, чем если бы упали на самом деле. Они нарочно давали себе разогнаться при падении, набрать скорость и только тогда уж пускали в дело ледоруб и тормозили падение по всем правилам. Девочки тоже по одной выходили на исходное место и срывались вниз (как прыгают с парашютом), — но Ольга-то моя как сейчас полетит? Хватит ли у нее духу? По неуверенности в движениях, по их скованности можно понять, что делается у нее на душе. Не очень уверенно падает, скользит, катится, остановилась.

— Хорошо, Оля, — одобряет ее Александр Александрович из педагогических соображений.

— Нет, я хочу еще раз, у меня получилось плохо.

— Давай еще раз. Да и все мы будем отрабатывать это до чистоты, пока не научимся действовать автоматически. Оля начинает, остальные за ней. Пошли!..

Этот склон-то кажется крутым и опасным? Как дома, как на стремянке около книжной полки, как на ковре. Неужели час назад подрагивали колени и хотелось опереться о землю еще и рукой? Может, сплясать вам на этом

склоне? Плясать не умею, а хотелось бы — такая вдруг уверенность и легкость во всем: и в мускулах, и в душе.

Отдохнуть расположились в пологой долине между двумя травянистыми склонами. После перерыва начнем отрабатывать каменные осыпи. А пока нас развлекают потешные и симпатичные высокогорные зверушки — сурки. Еще когда мы шли сюда, поднявшись из ущелья и выйдя на горный простор, и справа, и слева, и со всех сторон слышались высокого тона свистки этих осторожных, но и любознательных животных. Пожалуй, как следует прислушавшись, поймешь, что по природе своей это все же не свист, а короткий, на одной ноте визг. Но так уж принято говорить, что сурки свистят. Свистело так много сурков вокруг нас, идущих по субальпийскому лугу, что казалось — горы кишат сурками. Но мы долгое время не могли увидеть ни одного зверька, а видели только норы, и нор этих действительно было очень много. Удивительна быстрота, с которой сурки ныряют в свои норы, словно проваливаются сквозь землю. Александр Александрович рассказывает, что у него в охотничьей практике бывали случаи, когда смертельно раненный, фактически убитый сурок все же успевал скрыться в норе.

Теперь, когда мы не шли, а сидели тихо и смирно, то тут, то там поодаль начали подниматься рыжеватые столбики. Сурок садится на задние лапы, опираясь о землю своим длинным пушистым хвостом, а передние лапки держит около груди, подобно собачке, которую заставили служить. Голову он немного запрокидывает назад, как это сделали бы мы, стараясь приподняться повыше и увидеть подалее. До семидесяти сантиметров высотой эти рыжие столбики. Александр Александрович утверждает, что встречаются матерые сурки метровой длины, но мы таких все же не видели. В одном месте на большом сером камне расположилось изучать нас, пришельцев из другого, долинного мира, целое семейство сурков: очень крупный сурок, поменьше и двое детенышей. Замерев, они могут стоять очень долго в полной неподвижности, словно окаменев. Но при резком движении кого-нибудь из нас исчезают не просто мгновенно, но с быстротой, доступной разве что техническому приспособлению (щелчок капкана или затвора фотоаппарата) и удивительной для живого существа. Сразу, без промежуточного кадра, остается пустой камень, где только что стояло четыре любознательных, высматривающих столбика.

Не знаю, право, вредны или полезны зверьки эти для человека и какова их роль в уравновешенном балансе природы, но хорошо, думалось, что они здесь так мирно живут, резвятся и в общем-то никому не мешают. И не дошел еще черед до их интенсивного изведения на шапки, на мясо ради какой-нибудь там железы, вырабатывающей что-нибудь наподобие бобровой струи.

Камнепады в основном, говорится в «Спутнике альпиниста», проходят по кулуарам — углублениям, возникшим под влиянием текущей и падающей воды... Кулуары (попросту говоря, желоба) достигают иногда нескольких десятков метров в ширину.

Скопления крупного обломочного материала, встречающиеся у подножия склонов, особенно у выходов кулуаров, и перекрывающие зачастую значительные участки, называются осыпями. Осыпи различаются по величине камней (крупные, средние и мелкие) и внешнему виду (плитчатые, острообломочные), а также по подвижности (живые и мертвые).

Осыпь, к которой нас подвел Александр Александрович, была острообломочной, средней. Камни величиной с голову, чуть крупнее, чуть меньше. Нельзя сказать про них, что они квадратные или округлой формы, потому что никакой определенной формы у них не было. Но они были острообломочные, отнюдь не плиточные. Осыпь змеей вилась по крутому кулуару, образуя род каменной аспидной реки, исток которой терялся на высоте, там, где зеленый склон перегораживался выходом острых, тоже аспидных скал.

— Мелкие осыпи очень неудобны для движения вверх, — объяснял Александр Александрович, — они ползут под ногами. Получается то, что альпинисты называют велосипедом. Движение по мелким осыпям изнурительно. Зато для спуска они превосходны. Большими прыжками (а камни, оползая, сами несут вниз) можно очень быстро потерять высоту. И нет опасности, что камень, пущенный одним альпинистом, догонит и ударит его самого либо товарища. На средней осыпи, как у нас, такая опасность существует. Поэтому двигаться вверх по такой осыпи надо зигзагом, серпантинном. Мы пересекаем осыпь поперек. Внизу у нас никого нет. Камень никого не заденет. Но лучше, конечно, его не пускать, двигаться осторожно, пробовать камень под ногой, прежде чем перенести на него тяжесть тела. Дойдя до края осыпи, мы ждем, пока подтянется весь отряд, и начинаем новый зигзаг. Если же кто-

нибудь из вас пустит камень, надо кричать: «Камень!» Если вы увидите, что из-под ноги впереди идущего товарища пошел камень, вы обязаны, пока он не набрал скорость, ногой его остановить.

Странно, но я почти не вспомнил про свои необношенные ботинки. Думать приходилось о другом: насколько тяжело будет подняться до истоков этой каменной реки, не сделаются ли ватными ноги, не начнет ли от перегрузки и высоты барахлить насос.

Зигзагом, серпантинном, переступая с камня на камень, каждый из которых готов сдвинуться и ускользнуть из-под ноги, постепенно поднимаемся все выше и выше, и вот уже долина с сурками смотрится, как с самолета, и смотреть на нее надо не вдаль, а вниз.

Александр Александрович остановил отряд и велел всем найти у себя пульс. Сам смотрит на часы на секундную стрелку.

— Нашли? Приготовились. Внимание. Раз!

В подушечки пальцев, указательного и среднего, частыми, учащенными, загнанными толчками ударяется кровь. Насос разогнался и работает с частотой и яростью почти что отбойного молотка.

— Два! — командует Александр Александрович. — Полученную цифру помножим на четыре. У кого больше ста сорока?

Тридцать два я помножил на четыре и получил сто двадцать восемь.

— Оля?

— У меня тридцать три.

— То есть, значит, сто тридцать два! Многовато. Остальные?

— Сто восемь.

— Сто двенадцать.

— Сто.

— Девяносто шесть.

Ну конечно. Мало того, что им по двадцать — по двадцать два. Все они занимались спортом, бегали, прыгали, ходили в походы. Бесплезно даже завидовать. Противопоставлять же их молодым и оттренированным сердцам можно один только дух. Но хватит ли его у нас с Олей?

— Я вам говорил, что альпинисты вверх поднимаются медленно, а вниз сбегают. Очень часто приходится сбегать по таким осыпям. Сейчас я покажу вам, как это делается,

и вы увидите, что я не бегу очертя голову. Иногда я делаю прыжок сразу обеими ногами. Иногда я делаю прыжки, приземляясь то правой, то левой ногой. Я выбираю место, куда прыгнуть. Иногда прямо вниз, иногда в сторону. Ледоруб у меня на самостраховке около правого бедра. Самое главное при быстром спуске по осыпи — бежать, откидываясь назад, чтобы в случае чего упасть на пятую точку. То есть самое главное — избежать падения лицом вперед. Вы видите, что камни очень острые и жесткие. Упасть лицом вперед, да еще пропахать по камням метров десять, — очень неудобно. Удобнее падать назад. По той же причине следите, чтобы не задеть шипами ботинка за брючину на другой ноге. Трикони очень к этому располагают. Задев острыми шипами за штанину на другой ноге, вы непременно упадете лицом вперед. Один немецкий альпинист погиб на восхождении из-за того, что это произошло у него на узком гребне и он упал. Именно поэтому сейчас все опытные альпинисты, особенно на Западе, предпочитают носить гетры, чтобы не болтались широкие штанины штормовых брюк и чтобы не за что было зацепиться. На вас штормовые брюки, поэтому будьте внимательны. Не ставьте себе цели на первый раз сбегать по осыпи быстро. Старайтесь сбегать вдумчиво, красиво, спортивно. Я показываю.

Легко, как будто не торопясь, но очень быстро теряя высоту, уверенно и просто наш руководитель побежал вниз. Впрочем, слово «побежал» (хотя он бежал) все же не совсем подходил к спуску по осыпи. Поскакал? Попрыгал? Иногда он совершал прыжки сразу метра на полтора. Иногда перебирал по камням мелкими быстрыми шажками. Было видно по тому, как он держал свой корпус, что если он и упадет, то только назад, то есть, попросту говоря, сядет на камни, которые сзади находятся очень близко от спины (крутизна осыпи), но ни в коем случае не полетит головой и лицом на камни, которые, по причине той же крутизны, далеко внизу и нужно еще до них долететь.

Александр Александрович за пять минут превратился в маленького человечка, стоящего там, где черная каменная река осыпи впадает в зеленое озеро субтропического луга, и дал знак рукой. Побежал вниз и я. Все мы по очереди сбегали вниз, мне было легко, стоя внизу, смотреть, как лихо прыгают парни, как девушки, некоторые смело, некоторые скованно, делают то же самое. Только на время, когда сбегала Ольга, мне хотелось отвернуться либо зажму-

риться, но благополучно сбежала к нам и она. Собрались для разбора.

— На первый раз очень неплохо. Но форсить вам пока не надо. Игорь, например, бежал очень смело, быстро и даже красиво, но в его спуске не было запаса надежности. Я, например, за него боялся. Казалось, он в любую секунду может упасть. Он не упал, слава богу, но глядеть на него было страшно. А надо спускаться и быстро, и красиво, и надежно. Сейчас мы поднимемся и сбежим еще раз...

Для удобства повествования я не оговорился несколькими страницами ранее, что при отработке травянистых склонов и осыпей Александр Александрович разделил нас на два отряда. Одним руководил он сам, а во главе другого поставил Валерия Георгиевича, энергичного и азартного физкультурника, но вовсе не альпиниста. Получалось так, что, собрав оба отряда вместе, Александр Александрович рассказывал и показывал нам (делая вводную), а потом мы расходились и отрабатывали все практически, каждый в своем отряде. Мы с Ольгой были в отряде Александра Александровича, и все бы шло хорошо и не понадобилось бы мне упоминать об этом разделении, если бы в конце занятий Александру Александровичу не пришлось в голову поменяться с Валерием Георгиевичем. Ему захотелось посмотреть, как действует без него второй отряд. И в этом не было бы еще никакой беды, но занятия кончились, и по плану нам предстояло перевалить через гребень горы, чтобы спуститься в лагерь по ее противоположному склону. Вместо того чтобы соединить оба отряда для преодоления гребня, Александр Александрович вдруг распорядился, крикнув издали:

— Валерий Георгиевич, ведите отряд на гребень. Там встретимся.

Так мы неожиданно оказались под началом Валерия Георгиевича. Уже с первых шагов мы почувствовали перемену в руководстве, в методе, в альпинистской осведомленности, в темпе. Вместо ровного и уверенного подъемного шага мы рванулись вверх и через несколько минут начали задыхаться, оступаться, поскользываться, карабкаться, помогая себе руками. Я думал, что только одному мне столь нелегко дается новый стиль руководства, но, оглянувшись, я увидел, что и все остальные дышат тяжело и карабкаются на четвереньках. Вскоре, не зная склона, руководитель завел нас в ужасный колючий кустарник, и сзади раздался



ропот. В дополнение ко всему дорогу перегородили скальные выходы. Время от времени ведущий останавливал нас, а сам один уходил вверх, чтобы разведать дорогу и прикинуть, как нас вести. И возможен ли вообще здесь проход. Эти минуты были для нас желанными передышками, однако неуверенность ведущего передалась и нам. А известно, что, когда человек не уверен в дороге (например, заплутавшись), он старается пройти эту дорогу как можно быстрее, он жаждет уверенности. Он думает, что сейчас рывком преодолеет неизвестный участок и тогда наступит полная ясность. Но ясности не наступает, потому что вся дорога оказывается неизвестной, а может быть, и неправильно выбранной.

Между тем скалы становились все сложнее, одуматься мы не хотели и все более отчаянно и судорожно рвались вверх. Сзади раздался трезвый голос одного из ребят, обращенный как бы не к Валерию Георгиевичу, а к себе самому:

— Здесь уже есть куда падать. Такие скалы полагается проходить со страховкой.

Когда запаленные, обливающиеся потом, с онемевшими мышцами рук и ног, с болью в легких, с окровавленными о колючки руками мы все же выбрались на гребень, Александр Александрович со своим отрядом стоял уже там, и были они спокойны и свежи, словно и не совершали подъема.

— Проверим пульс. Нашли? Внимание! Раз!

Пульс трепыхался под пальцами, как воробей, накрытый ладонью и желающий вырваться. Я едва успевал считать пулеметную дробь сердечных ударов. Александр Александрович стал задумчив после того, как мы сообщили ему свои результаты. Самого себя я не видел, но на Олю было жалко смотреть. Она хватала воздух открытым ртом, а сквозь прирожденный постоянный румянец ее щек, особенно в складках (на месте будущих взрослых морщин), проступила известковая бледность. С этой минуты исподволь, осторожненько Александр Александрович стал готовить нас с Олей, особенно Олю (вернее, меня в отношении Оли), что, может быть, нам придется отказаться от восхождения на вершину.

Но пока что нам предстояло всего лишь спуститься в лагерь. В голове отряда опять шел Александр Александрович, и с нашего гребня мы видели, как на противоположной стороне открывшейся перед нами долины с грандиозной вогнутой плоскостью лежал ярко-зеленый травяни-

стый склон. Он сосредоточивал наши взгляды, как вогнутое зеркало, хотелось оттолкнуться и пролететь полукилометровую толщу воздуха, так ласкала наши глаза его чистая зелень, которую как раз пересекало нанское (слева направо и снизу вверх) рыжее, с фалангу мизинца величиной, пятнышко горной косули.

Итак, утреннего томительного состояния — сумею ли я сегодня сделать все, что предстоит, что будут делать все остальные, — больше не было. До нового утра. Сегодня все сделал. Худо ли, хорошо ли, но справился. Теперь — два часа пути в лагерь. Два часа, и все под гору! Сердцу легче, а ногам тяжелее. Может, и не тяжелее, чем в гору, но неудобнее. Очень неудобно и непривычно ногам спускаться по крутым травянистым склонам. Ноги быстро устают, особенно в щиколотках, начинают вихляться и подвертываться. Не верится, что где-то есть ровная земля, по которой можно спокойно ходить. Кроме того, в этот день, в эти последние два часа, на меня навалилась жажда.

Водный баланс еще не отрегулировался в моем организме. Из меня вода льется и правда как из выжимасмой тряпки, а пить я стараюсь как можно меньше. Вот почему на сегодняшнем походе неукротимая жажда подступила ко мне: к гортани, к губам, к языку, к небу. Сколько я мог бы сейчас выпить? Например, пива? Да хоть бы один глоток! Помню, однажды в летний день засели с приятелем... Нелепость какая, если посмотреть отсюда, с травянистого склона: нарочно возбуждали в себе жажду, чтобы потом ее утолять! При расчете оказалось, что высосали в тот день восемнадцать кружек пива. По девять кружек на брата. Зачем? Пить ведь не хотелось тогда. Один бы глоток сейчас из тех восемнадцати кружек. Но некоторое чувство мне говорит, что, может быть, вовсе, если бы и поднесли к самым губам, я не стал бы сейчас пить пива, ни одного глотка. Пить хочется, это правда. Но я обсох наконец. Струи пота не щекочат лба и щек. Я иду легко. Сердце работает без нагрузки. Только вот ноги немного вихляются. Явственно чувствуется, что если бы я выпил сейчас бутылку пива, то снова сразу же бросило бы меня в противный пот, а в груди потяжелело бы, словно вместо сердца положили туда холодный липкий речной булыжник.

Учебник говорит: «Альпинист теряет много влаги,

потребность организма во влаге зависит от высоты, сухости воздуха, сложности пути, нагрузки, выносливости и тренированности альпиниста; обычно она колеблется от двух до трех литров в сутки, а с высотой возрастает. Основное количество влаги организм должен получать во время утреннего и вечернего приема пищи на бивуаках. Беспорядочный прием влаги в продолжение ходового дня недопустим: это не утоляет жажды, вредно действует на сердце, повышает потоотделение и приводит к вымыванию с потом солей из организма. Днем во время большого привала пить можно».

«Во время большого привала пить можно». Скоро будет такой привал. Даже и не привал, а ночлег. Мимо наших палаток течет ручей. Это не ледниковая вода, которая тоже по-своему сладка и холодна, но все же пустовата, бессола и пахнет только снегом и льдом. Этот ручей — родник. Он вытекает из земли невдалеке от нашего лагеря.

От места рождения до палаток он пробегает по земле каких-нибудь четырехста метров.

Из многих кружек, чисто вымытых дежурными и лежащих под деревом, я выбираю большую фарфоровую чашку, случайно попавшую в компанию алюминиевой и эмалированной походной посуды. Ополаскиваю ее в струе ручья и с краями наполняю водой. Одна черненькая точечка крутится около белого дна в еще не успокоившейся воде.

Может быть, это попала песчинка, может быть, другая какая-нибудь соринка. Я черпаю снова, и теперь вода от края чашки до дна абсолютна чиста. Я отхожу от ручья и сажусь под деревом на плоский удобный камень. Теперь ничто в мире не мешает мне выпить эту чашку самого вкусного, самого сладкого, какой только может быть на земле, напитка — фарфоровую чашку холодной родниковой воды, зачерпнутую мной в ручье, светло и весело бегущем мимо нашего бивуака в тени арчовых кустов по серым камням в травянистых бережках под чистым — сегодня — солнечным небом.

...Когда в Москве шли разговоры о восхождении на вершину, имелась в виду просто вершина, еще неизвестно какая — какой высоты и какой трудности. Может быть, Александр Александрович имел в виду нечто определенное, знакомое ему, а может быть, и он не сразу принял решение.

Не могу вспомнить, при каких обстоятельствах было произнесено впервые слово Адыгенé, но постепенно это

слово стало повторяться все чаще и чаще. Так на фронте в минувшую войну возникало новое направление. Никому не известный ранее городок или пусть хоть и крупный город, но все же не участвовавший в солдатских разговорах, приказах и сводках, вдруг становился как бы главным на всем земном шаре. Все, от маршала до солдата, знали, что этот город придется брать, что не обойти его, не объехать, что он становится судьбой, и действительно становился потом судьбой для сотен и тысяч человек.

Кажется, это было так. Мы с Александром Александровичем шли по территории лагеря, намереваясь поговорить с начальником о возможности истопить финскую баню. Около палатки начспаса (начальника спасательной службы) мы остановились, и начспас, опытный альпинист, вынужденный (впрочем, может быть, не без удовольствия) сидеть в лагере, мужчина лет сорока — сорока трех, с небольшими голубыми глазками на красном лице, спросил у Александра Александровича, куда он намерен повести свою группу.

— Думаем сделать Адыгене.

— А чего не Электро? Проще же.

— Именно потому, что проще. И потом, что это за название для первой в жизни вершины? Адыгене звучит лучше. Ребята, да вот, возможно, и Владимир Алексеевич, будут делать первое восхождение. Пусть будет Адыгене.

Сейчас мне странно думать, что было время, когда я не сразу запомнил это слово и даже записал, чтобы не забыть и чтобы при случае произнести правильно. Это слово ничего не говорило мне. Я скорее стал наводить справки. Первые сведения я почерпнул в одном научном труде, касающемся Киргизского хребта. «...С продвижением на юг высоты хребтов возрастают. Гребни становятся круче и скалистее. Реки глубже врезаются в склоны хребтов, расчленивая их на многочисленные и различные по величине и форме массивы. Особенно сильно расчленен мощный Алаарчинский отрог. Его наивысшая точка (пик Семенова-Тянь-Шанского, 4875 м) является одновременно высшей точкой всего Киргизского хребта. Наиболее высокая вершина Джаламышского отрога — пик Адыгене — достигает высоты 4404 м. Все остальные вершины верхней части бассейна имеют высоту не менее 4100—4200 м над уровнем моря. Весь этот район представляет из себя мощный горный узел с богатым оледенением».

Нетрудно догадаться, что из всей этой характеристики мне в первую очередь запомнилась высота избранной вершины — 4404 метра, и я стал сравнивать ее, пользуясь справочником, с другими вершинами. Я понимал, что для первого восхождения не могла быть выбрана очень высокая гора, какой-нибудь там семитысячник, доступный только перворазрядникам и мастерам. Но все же и четыре тысячи четырехста да еще и четыре метра занимали в горной шкале не последнее место. С определенным злорадством я читал, что высшая точка Пиренеев — Пикоде-Ането — 3404 метра, главная вершина Татр — пик Герлаховского — 2655 метров, что наиболее красивой и популярной вершиной Швейцарских Альп считается пирамида Маттерхорна — 4477 метров и что сам знаменитый Монблан выше Адыгене всего лишь на 406 метров.

Попадалась на глаза разная горная мелочь: Апеннины — 2914 (Гран-Сассо), Карпаты — 2543, Родопы — 2191, Балканские горы — 2376, Саянские горы — 3491 метр... Правда, Алтай своей высшей точкой превышает Адыгене, но всего лишь на сто два метра. Да что говорить! Ведь и Казбек не так уж далеко ушел от нашей избранницы: пять тысяч полъ тридцать три.

В лагерном клубе, там, где висят фотографии высочайших горных вершин Советского Союза, а также разные поучительные плакаты, вроде: «Переползание ненадежного снежного моста через ледяную трещину», «Узлы для связывания веревок», «Самозадержание на льду», «Оказание первой помощи», «Транспортировка пострадавшего в носилках-корзине и в носилках методом волочения», — я обнаружил картину-схему, выполненную в синевато-белых и коричневых тонах. Картина изображала Адыгене, подступы к ней и жирный пунктир наиболее удобного маршрута восхождения. Саму белоснежную вершину художник расположил в левой верхней части картона. Вправо к середине картона спускался от вершины крутой снежный склон, из которого в двух метрах вылезали наружу острые скалы. Спустившись достаточно низко, склон образовывал седловину и начинал опять подниматься. К этой-то седловине и вел снизу вертикальный черный пунктир, который затем поворачивал налево и устремлялся вверх по снежному склону, прокарабкиваясь по первому скальному выходу и огибая второй. На вершине, как полагается, рдел красный флажок. Я побежал за тетрадкой и добросовестно переписал в нее объяснительный текст.

## ВЕРШИНА АДЫГЕНЕ (4404 МЕТРА)

### *Местоположение*

*Вершина Адыгене расположена на гребне Джаламышского отрога, протянувшегося с севера на юг и с востока на запад. От вершины отходят небольшие отроги. На северном склоне лежит крутой ледник.*

### *Маршрут восхождения.*

*От стоянки «Электро» нужно пройти прямо на юг по галечниковой площадке, подняться правее конечной морены ледника и войти в ложбину между этими моренами и склонами пика Электро. По хаотическим нагромождениям камней продолжается движение сначала на юг, потом на запад, в ущелье между массивом пика Панфилова и гряды Электро — Адыгене. Дальше идти следует по моренной гряде правее языка ледника Панфилова. Не доходя до конца моренной гряды, по крутой осыпи следует подняться на перевальную точку гребня.*

*Подъем от перевальной точки гребня до вершины осуществляется по широкому разрушенному гребню крутизной 30°. В средней части подъема встречаются две скальные гряды. Первая из них проходится по разрушенному скальному кулуару, вторая — слева. Не доходя сто метров до вершины встречающаяся на пути черная скала обходится справа. Для страховки восходителей в этом месте натягиваются перила.*

*Спуск с вершины совершается по пути восхождения.*

*Спуститься с перевального гребня удобнее по мелкой осыпи справа.*

Теперь я часто приходил в клуб и подолгу стоял перед картинкой.

Очертания вершины, с ее более крутым левым склоном и с более пологим, но зато и более протяженным правым, запечатлелись во мне, и я представлял их себе в любое время без всякой картинки. К тому же очень скоро я сделал важное открытие, после которого исчезла необходимость торчать в клубе перед живописным куском картона.

Несколько ниже лагеря по тому же Алаарчинскому ущелью стояли две юрты. Около них паслись несколько коров и две лошади. Иногда доносился оттуда собачий брех. Зная по опыту, что в подобных юртах всегда имеются кумыс и айран, я предложил Оле прогуляться до юрт и попить одного или другого напитка. Сумерек еще не было, но

дело шло к ним. Догадываясь, что в юртах живут киргизы, я спросил у девушки, моющей в ручье молочную флягу, спросил, не сомневаясь, что она меня поймет:

— Кумыс бар? Айран бар?

Девушка посмотрела на нас как будто дружелюбно, ничего не ответила. Между тем, услышав постороннюю речь, из юрты вышла старуха. Я обратился и к ней с тем же двойным вопросом. Старая женщина что-то сказала девушке на своем языке, и девушка потянула за веревку и достала из ручья еще одну флягу и открыла ее. Старуха тем временем принесла пиалу. Мы с Олей выпили по большой пиале холодного (из горного ручья!) жирного айрана. Я попытался заплатить за него доброй женщине. С большим трудом мне удалось всучить ей деньги.

Не для того я вспомнил о нашем походе за айраном. Дело в том, что когда я пил айран и оторвался от питья на середине пиалы, перевел дыхание и поднял глаза, то увидел нечто знакомое и прекрасное. С того места, где стояли юрты, просматривалось вдаль одно поперечное ущелье, которого не видно из нашего лагеря. Вход в него обозначался двумя холмами, поросшими лесом и кустарником. Эти две горы, обозначающие ворота в ущелье, находились недалеко от нас и были видны во всех подробностях. Свет в эти часы распределялся так, что склоны, обращенные к нам, казались темными. В глубине ущелья пересекались сбегаящие справа и слева зеленые косогоры. Первые два косогора, вторые два косогора (дальше и выше первых), третьи два косогора (дальше и выше вторых), четвертые, пятые... Их только условно можно было считать зелеными, поскольку мы знали умом, что они травянистые; на самом же деле они были: первые два, вблизи нас, — действительно зеленые, точнее, темно-зеленые от затененности, вторые два — светло-зеленые (откуда-то падало на них больше света), третьи — лиловые, четвертые — светло-лиловые, дальше — синие, голубые, похожие больше на дымку, а не на горы, а над всей этой убегающей от нашего взгляда чередой, поднятая высоко в небо, светилась и сияла нежно-розовая снежная шапка Адыгене! Я тотчас узнал ее по очертаниям. Не мог не узнать. И что значила бы для меня теперь плоская масляная картинка на картоне, когда сквозь начинающиеся сумерки я увидел ее настоящий снег, ее настоящую поднебесную высоту, ее настоящую даль.

Признаюсь, в эту минуту я впервые почувствовал, что, может быть, мне так и не удастся взойти на эту вершину. Так она и останется для меня розоватым видением, возникшим над голубыми горами в то мгновение, когда я оторвался от холодной кружки айрана и поднял свой взгляд. Есть на земле вещи, про которые человек вынужден бывает сказать, глядя правде в глаза: «Это не для меня. Это уже не для меня».

С тех пор иногда в предсумеречные часы я уходил из лагеря на то место, откуда видна белая Адыгене. Если облака не закрывали, словно ватой, все ущелье и не загораживали всю вершину, я сидел там на камне, подстелив под себя куртку, и час, и два.

Сначала это покажется нелепым — сидеть два часа и смотреть на одну и ту же снежную далекую гору, но потом, когда зудящие и щекочущие участки сознания смирятся с неизбежностью и затихнут, перестанут зудеть, откроется окно в глубину души. Как бы раздвинутся некие шторы (как, скажем, раздвижная стенка комнаты, выходящая в сад), граница между душой и миром исчезнет, они сольются в одно. И тогда двух часов, может статься, окажется мало.

Но и без этих часов любования невольно создавался среди нас культ Адыгене. Все, что бы мы ни делали в эти дни, все делалось ради нее, ради конечной цели нашего здесь пребывания, ради восхождения, которое должно было в последние два-три дня увенчать все наши уроки, усилия и труды.

Любуясь Адыгене, я знал, что между нею и мной, кроме расстояния и высоты, лежат часы и дни тренировок, скалолазание, а также ледник Аксай, про который говорили мне, что он — как бы генеральная репетиция и проверка: если сходил на Аксай, может быть, взойдешь и на Адыгене. Может, взойдешь, а может, и нет. Но правда состоит в том, что если ты не выдержал похода на Аксай, то об Адыгене надо забыть сразу и навсегда.

Хемингуэй написал на какой-то из своих многочисленных страниц, что все люди делятся на две категории: на людей, видевших леопарда, и на людей, не видевших леопарда. Имеется в виду не зверинец, конечно, а дикий африканский лес. В ближайшие дни я понял, что еще более категорично все люди делятся на людей, лававших



по скалам, и на людей, не лазавших по скалам. Два разных качества, две разные психологии, два разных человека, хотя разница создается всего за несколько дней.

Для нас скалолазание началось с очень прозаического и кропотливого занятия — с вязания узлов.

Тут надо сделать несколько оговорок. В современном альпинизме скалолазание делится на свободное и искусственное. Свободное — это когда человек цепляется руками и ногами за выступы скал, за бугорки, за выщербины и выемки, за щели — одним словом, за сами скалы. Искусственным же называется лазание с применением искусственно созданных точек опоры и зацепок. В скалы по мере продвижения вверх забивают металлические крючья, на которые можно становиться либо зацеплять за них веревки. В последнее время используют даже небольшие веревочные лесенки, шириной, чтобы уместилась ступня, и высотой в три-четыре ступеньки.

Но все равно и свободное лазание не обходится без веревок, употребляемых, правда, не для продвижения вверх, но для страховки, и в этом смысле оба современных альпинистских лазания отличаются, в свою очередь, от лазания чистого, когда никаких веревок, никакой страховки быть не может, но когда спортсмен лезет по скалам просто так, на свой страх и риск, и в случае срыва ничто уже его не удержит и не спасет.

«Чистые» скалолазы презирают альпинистов и говорят, что они испортили этот замечательный вид спорта. «Мало ли куда можно залезть, страхуясь при помощи веревки», — говорят чистые скалолазы. Но с ними я не согласен. Во-первых, веревка не является подсобным средством для лазания, не помогает движению по скале, но только страхует. Я сравнил бы ее с лодкой, идущей на некотором расстоянии от пловца, вздумавшего переплыть широкий пролив. Да, лодка спасет пловца, если он выбился из сил, но плыть ему она вовсе не помогает.

Во-вторых, у альпинистов, в отличие от чистых скалолазов, другая цель. Им нужно не просто пройти эти скалы, но взойти на вершину. Прохождение скал для них не цель, а средство достижения цели. Скалы — досадная преграда на пути, которую нужно преодолеть, чтобы идти дальше, а вернее, выше.

Но всему должен быть предел. Все же спорт есть спорт, и о металлических крючьях, то есть об искусственном

скалолазании, можно спорить. При помощи крючьев и лесенок действительно можно залезть куда угодно, даже и на фабричную трубу. Если брать нашего пловца через широкий пролив, то крючья и лесенки — все равно что резиновые пузыри, которые поддерживали бы пловца на воде.

— Но как же быть, если пути к вершине преграждают отвесные, непроходимые скалы?

— Надо найти такой маршрут, который можно пройти без крючьев и лесенок.

— Но если нет такого маршрута к данной вершине?

— Значит, она недоступна. На облако тоже нельзя залезть, никто и не лезет. Но при помощи воздушного шара или вертолета — пожалуйста.

Точно так же есть две точки зрения на применение на больших высотах кислородных приборов. Надо взойти на вершину, а воздуха не хватает. Воздух разрежен. Кислорода в нем мало. Альпинисты задыхаются, слабеют, ноги становятся ватными. Каждый шаг приходится делать на четыре счета. Воткнуть впереди себя в снег ледоруб, опереться на него и шагнуть к нему — раз. Три вдоха и три выдоха. Получается четыре счета. На третьем вдохе вытянуть ледоруб и снова воткнуть его впереди себя. Шагнуть к нему — раз. Три вдоха и три выдоха... Шаг за шагом — к вершине. Час, другой, третий. Может наступить сердечная недостаточность. То ли дело — кислородный прибор! Дышится вольготно. Разреженность воздуха уже не имеет никакого значения. Но ведь вместе с этим исчезает и понятие высоты. Тогда какая разница, где шагать по снегу — на семи тысячах над уровнем моря или на Воробьевых горах?

— Но надо же взойти на вершину?

— Зачем? Если это надо из практических соображений: руда, алмазы, установить измерительные приборы — одно дело. Смешно идти в этом случае без кислородного прибора и тем самым усложнять свою задачу. Но если просто хочется взойти из спортивного интереса, тогда уж, будьте добры, всходите как есть. Мы начали сравнивать горы с морем и альпинистов с пловцами. Продолжим это сравнение. Существует спорт-ныряние в глубину. Не знаю, какой там рекорд, но, допустим, сорок метров. А если с аквалангом? То есть с тем же самым кислородным прибором? Не другой ли это получается вид спорта?

Нам предстояло лазание свободное, но, с другой стороны, и не чистое. Мы не собирались применять крючья и лесенки, но мы должны были страховаться веревками. Вот почему Александр Александрович учил нас вязать узлы. Все узлы он разделил по назначению на три группы. Необходимо связать концами две веревки. Узлы: прямой, ткацкий, брамшкотовый и академический. Нужно привязать себя к концу веревки или привязаться к ее середине. Узлы: узел проводника, булинь, двойной булинь и так называемый схватывающий узел, который называли сначала узлом Прусика, по имени не то швейцарского, не то австрийского альпиниста, придумавшего его. Но потом, в годы борьбы с низкопоклонством перед Западом, этот узел был разжалован и теперь называется схватывающим.

Узел действительно хитроумен. Альпинист привязывает себя репшнуром к основной веревке и может свободно двигаться вверх, передвигая рукой по мере надобности и узел. Вверх узел Прусика скользит легко и свободно. Но если альпинист срывается, то узел намертво схватывается за веревку и вниз не скользит, не двигается. Рассказывают, что сам Прусик погиб на веревке по глупой оплошности. Репшнур между ним и веревкой оказался длиннее его руки. Когда он сорвался и узел, придуманный им, схватил за веревку и удержал альпиниста от падения, то альпинист, висев в воздухе, не смог дотянуться руками до веревки, подтянуться к скале, зацепиться за нее, продолжать восхождение или спуститься. Его нашли много времени спустя в подвешенном состоянии. Но узел не подкачал.

Целый день, не только на занятиях, но и на бивуаке, мы вязали булини, двойные булини, брамшкотовые, ткацкие, академические и схватывающие узлы. Девушки оказались понятливее нас насчет узлов, быстрее запомнили их, пальцы их работали проворнее наших неповоротливых пальцев, и мы то и дело обращались к ним за помощью.

Были еще узлы третьей группы, вспомогательные: стремя, удавка, узел Бахмана. Но если мы и сами, держа концы веревок в руках, все время путались и сбивались, то еще легче запутать в этих узлах читателя. Важно другое: освоив технику вязания узлов, мы наконец подошли к скалам, к вертикальным гладким камням, взбираться на которые без пожарной лестницы еще час назад мне не

пришло бы в голову. Да и какой пожарной лестницы хватило бы подняться на скалы, у подножия которых мы казались маленькими букашками, приползшими издалека, сбившимися в темную кучку, начавшими снова вдоль подножия скал, затем подползшими к ним вплотную и начавшими ощупывать передними конечностями каменную стену, как ощупывал бы, поднявшись на задние лапки, и муравей преградившую ему путь каменную глыбу.

Была теоретическая часть. Александр Александрович<sup>А</sup> спокойно, по-преподавательски рассказал нам основные, общие правила скалолазания. Причем получалось у него так, что каждое правило выражалось в одной фразе, как бы в афоризме, а потом развивалось, расшифровывалось, разъяснялось в подробностях.

#### 1. Пройти маршрут глазами.

То есть, подходя к скалам, внимательно осмотри их и — действительно — глазами взберись на них, намечай выступы, за которые можно уцепиться, наметь, где можно несколько секунд отдохнуть, где будешь менять направление; короче говоря, лучше, пожалуй, не скажешь — пройди маршрут глазами.

Забегая вперед и в виде своего комментария к правилу должен сказать, что проходить маршрут глазами — самое приятное в скалолазании. Стоишь внизу, задрав голову кверху, легко, плавно, от зацепки к зацепке, поднимаешься вверх. Ноги и руки действуют согласованно. Твои движения экономны, даже изящны; и ты уже видишь, ты уже понял, что маршрут пройти можно, ты уже наверху — трудное, отвесное, гладкое, жесткое позади. Тогда тыходишь к скале, стараешься подушечками пальцев присосаться к выступу, казавшемуся тебе зацепистым, ногой упираешься в выступ, казавшийся тебе широким, и, к ужасу своему, убеждаешься, что пальцы не зацепляются, а башмаки соскальзывают и что надо не забыть еще о следующем важном правиле скалолазания.

#### 2. Три точки опоры.

Следи за тем, чтобы во время карабкания у тебя всегда сохранялись три точки соприкосновения со скалами: две руки и одна нога, две ноги и одна рука. Нельзя отпустить обе руки и опираться только на ноги, так же как и нельзя повиснуть на обеих руках, освободив ноги, а тем более повиснуть на одной руке. Нельзя опираться на одну ногу и цепляться одной рукой. Всегда непременно и обязательно

сохраняй на скале три точки опоры. Ухватился обеими руками, можешь передвинуть одну ногу, уперся обеими ногами, можешь перехватить одну руку. Три точки опоры — железное правило скалолаза.

Как прекрасно было бы иметь шесть рук и шесть ног. Девять рук, девять ног! Вообще — чем больше, тем лучше. Тогда я, легко держась за скалу множеством остальных конечностей, мог бы освободить одну ногу, чтобы опереться ею о следующую каменную шероховатость. Или освободить одну руку, чтобы подтянуться ею выше и нашарить трещину в камне, за которую можно уцепиться конечными фалангами пальцев. Но когда под тобой существует уже возможность протяженного многосекундного падения (сумел-таки докарабкаться) и ты более или менее надежно держишься на скале, присосавшись к ней всеми возможными точками (а их всего лишь четыре), каково отрывать от скалы ногу и шарить ею, скребя железом вертикальную, до противности гладкую стенку.

### 3. Найди опору, опробуй ее.

Смысл этого правила в том, что камень, кажущийся глазу надежным, может выковырнуться из своего гнезда, сдвинуться с места, выскользнуть из-под ноги и руки, полететь вниз. Нетрудно догадаться, что и сам альпинист полетит вслед за ним. Значит, прежде чем перенести на камень всю тяжесть тела, попробуй его, покачай рукой, потолкай ногой и только после этого опирайся. Само собой разумеется, что если камень выдержал один раз твою тяжесть, когда ты держался за него рукой, то старайся и ногой попасть на этот же опробованный надежный камень.

До сих пор осталась и живет в руках и ногах сладость прочности и неподвижности выбранной опоры, когда она выдерживает сначала твой опробывающий нажим, а затем основную нагрузку. Но практически, однако, невозможно проходить по скалам, опробывая каждый выступ. Доля интуиции, наития, вдохновения неизбежно помогает альпинисту, приносят цепочку мгновенных радостей, когда опоры не ускользают из-под ног, а словно подсаживают тебя все вверх и вверх, словно подталкивают под железоокочаные подошвы, но отнюдь не резкими, а плавными, пружинистыми, быстро чередующимися подталкиваниями.

### 4. Двигайся плавно, с минимальными остановками.

Не только потому надо двигаться плавно и по возможно-

сти без остановок, что при плавном движении меньше тратится сил, чем при резких и порывистых движениях, и не только потому, что при этом камни и вообще опоры под тобой испытывают меньше нагрузки, чем при резких толчках. Тут, видимо, действует тот же закон, который не допускает промедлений и не велит останавливаться циркачу, акробату, гимнасту, начавшему сложный комплекс, коннику, берущему ряд препятствий, слаломисту, уже оттолкнувшемуся палками, жонглеру, уже бросившему в воздух первые тарелки, мячи и кольца. Все они находятся уже во власти ритма и скорости, которые помогают им, вынося на себе, и, пожалуй, самый простой пример тут мог быть вовсе не с жонглером и акробатом, а с обыкновенным велосипедистом, особенно делающим первые попытки удержаться на шатком вертикальном предмете и удерживающимся на нем исключительно благодаря плавности и непрерывности движения. Можешь колебаться, медлить, не начинать движения, но если уж начал, пошел — иди и не спохватывайся на середине, теперь у тебя только одна дорога: вверх, вверх и вверх.

Были там и другие правила, как-то: «иди ногами» (то есть: ноги гораздо сильнее рук, поэтому старайся, чтобы на них падала основная нагрузка), «используй трение», «применяй распоры», «старайся двигаться по вертикали», «дальше от скалы — ближе к скале».

Это последнее правило, исполненное, так сказать, острого противоречия, требует пояснения.

Дело в том, что, с одной стороны, тебе хочется ближе и плотнее прижаться к скале, но, с другой стороны, чем ближе ты прижался к скале, тем труднее тебе передвигаться по ней. Это объясняется простыми законами физики, механики, математики. Неровности на скалах (по крайней мере, на большинстве из них) так уж устроены, что имеют наклон не в скалу, а в долину. Представьте себе выступ шириной три сантиметра. При скалолазании это прекрасная опора. Если бы он был перпендикулярен к стене, то на него легко было бы опереться краем ботинка, но он имеет внешний наклон и образует со стенкой тупой соскальзывающий угол. Значит, чтобы нога оказалась к нему перпендикулярной, ее надо сначала отклонить от скалы и ставить на выступ, так сказать, со стороны долины. Вот почему чем дальше отклоняешь весь корпус от скалы, тем легче за нее зацепляются ноги, хотя самому тебе хочется прижаться к скале как можно плотнее. Психология вступает в проти-

воречие с законами математики и физики, но, конечно, только на самых первых порах. Потом привыкаешь.

Наши скалы были учебными. Они были во всем самыми настоящими труднодоступными скалами, но только имелся на их верх окольный, более легкий путь. Так что первые наши ребята, на которых ложилась обязанность страховки, не должны были идти с нижней страховкой, но ушли наверх по тропе и вскоре оказались над нами с веревками.

Страхующий наверху накидывает веревку на какой-нибудь надежный зубец скалы и становится пониже этого зубца. Один конец веревки бросается вниз, за другой конец страхующий держится, упираясь ногами. Внизу альпинист привязывается к веревке, и начинается движение по скалам. По мере того как альпинист поднимается, страхующий выбирает веревку, чтобы она всегда была почти натянута. В случае срыва альпинист провисает на веревке, ибо она тормозится о зубец, а страхующий крепко держит ее, иногда для надежности перекидывая через плечо и пропуская под мышку. Надо только не допускать маятника, то есть надо идти по скале прямо на страхующего. Если же отклонишься в сторону, то нетрудно догадаться, что при срыве не просто повиснешь на веревке, но полетишь по амплитуде и будешь качаться, а может быть, даже ударишься о скалу.

В этом заключается суть верхней страховки. Но как быть, если скалы не учебные, маршрут неизвестен, нет обходных путей и, чтобы организовать верхнюю страховку для всей восходящей группы, один альпинист должен сначала идти вверх? Тогда говорят, что он пошел с нижней страховкой. Представим себе действия альпинистов в этом случае. Группа остановилась на площадке, на которой удобно, во всяком случае, можно стоять. Уходящий вверх обвязывается концом веревки. Внизу ее будут крепко держать. Он прошел несколько метров — и тотчас должен найти каменный зубец, за который можно перекинуть веревку. Перекинув, сдвинулся влево и снова пошел вверх. Теперь если он сорвется, то повиснет на этом зубце (внизу веревку крепко держат), но он не должен уходить от зубца выше чем на три метра. В случае срыва ему придется пролететь три метра до зубца и три метра после зубца, то есть всего шесть метров. Это еще не опасно. При десяти метрах полета обвязывающая веревка в момент повисания ломает ребра. Так от зубца до зубца альпинист уходит вверх, пока не выберет удобной площадки, стоя на которой он мог бы страховать всю остальную группу уже верхней, более

надежной страховкой. А потом все повторится сначала. Но только на новой над уровнем моря и на новой относительной — над ущельем, над долиной, над подножием горы — высоте.

Первая смена страхующих ушла вверх и сбросила нам концы веревок. Всего было восемь маршрутов, возрастающих по сложности от первого до восьмого.

Александр Александрович подошел к стене, показавшейся мне совершенно гладкой, и привязался к веревке.

— Страховка готова? — крикнул он наверх.

— Готова.

— Пошел!

Это уж про свои действия полагается крикнуть, что «пошел». А крикнув, надо идти. Согласитесь, что, крикнув «пошел», ничего больше нельзя делать, как идти. Не будешь, крикнув «пошел», стоять на месте и топтаться в нерешительности. Пошел так пошел.

Александр Александрович поднял руки, пошарил ими по поверхности скалы, поскреб железной подошвой о каменную плоскость и вдруг поднялся на полметра. Уперся в несуществующую шероховатость другой ногой, поднялся еще, перехватил руками, и не успели мы взглянуться как следует в его действия, как он уже стоял около страхующего и отвязывался от веревки, за какие-нибудь две минуты пройдя тот десяток метров, который определялся третьим маршрутом.

Один за другим стали раздаваться возгласы:

— Страховка готова?

— Готова.

— Пошел!

Надо сказать, боязни скал, боязни высоты, как таковых, и вообще страха ни у кого из нас не оказалось и в помине. Осталась только деловая часть наших занятий — залезть; остались расчеты — как залезть; осталось наблюдение за другими — как лезут они; осталось стремление пройти по порядку все маршруты.

Скажут: чего же бояться, если привязан к веревке и упасть не дадут. Да, но попробуйте привяжитесь к веревке и подойдите к краю крыши десятиэтажного дома или встаньте на верхний обрез фабричной трубы. Если не боязнь высоты, то, во всяком случае, некоторую неуверенность в поджилках вы почувствуете. Но если вас будет группа, если вам нужно будет заниматься конкретным



делом на краю крыши, то для боязни, вообще для посторонних ощущений в вашем сознании не останется места, как это бывает у пожарных, у высотников-монтажников, у моряков, у шахтеров, у летчиков или на войне. И только в некоторые мгновения чувство реальности (реальной опасности) может проснуться, и человек на мгновение ужаснется своему положению в пространстве.

Александр Александрович Кузнецов, мастер спорта, делавший самые трудные маршруты, так называемые «шестерки», признался, что однажды на стене ему сделалось страшно. Не то чтобы страшно, но он отчетливо подумал про себя: почему я здесь? какая нелегкая занесла меня на эту стену? Ради чего я не дома, не в тепле за книгой, не на горизонтальной плоскости? Если останусь жив, больше никогда не пойду на стену...

Но потом, конечно, все прошло, и он снова ходил и делал «шестерки» с присущими ему ловкостью, техничностью и выносливостью.

— Что такое «шестерка»? — спросил я у Александра Александровича.

Я знал уже, что существует шкала сложности альпинистских маршрутов, и в этой шкале двенадцать категорий сложности. Однако эти двенадцать категорий зачем-то сведены к шести двоянным пунктам. Вместо того чтобы говорить «первая категория» и «вторая категория», говорят: один «А» и один «Б». Вместо третьей и четвертой категорий говорят: два «А» и два «Б»... Значит, «шестерка» (6А и 6Б) — это, по существу, одиннадцатая и двенадцатая категория трудности. Я это знал. Но я спросил у Александра Александровича, что конкретно, на деле, означает для альпиниста «шестерка»?

— Ну скажем, восемь дней на стене, — спокойно ответил Александр Александрович.

— Как «восемь дней на стене»?

— Стена. Делаем девяносто — сто метров в сутки, а пройти надо метров семьсот — восемьсот.

— Но отдыхать, спать, питаться?

— Все на стене. Забьешь крючья, привяжешь себя, повиснешь и спишь. Или попадетя удобная полка, можно сесть. Или есть возможность натянуть гамак.

— Над пропастью в четырехста метров?

— Об этом не думаешь.

Я не собираюсь делать «шестерку». И даже «тройку». Я уже не успею приобрести для этого ни техники, ни ловко-

сти. Но за эти двадцать дней я понял и свидетельствую, что об этом действительно не думаешь.

Из всей нашей группы только одной девушке приходилось все время преодолевать чувство страха. Ей было не просто трудно пройти скальный маршрут, но еще и страшно. Это было заметно нам всем, да она — Оля Троицкая — и сама не стыдилась признаться в том, что на высоте ей страшно. Однако она прошла все маршруты. Она преодолела страх, но не избавилась от него. Следовательно, это тот случай, когда бывает, что человек, врожденно или приобретенно в младенчестве, не переносит сливочного масла, запаха рыбы, скрипа ножа о фарфоровую тарелку.

Больше всего я опасался за свою дочь. Александр Александрович намекал и мне, и Оле после травянистых склонов и осыпей, что, может быть, ей не придется идти на Аксай, а тем более на восхождение. Так стоит ли, думал я, мучиться ей на этих скальных маршрутах? Я знал, что Ольга догадывается о сомнениях Александра Александровича, смотрящего со стороны, как она будет себя вести. У него было два способа преградить путь Ольге к высоте. Формально ее можно было не пустить на восхождение, потому что ей не исполнилось шестнадцати, так как официальный альпинист начинается с семнадцати лет. Ну, и всегда, по предварительному уговору, лагерный врач мог послушать, посмотреть и запретить выход в горы. Жаловаться, как говорится, было бы некому. Врачебный осмотр перед выходом в горы обязателен.

И вот я вижу, как Ольга подходит к концу веревки. Первый маршрут. Пристегнулась. Завинтила карабин. Не очень уверенным голосом прокричала наверх:

— Страховка готова?

Бородатый Володя, похожий на землепроходца-сибиряка, ответил, что страховка готова.

— Пошел! — крикнула Ольга и начала цепляться пальцами, привыкшими только к перу да еще к клавишам пианино, за острые выемки и выступы скал. Все мы ходили потом в спяках и ссадинах на руках и ногах, но Ольга особенно. С первого движения Ольги по скале выявилось ее самое слабое место — руки. Руки ее, по совести говоря, никуда не годились. В них была цепкость (в пальцах), но не было силы. Хоть правило и велит «иди ногами», но все же без силы в руках далеко не уйдешь. Там, где другой, ухватившись за каменный рубчик, подтянулся бы на руках и подкрепил бы эту подтяжку распором ног, Ольга вы-

нуждена была полагаться только на ноги. Распятая на каменной плоскости (лицом к ней), она подолгу искала опоры для ноги, скребя о скалу железом башмаков, подолгу шарила кончиками пальцев, ища зацепки, а тем временем и руки и ноги уставали от напряжения. На первом маршруте лезущий по скале патыкался на круглый арочный куст, растущий из трещины камня. Мы этот куст обходили справа. Для этого надо было правую ногу вытянуть до предела в сторону и немного вверх, и тогда она упиралась в выступ шириной почти с ладонь. Прекрасный выступ, лучше не придумаешь для того, чтобы опереться. Однако нога в таком вытянутом положении теряет силу. Не было никакой возможности перенести на нее тяжесть корпуса без того, чтобы сильно не помочь руками. При этом брюшной пресс напрягался так, что трещали мышцы. Для Ольги такой маневр был не только не под силу, но и невозможен, помня о двухмесячном послеоперационном шве. Она как следует насиделась под этим злосчастным кустом. Бородатый Володя терпеливо ждал, глядя на нее сверху. Он же и подал ей совет попробовать обойти куст слева. Имелась каменная плоскость и щель сантиметра три шириной, идущая почти горизонтально, но все же с набором высоты. Трех сантиметров достаточно, чтобы крайними триконами цепляться за нее и идти. Правда, руками держаться было почти что не за что. Но это нам только казалось снизу. Ольга находила там какие-то шероховатости и трещинки, в которые можно было засунуть хотя бы кончики пальцев...

Сверху она спустилась раскрасневшаяся, с ободранными до крови руками, но счастливая своей первой победой.

— А как лазил Михаил Хергиани? — спросил я у Александра Александровича.

— Миша полз вверх по стене, как муха.

Скалолазанию было отдано три полных дня. Подменялись страхующие. Мы вразнобой, по желанию, снова и снова проходили кто третий, кто шестой, кто четвертый маршруты. По два и по три раза. Мы уже не смотрели, как лезут другие, мы просто тренировались, и только седьмой маршрут временами привлекал к себе всеобщее внимание, так что внизу мы превращались вдруг в болельщиков за того, кто по этому маршруту идет.

Сложный и высокий сам по себе, он включал еще камин, который никак нельзя было обойти, кроме как пролезть через него.

По справочнику каминными называются «трещинопо-

добные детали скального рельефа, в которых может поместиться человек». Проще говоря, это вертикальные трубы, вертикальные колодцы, но, конечно, без передней стенки, как бы в разрезе. Высотой каминны различаются до нескольких десятков метров. Ширина у них тоже разная. Прохождение каминов называется внутренним лазанием.

«Внутреннее лазание более сложно и менее естественно, чем внешнее... Расщелины, внутренние углы проходят приемами внутреннего лазания... По ним поднимаются, заклинивая ступни и руки... Надо избегать заклинивание коленей и локтей, которое вызывает боль...»

Что значит — заклинить руку? Просунуть кисть руки в щель и сжать ее там в кулак, чтобы нельзя было вытащить. Но продолжим выписку о происхождении каминна.

«Особо стоит техника движения по каминнам. Альпинист, упираясь в обе стороны каминна, стремится расклиниться в них. Если камин узкий, то используются распоры между коленями и ступнями. В более широком каминне употребляется распор спиной и коленями. Средний камин проходится в распорах носки — ступни — спина. В каминне с увеличивающейся шириной, где еще возможны приемы внутреннего лазания, используются «ножницы» — поперечные распоры: правые рука и нога — в одну стену, а левые нога и рука — в другую. Возможен способ преодоления каминна, когда ноги альпиниста упираются в одну стену, а руки — в другую».

Понимаете ли вы, любезный читатель, что тут написано? Представляете ли вы себе, как, оказавшись между двумя стенами в расщелине (пусть она называется каминном), вы начинаете подниматься по ней, упираясь в одну стену руками, а в другую ногами? Или в одну стену спиной, а в другую коленками? И это не на земле, а на большой высоте, среди скал.

Наш камин на седьмом маршруте не был столь широк, чтобы подниматься, упираясь правой рукой и ногой в одну стенку, а левой рукой и ногой в другую. Скорее, сквозь него надо было проползти подобно змее, как, например, только что проползла, протиснувшись своим длинным и сильным телом Лена Цимбалова, и мы, стоя внизу, позавидовали ей, так ловко, красиво и быстро у нее это получилось.

Зато Оля Кутузова, вообще-то очень спортивная и упорная девушка, но маленького росточка, забуксовала в каминне, и тут мы превратились в настоящих болельщиков.

Часть каминна она прошла, но потом заклинилась. Идти

вверх у нее не получалось. А спускаться вниз, к началу камина, и терять пройденное, как видно, ей не хотелось. Но и висеть заклинившей нужны были силы, тем более что девушка все время пыталась найти способ подняться вверх хотя бы на десять, а двадцать сантиметров. Важно было додвигаться по вертикальной трубе, дотянуться до верхнего края камина, а тогда подтягиваться на руках, всячески помогая им ступнями. Прошло десять минут, двадцать, полчаса. Нас поражали не только упорство Оли Кутузовой и ее выносливость, но в равной мере невозмутимость Александра Александровича, который лично страховал всех проходивших седьмой маршрут. Он сверху смотрел, как маленькая альпинистка барахтается в каменных тисках, и все предоставил ей самой, не помогая ни советом, ни делом. Каким делом он мог ей помочь? Ну, потянуть немножечко за страховочную веревку. Может быть, ей и нужно было несколько сантиметров, чтобы дальше пошло само. Нет, Александр Александрович терпеливо ждал, пока спортсменка что-то такое поймет, найдет какой-нибудь способ двигаться вверх, приспособится, применит нужный прием, дойдя до него вот уж и правда в муках творчества.

Постепенно пустого камина под Олей Кутузовой стало делаться больше, а пустого камина над ней — меньше. Она двигалась! После получасовых усилий она в конце концов дотянулась пальцами до края камина, и у нее хватило еще силенок вылезти из каменной ловушки к Александру Александровичу. Мы внизу наградили Олю Кутузову радостными аплодисментами, и она, стоя на краешке камина, не менее радостно раскланялась нам.

Когда я сам докарабкался до камина, то удивился его неожиданной высоте. Снизу он выглядел короче. Казалось, если я подпрыгну (хоть это не спортивно) — ухвачусь за его края. Но два полных моих роста с поднятыми руками могли уместиться в камине, и под ложечкой у меня засосало. Техники внутреннего лазания, чтобы упираться в одну стенку спиной, а в другую коленками, у меня просто не было. Сумею ли я освоить эту технику на ходу? Стенки у камина гладкие, без задоринки. Я попробовал и так, и сяк. Ботинки соскальзывали, руки беспомощно шарили по гладкому камню. Ни одного сантиметра высоты не мог я приобрести в моих судорожных и жалких попытках.

Становилось понятно, что камина не преодолеть. Но не было и дороги вниз. Во-первых, стыд и позор. Во-вторых, спускаться по скалам всегда труднее, чем подниматься, и,

заглянув вниз, на пройденную часть седьмого маршрута, я не представлял себе, как буду спускаться. Конечно, в крайнем случае страхующий спустил бы меня на веревке, как мешок или тюк, но это уж, на виду у всей группы, было бы самое последнее дело, после которого ни о каком восхождении нельзя и заикаться. Дорога к Адыгене пролегла только через камни.

Как и в случае с Олей Кутузовой, Александр Александрович хранил невозмутимость, хотя и не пропускал ни одного моего движения, наверное, про себя оценивая их, а вместе с ними и меня самого.

Спокойно, спокойно, спокойно. Огляди камин еще раз. Тебя не торопят. Подумай, как ловчее с ним поступить. Не за что ухватиться и не на что встать, это правда. Но нельзя ли использовать щель в глубине каминя? Две плоскости сходились под углом, как стоящая вертикально полураскрытая книга. Но в самом углу была еще узкая щель с острыми краями, а за ней в скале некоторая пустота. Ступня во всю ширину не умещалась в этой щели, но, перекосив, можно было кое-как ее там заклинить. Вот же в чем дело! Не на технику ли заклинивания рук и ног рассчитан этот камин? С трудом я протиснул вывернутую ступню в щель. Пожалуй, теперь можно было бы на нее опереться. Но требовалась помощь рук или хотя бы одной руки. Без помощи рук вертикальное движение вверх отклоняло меня назад. Я попытался опереться в стенки локтями — не вышло. Попытался двумя руками ухватиться за края узкой щели, как бы растягивая ее, но устойчивости не оказалось. Тогда в отчаянии я ввел кисть правой руки в щель и сжал ее там в кулак, сильно потянул кулак на себя и вдруг почувствовал, что поднялся, как по ступеньке. Скорее начал заклинивать, также искособочив его, левый башмак повыше правого. Заклинил левый кулак — поднялся. Башмаки заклинивались так крепко, что требовались усилия освободить их из щели. Но все теперь было понятно. Я поднимался вверх, я ухватился за верхние края расщелины, я прошел этот проклятый, этот чертов камин!

На обратном пути седьмого маршрута приходилось по узкой полочке на большой высоте пересекать скалу. Для страховки здесь натянули перила, то есть вбили два крюка в начале опасного места и в конце, а на крюки натянули веревку. Это и называется перилами. Вступив на опасный участок, альпинист пристегивается карабином к веревке или привязывается к ней скользящим узлом. Идет лицом

к скале, спиной к остальному миру, держась за веревку и передвигая по ней карабин или узел. Не очень похоже на то, что мы привыкли понимать под перилами, но по назначению в общем-то одно и то же. Идти и держаться. Когда я прошел перила и посмотрел вниз, то увидел, что моя Ольга пошла на седьмой маршрут.

— Александр Александрович, Саша! — закричал я. — Зачем ты? Ей ни в жизнь его не пройти. Там нужны руки!

— Это не я, — ответил Александр Александрович. — Это она сама. Сказала, попробую. Пусть попробует. Молодец. У нас есть еще полтора часа.

— Хорошо. Только потом помоги ей пристегнуться к перилам...

Говорилось, что скалы не цель. Преграда, которую нужно преодолеть не ради нее самой, как это делают чистые скалолазы, но ради достижения высшей (в буквальном смысле этого слова) цели. Поэтому и при спуске альпинисты не церемонятся со скалами, а если видят, что крутизна и сложность их отнимут много времени, спускаются на веревке. Пусть не возникают перед вашими глазами картины, как спортсмены, привязав к веревке своего очередного товарища, опускают его постепенно, словно в люк, и как он болтается на веревке, безмятежно глядя в горное небо. Все тут несколько посложнее. Вы делаете на конце веревки петлю, накидываете петлю на камень. Таким образом веревка закреплена. Конец ее брошен вниз, и надо убедиться, что он достигает той площадки, на которую вы собираетесь встать. Затем вы садитесь на веревку правым бедром, так что сама веревка оказывается перед вашим лицом, заводите веревку за спину, огибаете ею левое плечо и наискось по груди ведете к паху. Здесь вы крепко держите ее правой рукой.левой рукой будете придерживать за веревочный ствол при спуске, для сохранения вертикального положения, чтобы не запрокинуться головой назад и вниз. Трение веревки, огибающей ваше тело и сдерживаемой правой рукой около паха, достаточно, чтобы вы могли висеть на ней не скользя. Но если вы правой рукой дадите слабину, то веревка, хотя и с трением, передвинется на размер слабину, и вы ровно на этот размер опуститесь вниз. Значит, все теперь в вашей правой руке. Вы выходите на край скалы лицом к ней, осторожно сходите с края и запрокидываетесь спиной пад пропастью так, чтобы веревка натянулась, а расставленными прямыми находящимися под углом к корпусу ногами упираетесь в стену. Правой рукой даете

слабину, ногами отталкиваетесь от стенки — пошли вниз. Слабина — ноги, слабина — ноги. На шее, около левого плеча, даже сквозь парусиновый воротник штормовки часто получаются ожоги от трения веревки, да и бедру с нижней стороны горячо и больно. Но зато вы быстро оказываетесь у подножия скал. Самый острый момент во всей операции, пожалуй, запрокинуться спиной над пропастью. Вы еще не уверились, что веревка вполне держит вас и будет держать, пока вы сами не дадите ей слабину. Вы еще не верите в свою правую руку, от которой зависит ваше движение. Это я говорю о первом разе. Я думаю, что для того, чтоб хорошо отработать такой способ спуска, надо спуститься с учебной скалы сорок, а то и пятьдесят раз. Тогда в настоящих скалах вы будете себя чувствовать уверенно и свободно.

Я попросил ребят с фотоаппаратами сфотографировать Олю, когда она зависнет над пропастью, чтобы потом показать фотографию дома. Спустилась она благополучно, но, к моему удивлению, подошла к Александру Александровичу и попросила:

— Я хочу спуститься еще разика два. У меня получается как-то не чисто.

Скорее всего именно в эту минуту и решился окончательно вопрос, пойдет ли Ольга на ледник Аксай, а потом и на восхождение. По крайней мере, в потеплевших глазах у Александра Александровича я прочитал, что она пойдет всюду, куда пойдет остальная группа.

Едва не забыл сказать, что этот способ спуска со скалы называется способом Дюльфера.

Я жил двойной жизнью. Ночевал в лагере, в комнате. На зарядку бежал на бивуак. Там завтракал и оттуда же уходил на занятия. Однако обедать после занятий шел опять в лагерь. После обеда никаких занятий уже не было, все отдыхали у себя по палаткам (было от чего отдохнуть!), а я отдыхал на койке. Теперь до отбоя у меня было свободное время. Я мог читать, делать записи, гулять в одиночестве, но, конечно, тянуло на бивуак.

— Хочешь маленькое социологическое наблюдение? — сказал мне однажды Александр Александрович. — Вот смотри. Я их по палаткам не распределял. Они распределились сами. Потом, в первый же день, произошли небольшие перемещения, и составы палаток утряслись окончательно. Смотри теперь. Эта палатка: все девочки, так сказать, московская интеллигенция. Оля Троицкая — дочь актрисы



или там театральной костюмерши, Оля Кутузова — дочь генерала, твоя Оля... В той палатке — девочки, поступившие в институт из других городов: Лида Старостина, Тамара, Лена Цимбалова, Галя. Возьмем ребят. В одной палатке — парни, уже отслужившие в армии, в другой — еще не служившие. И все это совершенно стихийно. Интересно, не правда ли?

Надо сказать о некоторых других обитателях бивуака, кроме основного студенческого состава группы.

С Валерием Георгиевичем Лунычкиным, заместителем Александра Александровича по физической подготовке, мы уже кратко познакомились. С опозданием на три дня приехал еще один преподаватель института, геолог Никита Живаго, что называется, крупный, но отнюдь не полный мужчина. Должно быть, ему, подобно мне, захотелось встряхнуться. У меня было перед ним преимущество в годах (он лет на семь старше), а у него передо мной было преимущество в том, что как геологу ему приходилось больше ходить по горам. Он побывал даже на Эльбрусе. Но все же в дальнейшем наши впечатления мы формулировали немного по-разному. Я говорил во время очередного десятиминутного привала или когда останавливались на ночлег:

— Трудно, но можно.

Никита Васильевич отвечал:

— Можно. Но очень трудно.

Был еще один взрослый участник в группе — Альгерт Михайлович, по профессии инженер, но альпинист, мастер спорта, а по происхождению из давным-давно обрусевших немцев.

У него очередной отпуск. Александр Александрович по старой дружбе, скрепленной совместными «пятерками» и «шестерками», попросил его присоединиться к группе, чтобы вся программа не могла сорваться из-за какой-нибудь неожиданности. Ведь если бы Александр Александрович заболел или получил травму (и то и другое вполне возможно в горах), то пришлось бы приглашать для восхождения постороннего инструктора из лагеря.

Александр Александрович, Валерий Георгиевич и Никита Васильевич спали в одной палатке, каждый в своем спальном мешке. Их командирская палатка стояла немного в сторонке. Альгерт Михайлович поставил себе отдельную небольшую палаточку.

Хотите ли несколько штрихов бивуачного и лагерного

быта? Александр Александрович назначил в группе «мать» и «отца». Матерью была Лена Басова, деловая и спокойная девушка, несколько постарше своих подруг, а отцом — Виталий Ярош, высокий, сутуловатый парень, говоривший, как мне показалось, с отдаленным украинским акцентом. У «матери» хранились все деньги, которыми располагала группа, и она этими деньгами распоряжалась. Когда было решено, что завтракать я буду на бивуаке, а не в столовой, то деньги за эти завтраки я вручил тоже «матери». Значит, она была вроде казначея. Практически же снабжением занимался Виталий. Ездить во Фрунзе пополнять запасы продовольствия, хранить их входило в его обязанности.

Двое дежурных — юноша и девушка — превращали продукты в пищу, горячую и в общем-то тодную к употреблению.

Очаг с самого начала расположили около большого бегемотообразного камня, на котором вечером, когда после исполнения всех хозяйственных нужд очаг превращался просто в костер, рассаживались кто успел. Остальные садились вокруг огня на других, более мелких камнях.

Ребята где-то нашли спинку от кровати, положили ее над очагом, и теперь можно было обходиться без обязательных на каждой туристской картинке палок над костром — для подвешивания кастрюль и ведер. Более прозаично, но и более удобно, кастрюли и ведра ставились у нас, как на плиту, на эту решетчатую спинку кровати. Основными продуктами были рис, манка, макаронные рожки, какао. Дополнительными — мясные консервы, сгущенное молоко, печеночный паштет, сливочное масло. Разумеется, хлеб. Мисок не хватало на всех. Некоторые девушки объединялись и ели кашу или рожки из одной миски. То же самое делали мы с Олей. Дежурная клала нам в миску двойную порцию огненной — из ведра — еды. Мы отходили в сторону, садились на камни и поглощали горячее варево, вода ложками по обочинам миски, где каша остывала быстрее.

После каши или рожков следовала кружка какао, сваренного в другом ведре, со сгущенным молоком. С какао съедался кусок хлеба, намазанный сливочным маслом.

Однажды Оля взмолилась, узнав, что на ужин опять будут рожки. Я взял ее с собой в лагерную столовую. Однако по закону подлости (в существовании которого не сомневаются все более или менее наблюдательные люди) и в столовой в тот вечер оказались те же самые рожки.

Я не обедал на бивуаке (кроме походных дней), поэтому

не знал, какими супами кормили «мать» и «отец» свою прожорливую после скалолазания ораву. Только один раз поневоле пришлось принять участие в их обеде.

Наступила очередь Ольгиного дежурства. В силу остротенной добросовестности и стремления делать все хоть немножко лучше, чем другие, она уже за два дня была озабочена и встревожена.

— Папа! Как же я буду кормить их рожками, если они мне и самой надоели?

— Как следует надоели?

— Когда в Москве ты захочешь сказать мне какую-нибудь гадость, скажи одно только слово — «рожки». Этого будет вполне достаточно.

Выручил случай. Альгерт Михайлович, побывав после подъема за кустиками, вернулся с прекрасным подберезовиком в руке. Он положил его на большой камень около очага. Сам по себе этот гриб не имел никакого хозяйственного значения, но он навел меня на мысль, и, побродив по заросшей лесом морене, я набрал превосходных, крепких, без червоточинки, подберезовиков. Несколько сыроежек, несколько маслят и четыре крупных дождевика могли бы вместе с подберезовиками создать тот букет, ради которого стоило трудиться. Я включился в готовку обеда. Я сам перебрал и нарезал грибы. Картошка нашлась. Репчатый лук нашелся. Оставалось добыть сметану. Я вспомнил юрту, где мы с Олей пили айран, и действительно добыл там двухлитровую банку свежей сметаны, которую и бухнул в ведро целиком, когда суп уже был готов и миски были разобраны.

Ольга с сияющим видом раздавала добавки во множество мисок, тянущихся к ее половнику. Я думаю, что если бы просто вылить в ведро столько сметаны и по вкусу посолить, получившуюся бурду уже можно было бы есть и похваливать. Новый вкус бурды приобрела бы с добавлением картошки и лука, то есть из бурды она превратилась бы в хороший суп. Мое детство прошло именно на таких картофельных супах с добавлением молока или сметаны. Такой суп у нас называется беленым. Беленый суп. Если же беленый суп облагородить четырьмя сортами свежих грибов... Мне, конечно, не дали уйти в лагерную столовую, и я разделил заслуженный триумф Ольги, а заодно съел еще миску рисовой каши на второе и запил все это кружкой сладкого чая.

В лагере я жил в большом деревянном доме, похожем по

архитектуре на отели в горных, горнолыжных, горнотуристских местах где-нибудь в Альпах или Татрах. Весь низ этого дома занимали столовая и кухня. Наверх вела очень крутая, только что не отвесная лестница. Наверху — большая терраса в сторону лагерной площади, а также узкий коридор с дверьми направо и налево. Над дверьми вместо номеров висели фанерки с названиями разных вершин и обозначениями их высоты: «Бокс», «Корона», «Свободная Корея», «Адыгене».

Мне досталась комната под вывеской «Бокс». Это было квадратное помещенье, в котором уставились койка, стол, задвинутый вплотную в угол, шкаф и стул. Свободного места уже не оставалось. Но мне и не нужно было свободного места. Не плясать же после травянистых склонов и осыпей. В окно слышалось журчание ручья. Ночью в окно лился лунный свет, обогащенный мерцанием снежной шапки Теке-Тор, а также лился и воздух, охлажденный до нуля и немного ниже.

В первое же утро я пустился в осмотр дома и всех его закоулков. Путешествие было как бы небрежным, а на самом деле внимательным и подробным. Однако — безрезультатным. Не может быть, думал я, чтоб такой большой дом, похожий на швейцарскую гостиницу, в котором не только живут, но еще и работают поварами, официантами, судомойками... не может быть! Просто архитектор очень остроумно решил проблему, замаскировал, и надо найти. После долгого и бесплодного изучения всех особенностей архитектуры этого замечательного дома я приступил к осмотру прилегающей к дому местности. Но и здесь не ждало меня никакого успеха. Между тем время шло, и в нетерпении (вполне понятном) я спросил наконец у первого попавшегося спортсмена, проходившего по территории лагеря:

— Скажите, для жильцов этого дома, в котором столовая, где это?

— А здесь все равны. Для всех это вон там, в конце территории.

Умывальника тоже не было в странном доме. Спортсмены бегали умываться к ручью. Для меня, впрочем, обе проблемы, как известно, отпали со второго же утра: я умывался на бивуаке после зарядки, а тропинка на бивуак пролегла как раз мимо того места, на которое протянутой вдаль рукой показал спрошенный мною спортсмен.

В столовую обитатели лагеря приходили по гонгу:

железная палка и голубой баллон из-под газа, висящий на еловой ветви. В тренировочных костюмах, в пуховках, в штормовках с обтрепавшимися краями рукавов альпинисты заполняли зал и рассаживались за столики. Александр Александрович разъяснил мне разницу между альпинистами и горнолыжниками. Альпинист пренебрежительно относится к красоте своей альпинистской одежды. Как будто нарочно даже старается одеться как можно хуже, измятее, драпее. Парусиновую штормовку он может подпоясать репшнуром, то есть попросту веревочкой. Штормовые брюки, как правило, коротки. Края брюк обтрепаны. Пуховка сама по себе уже не придает фигуре изящества и стройности.

Но, возвратившись в город, альпинист не прочь шикнуть красивой спортивной одеждой и порисоваться в ней. Яркий свитер, дорогие спортивные брюки, изящная шапочка...

Горнолыжник, напротив, в городских обычных условиях ничем не выделяется из своих сослуживцев и сотрудников и старается не носить ничего спортивного. Но, становясь на лыжи, он заботится, чтобы его одежда была красивой и оригинальной. Эластичные яркие брюки, умопомрачительные свитеры, варежки, ботинки, крепления, сами лыжи, лыжные палки — все рассчитано на броскость, на праздничность, на эффект.

Итак, по удару гонга столовая наполнялась альпинистами нельзя сказать чтобы всех, но все-таки разных возрастов: от семнадцати до тридцати. Но не думаю, чтобы кривая достигала четвертого возрастного десятка, а тем более влезала в его толщу. И, конечно, одному мне во всем лагере было к пятидесяти. В разных городах огромной страны, на заводах, на фабриках, на стройках, в научно-исследовательских институтах, в сберкассах и банках, автобазах и железнодорожных депо появляется вдруг у людей стремление в горы. Надо полагать, что альпинист, случайно оказавшийся в коллективе, невольно, а возможно, и вольно становится как бы миссионером, которому удается разжечь у своих товарищей искру альпинистского интереса. Появляется объявление: «Желающие записаться в альпинистскую секцию могут записаться у товарища Аверьянова...» Первые теоретические занятия секции. Значение альпинизма как спорта. История альпинизма в СССР. Основные вершины в СССР. Предварительная физическая подготовка. Сдача норм: бег, лыжи, лазание по канату.

А впереди — заманчивая поездка в альплагерь: Тянь-Шань, Памир, Алтай, Кавказ, Заилийское Алатау. Отряд значкистов, то есть самая первая ступень. И вот они по удару гонга собрались здесь в столовой.

Эстонец-повар, не разговаривающий и даже не отвечающий на «здравствуйте» молодой, худощавый, белобрысый, финского типа человек, готовил очень даже прилично. К приходу альпинистов кастрюли с супом уже на столах. Каждый наливает себе в тарелку четыре половника. Это мог быть борщ с мясом, щи с мясом, гороховый или фасольевый суп, суп с макаронами. Иногда на столе дождалась нас разварная картошка и полная тарелка килек. Второе блюдо шло на уровне гуляшей или тушеного мяса с гарниром из картошки, гречневой каши, рисовой каши, вермишели, рожков... Капустная солянка с кусочками мяса, колбасы, жира. Плов, просто каша. Хлеб и масло. Кисель и компот. Нормальная, грубоватая, но достаточно насыщающая еда.

Альпинисты умеют ценить еду, каждый грамм еды. Недаром в справочной литературе по альпинизму важное место отводится таблицам, указывающим на содержание в разных продуктах белков, жиров, углеводов, витаминов, калорий. Точно рассчитано, сколько на каждого человека и каких продуктов надо брать, например, для похода, акклиматизационных выходов, несложных и сложных восхождений. Фигурируют хлеб, сухари, мясо, колбаса твердокопченая или грудинка, сыр, масло, рыбные консервы, сахар-рафинад, крупа, макаронные изделия, сгущенное молоко, конфеты фруктовые, сухофрукты...

Я видел, как все эти продукты перед восхождением или акклиматизационным походом в горы альпинисты получали на лагерном складе и укладывали в рюкзаки.

Есть выражение, по которому видно, что альпинисты действительно умеют ценить каждый грамм питания и эффект от этого грамма. Про некоторую еду они шутя говорят, что она идет «прямо в кровь». Начспас, протягивая мне апельсин, сказал: «Бери. Прямо в кровь».

То же самое он сказал бы про кубик сахара, про ложку меда, про виноград, про сырое яйцо, про глоток кофе, про таблетку глюкозы.

Конечно, надо есть и картошку, и макароны, и кашу, которые тяжелым пластом ложатся в желудке, и надо ждать, пока там картофельный крахмал превратится в сахар, пока там желудочный сок растворит клейковину, пока

макаронное тесто начнет, раскладываясь на отдельные химические вещества, поступать в мышцы и давать им силу. Но есть такое питание, которое — «прямо в кровь».

На восхождениях, оказывается, бывают такие моменты, когда достижение цели зависит уже не от техники и не от физической подготовки, как таковой, а от ста граммов сахара или чем еще можно его заменить? То есть, короче говоря, от горючего. В обыденной жизни мы никогда практически не доходим до черты, когда горючее на нуле. Это происходит оттого, что человеческий организм очень гибок и совершенен по сравнению, скажем, с «мерседесом», который, если вышел весь бензин, останавливается, и ехать его не заставишь, хоть это и лучшая машина в мире. У человека — сложнее. Для того, чтобы идти в гору, — горючее на нуле. Но для того, чтобы идти вниз, его может быть достаточно. Если же и для ходьбы по ровному месту не хватает горючего (бывают такие случаи), то чтобы сидеть, а тем более лежать неподвижно, его хватит на много дней. Поэтому мы в обыденной жизни и не знаем нуля. Устал идти — садишься на диванчик и отдыхаешь. Устал писать — ложишься на тахту и берешь книгу. Выходишь на прогулку. Любое дело с приходом усталости можно прервать и сменить на другое. Но восхождение ни прервать, ни сменить нельзя. Вот почему там и может оказаться ноль топлива.

Должен сказать также, что питание в лагере стоит дешево. В бухгалтерии я заплатил (из расчета в день) один рубль за комнату и меньше двух рублей за обед и ужин.

Тут случайно еще раз проявилась популярность Александра Александровича в альпинистской среде. Бухгалтер, молодая женщина, выписывая мне квитанцию и начертав на ней фамилию, задумчиво подняла на меня глаза и спросила:

— Солоухин? Солоухин... Что-то знакомое. Это не тот, который написал предисловие к книге Кузнецова?

Иногда гонг раздавался, а столовая оставалась пустой, если не считать лагерного персонала, питающегося тут же. Отряды ушли в горы: на ледник, под Корону, отрабатывать лед и снег, на восхождение. Отряд значкистов — зарабатывать себе значки. Отряды разрядников — зарабатывать себе соответствующие разряды. Они возвращались через несколько дней с обожженными до черноты лицами, с заострившимися чертами лица, усталые. Они побывали там, где нам еще только снится и мечтается побывать.

Лучше всех из лагеря, а также от нашего бивуака видна вершина Теке-Тора. Ее сверкающая шапка то горела под солнцем, то светилась под лунным светом. Но даже и в темноте, когда не было никакой луны, эта шапка умела найти и вобрать в себя какой-то небесный свет и все-таки различалась, мерцала среди звездного неба. Временами ее закрывали облака, тучи, дожди. Но чаще она вырисовывалась четко, до мелочей, и мнилось — окажись человек на снежной белизне Теке-Тора, мы его тотчас различили бы. Но так только казалось. На самом деле вершина была так высоко и далеко, что мы принимали иногда за людей черные пятнышки, которые при ближайшем рассмотрении оказывались большими скальными выходами и камнями. Ближайшее рассмотрение позволяла нам делать подзорная труба, привезенная Альгертом Михайловичем. Обманывался даже Александр Александрович. Однажды мы долго гадали с ним, глядя на черные точки, — камни это или живые существа, и решили, что живые существа. Но подзорная труба, принесенная мною из палатки Альгерта Михайловича, в одну секунду опровергла нас. Оказалось, что это скалы, притом крупные.

Точно стало известно, что завтра между десятью и одиннадцатью с Теке-Тора будут спускаться альпинисты. Восхождение они сделают по другому, невидимому для нас маршруту, а спускаться им придется в нашу сторону по белоснежному склону. У нас были скальные занятия, но то и дело мы поглядывали на отдаленную вершину, великолепно освещенную солнцем. Подзорная труба была с нами. Кто-то закричал наконец:

— Есть! Есть! Я вижу!

Однако простым глазом и на этот раз мы ничего не увидели. Труба разъяснила. Ее надо было положить одним концом на неподвижное плечо камня, иначе от дрожи рук, от неизбежных покачиваний и колебаний длинной трубы изображение все время ускользало из ее круглого поля зрения. Около камня столпились все мы, образовав очередь.

— Спускаются! — восклицала смотрящий. — Двое страхуют, один идет.

— Значит, там очень круто или паршивый снег, — комментировал Александр Александрович эти восклицания.

Очередь дошла до меня. Вершинный снег заколебался перед моими глазами приближенно. Я почувствовал его рыхлость, влажность и подсолнечный холодок. Склон горы,



на который смотришь прямо в упор, всегда кажется еще круче, чем на самом деле, и даже отвесным.

На девственной крутизне Теке-Тора (привык к тому, что она совершенно незапятнанна) я увидел теперь вертикальную борозду, начинающуюся на самой вершине и сбегаящую по снежным склонам. На этой борозде пониже вершины стояли двое альпинистов и, очевидно, воткнув в снег ледорубы, страховали третьего, находящегося значительно ниже их.

Отдаленность и масштаб наблюдаемого были таковы, что движение альпинистов вниз было только предполагаемым, а не очевидным, подобно тому как не улавливается на циферблате движение минутной стрелки. Но все же, пока все ребята пересмотрели в трубу и пока я снова подошел к ней и припал глазом, успел спуститься еще один альпинист. Потом он и все трое собрались в одном месте, и тогда один из них начал спускаться еще ниже. С таким же успехом и с такой же недосыгаемостью мы смотрели бы на космонавтов, передвигающихся по Луне: ни крикнуть им, ни махнуть рукой, ни подать знака. Они находились в другом, отдаленном мире, причем отдаленном не просто километрами воздуха и не просто двумя сутками восхождения, но иным качеством, иным почти измерением. Чтобы попасть на их место, я, например, должен в этом году попасть на вершину и стать значкистом, потом, на будущий год, сделать более сложное восхождение и стать разрядником, и только потом уж... Но и без всяких внешних и нормальных препон я, плоскостной низменный человек, никакими судьбами оказаться там, в белоснежном поднебесье, не мог. Я воображал, какой там снег, какой воздух, какое небо, какой разворачивается перед ними кругозор. Одного я не мог вообразить — себя на их месте.

В перерыве во время скалолазания я сел отдохнуть на камень, где сидел перед этим Александр Александрович, и, увидев книгу, вроде учебничка по альпинизму, начал ее листать. Меня привлек раздел, называющийся «Опасности в горах». Они, опасности, оказывается, тоже подразделяются на группы. Одно дело — опасности, пронстекающие из горного рельефа, как такового. Камнепады, обвалы, лавины, селевые потоки. Другое дело — опасности, пронстекающие из горного климата. Туман, ветер, дождь и снег, влекущие за собой совсем другие последствия, нежели

на равнине. Третье дело — опасности, зависящие от самих альпинистов. Тут шли в учебнике пункты этих опасностей, а на полях карандашом рукой Александра Александровича написаны против каждого пункта фамилии, имена. Так, около первого пункта — «Недостаточная подготовленность альпиниста и его поведение» — значилось несколько имен: Женя Соколовский, Афанасий Шубин, Володя Ворожищев, Альберт Арзанов, Миша Андреев, Художин... Пока я разбирал имена, написанные мелко и неразборчиво, подошел хозяин учебника, сел рядом со мной, и я попросил пояснить мне его пометки.

— Ну, Женя Соколовский. Вел отряд новичков. Прибыл. Не посоветовался с врачом, не проверился, попадился на себя. При подходе к вершине умер от сердечной недостаточности.

Афанасий Шубин. Я уж рассказывал. У него был низкий потолок. Почувствовал себя плохо. Надо было сразу спуститься, а ему показалось неудобным оставить отряд. Художин умер от сердечной недостаточности на склоне Победы, Альберт Арзанов на Алае, Миша Андреев на вершине Талган.

— А вот второй пункт: «Ослабление внимания на спусках и на легких участках». Тобой помечены: Игорь Рошин, Юра Ветров, Лена Мухамедова, Сахаров, Павел Меняйлов, Катя Бенюта, Ия Попова.

— Большинство несчастных случаев происходит во время спуска. Человек расслабляется, демобилизуется. Гора сделана, цель достигнута. Но пока не спустишься до травы, восхождение нельзя считать законченным. Ослабление внимания на спусках после огромного напряжения вполне естественно, но оно-то и приводит к несчастьям. Игорь Рошин и Юра Ветров сделали шестерочную стену. Есть на Кавказе гора Чатын. А на спуске улетели.

Я никак не мог привыкнуть к этому альпинистскому термину — «улетели».

— Куда улетели?

— Улетели. Поискные работы не увенчались успехом. Искать там очень трудно. Активные камнепады. Как известно, камнепады усиливаются днем, когда и надо искать.

— Почему днем усиливаются камнепады?

— На солнце гора обтаивает. Считается вода. Ну вот. А Лена Мухамедова и Сахаров улетели при спуске с Датых-Кая. Это Домбай. Они шли в одной связке. Говорят, Сахаров все время шутил: «Что это за гора, делать нечего».

Улетели. Павел Меняйлов в связке с двумя девочками летел по снежному скату. Скаты были просторные и сначала чистые. Их унесло на одной веревке и все время дергало, когда кто-нибудь из них пытался остановиться. К несчастью, снежный скат на их пути ощерился поперечным скальным выходом. Невысокие зубцы, выступающие из снега. Зубчатая черная гребенка. Павел ударился лицом, и ему выбило зубы. Юю перебросило через скалы, и она осталась невредима. Потом стала даже мастером спорта. А Катя Бенюта ударилась затылком.

— Теперь пункт: «Пренебрежение страховкой и невыполнение технических правил». Опять почему-то Павел Меняйлов.

— Этот случай я помню. Тогда я шел вместе с Павлом. Невысокая стеночка. Павел собирался идти без страховки. То же самое — «делать нечего»! Я настоял на страховке, и хорошо сделал, потому что Павел сорвался.

— Значится у тебя на полях имя Кима Кочкина.

— Пренебрежение правилами. Шел с нижней страховкой. Полагается забивать крючья через каждые три метра, чтобы в случае срыва не лететь больше шести метров. А он на тридцати метрах веревки забил только один крюк. Сорвался, и ему веревкой переломало все ребра.

— Четвертый пункт: «Переоценка своих сил и технических возможностей». Стоит имя Кирилла Шлыкова.

— Собственно говоря, там их было двое. Но имя первого альпиниста я не помню. Два значкиста, то есть даже и не разрядники. Решили сразу сделать «пятерку». Траверз Ушбы. Очень сложная и капризная гора. Из лагеря ушли ночью, тайком, надеялись доказать, удивить. Один улетел в сторону Сванетии на Гульский ледник. Не нашли. Кирилл Шлыков остался без веревки. Пытался спуститься. Ушибы, вывихи. Вместе с лавиной его вынесло на ледник. Черный, обмороженный, почти неменяемый полз на животе. Случайно обнаружила и подобрала грузинская экспедиция.

— Пятый пункт. «Одиночные хождения». У тебя тут значатся некто Герман Буль и некто завхоз.

— Одиночные хождения — соблазнительны, но очень опасны. Герман Буль — австриец, легендарный спортсмен. Ходил только в одиночку. Сделал восьмитысячник. Сделал массу стен, а погиб на довольно простом восхождении.

С завхозом — особая история. Фамилия его была Кассин, а звали, по-моему, Юрой. Завхоз экспедиции на пик

Коммунизма. Высшая точка Советского Союза. Обязанности завхоза: продукты, снабжение, снаряжение, а он вдруг исчез. Думали, что пошел поснимать горы и провалился в трещину ледника. Начались поиски, как это часто бывает в горах, — бесплодные. Никому и в голову не могло прийти, что он пошел на вершину. Пик Коммунизма — семитысячник. Прежде чем его штурмовать, альпинисты роют на подступах пещеры, забрасывают в них продукты. Штурму предшествует длительная осада. Покорение таких вершин доступно только коллективу с хорошей организацией. И вдруг альпинисты, взойдя на пик, обнаружили там записку завхоза. Видимо, он уже сошел с ума: «Благодарю бога, Кирилла Константиновича Кузмина (начальника экспедиции) и моих детей, которые дали мне силы прийти сюда. Я погибаю. Нет сил на спуск. Нет продуктов. Но я счастлив, что осуществил мечту своей жизни».

В учебнике были еще и другие пункты опасностей с карандашными пометками на полях, но после рассказа о завхозе мы задумались, замолчали, да и перерыв кончился. Я отошел от камня, привязался к веревке:

— Страховка готова?

— Готова.

— Пошел!

Пятый, на вид устрашающий, а на самом деле не столь уж сложный маршрут повел меня вверх от плиты к плите и от глыбы к глыбе.

Да, все так примерно и говорили: «Акса́й — генеральная репетиция восхождения». Так примерно оно и было. Если ты сходил на Акса́й, это еще не значит, что взойдешь на Адыгене. Но если ты не взошел на Акса́й, то про восхождение на вершину надо забыть в тот же день.

У начспаса, у инструкторов я расспрашивал, что тяжелее: ледник Акса́й или подход к вершине, к стоянке «Электро», откуда обычно происходит восхождение на Адыгене.

— Акса́й физически потруднее, но интереснее. Быстрее набор высоты. (То есть, значит, попросту, очень круто. — В. С.). Веселая такая морена. А на подходах к Адыгене как начнутся эти занудные травянистые холмы — что волны. Идешь, идешь... Но сама вершина, конечно, труднее ледника. Восхождение есть восхождение.

Никто не мог точно сказать мне, сколько часов придется идти на ледник, до так называемой стоянки Рацека. Кто

говорил — десять часов, кто говорил — шесть. Александр Александрович успокаивал:

— К вечеру там будем. Правда, два взлета.

— Какие взлеты?

— Взлетом у нас называется быстрый набор высоты.

— Это когда очень круто?

— Да, противная там морена. Само по себе ничего страшного, но рюкзаки...

Одни называют морену «веселенькой», другие «противной». Какой-то она покажется мне? И действительно, рюкзаки. Ноги можно считать проверенными. Ботинки разносились. Ногами — я уверен — дойду. Но как я буду чувствовать себя под рюкзаком? Не могу вспомнить, когда в последний раз носил тяжелый рюкзак. В армии, бывало, ранец, скатка, оружие. Тоже сладкого мало. Но ведь это было когда? И сколько мне было лет? А если начну задыхаться с тяжелой ношей на этих взлетах? А если я просто не смогу идти с рюкзаком в гору в течение целого дня? И как это выдержит Оля, которой вообще запрещены тяжести?

За два дня до выхода я начал с Олей осторожный и окольный разговор о трудностях похода, когда нельзя ни отстать, ни остановиться без времени, о том, как режет плечи, как тяжело приходится сердцу и ногам. Но Оля прервала мои разглагольствования деловым вопросом:

— Ты не узнал, сколько туда идти?

— Говорят, десять часов. Ты понимаешь? Десять часов с рюкзаком, и все в гору. Не шестой ведь этаж.

— Ну что ж, когда-нибудь надо пройти десять часов, и все в гору.

Крыть, как говорится, мне было нечем. Между тем настал волнующий час — осмотр у лагерного врача. За пять минут лагерный врач с бородой, ленинградец Лев Николаевич, мог разрешить все наши колебания, сомнения, проблемы: «Идти на Аксай, а тем более на восхождение — запрещается». Достаточно даже — «не рекомендуется». Ну, и напишет там по-своему: «Шумы в сердце, медленное успокаивание пульса, общая физическая неподготовленность...» Он знает, что написать.

Но нельзя уехать из гор, не увидев снега и льда, не ослепившись (даже и через солнечные очки) сверканьем снега, поднятого столь высоко, столь близко к небу, не надышавшись прохладой, источаемой снегом вопреки горячему солнцу, не ощутив податливого, крупнозернистого,

слегка подтаивающего сверху, но никогда не тающего снега под широким и тяжелым своим ботинком.

Оля скрылась за дверью врача, а я остался «болеть за нее», усевшись на камень перед медицинским домиком. Сейчас Лев Николаевич заставит ее двадцать раз быстро присесть, сердечко ее затрепыхается, дыхание собьется, и не видать ей тогда горного снега. А если сейчас она его не увидит, то когда-нибудь в другой раз — тем более. Когда у нее будет другой такой раз?

После склонов и осыпей Александр Александрович твердо решил, как мне показалось, не брать Олю на высоту. Правда, после скал у него потеплело в глазах. Эту теплоту Оля заработала своей самоотверженностью. Но есть для него известная доля риска. Случись что-нибудь с каждым из нас — неприятно. Но мы люди взрослые. С каждым может случиться. Комиссия разберется и установит, что за Александром Александровичем вины в случившемся нет. Если же с Олей произойдет несчастный случай, то из-за ее малолетства вся вина упадет, во-первых, на Александра Александровича, а во-вторых, на бородатого этого лагерного врача. Ради чего же им обоим идти на риск? Однако Оля выпорхнула на крылечко веселая и довольная. Нижняя губка прикушена, глаза смотрят вниз — первый признак ее радости, довольства собой и жизнью.

Итак, последняя преграда упала. Теперь — только мы сами, наши ноги, наши плечи, наши «насосы» и наша воля.

На сборы ушло все утро. Свернуть бивуак, уложить рюкзаки. Палатки, спальные мешки, одежду, снаряжение (веревки, кошки, страховочные пояса, карабины, крючья, молотки), продукты, примусы, бензин, даже дрова (на подмогу бензинным примусам) — все пришлось брать с собой. Надо было еще убрать мусор на месте бивуака. Только к десяти часам мы построились на линейку. Вернее, выстроились в линию наши огромные рюкзаки, а мы встали скромненько каждый около своего рюкзака.

Альпинизм — прежде всего рюкзак. Альпинист — вьючное животное. Много раз я слышал эти шуточные изречения, но считал их вот именно шутками. Теперь же, пробуя приподнять с земли свой рюкзак, я начал понимать, что, может быть, тут и нет большого преувеличения. Я и не видел никогда, чтобы рюкзаки наполнялись так умело

и плотно. Обычно наполненный рюкзак в нашем представлении — нечто округлое, равное в ширине и высоте. Но оказывается, рюкзак, если его умело и доверху уложить, это большой вертикальный мешок, высота которого, по крайней мере, в два раза превосходит его ширину.

Александр Александрович обошел строй и потююшквал каждый рюкзак, проверил, как все уложено. Важно, чтобы сторона рюкзака, которая будет соприкасаться со спиной, была ровная, мягкая.

— Что я вам скажу? Идем на Аксай, под Корону, отрабатывать снег и лед. Высота стоянки 3200, высота, где будем заниматься, — 3800. Места красивые, увидите настоящие горы, если повезет с погодой. Но можно просидеть там неделю и не увидеть ничего, кроме тумана и дождя. Одновременно — акклиматизация, привыкание к высоте. Без Аксая нельзя идти сразу на вершину. С рюкзаками идти тяжело, но ничего не поделаешь. Мы не берем лишнего. Только самое необходимое. Никто за нас туда не понесет ни палаток, ни хлеба, ни крупы, ни веревок. Рюкзак надо нести не на плечах, а на спине, вернее, даже на крестце, иначе не донесешь. Согнитесь вот так, немного прогнитесь в поясе, рюкзак хорошо и удобно ложится на поясницу, а плечи его только поддерживают. Пойдем в нашем обычном темпе. Пятьдесят минут идем, десять минут отдыхаем. Кто может, пусть возьмет под клапан рюкзака еще по два, по три полена. Дрова так нужны. У всех ли есть темные очки? У кого нет, может сразу оставаться здесь. Без вариантов. Вы, наверно, знаете, что после горного снега человек, если он был без темных очков, теряет зрение. Потом это проходит. Но ослепнуть даже на три дня — неприятно. Вопросы есть? Надеть рюкзаки, приготовиться к движению. Валерий Георгиевич — замыкающий.

Когда начался первый, пока еще травянистый, подъем, я оглянулся и увидел, что наш отряд из двадцати пяти вьючных единиц представляет собою на горном склоне живописное и внушительное зрелище. Между идущими образовались интервалы по четыре, по пять шагов, так что вся вереница растянулась на добрую сотню метров. При виде сверху рюкзаки казались больше самих людей, загораживали их и как бы придавливали к тропе. Кто нес в руках дополнительно к ледорубу стойку для палатки, кто канистру с бензином, кто пустое ведро. Совсем внизу и вдали Валерий Георгиевич усердно волок на плече большую причудливую корягу (на топливо), один взгляд на которую

воодушевлял меня, потому что такой коряги на моем плече не было.

Словно не идет, а с ноги на ногу переминается наш отряд. Длинное яркое тело отряда похоже на огромное фантастическое пресмыкающееся, которое, слегка лишь изгибаясь и колыша сочленениями, медленно заползает на гору.

Еще недавно, до того как примкнуть к альпинистскому сбору, я, если бы прогуливался по ущелью и, сидя на камне, увидел такой отряд, удивился бы: что за охота людям тащиться в горы с такими тяжестями? Посочувствовал бы, вероятно, им, вспомнил бы непременно пресловутую песенку: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — и, проводив навьюченных людей соболезнующим взглядом, налегке и с чувством превосходства, постукивая по камешкам палкой, пошел бы вниз к шумящей реке.

Если бы подобная встреча произошла несколько дней назад, когда я уже был членом альпинистского сбора, то я ужаснулся бы, вспомнив, что и мне предстоит через три дня тащиться наподобие их, защемило бы сердце от неотвратимости надвигающегося испытания.

А теперь вот и я сам иду в голове отряда, вслед за Александром Александровичем, прислушиваясь, как там дышит Оля, идущая вслед за мной. Дышит тяжело, как и я. Взглядываю на других, сзади идущих девушек: тоже не прогуливаются, тоже в капельках пота лоб и нос. Девчонки идут, Оля идет, надо идти и мне.

Когда у человека ничего не болит, он забывает о существовании разных органов, почек, печени, сердца, желудка, всевозможных желез. Но он все время помнит о левой почке и точно знает место ее нахождения, если она временами ноет и покалывает. Я думал: о чем мне придется все время помнить в походе, что мне будет наиболее досажать? Ноги, которые будут болеть, намнутя башмаками или просто устанут? Плечи, которые нарежет рюкзак? Жажда, которая будет мучить? Спина, которой непривычно в присогнутом положении? Сердце, которое откажется от такой необычной нагрузки?

Жажды не было. Ног не было до конца похода. Первое время были плечи. Их действительно резало. Я пытался сдвигать лямки немного вправо, немного влево, но это был самообман. Тогда я постарался усилием воли забыть о них, и это мне почти удалось. Но появилась левая рука, которая от перетяжки в плече онемела вся, от плеча до пальцев, так



что если я пытался дотронуться ею до носа (смахнуть капельки пота), то попадал на ухо или на рот. Она потеряла чувствительность и координацию. Некоторое время была спина, но вскоре привыкла. Вообще же до первого взлета, можно сказать, ничего не было, кроме левой руки. На взлете появились легкие, грудь, дыхание, гортань — все, что связано с воздухом. Короче говоря, появился воздух, которого стало не хватать. Но до этого было два привала.

— Зато снимешь рюкзак — и почувствуешь крылья за спиной, способность взлететь! — говорил Александр Александрович.

Действительно, когда он остановился наконец, повернулся лицом к отряду и объявил привал, я, сняв рюкзак с плеч, сделался на несколько секунд невесомым. Задние подтягивались еще к месту привала, а я уже сидел, привалясь к рюкзаку, и радовался, что выиграл ну хотя бы минуту. Левая рука исчезла, ожила, соединилась с остальным организмом и растворилась в нем.

— Можно съесть два-три кусочка сахара, — объявил наш предводитель. — Лучше, если их сосать под языком. Прямо в кровь. Каждая капля дорога.

Кто-то из студентов вслух занялся арифметикой:

— Так... Если во мне семьдесят пять килограммов да еще двадцать пять в рюкзаке, а перепад высоты у нас будет полторы тысячи метров... Умножим. Сто пятьдесят тысяч килограмметров работы. То есть один килограмм поднять на сто пятьдесят километров или одну тонну поднять на сто пятьдесят метров. Это я один должен поднять тонну на сто пятьдесят метров? — удивился студент своим собственным арифметическим выкладкам. — Два кусочка сахара мне маловато.

Вспоминаю некоторые застолья. Узбекские пловы. Грузинские шашлыки. Датские бифштексы. Кусок мяса величиной с тарелку, высотой со спичечный коробок, поставленный на попа, истекающий соком и тающий во рту, словно хорошее сливочное масло. Две дюжины устриц в Париже как предисловие к ужину. Килограммовая рыба, запеченная в керамической посудине, в пригородном ресторане в Софии. Киргизские бешбармаки, когда пятью-шестью человеками съедается практически целый баран, да еще тесто к нему, да еще гора помидоров, да еще кумыс из большой пиалы... Но даже и без крайностей, московский обед в теплой компании состоит из такого количества этих самых калорий, что энергии от обеда, право же, хватило бы

толкать паровоз на протяжении нескольких километров. А что делаем после обеда мы, куда деваем энергию? Сидим на совещаниях. Садимся за стол и просматриваем рукописи. Газеты, телефонный разговор, телевизор. Как если бы упомянутый паровоз, разогревши свой котел и придя в ярость, тащил вместо пятидесяти тяжелых платформ одну фанерную вагонетку.

Иногда у костра альпинисты-мастера рассказывают начинающим собратьям о своих семитысячниках — пик Ленина, пик Коммунизма, пик Победы.

— Поднялись на морену и сели. Съели две баночки шпрот. По кружке горячего чая. Потом был тяжелый взлет. Противная стенка. Сделали ее. Отдых. Съели по бутерброду с домашним окороком, по апельсину... — Рассказ продолжается, и мы с удивлением слышим, что едва ли не самые яркие впечатления от восхождения связаны с привалами и с тем, что было съедено во время этих привалов. И не напрасно. На учете каждый грамм топлива.

Итак, на первом привале мы иссосали по два кусочка сахара, съели по яблоку и пошли дальше.

Десятиминутные привалы во время трудных походов известны мгновениями неизъяснимого блаженства, когда останавливаешься и снимаешь походную тяжесть, но также и мучительным мгновением окончания перерыва, наступающим слишком уж быстро. Дотошные американские исследователи установили, что перерыв (о какой бы работе ни шла речь) длительнее десяти минут недопустим, потому что организм расслабляется, размякнет, и продолжать работу или поход все труднее с каждой просроченной минутой. Обуяет лень, нежелание двигаться. Чем дольше отдых, тем нежелание сильнее.

Отмерено свистком ровно десять минут. «Надеть рюкзаки. Приготовиться к движению».

Уже осталась внизу та травянистая высота, обжитая сурками, которую мы одолели во время отработки травянистых склонов и осыпей. Мы прошли по краю очень глубокого ущелья, на дне которого навстречу нам бежала с ледников вода. Она, по непреложным законам земного тяготения, стремилась с камня на камень все ниже и ниже от породившего ее ледника, по наклону ущелья — к траве, к долине, желательнее к морю. Слиться с другими реками, расплескаться по ровному месту, но пока есть хоть малейшая возможность — течь все ниже и ниже.

Мы, по неизвестно каким человеческим законам, от моря, может быть, породившего нас, от пизинной воды, с камня на камень стремимся все выше, лезем, карабкаемся, тащимся, достигая в конечном счете самых высоких точек планеты, а когда нет уж большие камней, на которые можно опереться, и над головой одно только небо, что же, стремимся и в небо. Но в какое море стремимся впасть, с каким морем стремимся слиться мы?

После второго привала началось то, что еще на бивуаке было названо взлетом. Морена (нагромождение камней) поднималась круто и так высоко, что конца ее мы не видели. Она загибалась влево, заходя за скальный кряж, и нацеливалась почти в зенит, словно приспособление для предвзлетного разгона ракеты.

Морена! Черт бы ее побрал! Мое, видимо, не географическое воображение отказывалось подсказать мне, каким образом ледник мог нагромоздить гряды камней высотой в сотни метров. Допустим, что ледник, ползя со скоростью полметра в год, двигает впереди себя, как бульдозер, кучу разных обломков. Допустим, что и по бокам гигантского ледяного плуга остаются продольные возвышения. Но чтобы нагромоздить такое, по которому мы сейчас карабкаемся? Непостижимо! Поистине здесь действовали циклопические силы, у которых в распоряжении были к тому же десятки миллионов лет. Только они могли создать подобный ландшафт.

Вообще-то, с технической стороны, по хорошей морене идти не трудно. С камня на камень, почти как по лестнице. Но рюкзак тянул меня вниз, а я его тянул вверх. Мои легкие раздирались двумя этими противоборствующими силами. Воздуху не хватало. Я стал дышать часто, отрывисто и болезненно. Я стал дышать «вслух». Я стал хватать воздух открытым ртом, а морена все уходила и уходила кверху, становясь все круче и круче. Пока что я еще удерживался от того, чтобы помогать себе и руками, от этого позорного способа восхождения. Но про себя уже усмехался, потому что «взлет на четвереньках» и правда звучало бы смешно. В самую критическую минуту, как всегда, приходило избавление. Ведущий поворачивался лицом к отряду, останавливался и одаривал нас привалом. Но выдержи ли я следующий взлет?

— Жалоб нет? Кто не может идти дальше? Кто не может нести рюкзак? Оля, как твое самочувствие?

— Хорошо, — говорит Оля, глядя в землю.

— Еще один хороший взлет, а там будет легче. Надеть рюкзаки!

Дыхание, немного успокоившееся за десять минут, зачастило на первых же двадцати шагах. Пожалуй, не выдержу и этот хороший взлет, по крайней мере без четверенек.

Вдруг появились среди камней челевые предметы. Фанерный плакат на воткнутой в камни палке: «Конец толканья». Такие плакаты я видел на железнодорожных станциях. Рядом с ним, на стоянке, — круглая железка с большой буквой «А». Знак автобусной остановки. Шутники альпинисты пригнали сюда снизу эти предметы, для того чтобы такие новички, как мы, на исходе сил улыбнулись и ободрились.

Не прошли мы после привала и пятидесяти шагов, как Александр Александрович почему-то остановился снова. Перед нами открылась узкая длинная площадка, зажатая между отвесной скалой и грядой морен. Вдоль площадки у подножия скалы мчится ручей, по черным плитам скалы ниспадает белая кисея водопада.

Еще одна традиционная шутка: сказать на привале, что предстоит хороший взлет, и через пять минут вывести на площадку для ночлега.

— Снять рюкзаки, ставить палатки! Умываться, варить обед, конец толканья!

— Ну как? — спросил у меня Александр Александрович.

— Трудно, но можно, — определил я свое впечатление от всех этих взлетов.

Тут-то и произнес Никита Васильевич Живаго вторую половину нашей формулы:

— Можно. Но очень трудно.

Нижнюю площадку мы все же вынуждены были пройти. Еще в лагере нас предупредили, что на ней останавливаться не следует. Со скалы методически падают камни, «простреливая» всю площадку. Был случай — расплющило одну палатку, хорошо, что днем, когда в ней никого не было. Действительно, вся площадка усеяна хотя и редкими, но недавно свалившимися камнями величиной то с голову, а то и с комод. Вторая площадка, шагов на сто выше первой, не подвержена каменной бомбардировке. На ней мы и начали располагать наш трехдневный бивуак.

Итак, слева от нас поднималась черная скальная стена с ручьем у подножия и с кисеей водопада, а справа — гряда морены. Пространства между ними — шагов тридцать — вполне хватало для наших палаток. Сверху мы были накрыты серым облаком. Скальная стена исчезала в нем. Водопад ниспадал прямо из облака. Моренная гряда не доставала до тумана, но за ней уже ничего не было видно. Скоро мы привыкли к этому низкому белесому потолку, да и вообще я думал, что он скрывает от нас одно только небо. Однако ветер развеял на полминуты верхние слои облака, и там, где я предполагал только чистое небо, начало проявляться, как на фотобумаге, когда ее опустят в ванночку с проявителем, нечто грандиозное и прекрасное. Скалисто-заснеженные исполины как бы шагнули к нам из облака, появились над нами высоко в небе со всех сторон и совсем близко от нас. Рваные быстро летящие, быстро тающие, но и быстро сучивающиеся клочья и клубы пара то заволакивали зубчатые вершины, то снова показывали их нам, пока не улетели совсем, и мы остались, маленькие, замороженные, в окружении явственной, суровой и безмолвной первозданности. Огромный орел сделал два круга над нашим бивуаком. Он летал низко. Было видно, как он, неподвижно паря и скользя, поворачивает голову туда и сюда, чтобы разглядеть нас получше. Небо над ледовыми краями окружавших нас вершин разъяснилось окончательно, начало предвечерне густеть, и вскоре на нем загорелись звезды. В воздухе почувствовался мороз. Предстояла ночь в спальном мешке, в палатке, но меня ничего уж не могло испугать. Я дошел и донес свой рюкзак. Теперь если и пойдем завтра выше, под Корону, то налегке. А если в лагерь, то это все вниз и вниз.

Не снимая верхней одежды, в том числе и пуховки, напротив, надев на ноги еще одни шерстяные носки, кое-как протиснулся я в узкую нору мешка, а под голову приспособил отощавший (вынуты из него почти все вещи) рюкзак. Установилась полная, космическая, вселенская тишина, даже и не тишина, а безмолвие, в котором, однако, вдруг начинало отдаленно и гулко грохотать с абсолютной имитацией летнего грома, когда гроза проходит стороной. Я уже знал, что это грохочут в горах камнепады. Но, конечно, они, отгрохотав, только подчеркивали приближенную к звездам высокогорную тишину.

Четверым в спальных мешках в палатке тесно. Стиснутый соседями, я улегся на правый бок с перспективой так и пролежать всю ночь, не ворочаясь. Самым лучшим выходом из этого стесненного положения было бы скорее уснуть. Я и начал задремывать, как вдруг мое тихое и ровное дыхание, мое полусонное посапывание было прервано тремя частыми и глубокими, не зависящими от меня самого, отрезвляющими от сна, освежающими вздохами. Одновременно трижды ударило в груди (словно встрепенулось) сердце. Ну вот, подумал я, сейчас начнется сердечная недостаточность от непривычной высоты и дневной нагрузки, и тогда сколько хлопот я доставлю всей группе! Однако опять наладилось ровное и тихое дыхание, я начал успокаиваться, но через некоторое время вновь очнулся от трех частых и очень глубоких вздохов. Установилась система. Непроизвольно глубокое, частое, судорожное дыхание возникло независимо от моего сознания на двадцатом счету. Вот я отсчитываю про себя секунды, словно пробираюсь по бикфордову шнуру к точке взрыва. На пятнадцати, на шестнадцати ничто еще не предвещает, что я сейчас вместо ровных вздохов трижды подряд жадно глотну воздух и трижды подряд бабахнет сердце. Восемнадцать, девятнадцать... Готово!

Уснуть мне при таком дыхании, конечно, не удалось. Да я уж и не думал о сне. Я думал, во-первых, как бы ненароком не умереть, а во-вторых, еще о том, что завтра с этой моей реакцией на высоту вряд ли можно будет идти еще выше, под Корону, с перепадом высоты еще на шестьсот метров. Перепад перепаду рознь. Одно дело — перепад от нуля до шестисот метров, другое дело — от трех двухсот до трех восьмисот, и третье дело (если допустить восхождение) — от трех восьмисот до четырех тысяч четырехсот. Нет, брат, видно, вершина уже не для тебя. Семнадцать... восемнадцать... девятнадцать... Три вдоха, три выдоха, перерыв на двадцать секунд. Дожить бы до утра, рассказать Александру Александровичу.

Я ждал внезапной озабоченности на его лице, тревоги, немедленной отправки меня вниз в сопровождении двух ребят. Но Александр Александрович несколько не удивился моему чрезвычайному сообщению.

— Это чейнстоново дыхание. Непривычное кислородное голодание в разреженном воздухе организм восполняет неожиданными вдохами. У новичков часто бывает. Для того и пришли сюда, чтобы акклиматизироваться и приспособ-

биться к высоте. Сегодня твой организм побывает под Короной, и высота бивуака ему покажется благодатью. Вторую ночь ты проспишь спокойно.

И правда, чейстоново дыхание больше не возвращается ко мне.

На этой стоянке, может быть, единственной из всех альпинистских стоянок в Тянь-Шане, имеется хижина. Она, правда, недостроена, и неизвестно, какой бы она была по замыслу строителей, но все же стены и потолок у нее есть. Два альпиниста-эстонец строили эту хижину из камней, которые являются здесь самым подручным материалом. Они ее складывали во много приемов, во время коротких стоянок по дороге к вершинам. Теперь она останется недостроенной, потому что один эстонец погиб, а второй женился и перестал заниматься альпинизмом.

У нее нет дверей, и два маленьких окошка лучше назвать отверстиями. Но, входя в дверной проем, вы попадаете в довольно просторное помещение, заключенное в четырех стенах. Есть дощатый стол, есть скамейки возле стола, есть крючья в стенах — повесить что-нибудь из кухонной утвари или мешочки с продуктами.

В этой хижине не ночуют. Ночуют в палатках, в спальнях мешках. В ней лишь готовят еду на примусах (нет все же ветра, дождя и снега), но главное, в этой хижине сидят после ужина и поют песни. В каждом альпинистском отряде обязательно найдется одна гитара, один человек, умеющий брэнчать на ней.

Таким образом, хижина, хотя и не достроенная, во многом определяет быт на этой стоянке. Не будь ее, все с наступлением темноты разошлись бы по своим палаткам, ибо даже у костра здесь не посидишь. Не так уж много дров затащишь на себе в эту высь. Теперь же, при свете коптилки, под гитарный перебреньк, сидели до одиннадцати, а то и попозже.

Так совпало, что на стоянке, кроме наших, оказалась еще одна палатка, а в ней три альпиниста, молодые рослые ребята. Они намеревались сделать Корону и теперь занимались заброской продуктов к ее подножию. Даже обратились к нам:

— Завтра вы идете под Корону отрабатывать снег. Взяли бы каждый понемногу, по одной бы консервной банке, а нам не таскать тяжелые рюкзаки.

Но мы не взяли. Александр Александрович отнесся

к чужакам очень настороженно. Как бы заранее оправдывая свои будущие действия, которые могли бы показаться мне непонятными. Он сказал, что будет вынужден сообщить об этих людях начальнику лагеря.

Благодаря встрече с посторонними альпинистами возникают три дополнительных мотива в моем рассказе: неожиданная спортивная проблема, песенный вечер и забавный курьез. Начнем по порядку.

Эти парни оказались альпинистами-частниками. Видимо, я заморгал столь недоуменно, что Александр Александрович пустился в объяснения, не дожидаясь моих вопросов. Все должно проходить в организованном порядке, в том числе и развитие альпинизма. Купить путевку в своем городе, приехать в альплагерь. Включат в отряд, дадут инструктора, поставят на довольствие, выдадут снаряжение. Снаряжение, правда, общее, а не твое, подогнанное по всем статьям. Перемеряешь десять башмаков и штормовок, и все равно они будут либо тесноваты, ибо слишком просторны. Но зато не надо покупать, обзаводиться на веки вечные. Сходил в горы — и сдал на склад. Продукты тоже на складе. Медслужба, спасательная служба, распорядок дня, режим поведения — все распределено и расписано. Значкисты к значкистам, разрядники к разрядникам, мастера к мастерам. Точно известно, какой отряд и куда вышел, какая задача и каков предполагаемый результат.

Но вот некий человек, индивидуалист и гордый одиночка, не хочет путаться с путевками и лагерями, со столовой и складом, капризным инструктором и строгим начальником лагеря. Он идет в горы самостоятельно, с товарищами, такими же гордецами. Они — спортсмены; конечно, владеют техникой, навыками. Но они не хотят отрядов, очереди на склад и общественного питания.

— А как же значок, разряд, спортивная категория?

— Им и это не нужно. Они пренебрегают разрядом и званием мастера спорта. В этом, конечно, что-то есть, но обыкновенные нормальные альпинисты их не любят. Я помню случай: пошли мы на сложный траверз на Кавказе и вдруг видим, что на этот же траверз выходят двое альпинистов — муж и жена. Ему тридцать лет, ей девятнадцать. Одеты красиво, стильно. Снаряжение превосходное. Разноцветные французские веревки, итальянские карабины, заграничные трикони... Мы сообщили по радию в лагерь, что встретили одиночек, идущих на «шестерку», и получили приказ спустить их вниз. А как спустишь? У него



в руках ледоруб. Конечно, справились бы, навались коллективом; но хоть одна жертва или травма, зачем она нам, ради чего? Не диверсанты же они, не вражеские парашютисты во время войны! Нам настойчиво приказывали связать их, если будут сопротивляться, но мы их не тронули. Альпинист объяснил нам, что уже много лет готовился к восхождению, хорошо знает маршрут, хорошо подготовлен физически, располагает хорошим снаряжением. Оставили их в покое.

— Чем закончилось дело?

— Трагически. Он упал и сломал себе позвоночник. Пришлось молодой жене идти вниз. Через два дня она набрела на грузинскую экспедицию. Бедняга был еще жив, когда за ним пришли, но потом все равно умер.

— За что не любят нормальные альпинисты таких одиночек?

— Вот за то и не любят. При несчастных случаях приходится их спасать. Весь лагерь выходит на спасработы. Срываются занятия, нарушается расписание восхождений. Представь себе, человек приехал на двадцать дней по путевке, чтобы пройти программу и получить разряд, а приходится половину смены заниматься спасательными работами. Это все равно что пожар в деревне во время уборочной кампании. День дорог, но все бросай, иди тушить.

— В организационных отрядах разве не случается таких происшествий?

— Случается. Но все-таки реже, и потом — тут уж другое дело.

— Странно, что их не интересуют спортивные достижения: разряды, степени, звания.

— Достижения их интересуют. Если они сделали Корону, то они ее сделали. Это их достижение. А разряд... Обходятся же альпинисты всего мира без наших разрядов.

— Как так?

— Ты что же думаешь, немецкому, французскому, английскому альпинисту тоже присваивают разряды? Они даже представления не имеют, что это такое — разряд.

— Но как же оценивают его спортивную квалификацию?

— Просто знают, что этот человек сделал северную стену Монблана. И он про себя это знает. Остальное не важно.

С особенным интересом я стал смотреть на альпини-

стов-одиночек, собирающихся взойти на Корону. Кое-что в их действиях отличалось от наших действий. Они держались особняком, хотя в той же хижине. Они очень тщательно смазывали вечером свою обувь какой-то специальной вонючей мазью, а мы этого не делали. Но особенно сильно отличались они от нас своим ужином. Приготовить ужин на троих — это не то что общее ведро на нашу ораву. Они резали свежие помидоры и поджаривали их на сковороде. Они шинковали на сковороду свежую капусту. Они жарили свежее мясо. От аромата их борща можно было сбежать из хижины. Но самые большие терзания начались, когда разнесся запах крепкого и хорошо сваренного черного кофе. Оля схватилась за мой рукав:

— Папа, я не могу! Я не могу! Я хочу кофе.

— Успокойся, сейчас закипит наше ведро, и будет чай.

— Какой это чай?! Это просто горячая вода. Целое ведро горячей воды. А я хочу черного кофе. Маленькую чашечку. Ты слышишь, как пахнет?

Трешетный, захлебывающийся шепот Ольги долетел до слуха альпинистов-частников. Бородатый парень подал Оле чашку с драгоценным напитком. Высота 3200. Безмолвные горы. Недостроенная хижина. Температура на улице около нуля с переходом на легкий заморозок. Позади очень трудный день. Три взлета. В руках Ольги чашечка настоящего кофе. Она говорит, что никогда еще не испытывала подобного непередаваемого блаженства.

Вечером альпинисты-частники настроили гитару и начали петь разные песенки.

Были песни и у других костров на нашем бивуаке в главном лагере. Они повторялись, репертуар подобных концертов для меня прояснился, можно сделать некоторые общие выводы.

Хороших песен и хороших романсов, как правило, не поют. Очень любят, правда, петь смеляковское стихотворение «Если я заболел». Но я слышать не могу, когда стихотворение перевирается, а они вместо «в изголовье поставьте ночную звезду» поют: «в изголовье поставьте упавшую с неба звезду». Вообще же песни подобраны с той долей бродяжьей романтики, которая больше свойственна, наверно, обычному широкомассовому туризму, нежели строгому альпинистскому спорту. Я взял у начспаса и перелистал пухлый песенник, частично машинописный, частично переписанный от руки. У начспаса за многие годы собраны, видно, все песни, поющиеся альпинистами, поэто-

му могу свидетельствовать, что нет ни одной хорошей альпинистской песни.

Самая лучшая известна не только альпинистам, потому что ее исполняют по радио:

В суету городов и в потоки машин  
Возвращаемся мы — просто некуда деться.  
И спускаемся мы с покоренных вершин,  
Оставляя в горах свое сердце.

Так оставьте ненужные споры,  
Я себе уже все доказал —  
Лучше гор могут быть только горы,  
На которых еще не бывал.

Не бог весть какая это альпинистская песня, но все же в ней есть и некоторая гордость, которая альпинистами заслужена, ощущение, так сказать, исключительности занятия и, кроме того, очень верный психологический мотив во втором куплете. Альпинист если что и хочет доказать, то доказывает в первую очередь самому себе. Горы — не стадион для футбола, не ледовая площадка для фигурного катания, не соревнования по легкой атлетике. Зрителей нет. Зрители такие же участники, как и ты сам. Если ты взшел на вершину, то и они взшли тоже. Друг друга не удивишь. А себе кое-что докажешь. Не напрасно у другой альпинистской песенки, слов которой я не запомнил, примерно такой смысл: «Зачем мы идем на вершину? Нет там ни руд, ни кладов, ни драгоценных камней. Там ты найдешь только победу над собой».

К этим же примыкает, по-моему, и третья песня, два куплета которой мне удалось записать по памяти.

Кто сказал, что я сдал,  
Что мне рук не поднять,  
Что я с песней порвал,  
Что рюкзак не собрать?..

Уложу в рюкзаке, что хранил и берег,  
Что подарено мне от озер и дорог,  
Неба синего синь, скал слепящий оскал,  
Сроки мне отодвинь, я свое не сказал.

Слова самодеятельные, но все же слова, ибо девять десятых песенок, поющих у альпинистских костров, бездарная и пошлая тарабарщина, главным образом на мотивы известных песен. Для того чтобы мое суждение не показалось строгим и чуть ли не снобистским, выпишу несколько примеров:

Раскинулись горы широко,  
Под нами плывут облака,  
Товарищ, мы лезем высоко,  
Вершина еще далека.  
«Товарищ, и дальше не в силах идти,—  
Сказал альпинист альпинисту,—  
Болит, разрывается сердце в груди  
И легкие дышат со свистом...»  
К ногам привязали ему ледоруб,  
В палатку его завернули,  
Потом репшпуром обвязали его  
И в пропасть тихонько столкнули...

\* \* \*

Солнце скрылось за горою,  
Дали гор покрылись дымкой серебристой,  
А вечернею порою  
Возвращались из похода альпинисты.  
Много дней они бродили,  
Штурмовали неприступные вершины...

\* \* \*

По обычаю по туристскому,  
По преданию альпинистскому,  
Мы не пьем вина, не целуемся,  
С утра до ночи все страуемся.  
Страхуй ты меня, потом я тебя...

\* \* \*

Пусть крепок верный ледоруб,  
Пусть вбито три крюка,  
Прощальный крик сорвался с губ,  
И пропасть глубока.

Ну, и так далее, вплоть до жалостливого блатного мотивчика, бог знает как оказавшегося здесь, на такой высоте, среди ледовых громад, слегка посеребренных густотой и яркостью звездного неба:

Зачем оставил я штормовку,  
Палатку Здарского не взял?  
Попал я, бедненький, в холодную ночевку,  
И холод косточки мои сковал.  
Внизу, в палатках, спится сладко,  
Весь лагерь спит в сухих мешках,  
Я ж на приступочке сижу довольно шатко,  
Терплю холодный бивуак.

Я собрался уйти из хижины, чтобы не слушать дальнейшего концерта, как вдруг на скалах над водопадом раздался истошный крик. Все выбежали из хижины на свежий холодный воздух. Так началась маленькая курьезная история, которую я обещал тут рассказать.

В альпинистском фольклоре бытует легенда о черном альпинисте. Он сорвался, шел, полз, умер голодной смертью и теперь будто бы бродит по горам. Когда альпинисты ужинают, он будто бы подсаживается к ним, ужинает, неузнанный, вместе с ними, а потом исчезает.

Александр Александрович, Альгерт Михайлович и Валерий Георгиевич с присущим им всем троице юмором решили развеселить ребят. Валерий Георгиевич взялся сыграть роль черного альпиниста. Для этого он намазался сажей, ушел в скалы и теперь вот начал кричать оттуда истошным голосом. Но уже с первых секунд стало ясно, что затея не удалась. Во-первых, чтобы крик в ночных скалах произвел впечатление, нужна особенная атмосфера в хижине, когда рассказываются, допустим, страшные истории и некоторое мистическое настроение овладевает людьми. Но такого настроения у нас в хижине не было. Во-вторых, кто-то сразу узнал голос Валерия Георгиевича. История казалась законченной, я начал угреться в своем мешке, когда раздался тревожный свисток Александра Александровича. Было объявлено немедленно собраться всем в хижине.

— Что случилось? — спросил я тихонько у Альгерта Михайловича.

— Валерий Георгиевич уже спустился, а в это время кто-то прошел по скалам с электрическим фонариком.

— Вы собирались напугать ребят, а кто-то напугал вас самих?

Но Александр Александрович уже объяснял причину тревоги.

— Случилось чрезвычайное происшествие. Самое грубое нарушение в горах — уйти в горы без разрешения. Тем более ночью. Сейчас мы выясним, кто это сделал, и я буду вынужден завтра же утром спустить виновника вниз и отправить в Москву. Я жду признания.

Наступила, как говорится, мертвая тишина. Потом на освещенный круг, на середину хижины, вышел из темного угла бородатый альпинист-одиночка.

— Это я прошел по скалам с фонариком. Я хорошо знаю эти скалы. Я ничем не рисковал...

Он говорил, а за его словами слышалось еще и другое: «И вообще вам нет до меня никакого дела. Я вам не подчиняюсь и делаю, что хочу».

Александр Александрович, не ожидавший такого оборота, некоторое время помолчал, а потом мужественно объявил:

— Тогда у меня все. Можете расходиться по палаткам.

Тишина, в которой мы расходились, показалась мне напряженной и неловкой.

Когда я подошел к своей палатке, я услышал в ней тихий разговор наших старших:

— Прочитать бы их как следует, да неудобно перед Владимиром Алексеевичем.

— Да, неудобно, а надо бы...

Откинув полу палатки, я сразу же оборвал разговор.

Ледник начинался (вернее, кончался, а начинался только для нас, шедших снизу) недалеке от нашей стоянки. Настоящее же начало его где-то там, наверху, у самого подножия Коропы и Свободной Кореи. Там в ложбине он накопился за миллионы лет, нарастил себе тушу толщиной во многие десятки метров и теперь стекает оттуда по ложбине, движется ледовой рекой со скоростью ну, скажем, полметра в год. Нижняя часть его называется языком. Самая нижняя часть языка покрыта черной пылью, землей и, географически говоря, разным обломочным материалом. Не зная, эту нижнюю часть ледника нельзя и принять за ледник — обыкновенное каменистое дно долины. Но, вступив на эту грязную поверхность, все-таки почувствуешь — да, под ногами лед, и толща его стара, плотна и мощна.

Выше ледник из грязного становится серым, бледно-серым, зеленоватым, чисто-зеленым на изломах, перепадах и ледопадах, а затем ослепительно белым, благодаря снегам, покрывающим его у истоков точно так же, как земля покрывает устье. Если было бы у ледника устье и он впадал бы куда-нибудь, во что-нибудь. Но ледник впадает просто в горы, просто в долину, просто в земное пространство. Он впадает, я бы сказал, в теплоту. Он не впадает, а кончается. Тут он истончается бесчисленными каплями и ручейками воды, от струйки толщиной с обыкновенный шпагат до потока, который трудно уж перепрыгнуть. И если это истончение происходит на километровом фронте, то нетрудно догадаться, что еще немного ниже, где собираются

все эти капли, струйки и ручейки, грохочет по ущелью настоящая горная река.

Мы шли то по самому леднику, по его левой, если смотреть снизу, обочине, то уходили еще левее, на морену, и делали взлет и снова возвращались на ледник, но уже на несколько сот метров выше.

Ледник одаривал нас прелестями своего ледникового пейзажа. Небольшие камни, попавшие на лед, нагреваются солнцем быстрее льда. Лед под ними протаивает, и они тонут во льду, образуя ровные круглые отверстия, наполненные чистой водой. Эти отверстия так и называются — стаканами. Большие, огромные камни, напротив, затеяют место под собой, лед вокруг них тает, а они остаются на ледяных столбах и образуют грибы. Шляпка у такого гриба иной раз — каменная глыба объемом с нормальную комнату. Талая вода, сочась, а иногда и журча по поверхности ледника, пропиливает его, вырабатывает для себя ледяное ложе, а натываясь на поперечные трещины многометровой глубины, падает вниз, вымывает колодцы, промывает всю толщу льда до самой земли, вымывает в глубине ледника округлые пространства, пустоты, причудливые ледяные пещеры.

Хаотичное нагромождение ледяных глыб на месте ледопада, ледниковые столбы (грибы) — все это поражало нас своим величием, своей непохожестью ни на какие другие земные пейзажи и той первозданностью, которая свойственна тем уголкам планеты, где человек не вмешивался еще в ее дела. Но таких уголков теперь, согласитесь, мало.

Чем выше мы поднимались, тем чище становилась поверхность ледника, тем чище становился и ручей ледниковой воды, мчавшийся нам навстречу по его обочине. И когда наконец все вокруг превратилось в идеальную чистоту и белизну, над белой поверхностью ледника возникли две яркие красные бабочки, летающие друг за дружкой зигзагообразно и трепетно. Это поразило меня больше причудливых ледяных грибов и гротов. На высоте в три тысячи восемьсот метров, в царстве снегов и льдов — живые огоньки бабочек! Александр Александрович стал уверять меня, что их заносит сюда из степных предгорий бризом, то есть устойчивыми ветрами, дующими в определенное время суток, как по расписанию.

Белые горы окружили правильным кругом белое поле ледника и нас, находящихся на нем, и мы для этих гор ничем не отличались по своей мизерности от двух порхаю-

щих бабочек. Заползлй на ледник некие мелкие черненькие существа, передвигающиеся цепочкой, коротким пунктиром. Вот поломали пунктирную цепочку, сбились в бесформенную кучку, замерли на белом снегу.

Мы действительно остановились, рассеялись на камнях, рядом со снегом. По рукам пошла кружка с ледниковой водой, почерпнутой в ручейке. Я постарался представить себе, какое безмолвие окружило бы меня, если бы я один оказался здесь. Я даже обратился ко всем, чтобы мы замолчали на минуту и прислушались к поистине вселенскому безмолвию. Но из двадцати пяти человек все равно кто-то кашлянул, кто-то звякнул ледорубом, кто-то пошевелился, кто-то полез в карман и прошуршал рукой о материю. Безмолвия никак не получалось у нас. Да если бы и удалось замереть, все равно это было не то, когда один оказался бы среди гор на леднике, и только гул отдаленного камнепада нарушал бы иногда безмолвие, состоящее из зеленого льда, белого снега, коричневых скал и синего неба.

Отподнимавшись по крутому снежному склону высотой до самого неба, отходяв по нему то зигзагом, то прямо в лоб (воткнуть перед собой ледоруб, сделать шаг, сделать вдох и выдох, снова воткнуть перед собой ледоруб), отрубив ступени в ледяных вертикальных глыбах, отработав спуск по снежному склону — обыкновенный и глассерный (катиться на ботинках, как на горных лыжах, зигзагом), — усталые, возвращались мы на бивуак.

Александр Александрович радовался — погода не подвела. Теперь, что ни случись, горы во всем блеске мы уже видели. А ему, конечно, хотелось показать нам горы именно во всем их блеске. Он всячески старался обратить наше внимание и на птичку, которой не живется почему-то внизу, где много зелени, а значит, и корма, на лужок размером с тарелку, кое-как приспособившийся на каменном уступе. Он успевал рассказать нам, что в высокогорных условиях растение своей основной массой прячется в почве, а наружу выставляет лишь минимальную часть, необходимую для улавливания света, для образования цветка и семян. От избытка ультрафиолета, дозу которого не выдержали бы обитатели низинных равнин, альпийские растения цветут гораздо ярче обычных. И тут не мог не удивить эдельвейс, который сделался как бы легендой и символом и дает названия разным человеческим понятиям: военным операциям,



горным дивизиям, спортивным обществам, ресторанам, альплагерям, кафе, кинотеатрам, курортным комплексам.

Женя Мальцев, ленинградский мой друг, наказал мне непременно добыть и привезти ему хотя бы один эдельвейс. Цветок понадобился не то для художнических, не то для лирических целей. «Первая серьезная просьба к тебе, — озадачил меня Евгений Демьяныч, — если не удастся добыть, узнай, где растет, на какой высоте, в какое время года цветет, чтобы я когда-нибудь сам мог поехать и сорвать». Вот такая нужда возникла в одном эдельвейсе у ленинградского художника Евгения Мальцева. Потом-то он признавался мне, что при слове «эдельвейс» вставало перед его глазами нечто пышное, крупное, яркое, вроде лилии, что ли, орхидеи, гиацинта. И правда, редко встретишь столь разительное несоответствие громкости имени, славы со скромностью облика. Стебелек высотой в две-три спички и только чуть потолще спички плотно покрыт белесоватыми ворсинками. Овально-продолговатые листочки, чуть крупнее овсяного зерна, плотно прижаты к стебельку и тоже ворсисты. Венчает это сооруженье тоже как будто войлочная серая звездочка в поперечнике... разные бывают звездочки — от одной копейки до пяточка. Все растение производит впечатление опушенного, вот именно войлочного. Но слава эдельвейса тем не менее велика, потому что растет он в таких горах, куда редко поднимаются люди по какому-нибудь практическому делу. Что касается меня, то я всю эту эдельвейсову славу передал бы другому, воистину дивному цветку гор — эдельвейсовой ромашке. Во-первых, она встречается гораздо выше эдельвейса, вернее, не встречается столь низко, где можно все же встретить подлинный эдельвейс, скажем, ниже трех тысяч метров. Во-вторых, она встречается более редко, и, в-третьих, — она прекрасна. Сейчас мне некогда заниматься ботаническими изысканиями, сравнивать эту ромашку с ромашкой обыкновенной, аптечной или с поповником, то есть с нашими ромашками. Параллельно, самостоятельно развивались эти виды или когда-нибудь ветром занесло семечко из долины в горы, и оно проросло, и началась жестокая, многовековая борьба за существование, в которой победили обе стороны? Ромашка выжила, зато пришлось пойти на уступки и так сильно изменить свою внешность, что сделаться, в сущности, самостоятельным видом. Кроме того, если и допустить, что семечко действительно занесло миллионы лет назад в Тянь-Шаньские горы, то придется допустить, что точно

так же занесло его в горы Кавказа, Памира, Альп и повсюду, где встречается этот очаровательный цветок.

Впрочем, может быть, он и не казался бы таким очаровательным, если бы рос на заливном лугу, на лесной опушке, на полевой меже. Может быть, он даже потерялся бы там среди других полевых цветов, в их пестроте и тесноте. Но в суровых и голых скалах, когда на целом дневном пути всего-то и попадется два-три цветка, он производит неотразимое впечатление.

От одного корня отходят в разные стороны пять-шесть стебельков, образуя пучок стеблей или, можно даже сказать, розетку. Стебельки короткие, ну с палец или чуть-чуть длиннее, тут и листочки, похожие по форме на листья наших ромашек. Но только и листья, и стебельки — все покрыто, как инеем, ярко-белым пушком. На каждом стебельке — по крупному ромашковому цветку. Цветы прикасаются друг к другу, собраны в изящный букетик. Не знаю, ярче ли эти цветы своих равнинных сородичей, но среди бестравных, серых, коричневых и черных скал они не просто цветут, а светятся и сияют.

Эти ромашки попадались нам, когда мы ходили на ледник, и, как видно, Александр Александрович велел сорвать экземпляр-другой, чтобы засушить или, по крайней мере, вдоволь налюбоваться. Во всяком случае, когда мы пришли на бивуак и расселись на камнях (момент, когда еще не начали переобуваться и переодеваться), молодой человек по имени Илья прошел к палатке с кустиком эдельвейсовой ромашки в руках.

— Ой, Илья, какие цветы! — восторженно воскликнула Лида, которая дежурила в этот день по бивуаку, готовила нам еду и, естественно, не могла увидеть эдельвейсовую ромашку там, где она растет. — Илья, дай мне этот цветок!

— Еще чего! — буркнул Илья и ушел с цветами в палатку.

Меня поразили этот коротенький разговор. Конечно, у молодости свои законы. Девушка даже и не обиделась на Илью. Но все же, как говорится, во все времена и у всех народов, если женщина, девушка сама попросила цветок, разве можно было его не отдать?

Во-первых, мне захотелось преподать этому парню Илье маленький урок, который, может быть, еще пригодится в жизни, а во-вторых, мне хотелось подарить Лиде желаемый цветок, поэтому я встал с камня и, хотя ноги мои после дневного похода почти не двигались, пошел на крутой

гребень морены, чтобы перевалить через него и на другом склоне во что бы то ни стало сорвать эдельвейсовую ромашку.

Затяг была безнадежна. Еще не смеркалось, но через четверть часа быстро начнет темнеть. В дальние поиски я пуститься не мог. Вблизи бивуака — какие могут быть эдельвейсовые ромашки? Но я знал одно: когда у стихотворной строфы есть уже три хорошие строчки, четвертая не может не появиться. Внезапно возникшая маленькая лирическая ситуация похожа была на стихотворение, написанное на три четверти, и логическое его течение исключало всякий другой конец, кроме того, что я сейчас немедленно найду и сорву эдельвейсовую ромашку. Сейчас я встану на склоне морены и, не сходя с места, оглядевшись вокруг, увижу этот цветок. Так должно быть. Или я ничего не понимаю в поэзии. Эдельвейсовая ромашка должна появиться, хотя бы материализовавшись из моего желания ее увидеть.

Серые камни морены были холодны и безжизненны. Одно место альпинисты из года в год приспособивали для выбрасывания консервных банок, очень удобно. Подняться от палаток на острый гребень и высыпать банки на крутой противоположный склон. Катятся со звоном и грохотом. Все больше из-под сгущенного молока и печеночного паштета. Вид заурядной помойки. Среди этих банок — пышный, не привядший еще, в полном цвету семицветковый кустик эдельвейсовой ромашки. А то, что среди консервных банок, — имеет ли это какое-нибудь значение?

Бережно я извлек из почвы крепко укоренившийся кустик и в двух ладонях, словно живого птенца, понес вниз, к бивуаку...

Когда утром на другой день мы снимались с бивуака, снова появился орел. Он, как и при нашем приходе, сделал над нами несколько кругов, поглядел на нас с небольшой высоты, поворачивая голову вправо и влево, и вновь остался один в горном безмолвии, нарушенном нами на три дня.

Корягу, которую с таким трудом приволок на себе Валерий Георгиевич, мы сжечь не успели. Достанется следующим альпинистам и будет для них неописуемой радостью.

Перед восхождением полагается один день полного отдыха, но Александр Александрович дал нам целых два дня.

— Разлениятся за два дня,— говорили ему опытные альпинисты.

— За два дня не успеют разленииться. Зато на второй день они будут землю рыть, как застоявшиеся лошади. А отдых им после Аксая нужен.

За эти два дня Александр Александрович решил усилить наш отряд, а вернее, его руководство. В лагере находилась группа альпинистов-челябинцев, а возглавлял ее «Барс снегов», прославленный альпинист Александр Григорьевич Рябухин. Сначала я думал, что его в шутку называют барсом, но, оказывается, существует официальное звание в нашей стране для альпинистов наивысшего класса — «Барс снегов». В группе Рябухина был еще один «барс», Станислав Николаевич Бедов (по-обиходному — Стас), а также одна «барсиха» — Галина Константиновна Ружальская. Незадолго перед этим она впервые в мире возглавила восхождение женской группы на семитысячник. Этих-то «барсов» и решил Александр Александрович привлечь к нашему восхождению. У них выдалось свободное время. Адыгене для них — всего лишь разминка. Отвыкли они от таких вершин. Даже есть своя прелесть, как если бы трем мастерам из сборной СССР сыграть в футбол за студенческую команду.

— Что же получается? — шутили в лагере. — Группу новичков поведут на первовосхождение пять мастеров спорта, из них три «Барса снегов». Такого никогда не бывало в истории альпинизма.

— Мало ли чего не бывало в истории альпинизма, — отвечал Александр Александрович, бросая на меня косвенный взгляд. — Московские писатели тоже не каждый день поднимаются на вершину.

С Александром Григорьевичем Рябухиным я, оказываясь, заранее самостоятельно познакомился. Я и раньше его видел на территории лагеря, но, конечно, мы проходили мимо друг друга. Но вот я вернулся с Аксая, обожженный солнцем. Нос я старался прятать, подсовывая под перемычку очков фольгу от шоколадной плитки, придав ей форму заслончика. Но мой лоб обгорел до волдырей. Щеки лупились. Дело усугубилось тем, что я по глупости намазался там, на Аксае, вазелином, думая, что он предохранит от загара, тогда как, оказалось, вазелин усугубляет действие ультрафиолетовых лучей. Больше всего досталось губам. Они превратились в болезненные, распухшие, кровоточащие лепешки. Увидев меня в столь плачевном состо-

янии, Рябухин сжалился, завел к себе в палатку и дал мази, которая должна была облегчить мои страдания и если не излечить лицо сразу, то, по крайней мере, ослабить его дальнейшее обугливание на ультрафиолете во время предстоящего восхождения. Мазь была очень едучая. Губы после нее цциало четверть часа, но приходилось терпеть. Дал мне Рябухин и крем, который накладывается на лицо толстым желтым слоем и не украшает, разумеется, но зато спасает от высокогорного беспощадного солнца.

«Барсиха» Галина Константиновна приходила к нам на бивуак, рассказывала о своем восхождении на семитысячник и произвела на всех неизгладимое впечатление. Но я не знал, что она придет, и меня в этот вечер у костра не было. То, что она согласилась идти с нами на восхождение, было воспринято ребятами как праздник.

Я радовался. Мои ноги прошли проверку и выдержали ее. Ботинки не жмут, мышцы не болят. За ноги я совершенно спокоен. Они поднимут меня на желанную высоту. Рюкзака я тоже теперь не боюсь. Он будет не тяжелее, чем я нес на Аксай. Подходы к вершине не сложнее аксайской дороги. Ну а на штурм вершины мы пойдем ведь без рюкзаков, налегке. Я прислушивался, приглядывался к себе — всё в порядке. Нигде ничего не болит, сухожилия не растянуты. В первый день мышцы действительно отдыхали от похода, а на второй день действительно запросили работы. Впервые у меня появилась уверенность, что, может быть, и правда мне суждено совершить восхождение на вершину. Осталось непроверенным только сердце, вернее, поведение его на высоте четырех с половиной тысяч метров при тяжелой нагрузке восхождения. Но нет другой возможности проверить его, кроме как подняться на высоту.

Проверить сердце практически нельзя, но всячески беречь его перед восхождением — моя обязанность. А тут, как нарочно, подвернулись два неожиданных соблазна. Первый из них возник в образе той самой финской бани, о которой я упоминал в начале этих записок. После Аксаи нашим командирам захотелось попариться. Александр Александрович в шутку так и сказал: «Баня для офицеров». Но я, хоть и рядовой в отрядном строю, тоже удостоился чести и оказался приглашенным на великое банное действо.

Баня, как и всякая финская баня, состояла из двух помещений, разделенных холодным тамбуром. Одно помещение, где мы раздевались, где пылал огромный камин

и где мы, раздевшись, расселись в кресла, обогреваемые теплом камина, можно было пазвать чистилищем. Второе помещение сочетало в себе одновременно и ад и рай, смертные муки и неизъяснимое блаженство.

Встав с кресла, человек уходил туда с закрытым ртом, спокойно дышащим, нормального телесного цвета. Возвращался же оттуда багровым, малиновым, обливающимся ручьями пота, хватающим воздух. В кресло он садился уже не небрежно, не нога на ногу, а развалился и распластавшись, свесив руки к полу, а голову на плечо.

Главным заплечных дел мастером был у нас Валерий Георгиевич, который перепарил всех по очереди. Как он сам выдержал там в парной (хотя и отдыхая перед камином), мне не ясно.

Когда я в первый раз сунул нос в парилку, у меня возникло ощущение, что никакой органической жизни (даже в форме простейших) там быть не может. Сто десять градусов при сухом потолке. Но, оказывается, можно войти, отдышаться, и даже лечь на верхний полок, и даже лечь под веник Валерия Георгиевича и, что самое удивительное, испытывать при этом удовольствие, граничащее с блаженством.

Однако не для описания банных ощущений я завел разговор. Мне интересно было общество опытных альпинистов перед камином, их разговоры, некоторые мысли, возникавшие при этом.

В каминной оказались три заросших бородами атлета, атлетические тела которых были, на мой взгляд, если не изнуренными, то заметно отощавшими. Один из молодых атлетов подтвердил правильность моего наблюдения. Он долго сидел в кресле, глядя на свои вытянутые ноги, и вдруг сказал:

— Черт знает что. Не узнаю свои ноги. Гляжу и не узнаю. Слово бы не мои.

— Что так?

— Тонкие какие-то, исхудали.

Эти люди только что возвратились с восхождения на пик Победы.

— Художин лежит на своей полке?

— Лежит.

Я вспомнил, что Художин — альпинист, погибший на склоне пика Победы от перегрузки, положенный там завернутым в палатку и завязанный репшнуром. В усло-

виях вечного горного холода он лежит уже несколько лет.

От полки разговор у альпинистов сам собой перешел к холодным бивуакам. Тотчас они вспомнили кого-то из своих товарищей, а именно одного альпиниста-грузина. и рассказывали со смехом, как на холодном бивуаке он вбивал вокруг себя множество крючьев, чтобы развесить на них разные вещи, словно сам он не висит на вертикальной скале в веревочной петле, а сидит дома на кухне. Даже для крышки от чайника он вбивал отдельный крючок.

— Ночью грохот. Мы просыпаемся. Слышим его спокойный голос: «Спите, спите, это из-под меня полка ушла...»

Значит, отвалился тот приступок, на котором он кое-как сидел, и теперь он остался досыпать ночь на одних только веревках.

От холодных бивуаков ребята пошли вспоминать дальше, а я отпочковался от них и подумал о пределах, в которых спорт полезен, а не вреден для человека, то есть о пределах, в которых спорт можно называть спортом.

Какие бы определения ни давали спорту словари и энциклопедия, в эти определения должно входить одно непреложное условие — полезность для человеческого организма. Однако часто в наше время спорт превращается в профессию. Начинаются разряды, призы, медали, рекорды. Человек не занимается ничем другим, кроме своего спорта, а спорт его входит в ту сомнительную фазу, когда организм работает на износ. Если это не так, если современный спорт, доведший сам себя до абсурда, действительно полезен и укрепляет здоровье, то назовите мне хотя бы двадцать (для обеспечения закономерности) бывших знаменитых спортсменов, доживших до преклонного возраста.

Прекрасный и благородный вид спорта — альпинизм. Может быть, это самый красивый вид спорта. Нет спору, художественная гимнастика или фигурное катание на льду — тоже красиво и благородно. Они даже граничат с искусством (как футбол и хоккей граничит с азартными играми), но все же антураж у них — спортивный зал, ковер, электрические лампы, стадион, в лучшем случае. Антуражем у альпинистов являются великие первозданные горы, с ледниками, с потоками, с камнепадами, с альпий-

скими дугами, высокогорным солнцем и высокогорным безмолвием.

Все прекрасно. Все полезно, хоть и трудно, ибо не трудный спорт не может быть ни прекрасным, ни полезным. Но вот я выпишу из книги кое-что о сидячих, висячих и холодных бивуаках.

«На стенных маршрутах не всегда возможен удобный бивуак... Сидячий бивуак организуется при наличии небольших полочек или балконов, где можно расположиться сидя или полулежа. При организации сидячего ночлега следует позаботиться, чтобы ноги не висели свободно, а на что-нибудь опирались, например, на специально протянутую веревку. В противном случае они затекут. В условиях сидячих бивуаков затруднено приготовление горячей пищи. В большинстве случаев примус с кастрюлей приходится держать на коленях...

Современные стенные маршруты с многодневным их прохождением привели к необходимости планировать и осуществлять ночлег на скальных отвесах (так называемые висячие бивуаки).

Висячий бивуак может быть решен в сидячем или лежащем варианте. Предпочтительнее второй, но он требует специальных гамаков, подвешиваемых на крючьях. Сидячий бивуак организуется на специальной дюралевой или пластмассовой платформе (то есть пластинке. — *В. С.*); при ее отсутствии к ступеням двух укрепленных на крючьях на расстоянии 40—60 сантиметров штурмовых лесенок привязывается горизонтальное сиденье из двух ледорубов, молотков, специальных кусков прочной фанеры и т. д. В это, похожее на детские качели, импровизированное сиденье садится тепло одетый альпинист и ставит ноги на подвезанную внизу веревку. Можно надеть на себя спальный мешок и укрыться плащ-накидкой, создавая таким образом более комфортабельные условия. Во избежание раскачивания при порыве ветра всю конструкцию желательно прикрепить к скале.

В ряде случаев группа может оказаться на трудном участке маршрута в предвечернее время, не имея при себе бивуачного снаряжения. Предстоит так называемый «холодный бивуак»... Главная задача, стоящая перед группой в условиях холодного бивуака, — не поморозиться в течение ночи и сохранить способность передвигаться утром. Бояться длительной работы по устройству бивуака не следует. Все равно в период холодной ночевки спать, как



правило, нельзя. Влажную одежду лучше всего надеть под штормовку. Промокшие носки, рукавицы, стельки выжать, выколотить о камни и положить на плечи под свитер для просушки... Штормовку надо заправить в брюки, капюшон надо надеть на голову и затянуть шнурком. Куртку тщательно застегнуть, ботинки расшнуровать, но не снимать с ног, а ноги засунуть в рюкзаки (по два-три человека в один рюкзак) — так теплее. Рюкзак не туго завязать выше колена.

В тесной компактной группе лучше сохраняется тепло. Поэтому в течение ночи следует не вставать, даже если затекают ноги. В таких случаях надо упорно шевелить пальцами ног, стопами, двигать плечами, бедрами, напрягая различные группы мышц. Активной работой мышц без движения конечностями удастся значительно согреть их и уберечь от подмерзания. Если условия бивуака достаточно безопасны, рукава штормовки втянуть внутрь, а руки, вытянув из рукавов, положить под свитер на груди или с боков. При реальной опасности обморожения или переохлаждения надо заставить себя не засыпать, будить засыпающих. В течение ночи, особенно под утро, можно съесть что-нибудь легкоусвояемое — конфеты, сухофрукты, глюкозу.

Самым трудным будут предутренние часы. Надо все время следить друг за другом. Если у кого-нибудь чувствительность конечностей собственными средствами не восстанавливается, нужно безотлагательно помочь ему растиранием сухими шерстяными вещами... Утром перед началом движения по маршруту необходимо энергично (с соблюдением максимальной осторожности) восстановить кровообращение, чувствительность органов, согреться и только тогда осторожно на надежной страховке начинать движение».

Все это превосходно, конечно, но все же сидение целую ночь над пропастью на двух связанных ледорубах и просушка в морозную ночь носков и стелек на плечах под свитером — странный спорт. Речь идет, как мы видели, не о случайности, когда застигло стихийное бедствие, а о бивуаках, которые фактически неизбежны и даже планируются при современном характере альпинизма.

От воспоминания о холодных бивуаках захотелось скорее еще раз окунуться в сухой пар финской бани и лечь под веник Валерия Георгиевича.

При всем том баня была нежелательным соблазном пе-

ред восхождением. Она и освежит, и оздоровит, бесспорно, однако нагрузка на сердце огромна, и не скажется ли эта сегодняшняя нагрузка завтра на высоте 4404 метров.

Еще большим и злостным соблазном явилось пиво, которое привезли из Фрунзе ради банного дня и выставили посреди каминной в количестве не сорока ли бутылок. Только ради прекрасной Адыгене я и устоял от такого соблазна.

Однако соблазны в тот день на пиве не кончились. Не успел я прилечь отдохнуть после бани, как раздался стук, и на пороге моей комнатенки возник не кто-нибудь другой, а Чингиз Айтматов. Прилетев во Фрунзе, я, правда, позвонил ему, и мы условились, что увидимся, но можно ли было предполагать, что встреча придется на канун восхождения. Между тем Чингиз стал приглашать меня на дачу, где жена уже хлопочет и накрывает на стол, и я должен быть у них гостем. Это вполне естественно и понятно. Если бы Чингиз объявился вдруг в наших владимирских краях, а тем более в нашем Ставровском районе, и жил неподалеку от меня двадцать дней, очевидно, и я стал бы зазывать его к себе в гости. То есть даже нельзя и представить, чтобы не стал зазывать. И приехал бы за ним на машине, как он сегодня приехал за мной. Законы человеческого поведения, законы дружбы, законы гостеприимства. Можно ли не позвать и можно ли отказать? И можно ли, приехав в его юрту под Фрунзе, имеющую очертания современной дачи, избежать всех остальных законов киргизского гостеприимства? Если же я даже бутылкой послебанного пива боялся нарушить свою спортивную форму, то что же от нее, от спортивной формы, останется к завтрашнему утру после посещения дома Чингиза Айтматова?

Нет, пожалуй, я слишком многого достиг, чтобы одним днем пустить все насмарку. Дело не только в сердце, которое утомится от застолья, дело в собранности, в психологической подготовленности, которые откристаллизовывались в эти дни, в уверенности, которая завтра утром покинет меня. Дело в настроении, в настроенности, в душевном самочувствии, в убежденности, что ничто постороннее, случайное и привходящее не помешает мне завтра. Если я не дойду, значит, я не дойду, как таковой, а не потому, что вчера истратил свои резервы.

Нет, дорогой Чингиз Айтматов, спасибо тебе за приглашение, но воспользоваться им я теперь не могу. Я иду на вершину Адыгене.

— Ну, Ольга Владимировна, что тебе сегодня приснилось?

— Мне приснился ужасный сон. Будто мы все, вся наша группа, окружили тех троих альпинистов, помнишь, которые пели в хижине на Аксае, и заставили их присоединиться к нашему отряду. Они вместо Короны должны идти с нами на Адыгепе. А самое главное, они должны вместе с нами есть рожки и пить какао, сваренное в ведре.

— А они?

— Они не хотят. Но наши ребята окружили и наступают. В руках у ребят ледорубы и репшпур.

— Плохо их дело.

— Но я проснулась и не знаю, чем кончилось.

Александр Александрович уже свистел, призывая нас строиться на линейке с рюкзаками перед нашим последним, перед нашим главным походом. Я дождался до своего восхождения на вершину.

Чем бы я занимался в этот день, будь я не в горах, а у себя дома? Пожалуй, это доподлинно известно. Во-первых, я был бы сейчас в Оленине, а во-вторых, собирался бы в гости в село Спасское, к Саше Косицыну и его родителям, потому что у них в Спасском сегодня праздник Преображение. Этот праздник все там по укоренившейся традиции празднуют, пожалуй, уже не вкладывая в него церковного смысла, но используя его как прекрасный повод собраться родне, попить, погулять.

Я приехал бы в Спасское часов в двенадцать. Походили бы у Косицыных по саду: крупный, начинающий янтареть крыжовник, яблоки, начинающие поспевать, сливы, начинающие розоветь, россыпь черной смородины, гроздь красной и белой смородины. Всем похвалился бы Павел Иванович. Потом сели бы за стол: зеленый лук со сметаной, московская колбаса, жареные мелкие карасики, стопки, зеленоватые бутылки.

— Володя, Володя, ты что-то злоупотребляешь, — говорил бы мне Павел Иванович, видя, что ставлю рюмку, не допивая.

Под вечер, как ни ловчи, как ни обманывай бдительность Павла Ивановича, отяжелевший вернулся бы в Оленино.

— Ну, как погуляли? Драки не было? — спрашивали бы меня мои сестры.

Так уж заведено у них в Спасском в Преображение. Посреди села — обязательно драка. Бывали и смертоубийства, бывали и массовые побоища. Теперь стало тише. Отчасти потому, что и народу стало гораздо меньше. Но все равно, хоть по одному разу, перехлестнутся какие-нибудь два парня, пьяные до потери соображения...

— Кто себя плохо чувствует? Кто не хочет идти? Нет таких? Надеть рюкзаки, приготовиться к движению. Валерий Георгиевич замыкающий...

Первый день ушел на подход к вершине, на достижение стоянки «Электро», с которой начинается обыкновенно штурм Адыгене.

Ощущения впечатлений этого первого дня не принесли, пожалуй, ничего нового. Конечно, горный пейзаж был другой, нежели при походе на Аксай, но ботинки Александра Александровича, за которыми я следовал, были теми же, рюкзак на спине лежал тот же самый, и надо было точно так же шагать, шагать и шагать то по сухой тропе, то переступая с камня на камень по моренным нагромождениям. Хорошо уж то, что не было крутых взлетов, быстрого набора высоты, а был более пологий, но и более длинный, многочасовой подъем. Рука не немела, как в прошлый раз. И еще одно нужно отметить. Нам пришлось пройти мимо того самого кладбища альпинистов, с прогулки на которое начинался наш сбор. Тогда налегке, без рюкзака, я с трудом преодолел этот подъем. Как помнится, пот заливал глаза и губы, стучало в висках и болезненно дергалось в затылке. Теперь же, под тяжестью рюкзака, я не заметил, как мы дошли до кладбища и миновали его. Тренировка, сказал бы любой спортсмен. Тренировка, скажу и я.

Наиболее памятные впечатления этого дня принесла нам сама стоянка «Электро», вернее, тот леденящий дождь, который поливал нас непрерывно: и пока мы ставили палатки, и пока мы готовили еду, и пока ужинали. Погода испортилась тотчас, как мы пришли на стоянку.

Местность, если начертить схему, была такова: зеленая травянистая долина, ограниченная по сторонам двумя грядами гор. В нижней части — травянистыми, начиная с середины и выше — скальными. Дно долины изогнуто. Когда мы глядим на него в ту сторону, куда нам завтра предстоит идти, мы видим, что оно набирает подъем и перегораживается поперечной мореной, напоминающей высотную плоти-

ну, какие строят сейчас в ущельях, когда хотят соорудить гидроэлектростанцию. Если мы глядим на дно долины в ту сторону, откуда пришли, то оно не вдалеке от нас, загибаясь, уходит вниз, и мы его больше не видим, а видим одно только небо. По этой изогнутой зеленой плоскости, откуда-то снизу, из неведомого чертового котла, непрерывно поднимаются клубы пара различных оттенков, от белого, как речной туман, до темного, как ненастные осенние тучи. Эти клубы наползают к нам снизу с большой скоростью, наполняют всю долину, погребаяют нас в мраке и сырости, но пока не ождят. Они плывут, ползут, лезут, натываются на поперечную плотину морены и, перевалив через нее, уплывают куда-то еще дальше и выше, где мы их больше не видим. Наступает короткое прояснение. Побыв по ту сторону морены, бело-черные клубы вдруг возвращаются обратно и (в чем-то они изменились там, наверху, что-то с ними произошло) начинают поливать нас проливным дождем. Они не уплывают обратно вниз, в преисподний котел, но, облегчаясь над нашей стоянкой, поднимаются, воспаряют и рассеиваются, приклеиваясь серыми клочьями к скалистым гребням. Тем временем снизу поднимается новая порция мглы, накрывает нас, проплывает над нами, переваливает через морену, некоторое время находится там, возвращается и окатывает новой порцией ледяного дождя.

Кое-как мы угрелись в наших спальных мешках, в палаточке, которая местами начала протекать. У этих палаток, вернее, у этого палаточного материала, одна неприятная особенность. Дождь скатывается с него, и лишь мельчайшая испарина выступает на нижней стороне ткани. Испарина безобидна, она не собирается в капли и не начинает капать на спящих. Но если такую отпотевшую во время дождя ткань потереть с внутренней стороны или если к ней прислониться, задеть за нее локтем, спиной, прислонить к ней рюкзак, то она в месте прикосновения начинает пропускать воду. Укладываясь и ворочаясь в тесной палатке вчетвером, мы, конечно, и задевали, и прикасались к палаточной ткани, и теперь палатка во многих местах текла. К шуму дождя присоединились порывы ветра, уснуть все не удавалось, а между тем на сон отведено не так уж много времени. Все восхождения начинаются, по неписаному альпинистскому закону, на рассвете.

Один инструктор рассказывал:

— Вышли в четыре часа. К десяти оказались на вершине, к двенадцати сбросились. Впереди целый день. Погода прекрасная. Солнце, тепло. Отдых.

Наступит ли такая минута, когда все уже будет позади, только отдых, беззаботный отдых и сознание, что сделал то, что тебе полагалось сделать?

Почему полагалось? — думал я под шум высокогорного дождичка. Почему я обязан? Кто меня обязал? Это трудно. Это очень трудно, как уточняет Никита Васильевич Живаго. Это опасно. Я не знаю своего потолка. Я не знаю границ выносливости своего отнюдь не юного и почти не тренированного сердца. Даже и хорошо тренированные альпинисты умирают на высоте от недостатка кислорода — от сердечной недостаточности. Совсем недавно, месяц назад, при восхождении на пик Коммунизма умер от сердечной недостаточности немецкий альпинист.

Кто меня гонит? Поигрался, позабавился, ну и хватит. Полазил по скалам, отработал каменные осыпи, снег и лед, сходил на Аксай. Все хорошо. Довольно. Зачем тебе еще и вершина Адыгене? Миллионы, миллиарды людей живут на земле, не делая восхождения на вершины, и ничего ведь, живут. Точно все клином сошлось на этой вершине Адыгене! Объяви утром, что ты не хочешь идти, и группа уйдет без тебя. Скажи, что неважно себя чувствуешь. Силой не потащат. Наверно, даже и уговаривать не будут, разве только немного, для приличия.

Ход этих мыслей показался мне настолько нелепым, нереальным и фантастичным, что я даже вздрогнул, сбросив с себя дремоту, которой тепло и сладко наливалось усталое тело.

Не говоря о том, что я хочу (хочу и хочу!) взойти на вершину, разве возможно отказаться от восхождения перед всем честным народом в последний момент?

Александр Александрович ничего не скажет. Опешит в первое мгновение, но тотчас возьмет себя в руки и спокойным голосом произнесет:

— Ну, хорошо.

Не рад ли будет он в глубине души? Ибо возложил на себя большую ответственность — тащить на гору не спортсмена, не альпиниста. Может быть, он втайне надеялся, что во время тренировок и учебных занятий я сам пойму, что сажусь не в свои сани? Но сказать он ничего мне не скажет, кроме спокойного, неодобряющего и неосуждающего: «Ну, хорошо».

Потом в Москве, делаясь впечатлениями с друзьями, он прибавит, наверно, еще несколько словечек, но тоже сдержанных и тактичных. Так и вижу его, сидящего в низком кресле, держащего около колен и обогревающего в ладонях пузатый бокал и смотрящего мимо бокала на свои ноги.

— У него получилось не очень удачно. Шел холодный дождь, и он себя плохо почувствовал. Обидно. Все уже было сделано. Оставалось только взойти.

— Может, просто сдрейфил писатель?

— Может, и сдрейфил.

А что скажут «барсы», которые вняли просьбе Александра Александровича и пошли с нашей группой, вероятно, только из-за необычности ее состава? То-то будет чем поделиться в своем Челябинске!

А что скажут или подумают эти юноши и девушки? И моя Ольга? И все в лагере: начальник, доктор, начспас?

И что сам я скажу себе?

Да если бы исчез лагерь с лица земли, исчезли бы «барсы», исчезла бы вся группа во главе с Александром Александровичем, все равно я один встал бы в четыре часа утра и пошел на вершину Адыгене. Тем более что маршрут восхождения своей рукой списал в тетрадь и поэтому хорошо запомнил.

Мало ли что — условность! Во времена Пушкина честь тоже была явлением условным, и Писарев со своих нарочито реалистических позиций зло высмеял эту условность, разбирая дуэль Онегина с Ленским. Однако в те времена, приняв вызов, уже немыслимо было взять да и не выйти к барьеру. Продолжать жить можно было, только постояв у барьера и выдержав выстрел противника. Вся жизнь, богатая и яркая, сводилась вдруг к узкой щели, через которую необходимо было пройти и за которой, если не убьют, снова открывалась жизнь, просторная и прекрасная. Но вход в эту вторую половину жизни лежал, увы, только через тесную щель дуэли. А казалось бы, что такого? Взял да и не явился. Удалился в свое глухое имение коротать там остальные дни в одиночестве, в компании стеганого халата, длинной трубки да стакана вина. Лермонтов, скажем. Неужели он не сознавал своего значения для России и ничтожества Мартынова по сравнению с собой? Неужели он не понимал, что нельзя ставить на карту жизнь Лермонтова (Лермонтова!), не сделавшего еще и сотой доли того, что

ему предназначено? Что такое условность? Что такое Мартынов? Что такое честь? Что такое пятигорские сплетни по сравнению с будущим романом, с журналом, который Лермонтов собирается издавать, с русской литературой? Потомки небось простили бы, если бы струсил да и не вышел к барьеру! Все так. Мартынов, может быть, действительно ничего не значил, равно как и пятигорские сплетни, но значило презрение к самому себе. Презирая Мартынова, жить можно. Презирая условности света, жить можно. Презирая самого себя, жить нельзя.

Вспомнив про дуэли, я, конечно, высоко и слишком хватил в своих полусонных ощущениях. Но и правда, моя жизнь теперь уперлась в вершину Адыгене. Не обойти, не вильнуть в сторону, не повернуть назад. Жизненный путь мог продолжаться, только обозначившись пунктирной линией на белых снегах вершины. Все широкое поле жизни, через которое, как известно, нужно перейти, свелось к узкой тропе нашего маршрута, и даже не к тропе, а просто к линии, по которой мы пойдем след в след и по которой я, как по проволоке или как по лезвию, должен пройти в свое же будущее. Река, текущая меж зеленых и просторных берегов, должна протечь через трубу и через турбину, а потом — теки себе опять в земных берегах.

Тут перед моими закрытыми глазами потекла вода: то тихая, черная, почти неподвижная — в нашей речке, то узловатая и кофейная — расплеснувшегося под летним небом Днепра, то стальное полотнище Волги, то зеленобутылочное кипение реки Боровской в Родопах. Вода лилась, струилась, рябила, мерцала, пульсирующими толчками вырывалась из водосточной трубы, обрушивалась серым водопадом и шумела дождем. Только эта последняя вода была, увы, реальна, в отличие от всех остальных, просмотренных мною в кинофильме памяти.

Шум дождя переборол мою возбужденность, которая обычна перед событием (даже перед ранним выездом на рыбалку), и уже бесшумные мягкие волны понесли меня на себе в бархатную тишину сна. Теперь если уснешь — до самого восхождения, мелькнула последняя мысль. Ничего уж не осталось между этой минутой и восхождением, кроме сна. Никаких событий. И скорее бы, и тревожно.

Казалось, я спал не больше пяти минут, но прислу-



шался и понял, что лагерь уже на ногах. Вылез из мешка. Выбивая зубную дробь (с раннего просонья на предрассветном морозце), тщательно, по порядку оделся и обулся. В черном, едва начинающем зеленеть небе, словно елочные игрушки, висели звезды. Одна ярко-зеленая звезда величиною с небольшое яблоко светилась над уступом скалы, и было похоже, как если бы там стоял человек и держал в руке яркий фонарь. Ни дождя, ни ветра на земле уже не было.

Я прошелся по бивуаку и увидел, что некоторые проснулись, но еще одеваются в палатках (приглушенные голоса, шуршание о стенки палаток, иногда девчоночий смешок). Некоторые вылезли на свет божий (на тьму божию) и, съезжившись от холода, потрусили за отведенные для этой утренней цели камни. И в пяти шагах не узнаешь человека — настолько темно.

Когда я вылез из палатки, мои сончлежники еще оставались в ней, в том числе и Александр Александрович. Тем не менее, опередив каким-то непостижимым образом его выход, по бивуаку мгновенно распространилась новость, повергшая меня в уныние. Если бы сказали, что за ночь исчезла Адыгене, я бы, наверно, огорчился меньше. В конце концов, пошли бы на другую вершину.

Александр Александрович заболел. У него температура 38,3, у него болит горло, он потерял голос. Он на восхождение с нами идти не сможет. Произошло самое неприятное из всего, что могло произойти, чтобы помешать восхождению.

Нас поведут асы, «барсы снегов». Но присущ ли им тот темп, к которому нас приучил Александр Александрович и который давал мне уверенность? В последние несколько минут меня ошеломило новое обстоятельство. Оказывается, никто из «барсов» никогда на Адыгене не ходил и не знает не только маршрута восхождения, но и места, где находится эта гора. Александр Григорьевич Рябухин, который сделался командиром отряда, шутя успокаивал Александра Александровича:

— Взойти-то взойдем. Найти бы гору!

— Ее будет видно, когда подниметесь на морену. Не ошибетесь. Что касается маршрута — идите по логике. Заранее все не расскажешь, да я и не был на ней давно. Идите по логике. Взлет по осыпи, перевальный гребень самой горы...

— Перила не нужны?

— В одном месте натягиваются перила. Увидите сами. По логике.

— У меня есть маршрут восхождения. Я знаю его наизусть,— робко вступил я в разговор командиров.

— Да ну! — обрадовался Рябухин.— Тогда прекрасно.

Так получилось, что именно я, самый неумелый и неопытный, оказался практически проводником всей группы на вершину Адыгене! Не удивительно, что после часа пути мы заплутались и сделали по горам не очень большой, но противный крюк, который нам стоил минут сорока времени и некоторого количества самых утренних, самых свежих сил.

Без рюкзаков идти было легко, и физическая нагрузка подъема, как такового, меня не беспокоила. Я побаивался нагрузки на большой высоте, в разреженном воздухе, но до высоты было еще недалеко, можно было еще идти и наслаждаться ранним высокогорным утром.

Справа от нас на огромном скалистом склоне кричали улары. Эти крупные птицы (ошибочно их называют горными индейками) очень редки. Древние арабы считали, что если человек видел улара, то счастье и удача будут всегда сопутствовать ему. Естественно, что нам хотелось хоть издали поглядеть на этих птиц. Увидеть их тем труднее, что они почти никогда не поднимаются на крыло. Они пасутся на скалах не взлетая, причем вверх по камням поднимаются медленно или, скажем, нормально, а вниз сбегают очень быстро, махая крыльями, словно катятся кувирком. Совсем как альпинисты. Во время скатывания вниз они кричат криком, похожим на продолжительный и звонкий человеческий смех. Не летящую, а лишь сидящую в скалах птицу разглядеть никак невозможно; но все же — особенное везение — мы в это утро увидели уларов. Серые рябоватые птицы больше напомнили мне тетерок, а не индеек. Они мирно паслись у подножия отвесных скал, шагах в ста пятидесяти от нашей ровной и двигающейся цепочки.

Во время привала ребята разглядели высоко на скалистом склоне несколько горных козлов. Все мы стали смотреть туда же в надежде, что и нам удастся увидеть этих редких животных.

— Где, где?

— Около камня, похожего на трехгранный клинок.

— Не вижу.

— Вы не туда смотрите. Смотрите внимательнее. Видите большую квадратную глыбу? Правее этой балды — кулуар. Затем плита и вот — острый штык. Правее него на один палец.

Как раньше в армии, я вытянул руку, прищурил глаз, и взял на один палец правее острого камня. Так вот почему я не мог их увидеть! Я ожидал, что они будут выглядеть более крупными. Но расстояние в горах обманчиво. Должно быть, далеко было до острого камня, если крупные горные козлы показались мне тремя рыженькими муравейчиками, ползущими по травянистому склону. Приглядевшись и привыкнув отличать взглядом рыжеватые камни от рыжеватых живых существ, мы обнаружили, что козлов там не три, а гораздо больше. Впрочем, помогло и то, что стадо тронулось с места, и все они поползли поперек протяженного склона вот именно как муравьи, такие же крохотные, такие же рыжеватые и такие же многочисленные. Только передвигались они гораздо быстрее, чем если бы это и вправду было переселение муравьев. Даже на таком расстоянии мы видели, что передвигаются они со стремительной легкостью.

— Смотрите, еще, еще! — кричали наши.

— Как много!

— Огромное стадо.

— Начали появляться, — объяснил нам Рябухин. — Одно время совсем исчезла в горах всякая живность. — Теперь — постороже. Охрана природы. Начали появляться.

Цветы, замерзшие за ночь, постепенно оттаивали и оживали, но видели мы их только на первой трети пути. Постепенно мы поднялись в те высокие сферы, где цветам не хватает ни кислорода, ни тепла, а ультрафиолет слишком жесток, чтобы можно было жить, а тем более расцвевать. Но и нам (по крайней мере мне) тоже стало не хватать кислорода.

Сначала все шло прекрасно, несмотря на то что мы заплутались. Подойдя к грандиозной плотинобразной морене, преградившей нам путь, мы не знали, где подниматься дальше — по правому краю этой конечной морены или по левому. Тетради со мной не было. Мне казалось, что я хорошо помню маршрут восхождения, но именно этого места в описании маршрута я никак не мог вспомнить. Надо сказать к тому же, что у меня очень плохая ориенти-

ровка на местности. Одно из моих слабых мест. Я могу заплутаться в нашем олепинском лесу, знакомом мне с детства. Вероятно, ориентироваться мне мешает излишек воображения. Стоит оглянуться по сторонам, как я тотчас вообразу себе, в какой стороне дорога, в какой стороне село, и тогда все начинает складываться и подтверждать мою ложную версию.

Точно так же и здесь втемяшилось, что Адыгене мы должны увидеть левее морены. Командир отряда совсем не знал этого участка гор. Поверил мне, и мы взяли влево. Однако, с усилием взойдя на очень крутую морену, мы не увидели никакой Адыгене и начали в растерянности оглядываться по сторонам. В противоположной почти стороне, где мы вовсе не ожидали, сверкал вдалеке снегами горный цирк: пик Панфилова со своим ледником — левый край цирка, Электро — правый край, а в середине — наша вершина. Цирк не был таким же округлым, как на Аксае, но вытянутым в длину, и Адыгене сияла на его далеком конце. Предстояло спуститься с морены, на которую мы попали по ошибке, а потом по другой длинной морене, похожей на лежащего тигра, по тигриному этому хребту подниматься долго и круто непосредственно к подножию горы.

Хребет-то хребет, но при ближайшем знакомстве — нагромождение камней, кубических и огромных.

Часто удивляют в горах причудливые, не всегда доступные даже и воображению образования. Вот, например, час назад, идя по галечной площадке, я увидел справа от нас следующую картину. На относительно ровном месте, в виде ну, что ли, башни, нагромождены камни по кубометру и больше. Они лежат компактной кучей, словно кто-то принес их в мешке и высыпал на ровное место, и не просто высыпал, а еще и подправил, чтобы не валялись как попало. Когда видишь у подножия склона одну глыбу, тотчас представляешь себе, как она скатилась со склона, с каким грохотом, с каким трясением земли. Если несколько глыб, то надо полагать, что они скатились в разное время. Но аккуратная куча, объемом с многоэтажный городской дом, как образовалась она? Стояла скала, а потом рассыпалась во время землетрясения? В этом случае она рассыпалась бы вот именно по долине и лежали бы вокруг откатившиеся отдельные камни. Не могла же она рассыпаться и осесть в такую аккуратную кучу? Вероятно, за миллионы лет работа ледника, работа землетрясений, работа солнца, мо-

роза, воды и ветра приходит иногда в такое случайное сочетание, что наше воображение отказывается понять результаты этой работы.

Вот и эта морена, по которой мы поднимаемся, — можно ли вообразить, каким образом и на протяжении какого времени создавалась она?

Рябухин шел и, немного бравируя не то перед литератором, пыхтящим за его спиной, не то вообще перед новичками, намурлыкивал знаменитый булаховский романс о звезде. Но и то постепенно у него сбивалось дыхание, что никак не скроешь во время пения. Что же говорить про меня? При ровном перешагивании с камня на камень (по крутой восходящей) я дышал все же ровно, хоть и усиленно. Но стоило мне сделать одно резкое движение — прыгнуть или порывисто подняться на очередную глыбу, как тотчас дыхание сбивалось на одышку, и надо было делать несколько судорожных глубоких вдохов, чтобы его выровнять.

Казалось странным, что в таком чистейшем утреннем прохладном воздухе недостаточно кислорода. Понятно, когда его не хватает в жарко натопленном, душном, прокуренном, переполненном людьми помещении, или в каком-нибудь там водолазном приспособлении, или в большом современном городе, плавающем постоянно в бензинном чаду. Но здесь, в утренних горах, когда воздух настолько чист, что ни одной пылинки не обнаружить в нем никакими приборами... И тем не менее кислорода мало, не хватает. Он разрежен, и с каждым шагом вверх его делается все меньше и меньше. Не потому ли таким густо-синим, неправдоподобно густо-синим становится небо, чья темная синева оттеняется белизной снегов? Говорят, в космосе небо непрозрачно, как черный бархат. Конечно, четыре с половиной километра над поверхностью моря не бог весть какая высота, но все же это шаг вверх, а у цвета неба — шаг к его космической черноте.

Как будто ничего в организме не давало о себе знать: Ног не было (они легко шли), плеч не было (они блаженствовали без рюкзака). Было лицо, которому хотелось спрятаться от жестокого ультрафиолета, немного был правый бок (что-то покалывало там), но это временно. Фактически же было одно: величиной с целого меня, завладевшее всем моим вниманием сердце. Насос. Только от него зависело теперь мое восхождение.

Насос добросовестно и старательно гонит красную

жидкость из главного резервуара во все уголки моего тела. Удар поршнем — жидкость стремглав мчится по трубкам, трубочкам, трубчатым волоскам, достигая каждой клетки. Клетки ждут этой жидкости, им нужно гореть, и гореть ярко, в полную силу. Но свеча тускнеет и гаснет под колпаком. Огонь задыхается в пару или собственном дыме. Огонь живет только при кислороде. Красная жидкость приносит кислород. Каждая клетка с нетерпением ждет новой порции жидкости, чтобы снова вспыхнуть. Но что толку в этой жидкости, если она притекает, омывает, а кислорода в ней все меньше и меньше. Его мало в том воздухе, который захватывают легкие. Значит, легкие должны захватывать воздух все чаще и чаще. Значит, и насос должен работать в учащенном ритме. Здесь-то и начинается трагическое противоречие. Чтобы работать усиленно, насосу самому нужна усиленная порция кислорода. Круг замыкается, начинается сердечная недостаточность.

Я слышу, как сердце то бултыхается в груди, то словно бы замирает. Когда преодолели морену и остановились у подножия склона Адыгене, я почувствовал, что в глазах у меня все растаяло, затуманилось, побелело. Скорее я оперся на ледоруб, чтобы никто не заметил моей слабости, да и просто чтобы не упасть. Глядя вниз, на трещину в красноватом камне, запааянную темным ледком, я кое-как отдышался. Камень, трещина и ледок были для меня той деталью, на которой начинающий фотограф останавливает размытое желтое пятно, чтобы точно навести фокус. Раздвоенные линии совмещаются, туман исчезает, остается ясное, четкое состояние кадра. Так и у меня после нескольких глубоких вдохов туманец в глазах рассеялся, и трещина и ледок в ней оказались в фокусе взгляда. Тогда я посмотрел вверх, и впервые за двадцать дней мне сделалось не то чтобы страшно, но как-то горестно и тоскливо.

Склон, перед которым мы остановились, показался мне только что не вертикальным. Он вздымался вверх, загораживая небо почти до зенита. Он был седловидным (как я изучил еще по картинке), и мы находились против самой низкой точки седла. Самая низкая, но ужасающе высокая. Влево от нижней точки седла поднималась ломаная, зубчатая линия гребня, ведущего непосредственно к вершине; которую теперь от самого ее подножия не было видно. Ее загораживали более близкие скалы. Ничего. Когда надо, появится. Левее нас, из нижней части склона, вздымались,

пропоров его, темно-красные скалистые образования, напоминающие готические соборы, и самый грандиозный из них — Кельнский готический собор. Но Кельнский готический собор — творение человеческих рук — показался бы игрушечным, если бы его поставить рядом с этими каменными фантазиями природы.

Между тем Рябухин пристально вглядывался в склон, может быть, ища на нем признаки тропинки. Ведь ходили же до нас люди на Адыгене. Оставили какой-нибудь след или признак. И точно, в одном месте положены камень на камень и еще один камень, образуя башенку, вежу, ориентир. На эту башенку и повел нас Рябухин. Булахова он больше не напевал.

Я заметил, что если поднимаю голову и гляжу по сторонам, то головокружение и зыбкая пустота в груди сказываются сильнее. Значит, если я хочу дойти хотя бы до перевального гребня, то нужно смотреть под ноги и отвлекаться, думая о чем-нибудь постороннем, а не о том, прошли ли мы третью часть склона или только еще четвертую.

Кто придумал словечки «покорять», «покорители», «покоренные вершины»? Посмотришь на нас издалека и не разглядишь на склоне среди этих готических многоступенчатых и многоспильных глыб. Ползут черные точки; мельчайшие, но, правда, дерзкие существа. Возможно, и заползут на самый верх горы. Но что из того? Может ли цепочка из муравьев, заползя на крышу двенадцатиэтажного дома, считать, что она его покорила? Дому от такого подвига муравьев, как говорится, ни жарко ни холодно. Но сами себе муравьи кое-что доказали: преодолели, достигли. Я бы так и говорил: «достижение вершины», «достигнутые вершины», «мы достигли вершины Адыгене». Мы ее достигли, но вовсе не покорили. Покорили же мы... Например, я покорил в себе боязнь, осторожность, слабость, благоразумие, инертность, расхлябанность, некоторые вздорные представления о себе и о жизни. Вот идет моя Ольга, московская девочка, школьница, освобожденная от всех физкультурных занятий. Она думала про себя, что она домашний цветок, никудышный заморыш, слабенькое и болезненное существо, обреченное на лекарства, на форточно-комнатный режим. Вот она идет, перевалив за отметку четыре тысячи метров над уровнем моря, и достигнет вершины, тогда можно будет сказать, что она победила, покорила самое себя, а заодно и все те обстоятельства,

которые пытались создать у нее ложные представления о себе самой.

Боюсь посмотреть назад, чтобы не увидеть, как мало еще мы поднялись по склону, боюсь посмотреть и вверх — почти в зенит, чтобы не увидеть, как много еще осталось. То, что основной подъем начнется, когда мы поднимемся на перевальный гребень, я как-то забываю. Задача — дойти до перевального гребня. Почему-то мне кажется, что оттуда до вершины останутся пустяки. Отчетливо представляю себе, как взгляну в сторону Адыгене и увижу, что она совсем рядом. Пройтись по снежку, по равномерно наклонному гребню. Только бы кончился поскорее этот противный крутой и высокий склон. Ясно, что привала на середине склона не будет. Приостановимся, когда выйдем на гребень, это ясно. Без остановки, без возможности перевести дыхание (спокойно вдохнуть и выдохнуть) — вверх, вверх и вверх на одном порыве (хотя и размеренно), от подножия склона к его поднебесному гребню — взлет.

Какой противный, отвратительный склон! Его плоскость вздыблена так, как мы нарочно подняли бы фанерный лист, если б захотели, чтобы с листа соскользнули какие-нибудь плохо ползающие по нему жучки. Крутая поверхность склона тверда. Она состоит из мелкого камня, сцементированного землей. Снежок, выпавший ночью и тающий у нас на глазах, делает склон еще более скользким. Когда наступаешь ботинком, то весь снежок остается на подошве в шипах, обнажая пыльную, мелкокаменистую поверхность склона. Снег налипает, накапливается на подошве, и нужно время от времени ударить по краю ботинка ледорубом, чтобы спрессованная по форме подошвы снежная лепешка отвалилась и сразу же облегчила шаг. Пока ее не сшибешь, нога подвергается, оскользается, теряет устойчивость.

Тяжело. Не хватает воздуха. Сердце, кажется, перебивает само себя, настолько торопится. Не пора ли остановиться? Не всей группе, а мне. Не может быть, чтобы такое дыхание, а вернее сказать, такая одышка и такое сердцебиение считались нормой при восхождении и допускались этим видом спорта как нечто неизбежное, с чем нужно мириться.

В это время ко мне пришла спасительная мысль. Я вспомнил, что альпинисты иногда, приближаясь к вершине, идут на четыре счета. Шаг. Остановка. Три вдоха, три выдоха. Следующий шаг. Это что же, они от хорошей



жизни так идут? От прекрасной работы сердца, от спокойного, ровного дыхания? Очевидно, что они идут так из самых последних сил и идти по-другому уже не могут. А ты идешь пока без всяких счетов. Шаг — вдох, шаг — выдох. У тебя до остановки после каждого шага дело еще не дошло. Так на что же ты жалуешься? Ты еще, оказывается, полон сил. Ну а то, что тебе тяжело, так оглянись назад. Ольга — идет. Другие девчонки — идут. Никита Васильевич — идет. Все идут. Значит, пойдешь и ты.

На гребне остановились. Исполненный надежды, я повернулся всем корпусом к вершине Адыгене. Надежда была на то, что я увижу ее совсем близко. Но бывает в сказке, когда совсем подойдет к замку какой-нибудь там добрый молодец, а замок вдруг возьмет да и отпрянет к самому горизонту. Так отдалилась от меня и эта вершина. Я увидел острый гребень горы, поднимающийся чем дальше, тем выше и подводящий в конце концов (но очень далеко и высоко от меня) к совсем уж крутому снежному куполу.

Иногда мы шли по самому острию гребня, иногда сходили с него, преимущественно влево, и наша дорога была с камня на камень, с глыбы на глыбу. Вниз лучше было не смотреть (да и некогда), но все же как было не подивиться, что готические кельнские соборы оказались глубоко внизу и, пожалуй, если бы падать, угодил бы как раз на их острые многогранные шпили.

Какое-то вопиющее несоответствие чего-то еще неосознанного тревожило меня. Укоренилось в сознании, что никаких скал тут быть не должно. Вспомнить бы, как там было написано на плакате... «По крутой осыпи следует подняться на перевальную точку гребня». Во-первых, не было никакой крутой осыпи. Мы поднимались по омерзительному скользкому склону. Да правильно ли мы идем? Отчетливо вспомнилась картинка. От перевальной точки до вершины — все снег и снег. И только в двух местах из снега высовываются скалы. Теперь же получается — сплошные скалы и никакого снега до самого вершинного купола. Рассказывал же сам Рябухин, как они однажды взошли на вершину, взяли записку предыдущих альпинистов и видят по записке, что гора не та! Хорошо, допустим, что мы попали на крутую осыпь и взошли на перевальную точку в другом месте, сделав более трудным свой маршрут, но где снег на гребне? Шли бы теперь по нему ровной цепочкой. Почему вместо снега — скалы, требующие отдачи всех сил?

— Должен быть снег, — робко сказал я идущему впереди «снежному барсу».

— Снег будет. Вон впереди.

— Это вершина. На гребне должен быть снег!

— Я думаю, он растаял. Необыкновенное лето там, внизу. Линия снегов в этом году поднялась на двести, на триста метров. Вот гребень и обнажился. Ничего. Терпимо. Пока идти можно. В крайнем случае пойдем в связках...

Перед снегом остановились последний раз. «Барсы» пошли вперед, взяв двоих наших ребят — натягивать перила.

— Думаете, если поскользнетесь на снегу, сюда покати-тесь, на этот гребень? — спросил Рябухин, обращаясь ко мне, и поглядел, задрав голову, на снежную крутизну. — Черта с два. Понесет вон туда. — И он показал на вогнутую снежную плоскость, которая начиналась от вершины, теперь уже хорошо видимой, и уходила вправо и вниз, ослепляя глаза синеватым сиянием.

Солнце поднялось из-за вершины и только что начинало скользить по этой плоскости, конца которой мы не видели, потому что она загибалась, и дальнейшее ее продолжение было скрыто от наших глаз. Что там внизу, если и правда ускользнешь? Обрыв, скалы, ледник? И сколько километров придется скользить? И на который день найдет тебя поисковая группа?

Пристегнувшись карабином к перильной веревке, я пошел, ставя ботинки точно в предыдущие следы и стараясь промять эти следы еще поглубже. Так и полагается по альпинистским правилам, чтобы каждый идущий бережно улучшал след в снегу, а не разрушал и не портил его, ставя башмаки как попало.

Значит, что же? Значит, действительно свершается? Осталось совсем немного прошагать с небольшим наклоном вперед и опираясь на ледоруб, а потом распрямиться и вдохнуть — уже на вершине? Если следы в снегу считать за ступеньки, останется ступенек... можно прикинуть, поскольку — вот они, ближайšie ко мне десять — двадцать следов. Остается ступенек триста — четыреста. Теперь если даже совсем оплошать, и то можно ползком, на одних руках, помогая зубами и подбородком... Но у меня пока все в порядке: ноги идут. Дыхание стало даже немного ровнее, чем недавно на склоне. В глазах нет никакого тумана.

на. В голове, правда, легкий звон. Кислорода все-таки очень мало здесь для дыхания, тем более усиленного. Но звон — пустяки. Могла бы и кровь носом, и тогда все равно пошел бы вверх. Как это там написано в справочной книге по альпинизму: «Взойдя на вершину, человек испытывает глубокое удовлетворение не только от тесного общения с нею...»

Округлая линия снежного купола, проведенная по синему небу и до сих пор манившая меня со своей высоты, начала вдруг с каждым шагом спускаться вниз, открывая все более низкие участки небесного склона. Потом из-за этой линии показалась зубчатая линия горного горизонта, потом, опустясь в четыре приема еще ниже, она освободила для глаз всю тьянь-шаньскую горную страну, раскинувшуюся под нами, с явственно видимыми многочисленными вершинами, ледниками, цирками и скальными стенами. Это я сделал последние четыре шага.

Первым делом захотелось найти, как на карте, Аксай и Корону, осеняющую его. В армии у нас проводились занятия на ящике с песком. В ящике, размером, ну, скажем, два метра на четыре, из песка (холмы и долины), из стеклышек (озера, речки, пруды), из сантиметровых макетиков (дома, мосты, деревья, церкви) создавался ландшафт, воспроизводилась местность, на которой изучались передвижения войск, военные действия. Взгляд стоящих около ящика окидывал сразу десять, а то и двадцать километров вдаль и вширь. Была непонятная увлекательность и услада в разглядывании местности, уменьшенной и потому укладываемой в поле зрения. Теперь я поймал себя на том, что улавливаю сходство между ящиком с песком и панорамой Тянь-Шаня, оказавшейся перед нами и под нами. Кошунственно сравнивать грандиозную, сказочную, неправдоподобно прекрасную панораму гор на десятки километров во все стороны с унылым ящиком. Но как и не сравнить, если моренное озеро, которое я вижу внизу, — зеленоватое стеклышко размером с ладонь, если весь ледник Аксай (а мы-то уж знаем его подлинные размеры) можно было бы вырезать из одной страницы белой бумаги.

Ольга подошла и встала рядом со мной. Постепенно весь отряд подтянулся и собрался в плотную группу. Рябухин начал рассказывать, где какая гора.

— Корону вы видите. Все ее шесть зубцов. Правее — Свободная Корея, еще правее (этакая ледяная шапочка) —

Бокс. Чуть поближе Бокса — Теке-Тор. Левее Короны — пик Семенова-Тян-Шанского. Видите?

Я слушал и не слушал Рябухина.

«Взойдя на вершину, человек испытывает глубокое удовлетворение не только от тесного общения с нею, но прежде всего от чувства самоутверждения, познания своих физических и моральных сил, познания своей способности к достижению трудной и опасной цели».

Тщеславие совсем не свойственно мне. Счетчик Гейгера, настроенный на тщеславие и поднесенный ко мне, не издал бы ни единого звука. Я не перечитываю своих статей, когда они печатаются в газете (разве что узнать, много ли вырезано), я не храню газет и журналов, где напечатаны мои рассказы или стихи, и не собираю статей, написанных о моих книгах, а тем более упоминаний своего имени. Я не стремлюсь в президиумы собраний и на трибуны, я не завижду собратьям, когда они получают премии, звания, ордена.

Но теперь я почувствовал глубокое удовлетворение и даже гордость. Рябухин показывал и называл вершины, цирки, ледники, ущелья и реки, а я шептал про себя, так, чтобы никому не было слышно: «Двадцать первое августа одна тысяча девятьсот семьдесят второго года. Десять часов утра. Мне сорок восемь лет. Я стою на вершине Адыгене. Я разорвал кольцо. Я стою на вершине Адыгене. Уже ничего нельзя сделать. Никогда не будет меня, не стоявшего на вершине Адыгене, а всегда буду я, совершивший восхождение, преодолевший все, что надо было преодолеть, достигший вершины и стоящий на ней. Я стою на вершине Адыгене».

Начиная однажды говорил, желая кем-то приземлить мое романтическое настроение:

— Адыгене — опробованная вершина. Все значкисты поднимаются на нее. Расхожая девка, у которой главное качество — ее доступность.

Я еще вспомнил тогда эпизод из повести современного прозаика. Молодого солдата, возвращающегося с войны, из эшелона сманила женщина. Подарила ему ночную любовь, а когда солдатик заснул, обобрама и исчезла. Со многими она поступала так же. Это была ее система. Но солдату наплевать оказалось на пропавшие шмотки и даже на такой грубый обман. Для него это была первая любовь, и он запомнил ее на всю жизнь как нечто яркое, светлое и чистое.

«Моя Адыгене. Прекрасная Адыгене. Чистейшая Адыгене. Я преодолел все преграды и дошел до нее. Я, конечно, возвращусь в Москву, меня ждут заботы, мелочи жизни, огорчения, суета и изнурительный труд. Я буду добиваться некоторых успехов и терпеть поражения. Я буду выглядеть перед людьми то добрым, благородным, то мелочным, низким и злым. Я буду то достоин хвалы, то достоин порицания, то достоин жалости. Неизвестно, как сложится дальнейшая жизнь. Какие невзгоды и недуги обрушатся на меня, какая худая или добрая слава ждет в пути, какие слова, поступки, книги. Но одного теперь не отнимешь у меня ни при каких обстоятельствах и никакими силами: я стою на вершине Адыгене!»

1973

# ТРЕТЬЯ ОХОТА





---

...смирная охота брать грибы.

С. Т. Аксаков

## I

Грибы основательно изучены<sup>1</sup>.

Итак, грибы основательно изучены. Во всяком случае, теперь не нужно тратить усилий, как это делал Аксаков, например, чтобы опровергать убеждения, будто грибы зарождаются от тени.

Известно, что Аксаков написал в числе прочих две замечательные книги: «Записки об уженье рыбы» и «Записки оружейного охотника Оренбургской губернии». Деловым тоном, даже, пожалуй, сухоовато, он рассказывает, как соорудить удочку или ухаживать за ружьем. Главы называются так: «Техническая часть ружейной охоты», «Заряд», «Порох», «Пыжи», «Разделение дичи на разряды», «О вкусе мяса и приготовлении бекасиных пород»...

Казалось бы, что тут читать человеку, который не охотник. Но я, как человек, ни разу не стрелявший из охотничьего ружья, свидетельствую, что все написанное Аксаковым читается как самый увлекательный роман, хочется возвращаться и перечитывать. Искусство обладает одним замечательным свойством. То душевное состояние, в котором находился художник, передается впоследствии

---

<sup>1</sup> В рукописи у меня было: «Грибы теперь досконально изучены». Когда «Третья охота» публиковалась в журнале, редакторы уговорили меня без труда, конечно, смягчить формулировку. Но даже и в этом смягченном виде мое утверждение вызвало большое количество согласных между собой, но не согласных с моим утверждением читательских мнений. Вот хотя бы одно из них: «Не могу не возразить против оптимистического утверждения, что «грибы сейчас основательно изучены». Чтение литературы оставляет обратное впечатление. Правда, встречается много любопытных утверждений, что козляк, мокруха еловая и рядовка фиолетовая — грибы-антибиотики; что переченый груздь — средство от туберкулеза; что некоторые виды грибов задерживают рост раковой опухоли (исследования японских ученых); что с помощью серого навозника лечат алкоголизм (опыт чехословацких врачей); что профессор Введенский, как утверждает А. Молодчиков в своей книжке «В мире грибов», считал красный мухомор прекрасным белым грибом и, вымочив его в уксусе, с аппетитом употреблял без вреда для здоровья... Все это занятно, но я не решусь ни испробовать мухомор, ни рекомендовать кому-либо от запоя серый навозник.



читателю, хотя бы ничего об этом душевном состоянии не было сказано. Но мы рискуем уйти в слишком высокие сферы психологии творчества и законов искусств, тогда как речь должна идти о более низменном предмете, а именно о грибах.

Названные мною книги Аксакова известны всем. Но не каждый знает, что он мечтал написать такую же книгу о грибах. Он даже начал ее. Если бы книга была написана, она называлась бы «Замечания и наблюдения охотника брать грибы». Получилась бы у Аксакова своеобразная трилогия: рыболовство, собственно охота и грибы. К сожалению, третьей книги мы никогда не прочитаем. Но начало было положено, семь книжных страниц — так сказать, общая вводная часть существует. И каково читать последнюю фразу этой общей части: «Говоря о каждой породе грибов отдельно, я скажу подробнее о случайных изменениях в произрастании грибов». Не успел.

Я заговорил обо всем этом к тому, что всего лишь сто лет назад образованному для своего времени человеку всерьез приходилось говорить о том, что грибы зарождаются не от тени.

«Не в одной тени (как думают многие), бросаемой древесными ветвями, заключается таинственная сила деревьев выращать около себя грибы; тень служит первым к тому орудием, это правда; она защищает землю от палящих

---

Впрочем, шутки в сторону. Вот передо мной монография Б. П. Василькова «Белый гриб» (Л., «Наука», 1956). В конце список литературы, занимающий тринадцать страниц убористого шрифта. Казалось бы, до предела изучен этот царь грибов. Но листаешь книжку и поражаешься, как часто автор прибегает к осторожным «по-видимому, можно предположить, по всей вероятности». Как часто, приведя противоположные утверждения, не решается сделать вывод. «До сих пор о связи белого гриба с другими видами грибов ничего строго определенного не известно» (с. 58). «Вопрос питательности съедобных грибов, и в частности белого, тоже еще далеко не решен» (с. 111). «Что касается питательности и вкусовой ценности различных форм белого гриба, то научные опыты в этом направлении, насколько известно, еще не проводились» (с. 112). И совсем откровенно: «Мы еще недостаточно хорошо знаем биологию белого гриба и ему подобных видов» (с. 91).

Нет уж, никак нельзя сказать, что грибы изучены основательно».

Приведя эту выдержку из читательского письма, я должен сказать, что писем было много. Конечно, каждая книга вызывает читательские отклики. Но письма на мою «грибную» книгу отличаются одной особенностью. Каждый корреспондент стремился дополнить мой текст, описать какой-нибудь случай из своей грибной практики. Поэтому в примечаниях я буду время от времени помещать выдержки из писем моих читателей. А так как некоторые выдержки могут быть длиннее книжной страницы, то я буду вводить их в основной текст и выделять отбивкой и звездочками.

лучей солнца, производит влажность почвы и даже сырость, которая необходима и для леса и для грибов; по главная причина их зарождения происходит, как мне кажется, от древесных корней, которые также, в свою очередь увлажняя соседнюю землю, сообщают ей древесные соки. и в них-то, по моему мнению, заключается тайна грибоорождения...

В доказательство же, что одной тени и влажности недостаточно для произведения грибов, можно указать на некоторые породы деревьев, как, например, на ольху, осокорь, тополь, черемуху и проч., под которыми и около которых настоящие грибы не рождаются... Если бы нужны были только сырость, тень и прохлада, то всякие породы грибов родились бы под всякими деревьями».

Аксакова сто лет назад удивляет и поражает следующее обстоятельство: «Всем охотникам известно, что у грибов есть любимые места, на которых они непременно каждый год рождаются в большем или меньшем изобилии. Без сомнения, этому должны быть естественные причины, но для простого взгляда эта разница поразительна и непостижима... У меня есть дубовая роща, в которой находится около двух тысяч старых и молодых дубов... И только под некоторыми из них с незапамятных времен рождаются во множестве белые грибы. Под другими же дубами грибов бывает очень мало, а под некоторыми и совсем не бывает. Есть также у меня в саду и в парке, конечно, более трехсот елей — и только под четырьмя елями рождаются рыжики. Местоположение, почва, порода деревьев — все одинаково, а между тем вот уже двенадцать лет, как я сам постоянно наблюдаю и каждый год вновь убеждаюсь, что грибы рождаются у меня на одних и тех же любимых своих местах, под теми же дубами и елями».

Вероятно, в чем-то Аксаков и его современники были счастливее нас. Гриб и без того одно из самых интересных и таинственных явлений природы. Недаром сначала не знали даже, куда его отнести — к растительному или животному царству, думали, что он из разряда полипов. А тут еще непостижимые уму фокусы грибов: любят родиться под этим деревом, а не под тем. Представьте себе какое-нибудь существо, которому дано видеть только яблоки, в то время как сама яблоня для него незрима. Конечно, он будет удивляться, почему в одном месте полно яблок, а рядом нет ни одного. Теперь-то мы знаем, что грибы, которые растут в лесу и которые мы с удовольствием собираем, это именно

как яблоки, готовые, созревшие плоды, тогда как само дерево скрыто от наших глаз под землей.

Да, грибы теперь основательно изучены. Знаем, что грибница похожа на белую паутину. Знаем, что когда берешь грибы, лучше их срезать ножом, нежели выдирать с корнем. Потому что грибница разрушается, и такое соби- рание, если уж не уходить от яблок, похоже на то, как если бы вместо того, чтобы аккуратно сорвать яблоко, мы обла- мывали большой сучок. Установлено сожительство (к вза- имной пользе) грибов и деревьев, определен процент того или иного вещества в грибе, даже споры, мельчайшие споры, эта почти невидимая глазом пыльца измерена до того, что известны ширина и длина каждой отдельной пылинки.

Но потеряло ли прелесть соби- рание грибов? Меньше ли мы радуемся, увидев после долгого ожидания ядерный коричневый боровик?

Разные лунники посажены на Луну. Фотографии Луны с расстояния нескольких метров опубликованы во всех газетах мира. Мы лицезрели лунный камень диаметром пятнадцать с половиной сантиметров. Решено, что почва на Луне пористая и твердая. Люди ходили по Луне!

Ну и успокойтесь и не волнуйтесь больше, глядя на ночное светило, достаточно пористое и достаточно твердое. Забудьте про волшебные лунные ночи в старинном липовом парке, на тихом и теплом море, над уснувшим восточным городом, в безмолвной пустынной степи, в полуночной украинской деревне...

Но нет, по-прежнему всеильно очарование лунных ночей, и сознание пористости ночного светила не мешает нам любоваться лунными ночами, как не мешает созерца- нию картины то, что известен химический состав красок и даже различные цены на холст.

Иногда я задумываюсь, откуда в человеке такая страсть. Я имею в виду разнообразные на первый взгляд занятия, но все же такие, которые может объединить общее для них слово — «охота». Рыболовство. Рыбалка зимняя, летняя, морская, озерная, на спиннинг, на донку, на самодур, но прежде всего с поплавком. Рыбалка, где радуют отнюдь не килограммы выловленной рыбы. Мне приходилось доволь- но механически налавливать мешок судаков и восторгаться изловлением караса в полтора килограмма весом.

Охота: по дичи боровой, степной, водоплавающей, на красного зверя, на зайца, на волка, на медведя, на белку,

охота с собакой и без собаки, охота, где радость и ликование измеряются отнюдь не центнерами добычи. Можно равнодушно отстрелять лося и считать счастливым случаем добычу обыкновенного русака.

У Аксакова на этот счет читаем: «Охота, охотник! Что такое слышно в звуках этих слов? Что таится обаятельного в их смысле, принятом, уважаемом в целом народе, в целом мире, даже не охотниками?.. Как зарождается в человеке любовь к какой-нибудь охоте, по каким причинам, на каком основании? Ничего положительного сказать невозможно. Расположение к охоте некоторых людей, часто подавляемое обстоятельствами, есть не что иное, как врожденная склонность, бессознательное увлечение».

Все правильно сказал Сергей Тимофеевич Аксаков. Может быть, нужно только уточнить, что расположение к охоте (в самом широком смысле слова) есть врожденная склонность не некоторых, а положительно всех людей, но что в большинстве случаев это расположение вот именно подавляется обстоятельствами.

У человека самая яркая пора — детство. Все, что связано с детством, кажется потом прекрасным. Человека всю жизнь манит эта золотая, но, увы, не доступная больше страна — остаются одни воспоминания, но какие сладкие, какие ненасытные, как они будоражат душу. Даже невзгоды, перенесенные в детстве, не представляются потом ужасными, но окрашиваются в смягчающий, примиряющий свет. Например, моя жена в детстве перенесла голод. Они ели тогда какие-то ужасные, черные, как земля, клеклые блины из полусгнившей сырой картошки. И вот теперь, когда за витринами магазинов лежат греческие маслины, копченая рыба, куропатки и даже мясо кальмаров, высшим лакомством для жены остаются эти картофельные оладьи. Они, правда, какие-то немножко не те, несмотря на то что она готовит их сама. Но это лишь потому, что слишком свежа картошка. Ничего не поделаешь. Воспоминания детства.

Но ведь детство было и у человечества в целом. Ничего нельзя было купить в магазине, не существовало столько кафе, ресторанов, магазинов с доставкой продуктов на дом. Все, от лесного ореха до мяса мамонта, от рыбины до гриба, приходилось добывать самому. В те времена охота, рыболовство, собирание даров леса, в том числе и грибов, было не забавой, не увлечением, не страстью отдельных чудаков, но бытом, повседневностью, жизнью. Точно так же, как

детство просто человека — это не игра в куклы или в солдатиков, но период жизни довольно суровый и ответственный, ибо именно в детстве формируется характер человека, именно в детстве его постигают всякие неожиданности, способные оборвать, довольно слабую в то время ниточку жизни. То, что страшно яблоневому ростку, не страшно взрослой и крепкой яблоне.

Конечно, добывание себе пищи в первобытные времена было суровой необходимостью, а не забавой. Но теперь, когда прошли века и когда добыча пищи состоит не в том, чтобы стрелять дичь, а в том, чтобы стоять у станка или сидеть в канцелярии, теперь воспоминания о суровой заре человечества, живущие в неведомых глубинах человеческого существа, окрашены для нас в золотистую романтическую милую дымку.

Итак, я считаю, что страсть к охоте, к рыбалке, к грибам есть не что иное, как смутное воспоминание детства человечества, потому и сладка и желанна эта страсть. И. ведь не просто воспоминания, но можно, оказывается, как бы возвратиться в то самое прежнее состояние, когда ты один в лесу или на реке и только от тебя самого, от умения, ловкости и смекалки зависит, добудешь или не добудешь тетерева, щуку, корзину рыжиков или боровиков.

Может быть, некоторые сочтут преувеличением, что собирание грибов я отношу к охоте и называю охотой. Спешу за подкреплением опять к Аксакову.

«В числе разнообразных охот человеческих имеет свое место и смиренная охота ходить по грибы или брать грибы. Хотя она не может равняться с другими охотами более оживленными уже потому, что там приходится иметь дело с живыми творениями, не может соперничать со многими, так сказать, второстепенными охотами, имеющими, впрочем, свои особые интересы. Я даже готов отдать преимущество грибам, потому что их надобно отыскивать, следовательно, можно и не находить; тут примешивается некоторое умение, знание месторождения грибов, знание местности и счастье... Тут неизвестность, нечаянность, есть удача и неудача, а все это вместе подстрекает охоту в человеке и составляет особенный интерес».

Но в таком случае нужно отнести к «охотам» и собирание ягод: земляники, малины, брусники, клюквы или орехов, тем более что это все тоже «дары леса» и, значит, так же должны будить миллионлетние воспоминания, о которых была речь страничкой выше.

Так, да не так. Нет слов, немало удовольствия можно найти и в собирании ягод. Чтобы не посчитали меня особо пристрастным к грибам, отвлекусь. Но ягода ягоде рознь — не только с точки зрения вкуса, но и добычи.

На первое место нужно поставить землянику. Я думаю, согласятся все, что это самая вкусная из всех лесных ягод. Ни по оттенкам вкуса, ни по аромату ей нет не только равных, но и приближающихся к ней. Когда придешь из леса с полным кувшином и высыплешь этот кувшин на большое плоское блюдо, сразу по всему дому поплывет единственный в мире земляничный аромат. Вспоминаю насчет земляничного аромата у Леонова: «Да и теперь еще в грозу, как поразойдутся, как заскрипят с ветром в обнимку енежские-то боры, как дохнут раскаленным июльским маревом, так даже подушки ночи три подряд пахнут горячим настоем земляники и хвои... Вот как у нас на Енге».

В детстве набирали букетики земляники, которые, право, не уступали букетикам самых ярких цветов. Чтобы ягода не скатывалась с куска мягкого и тоже по-своему душистого хлеба, мы немного вдавливали каждую ягоду в хлебную мякоть и съедали, прихлебывая молоком.

Но лучше всего есть землянику так: налить в тарелку холодного молока, крепко подсластить его сахарным песком, терпеливо размешивая, пока не растает, а потом уж и сыпать в молоко землянику, по желанию или исходя из того, сколько собрано. Некоторые предпочитают при этом давить землянику в молоке ложкой. Этого делать ни в коем случае не нужно, потому что молоко от земляничной кислоты хотя и порозовеет, но свернется хлопьями.

Про земляничное варенье говорить не буду. Всякая хозяйка, всякий человек, хоть немного понимающий в варенье, считает его вареньем номер один. Насколько я знаю, других видов заготовки земляники не существует. Сушить ее — только портить ягоду, в маринад она не годится. Разве что пастила. Но пастила, по-моему, лишь ухудшенная разновидность варенья.

И вообще, если говорить правду, я противник всякой заготовки этой ягоды. И думаю, что я прав, если исходить из особенной полезности ее для человека. Ну сколько я съем зимой варенья за один раз? Столовую ложку, две, ну три. В то время как можно в разгар сезона съесть по целой тарелке земляники ежедневно, притом земляники первой свежести, не потерявшей не только своих целебных свойств, но и ни капельки аромата, и не только своего

аромата, но и аромата окружающего леса, прогретого полдненным солнцем. Правда, эта моя точка зрения не мешает моей жене заготавливать земляничное варенье по пуду и больше.

Да, не только по вкусу занимает земляника первое место из всех лесных ягод, но и по своей полезности для человека и даже целебности. Дядюшка моей жены сильно страдал печенью. Никакие медицинские средства уже не помогали. Подобно тому как больная кошка инстинктивно находит среди разнотравья какую-то нужную ей траву, так и его потянуло на землянику. На весь земляничный сезон он уехал в село, которое так и называется Ягодное и которое, как говорят, без усилия оправдывает свое название — землянику собирают ведрами. Наш больной тоже стал собирать землянику. Он съедал в день то, что называется в тех местах кубан. По-нашему, это кринка. Кринки бывают разные по величине, но надо предположить нечто среднее, то есть около двух литров. Итак, два литра в день в течение всего земляничного сезона. Не знаю, право, как он ее съедал, одну или с молоком, натошак или после обеда или даже вместо обеда, но болезнь его прошла, чтобы больше не возвращаться.

Первая волна земляники поспевают на порубках, то есть там, где стоял сосновый или еловый лес и где его вырубili, оставив только пни, из которых вытапливаются на солнце медовые липкие капли ароматной смолы. Вокруг этих пней обыкновенно заводится земляника. А так как порубка открыта солнцу, то земляника поспевают там в первую очередь, особенно если вырубленное место представляет из себя склон горы или оврага, обращенный к югу. К припору, как у нас говорят, ягоды на таких порубках поспевают гораздо раньше лесных, прячущихся в густой траве и подлеске.

На порубках ягоды бывают помельче, чем в лесу, посуше, почерствее, но, пожалуй, слаще. Некоторые порубки так и не зарастают больше, поэтому из года в год на них можно собирать раннюю мелкую ягоду. На некоторых порубках, напротив, начинает подниматься густой молодняк, чаще всего березки и осинки. Поднимается там и трава, земляника из суховатой, «порубочной», превращается в крупную, сочную лесную ягоду.

Когда на порубках все обобрано и притоптано, нужно углубляться в лес. Конечно, где попало земляника в лесу не растет. Под плотным пологом леса бывает, что нет вовсе

никакой травы, не только земляники. Значит, нужно искать открытые земляничные поляны или изреженный лес, где солнце достигает земли, хотя бы и процеживаясь сквозь кроны, сквозь ореховый подлесок, сквозь высокую лесную траву. В траве в таких местах вызревают ягоды, право же, по наперстку. Налитые, сочные, прохладные, они чуточку покислее своих соплеменниц, растущих на пригорках, но, увидев такую ягоду, не променяешь ее на десяток других.

Нужно всегда иметь основную большую посуду, которая может стоять где-нибудь в стороне, и небольшую, скажем, пол-литровую банку. Эту банку сначала привязывают на шнурок, а шнурком обвязываются вокруг пояса, так чтобы банка болталась спереди на животе, а руки свободны. Часто земляника падает из руки в лесную траву. Первое движение — поднять ее и спасти. Но этого делать не нужно, потому что ее не сразу ухватишь в густой траве, пока подбираешь, она вся изомнется, изрежется о траву, а за это время можно сорвать десяток новых ягод. Но вообще-то я не знаю, от чего зависит успех, в чем состоит проворство. Стараешься, не разгибаешь спины, не отвлекаешься на постороннее, непрерывно работаешь обеими руками, но деревенская женщина, собирающая поблизости, все равно наберет в два раза больше.

Немного положе земляники поспевают лесная малина, тоже превосходная ягода. У нас в лесах малина растет большей частью по буеракам и по берегам лесных речек, где истлевают в труху упавшие на землю деревья. Малина, даже и садовая, любит почему-то древесную перегнившую труху. Обычно малине сопутствуют высокие травы, чаще всего крапива, которая едва ли не перерастает саму малину, а так как в буераках безветренно, как в яме, то сбору малины сопутствует душная жара, настоявшаяся на душистой мяте, на таволге, на той же крапиве. У кого-то из поэтов, кажется, у Прокофьева, промелькнула строчка: «И было душно, как в малине». Кто собирал малину, поймет всю точность этого образа.

Идя по малину, нужно и одеваться соответственным образом, чтобы не было голых ног и голых рук, иначе получится не собиранье, а одно мучение.

Лесная малина по сравнению с садовой очень мелка, но гораздо душистей и слаще своей прирученной соплеменницы. Поэтому, даже имея прекрасную крупную садовую малину, деревенские люди любят ходить за лесной. Они



употребляют ее исключительно на варенье, которое берегут на случай болезни. Известно, что во время гриппа, ангины и вообще всех тех болезней, которые называются в деревне одним словом «простуда», ничего не может быть полезней малинового варенья, особенно из лесной малины.

Культивируя ягоду, мы, конечно, облагораживаем ее, укрупняем, изменяем в выгодную для нас сторону. Садовая земляника, то, что в обиходе мы называем «клубника» и что горами лежит на базарах, во много раз крупней лесной. Я думаю, что хорошо задавшаяся земляничина заменит по массе десятка два, три лесных. У малины хотя и не такая заметная разница, однако нужно четыре-пять ягод из буерака вместо одной из сада. Но что-то мы все-таки не можем им дать взамен утраченного ими лесного приволя. И это касается не только ягод. Черно-бурая лисица, выращенная на ферме, не стоит и половины цены лисицы, добытой в тундре. Жемчужины, выращенные в японских питомниках, в тех же самых жемчужных раковинах, все же на рынках так и называются японским жемчугом, в отличие от простого жемчуга, без всяких эпитетов.

В середине августа поспевают орехи. В наших лесах, хоть они и невелики, очень много орешника, но не всегда выпадает урожайный год. Я не знаю, от чего это зависит. То ли от неблагоприятной для орехов весны, то ли еще от каких причин.

Известно, что орешник цветет самым первым, पहले даже ольхи. У пчеловодов, которым важно знать, когда что цветет, цветение орешника служит своеобразным эталоном, или, скажем, началом шкалы, вроде нуля на термометре или вроде первого января. В пчеловодческих календарях, если хотят узнать, когда цветет то или иное растение, обозначают количество дней после цветения орешника. Например, липа зацветает на семьдесят второй день.

От самого орешника никакой пользы пчелам нет, потому что опыляется он ветром.

\* «По-моему, это выражение, — мягко замечает один из читателей, — не совсем правильно, ибо пчелы ранней весной от орешника (лещины) берут пыльцу, и как белковый корм она идет на развитие пчелиной семьи. В этом и заключается польза орешника для пчел».

Мне, разумеется, остается только согласиться с читателем\*.

Стоит тряхнуть ветвь цветущего орешника, как тотчас в прозрачном ранневесеннем воздухе возникает светло-золотое, чуть зеленоватое облако — из сережек высыпается пыльца. Облако будет тихо расширяться в воздухе, если оно неподвижно, и оседать, или, может быть, его развеет ветерком, и пыльца попадет на женские цветы, ждущие оплодотворения.

Орешник — в некоторых местах его называют лециной — широколиственный кустарник, который выгоняет, однако, свои стебли до вершины деревьев. Куст растет из компактного основания, то есть все стебли около земли собраны в тесный пучок, но дальше, вернее, выше, они развешиваются в разные стороны, занимая много пространства под солнцем и принимая не последнее участие в образовании плотного полого леса. Листья у орешника шершавые, а сами стебли, напротив, очень ровны и гладки. Молодые ореховые побеги, прутья, очень хороши на плетение корзин и верш, а более старые идут на удилица, на плетни, на розвальни и на всякие крестьянские поделки, где нужно какое-нибудь грубое плетение. Разумеется, если вам нужна очень прямая и крепкая палка, ни из чего вы ее не вырежете с таким успехом, как из орехового куста.

На этих-то кустах в августе созревают орехи. Каждый орех спрятан в зеленое гнездышко, у основания очень плотное, а далее расходящееся бахромой. Эти гнездышки срastaются друг с другом, так что редко увидишь на ветке одиночный орех. Чаще попадают парные, а также по три, по четыре, по пять орехов в одном... не знаю, как сказать. Конечно, по существу, это гроздь, так и надо бы говорить. Но у нас почему-то говорят: «гроно», «гронья», «большое гроно попалось», «гронья в этом году мелкие». Как бы там ни было, орехи растут, соединившись друг с другом своими зелеными гнездышками.

В августе, когда охотники до орехов устремляются в лес, а орехи еще только начинают созревать, каждый орех сидит в гнездышке очень крепко, не вылуцчивается. Можно вылущить его зубами, раздавив сочное гнездо. Зеленая масса гнезда очень кислая. Если очистить несколько орехов подряд, начинает драть губы и десны, а в особенности уголки губ.

В эту пору, когда раскусишь орех, увидишь ядрышко, еще не заполнившее все свое помещение. Оно лежит, очень нежное, сочное и сладкое, в белой ватке, как желток в окружении белка. Постепенно ядро достигает стенок ореха,

а затем и черствеет, то есть делается тем самым вкусным ядром, ради которого орех срывают.

Орехи очень ловко прячутся в шершавой листве. Мало пользы стоять под кустом и разглядывать, не увидишь ли ореха? Конечно, в конце концов увидишь, но один или два из двадцати. Проще нагнуть лозу, а потом перебирать по ореховой ветви руками от основания к концу ветви, как бы одаивая ее. Тотчас рука услышит в мягкой листве жесткий комок орехов.

Целеустремленность в это время такова, что, может быть, топчешь прекрасные грибы или ягоды, но нет до них никакого дела. Смотришь только вверх, в густоту ветвей, испестривших синее августовское небо. И вообще я замечал это странное устройство психологии: только вчера собирал в лесу ягоды, попадались грибы, но все было направлено на землянику. Через день придешь в этот лес по грибы, не сорвешь ни одной ягоды не только в посуду — в рот.

Орехов постепенно нанашивают мешок и больше. Вылущить такое количество орехов — нелегкий труд. Но делают так. Кладут орехи в кадку, придавливают тяжелым гнетом и оставляют на неделю или на две. Вынутые из-под гнета орехи вылущиваются очень легко. Останется их немного подкалить. И тогда в какой-нибудь осенний праздник, в покров, например, бабы усядутся на крыльце и одна перед другой будут щелкать каленые орехи.

Итак, вот вам еще три охоты, потому что если называть охотой собирание грибов, то чем хуже земляника и орехи. Но здесь нужно решительно сказать, что разница велика и что собирание ягод никак не дотягивает до высокого и ко многому обязывающего ранга охоты. Прежде всего — однообразие. Собирая землянику, вы не надеетесь ни на что другое. У вас не может быть затаенной надежды на радостную неожиданность, на особенную удачу, на редкость, на находку, на сюрприз. То же можно отнести и к малине, и к орехам, но нельзя отнести к грибам. Разнообразие вида грибов, их разные качества, разный вкус, разная красота создают тот очевидный интерес во время поисков, которого нет в описанных нами случаях.

В этих случаях разнообразие может быть только в одном: больше или меньше. Три литра земляники или два литра земляники, половина торбы орехов или полная торба. Но ни разу не замрет сердце, как это бывает, когда выйдешь на вереницу ядреных рыжиков или на особенный по красоте белый гриб, затаившийся под елкой.

Недавно был описан случай. Под Владимиром, в районе загородного парка, представляющего, правда, обыкновенный сосновый лес, грибники нашли белый гриб. Высота его была сорок сантиметров, ширина шляпки шестьдесят, толщина ножки двадцать шесть, весил он около шести килограммов и был без единой червоточинки. Что может противопоставить земляника или малина восторгу от такой редчайшей находки. Ну пусть это действительно редкость. Все равно и более обыкновенные грибы чрезвычайно разнообразны.

Грибы ищешь, а ягоды просто собираешь. Собрание их больше похоже на однообразную и довольно утомительную работу, когда ползаешь по земляничной поляне на четвереньках или даже сидишь, обирая место вокруг себя. Я уже не говорю о таких ягодах, как черника, брусника или клюква. Добыча их даже и не работа, а промысел. В более северных местах существуют специальные гребки для сбора этих ягод. Эти гребки представляют из себя гладкий деревянный лоточек, наподобие того, которым черпают муку. Но оканчивается лоточек не ровным краем, а частыми параллельными зубьями. Ветки клюквы или брусники проскальзывают между зубьями, а ягоды падают в лоток. Нагребают брусники или клюквы пудами. Где же тут охота, какой же тут азарт, кроме довольно низменного азарта нагresti побольше?

Значит, нужно признать, что из всех лесных даров, по крайней мере в наших лесах, только грибы могут удостоиться высокой чести и называться предметом охоты наравне или почти наравне с дичью и рыбой.

Я не могу себя отнести к охотникам, хотя бы и любительской категории. Как и во всех остальных делах, существующих на земле, я и здесь — дилетант. Но все же немало росистых утр или серых деньков с то и дело выпадающим дождем провел я в грибных перелесках и знаю радость от редкой удачи и знаю в лицо почти каждый гриб, и есть у меня доля объективности, которая никогда не позволяла мне опрометчиво наклеивать на гриб ярлык «поганки» только за то, что гриб мне пока не знаком.

Мои первые грибные воспоминания относятся к раннему, почти бессознательному детству. Моя старшая сестра Катюша утала с лошади и повредила себе позвоночник. Ей долгое время нельзя было нагибаться. А так как она с юности большая любительница природы (и очень хорошо ее чувствует), то невозможность рвать цветы или собирать

грибы приносила ей дополнительные страдания. Мне тогда было, вероятно, года четыре, а ей около двадцати. Свободного времени у нас было поровну. И вот она догадалась на прогулку брать меня. Теперь ей нужно было только увидеть цветок, или, вернее, выбрать тот, который хочется сорвать, а я, бегавший возле нее, немедленно приводил в исполнение ее желание.

Особенным расположением у Катюши пользовались незабудки, ночные фиалки и ландыши. Незабудки, с их чистой небесной голубизной, она сплетала в веночек, который клала в белое фарфоровое блюдо и заливала водой. Веночек плавал и жил очень долго.

Ночной фиалкой, не знаю, правильно ли, у нас называют любку двулистную, эту скромную среднерусскую орхидею, расцветающую в июне в лесу, где сравнительно влажно. Обыкновенно ночные фиалки бывают белые, но встречаются и зеленоватого цвета.

Катюша невольно добилась того, что их своеобразный аромат стал ароматом моего детства. Как только услышу запах фиалки, так раздвигаются шторы, и я как сейчас вижу прибранную Катюшину комнату в нашем доме, в которой всегда почему-то в самую жару было прохладно и всегда стояли цветы.

Не меньше цветов Катюша любила собирать грибы. До ближайшего лесочка от нашего дома не больше трехсот шагов — сосны и ели без примеси других пород. Этот лесочек для нас своеобразный контрольный участок: появились грибы в нем — можно идти в другой, большой лес, километра за два, за три. Но Катюша не могла ходить далеко, и мы все время паслись в ближних сосенках и елочках. Моя задача оставалась той же, что и при собирании цветов, — брать, что увидела Катюша.

Таким образом, мой первый увиденный гриб — это маленький крепенький масленок, с круто заостренной шляпкой, покрытой темно-коричневой, красноватой, даже маслянистой кожицей. Ножка толстая, крепкая и короткая. Испол под гриба затянута белой пленкой. Когда ее уберешь, откроется чистая желтоватая, лимонного оттенка, нижняя сторона шляпки и на ней две-три капли белого молочка. Именно такие боровые маслята родились в нашем лесочке. Мы брали самые ядреные, величайшие не более лосечка, образуемого большим и указательным пальцами. Я сейчас их вижу в траве, растущие вереничками. Потянешься за одним — увидишь еще пяток. Попадались совсем крохот-

ные маслятки, из тех, которые потом в маринованном виде никак не уколешь вилкой на тарелке — настолько малы и юрки.

Так как мне хотелось принимать участие в разработке, в чистке грибов, то вот еще одно мое самое грибное воспоминание: черные пальцы рук, которые потом не отмываются три дня. Помнится, я очень стремился к тому, чтобы содрать пленку с шапочки за один прием, чтобы она снялась вся целиком, а гриб чтобы остался красивым и целым. Но это мне никак не удавалось. Грибы после меня получались истерзанными, с обломанными краешками, и я завидовал взрослым, которые с легкостью исполняли то, к чему я безуспешно стремился.

Вообще же для меня разбор грибов ничуть не меньше удовольствие, чем их собирание, разумеется, если разбираешь свою корзину. Устанешь после долгого блуждания в лесу. Может быть, даже вымокнешь под дождем. Хорошо переодеться в сухое, позавтракать, попить чаю, отдохнуть за хорошей книгой либо даже вздремнуть, если поднялся, пока не рассвело.

А ведь нужно подняться, когда еще не рассвело. Пока собираешься, пока идешь до леса, успеет рассвети. Дело тут не в том, чтобы опередить других, но есть особенная прелесть на любую охоту выйти рано утром. На рыбалку — понятно: рыба на рассвете лучше клюет. К грибам это условие никак не относится, и тем не менее большая разница, когда войти в грибной лес: на чутком, затаенном рассвете, по безмолвному приятному холодку либо в жаркий полдень, когда и в лесу, и в душе какое-то вовсе не грибное настроение. В полдень хорошо собирать ягоды, лесную малину, орехи, но никак не грибы. Немало значит и уверенность, что не прочесали еще этот лес досужие соперники-грибники.

Может быть, я говорю лишь про себя, может быть, все остальные любят ходить по грибы в полдень либо даже к вечеру — не знаю. Но думается, что недаром у французов «рано утром» называется «бонер» — то есть «прекрасный час». Так вот, я люблю прекрасный час. Для меня дороже всего войти в лес, когда в лесу еще сумрачно, и тихо, и нетронуто, и под первой же елью ждет тебя твой первый гриб, как будто он нарочно вышел поближе к опушке, чтобы первым попасться на глаза и обрадовать. Уж если у самого края нетронутые грибы, то, значит, действительно ты первый и можешь ходить спокойно, не торопясь, не опасаясь.

ясь за свои любимые места, до которых дойдешь не сразу. Правда, может случиться так, что вдруг начнут попадаться обрезки, грибная стружка, а при подходе к самому заветному месту услышишь приглушенные голоса: грибники, как и рыболовы, не любят лишнего шума и громких разговоров. Ну что ж, оно хоть и твое заветное, но тоже не твое. Определи — не сетуй. Всякая охота предполагает и удачу и неудачу, грибная охота в том числе.

В ранний час чаще случаются в лесу и посторонние, не грибные приключения. То увидишь двух играющих белок и замрешь и будешь следить, пока не надоест или пока они не убегут. То выскочит навстречу озабоченная лиса, то перебежит дорогу деловитый работяга ежик, то вырвется с оглушительным хлопаньем крыльев дикий голубь — вяхирь. Почему-то дневной жаркий лес скупер на такие развлечения, чем утренний, прохладный, не сбросивший с себя ночной дремоты.

И потом надо же поймать тот час, когда косые лучи солнца начнут пронизывать лес, словно золотые спицы, завязая в мохнатой хвое, с трудом пробиваясь до замшелой влажной земли. Синий сумрак, изрезанный такими золотыми прожекторами, начнет клубиться у подножия лесных великанов, цепляясь за сучья и поднимаясь все выше и выше. Прекрасен утренний лес, когда ты в лесу один.

Правда, я больше люблю ходить в лес в тихие, пасмурные дни, даже если временами начинает сеять мелкий нешумный дождь. Приятно слушать его вкрадчивое успокаивающее шуршанье по листьям деревьев. Если дождь усилится, можно спрятаться под старую ель и переждать. Но, конечно, нужно иметь в виду, что, если выйдешь из-под ели совершенно сухим и если дождь уже перестал, все равно потом вымокнешь от мокрой травы, от ветвей кустарника, которые придется раздвигать и которые будут обдавать обильным душем той самой дождевой воды, от которой только что так удачно спасся под старой елью.

Еще приятнее уйти в лес в осенний день с пронзительным холодным ветром. Бывают осенью дни, когда хотя и солнце, но из северного угла тянет таким леденящим воздухом, будто Арктика приблизилась и находится теперь за лесом, что на горизонте. Дядя Никита Кузов говорил в таких случаях: «Дует из незамщенного угла». Незамщенный, то есть, значит, не утепленный мхом между бревнами — применительно к крестьянской избе. Если бы в избе действительно оказался один угол неутепленным, то, ко-

нечно, из него зимой тянуло бы стужей на всю избу. Выражение «незамщенный угол» северной части нашего горизонта представляется мне очень удачным. Так вот иногда леденяще дует из этого самого незамщенного угла.

Ни на реке, ни в поле в это время нечего делать. Отвыкшие от зимнего холода лицо и руки зябнут, да и самому нужно одеваться как можно теплее, чтобы не продувало.

В такой день одно удовольствие оказаться в лесу. В лес заходишь, как с улицы в теплый дом — тихо, уютно. Если попадетя поляна в окружении позолотевших берез, можно полежать на мягкой траве, где по-летнему пригревает солнце.

Но вообще-то были бы грибы. Погода — дело второстепенное. Радостно и в дождь, и в холодный ветер, и в грозу возвращаться домой с полной корзиной. Невесело в самую лучшую погоду идти пустому. Сколько раз приходилось ходить в лес просто на прогулку. Идешь тогда с пустыми руками, и душа спокойна. Но стоит взять кузовок, как появляется совсем иная психология. Казалось бы, есть в жизни проблемы поважнее, есть и удачи крупнее, нежели два-три десятка грибов, есть и огорчения острее, нежели пустая корзинка, но если бы кто знал, как неловко идти через все село, неся пустой кузовок! Стараешься поскорее, незаметно прошмыгнуть до дома. Впрочем, если кто из сельчан сумеет заглянуть в пустую корзину, обязательно покачает головой и постарается утешить: «Да, нет еще, значит, гриба. Что-нито не так. Он ведь, гриб, что? Для него законы не писаны. Бывает, и дождь, и тепло, и все условия, а его нет. Он ведь областному начальству не подчиняется».

Впрочем, с тех пор как я постепенно узнал и убедился, что в наших подмосковных, владимирских, вообще в среднерусских местах произрастает около двухсот видов и разновидностей грибов, из которых только шесть ядовиты и четырнадцать несъедобны, я редко прихожу, чтобы совсем пустая корзина. В ней может оказаться мало именно тех грибов, которые берут все и повсеместно, но как на безрыбье и рак рыба, так же на безгрибье и какая-нибудь говорушка серая или мокруха еловая — гриб. Я, пожалуй, назову несколько грибов, которые, вероятно, не знакомы, так сказать, среднему грибнику. Вешенка (обычная, осенняя и рожковидная), гриб зонтик пестрый, ивишень, колпак кольчатый, лаковица розовая, рядовка (желтая, красная, серая, скрученная, фиолетовая), чешуйчатка (зо-



лотистая и травянистая), баран-гриб, печеночница обыкновенная, рогатик (желтый и языковый), головач (круглый и продолговатый), порховка (свинцово-серая и черноватая), лопастик (бороздчатый, курчавый, ямчатый)...

Все эти грибы съедобны, вкусны, все они произрастают в наших лесах, но обходятся грибниками. Я уже не говорю о таких породах грибов, которые всем известны, но не берутся из пренебрежения. В деревнях мало кто берет валуй, свинушку, луговой опенок и даже шампиньон. Условность здесь, как и во всяком деле, связанном с пищей, велика. Говорят, сибиряки берут только грузди, пренебрегая всеми остальными грибами, белыми в том числе.

Я не хочу сказать, что я сам, когда в лесу полно рыжиков или подосиновиков, хватаю все эти рогатики, лопасти, мокрухи и дождевики. Но есть особенный интерес в том, чтобы набрать грибов в безгрибное время, вернее, считаемое безгрибным, потому что начиная с апреля и кончая заморозками в лесу растут хоть какие-нибудь, да грибы.

Как бы ни устал, как бы ни намок в лесу под дождем, как ни приятно после грибного похода напиться чаю и отдохнуть, все же еще приятнее сначала разобрать корзину. Нужно поставить около себя несколько пустых посудин — больших блюд, хлебных плошек, противней и кастрюль. В одну посуду пойдут грибы на белую сушку, то есть грибы исключительно одни белые. В другую посуду откладываются сушка черная — крупные маслята, крупные подберезовики, и подосиновики, и вообще всякие трубчатые грибы, которые по размеру или по виду не годятся на жаркое и в маринад. На сковороду откладываются шампиньоны, часть мелких маслят, часть лисичек, часть мелких подосиновиков, можно добавить для букета и два-три белых. Большую часть маслят, лисичек, свинушек и молоденьких подосиновиков следует отложить для маринада. На почетную посуду отделяются рыжики. Два сорта грибов для солки. Первый сорт грузди, волнушки, некоторые разновидности сыроежек; похуже — скрипицы, млечники, валуи.

Каждый гриб еще раз оглядишь, снимешь прилипший листок или хвойные иголки, улитку, припутешествовавшую из леса, разрежешь гриб пополам или на части.

Пока перебираешь грибы, вспомнишь о каждом, где нашел, как его увидел, как он рос под кустом или деревом. Еще раз переживешь радость от каждой находки, особенно если были находки редкие и счастливые. Еще раз проплы-

вут перед глазами все картины грибного леса, все укромные лесные уголки, где теперь тебя нет, но где все так же хмурятся темные ели, все так же лопочу на своем языке тронутые багрящем осины.

## II

Итак, мои грибные воспоминания начинаются с воспоминания о маслятах. Кажется, правильно, по-книжному, их называют масляниками, но я никогда к этому не привыкну. Масленок, маслята, маслятки — зачем им какое-нибудь другое название?

Название это произошло от вида гриба или даже, вернее, от ошупи. Все знают, что масленок покрыт поверх кожицы слизью. Но вот что интересно: настолько симпатичны людям эти грибы, что они не прозвали их как-нибудь унизительно, например, слизняки, или склизняки, или даже сопляки, что тоже было бы верно, но — маслята.

Известно, что все скользкое, склизкое вызывает в народе если не отвращение, то пренебрежение. Однако маслята избежали этой участи. Не склизкий, но масляный, совсем другие воспоминания, совсем другое отношение: масляны могут быть и блин, и каша или, как в песенке про петушка, «шелкова бородка, масляна головка».

Наверно, ни у одного меня первым грибом был масленок. Не ручаясь, что он самый распространенный гриб в наших среднерусских лесах, может быть, валуев или лисичек растет больше, чем маслят, но все-таки масленок первым умудряется попасться на глаза. Этому немало способствует, наверно, то, что местом его обитания являются лесные опушки.

Если сравнивать с цветами, то масленок как одуванчик. Может быть, других цветов — незабудок, лютиков, кашки, кошачьих лапок — не меньше, чем одуванчиков, расцветает на земле, но все-таки деревенские девочки свой первый в жизни венок сплетут не из купальниц и даже не из васильков, но из солнечных одуванчиков.

Итак, лесные опушки, правда, не всякие, но сосновые, преимущественно молодых лесов. В старом бору, вероятно, уж не встретишь масленка, зато молодые сосенки с зеленой травой между ними — любимое место обитания маслят. Нужно вспомнить, что помимо основного названия у этого гриба есть еще имя — его называют «сосновик».

Если известно, что каждый гриб сожительствоует с определенным деревом, то отдадим справедливость — масленок выбрал не самое плохое. Если же, наоборот, дерево выбирает грибы (мы про это пока ничего не знаем), то и у сосны не плохая репутация, хороший вкус: боровой рыжик и даже сам боровик.

Хорошо это дерево в пору молодости, когда оно еще не дерево, а деревце, ярко-зеленое, пахучее, стройное. Радостно на него смотреть, когда весной оно выгонит вверх свои нежные, почти белые свечи. В это время все ветви у сосенки горизонтальны и только свечи растут прямо, и все дерево похоже на огромную люстру, уставленную свечами.

В пору цветения, если тронуть сосну, она окутывается золотистым душистым облаком пыльцы. Вскоре появятся на ней ярко-зеленые лаковые шишки, которые впоследствии расщербятся, потеряют семена и упадут на землю. Тогда их можно собирать — годятся разводить самовар.

Если сосна растет на отшибе от леса, то дерево будет низкорослое, узловатое, распространяющее во все стороны длинные мохнатые ветви. Ствол такого дерева не только узловатый, но и кривой, сучья — один короче, другой длиннее, один пушистее, другой суше. Не то в лесу.

Когда сосны растут близко друг к другу к рощей или бором, каждое дерево тянется вверх, к солнцу, старается перерастить своих соседей, но и соседи тоже не отстают. Нижние сучки у таких деревьев отсыхают и падают на землю. Дерево вытягивается длинное и ровное, как струна или свеча. Высоко вверх, кажется, что под белые облака поднимают сосны темно-зеленые матовые облачка своих крон. Тогда говорят — строевой лес, а в пору полной зрелости — корабельная роща.

Вокруг молодых сосенок — зеленая трава, лесные цветы, в старом лесу — белый мох, черника, папоротник. Под молодыми сосенками бесполезно искать белые грибы — боровики, в бору-беломошнике или в бору-черничнике не встретить маслят. Все му свое время.

Даже воздух, знаменитый сосновый воздух не один и тот же. В молодых сосенках более пахнет нежной смолой зеленых игл, в старых соснах — зрелой терпкой смолой древесины. В молодых сосенках — привкус солнца, в старом бору — привкус сырости, влаги.

Не знаю, где лучше и что было бы можно предпочесть. Масленок выбрал себе молодые сосенки и водится преимущественно около них. Если же встречается среди взрослых

сосен, то в редколесье, в сильно изреженном лесу, про который даже и не скажешь, что это лес, но просто — сосны.

Маслята — народ исключительно дружный. Где один, там и еще пяток. Да разве пяток! Длинные вереницы прячутся в зеленой траве, то красновато-бурые, то красноватые. Пока срезаешь одну вереницу, увидишь новые, там, там, по всей опушке, не знаешь, на что смотреть, с чего начинать — разбегаются глаза.

Хорошо, если пришел вовремя и все грибы один к одному крепенькие, прохладные. Но бывает, нападешь на россыпь маслят, а они, как один, червивые, застарели, переросли, обсохли. Срезаешь их десятками, так, на всякий случай, но в корзину попадает один из ста.

Из-под земли маслята вылезают одни из первых, уже в начале июня их можно собирать. И в это-то время их главным образом и берут, пока нет в обильном количестве ни подосиновиков, ни белых, ни рыжиков, ни груздей. Потом, когда начнется настоящее разногрибье, маслятами как-то пренебрегают, и, между прочим, зря.

Конечно, белый есть белый и груздь есть груздь. Но если сравнить с подберезовиками или с подосиновиками, то я решительно не знаю, почему нужно отдавать предпочтение последним. Масленок один из самых вкусных, качественных грибов.

Если принять четыре способа приготовления грибов, то есть жарить, сушить, мариновать и солить, то маслята участвуют в первых трех способах, избегая одной только солки. Жареный масленок очень нежен и душист, тем более что благодаря обилию маслят можно отобрать для жарки только самые молодые грибки. А так как маслята появляются действительно одними из первых, то обычно ими приходится разговляться после долгой зимы. В разговении же, как известно, — особая сласть.

Здесь я хотел бы сделать маленькое отступление, касающееся грибов, которые жарят. Долгое время я не знал, что жареные грибы можно запастись на целую зиму. Впервые просветила меня на этот счет Мария Илларионовна Твардовская. Во время какого-то очень важного приема, где то и дело произносились высокие речи о социализме, положительном герое в советской литературе и теории бесконфликтности, мы оказались в стороне, и разговор пошел в нужном направлении.

— Как! — воскликнула Мария Илларионовна. — Вы не знаете?! А мы всю зиму едим прекрасные жареные грибы.

— Мы тоже иногда покупаем свежие шампиньоны.

— Какие шампиньоны? Настоящие лесные грибы!

Способ оказался чрезвычайно простым. Хорошо прожаренные без лука и без всяких специй грибы плотно укладывают в стеклянную банку и заливают топленным маслом. Масло застынет, и в этом состоит вся консервация. Ну, конечно, держать лучше в прохладном месте. Способ этот, оказывается, древний, пришел из барских усадеб, типа ларинской, где жили исключительно своими припасами. Теперь, когда в ходу пастеризация и крышки и машинки для закатки стеклянных банок, вероятно, можно обойтись без топленного масла и консервировать жареные грибы так же, как консервируют любой компот. Но я хотел сказать о другом.

Должно быть, существует сезонность не только в произрастании, но и в потреблении. Например, с весны и в самом начале лета нет цены свежему, хотя бы и парниковому огурцу. Разрежешь вдоль и первым делом понюхает, жадно втянешь свежий огуречный, слегка горьковатый аромат. В июле и в августе всякий человек, я думаю, откажется от свежего огурца в пользу пахнущего укропом малосольного огурчика. Хотя и есть поговорка насчет земляники в январе, согласимся, что как-то мы в январе о землянике не вспоминаем. Пожалуй, в январе интереснее хорошо заваренный чай с земляничным вареньем, нежели сама земляника.

Да, воспользовавшись рецептом, мы произвели заготовку жареных грибов. И что же? Всю зиму они простояли у нас в запасе. Нынче, завтра, оттягивали, откладывали под разными предлогами, а потом и совсем забыли. Оказывается, зимой не тянет на свежие грибы. И второе дело. Едва-едва появилась возможность, я схватил кузовок и отправился на поиски самых первых, то есть самых сладких грибишек.

— Ты куда? — остановила меня жена.

— По грибы.

— Что ты! У нас прошлогодних две трехлитровые банки. Нужно сначала их съесть, а потом идти за свежими.

Нет. Все-таки стоит просидеть зиму совсем без свежих грибов ради того дня и того часа, когда зашипят на сковороде только что сорванные, самые первые в этом году, грибы.

Итак, маслята хороши в первую очередь в жареном виде. Они очень нежны и душисты. Им в большей степени присущ тот аромат, который и является собственно грибным.

Что касается заготовки впрок, то маслята либо маринуют, либо сушат. И то и другое хорошо. Для маринования отбирают грибы помельче и покрупче. Раньше, я помню, у нас в доме, когда все еще делалось по-домашнему и, как говорится, «руками», отбирали для маринада только самые мелкие грибки. Я думаю, в маринад не попадало гриба крупнее трехкопеечной монеты. Да еще нужно иметь в виду, что каждый грибок уменьшится во время варки. Даже удивление возьмет, когда видишь грибы на тарелке: как это разглядели в лесу, в траве и как это их очистили от кожицы. Кажется, нельзя его взять в пальцы — настолько мал.

Основная масса маслят уходила в сушку. Во время постов и в постные праздники варили грибные супы. Суп из маслят очень вкусен, но я боюсь его настойчиво рекомендовать, когда можно употребить на суп грибы, специально предназначенные для этого. Маслята же, смешав с другими сушеными грибами — подосиновиками, подберезовиками и опятами, лучше всего тратить на грибную икру.

Итак, масленок — один из самых вкусных и здоровых грибов, растущих в наших местах. Если же в разгар грибного сезона его берут не так охотно, как другие грибы, то этому может быть только две причины. Первая кроется в самом изобилии маслят и в том, что они, не успеешь подойти к лесу, так и лезут на глаза. Вторая причина, мне кажется, в том, что это единственный гриб, который нужно очистить, то есть с которого необходимо сдирать кожицу. И хотя кожица сдирается очень легко, но если маслят много и если они мелкие и склизкие, то чистить их очень кропотливая и надоедливая работа. Руки после маслят делаются черными, и чернота эта долго не отмывается. Согласитесь, что проще собирать грибы, с которых нужно отряхнуть только лесной мусор и можно класть на сковородку или бросать в горшок.

Чтобы закончить разговор о маслятах, расскажу маленькую историю, связанную с этими грибами, которую можно было бы назвать «Как сейчас помню».

Моей матери восемьдесят четыре года. Я не знаю, как она вспоминает всю свою жизнь про себя. Может быть, подробно и последовательно, год за годом, этап за этапом: девичество, свадьба, дети, крестьянствование, войны и беды. Но некоторые эпизоды, очевидно, наиболее яркие, у нее оформились в этакие устные рассказы, сформулировались и обособились. Рассказывает она их всегда одними и теми же словами, забывая, что уже рассказывала то же

самое не один раз. Так, например, я знаю, что если завести разговор о грибах и коснуться рыжиков, то она, вдруг очнувшись от постоянной теперь дремоты, посветлеет, улыбнется и скажет:

— Теперь что за грибы. Вот бывало...

— Ну а что бывало?

— Один раз пошла я по грибы в посадку, на Барки, думала, похожу среди елочек, поищу. Зашла за первую елочку, а рыжики стаями, вереницами во все стороны, нельзя даже ходить. По грибам ходить — жалко. Я встану на колени, выберу вокруг себя, на один шаг переступлю. Ползаю этак-то между елочек, а рыжиков все не убывает. Режу, режу — и конца не видать. Чем больше режу, тем больше рыжиков вокруг меня высыпает. Устала, пошла домой за лошадью. Ну, жизнь тогда была простая. Запряг Леня (то есть, значит, мой отец Алексей Алексеевич) Голубчика, поставил на дроги коробицу. Целая коробица рыжиков набралась. Как сейчас помню я эти рыжики. Встанешь на колени, а они вокруг вереницами, стаями в зеленой траве.

Этот случай сильно врезался в память моей матери. Однажды она рассказала его, сформулировала для себя и теперь, если зайдет речь, пересказывает как наизусть одними и теми же словами. Помнит она о нем вот уже пятьдесят или шестьдесят лет, и, хотя в остальные годы никаких грибных событий не совершалось, может быть, даже вовсе мало было грибов, все равно мать иногда говорит: «Теперь что за грибы. Вот бывало...»

В Журавлихе, перед входом, есть молодая посадка. Рядами стоят одна к одной сосенки. Я помню, когда они были мне до колен, а теперь переросли меня. Даже если я подниму руку, все равно меня не будет видно из-за пушистых и ровных сосенок. Посадка занимает меньше места, чем те Барки, на которых мать набрала некогда коробицу рыжиков, но все же отчего бы и не здесь завестись грибам.

Однажды, в начале лета, когда все ждут появления первых, самых ранних грибов, прошел слухок, что кое-где видели маслят. Я вспомнил про молодые сосенки и подумал, что если где-нибудь и показались маслята, то, наверное, там. Мы с женой взяли большой полутораведерный кузовок и отправились на разведку. Дело клопилось к вечеру, но очень не хотелось дожидаться утра. Посадочка небольшая, решили мы, обегаем за тридцать минут. Если действительно есть грибы, то завтра утром отправимся

в большой, настоящий лес. А теперь так себе — легонькая разведка.

Издаലെка увидели мы под сосенками, в траве, что-то желтое, словно пасорено ярких осенних листьев. Но откуда взяться осенним листьям в начале июня? Пожалуй, это не листья, а грибы.

И точно — кругом огибаая сосенку, словно взявшись за руки и вода хоровод вокруг нее, кружились маслята. Тот гриб наклонился на одну сторону, тот на другую, как в бесшабашной пляске, те низко присели, те, напротив, привскочили на цыпочки. Досадно, что чуточку переросли. Быть бы им поменьше, поядренее. Эти все, наверно, тронуты червяком. Сразу ведь по виду, по размеру определяешь, что можно ждать от гриба, хотя бывают и радостные неожиданности. Без всякой надежды срезаешь боровик, а он крепкий, тяжелый, словно свиное сало, и ни одной червоточки.

Наши маслята все были в половину чайного блюдца, желтые и светло-желтые, а не то чтобы темно-коричневые и с белой пленочкой с нижней стороны. Но, к нашему удивлению, все маслята оказались свежие, здоровые, совсем не тронутые червяком. Попадались и помельче, попадались и по чайному блюдцу, но зато не попадалось негодных.

Сначала мы срезали их стоя, потом опустили на колени, можно бы и лежа, переползая с места на место. Я в своей жизни не видел такого обилия маслят. К тому же они были очень споры из-за своего размера. Нашу полутораведерную корзину мы наполнили моментально, не обойдя и пяти сосенок. А их ведь тут, сосенок-то, не десятки, а сотни. Пришлось высыпать грибы в кучу, на траву. Корзина за корзиной, куча все растет, а грибов в лесу не убывает. У моей спутницы опустили руки с обломком столового ножа.

— Знаешь что, если мы каждый день будем собирать по стольку грибов, куда же мы их будем девать?

— Ты помнишь, как моя мать рассказывает про рыжики в барских елочках?

— Конечно, помню. Твой отец приезжал за ней на лошади с коробицей.

— Да. Это было шестьдесят лет назад. Я представляю, как ты через шестьдесят лет будешь рассказывать своим правнукам, шамкая беззубым ртом: «Как шейчас помню, пошли мы в шошенки по грибы... точно не скажу, то ли



в шестидесятом, то ли в шестьдесят пятом году, а может, и раньше, но определенно после Отечественной войны, потому что была уже я замужем...»

Мы посмеялись и снова принялись за маслят, но тут стемнело. Да, это выпал нам тот самый день, который выпадает один раз и про который вспоминают потом, сколько бы лет ни прошло.

Ни Голубчика, ни коробки не оказалось в нашем хозяйстве. Пришлось заводить автомобиль и ехать за добычей. Всего мы насобирали в этот раз за какие-нибудь полтора часа двенадцать ведер маслят. Дома мы рассыпали грибы в сених на полу тонким слоем и тотчас начали их перерабатывать. Русскую печь, в которой можно было бы высушить половину грибов, мы нарушили во время ремонта. Приходилось теперь изощряться на плите, в духовке и даже в электрической чудо-печке, предназначенной для печева пирогов. Дело подвигалось медленно. Было видно, что мы не успеем высушить эти грибы — они раскиснут и испортятся.

Одновременно мы выбирали самые мелкие, те, что покрепче, и кидали их в большую кастрюлю в маринад. Два дня продолжалась лихорадочная переработка добытого. Что успели, то и успели. Остальные набрякли водой, разбрызгли, слиплись между собой, приклеились к газетам, посланным на полу.

Не ради грибов, а ради любопытства мы через два дня наведались в наши сосенки и были поражены. Как будто все, что мы видели два дня назад, нам приснилось или совершилось в волшебной сказке. Если бы мы и захотели, мы не унесли бы теперь из сосенок ни одного гриба. Лесок был чист от грибов. Свежий человек ни за что не поверил бы, что всего лишь два дня назад... Да нам и самим как-то не верилось, но дома были у нас явственные доказательства этого маленького-грибного чуда.

Предположение мое сбывается. Моя жена иногда начинает рассказывать в компании: «Сейчас уже не помню, в каком году, одним словом, лет пять назад, зашли мы в молодые сосенки... Собирали полтора часа... Так вы знаете, пришлось идти в село за машиной... Двенадцать ведер...»

И чем больше проходит времени, тем все удивительнее для нас самих наша грибная история, на которую мы случайно набрели на исходе теплого июньского дня.

В главе о маслятах я писал, что сосна прибрала к рукам три едва ли не самых лучших гриба из всех существующих на земле. Во всяком случае, про два из них можно определенно сказать, что они лучшие из лучших. Более того, невозможно решить, который же лучше из этих двух. Одни говорят, что царь грибов все-таки боровик. Пожалуй, соглашусь, но, соглашаясь, для себя на первое место ставлю сосновый, или боровой, рыжик.

Говоря о нем, пужно вспомнить о тех же самых молодых сосенках либо травянистых опушках более старых сосновых лесов, на которых растут и маслята-сосновики. Это грибы-спутники. Там, где в июне, в июле, в августе собираешь крепеньких маслята, там в сентябре и октябре щипи ядреных, как молодая морковь, рыжиков.

Рыжик сосновый, рыжик величиной с чайное блюдце, рыжик величиной с копейку, рыжик, из которого на разрезе льется яркий оранжевый сок, рыжик, который оранжево выглядывает из зелени травы или мха, рыжик соленый, рыжик вологодский, рыжик вятский, рыжик, именем которого называют рыжих котят, рыжих щенков и даже самых рыжих мальчишек, рыжик... да что тут, скажешь: рыжик — и не надо никаких слов.

Впрочем, в разговоре, особенно если речь идет уже о приготовленных маринованных или соленых грибах, редко скажешь «рыжики». Даже невозможно себе представить, чтобы один человек сказал другому: «Приходи, у меня есть прекрасные рыжики». По-моему, без уменьшительной формы невозможно говорить об этих грибах. «Приходи, друг, у меня есть превосходные рыжички» — это звучит естественнее и легче.

Рыжик — настоящий осенний гриб. Но все же его возможно найти уже в июне и собирать в течение всего лета, все зависит от того, какое оно.

Я вспоминаю один год. С пятого апреля установилась летняя жара. Каждый день было двадцать пять, двадцать восемь градусов. Молниеносно согнало снег, молниеносно согнало воду и, с опережением, по крайней мере на месяц, отцвели по своей очереди все деревья. Гадали, что будет дальше, каково будет само лето. Одни говорили — вернутся холода, другие прочили ненастье. Двадцать первого мая, как из мелкого сита, пошел пылить дождь. Ему все обрадовались, потому что сушь не только надоела людям, но

и грозила погубить все в полях. «Хоть бы подольше не переставал, — говорили люди в первый дождливый день, — ведь чтобы всю землю промочить, надо два или три дня». — «Славно помочило, — радовались люди и на третий день, — теперь и жара не страшна, все умылось, все напилось». — «Помочил, пожалуй, хватит, — можно было услышать через неделю. Все хорошо, что в меру». — «Откуда оно берется, — жаловались через месяц, — ни одного дня не пропустил, пылит и днем и ночью. Сено погнило, теперь и в полях не даст убрать».

Короче говоря, дождь шел до самых заморозков. Действительно, он сгноил все сено в лугах и не дал убрать в поле. Никакие машины не могли заехать на поле, тотчас увязали всеми колесами. Нельзя их было и вытащить на сухое, твердое место, хотя бы потому, что сухого, твердого места не было на земле. Завязшие машины вырубали из земли топорами в начале зимы, когда земля замерзла.

Дождь в течение всего лета шел некрупный и теплый. Сначала люди остерегались его, сидели дома, а потом началась нормальная жизнь под дождем, как если бы его и не было. Люди в этом случае действовали подобно курам, ибо существует точная примета предсказания длительности дождя: если во время дождя куры прячутся в укрытие — значит, дождь скоро перестанет. Если куры как ни в чем не бывало бродят по улице, по дороге, по зеленым лужайкам — значит, дождь зарядил, по всей вероятности, на несколько дней.

Я помню, что никто уж не ждал прекращения дождя: под дождем копались в огородах, мальчишки под дождем удили рыбу, под дождем собирали грибы.

Трава стояла по пояс в воде. Ходить в лес или на реку можно было лишь в резиновых сапогах или босиком, никакая другая обувь не годилась. Почти все ходили босиком. Ведь шли как-никак летние месяцы — июнь, июль, постоянно висящие облака образовали род теплицы. Земля все время курилась паром и прела.

Я все это рассказываю к тому, что это лето мне запомнилось не только непрерывными теплыми дождями, не только погибшим сенокосом и вымокшими хлебами, но также изобилием рыжиков. Рыжики росли повсюду, где им и не надо бы расти. Если среди лиственного леса оказывались две сосенки или три елочки, то под ними появлялись рыжики в то необыкновенное лето.

Эти летние дождевые рыжики были несколько водяни-

сты по сравнению с позднеосенними ядреными, осыпанными студеной росой, но мы собирали их корзинами и жарили на сковороде, как обыкновенно жарят грибы. Рыжики редко кто расходует на жаркое, поэтому, может, интересно будет узнать, что и в жареном виде этот гриб вкуснее других грибов.

Итак, рыжики в большом количестве могут появляться в летние месяцы. Пусть. Это отнюдь не лишает его звания настоящего подлинно осеннего гриба.

В середине осени, в конце сентября, в октябре, устанавливается иногда удивительная погода. Безветренно. Утром выпадает на траву холодная, обжигающая ноги роса или даже белые хрустящие утренники. Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая соломинка, каждая паутинка, протянутая там и сям, — все обсыпано сахарной пудрой. Но небо чисто, оно такого глубокого синего цвета, какого не увидишь в летнюю жаркую пору. Солнце начинает пригревать в синем безветрии, и вскоре там, где хрустел под ногами заморозок, появляются россыпи крупной, как отборные бриллианты, росы. Особенно красива в это время обсыпанная росой паутина.

Замечательный мастер Борис Кузьмин подарил мне большую фотографию паутины, провисшей под тяжестью капель. На фотографии не видно, где происходит дело, в поле или в лесу. Но если приглядеться, то в каплях росы отражены, правда вверх ногами, островерхие темные елочки. Так и встает перед глазами еловый молодой лесок в сиянии голубого неба, в сверкании холодной росы и обогретый теплым солнышком. Воздух в это время, как говорят, по рублю за фунт. И вообще все в природе дышит свежестью, здоровьем и чистотой.

В это-то время, в эту ядреную осеннюю пору, появляются самые лучшие, самые крепкие, самые боровые рыжики. Они тоже обрызганы в это время росой, или даже в некоторых из них в середине в ямочке собирается немного хрустальной влаги.

Рыжики, как и их спутники по молодым сосновым лесочкам, почти никогда не растут поодиночке, но всегда стаями, лептами. И в том секрет, что на тарелке потом окажутся грибки невероятно маленького размера. Конечно, такой грибочек в отдельности ни за что не углядишь в траве. Но когда срезаешь вереницу, вместе с крупными попадают под ножик и малыши. Там, где рыжиков много, в вологодских или вятских лесах, любят засаливать ры-

жика в бутылках. Весь смысл в том, что в засол попадают только те грибы, которые способны пролезать в узкое горлышко бутылки. Вообще же рыжики в северных местах, например в Вологодской области, чаще всего солят в берестяной посуде, в больших и маленьких туесах.

Недалеко от самой Вятки, в селе Спасо-Талица, живет талантливый фотограф-самоучка Иван Александрович Крысов. Его фотография «Хлеб насущный» — натюрморт из стакана молока, двух яиц и ломтя черного хлеба, будучи напечатанная в «Огоньке», обратила на себя внимание и специалистов, и читателей. Иногда мы перебрасываемся письмами. Иногда приходит маленькая посылочка. Откроешь, а там либо баночка с медом, либо банка грибов. На банке обычно надпись: «Дары земли» и четыре знака восклицательных.

Таким-то путем я получил однажды толику настоящих вятских рыжиков. Рыжики были один к одному, трехкопечного размера, чистенькие, словно сейчас из леса.

Однако удивило нас то, что в засол не положено ни чеснока, ни укропа, ни листьев смородины, ни листьев хрена, ни самого хрена, ни листьев дуба, ни листьев вишеня — одним словом, ничего, что, казалось бы, непременно полагается класть в грибы во время засолки. Здесь были только рыжики и соль.

Эти рыжики сначала нам не понравились — не пахнут обыкновенным соленым грибом (то есть чесноком или укропом). Сколько хвалили нам вятские рыжики и вятский засол, а вятчи, оказывается, вовсе не умеют солить. До сих пор не догадались, что можно класть разные душистые листья и специи.

Ползимы «Дары земли» простояли в холодильнике без употребления. Потом как-то раз положил я себе на тарелку десяток ровненьких рыжиков, о чем-то задумался и механически медленно разжевывал гриб, попавший на зуб. И вот запахло осенней лесной опушкой, молодыми сосенками, остуженными октябрём, почудилось, что вокруг ранний утренний воздух. Тогда я понял то, до чего вятские грибники дошли гораздо раньше: и чеснок, и укроп, и смородиновые листья только отшибли бы естественный аромат и вкус. Пахло бы уже не рыжиком, но чесноком и укропом. Теперь же настоящий лесной вкус гриба, оказывается, законсервировался вместе с самим грибом и обнаружился во время внимательного разжевывания.

Рыжики были не очень крепкого посола, по-моему, их

даже коснулся процесс квашения. Но они были необыкновенно вкусны, и мы с тех пор ели их как необыкновенное лакомство, поглядывая, много ли остается.

Павел Иванович Косицын, проработавший много лет лесником, учил меня солить рыжики следующим образом. Кадку нужно хорошенько промыть. Положить в нее можжевельных веток, а ветки эти ошпарить кипятком, чтобы их дух пропитал древесину кадки. Кадку в это время накрывают ватным одеялом, чтобы можжевельный пар не выходил наружу. Приподняв одеяло, кидают в кадку сильно раскаленные камни. Вода шипит и глухо урчит в кадке под одеялом, и новая порция можжевельного аромата впитывается кадушкой. Впрочем, дело касается не только можжевельного аромата, без которого, вероятно, и можно было бы обойтись. Но таким образом осуществляется прекрасная дезинфекция кадушки, а это залог того, что грибы зимой не прокиснут и не начнут плесневеть.

Итак, кадушка готова. Рыжики нужно тщательно вытереть тряпочкой от земли и мусора и сухие укладывать рядами и слоями, чтобы каждый слой получался с полчетверти толщины. Уложенные грибы переслаиваются всеми теми приправами, которые я перечислял выше. Вероятно, можно класть и тмин, и вообще все то, что может дать свой особенный вкус. Так укладывается слой за слоем, пока не наполнится кадушка. Можно засолить и половину кадушки, тем более что, как бы ее ни наполнили, все равно придется потом добавлять, ибо грибы сильно оседают.

Поверх грибов нужно положить мешочек из марли, наполненный солью, распротранив его ровно по всей поверхности. На этот мешочек кладут деревянный, чисто промытый кружок, а на кружок — гнет, чаще всего обыкновенный речной камень. Через некоторое время кружок и камень начнут опускаться вниз, а поверх их выступит обильный грибной сок, который Павел Иванович рекомендует время от времени отчерпывать.

Спустя два месяца грибы можно есть. То есть что значит — можно есть? Их можно есть и на другой день. Но за два месяца они просолятся, примут в себя все возможные оттенки аромата и вкуса и станут такими, какими хотел их увидеть кулинар. Останется положить их на тарелки (при хорошем собеседнике) и поставить на стол графинчик из чистого стекла, а также аккуратные небольшие рюмочки.

Почему-то утратилась теперь культура настоек. Куда-то мы торопимся и стараемся поставить на стол бутылку,

принесенную только что из магазина. Лень даже потрудиться и перелить в графин. Из всей Москвы я знаю только один дом, где постоянно держат самые разнообразные настойки. А казалось бы, чего проще. В любой аптеке можно купить семян тмина, всыпать их в графин и залить водкой. Пройдет три дня... Продают также в аптеках траву зверобой, листья мяты, можжевельной ягоды, настоящий анис. Конечно, свежих почек черной смородины в аптеках не продают. Удивительную настойку на почках черной смородины можно попробовать, только если не поленишься и сделаешь ее сам, особенно зимой, в январе хорошо настоять почки черной смородины. Живой аромат. Чистого изумрудного цвета, непередаваемого аромата, эта настойка была бы, конечно, самая драгоценная из всех остальных, но, к сожалению, ее нельзя хранить. Через некоторое время она из изумрудно-зеленой становится коричневой, как коньяк, и совсем утрачивает аромат молодого смородинового листа, пахнет бог знает чем.

Однажды в Варшаве в ресторане «Бристоль» я встретил писателя-москвича Льва Романовича Шейнина. Во время ужина разговорились о Москве и, в частности, о настойках. Тогда-то Лев Романович и поведал мне один рецепт, который теперь благодаря моему усердию принят на вооружение всеми моими друзьями и приятелями. В бутылку столичной водки нужно изрезать две-три дольки чеснока, а также опустить один стручок жгучего красного перца. Бутылку крепко закрыть и положить в темное место на три дня. Через три дня процедить и перелить в графин из чистого ясного стекла. Не правда ли, просто? А между тем получается напиток, прелесть которого невозможно вообразить. Только пить нужно из маленькой рюмки, чтобы входило в нее тридцать — не более пятидесяти граммов.

Настойку на рябине я, как ни странно, попробовал впервые у Константина Михайловича Симонова. Они с Александром Юрьевичем Кривицким уговаривали меня идти работать в журнал. И хотя дело не сладилось, хозяин пригласил к столу. Это было на даче в Пахре. Там-то я и вкусил рябиновой настойки.

Я написал «как ни странно». Конечно, странно, если у нас в деревне полон сад отличной псковской рябины и есть даже несколько кустов особенной, черноплодной. Странно потому, что, конечно, мои деды пили рябиновую настойку почем зря, а мне, для того чтобы попробовать ее, пришлось ехать в Пахру. Рябиновая настойка производит

странное впечатление. Она, как бы это сказать... замедленного действия. Пока пьешь, ничего не слышишь, а потом секунды через четыре появляется во рту вкус рябины, как будто раскусил спелую рябиновую ягоду.

Настаивают и на бруснике, и на любой ягоде. Не нужно только путать с наливкой. Чтобы сделать наливку, надо брать две трети ягод и лишь одну треть водки, держать все это несколько месяцев в закрытой посуде. Для настойки достаточно бросить горсть ягод в бутылку на три-четыре дня. Говоря о настойках, стоит ли напомнить о лимонных и анельсиновых корочках\*.

Итак, положив на тарелку рыжики, засоленные вышеописанным способом, нужно поставить на скатерть графинчик с одной из вышеописанных настоек, а также небольшие рюмочки. Очень важно, чтобы за столом в это время сидели хорошие люди, что, пожалуй, дороже и графинчика, и рюмочек, и самих грибов.

Конечно, рыжики лучше всего солить, особенно заготавливая впрок на долгое хранение. Но нужно сказать, что и маринованные они хороши. Все казенные маринады на один вкус. Возьмите в магазине маринованные маслята, лисички, огурцы, патиссоны, все это попробуйте по очереди, и вы убедитесь, что все это одинаково и в общем-то не очень интересно.

Но когда вы сами собирали рыжиков и есть надежда, что завтра вы наберете еще, у вас есть возможность творить. Особенно к рыжикам я рекомендую творческий подход при мариновании. Нужно найти ту золотую серединку, чтобы маринад, привнося свои оттенки, не убил естественного лесного вкуса гриба.

Что касается нас, мы не стараемся мариновать рыжики в расчете на долгое хранение. Во-первых, потому, что для этого нужен очень крепкий состав маринада, то есть нужно брать очень много уксуса, а это неинтересно, да и бесполезно. Во-вторых, потому, что все равно рыжики долго не устоят, не утерпишь и съешь. Поэтому мы маринуем их для того, чтобы есть тотчас и в ближайшее время — на сколько хватит. Такой взгляд позволяет нам обходиться слабеньким маринадом с минимальным количеством уксуса, но зато с усиленной дозировкой сахара и всех специй: душистого горошка, лаврового листа, корицы, гвоздики. Может быть,

---

\* В последующие годы была открыта и опробована великолепная настойка на хрене.



другим покажется ужасным, но в подслащенном маринаде есть своя прелесть. Твердого рецепта мы никогда не придерживаемся, кладем все по вкусу, пробуем во время варки, и получается каждый раз несколько по-иному, но всегда хорошо. Может быть, потому, что нужно употребить слишком много усилий, чтобы испортить и сделать невкусным такой гриб, как рыжик.

Теперь о сырых. Самому мне, вероятно, не пришлось бы в голову всерьез за столом при помощи ножа и вилки есть сырые грибы. Самое большое, что мы делали мальчишками, — поджаривали рыжики на костре. Вспоминая детство, я иногда беру с собой в лес щепотку соли. Если день серый, прохладный, с дождичком, особенно приятно разжечь в лесу небольшой огонек. Выберешь место под дремучей елью, непроницаемое ни для дождя, ни для света. Сухо, тепло, уютно, как в комнате. На земле ровная и гладкая подстилка из темных коричневых игл, слежавшихся в плотный пружинящий войлок, по сторонам березки или иные деревца, сверху над головой радиально разбегающиеся черные еловые ветви. С этих ветвей свисают длинные бороды голубоватого лишайника. Душистый дымок от костра тотчас наполнит всю эту лесную комнату, начнет подниматься вверх, процеживаясь сквозь широкие плоские ветви, а также выбиваться на сторону, где его будет подхватывать и развевать ветерок. В дождь хорошо посидеть у огонька на сухой пружинящей подстилке из игл. В это время для забавы насадишь на прутик рыжик, насыплешь на него солцы и поднесешь к огню.

Но это, конечно, баловство, а не еда. И потом как-никак получается гриб жареный, хотя и пахнущий сырцой, мы же хотим говорить о грибах совершенно сырых.

Однажды меня научили, и я попробовал. Рецепт был такой: принеся рыжики, желательнее боровые, нужно их тщательно вымыть, положить в небольшую глубокую миску вверх пластинками и посыпать солью так, чтобы соль попала на каждый гриб. Я знал, что на Севере так готовят рыбу, в частности семгу, и называют ее малосолкой. Парную, только что из воды семгу нарезают кубиками, присаливают и перемешивают с кубиками льда. Семга впитывает соль и одновременно охлаждается, твердеет. Через двадцать минут едят.

Нечто похожее предлагали мне сделать с боровыми рыжиками. За полтора-два часа соль, оказывается, успевают растаять, а сами грибы дают сок, который собирается на

дне в коричневую красноватую лужицу. Может быть, так и нужно есть сырые рыжики, но я и этот рецепт впоследствии упростил. Тщательно отобранные, без единой червоточинки, без пятнышка, и только самые молодые экземпляры добытых рыжиков я кладу на тарелку, солю и тут же ем. Я не замечал, но на детский вкус есть в сырых рыжиках не то что горчинка, но остринка, жгучесть, как будто слегка приперчили. Сначала эта остринка смущала детей, но после того как я напомнил им, что они едят лук и чеснок, которые невероятно горьки и остры, едва различимая горчинка рыжика стала казаться не более чем приятной. Эту еду я нахожу не только необыкновенной по вкусу, но и очень здоровой и каждый год жду не дождусь поры, когда можно будет насобирать свежих рыжиков и полакомиться ими в сыром виде. Так как оттенки вкуса и аромата свежих рыжиков очень тонки и так как не следует их заглушать никакими другими ароматами, то перед такими рыжиками лучше всего выпить рюмку чистой водки, а не из тех настоек, о которых я распространялся в связи с рыжиками, заготовленными впрок путем соления в кадлушке.

Я все время говорил о рыжиках бороновых, в то время как существуют еще рыжики еловые, причем их, вероятно, на свете больше. Что можно сказать? Конечно, тоже рыжик, с тем же вкусом, с теми же качествами, но все же — ухудшенный вариант. У боронового рыжика ножка в несколько раз толще, чем у елового, и не за счет пустоты в ножке, а за счет толщины стенок. Шляпка у еловика более тонка, хрупка, особенно по краям, тогда как у боронового рыжика шляпка толстая, мясистая, а края ее туго завернуты внутрь. Этот рыжик в отличие от елового не искрошится, если его нарочно трясти в корзинке. Нужны усилия, чтобы его разломить. Когда режешь ножом, он до половины разрезается, а дальше колется, как молодой огурец или молодая репа.

Еловый рыжик часто бывает зеленого цвета, как если бы он медный и покрыт патиной. Правда, даже самый зеленый еловый рыжик на разрезе все равно ярко-оранжевый, но все-таки наружная окраска имеет значение для красоты гриба. Боровой рыжик не зеленеет никогда. Он ярко-оранжевый как на разрезе, так и снаружи. А концентрические полосы на шляпке, более темные, чем сам гриб, создают ему дополнительную красоту.

Одним словом, и тот, и другой — рыжики, как два человека есть два человека. Но один из них здоровяк, атлет,

с буграми мускулов, румянцем, весь дышащий красотой и силой, а другой худ и бледен. Такова, на мой взгляд, разница между рыжиками боровым и еловым.

Остается сказать, что я всегда считал рыжик нашим северным грибом. Недаром же самыми рыжиковыми губерниями у нас считались Вятская, Вологодская, Архангельская. Но однажды, бродя по базару в городе Эксанпровансе на юге Франции, в Провансе, я увидел на прилавке груды рыжиков. Правда, они были слишком уж велики и как-то рыхлы и сухи по сравнению с нашими, но тем не менее это были самые настоящие рыжики. Рыжики в краю олив! Надо полагать, что в Провансе они водятся в горах, склоны которых поросли все теми же сосенками и елочками.

#### IV

Редкое удовольствие собирать челяши. Так у нас называют молодые подосиновики, или, более правильно, более по-книжному — осиновики. Нужно сказать, что совсем недаром этот гриб в молодости имеет другое название, отличное от названия вида вообще. Случай исключительный, пожалуй, даже единственный из всех грибов. В самом деле, рыжик, будь он хоть с гривенник, будь он хоть с чайное блюдце, все равно — рыжик. Масленок любого размера и возраста не более чем масленок. Белый гриб с наперсток, с кулак или с тарелку не имеет разных названий, но называется одинаково — белый гриб. И лишь молодой подосиновик называется по-другому — челяш. Но дело все в том, что подосиновик молодой и подосиновик взрослый — это действительно как два разных гриба: разная красота, разное удовольствие при собирании, разное употребление в пищу. Но нужно сказать несколько слов об осиновом лесе вообще.

Осина снискала себе дурную славу. Во-первых, легенда, что именно на осине удавился Иуда, во многом определила отношение к ней со стороны православных жителей России. Проклятое дерево, Иудино дерево — называли его по деревням. Хотя я не знаю, откуда могло взяться такое предположение. В краю олив и ливанских кедров, в краю лавров и финиковых пальм, в краю смоковниц и виноградных лоз и вдруг — осина. Осина больше сочетается с северным сероватым небом, нежели с пылающей лазурью небес, с сырым суглинком Вологодчины, нежели с раскаленным белым камнем палестинских земель.

И в фольклоре осина занимает соответствующее место. Достаточно вспомнить выражение насчет осинового кола, забиваемого в могилу недруга. Само по себе, хуже нет, когда вместо креста, допустим, грозятся загнать в могилу кол. Это высшая степень ненависти и презрения. Но, оказывается, кол сам по себе дубовый или березовый — это еще полбеды. Осиновый кол — вот что страшно.

В частушке нет-нет и промелькнет: «Ах, осина, ты осина, не горишь без керосина», другая частушка вторит: «Ах осина, ты осина, ветру нет, а ты шумишь».

Есенин выделил это дерево из всех остальных не то с нежностью, не то присоединившись к всеобщей легенде — не поймешь.

В одном стихотворении у Есенина дед говорит:

На церкви комиссар снял крест,  
Теперь и богу негде помолиться.  
Уж я хожу украдкой ныче в лес,  
Молюсь осинам...  
Может, пригодится...

Все-таки, пожалуй, здесь больше нежности и любви, чем жутковатого полуязыческого поклонения.

И наш современный поэт в прекрасном стихотворении о деревьях попытался окончательно реабилитировать это дерево.

Послушай, береза, о белая дева,  
Сосна, что гордишься своей прямою,  
Осина, обиженная клеветою...

Итак, точное слово произнесено — клевета. Мне остается только согласиться с этим словом.

Впрочем, как бы к осине ни относиться, нужно исходить из того, что она растет себе и растет, занимая, как говорят, сто сорок миллионов гектаров земли в нашей стране, если иметь в виду только леса с явным преобладанием осины либо чистые осинники, не говоря о лесах, где она произрастает в числе прочих пород.

Вообще-то говоря, осина — тополь, одна из разновидностей тополя, наиболее морозоустойчивая, влагоустойчивая и кислостойчивая разновидность. Кроме того, осина из всех тополей обладает самой лучшей древесиной. У этой древесины есть качества, которых не встретишь у других пород дерева. Например, казалось бы, мелочь, но иногда ведь бывает важно, чтобы доска со временем не желтела, а оставалась белой, как будто ее только что остругали. Наименее всех других эта древесина поддается червоточине. Но что самое интересное, осина обладает свойством

очень долго не гнить в воде. Поэтому испокон веков на Руси, если нужен сруб для колодца или для погребца, не обращаются ни к какому другому дереву, кроме как к осине. По той же причине из осины делают бочки, ушаты, корыта и также стругают дранку для кровель, и получают кровли, перед которыми железо не имеет никаких преимуществ, кроме разве противопожарного.

Зимой мужики запасают осиновые дрова. Во время таяния снега начинается по всем деревням пилка и колка дров. Осиновая древесина мягкая, податливая, пилить ее легко. Колоть же осиновые чураки истинное наслаждение, потому что осина не суковата и волокна ее не перекручены. Чуть только тронешь колуном, и толстый чурак с легким щелчком разлетается на две половинки, сверкающие на весеннем солнце чистой сахарной белизной.

Слов нет. Березовые дрова, говоря по-деревенски, жарче, а говоря по-научному — калорийнее. Сосна, пропитанная смолой, пылает ярче, а дубовое полено одинакового размера, наверно, раз в пять тяжелее осинового полена. Но, может быть, как раз и нужно такое дерево, которое можно было без особенной жалости жечь в печах, оставляя березу, сосну и дуб на другие нужды.

\* Два примечания, взятые на этот раз не из читательских писем, а переданные мне устно.

Писатель Владимир Чивилихин упрекнул меня в том, что я забыл об осиновых «лемехах». И правда, непростительно, что забыл. Дело в том, что на севере России, в Архангельской и Вологодских землях, строили прежде деревянные церкви. Купола у них были тоже деревянные, издали как бы чешуйчатые, а при ближайшем рассмотрении состоящие из тяжелых, искусно вытесанных и еще искуснее пригнанных одна к другой деревянных пластин. Эти пластины называются лемехами, и были они всегда осиновые.

А вот примечание другого характера. Моего друга, Александра Павловича Косицына, просвещал сосед по даче, пожилой жизнерадостный художник.

— Скажи, почему как только в лесу упадет осина, так сразу на нее набрасываются и зайцы, и козы, и лоси, и мыши, и все, кто способен обглодать кору? На липу или на дуб не набрасываются. А, казалось бы, осиновая кора горька, словно хина. Однако обгложут каждый сантиметр, несмотря на отъявленную горечь.

— Потому осиновою кору любят все звери, что она содержит полезные и даже целебные вещества. Могу доложить, что вот уже двадцать пять лет непрерывно и ежедневно потребляю настойку на осиновой коре. Зеленую молодую кору я обстругиваю с дерева, сушу, а затем настаиваю на ней водку. Пью два-три раза в день, по небольшой рюмочке.

— Ну и что?

— Прекрасно себя чувствую. Сердце болело, теперь не болит. Общее самочувствие, нервы — все в общем порядке. Так что рекомендую: пейте настойку на целебной осиновой коре! \*

Что касается меня, то я с удовольствием бываю в осиновых лесах, не думая о качестве и физико-механических свойствах осинового дерева.

Мне нравится нежно-зеленая яркая окраска стволов осины, отличная от красно-бурых сосен, от белых берез, от черной коры дубов, лип и вязов. Я не хочу сказать, что красное дерево хуже, но красив и осиновый лес, как бы освещенный бледно-зеленым светом.

Многие не любят, но мне нравится и вечное беспокойное даже в полное безветрие лопотание осины. Это ведь не скрежет, не грохот, не урчание мотора, не скрип тормозов, не железо о железо и не стекло по стеклу. Это очень нежное, не назойливое, безобидное и, я бы сказал, какое-то прохладное лепетание, вроде вечного плеска моря.

С первым дыханием осени до неузнаваемости преобразается матово-зеленая сероватая листва осин. Когда Пушкин восторженно воскликнул: «Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и золото одетые леса», виновницей слова «багрец» явилась осина. Откуда-то берется в листве яркая полная краска, киноварь. Впрочем, можно обнаружить в осиновой листве богатую гамму от чистого золота через розовый и красный тона к вишневому цвету. Но больше всего именно — багрец. Точно каждый лист накалили на огне до яркой красноты, и вот теперь все горит и светится.

Вместе с листвой преобразается и сам лес, а вместе с лесами и весь пейзаж среднерусских равнин. Осинный лес в то время между черной землей и серым осенним небом словно полоска зари, и кажется, что от него светлеет на мглистой, ненастной земле. Бывает на склоне горы, что нижний и верхний ярусы леса хвойные и, значит, черные, а между ними длинной полосой золотое свечение берез

и красное горение осин. Каждая осина в лесу или стоящая отдельно на меже кажется мне в это время каким-то фантастическим марсианским растением, потому что непривычно видеть, чтобы дерево было все красное с головы до ног.

Опадая на землю и полежав под снегом, листва осин перегорает, потухает, становится пепельной, почти черной. Она склеивается в плотную ровную подстилку, сквозь которую ранней весной пробиваются прекрасные цветы медуницы с золотыми и синими венчиками.

Осенью же сквозь многослойно спрессовавшуюся листву вылезают на свет божий удивительные растения, которые сначала мы зовем челяшами, а позже — просто осиновым грибом. Думается, что если бы не было в осине совсем никакой пользы, только ради этих грибов стоило бы ей расти на земле и украшать землю.

Молодой челяш представляет собой белый плотный пенек, на который плотно, как наперсток (или как берет), надета ярко-красная бархатная шарообразная шапочка.

В зависимости от возраста пенек может быть потолще и потоньше. От его размера зависит размер шляпки. Очень потоньше, когда стоят вереницами челяши, вытянувшись в цепочку по ранжиру. Самый маленький может быть с конечный сустав мизинца. Челяш редко растет один. Пока нагибаешься за грибом, обязательно попадет в поле зрения и его сосед. А там еще и еще. Но все же не так, как маслята, которые сиди и срезай. Благодаря яркости, красоте гриба, благодаря его свежести и крепости охота за челяшами одна из самых радостных грибных охот.

Постепенно с ростом гриба шаровидная шапочка начинает разгибаться, разворачивает края и принимает форму обыкновенной грибной шляпки. На первых порах осиновика с развернутой шляпкой все еще идут к челяшам. Этой первой порой нужно считать такие пропорции гриба, когда шляпка хотя и развернута, но по ширине своей почти не отличается от толщины ножки. В это время у гриба новая степень красоты, потому что белая ножка поднимает красную шапочку на добрую четверть от земли.

В дальнейшем ножка перестает расти в толщину, а шляпка, напротив, все ширится и ширится, и гриб вдруг становится тонконогим. Шляпка выцветает и вместо ярко-красной, бархатной, матовой делается желтоватой и гладкой. Это уж в полной мере осиновик, а не челяш. Если поставить рядом кургузый наперсток и большой дряблый зонт, не подумаешь, что одна и та же порода.

В старых грибах между трубчатым слоем и мясом шляпки всегда проделаны какие-то черные норки, овальные, вытянутые в ширину. Мне ни разу не удалось видеть в грибе самих грибоедов, но можно утверждать, что гриб с норками отнюдь еще не червивый гриб. Стоит ли напоминать, что мякоть ножки и самого гриба на месте среза быстро чернеет. Ярко-красная шляпка при любой обработке тоже меняется и становится черной.

Что касается употребления, то оно напрашивается само собой. Челыши лучше всего мариновать. Старые, большие грибы должны идти в сушку. Шляпки средней величины хорошо жарить. Но можно в зависимости от размера пускать либо туда, либо сюда, то есть либо к челышам в маринад, либо сушить. Можно жарить, конечно, и челыши, но, право, жалко. В маринаде они хотя и потеряют цвет, но останутся на вид все теми же симпатичными челышами.

Теперь вопрос, что делать из сушеных осинowych грибов. Суп из них будет очень черным и, конечно, не таким вкусным, как из белых. Сушеные подосиновики нужно смешать с сушеными подберезовиками, маслятами, опятами или с другими грибами. Из этого букета нужно делать грибную икру, чрезвычайно вкусное и полезное блюдо.

Одно из важных условий приготовления грибной икры — тщательно вымыть сухие грибы, чтобы частицы земли, приставшие к ним или попавшие в трубчатый слой, потом не хрустели под зубами. Однажды мне пришлось попробовать удивительно вкусную грибную икру, но есть ее было неприятно и даже невозможно из-за того, что она хрустела, как будто в нее насыпали речного песка.

Чтобы грибы хорошенько отмыть, их нужно помочить в воде, а потом мыть каждый гриб в отдельности под краном. Если грибы достаточно крупные, можно для мытья употреблять щетку. Вымытые таким образом грибы варят в течение часа или чуть больше, следя, чтобы не переварить. Переваренные, слишком раскисшие грибы в икру не годятся. Затем грибы пропускают через мясорубку, солят по вкусу, смешивают с сильно пережаренным луком, добавляют порядочное количество растительного масла и по вкусу уксуса, но очень немного. Можно чуть-чуть добавить и того крепкого отвара, который остался в кастрюле. Из остального отвара, чтобы не выливать столь драгоценный бульон, обычно готовят подливу к картофельным котлетам или к любому мясному блюду.



Тетя Вера, Вера Алексеевна Смирнова, сестра моего отца, самый старший человек сейчас в нашем роду, оказывается, прочитала мои записки о грибах. Несколько раз с разными людьми она наказывала, чтобы передали мне:

— Как же это он мог написать такое? — будто бы возмущалаеь тетя Вера. — Какая же это будет грибная икра, если грибы пропустить через мясорубку. Скажите ему, пусть исправит: грибы для икры нужно рубить тяпкой в деревянном корытце. Тогда и будет икра. Разве он не помнит, какая грибная икра бывала к Ивану-постному или к покрову. Как это у него язык повернулся сказать, что грибы пропускают через мясорубку!

Конечно, тетя Вера права. Конечно, если грибы изрубить тяпкой в деревянном корытце, икра получится вкусней, во всяком случае, будет казаться вкуснее тому, кто ее готовил и кто рубил грибы. Действительно, при пропускании через мясорубку сок может выжиматься из грибов, и грибная масса делается посуше, будет не такой нежной. Но я писал рецепт применительно к современным городским условиям. На каждой ли городской современной кухне найдется деревянное корытце и острая железная тяпка? Мясорубки же есть у всех. Ничего не поделаешь — приходится же пользоваться газовой духовкой вместо так называемой «вольной печи», а также холодильником вместо погреба.

Икра получается черная, маслянистая, и все, кто ее пробует впервые, говорят одну и ту же фразу, а именно, что эта икра вкуснее настоящей черной зернистой икры.

Закуска настолько нежна, что под нее не следует пить водку, но можно выпить рюмку хорошего тонкого коньяка.

## V

Рассказывать ли про березовый лес? Рассказывать ли про саму березу? Нет дерева, растущего на территории России, включая и рябину с черемухой, которым так повезло бы и в фольклоре, и в настоящей литературе, и в живописи, и даже в музыке.

Впрочем, я не прав. Сказать «повезло» можно про то, что не совсем заслуживает своей славы или успеха. Береза достойна своей многоголосой и прочной славы, и заслужила она ее в общем-то бескорыстно. Ладно, если бы древесина ее была ценнее всех других древесин, вовсе нет. Ладно, если

бы родились на березе особенные плоды. Вовсе не родится никаких плодов. Семена ее, как известно, не употребляются в дело. Не добывают из березы ни каучука, ни живицы. Просто так. Хороша, и все. Береза — и этим все сказано. Да уж и действительно хороша!

Растут деревья-гиганты, существуют деревья-чудеса. То секвойя величиной чуть ли не с Эйфелеву башню, так что человек у ее подножия кажется муравьем, то священный фикус, у которого двести стволов, а крона одна, то эвкалипт, постоянно меняющий кожу, то магнолия, производящая огромные, из тончайшего белого фарфора цветы, а там разные пальмы, дынные, хлебные, кофейные, хинные, коричневые, камфарные, каучуковые, пробковые, красные, железные, черные, ореховые, винные, гранатовые, благословенно-добрые и смертельно ядовитые деревья.

Каждое дерево чем-нибудь полезно, каждое дерево красиво — одно цветами, другое листвою, третье осанкой и ростом, четвертое цветом ствола, коры. Есть деревья красно-бурые и серые, черные и зеленые, узловатые и гладкие, мохнатые и голые. Но нет на свете дерева белого, как летнее облако в синеве, как ромашка в зелени луга, как снег, когда он только что выпал и еще непривычен для глаз, смотревших до сих пор на черную ненастную землю. Мы присмотрелись, привыкли, но если разобраться, то во всем зеленом царстве нет подобного дерева, оно одно.

Нельзя сказать, что единственное качество — белизна. С давних пор у этого дерева большая дружба с человеком. Я не знаю, правда, как в других странах. Будем говорить о России.

Первейший предмет во все времена, во всякой деревенской избе — веник. Одно дело подметать пол, чтобы держалась в горнице чистота, другое дело со своим веником среди морозной зимы — в баню. В горячем пару по темно-малиновой спине пройтись березовым веником... Кто знает, тому не надо объяснять, кто не знает — все равно не поймет. Три дня после хорошей бани отдает от человека свежим березовым духом.

Я помню, в юности, когда я жил в деревне,  
Ходили мы за вениками в лес,  
Сейчас найдешь березу постройнее,  
Повыше,  
Поупружистой,  
Погибче,  
Чтобы вполне ладони обхватили  
Ее, как тело, розоватый ствол.

Сначала сучьев нет. И по стволу,  
Подошвами босыми упираясь,  
С коры стирая белую пыльцу,  
До онемения натруждая руки,  
Стремишься вверх, где жесткой нет опоры,  
А только зыбкость,  
Только синева,  
Что медленно колышется вокруг,  
Тогда опустишь ноги  
И повиснешь,  
Руками ухватившись за верхушку,  
И длинная упругая береза  
Начнет сгибаться медленно к земле.  
Там было ощущение полета!

Так мы ломали веники с молодых и гибких берез.

Второе дело — береста. Ни одно дерево не давало русским крестьянам, а задолго до того славянским лесовикам ничего похожего на бересту, да и негде взять. Может быть, только липа, дающая все лубяное и лыковое — и мочалки, и рогожки, и сами лапти, — могла бы воскликнуть на суде деревьев: «А я?!» Но ведь такому дереву, как липа, не совестно и уступить.

Из липового лубка можно тоже сделать легкую прочную посудину, лубяные драночки сапожники закладывали в задники, из лубка делались длинные узкие лунки, по которым катали по зеленому лужку разноцветные яйца.

Но допустим, что обе хороши. Все же, когда строили дом, под углы сруба, на кирпичные столбы, клали по широкому листу бересты — тогда сырость не могла проникнуть от земли к бревнам и нижний венец не гнил. Все же все туеса и туесочки, с которыми ходили по ягоды, но в которых также держали сметану и носили в поле квас и в которых теперь еще где-нибудь на Вятке или на Сухоне солят рыжики, — все это было из бересты. И вообще всевозможное берестяное плетение — кошели, носить в поле еду, карманные солонки, табакерки, брусочки, ковшечки, дудочки, шкатулочки... До сих пор существует в Архангельской области художественная резьба по бересте. Изделие, украшенное этой резьбой, можно купить хотя бы и в ГУМе, в отделе, где продаются русские сувениры.

Береста — это не вся березовая кора. Слой коры, прилегающий к древесине, то есть собственно кора, живая кора, в которой циркулируют соки, будучи высушенной, становится очень хрупка. Она крошится и ни на какие изделия не годится. Но поверх ее дерево запеленато в нечто желтое,

окрашенное белым спаружи, прочное, эластичное, что люди и называют берестой...

В старину берестой пелепали треснутые горшки, а еще раньше... напомним вам поэтичные строки из «Песни о Гайавате» в прекрасном переводе Ивана Бунина.

Дай коры мне, о Береза!  
Желтой дай коры, Береза,  
Ты, что высишься в долине  
Стройным станом над потоком!  
Я свяжу себе пирогу,  
Легкий челн себе построю,  
И в воде он будет плавать,  
Словно желтый лист осенний,  
Словно желтая кувшинка!  
Скинь свой белый плащ, Береза!  
Скинь свой плащ из белой кожи...

До корней затрепетала  
Каждым листиком береза,  
Говоря с покорным вздохом:  
«Скинь мой плащ, о Гайавата!»

И пожом кору березы  
Опоясал Гайавата  
Ниже веток, выше корня,  
Так что брызнул сок наружу.  
По стволу, с вершины к корню  
Он потом кору разрезал,  
Деревянным клином поднял,  
Осторожно снял с березы.

Весной березы, как мощные насосы, гонят кверху, к кончикам ветвей, к почкам, к будущей листве, земные соки. Я не берусь назвать все вещества, которые присутствуют в березовом соке, но читал о том, что березовый сок насыщен сложными углеводами, которые обычно дерево шлет в обратном направлении, то есть от листвы, от солнца, от воздуха в землю, и только в редком случае с весенней березой берет эти сложные углеводы у земли, посылая наверх. Содержатся в соке и какой-то особый сахар, и разные витамины. Недавно я читал большую статью об этом соке и о том, как из него готовят квас.

Добавлю от себя, что немало в березовом соке и поэзии, если только добывание его не связано с варварским обращением с самой березой. Иногда по-варварски тянут топором по белой коже, сок брызжет, как из перерезанного горла барана, но растекается во все стороны. Лишь маленькая толика его попадает в рот. На березе остается глубокая, долго не заживающая рана.

По-настоящему, нужно зачистить небольшой квадратик наружной коры и на зачищенном месте коловоротом провернуть углубление на три-четыре сантиметра. И все. Сок потечет одной бойкой струйкой. Можно присоединить жестяной желобок, можно перегонять его в бутылку при помощи марлевой ленточки, а можно просто, как чаще всего и делают деревенские дети, пить через соломинки.

Да, под весенним солнцем, под белыми облаками из тела белой березы можно пить живительные соки земли точно так же, как через соломинки тянут липкие одурманивающие коктейли в прокуренных душных помещениях под скрежещущие звуки дикарской музыки. Каждому то, чего он достоин.

Грачи очень часто обламывают кончики березовых веток себе на гнезда. Из обломанных веток обильно капает сок. В этом случае под большой могучей березой создается впечатление, что идет дождь.

\* Один читатель упрекнул меня за то, что я забыл про новгородские берестяные грамотки. Действительно, много веков назад береста служила для наших предков в качестве бумаги и, надо думать, способствовала просвещению их.

Другой читатель заинтересованно пишет: «Вы много уделили внимания березе, конечно, заслуженного ею. Однако одно весьма важное качество этого дерева вы совершенно не описали.

Деготь — разве это не продукт березы. Как не знать этого! Каждый крестьянин, особенно северных областей, знает, что без дегтя в деревне жить невозможно. Дегтем пропитывается только что выделанная яловая кожа, он придает ей эластичность и приятный темно-коричневый цвет, предохраняет кожу от намокания и пересыхания.

Кожаные сапоги в наших северных деревнях (в Архангельской области лаптей никогда не носили), где часто приходится ходить по болотам, всегда промазываются дегтем. Поэтому, когда не было резиновых сапог, наши охотники, лесорубы и смоловары, находясь в воде сутками, всегда сохраняли ноги сухими в кожаных сапогах. И в этом заслуга дегтя. А гужи, шлея и все сыромятные кожаные изделия? Чем смазываются, как не дегтем! Без него они твердели бы и ломались.

Разве вам не знаком приятный запах дегтя на лошадиной сбруе?

А чем же защищались крестьяне в поле от гнуса, комаров и мошек? Разве не дегтем, смазывая обнаженные части тела — руки, лицо?

Это только современному молодому человеку может быть такое слово известно лишь по поговорке «В бочку меда — ложку дегтя» или как медицинское средство, продаваемое в аптеках наряду с разными мазями. А крестьянину, проживавшему в деревне десятка два-три лет тому назад, известен и способ его добывания, без причинения вреда березовому лесу.

Деготь добывается из бересты. Снимается береста с дерева в летний период без повреждения коры, что не влечет за собой гибель дерева. Но наряду с этим для добывания дегтя совсем не обязательно сдирать бересту с растущей березы. Ведь в лесах много валежника березового. Сгнившая древесина березы, как труха, вываливается из бересты, и эта береста идет на добывание дегтя.

Делалось это раньше в крестьянских условиях так: в большую глиняную корчагу туго набивается береста, корчага в вертикальном положении с подведенным к горлу корчаги трубопроводом, тоже глиняным, зарывается в землю на склоне какой-нибудь горки, обрыва или берега, а под нее с боков и снизу подводится огонь из каменки, подобно каменке в черной бане. Когда корчага нагреется до соответствующей температуры, береста тлеет без горения пламени, и из нее по трубопроводу стекает деготь — темно-коричневая маслянистая жидкость приятного, не повторимого ничем запаха.

Я не знаю медицинского назначения дегтя, но помню, что крестьяне применяли его в смеси с животными жирами как мазь от разных недугов. Всякое ранение у коровы, лошади или овцы тотчас мазалось чистым дегтем.

Не знать, что деготь дает береза, — это значит половину не знать о березе, которую вы так хорошо расписали и даже соком напоили и стихи приводили, а о дегте ни слова!» \*

Не буду говорить про отличные березовые дрова и про все, что можно сделать из крепкой березовой древесины.

Нетрудно заметить, что все наши теперешние воспоминания о березе односторонни. Мы перечисляем все, что дает береза человеку, вернее сказать, все, что он у нее берет. Но ведь это еще не дружба. Это скорее эксплуатация.

И все-таки можно говорить, что береза и человек

находятся в дружбе. Чем же мы отплачиваем березе за ее щедрое добро? Одних картин, пусть даже и левитановских, стихов, и песен, и даже симфоний (Четвертая симфония Чайковского) было бы маловато. Но ведь если новосел, построивший дом, захочет посадить под окном деревья, первой на ум придет береза. На вятских землях я видел дорогу, проведенную в свое время Екатериной II, кажется, от Петербурга на Урал, обсаженную по сторонам березами. Они поредели теперь, а те, что уцелели, выглядят уродливо и кургузо, но все-таки был оказан почет, и они украшали землю по желанию человека.

Несколько раз мне приходилось видеть красивые церковки, деревянные, ярко разукрашенные, окруженные березовой рощей. Я видел кладбища, любовно засаженные березами, ветки которых никнут к скорбным часовенкам и крестам. Наконец, я видел киоски с ювелирными изделиями и сувенирами, в которых торгуют на доллары, которые называются «Березка».

Вот основные направления, по которым идет отдача от человека к березе. Судите сами, равноценна или неравноценна она.

Но как бы ни красива была одна береза или даже завещанная нам Лермонтовым «чета белеющих берез», совсем особенное дело — целый березовый лес. Он хорош во всякую пору. И в марте, когда березы освещает солнце, набирающее весеннюю силу, а их фонтанообразные купы покрыты инеем и разрисовывают синее небо в тончайшее розовое кружево. Хорош березовый лес и в те дни, про которые сказано: «то было раннею весной, в тени берез то было», то есть когда разворачиваются на березе изумрудные листочки.

В березовом лесу всегда как-то просторно и далеко видно. Белые березы, сначала редкие, отдельные друг от дружки, вдали становятся для глаза все более частыми и наконец сливаются в пестроту. В березовом лесу всегда светлее, чем в каком-либо другом, дубовом или еловом, как будто березы сами светятся тихим ровным светом и освещают пространство вокруг себя. Светлее в нем и в теплый полдень, когда неизвестно, что белее — сами березы или облака, проплывающие над ними, светлее и в лунную ночь, когда березы словно фосфоресцируют зеленоватым лунным огнем. В еловом лесу молиться, в березовом веселиться, — говорят в народе.

В березовом лесу всегда под ногами трава, если это

взрослый матерый лес, а не то, что может называться лишь березняком, то есть земля, заросшая частью молодых березок, которые еще не решили между собой, которым оставаться и жить, а которым уступить место под солнцем своим наиболее сильным или наиболее удачливым соседкам. Я не беру и сыроватые, болотистые, кочковатые места, на которых растут искривленные, уродливые, чахлые березки. Берез, говорят, шестьдесят видов, и растут они порозному и в разных местах. Берем настоящий взрослый березовый лес. На земле трава. Кое-где между березами оставлены для разнообразия и красоты небольшие темно-зеленые елочки.

Есть грибы, которые верны какой-нибудь одной породе или, скажем пошире, какому-нибудь одному характеру леса. Рыжики бесполезно было бы искать в осиннике или ивняке, так же как красноголовые осиновики в чистом еловом лесу.

Но многие виды грибов имеют, так сказать, более широкие взгляды. Их с одинаковым успехом можно собирать и в сосновых, и в еловых, и в дубово-широколиственных, и в березовых, и в осиновых, и даже в ольховых лесах. Ну, например, свинушка. Хотя и считается, что она предпочитает изреженные мелколиственные леса, особенно березовые, фактически она растет везде, сожительствует с самыми разными породами деревьев. Но и свинушка уступает сыроежкам, разновидности которых встречаются повсюду. Да что грибное плебейство — свинушки и сыроежки! Белый, настоящий белый грибной лев (если лев — царь зверей), грибной орел (если орел — царь птиц), короче говоря, царь грибов и тот бывает боровой, еловый, березовый и дубовый.

Конечно, проще всего написать: в березовых лесах обитают все три вида березовых грибов, то есть березовик обыкновенный, березовик розовеющий и березовик болотный.

Взрослый березовик кажется сильно сродни взрослому осиннику, хотя, если идти по точным признакам, может быть, не найдешь вовсе ничего общего. Цвет — другой. Осиновик красный, оранжевый, желто-бурый. Березовик серый, темно-серый, почти до черного, черно-бурый или, напротив, беловатый. Мясо осиновика на разрезе быстро чернеет, а у березовика остается белым. Ножка у березовика потоньше, послабее, чем у осиновика. Осиновик в молодости бывает члышем, с шаровидной шляпкой, плотно



облегающей ножку, березовик расправляет шляпку с первых же часов своего появления на белом свете. И получается — ничего похожего. И тем не менее, если идти не от точных научных признаков, а от впечатления, нет двух грибов более похожих друг на друга. То ли форма шляпки, то ли строение трубчатого слоя, то ли степень плотности, крепости или, наоборот, степень дряблости и слабости грибного мяса, то ли просто вкус, но они для меня похожи.

Березовик для меня какой-то средний гриб. Он ушел, конечно, далеко вперед от разных там моховиков, валуев и свинушек, но не достиг кондиции своего близкого сородича — белого гриба. Я бы сказал даже, что березовик — это выродившаяся ветвь белого, его ухудшенный вариант.

Три разновидности березовика немного отличаются друг от друга временем произрастания. Так, например, березовик обыкновенный растет с июня и весь сентябрь. Именно этот гриб появляется в самом начале лета в числе других ранних грибов, входящих в общую группу колосовиков.

Существует примета, что первая волна грибов высыпает в то время, когда начинает колоситься рожь. Отсюда и название — колосовики. Но колосовиками бывают и маслята, и осиновики, и белые, и вот, еще в большей степени, березовик обыкновенный.

Березовик болотный растет, напротив, только в сентябре. Это самый плохой березовик. Мякоть у него слабая, водянистая. Из него можно выжимать воду, как из набрякшей тряпки.

Березовик розовеющий появляется с августа и продолжает расти в сентябре. Поэтому выходит, если не вдаваться в тонкости, а иметь в виду просто березовик, что его можно собирать весь сезон, с июня и по октябрь.

Однажды, снявшись с летних квартир и переехав на жительство в Москву, через некоторое время я зачем-то снова решил съездить на два-три дня в деревню. Было это на исходе октября или, может быть, даже в ноябрьские праздники. Во всяком случае, уже выпадали сильные заморозки, до звонкого ледка в мелких лужицах.

В лесу в это время, с точки зрения грибника, пустынно. Все-таки я пошел прогуляться в лес, как я хожу в него во всякое время года и при всякой погоде. На этот раз мне хотелось посмотреть на дикую лесную яблоню, растущую на поляне среди берез. Летом и ранней осенью она вся была усыпана яблоками. Мелкие продолговатые, с характерным

бугорком около веточки, они были то, что называется в деревне «вырви глаз». Такие дикие яблони у нас зовут лешовками, предполагая, что леший, то есть тайный хозяин леса, выращивает эти яблоки для себя. Почему народ так плохо думает о садовнических, селекционных и, так сказать, мичуринских способностях лешего, я не знаю.

Теперь, глубокой осенью, на грани осени и зимы, я, подойдя к моей знакомой, увидел следующую картину. На дереве ни одного яблока. Все они лежали на земле ровным плотным кругом в два слоя. Схваченные заморозками, они были не так кислы, вяжущи и горьки, как летом, хотя и не штрифель, и не апорт.

Но я хотел сказать о другом. В этом пустынном осеннем лесу мне вдруг начали попадаться подберезовики, да не как-нибудь, не случайно, а то и дело, на каждом шагу. Я думал, что от заморозков они размякли и потемнели — ничуть не бывало. Свежие и крепкие, без единой червотчинки, даже если и очень взрослые, они рассыпались по березняку, нарушая все правила, все наши представления о принятых сроках их произрастания.

Я нарочно задержался на несколько дней и каждый день приносил из леса большую двухведерную корзину одних исключительно подберезовиков. Никакого другого гриба, даже опенка, мне в эти дни не попало.

По способу употребления березовики и осиновики совершенно одинаковы. Молоденькие хорошо мариновать или жарить, а взрослые идут исключительно в сушку, с дальним прицелом на грибную икру, о которой я уже говорил.

Именно в связи с березовым лесом нужно упомянуть о волнушке. Вероятно, можно встретить этот гриб и в другом лесу, но все же это по преимуществу березовый гриб, более того — украшение березового леса.

Отчего ее зовут «волнушка», кажется понятным. По ярко-розовому полю ее расходятся более бледные круги, как волны по воде от брошенного камня. Впрочем, можно считать, что по бледно-розовому фону расходятся темно-розовые волны. Но почему ее называют еще и «волжанка», я не знаю. Как бы то ни было, оба названия мне представляются красивыми и в этом смысле соответствующими виду гриба. Действительно, мало найдешь грибов, которые так же украшали бы наши леса.

Волнушки появляются летом, в июле (хотя настоящая их пора в августе и сентябре), когда трава в лесу сочна

и зелена. И вот среди зеленой травы, в окружении голубовато-белых берез вдруг начинают попадаться ярко-розовые грибы с нежной опушкой по краям.

Удовольствие от собирания волнушек не только в их красоте, но и в обилии, однако не в таком, чтобы пропадал интерес. Волнушки растут группами, стаями, причем где есть старые, там обязательно попадаются и молоденькие, этакие розовенькие аккуратные пяточкы.

Волнушка — гриб крепкий, не то что иная сыроежка, которая так и крошится по краям. Правда, с возрастом края волнушки совсем разгибаются и даже поднимаются кверху, как бы раскрываются, и тогда волнушка становится более хрупкой. Тогда она выцветает, ее полосы (волны) делаются едва заметными, густая опушка редет, становится клочковатой, и весь этот гриб делается похож на розоватый груздь. Бледно-розовые пластинки местами желтеют. В грибе чувствуется некоторая сухость по сравнению с налитой, ядерной крепостью в молодости.

На разрезе волнушка выделяет обильный белый сок, который ужасно как едок. Если дотронуться языком, то, пожалуй, будет не лучше, как если бы вы окупили кончик языка в крепкий перец. Поэтому волнушки сначала нужно держать в холодной воде, чтобы вся горечь из них ушла. Затем их обыкновенно солят, хотя можно и мариновать. И в том и в другом случае волнушка, к большому сожалению, теряет свою удивительную расцветку. Она становится просто серой. Я уверен, что если бы волнушка и на столе умела выглядеть так же, как в березом лесу, она украшала бы всякий стол и только за одно это ценилась бы, вероятно, больше других грибов, тем более что по вкусу и, так сказать, на зубу волнушка уступает только рыжику, но ничем не хуже груздя.

Существует разновидность волнушки — волнушка белая. Этот гриб в отличие от настоящей волнушки абсолютно невзрачен. Его поверхность грязноватого цвета, хотя в массе он дает ощущение некоторой розоватости. Кроме расцветки, этот гриб ничем не отличается от своей ближайшей родственницы, разве еще тем, что он более тонок, слаб и хрупок. Растет он тоже в березовых или смешанных с березой лесах. Однако предпочитает почему-то молодые леса, в то время как розовая волнушка водится и в молодых, и в старых.

О сыроежках можно бы рассказывать применительно к любому лесу: березовому, еловому, сосновому, осиново-

му — где только не растет сыроежка! Я говорил о масленке что он первым попадается на глаза и оттого кажется самым распространенным, что дети, начиная свои грибные биографии, в первую очередь нападают на маслята, что, когда попадаются в лесу другие грибы, к маслятам охладевает интерес... все это еще, может быть, в большой степени приложимо и к сыроежке.

Очень многих удивляет название — сыроежка. За что-нибудь оно грибу дано. Значит, что же, можно этот гриб есть сырым? Иногда мы пробовали в детстве, откусывали краешек, а потом долго не могли промыть во рту речной водой ужасную едкую горечь. Ничего себе — сыроежка!

И все-таки, мне кажется, есть основание называть ее именно так. Наверняка безвреден в сыром виде и масленок, да ведь его не будешь есть, потому что он водянистый, мягок на зубу и слишком уж сильно и резко пахнет сырым грибом. Не знаю, можно ли говорить об особенной вкусоности сырых грибов — дело любительское. Рыжики-то мы едим, и они вкусны. Но можно говорить и о том, что если бы существовала необходимость есть грибы в сыром виде, то наверняка сыроежку есть было бы наименее неприятно. Суховатое, довольно крепкое мясо, без какого-нибудь особенного запаха и привкуса, стопроцентная безвредность — все это, конечно, было бы преимуществом сыроежки перед другими грибами, если бы нужда заставила поглощать их сырым.

А как же быть с тем, что едкая жгучесть, от которой не скоро отполаскиваешь рот? Дело в том, что так же как существует шестьдесят разновидностей берез (бородавчатая, белая, плакучая, черная и т. д.), точно так же существует двадцать семь разновидностей сыроежек. Пожалуй, я назову их, добросовестно выписав из специальной книжки. Вот они, эти разновидности, в алфавитном порядке.

Сыроежка блестящая, болотная, буреющая, бордовая, буреющая оливковая, вильчатая, выцветающая, жгуче-едкая, желтая, желчная, зеленоватая, золотисто-желтая, сыроежка Келе, сыроежка красная, ломкая красная, ломкая фиолетовая, невзрачная, обманчивая, охристая, пищевая, родственная, розовая, серая, сереющая, синс-желтая, синяя, цельная.

Видите, какой набор: от родственной до обманчивой, от красной до невзрачной. Все цвета радуги, все оттенки, и все это рассыпано по лесу, как цветы, в изобилии, с преобладанием синего, фиолетового, лилового тонов.

Не такой уж я грибник, чтобы определить разновидность сыроежки, если бы мне ее показали в лесу. Для этого надо быть даже не специалистом-грибником, а специалистом-микологом, то есть вполне ученым человеком с узкой специальностью. Что касается меня, то я все сыроежки разделяю на две половины. К одной половине относятся едкие, к другой — не едкие. Этого вполне достаточно, чтобы одни сыроежки класть в воду и мочить, а другие сразу употреблять в дело.

С едким соком существует всего восемь разновидностей из двадцати семи, явное меньшинство. Но так как для рядового грибника очень часто все сыроежки — сыроежки, то, наткнувшись раз и два на жгуче-едкие, испортив ими кастрюлю хороших отварных грибов, он будет подозрительно относиться ко всем сыроежкам, считая их едкими или, попросту говоря, горькими.

Конечно, едкая сыроежка такой же прекрасный гриб, только ее нужно, как волнушку, мочить два дня, время от времени меняя воду. Тогда с нею можно делать все что угодно, но делают обыкновенно — солят. Если рыжики нужно солить без специй, без всяких там смородиновых, вишневых и хреновых листьев, без укропа и чеснока, то, очевидно, в сыроежки все нужно класть. У сыроежки нет своего специального вкуса, который жалко было бы отбивать вкусом чеснока и укропа. У сыроежки вкус грибов, но он нейтральный. Как раз очень кстати сообщить ему все, что вы считаете нужным и что любите, — чеснок так чеснок, укроп так укроп.

Неедкие сыроежки можно солить сразу, но лучше их есть просто вареными. Мы набаловались и сейчас спешим грибы чем-нибудь приправить, забывая, что грибы сами по себе обладают редчайшим, ни на что не похожим вкусом и сами являются прекрасной приправой. Сыроежка вполне годится и даже годится лучше всех других грибов, чтобы ее ели просто вареной.

\* Вы пишете, что сыроежки не жарят на сковороде: Это не верно! Вся моя семья и многие знакомые — большие любители жареных сыроежек. Попробуйте пожарить сыроежки в масле, желательнее, конечно, со сметаной. Вкус совершенно иной, чем у березовиков, подосиновиков и прочих трубчатых, но по-своему великолепный. Конечно, обратите внимание, что не надо жарить остро-едкие и жгуче-едкие сыроежки\*.

Убедившись, что все ваши сыроежки не едки, нужно их вымыть и сварить, как варят картошку в соленой воде, ни в коем случае не добавляя никаких приправ — ни лаврового листа, ни душистого перца горошком, ничего. Воду нужно посолить немного покрепче, чем если бы вы просто варили суп. Впрочем, соль такое дело, что ее всегда кладут по вкусу. Сваренные таким образом грибы можно есть горячими, можно остудить. И в тех и в других есть своя прелесть. В горячих сильнее грибной вкус и запах, холодными же сподручней закусывать.

До некоторых пор я не знал такого простого, а бы сказать, классического способа. Обыкновенно грибы отваривают для того, чтобы потом с ними что-нибудь делать, чаще всего портить, добавляя уксус, сахар, все такое прочее. А смысл, оказывается, состоит в том, чтобы есть гриб просто вареным в одной соленой воде.

Вероятно, так варить и есть можно многие грибы, но дело в том, что сыроежки рождены для этого. Есть у нас одна излюбленная сыроежка, а именно сыроежка синяя. Она растет исключительно в еловых лесах. Шляпка у нее мясистая и крепкая. Долгое время края шляпки загнуты вниз, отчего весь гриб создает впечатление крепыша. Только потом, уж к старости, шляпка распрямляется, а затем даже может сделаться слегка вогнутой. Но и в этом случае края у сыроежки остаются целыми, тупыми. Обычно она имеет синий, сине-лиловый, черно-лиловый цвет. Ножка у нее в молодости сплошная, плотная, срежешь — одно удовольствие, что достался такой чистый, пышущий здоровьем и свежестью гриб.

Одна из сыроежек, а именно серая, появляется уже в июне. Несколько разновидностей начинают расти уже в начале лета. Некоторые встречаются в октябре. Но настоящие сыроежечные месяцы — это август и сентябрь. Правда, в это время много и других грибов, но от имени всех двадцати семи разновидностей хочется сказать грибникам — не пренебрегайте сыроежками, особенно если еще не пробовали их отваренными в соленой воде.

Не знаю, сделает ли березе честь, но к березе приписывают и такой гриб, как валуй. Подобно сыроежке, его можно встретить в самых разных лесах, но в книжке одного специалиста я вычитал, что он водится все-таки «в различных лиственных и особенно в березовых и смешанных с березой лесах». Может, оно и так. Авторитет ученой книжки должен быть велик, но мне приходилось в чистой-

шем ельнике нападать на такой урожай валуев, что корзина не вмещала добычи, если даже я брал одни молоденькие.

У валуя странная судьба. В самых, так сказать, глубинах народа его не считают плохим грибом, а тем более поганкой, как это происходит с шампиньоном. Все знают, что валуй — съедобный гриб, и, однако же, почти никогда не берут. А между тем он растет в таком изобилии и так бросается в глаза, что как будто нарочно создан, чтобы было чего в лесу сшибать ногами. От пинков не достается ни одному грибу, включая и мухомор, так, как валую. Может быть, потому он вызывает такие чувства со стороны грибников, что издали его часто принимают за какой-нибудь другой гриб, и чаще всего за белый.

Итак, я не согласен с тем, что валуй произрастает в различных лиственных. У нас за селом на бугре есть крохотный лесок, состоящий только из одних елочек и сосенок. Там нет ни одной лиственной ветки. И тем не менее в этом хвойном лесочке каждый год в изобилии рождаются валуи. Весь лесок шагов двести в длину и столько же в ширину, то есть, казалось бы, негде повернуться. Тем не менее там можно собирать валуи ведрами, причем останется и на завтрашний день...

Как известно, в ранней молодости валуй представляет из себя шарик величиной... разной, конечно, величины, начиная от простого лесного ореха, проходя стадию грецкого ореха, до среднего яблока. Шарик покрыт обильной слизью. Когда его срежешь, то обнаружится, что есть и ножка, но она так плотно обхвачена краями шляпки, что как будто с ними срослась. Однако эту ножку можно выковырнуть кончиком ножа, и тогда шарик делается пустотелым, и там можно разглядеть чистые мелкие пластинки. А в самой глубине белое, желтоватое, впрочем, пятнышко, где выковырнутая ножка была прикреплена к шляпке. Эти ножки из грибов-шариков приходится выковыривать очень часто, ибо случается, что в самом молоденьком возрасте валуй уже заражен червоточинкой, которая в молодых грибах редко распространяется дальше ножки. Таким образом, выковырнув червивую ножку, вы кладете в корзину совершенно свежую шапочку — круглый шарик, теперь уж пустой внутри. Однако нужно иметь в виду, что ножка у валуя полая, полость же эта темнее, чем все остальное мясо гриба, она почти коричневая, и на первый взгляд естественную полость в ножке можно принять за червивость.

Приближаясь к размерам мелкого или среднего яблока, края шляпки отходят от ножки, начинают постепенно распрямляться, хотя попадаются и довольно крупные валуи, сохраняющие крепкую, упругую форму шара. К этому времени слизь пропадает, гриб становится сухим.

При дальнейшем росте шляпка распрямляется окончательно и может сделаться совсем плоской или даже слегка вогнутой. Речь идет о валуях с чайное блюдце. Естественно, что такая шляпка становится хрупкой, особенно по краям. На пластинках у крупных валуев обычно появляются бурые пятна, что производит неприятное впечатление загнивающего гриба. Однако пятна эти вовсе не гниль, а просто особенность валуя, вполне доброкачественная. Но даже зная это, класть такой гриб в корзину менее приятно, чем гриб помоложе, с чистыми желтовато-белыми пластинками.

Пренебрежение к валую может происходить из следующего обстоятельства. Грибник берет корзину и отправляется в лес за белыми, осиновыми, березовиками, лисичками, волнушками. Эти грибы он будет собирать полдня и принесет домой почти полную корзину и будет разбирать, который гриб куда, и все это для грибника огромное удовольствие. Но вот, зайдя в лес, он нападает на россыпи валуев. Можно за десять минут нарезать полную корзину, и тогда нужно идти домой. А как же белые, подосиновики и волнушки? Неужели их оставлять в лесу? Перед грибником выбор: либо оставлять в лесу валуи, либо все остальные грибы. Грибник обыкновенно отдает предпочтение всем остальным.

Можно приспособиться к этой психологии и делать специальные вылазки в лес только за валуями. В это время не нужно думать о других грибах, их можно насобирать утром, а теперь задача одна — дойти до леса и нарезать великолепных валуев. Эти вылазки обыкновенно недолги, потому что валуи растут большими стаями, а точнее сказать, россыпями.

Признаюсь, что долгое время я относился к валуям с пренебрежением. Но однажды в одном московском доме, где любят вкусно поесть, подали на стол грибы. Все они были ровные по величине, и не было ни одного крупнее лесного ореха, и были они маринованные, вкусные, пользовались самым большим успехом за столом, и были это обыкновенные валуичики.



Но и крупные валуи хороши. Нужно только правильно их приготовить, что вовсе не сложно. Два или три дня их мочат в холодной воде, меняя ее, по крайней мере, два раза в день, а затем солят с разными листьями и специями. Через два месяца они будут готовы. И право, не знаю, отличите ли вы их от других соленых грибов, в том числе от прославленного груздя.

\* Существенные дополнения читателей.

«...Начнем с груздей, которые вы почему-то обошли молчанием. В наших лесах их четыре вида: настоящий, желтый, сухой и черный. Настоящий и желтый похожи на крупные волнушки, только белые или желтые. Черный груздь, или чернушка, — самый распространенный груздь под Москвой. Бывает, осенью пойдешь в крупный старый березняк, найдешь один черный груздь, становишься на четвереньки, и на ощупь одного за другим маленьких чернушек полкорзины сразу можно наковырять. Мы их всегда сырыми солили. Через 4—6 недель становятся вкусными. Правда, для них обязательно и укроп, и черной смородины лист, и чеснок. А прошлый год попробовали сперва отварить в соленой воде, а потом посолили. Почему-то оказались вкуснее.

Вообще же, хотя официально считается лучшим настоящий груздь, по-моему, лучше всех, уступающий только рыжикам, сухой груздь, или белянка. В Подмосковье он растет в березовых лесах, дубняке и смешанном лесу с густым подлеском. Старый гриб приподнимает толстый слой хвои, тогда надо кругом под хвоей искать маленьких беленьких, с синеватым отливом пластинок. Этим он и отличается от скрипиц. У скрипицы низ желтоватый. Не говорю уж, что у скрипицы горькое молоко, а у сухого груздя бесцветный, совсем не едкий сок. Вот Васильков относит сухой груздь (подгруздок белый) ко 2-й категории, а груздь желтый — к 1-й. Ясно, несправедливо. Сухой груздь — это гриб, безусловно, первого сорта. Лучше всего его солить в сыром виде. Исключительно вкусен он отварной в соленой воде, горячий со сметаной. Жарить его тоже хорошо, но не один, а с другими грибами.

Есть еще и другие грузди: осиновый, черный подгруздок. Правда, это, пожалуй, самый червивый гриб. Уж кажется, совсем молодой, размером еще с пятачок, а срежешь — червивый».

«Как же так получилось, что про чернушку ты ни словом не обмолвился? А ведь она при оценке наших настоящих грибников стоит на 3-м месте после белого и груздя. Лет пять или больше на книжном рынке промелькнула небольшая брошюра Василия Титова. Там он описывал про подмосковных дачников. Сейчас не помню, как называлась эта интересная книжечка, ее у меня зачитали безвозвратно. В ней Титов писал о «дне гриба». Такой день справляли дачники 1 сентября. Вот там о чернушке описано в самых ярких красках. Он ее называл черным груздем.

Чернушка по своим вкусовым качествам, пожалуй, займет 2-е место после белого. Когда лето грибное, то ее можно встретить и в начале лета. Но чаще чернушкин сезон — в августе, сентябре. Из-под опавших колючек поднимаются бугорочки. Собиешь этот панцирь, а под ним в молодом возрасте еще беленькое, чуть-чуть в середине появился коричневый налет, по донышку словно лаком мазнули. Края завернутые, крепкие. В более зрелом возрасте края несколько распрямляются, но не очень. Это бывает у крупных чернушек. От чернушки, как только возьмешь ее в руки, сразу почувствуешь специфический запах, который и после варки сохраняется. Это привлекательный очень вкусный дух. По-видимому, через этот запах на нее и нападают вредители. Чернушка еще в крепком состоянии часто попадает с червяком, но с наступлением холодов враги от нее отступаются, тогда чернушка держится долго.

Чтобы закончить дополнение читателей о груздях, сообщу, что упомянутая в читательском письме действительно замечательная книга Василия Титова называется «Когда опадают листья». Издана она в 1963 году издательством «Московский рабочий».

Стоит вспомнить также, что в записной книжке Чехова есть многозначительная запись «попробовать грузди в сметане».\*

К березе или, по крайней мере, к лиственным и смешанным лесам нужно приписать и лисичку. Этот гриб уже тем хорош, что появляется рано. В начале июня можно собирать в лесу эти яркие, морковного цвета грибы. У меня бывали случаи, что я в начале лета не находил в лесу никаких грибов, даже маслят или сыроежек, но счастливо набредал на два-три гнезда лисичек и все-таки возвращался не пустой.

Лисички — прекрасные грибы. Их хорошо есть в жареном или маринованном виде. На зубу они немного резиноватые, но и в этом есть своеобразная прелесть.

А что за радость собирать их, когда нападешь на высыпку! Лисички именно высыпают среди зеленого мха, и чем выше мох, тем длиннее ножка лисички.

Ходишь по нашему лесу, стараешься напасть на стаю лисичек, нападешь на одну или другую, наберешь полкорзины. А вот однажды мы ехали в казенном автомобиле по Рязанской области, недалеко от Касимова. Слева от дороги тянулся березовый лесок. Он был довольно редок и проглядывался, весь он был сплошь усеян лисичками. Автомобиль шел вдоль леса километр за километром, а лисичек было все столько же, как будто мы, не двигаясь, смотрели на одно и то же место. Я думаю, что там можно было насобирать несколько тонн лисичек.

Помню, в Болгарии наткнулись мы в горах на избушку. И какая-то труба, и дымок, и дрова, и вообще какая-то кропотливая деятельность. Оказывается, заготавливают грибы. Зачем? На экспорт. Сколько же платят за границей за болгарские грибы? Один доллар за килограмм.

На страницах «Правды» была напечатана статья, в которой говорилось о наших лесных богатствах. Там приводились цифры. Оказывается, в лесах только Российской Федерации вырастают следующие богатства: кедровых орехов — полтора миллиона тонн, обыкновенных лесных орехов — семь тысяч тонн, клюквы — пятьсот тысяч тонн, черники и брусники свыше восьмисот тысяч тонн, грибов — до пяти миллионов тонн.

Тут же в статье было сказано, что добывают в лесах Российской Федерации за год и грибов, и плодов, и ягод тридцать шесть тысяч тонн. Если взять карандаш и прикинуть, получается менее чем полпроцента, то есть одна двухсотая часть.

Но слишком далеко мы зашли от простой лисички. Этот гриб удивителен тем, что, вероятно, он один из всего грибного разнообразия никогда не бывает червивым.

Однажды кто-то меня натолкнул на мысль, что червяки не заводятся в ядовитых грибах. Я даже написал по этому поводу глубокомысленное четверостишие. Вот оно!

Сомнений червь в душе моей гнездится,  
Но не стыжусь я этого никак.  
Червяк всегда в хороший гриб стремится,  
Поганый гриб не трогает червяк.

Четверостишье я опубликовал, но, по совести сказать, не проверил в лесу истинности утверждения, что в ядовитых грибах не заводятся червяки. Конечно, в сморчках и в строчках, относящихся к подозрительным, червяков и правда никогда не бывает. Но ведь эти грибы растут ранней весной, едва оттаает земля. Тогда еще нет в лесу никаких мух, неоткуда взяться и червякам.

Почему червяки избегают лисичек, я не знаю, да вряд ли знают об этом и ученые люди — микологи.

\* Впрочем, читатель из города Волжского прислал спогшибательное сообщение: «Этим летом я летел в деревню на крыльях, предвкушая третью охоту. Но меня ждало разочарование, за весь отпуск я не нашел ни одного белого гриба (июль был жаркий, дождя не было, в отпуск я приехал на 15 дней раньше). Но с пустыми руками я не возвращался. Я находил 3—4 поселения лисичек, и сетка была не пустая. Ведра с собой я не брал по вполне понятным причинам — сетку легче спрятать в карман. Так вот, большинство лисичек были червивыми. Причина? Не знаю. Возможно, потому, что в этой посадке они были единственными грибами. Как вы на это смотрите?»\*

## VI

У Васнецова на картине «Царевна на сером волке» изображен еловый лес. Значит, когда художнику понадобилось изобразить лес наиболее глухой, наиболее дремучий, наиболее мрачный, сказочный, колдовской, он обратился не к просветленному березовому лесу, не к хлопотливому осиновому, не к бору свечечной прямизны, не к дубраве, похожей на летнее облачное небо (только зеленые облака), но обратился к еловому лесу, и выбор его был верен.

Около нашего села есть не очень большой, правда, участок классического елового леса, так что, рассказывая, я буду держать его перед глазами.

Этот лес имеет у нас два названия. Его называют или «Барки», или «Посадка». Оба названия справедливы. Дело в том, что его посадил в свое время барин, и были это тогда молоденькие елочки, чуть повыше травы, убегающие вдаль рядами, параллельными друг другу рядами — посадка.

Именно в этой посадке моя мать насобирала столько

рыжиков, что отцу пришлось запрягать лошадь, ставить на телегу коробицу и ехать на выручку. Об этом я рассказывал в одной из предыдущих главок.

Я, конечно, не помню этого леса молодым, в пору островекого частога ельничка, когда между деревьями, а тем более между рядами деревьев росла еще трава. Постепенно ветви распространились, перепутались, образовали сплошную тень, насорили на землю своих иголок. С возрастом лес редел или, может быть, прорежался с помощью топора, чтобы деревьям не было тесно. Ели росли все выше, ветви их распространялись все шире, и вот теперь получился тот еловый лес, о котором я говорю.

В этом лесу нет никакого подлеска, ни даже травы. Коричневая темная подстилка из игл хоть и очень толста, но все же угадывается сквозь нее, что вся земля поверху прошита толстыми узловатыми корневищами. Темные коричневые стволы окружают вас в этом лесу. Они убегают вдоль во все стороны, теряясь в сумраке, смешанном из коричневого с темно-зеленым. У всех стволов снизу нет ни одной ветки, а потом выше сразу начинается широкая крона, а так как деревья все одного возраста, то и кроны у них начинаются на одинаковой высоте. Неба в этом лесу нет. Его не видно. Потому что одна ель успевает встретиться с ветвями другой ели, и они загораживают собой белый свет.

С зеленой, залитой солнцем луговины в этот лес заходишь, как с улицы в полутемную комнату. Некоторое время должны привыкать глаза, и только потом уж начнешь различать на земле каждую еловую шишку, каждый гриб. Лишь на закате лучи солнца, скользя над землей, проникают, подобно красному прожектору, глубоко в лес. В это время стволы с одного бока алые, с другого — черные. Каждый бугорок, каждый гриб отбрасывает длинные черные тени. Если же посмотреть из глубины леса в сторону заката, увидишь красную полосу неба, расчерченную черными стволами деревьев. Все как-то причудливо, нереально, фантастично в этот час в нашем еловом лесу. Если бы это было рассветное солнце, вероятно, небо слепило бы и вокруг каждого ствола сиял бы еще и ореол, но теперь, на закате, все спокойно, безмолвно, мертвенно.

Совпадает почему-то, что как только зайдешь и несколько углубишься в этот лес, сразу зловецким голосом закричит какая-то птица. В устоявшейся тишине и настороженности даже вздрогнешь от ее крика. Последние годы стало му-

сорно в этом лесу. Никто не убирает нападавших с елей отживших сучьев. Но я еще помню, что в нем было чисто, словно в хорошо подметенной избе, если считать полом толстую подстилку из темных еловых игл. Эта подстилка немного пружинит при ходьбе, по ней скользит нога, на ней отчетливо виден каждый, даже самый маленький, гриб, а тем более выделяется взрослый красавец из красавцев — белый.

Эти заметки — не стихи, не поэма, не даже рассказ. Здесь надо говорить о грибах так: «Белый гриб — общеизвестный вид дикорастущих шляпочных грибов, плодовые тела которых представляют ценнейший продукт питания, используемый во многих странах мира, и особенно в Советском Союзе», как и пишет о них ученый человек Б. П. Васильков в своей книге «Белый гриб. Опыт монографии одного вида». Или вот еще категоричнее: «Белый гриб — самый ценный из всех съедобных грибов».

В другой книге читаем про белый гриб почти то же самое: «На взгляд настоящего грибника мы вели себя как невежды, потому что, не дрогнув, обходили разные сыроежки: красные, как ягоды брусники, желтые, белые, голубоватые, дымчатые и даже зеленые, а также лисички, волнушки, скрипицы, дарьины губы, грузди, не говоря уж о валуях».

Рыжики и маслята (по сути, одни из лучших грибов) невежественно и вульгарно пренебрегались нами. Березовики и подосиновики не достаивались попасть в число избранных.

Мы охотились исключительно за белыми, да и у тех отрезали одни шляпки. При этом жалко было не столько бросать плотный, тяжелый, как бы из свиного сала, корень, сколько разрушать красоту одного из шедевров природы.

Здесь как и во всем. Пока смотришь отдельно на рыжик, кажется, не может быть гриба красивее его. Эта ядреность, эти темные кольцевые полосы по огненно-рыжему фону, эта хрустальная лужица в середине гриба. А попадется молоденький подосиновичек, разворошивший своей головенкой пепельную плотную листву, — и померкнут все рыжики. Белый корешок, полненький, словно бутуз-мальчонка, и шапочка, сделанная из красного бархата.

Смотришь на все эти грибы и думаешь: чего это зовут белый гриб «царем грибов»? Окраска простая, даже скромная, нет никакого вида. Разве что за вкус, за качество. Но когда еще издали увидишь его — забудешь все. Все будет,

как если бы вместо разных духовых инструментов или гармоний заиграла вдруг скрипка. И просто, и ни с чем не сравнимо! Да, это царь грибов. Это маленький шедевр природы!»

Немного совестно выписывать столь длинную цитату из книги, написанной тобой же, но, по-моему, лучше честно повторить сказанное ранее, чем стараться сказать то же самое, только другими словами. Насчет шедевров, может быть, не совсем так, потому что у природы не бывает более талантливых и менее талантливых произведений. Все, что природа создала, независимо от того, слон это или муравей, вполне совершенно в своем роде. Конечно, с точки зрения пчеловода, муравей бездарен, но, с точки зрения производства муравьиного спирта, бездарна, напротив, пчела, муравьишка же, самый плохонький, справляется с этой задачей идеально, так что я серьезно говорю, что нет у природы более талантливых и менее талантливых произведений. Делить на те и другие их можно только с нашей, человеческой точки зрения. Мы считаем, что береза лучше осины, морковь лучше горького лопуха или крапивы, подошвовик лучше мухомора. Хотя эта точка зрения не выдерживает никакой критики.

Конечно, морковь кладут в суп или едят так, ибо в ней много витамина А. Но ценнейшее репейное масло получают все-таки из растения, называемого нами горьким лопухом. Но хватит, хватит. Остановимся на том, что, с нашей точки зрения, существуют более удачные и менее удачные творения природы. Может быть, комар весьма совершенное существо, но для меня он никогда не станет ценнее, благороднее, талантливее пчелы.

Итак, с нашей человеческой точки зрения, можно говорить о грибах-талантах, о грибах-шедеврах и, напротив, о грибах — посредственностях и даже бездарностях. Все это я веду к тому, что в лесу у каждого гриба-таланта, гриба-шедевра есть подражатели, имитаторы, приспособленцы, которые так и называются — ложными. Ложный опенок, ложная лисичка, ложный шампиньон, ложный валуй... Впрочем, валуй и сам, хотя и не считается ложным белым, обладает чудовищной способностью казаться издали превосходным белым грибом. В связи с этим мне и хотелось бы сказать подмеченные мною замечательные особенности благородного «царя грибов».

Да, сколько раз я бросался в сторону сквозь кусты, увидев буроватую округлую шляпку белого гриба. Еще

в трех шагах иногда сомневаешься: не может быть, чтобы валуй был так похож, так подделал себя под белый гриб, и, только наклонившись и взяв уже в руки, убеждаешься, что в руках подделка, фальшивка: вместо глубокого таинственного мерцания бриллианта — дешевенькое зеркальное блесенье стеклышка, вместо ровного горения золота — досадное ощущение позолоты, вместо солидной, уверенной тяжести серебряного кубка — бездарная легкость алюминия... С досады и огорчения отбросишь подальше сорванный валуй и пойдешь, размышляя о том, что и в жизни, и в искусстве, например, очень часто бездарность подделывается под талант, и еще более ловко, так что не отбрасываешь в сторону, а принимаешь за чистую монету.

Но я, много раз принимавший издали валуи за белые грибы, хочу сказать, что ни разу еще, увидев настоящий белый гриб, я не принял его за валуй. У Н. Глазкова есть четверостишие о необратимости сравнения. Там говорится о том, что свистящий на плите чайник напоминает сирену, но настоящая сирена не напоминает свистящий чайник. Так и здесь.

Чем еще бесценен белый гриб для охотника-грибника? Тем, что каждый раз, когда находишь его, сердце екает дважды. Первый раз оно екает, когда увидишь прекрасный белый гриб и уже понимаешь, что теперь он никуда не денется. Теперь можно обойти его вокруг, полюбоваться им с разных сторон, поглядеть, как он, так сказать, вписывается в лесное окружение, как он сочетается с той еловой веточкой, прикрывающей его от глаз прохожего. С тем узловатым еловым корнем, у которого он растет, с той муравьиной тропой, по которой ползают взад и вперед, как по бойкой автостраде, лесные труженики — муравьи. Да мало ли с чем может сочетаться, образуя микроландшафт, микропейзаж, красавец белый гриб. И былинка, и клочок мха, и слипшиеся иглы подстилки, развороченные тем же грибом во время роста, и другие грибы-соседи: мухомор, мокруха, валуй.

Любуешься своей находкой, а на душе беспокойно. Красив-то он красив, но ведь может быть съеден червяком. Срежешь, а внутри труха или если не труха, то все в бесчисленных дырочках и крохотные беленькие червячки. Будешь в последней надежде отрезать от корня белые колесики: может, ближе к шляпке нет червяков. Вот уже и последний срез, вплотную к шляпке, но и тут дырочки червоточины. Остается разрезать саму шляпку. Разрезаешь



и бросаешь на землю. Добыча, оказывается, не твоя. Еще раньше тебя нашли тот гриб противные лесные мухи и сделали его своей добычей, отложили яички, из которых и развелись теперь еще более противные лесные черви.

Но зато когда срежешь гриб у самой земли и увидишь, что мясо корня так же бело и чисто, как сметана или свиное сало, тогда второй раз екнет сердце. И получается, что один гриб ты нашел как бы дважды, испытал от него двойную охотничью радость.

\* Во всех популярных книгах и статьях о грибах проклинаются грибники-варвары, которые не срезают грибы, а срывают их целиком, с корнем. Мне приходилось прислушиваться к тому, что говорят умные люди, и мотать на ус, чтобы не слыть варваром, хотя я-то прекрасно знал, что одно удовольствие — срезать белый гриб, а совсем другое удовольствие — сначала слегка раскатать его в земле, пока, хрустнув, он не отделится от грибницы, а потом осторожно извлечь из глубокого земляного гнезда. В это время наглядно видишь, что если бы срезал гриб — значит, добрую половину его (по массе) оставил бы истлевать в земле.

Но вот наш крупный миколог, ученый, посвятивший всю жизнь грибам, человек, написавший о белом грибе книгу, Б. П. Васильков, утверждает, что срезать белый гриб вовсе не обязательно и что если срывать его, то грибница все равно не страдает. Обрываются какие-то там тяжики, соединяющие ножку гриба с грибницей. Василькову следует верить и, значит, не следует ругать грибников, которые сначала срывают белый гриб, а потом уж очищают его ножом.

Разумеется, есть грибы, которые срезать даже приятнее, чем срывать. Например, рыжики, маслята, опенки, да и сами грузди. Срезая же белый гриб, теряешь половину удовольствия\*.

Когда срываешь масленок, или сыроежку, или даже рыжик, не приходит в голову понюхать его, втянуть в себя острый и тонкий аромат гриба, бог весть где найденный им в земле и собранный на хранение. И зря, что не приходит в голову, ибо очень душист масленок, прекрасно пахнет рыжик, благоухает опенок, поражает запахом шампиньон. Но все эти грибы растут стаями, вереницами, и было бы

смешно нюхать каждый гриб. Разве что понюхаешь, даже и разломив, самый первый, найденный в этом году.

Напротив, найдя белый гриб и бережно сорвав его и держа в ладонях это крепкое, прохладное, тяжелое, бархатистое образование, первым делом хочется поднести к лицу и медленно, прочувствованно втянуть воздух, чтобы к свежему ощущению утреннего леса присоединилось еще и это новое ощущение — запах гриба. Но тут-то и ждет разочарование. Дело в том, что белый гриб в отличие от своих менее благородных сородичей, разных там маслят, совершенно лишен какого бы то ни было аромата и запаха. Свежий белый гриб не пахнет ничем. Разве что отдает немного прохладой и свежестью.

Тем удивительнее, что, будучи высушенным, белый гриб приобретает вдруг крепчайший, самый что ни на есть грибной аромат, тот самый аромат, который мы и называем грибным и который в других грибах присутствует уж как бы в разбавленном виде.

Запах сушеных белых грибов не сравним ни с чем: ни с запахом других грибов, ни вообще с какими бы то ни было запахами. Естественно поэтому, что все блюда, в которых участвуют сушеные белые грибы, необыкновенно ароматичны и вкусны. Еще естественней, значит, что любое другое приготовление белых грибов, помимо сушки, представляется мне порчей бесценного уникального продукта, дарованного землей.

Нет слов, жаркое из белого гриба очень вкусно. Но, говоря правду и если дегустировать, как дегустируют на конкурсах вина, не зная сорта, что называется «втемную», то окажется, что в жареном виде белые грибы ничуть не вкуснее маслят, подосиновиков, подберезовиков, лисичек, не говоря уж о шампиньонах.

Конечно, маринованные белые грибы очень хороши и красивы. Их бурые шляпки делаются в маринаде светлее, до нежно-желтых, ножки остаются белыми. И вот они выглядят в банке и на тарелке как будто сейчас из леса. Они выглядят в банке гораздо аппетитнее маринованных же маслят, лисичек, подберезовиков. Но, положа руку на сердце, я не могу сказать, что у маринованного белого гриба был бы какой-нибудь особенный вкус по сравнению с другими грибами, который выделял бы его из ряда всех остальных грибов, а тем более ставил выше.

Что касается соления, то белые грибы практически не солят.

Это утверждение, конечно, условно. Каждый гриб в его употреблении может стать универсальным. Можно жарить сыроежки, рыжики, грузди и, наоборот, солить маслята и подосиновики. Можно сушить шампиньоны, дождевики, лисички и мариновать строчки и сморчки. Короче говоря, можно с каждым съедобным грибом производить все четыре операции: жарение, сушка, соление и маринование.

В Болгарии я пробовал варенье из моркови и зеленых помидоров. Оказывается, возможно и это. Но все же каждый согласится, что лучше морковь положить в суп, а варенье сварить из земляники.

Так и здесь. Можно, конечно, груздь и белый поменять местами, то есть груздь высушить, а белый гриб засолить. Однако речь идет о наилучшем, о наиболее целесообразном, как говорится, об оптимальном использовании того или иного вида гриба.

И вот остается — сушка. Как известно, белые грибы сушат по-особенному. Не на железных листах, не на противнях, но нанизанными на нитку. Раньше их нанизывали на тонкие лучинки, а лучинки эти нижними порожними концами опускали в горшок, наподобие того как цветы ставят в вазу. Таким образом, из горшка торчали пучком лучинки с нанизанными грибами. Грибы, конечно, цельные, нерезанные, подобранные один к одному. Все это приспособление ставили в печь, в которой уже не очень жарко, но и не холодно. Хозяйка знала, когда поставить.

Сушеные белые грибы и продают нитками или связками. На каждом рынке можно увидеть торговки с сушеными белыми грибами. Если перевести на вес, то сушеные белые грибы окажутся во много раз дороже и мяса, и рыбы, и самых редких фруктов, и меда, и орехов, и всего съестного, пожалуй, даже дороже черной икры, несмотря на то что она теперь у нас неестественно дорога.

Да и стоит. Не только потому, что бульон из белых грибов в семь не то в девять раз калорийнее мясного, не потому, что, говорят, систематическое употребление белых грибов служит профилактикой от ужасной болезни — рака, но и просто потому, что сначала сушеные, а потом соответствующим образом вареные белые грибы вкуснее всего на свете. То есть не то что сами грибы, но тот вкус, который они придают всякому из них приготавливаемому блюду. Чаще всего блюдом является суп из сушеных белых грибов.

Про все другие грибы можно сказать, что их любят собирать молодыми. Молодой масленок, подосиновик, подберезовик, рыжик с трехкопеечную монету, молоденький валуек... И, только найдя большой белый гриб, радуются больше, чем когда найдут молоденький и маленький, лишь бы этот гриб не был червивым. В самом деле, не так уж много радости, когда попадается пусть крепенький белый грибочек, величиной ну хоть с грецкий орех. Приятно, конечно, но даже как-то жалко срывать, словно оставить бы его, чтобы подрос, раздался и ввысь и вширь, а главное, чтобы налился весом, отяжелел, чтобы рука, держа его, чувствовала уверенную драгоценную тяжесть. Белый гриб с чайную чашку радует сильнее. Кладешь в корзину и видишь, что положил — нечто. Если же с чайное блюдце, но с округлой шляпкой и с ножкой, которую теперь, в свою очередь, можно сравнить с чайной чашкой, перевернутой кверху дном, и если не червив, и если не успела еще пожелтеть исподняя сторона шляпки, но все еще она бела и плотна, то вот и настоящая удача, настоящая радость грибника.

С возрастом нижняя трубчатая часть шляпки действительно желтеет, не только желтеет, но как бы редееет, вместо прежней, ровной, несколько матовой, плотной белизны становится рыхлой. Начинают различаться трубочка от трубочки. Гриб снизу делается ноздреватым.

Ножка гриба с возрастом тоже меняет вид. Из похожей на перевернутую чайную чашку она делается похожей на стакан. Потом шляпка перерастает ее, и она уже кажется довольно тонкой, вернее, не очень толстой по сравнению со шляпкой. Но, конечно, никогда, ни в каком возрасте белый гриб нельзя назвать тонконогим.

Вообще же что касается размеров белого гриба, то автор монографии Б. П. Васильков пишет так: «Чаще крупные экземпляры белого гриба произрастают в средней, умеренной полосе СССР при средних условиях увлажнения почвы и воздуха. Самый крупный экземпляр его, который пришлось мне вообще видеть, был собран в начале сентября в Ленинградской области в смешанном сосново-елово-березовом лесу. Он имел шляпку  $21 \times 27$  в диаметре и 9 см толщины, ножку 14 см длины и 9 см толщины, вес гриба был 1,5 кг, при этом он выглядел еще молодым, совершенно свежим и крепким, с клубневидной, невытянувшейся ножкой и, вероятно, мог бы расти еще. По устному сообщению Г. Р. Ибрагимова, однажды им был встречен на Кавказе, на

высоте 1600 м над уровнем моря, в грабовом лесу экземпляр белого гриба с диаметром шляпки 33 см и диаметром ножки 14 см. По сообщению «Юманите» от 24.X.1961 года, во Франции найден белый гриб весом в 3 кг 200 г, со шляпкой, имевшей в окружности 105 см, следовательно, с диаметром шляпки 33,4 см. Но рекордный по размерам белый гриб был найден в Белорусской ССР, под Минском, с диаметром шляпки в 58 и ножки в 15 см, о чем было передано по московскому радио 10.IX.1961 года. Надо, однако, заметить, что плодовые тела таких размеров встречаются исключительно редко».

Вот видите, даже пишет «Юманите» и сообщает московское радио. Вот что такое белый гриб, какое событие, когда попадаются необыкновенные экземпляры. Но Б. П. Васильков не прав, говоря, что белорусский гриб — рекордный. Странно, что ученый человек, специально занимающийся изучением белого гриба, прозвал сообщение газеты «Советская Россия». Я теперь не помню, в котором году это было, но сдается, что тоже не в шестьдесят ли первом, то есть одновременно с французской и белорусской находками. «Советская Россия» извещала, что под Владимиром, в нескольких километрах от города, а именно в загородном парке, в сосновом лесу, мальчиком был найден белый гриб следующих размеров: диаметр шляпки — 46 см, высота гриба — 40 см, диаметр ножки — 26 см. Весил гриб более шести килограммов. Он был крепок, свеж и, может быть, действительно мог бы расти еще. Вот это действительно рекорд! Конечно, от нас, владимирцев, не зависело, чтобы именно под Владимиром вырос такой гриб, но все же чем-то приятно, что вырос именно у нас, а не под Рязанью или Смоленском.

\* Вот что пишут читатели об урожае белых грибов в других местах.

«Выехали мы из Братска на катере и через три с половиной часа были на месте, в Большеокинском заливе Братского моря. Когда мы сошли на берег (было нас человек 10—12) и пошли по береговой линии, то я был поражен. Примерно на километровой полосе, шириной до 300 м, были сплошным покровом одни белые грибы разных размеров, с редкими вкраплениями рыжиков. Грибов было невероятно много (слово «невероятно» в письме подчеркнуто).

Мы все, кто приехал, набрали столько, сколько было тары. Я, например, набрал шесть ведер. Надо добавить, что брали мы только небольшие грибы, со шляпкой 3—5 см и с таким же корнем. Основная масса грибов, более крупных, нами вообще не бралась. Надо также сказать, что очень большое количество грибов было тронутو червем.

Мой тесть, который тоже был со мной и который прожил всю жизнь под Горьким (г. Богородск), был так удивлен этим обилием белых грибов, что долгое время никак не мог прийти в себя и все время говорил, что если приеду домой и буду рассказывать, то никто не поверит. Так оно и было. Я в этом году заезжал к нему, и он подтвердил мне это: никто не верит его рассказам.

В общей сложности на этом месте побывали за грибами человек не менее ста. Каждый из них увез с собой не менее 5 ведер. И сколько осталось нетронутых из-за размера и червивости?!

Удивительно то, что грибы, можно сказать, росли на глазах. Если присядешь и внимательно будешь наблюдать минут 5—10 за одним местом, то можно увидеть, как начинают шевелиться иголки и листья. Подойдешь к этому бугорку, раскроешь иголки и обязательно увидишь рождающийся гриб со шляпкой в 2—3 см. Было это обилие грибов в 1966 году».

«Есть такое понятие — «ленточный бор». Между Иртышом и Обью прямо поперек их совместному направлению тянутся полосы хорошего соснового бора. Таких полос-лент 4 или 5. Это — реликты древних (времен мамонтов) рек. Тогда реки текли с юго-запада на северо-восток, а потом на планете многое перестроилось, и, в частности, иначе потекли современные Иртыш — Обь. Так вот, на лентах речных песков-дюн и выросли эти боры. В один из таких боров, под самый город Камень-на-Оби, я и поехал в субботу. По спидометру это 190 км (от Новосибирска). Бор чудный, моховой. Подлесок сосновый (карандашник), увалы, бугры затянуты белым мхом. Во-впадинах (заросшие древние озера) смешанный лес.

Лес тихий, торжественный, чистый, почти сказочный. Ничего подобного в жизни я раньше не видел ни западнее Урала, ни на Урале, ни восточнее, ни южнее его. Эта необычность создается сочетанием могучего соснового бора, подлеска, ниже роста человека, серебристо-белых моховых бугров (без подлеска), торжественной тишины и каких-то

фантастических полчищ молчаливых неподвижных ратей грибов, по преимуществу тоже необычных, могучих.

Количество их невероятно велико. На охватываемом взором пространстве 100—200 м в глубину бора вы видите не десятки, а сотни грибов. Огромные яркие мухоморы. Полосы, цепочки, пятна и кружевные дорожки моховиков, маслят. Яркие гнезда рыжиков. Бугры вздыбленной хвои с белоснежными закраинами выглядывающих из-под нее груздей. Огромные, с большую опрокинутую миску, купола подберезовиков и красноватые купола подосиновиков. Как-то не ведомые мне громадные грибы, образующие целые полосы. Но самое-то главное, что вызывает изумление, даже потрясает вначале, — это вид белых грибов среди этих грибных разноплеменных полчищ. Они стоят в одиночку и большими группами, по 10—20 штук и более, темно-коричневые и светлые, с мощными распрявленными куполами, окруженные серебристым мхом и бурой хвоей со стежками белого мха.

Вокруг этих великанов из-под хвои, мха, вздыбливая их и приподнимая случайные сосновые сучья, проглядывает «молодежь», крепкие литые «кулачки».

Потом я узнал, что все виденное мною не какая-то грибная вспышка. Это обычная, во всяком случае, частая картина в этом бору, в этом его районе (про другие районы огромного ленточного бора не могу определенно сказать это же самое).

Один из шоферов нашего института уверял меня, что в этот бор он ездит регулярно начиная с 1959 года и каждый год видит там великое обилие всякого гриба, в том числе белого и груздей. Он заверял меня, что так бывает каждый год до октября месяца».\*

Мне остается добавить только от себя, что в этом, 1967 году у нас во Владимирских местах уродилось очень много белых грибов. Сначала я ходил по перелескам вокруг Оленина и приносил по 150—125 отличных белых. Потом я решил съездить в легендарную Дубраву — в лес, который начинается в восьми километрах от нас и тянется на десять верст до Петушков и дальше к Москве. Не нужно, оказывается, ни Братского моря, ни ленточного бора между Иртышом и Обью. Грибов было столько, что мы в конце концов убежали из леса, зажмурившись, иначе уйти было невозможно. На каждом шагу попадались россыпи белых, притом молоденьких, только еще пробивающихся из земли.

Но здесь уже охота превращалась в промысел, и я боль-

ше не поехал в Дубраву, а предался неторопливой охоте за самым благородным грибом — за боровым рыжиком. Темно-оранжевые чайные блюдца проглядывали в этот год на сухих сосновых опушках сквозь все еще зеленую, но все же осеннюю траву.

Я начал говорить о белом грибе в связи с еловым лесом, хотя известно, что белый гриб водится в лесах почти всех основных типов, то есть сосновом, еловом, дубово-широколиственном и березовом, избегая лишь осиновых и ольховых лесов. Получается, таким образом, разновидность одного и того же гриба, отличающаяся и окраской шляпки, и, что важнее, плотностью грибной мякоти. В березовых лесах водится белый гриб с более светлыми шляпками, в сосновых и еловых они более темные, до темно-коричневых, почти черных, а подчас и темно-вишневых. Во всем остальном разница невелика. А может, и вообще нет никакой разницы. Тем не менее как ученые люди, так и заготовители склонны отдавать предпочтение еловому грибу. Какую-то из разновидностей нужно было все же узаконить как норму, чтобы все остальные разновидности считались лишь отклонением от нее. Так вот за норму в микологии принята именно еловая.

Но я-то вовсе не потому связал для себя белый гриб с еловым лесом, но лишь потому, что в наших местах, лесах и перелесках, стоящих вокруг Оленина, в пределах досягаемости грибника с кузовком, белый гриб растет главным образом под елками.

Известно, что белые грибы заводятся только в старых (старее пятидесяти лет) лесах. Нашей барской посадке, с описания которой я начал эту главку, естественно, больше пятидесяти, и в ней водятся белые грибы. Интересно, что в середине леса они встречаются редко, а вырастают по краю, шагов на пятьдесят в глубину.

Ученые установили, что вообще грибы любят водиться в лесах, где верхний моховой и почвенный покров несколько поврежден деятельностью человека. Говорят, в тайге заблудившиеся люди либо экспедиции по появлению грибов узнают о близости человеческого жилья, села, деревни, вообще человека.

Но к нашему лесу это правило не подходит, потому что все наши перелески очень невелики, они насквозь и вдоль и поперек больше чем надо исхожены и человеком и скоти-



ной, так что окраинная полоса не имеет в этом смысле никаких преимуществ перед серединой леса. И тем не менее в посадке грибы растут только по краям. Если сказать, что в середине леса темнее, чем ближе к краю, то там совсем не выростали бы грибы, но они растут, только их гораздо меньше.

Собирать белые грибы в этом лесу одно удовольствие. Я уж говорил, что здесь нет ни подлеска, ни травы, ни даже мха: чистая, ровная, несколько пружинящая подстилка из многолетних словых игл. Сквозь нее-то и прорастают крепкие темно-бурые красавцы. Гриб стоит не загороженный, открытый со всех сторон, посланный, вытолкнутый к нам, на свет божий, из-под темной подстилки какой-то неведомой животворной силой.

Другие наши леса не ухожены. Частый осинник, березнячок, заросли орешника, тут и рябинки, тут и лесная ива, тут и калина, тут и лесная ягода. Среди этой зеленой путаницы стоят редкие дремучие ели. Каждая ель раздвинула вокруг себя зеленую темницу и держит под собой просторный, пустой полумрак. Под ее широко раскинутые ветви входишь из лиственной частели как в некое помещение, потому что под этими ветвями ничего уж нет — ни кустика, ни прутика, разве что старый замшелый пенек. В хороший год почти под каждой такой елью обязательно растет два-три белых гриба. Вся охота состоит в том, чтобы продираться, раздвигая руками частель, от ели до ели, где переведешь дух, осмотришься и глядишь — белый гриб!

Вообще же мы не можем похвастаться обилием белых грибов. По-настоящему, за ними нужно ехать верст за двенадцать от нашего села, за Черную гору, к Неражи, в лес, называемый Дубравой. У нас же добычу меряют на штуки. Так и говорят: тетя Анна нашла двадцать белых, Игнат насобирал девяносто. Эта цифра очень большая для наших мест, и под столько добывают очень редко. Все больше от десяти до сорока. Правда, один василёвский мужик, в той же еловой посадке, в начале лета, когда никто еще не думал, что пошли грибы, попал в удачный момент и набрал полную корзину молоденьких белых грибов, не больше куриного яйца, которые только что дружно выпали. Будто бы их оказалось триста сорок. Но это уж вовсе редкая удача, если не сказать — исключительный случай.

Я все удивляюсь, когда гляжу на дерево ли, на цветок ли, теперь вот на гриб.

В самом деле, растут две яблони. Если мы будем изучать физические и химические свойства их древесины, корней, листьев, лепестков, цветочной пыльцы и так далее и так далее, то, может быть, и не найдем очевидной разницы. Может быть, нет очевидной разницы и в тех веществах, которые дерево тянет из земли и берет из воздуха. Ну, там азот, кислород, всевозможные углеводы. И тем не менее на одной яблоне вызревают кислые и горькие плоды, а на другой, в десяти шагах, так, что, вероятно, переплетаются корни — сладкие и душистые.

Дело в пропорциях, ответят мне. Те же органические и минеральные вещества можно смешивать в разных дозах, вот и получатся разные результаты. Но я и спрашиваю, где та чудесная, та гениальная, та непостижимая лаборатория, которая дозирует, смешивает (и знает, что брать), и смешивает из века в век, в одной и той же пропорции. Запрограммированное в семечке, скажут досужие люди. Допустим, хотя и это удивительно, чудесно и не поддается воображению, чтобы все там содержалось на века вперед — и будущий химический состав плода, и отсюда его запах и вкус, окраска, форма, а также и способность к воспроизведению себе подобного.

Да ведь и семечка-то, в котором содержалась программа, давно уж нет. Осталось дерево, которое все можно обыскать при помощи могучих микроскопов и хитроумных анализов. Дойдем до клетки. И до ядра. И все-таки не дойдем до фантастической лаборатории, способной создавать из бесформенных и беспорядочно валяющихся вокруг веществ либо антоновское яблоко, либо белый гриб.

Каждый раз не могу не удивляться, когда поблизости от белого гриба вижу яркие мухоморы. Что и говорить, гриб красив. Ярко-красный, с белыми крапинками по красному полю, он украшает черный колорит елового леса, внося прекрасное и нужное глазу разнообразие. Гриб выделяется своей красотой или, скажем, для тех, кто не считает его красивым, своим видом из всех остальных грибов. Валуи бывают издали похожи на белый гриб, как белый гриб, в свою очередь, может быть похож на подберезовик. Но красный мухомор не спутаешь ни с каким грибом ни на одно мгновение ни издали, ни вблизи.

Обычно про его окраску пишут в следующем роде: «Он своим ярким видом, бросающимся в глаза, как бы предупреждает — стой, я опасен, не трогай меня, здесь запретная зона!» Вот опять проявляется самонадеянность челове-

ка. Да, может быть, красный мухомор вовсе о нас и не думает! Может быть, он так ярко окрашен для того, чтобы его быстрее можно было найти тем, кому он до зарезу нужен.

Так оно, наверно, и есть. Но сначала про удивление. Я всегда удивляюсь: растет ведь рядом с белым грибом. Но оказывается, в микроскопической споре, из которой он вырос, уже было предопределено, что он будет собирать в себе не добрые, полезные людям соки, а ядовитые, вредные вещества. Правда, я всегда подозревал, что для чего-нибудь это природе нужно. Не может быть, чтобы она так, ни с того ни с сего, взяла и произвела красный мухомор, как если бы завитушку на колонне, нечто вроде архитектурного излишества. В природе этого не бывает. Я всегда думал так, и какова же была моя радость, когда недавно в досужей «Неделе» я вычитал, что красный мухомор служит лекарством для лосей. В статье было написано, чтобы люди не сшибали ногами ненужные им и даже вредные для них мухоморы, но обходили бы их стороной, оставляя для больных лосей, как, может быть, единственное лосиное лекарство. Для нас-то, конечно, мухомор ядовит, но пора нам перестать мерить природу по себе.

Впрочем, ядовитость красного мухомора сильно преувеличена. Некоторые источники даже утверждают, что он вполне съедобен и нежен на вкус, надо только его соответствующим образом приготовить. Не знаю, рисковали ли сами авторы таких утверждений, но все они сходятся на том, что от красного мухомора не умирают. Более того, имеются исторические сведения, что древние викинги перед сражением наедались красных мухоморов, сильно пьянели, возбуждались и тогда уже очертя голову бросались в сечу. Нечто вроде современного допинга, который тайком глотают некоторые футболисты.

В книге «Грибы — друзья и враги человека» о действии красного мухомора на человеческий организм написано: «Симптомы отравления человека красным мухомором первоначально выражаются в сильном опьянении... вскоре появляется состояние, похожее на белую горячку, состояние опьянения длится несколько часов, после чего больной засыпает, а проснувшись через некоторое время, чувствует себя уже лучше. Полное выздоровление наступает через два-три дня. Случаи смерти при отравлении редки и имеют место при больших количествах поглощенного гриба, оказавшихся непосильными для ослабленных организмов ста-

риков, при осложнениях у детей и у лиц, страдающих болезнями сердца и почек».

Говорится также, что во время опьянения грибом возможны рвота, головокружение и холодный пот. Но разве все это не возможно и при обыкновенном опьянении от напитков, широко продающихся во всех магазинах мира. И разве не возможно умереть от водки — «при больших количествах поглощенного, оказавшегося непосильным для ослабленных организмов...»

Вообще же ядовитых грибов в наших лесах очень немного. Вот передо мной список всех вообще грибов, приведенный Б. П. Васильковым, с разделением на категории. Мне трудно судить, насколько он полон. Например, я не вижу в нем гриба под названием «колчак», который я сам собирал и ел и находил указание о нем в других источниках. Как бы то ни было, Б. П. Васильков привел сто пятьдесят три названия грибов, разделив их на четыре категории. К первой, то есть лучшей из лучших, относятся белые, некоторые грузди и рыжики. Сверх четырех категорий выделены «несъедобные, неиспытанные, похожие по виду на съедобные». Всего четырнадцать названий. К собственно ядовитым отнесено лишь семь видов грибов, включая и строчок.

Однако в другой книге, «Грибная бль», написанной Л. П. Кудрявцевой-Молодчиковой, категорически сказано: «Ядовитых грибов всего-навсего шесть видов. Все ядовитые только мухоморы!» Значит, строчок реабилитирован. Впрочем, и Б. П. Васильков поместил этот гриб и туда и сюда, то есть и в съедобные и в ядовитые. Не знают, как быть с этим грибом, и все из-за того, что зачем-то он собирает и концентрирует в себе гельвеловую кислоту. Далась ему эта гельвеловая кислота!

Бледная поганка тянет из земли нечто другое, а именно фаллоидин. Если гельвеловая кислота хорошо растворяется в воде и начисто уходит из гриба при кипячении, а также при сушке, то фаллоидин «сохраняет свою токсическую активность даже после двадцатиминутной варки при температуре сто градусов и не растворяется при этом в воде, сохраняясь в грибных тканях» («Грибы — друзья и враги человека»).

Конечно, отравиться можно и нормальным грибом, если это перестарок. Утверждают, что в старости каждый гриб немного ядовит. Но по-настоящему ядовит и беспощаден в наших лесах один только гриб. Называется он бледная

поганка. Если сравнивать со змеями, то остальные ядовитые вроде гадюки, после укуса которой человек чаще всего выживает. Бледную поганку можно сравнить только с гюрзой или коброй. Пожалуй, она даже страшнее, потому что бывали все же случаи, когда после укуса и этих змей человека вылечивали при помощи специальных сывороток. Такие случаи, вероятно, редки, но они были. Зато не удалось еще спасти ни одного человека, съевшего бледную поганку.

Все лекарства мира бессильны против нее. Это зависит не от того, что ее яд сильнее яда гюрзы («Действие фаллоидина на организм человека может быть сравнимо с отравлением ядом змей»), но от того, что этот гриб коварнее змеи, хотя змея в человеческом представлении олицетворяет коварство.

Коварство бледной поганки состоит в том, что много часов после рокового ужина или обеда съевший поганку не замечает никаких признаков отравления. Никакого беспокойства, никаких тревог. А между тем яд делает свое дело. Потом появляются признаки, но тогда уже поздно. Вот как описано действие бледной поганки в книге «Грибы — друзья и враги человека». «Первые признаки отравления этим грибом проявляются через 10—12, иногда даже через тридцать часов после принятия пищи и заключаются в головной боли, в головокружении, нарушении нормального зрения и беспокойном состоянии. Больной ощущает сильную жажду, жгучую боль в желудке, судороги в конечностях. Вслед за этим наступают холероподобные признаки в виде желчной рвоты или поноса... Сильные боли ощущаются в печени и в животе, особенно при надавливании. Появляется обильный пот, холодеют конечности, пульс становится слабым, температура падает до 36—35 градусов. Через несколько часов в приступах наступает затишье, продолжающееся часа два, но затем приступы снова возобновляются, больной слабеет, впадает в забытие, пульс у него становится нитевидным и неправильным, а через день-два наступает смерть... основным ядом, содержащимся в бледной поганке и обуславливающим отравление, является фаллоидин. Токсическое действие настолько сильно, что четыре мг его достаточно для отравления кошки, двадцать пять мг — смертельная доза для собаки, а для человека среднего веса — 30 мг... При вскрытии трупов лиц, отравившихся бледной поганкой, обнаруживается полное перерождение тканей печени, почек, сердечных

мышц и селезенки. Лечение человека, отравившегося бледной поганкой, к сожалению, не дает надежных результатов, так как ко времени появления симптомов отравления токсины гриба успевают уже проникнуть в кровь больного, и удаление его оттуда невозможно».

Вот какое злодейство может произрасти из доброй земли, из доброго воздуха, из доброй воды, из доброго солнца. Правда, мы уж знаем, что тот же змеиный яд — прекрасное лекарство, облегчающее страдание больного человека и возвращающее ему здоровье. Я думаю, и бледная поганка зачем-нибудь да нужна, если ее создала природа. Когда-нибудь, вероятно, узнают ее полезную сторону, и она будет ценнейшим растением. Но пока что, дорогие грибники, берегитесь бледной поганки.

В наших подмосковных и более северных местах отравления этим грибом или чрезвычайно редки, или вовсе исключены, потому что всякий ядовитый гриб можно положить в корзину, только спутав его с каким-нибудь другим хорошим грибом. А с чем же можно спутать в наших местах, например, красный мухомор? Он, говорят, очень похож на прекрасный ценный кесарев гриб, только у мухомора есть белые крапинки, а у кесарева гриба их нет. Но кесарев гриб в наших местах не растет, а растет где-то на юге, чуть ли не в Средней Азии.

Точно так же и бледную поганку не сорвешь вместо масленка и рыжика. Легче всего ее спутать с лесным шампиньоном. Она ведь по принадлежности и есть ложный шампиньон. Но, во-первых, и шампиньоны в наших местах почти не собирают, а во-вторых, те, кто собирает шампиньоны, знают его признак, на сто процентов исключаящий роковую ошибку. Дело в том, что у шампиньона нижняя сторона шляпки (то есть его пластинки), непременно розовая в молодости, даже сиреневатая, а потом и вовсе черная. У бледной поганки она всегда белая, без малейшего оттенка розового.

Чаще всего отравляются бледной поганкой в местах более южных, где меньше лесов, а значит, и грибов, например, в орловских или воронежских, где собирают грибы зонтики и поплавки, очень похожие на бледных поганок.

Вероятно, нужно исходить из рассуждения, что лучше не съезть в своей жизни десяток-другой поплавок, нежели съезть одну бледную поганку.

Все ядовитые называются в народе поганками. Но часто под это название попадают, страдая невинно, все грибы,

которые почему-то не берут. В нашем селе поганками зовут и шампиньоны — один из самых прекрасных грибов.

У меня, например, никогда не было ощущения, что красный мухомор — гриб поганый, напротив, я всегда любовался им и люблюсь до сих пор, когда увижу.

Зато с детства производил на меня впечатление поганки гриб, который встречается часто и обильно в еловых лесах. По-моему, у этого гриба что ни на есть неприятный вид. Общее впечатление чего-то ослизлого и серого. Шляпка у этого гриба серого цвета, но и сама серость эта бездарна. Она какая-то мутная и тусклая. По общему тону она больше всего сходна с цветом осинового гнезда. Но осинное гнездо шершавое, сухое, теплое, невесомое... Здесь же — жирная, мясистая, тяжелая шляпка цвета осинового гнезда покрыта толстым слоем бесцветной, но плотной слизи. Эта слизь окутывает всю шляпку и нижнюю сторону ее там, где пластинки. Она прикреплена к ножке и таким образом натянута между ножкой и краями шляпки. За этой слизью, если ее брезгливо удалить, скрываются пластинки, тоже серые, тусклые, а позднее почти черные. Пластинки эти какие-то редкие и тупые, они еще более усиливают неприятное ощущение от этого гриба. Не украшает его и то, что белая сероватая мякоть ножки у самой земли, то есть именно там, где срезает нож грибника, ядовито-желтого цвета.

Много лет попадался мне под ноги этот неприятный гриб, и всегда я считал его за поганку, более того, он был для меня воплощением поганки, олицетворением ее, и очень часто бывало, что я шел домой с пустой корзиной, сшибая ногами серые и ослизлые грибы и досадуя, что вот уродилось же то, что не нужно, а того, что нужно, не уродилось.

Наконец однажды, когда мне в руки попал определитель грибов, я вспомнил про неприятные поганки, растущие в еловых лесах, и решил узнать, что же это такое. После пятиминутного путешествия по страницам определителя с заглядыванием то в цветные таблицы, то в описания признаков я точно узнал, что мой гриб называется — мокруха еловая. Что ж, действительно и мокруха, и еловая. В самом названии гриба меня ничего не удивило, но тут же я прочитал: «Съедобен, четвертой категории, свежий». Это мне было странно. Значит, выходит дело, я много лет проходил мимо безвредных съедобных грибов, даже в дни, когда корзина была совершенно пуста.

Узнав о съедобности еловой мокрухи, я, разумеется, решил ее попробовать в свежем, то есть в жареном, виде. Нужно сказать, что, пожалуй, не зря ее не берут в народе. Ничего особенно она из себя не представляет. Ни аромата, ни вкуса. На зубу она тоже не очень приятна, слишком мягка и жирна. Мы подмешивали ее на сковороду в другие грибы, тогда она сходила за все остальные, не выделяясь из них. Однажды мы поджарили ее с чесночком, о котором речь пойдет ниже, и она, приняв от чесночника его крепкий аромат и вкус, сама сделалась вкусной и душистой. Одним словом, гриб как гриб. Есть в лесу грибы лучше мокрухи — не стоит тащить тяжесть домой, нет других грибов — можно брать и ее. Мокруху, наверно, можно сушить, но мы не пробовали.

Этой осенью, собирая рыжики в молодых елочках, я заметил, что на мокрухах очень часты беличьи погрызы, в то время как на маслятах и рыжиках, растущих тут же, погрызов нет. Значит, подумал я, белки почему-то предпочитают мокруху. Может быть, в ней есть что-то такое, что нужно и полезно белке. Какие-нибудь витамины и вещества. Может быть, это беличье лекарство, вроде как мухомор для лося. Белка, конечно, лучше нас знает, что ей грызть, и после этого у меня уважение к мокрухе несколько возросло.

Название «мокруха еловая» я вычитал в книге, когда сам гриб уже, как говорят в народе, намозолил мне глаза. С другим грибом произошла обратная история.

Много раз я встречал в книгах упоминание о чесночном грибе, или, проще, о чесночнике. Говорилось, что этот гриб обладает запахом чеснока и что из него можно готовить разные приправы и соусы к мясным блюдам. Как-то я не обращал внимания на указываемые размеры гриба и даже на такое замечание, что он встречается «не редко, иногда в значительном количестве экземпляров, но по массе очень мало». Несомненно, если бы я после чтения вообразил этот гриб, какой он по размерам и как примерно он должен выглядеть, то и в лесу обнаружил бы его раньше, ибо с некоторых пор старался отыскать чесночник в наших лесах, разламывал и нюхал каждый незнакомый мне гриб. Но, увы, ни один из них не пах чесноком.

Не знаю, по каким причинам я однажды обратил внимание на то, мимо чего всегда проходил, не останавливая взгляда. В еловом бестравном лесу я, приглядевшись, увидел, что вокруг старой ели высыпали и водят хороводы



какие-то мельчайшие грибишки, какие-то растеньца, которые сначала и не примешь за грибы. Не знаю почему, но однажды как бы изменился фокус моего зрения, и я вдруг увидел, что вокруг старой ели растет множество грибов, крохотных, пусть больше похожих... впрочем, если разглядывать каждый гриб в отдельности, то он гриб как гриб и ни на что, кроме гриба, не похож.

Представьте себе ножку гриба, высотой со спичку, но в несколько раз тоньше. Она как травинка, причем из тонких травинок. Цвет у ножки ближе к земле темно-красный, я бы даже сказал, темно-вишневый. Ближе к шляпке ножка светлеет, превращается даже в темно-желтую. Вся она блестящая, как будто покрыта лаком.

На этой ножке, похожей на тонкую травинку, покоится миниатюрная шляпочка, сначала колпачком, потом зонтиком. Размер шляпки — с двухкопеечную монету. Толщина ее... потолще, конечно, обыкновенного бумажного листа, но не толще игральной карты. На некоторых экземплярах шляпка может разрастись до трехкопеечной монеты, даже до трех сантиметров, но это был бы уже чесночник-гигант.

Обычно ходишь, не обращая внимания на эти крохотные грибочки. Когда в лесу тепло и сыро, там все растет, все лезет из земли и тронутой гнилью древесины: мхи, лишайники, теперь вот какие-то растеньца, похожие на грибы. Механически сощипнул я один грибочек, механически растер между пальцами, и вдруг явственный крепкий запах свежего чеснока облаком расплылся меж мокрых елей, благоухающих смолой и хвоей. Это было так неожиданно, что я забыл на этот раз про все другие грибы и начал щипать, как молодую травку, крохотные частые грибки и бросать их в корзину.

Правильно было написано в книге, что в «значительном количестве экземпляров, но в массе очень мало». В корзину грибы ложились рыхло, как сено, а так как их было очень много, то постепенно их набралось столько, что можно было бы брать горстями и пригоршнями. Из корзины пахло так, будто там не грибы, а растолченный чеснок.

В этот день я пришел домой с необычной добычей. Страшно было класть грибы на сковородку. Казалось, они сейчас все высохнут, перегорят и ничего не останется. Но, вопреки ожиданиям, получилось очень острое и душистое кушанье. Я думаю даже, если бы привыкнуть к этим грибам, то все остальные стали бы казаться пресными и скучными.

Интересно, что когда, опробировав новый гриб, я через два дня пришел в тот же лес, чтобы насобирать целую корзину, то сколько ни ходил, не увидел ни одного гриба. Как будто они мне приснились позавчера, как будто они спрятались снова в землю. Тогда я стал внимательно рассматривать лесную почву и обнаружил, что мои грибочки за эти два дня совершенно высохли, потемнели и сделались незаметными. Всегда ли так бывает с этими грибами, я не знаю, потому что обнаружил их для себя только в этом году и проверить было еще некогда.

Потом они появились снова, но очень мало. Я набирал их одну горстку, и мы клали их на сковородку с другими грибами, отчего все жаркое становилось острее и душистее.

Теперь я вспоминаю, что у меня были случаи, когда в безгрибные годы или дни я останавливался посреди леса и говорил: «Ну хоть бы один гриб! Что это за лес, в котором нет ни одного гриба?» А оказывается, я ходил в то время по живым грибам, которых росли сотни и тысячи. Теперь-то я уж никогда не пройду мимо удивительного грибочка, называемого чесночником.

Пока что я видел его только в еловом лесу, но говорят, что он водится и в лиственных, особенно он любит, как говорят и пишут, опушки лесов и молодняки. Сам я этого подтвердить не могу, потому что собирал чесночник около старых, дремучих елей.

У деревьев с грибами большая дружба. Ученые утверждают, что, если бы не было грибов, не было бы на земле и таких пышных лесов, не встречалось бы в лесах деревьев-великанов.

Пробовали сеять рыжики около липы или около березы — не выросло ни одного гриба. Пробовали сеять рыжики около елей и сосен — на другой год появились рыжики.

С другой стороны, если бы почву около молодых елочек искусственно стерилизовать, лишить грибницы, то елочки стали бы расти хуже, а может быть, и совсем зачахли.

Поэтому, когда человек, заинтересованный в разведении леса, в его здоровье и благоденствии, видит гриб, он радуется не только как грибник, увидевший добычу, но и как хозяин, встретивший своего верного помощника. Впрочем, у наших лесов нет сейчас настоящего хозяина. Мало людей смотрят на лес глазами, так сказать, сеятеля и выращивателя. Все больше глядят на дерево, прикидывая, с какой стороны удобней к нему подойти и в какую сторону ему удобней будет падать.

Но если бы нашлся сердобольный человек, то, увидев грибы, о которых я сейчас хочу сказать два слова, он нахмурился бы и помрачнел.

Правда, это зависит также и от того, где встретились бы грибы. Если на порубке, где нет уж ни одного дерева, одни только пни, то печего и мрачнеть. Если же в здоровом лесу — есть причина для тревоги. Но в том-то и дело, что про такой лес нельзя было бы сказать, что он здоровый. В одной книжке так и написано: «Чаще всего опенок осенний поражает участки леса с угнетенными деревьями, ослабленными плохими условиями жизни». Одним словом, все как у людей. Но мне редко приходилось встречать опенки не на пнях, а на живых деревьях. Из всех пней, с точки зрения опят, лучше всего еловые.

Вот гриб, может быть, самый универсальный из всех грибов. Мы говорили о том, что белый гриб практически не солят, точно так же, как рыжики и грузди не сушат, а сыроежки не жарят на сковородке. В грибном справочнике, в описании какого-нибудь вида, в последней строке сообщается, как этот гриб лучше всего употреблять. Например, написано «свежий» или «свежий, соленый». Редко собраны в одном месте слова «свежий, сушеный, маринованный», как, например, про белый гриб или про осиновик. С этой точки зрения, пожалуй, один только гриб достоин в равной степени всех четырех способов употребления. Говоря о нем, можно смело ставить: «свежий, сушеный, соленый, маринованный». Этот гриб — осенний опенок.

Осенью, отправляясь в лес по грибы, я беру одну корзину для всех обыкновенных грибов, но в карман кладу три авоськи. Это на случай, если попадутся опенки, потому что если уж они попадутся, то любая корзина будет мала.

Иной пень кругом, как шубой, одет со всех сторон опенками, растущими плотно, шляпка к шляпке, да еще и так, что каждая шляпка и стиснута ее соседками. Кроме того, никогда не бывает, чтобы на одном пне росли опенки, а на пнях поблизости их не было. Поэтому приходится уходить из леса, унося неполную корзину разнообразных грибов: белых, осиновиков, березовиков, маслят, моховиков, сыроежек, мокрух, валуев, свинушек, чесночников, волнушек, лисичек, рыжиков, а помимо корзины — три авоськи, набитых опенками, в каждой авоське по три ведра.

Если бы другие грибы патрамбовать в авоську, дома вывалил бы на стол мелкое крошево. Опенки же остаются целыми, даже не мнутся. Они, как резиновые, сгибаются,

пружинят и выпрямляются снова. Можно набить ими рюкзак и отправляться в дальнюю дорогу с уверенностью, что не сломается ни один гриб.

Одним движением ножа снимаешь сразу десяток опят. Остается около пня десяток прижавшихся друг к другу белых пятнышек. Еще одно движение ножа, и еще десяток грибов.левой рукой в это время держишь их за шляпки. Они так, кустом, не рассыпаясь на отдельные грибы, и остаются в левой руке. Нож скрипит, разрезая суховатую, упругую, пружинящую мякоть сразу десятка грибов. Оглядываясь, видишь вокруг все новые и новые пни, обросшие грибами, кажется, что все грибы никогда не соберешь, но в конце концов срезаешь все, и они укладываются в авоську, а долгая зима впоследствии их подбирает до последнего грибочка.

Грибов универсальных по способу употребления немало. Тот же белый гриб можно сушить, мариновать и даже солить. Но все же никто не будет спорить, что сушеный гриб вкуснее соленого или жареного. Опенок, может быть, единственный гриб, когда не знаешь, чему отдать предпочтение. Он одинаково хорош и в жареном, и в сушеном, и в маринованном, и в соленом виде. В одном доме мы пробовали опенки, маринованные с добавлением чеснока, и это было великолепно. После этого мы пробовали добавлять чеснок при мариновании других грибов, но эффекта не получалось. Значит, именно с опенком удачно сочетается чеснок во время маринования.

И все-таки, когда нападаешь на участок леса, заросший опятами, испытываешь двойное чувство. Не знаешь даже, как себя вести: то ли срезать грибы аккуратно, как белые или рыжики, чтобы не порвать пенароком грибницу, то ли начать нарочно рвать коричневые шнуры, расползающиеся по лесу и опутывающие все новые и новые деревья. Все шляпочные грибы в лесу — помощники деревьев, и только один этот — враг, злодей и агрессор. Вот как описывается его агрессивное поведение в одной из книжек.

«Большинству населения, особенно городов, опенок совсем неизвестен как опасный вредитель леса. Между тем специалистам это хорошо известно уже давно.

Известно, что опенок может поражать около 200 видов высших растений, в том числе даже картофель.

Установлено, что в пределах СССР опенок довольно часто поражает молодые культуры и старые насаждения: сосны, ели, пихты, дубы, шелковицы и др. В ряде случаев

он вызывает усыхание значительных участков леса. Опенк поражает обычно ослабленные чем-либо (пожаром, недостатком влаги и т. п.) деревья, но может поражать и здоровые.

Нетребовательность опенка к хозяину и субстрату простирается до того, что он поражает не только все древесные породы в любых возрастах, но способен жить и за счет мертвой древесины, обычно пней. Благодаря этому опенк в состоянии распространяться в те участки леса, где его не было, если там ведутся рубки без профилактики, то есть оставляются пни, пригодные к заселению этим грибом. Поселившись на пнях, опенк представляет уже непосредственную реальную опасность для деревьев, окружающих эти, зараженные им, пни.

Это объясняется тем, что опенк распространяется не только посредством спор, но и при помощи ризоформ, которые имеют вид ветвящихся шнуров, темно-бурого цвета, толщиной 2—3 мм и достигающих несколько метров в длину... Пока ризоформы находятся в почве, они имеют цилиндрическое сечение, проникнув же под кору пня или дерева, они становятся плоскими... Заражение при помощи ризоформы происходит не только через ранки на корнях. Ризоформы способны проникать в корни здоровых деревьев через трещинки и, наконец, через неповрежденную кору.

Проникнув под кору, ризоформа образует веерообразную грибницу, которая внедряется в древесину корня и одновременно распространяется под корой в стволовую часть на высоту до 2—3 м. Эта грибница обладает способностью светиться в темноте так же, как гнилая древесина, пронизанная ею.

Внедрение грибницы в древесину происходит через сердцевидные лучи, причем она скопляется в смоляных ходах... В результате этого смола вытекает и скапливается у основания ствола в виде желваков, а в верхних его частях скапливается под корой. Эти скопления смолы создают «смоляные барьеры», мешающие распространению гриба под корой: Однако гриб преодолевает этот барьер. Наступает ослабление дерева: крона становится реже и прирост понижается. Ослабленное дерево легко заселяется короедами, которые ускоряют его гибель. Отмирание большей части корней или большей части камбия по окружности ствола влечет за собой смерть дерева.

Длительность болезни, вызываемая опенком, составляет

у молодых растений около 3 лет, а у взрослых — до 40 и более лет» («Грибы — друзья и враги человека»).

Вот, оказывается, какой злодей, какой ужасный агрессор опенок. А мы им восторгаемся, радуемся, когда нападём на большой урожай, с удовольствием едим.

Но скажу по совести, что, несмотря на подобное описание разбойничьих действий опенка, у меня нет к нему отношения, как к злодею и паразиту. Ну, конечно, он ест деревья. Но ведь и зайчишка ест молодые побеги и обгладывает кору, и лось вредит молодым посадкам, и тетерева оклевывают на деревьях почки.

Дело в том, что когда я вижу большие пространства леса, в котором почва между деревьями вытоптана преступно пасущейся там скотиной настолько, что не растёт даже трава, а тем более грибы или молодые деревца; когда я вижу огромные пространства леса, захламленные сучьями, обрезками вершин и стволов настолько, что нельзя пройти, и все это гниёт и заражает окружающий лес; когда я вижу огромные пространства леса, где земля разворочена и утрамбована гусеницами тракторов, выволакивающих срубленные деревья; когда я знаю о том, что десятки миллионов кубометров леса у нас гниют на лесосеках, не будучи вывезены на заводы; когда я знаю, что ещё десятки миллионов кубометров леса пропадают в виде отходов уже на деревообделочных заводах; когда я знаю, что дно наших великих рек, по которым сплавляют лес, на протяжении сотен и тысяч километров устлано затонувшими бревнами — топливом; когда я знаю, что в Норвегии существует акционерное общество, которое живёт тем, что вылавливает лес, упущенный нами из рек в Ледовитый океан; когда я вижу, как ради того, чтобы починить забор, колхозник срубает сотню-другую молодых елочек, которые через десять лет стали бы большими деревьями; когда я вижу, как ради того чтобы добыть килограмм сосновых зеленых шишек (за зиму можно заработать до пятнадцати рублей), предприимчивый человек обрубает у сосея все сучья сверху донизу; когда я вижу огромные сосновые рощи, из которых активно выкачивается живица; когда я знаю, что при современных темпах рубки на Карпатах, например, не останется через десять — пятнадцать лет ни одного строевого дерева; когда я знаю, что у нас рубят леса и даже в водоохраных зонах; когда я знаю, что ежегодный переруб леса по сравнению с приростом у нас достигает тридцать процентов...

Когда я все это вижу и знаю, то семья симпатичных опенков, окутывающих, как шубой, пень или даже основание живого дерева, кажется мне невинной лесной идиллией.

## VII

Хорошо собирать грибы в лесу. Впрочем, так оно всегда и представляется, что грибник с корзиной должен идти в лес, какой бы он ни был: молоденький, сосновый, с маслятами и рыжиками, бор-беломошник с боровиками, пестрый березовый лес со всевозможным грибным населением, полутемный еловый, широкошумный и широколиственный, с преобладанием дуба, ольховое, пивное да осиновое черпольшье.

Но спрашивается: разве плохо собирать грибы на зеленом летнем лугу или в чистом поле? Если вы не охотились за сморчками, растущими в апреле или начале мая, то к концу мая вам очень хочется свежего жареного гриба. Однако в лес идти пока бесполезно. Конечно, хороший грибник не может вернуться из леса совсем с пустой корзиной. В конце концов найдется если не порядочный шляпочный гриб, то какой-нибудь там рогатик, похожий на морскую губку и называемый еще грибной лапшой. В конце концов едят даже молодые трутовики, вырастающие на стволах деревьев. Про каждый из них в грибном справочнике так и сказано: «Съедобен в молодом возрасте».

Но чем пытаться пережевывать пробковатую мякоть трутовика, лучше идти в это время по косягам, по склонам оврагов, по зеленым холмам. Уже с мая месяца начинают появляться среди зеленой травы нежные белые шарики, которые впоследствии деревенские ребятишки будут давить босыми пятками, забавляясь облаком то черного, то темно-зеленого, то шоколадного дыма. Про такой гриб говорят — волчий табак. Иные шарики с грецкой орех, иные с детскую головку. Иные круглые, будто лежит на зеленом поле бильярдный шар, иные похожи на пестик, которым толкут в ступе, а еще больше на электрическую лампочку. После такого пестикообразного гриба, когда он созреет, весь разлетится дымом, остается ножка. Она очень прочна, как из пергамента, и долго еще чернеет среди травы.

Сначала все грибы называешь «волчий табак», потом, узнав, что это дождевики, будешь звать их дождевиками, а потом разберешься, что и дождевики бывают разные: просто дождевик, дождевик шиповатый, дождевик груше-

видный, дождевик игольчатый, пороховка черноватая, головач круглый, головач продолговатый.

Как бы они ни назывались и какую бы форму и размер ни имели, их объединяют два одинаковых обстоятельства: все они, созрев, становятся вместилищами мелкой легко-весной темной пыли и все они в молодом возрасте съедобны и вкусны.

Как известно, молодой дождевик на ощупь тверд и крепок, а на разрезе бел, как сметана. В эту пору его можно, не сомневаясь, класть на сковороду. Жаркое будет благоухать превосходным грибным ароматом. С возрастом мякоть дождевика начинает сначала слегка желтеть, делается водянистой, надавленная пальцем, не пружинит, не старается распрямиться. На этой стадии дождевики брать уже не следует. Затем желтизна будет все темнеть и темнеть и наконец превратится в сухой порошок, в бесчисленное количество мельчайших спор, насыпанных в кожистый мешочек.

Вспоминаю, с каким конфузом я принес домой первые дождевики, как жена отказывалась их жарить, с каким интересом я их пробовал в первый раз. А теперь это для меня самый обыкновенный съедобный и вкусный гриб, конечно, когда нет в лесу маслят, лисичек или осиновиков. Но и когда они есть, неплохо добавить на сковороду для букета молоденьких крепеньких дождевиков.

\* Призываю также в свидетели своего читателя, приславшего мне письмо.

«Очень люблю дождевики. В жареном виде, право, немного уступают они белым. Чтобы блюдо было нежнее, у некоторых из них лучше снять грубую оболочку. Головач продолговатый — осторожно помять в руках, и оболочка трескается и сходит, как скорлупа с крутого яйца. Лучше всего это делать под краном. У некоторых шаровидных дождевиков оболочка снимается, как кожура с апельсина. Лучший — шиповатый — вообще не доставляет забот: режь и — на сковородку. С успехом сушу их. Измельчив в порошок, можно готовить из них отличный суп\*.

Грибница под землей, возникая из крохотной грибной споры, разрастается, как я понимаю, во все стороны, лучами или даже, вернее, сплошным блином. Со временем центр



блина, как более старый, отмирает, а его окружность остается и продолжает разрастаться дальше. Таким образом, старая, многолетняя грибница, старое грибное дерево должно представлять из себя большое кольцо, по которому и должны в урочное время стоять грибы. Так бы оно и было. Но в лесу грибница натывается то на пень, то на дерево, то на иную преграду. Ее разрушают местами люди или скотина. Кольцо прерывается, отдельные его участки отстают в продвижении вперед, другие убегают. Оторвавшаяся от круга изолированная часть грибницы растет блином в свою очередь, и, в свою очередь, порождает кольцо. кольца грибниц пересекаются, и получается путаница.

Но на зеленом ровном лугу, где не растет ни одного дерева, нет ни одного камня, можно очень часто увидеть настоящий грибной круг. Небольшие желтоватые грибочки со шляпками от трех до пяти сантиметров шириной, на очень тонких ножках и поэтому кажущихся высокими, словно водят среди зеленой травы хороводы, взявшись за руки. Эти грибные хороводы в народе называют ведьминными кругами.

Но прежде чем говорить о самих грибах, вернемся к грибнице. Науке давно известно, что грибница находится в сожительстве с обыкновенными лесными деревьями. Соприкасаясь с корнями дерева, она, видимо, усваивает некоторые вещества, выделяемые корнями в почву, а взамен этого дерево усваивает некоторые вещества, выделяемые в почву грибницей. Такое сожительство разных организмов (к взаимной пользе) в науке называется симбиозом.

Одна сторона симбиоза, а именно влияние дерева на грибницу — наглядно в любом лесу. Известно, что определенные виды грибов как бы приписаны к определенным видам деревьев. Даже и называются некоторые грибы подосиновиками (осиновиками), подберезовиками, ореховиками, сосновиками, поддубовиками. Рыжики растут среди молодых сосен и елочек, маслята — тоже, мокруха так и называется — мокруха еловая, боровики приписаны к бору, то есть к зрелому сосновому лесу...

Но если влияние деревьев на грибницу наглядно и очевидно (без деревьев не было бы и гриба), то влияние грибницы на деревья в лесу проследить труднее. Неизвестно ведь, насколько хилее и плоше была бы сосенка, насколько медленнее она росла, если бы корни ее, подобно

белой подстилке, не оплетала грибница масленка и рыжика.

Между тем в природе существуют случаи, когда влияние грибницы на растения, с которыми она сожительствует, можно не только видеть глазами, но даже измерить результаты симбиоза в граммах и килограммах, взвесив их на весах. Такой пример дает нам грибница лугового оленка.

Я давно еще в детстве замечал на наших лугах и на травянистых склонах оврагов, что трава местами растет более густая, более высокая и более темная, то есть более «жирная», чем вокруг. Эти пятна иногда имеют самую разнообразную форму, иногда форму кругов, иногда отлогих подков, иногда змей.

Замечать-то я их замечал, но никогда не задумывался над происхождением пятен и полос и даже думал, признаться, что они возникают на месте коровьих дорожек, удобряющих землю.

Только недавно, когда я пристрастился собирать луговые оленки, я понял истинную причину этого явления. Я увидел, что луговые оленки растут точно по этим темно-зеленым пятнам, своими цепочками повторяя их форму. Значит, не может быть никаких сомнений в том, что своей густотой, цветом, силой трава в этих местах обязана благоприятному влиянию грибницы.

Но вернемся к луговым оленкам.

Я не знаю, почему их называют оленками. Ведь никаких оленок на лугу нет. Разве что за дружность, за то, что эти грибы высыпают обильными кучами, словно шубой покрывая иногда землю.

Нельзя сказать, чтобы формой они напоминали оленки, если иметь в виду классический осенний оленок. У этого гриба тонкая, очень кожистая ножка, особенно ближе к земле. Желтоватая шапочка сначала колпачком. Хотел назвать их сейчас белыми, но вспомнил сметанную белизну шампиньона и понял, что луговой оленок вовсе не белый, но и не желтый же он! И не серый. Может быть, действительно желтоватый. Хотя про молоденькие грибки (если забыть про настоящую шампиньонную белизну) я все же сказал бы, что они белые. Позже колпачок распрямляется, и образуется плоская шляпка размером до пяти сантиметров, которая в сухую погоду становится такой же жесткой и кожистой, как и ножка. Однажды у меня произошел с этими грибами курьез. В течение нескольких дней стояла

сухая солнечная погода. Придя на грибное место, я увидел, что мои луговые спята все ссохлись и стали очень мелкими, жесткими. Все же я набрал их немного от непонятной жадности, а придя домой, поглядел на них, да и выбросил на траву перед домом. Вечером пошел дождь, который шел до утра. Утром, выйдя на улицу, я увидел, что на траве лежат крупные, свежие и нежные луговые опята! Значит, они обладают способностью как бы впадать в спячку в сухую погоду и воскресать во время дождя.

Собирать луговые опята я выхожу не с ножом, а с ножницами. Подойдя к грибной цепочке, приходится опускаться на одно колено и стричь грибы, как стригут шерсть на овце. Попадает в корзину и трава, это неизбежно, однако дома нетрудно грибы перебрать и от травы отделить. Поистине разбегаются глаза, когда попадается косогор с урожаем этих дружных грибов. Кажется, не хватит терпения и времени состригать одну полосу, а в глазах еще две, а там еще три полосы, а там еще и еще — бесконечное количество, если бы взяться считать (как считают белые грибы), то в конце концов окажется, что все они уместятся в двухведерную корзину.

Луговой опенок годится куда угодно — и мариновать, и солить, и сушить, и жарить, разумеется. Но все же его, так сказать, ампула — отвар. Их надо варить в виде супа — либо одни только грибы, либо с добавлением картошки, вермишели. Мы обычно не добавляем ничего, кроме соли, да и то очень и очень в меру. По вкусу, аромату и сладости отвар из луговых опят весьма своеобразен и не может сравниться ни с какими другими грибами.

В китайской кухне очень распространены грибы сянь-гу. Я в своей жизни пользовался китайской кухней один только месяц, когда был во Вьетнаме (вьетнамская кухня имеет много общего с китайской, хотя это и не одно и то же), но приходится иногда бывать в ресторане «Пекин». Во многих блюдах там присутствуют грибы сянь-гу. Приглядевшись к ним повнимательнее и распробовав их, я подзреваю, что это не что иное как луговые опята. Несколько выше я говорил о чесночнике, миниатюрном грибочке. Луговой опенок, о котором теперь идет речь, лишь немногим крупнее чесночника. Он также относится к мелким грибам, про него также говорится в справочнике, что он родится «довольно обильно, но в массе мало».

В безлесных местностях невзрачный гриб луговой опенок выходит по своему значению на одно из первых мест, уступая, разумеется, только шампиньону.

\* Читатель: «Луговой опенок имеет другое, более правильное название — гвоздичный гриб, так как запах у него слегка гвоздичный. Как бы ни было много самых лучших грибов в лесу, мы никогда не проходим мимо «ведьминого круга», гвоздичников. Ведь суп-лапша или картофельный с гвоздичниками — это ни с чем не сравнимый деликатес. Только грибы надо варить не очень долго, минут 10, а то они так же, как и при длительном жарении, потеряют свой аромат» \*.

Помню, как я однажды гостил у Михаила Николаевича Алексеева в селе Монастырском, близ Саратова. В основном мы занимались рыбной ловлей, но иногда и просто так гуляли без дела. Земля и природа возле Монастырского удивительна. Дело в том, что река Баланда весной заливает все монастырские сады, огороды, луга и леса. А потом летом устанавливается очень теплая погода. От тепла и сырости всякая зелень идет в буйный рост. Все там какое-то неправдоподобное, увеличенное в полтора-два раза: горькие лопухи величиной с газету, зонтичные — не достать поднятой вверх рукой, клеверные шапки по куриному яйцу, трава на лугах — по пазуху.

Среди такой травы можно заплутаться, и, конечно, среди нее не растет никаких грибов. Но на дорогах через луга, а главным образом на дорогах через цветущие некогда, а теперь одичавшие и выродившиеся сады, мы любили собирать шампиньоны. Что это были за шампиньоны! Таких грибов никогда уж не придется собирать. Право же, каждый гриб был чуть ли не по футбольному мячу, такой же круглый, такой же крепкий, с нежно-розовыми пластинами, налитой, тяжелый, прохладный.

По сторонам дороги трава стояла стеной. Трава цвела. Это были ромашки, купальницы, раковые шейки и опущенные сиреневым цветением метелки. На дорогах же росла мелкая травка. Дороги были малоезжены и малохожены, как в некоем заколдованном царстве, где все уснуло по чарам и колдовству злой феи. На мелкой травке дорог и вырастали бело-розовые шампиньоны.

Слово «шампиньон» означает по-французски просто

грибы. В Польше шампиньоны зовут печарками, потому, видимо, что они наиболее приспособлены для жарения. По-научному, по-латыни, шампиньон называется «*Psalliota campestris*». И только в русском языке почему-то для названия этого гриба заимствовано французское слово, означающее все грибы вообще. Это, конечно, чистая случайность, но все же есть в этом и некоторая знаменательность. Например, мы знаем, что все — кошки: и лев, и тигр, и леопард, и рысь, и барс, и пантера. Но все же есть и собственно кошка, домашний зверек, который сосредоточивает в себе все типичные черты своего биологического семейства. Параллель с шампиньоном тут может быть тем полнее, что шампиньон пока единственный гриб, который поддается искусственному разведению в огороде или теплице, то есть приручен и одомашнен. Вот гриб, у которого репутация наиболее расходится с его действительными качествами. Конечно, в любом европейском ресторане вы можете потребовать себе блюдо с шампиньонами и тотчас можете убедиться, что всякое блюдо, в котором присутствуют шампиньоны, стоит гораздо дороже, чем такое же блюдо без их присутствия. Конечно, и в магазинах изредка торгуют свежими шампиньонами — полтора рубля килограмм. Но стоит отъехать подальше от города, в деревню, и вы удивите местных жителей, если начнете собирать эти крепкие белого цвета грибы, растущие «на перегнойной почве, навозе, на мусорных кучах, в огороде, близ жилищ, на лугах, выгонах».

Вероятно, именно тяга шампиньона к навозу и мусорным кучам способствовала созданию репутации шампиньона как гриба нечистого, непорядочного, короче говоря, гриба поганого.

Но не везде, впрочем, так. В селе Монастырском, близ Саратова, о котором я только что сказал, шампиньоны берут, называя их белыми грибами. Из них там варят суп. И нам тоже хозяйка, где мы жили, сварила похлебку из грибов. Она мелко резала их, добавляла картошки и луку. Еда получилась густая и ароматичная. Славится рыбацья уха, но если быть справедливым, то, пожалуй, суп из свежих шампиньонов не хуже никакой, даже тройной ухи.

А вот указание в книге «Грибная быль»: «Целое поколение ростовских огородников Грачевых занималось выращиванием шампиньонов в дореволюционное время как очень доходной культурой». Можно представить, как раз-

рослось бы теперь, к 1966 году, хозяйство Грачевых и сколько шампиньонов, выращенных ими, было бы в магазинах Москвы. Надо полагать, что сами Грачевы были впоследствии наказаны за свою инициативу, но если и нет, то все равно никакого грибного шампиньонного дела под Ростовом сейчас не ведется.

\* Вопрос о разведении грибов все-таки остается неясным. Аксаков вспоминает, что он высыпал каждый раз обрезки рыжиков под старую ель и в конце концов под елью начали разводиться рыжики. В настольном календаре за 1903 год, весьма поучительном во всех отношениях, как мне подсказывает один из читателей, говорится, что белые грибы можно выращивать на грядках. Для этого взять зрелые белые грибы, положить в ведро с водой и спустя несколько дней полить этой водой грядки. И вырастут будто бы белые грибы.

Другой читатель прислал мне вырезку из газеты «Красная искра», которая выходит в городе Боровичи Новгородской области. Статья подписана М. И. Лаврентьевым, мастером зеленого строительства и садоводства из совхоза «Красный пограничник» Псковской области. Называется статья «Как я выращиваю грибы». Вот эта небольшая статья от слова до слова.

«Представьте себе, что у вас в саду или на огороде растут такие ценные грибы, как белые и рыжики!.. Ведь это вполне возможно, стоит только создать необходимые условия для их произрастания. Белый гриб (боровик) растет как в хвойных, так и в лиственных лесах. Он любит сухие светлые места, поэтому его можно разводить в междурядьях сада и в огороде.

В 1957 году возле дома я заложил участок площадью 12 кв. метров под посадку белых грибов. На эту площадку я уложил свежий конский навоз слоем 12—15 см. Затем приготовил смесь, состоящую из 4-х частей дерновой земли, 3-х частей прелых листьев, 2-х частей гнилого дерева и 1-й части глины (нельзя употреблять только лист или ствол или корень ивы, так как они содержат дубильные вещества). После тщательного перелопачивания эта смесь укладывается на навоз. Перед посадкой смесь хорошо уплотняется.

Есть несколько способов посадки грибов. В одном случае берутся грибы в лесу с частью земли, на которой они произрастали, и мицелии переносятся в лунки. Посев

покрывается перепревшими листьями слоем 2 см. Через 35 суток появляются зародыши грибов. Тогда листья надо осторожно снять. Если стоит сухая погода — следует произвести умеренный полив подогретой водой.

Время посева — вторая половина июля. Урожай можно собирать в конце августа. При таком способе посадки грибницы я собирал по 27 белых грибов с 1 кв. м.

Второй способ состоит в посеве спорами. Для этого я брал шляпку созревшего гриба, клал нижней частью на лист чистой бумаги, помещал их на подоконнике. Через сутки на бумаге появлялась тончайшая бурая пыльца — споры. Их я осторожно переносил на площадку. Одновременно испытывал и другой вариант этого приема. Он заключался в том, что две шляпки дряблого гриба опускались в садовую лейку с водой. Через несколько суток гриб растворялся, и этой водой я умеренно поливал грибницу. Таким способом достигался равномерный посев. Всходы грибов оказались дружными, ровными. С одного кв. м я собрал по 57 белых грибов первого сорта.

Подготовленная площадка-грибница пригодна к использованию несколько лет. Ежегодный посев спор в мокром виде дает обильный урожай грибов.

Примерно таким же способом культивируются рыжики. В период грибного сезона собирается мицелия гриба в той части земли, на которой он произрастал. После удаления мусора мицелия укладывается в ящик и хранится в сухом прохладном помещении до весны, когда производится посев в почву, как и белых грибов» \*.

Что касается нашего села и наших мест, то у нас не только разводить, но и брать шампиньоны было не принято. Поэтому, когда я стал собирать их, у меня возникало чувство неловкости перед земляками, будто я их в чем-то обманываю либо обираю. Где-то я читал, что ловкие люди, приехав на островок среди океана, внушили местным жителям, что серебро дороже, чем золото, а медь еще дороже, чем серебро. Я, правда, ничего не внушал. Напротив, показывал пример. Но пример оказался незаразительным и до сих пор не действует. В последний раз тракторист даже остановил трактор и долго наблюдал, как я, испорченный городом чудак, собираю белые поганки на месте прошлогодних картофельных буртов и силосных ям.

Такое отношение местных жителей к шампиньонам делает меня монополистом на шампиньоны на всей округе.

Однажды мы с женой пошли зачем-то в Черкутино. Это село отстоит от нас на четыре километра. По дороге от нашего села до Черкутина то и дело ходят люди, ездят на лошадях, на велосипедах, на автомобилях. Это самая оживленная наша дорога.

Мы вышли на нее под вечер. Значит, все, кому нужно было по этой дороге пройти, уже прошли. И вот мы увидели, что вдоль всей дороги, и по обочинам, и прямо в колеях (в последнем случае раздавленные), растут молодые прекрасные шампиньоны. Они росли на глазах, под ногами, нужно было бы обходить их, чтобы не наступить и не раздавить. И все же не было на всей дороге ни одного гриба, сорванного руками человека.

У меня на ремне оказался ножишко, и мы начали резать. Мы складывали грибы в кучки и продвигались дальше. Никакой посуды, хотя бы авоськи, у нас не было. Тогда мы уложили все собранные нами грибы на плащ, взяли этот плащ за углы и с трудом понесли домой. Нести было его трудно по двум причинам. Во-первых — тяжесть. Грибов оказалось не меньше пуда. Во-вторых, их было так много, что они все время норовили сыпаться из плаща, несмотря на то что плащ глубоко прогнулся.

Подобно валую, шампиньоны, будучи молодыми, похожи на шарики, кругляши, то есть края шляпки у них загнуты и плотно охватывают ножку. В это время пластинки шампиньонов нежно-розового, но явственно розового цвета. И это большое благо, потому что благодаря этому ни за что и никогда не спутаешь шампиньон с другим грибом, который может оказаться ядовитым. Не надо забывать, что есть ложный шампиньон, и это ни больше ни меньше как бледная поганка.

С возрастом края шляпки распрямляются и гриб из кругляша превращается в зонтик. Пластинки некоторое время остаются розовыми даже у вполне развернувшихся шляпок, а потом чернеют и делаются абсолютно черными, как сажа. И у молодых, и у старых грибов легко сдирается верхняя кожица, поэтому шампиньоны нужно чистить, тем более что растут они всегда поближе к навозу.

Что касается вкуса шампиньона, то надо сказать следующее: как белый гриб не имеет себе равных в сушеном виде, точно так же шампиньон по праву и прочно держит первое место на сковороде. Ни один гриб, будучи поджаренным, не сравнится по нежности вкуса и по аромату с жареным шампиньоном. В ресторанах шампиньоны гото-



вят и подают обычно в сметане, изрезанными на ломтики, либо, напротив, поджаренными в масле кругляшам, не потерявшими своей формы. Но я думаю, что как бы вы ни искрошили шампиньоны, в какую бы бесформенную массу при жаренье их ни превратили, вкус их все равно остается великолепным. Правда, если жарить «пожилые» грибы с уже черными пластинками, то кушанье выглядит не очень красиво, черновато, но это не должно смущать. Вкус и аромат искупают все. В других странах, особенно во Франции и Америке, шампиньоны едят и сырыми: режут на тонкие ломтики и добавляют в салаты.

Придя домой с обильной добычей шампиньонов, нужно первым делом отделить самые молоденькие от молодых, а молодые, в свою очередь, от старых. Самые молоденькие, «орешки», лучше всего замариновать, молодые можно изжарить, положить в стеклянные банки и залить топленым маслом. Таким образом, вы можете оказаться с запасом первосортных свежих грибов на всю зиму. Старые... все зависит от того, сколько их, можно тоже пережарить в запас, и это будет ваш второй сорт, а можно высушить, чтоб потом добавлять для букета, смешивая с другими грибами, готовя грибную икру.

В этом году я нашел новое место, где и собирал шампиньоны. Километрах в трех от нашего села когда-то был хутор. Крестьянская семья, согласно столыпинской реформе, взяла себе отруб — несколько десятин земли — и начала хозяйствовать. Вероятно, теперь это могло бы быть превосходное крепкое хозяйство. Не так давно пришел ко мне один москвич-пенсционер. Он собирает разные исторические сведения о нашей Владимирской земле и уже насобирал много интересного и от времени польского нашествия, и от времени революции, и от времени крестьянских восстаний в годы между революцией и коллективизацией. Все он собирает тщательно и хочет написать даже вроде истории не то о становлении советской власти в наших местах, не то историю партийных организаций.

Он-то, этот человек, оказался сыном того крестьянина, который был хозяином хутора. Он подтвердил мне, что теперь это, вероятно, было бы большое и крепкое хозяйство, но все они, то есть он сам и его братья, разъехались в разные стороны, а на месте хутора — дома, двора, сараев и амбаров — теперь остался один только ряд дубов. Его отец посадил молодые дубки, вытянув их в цепочку. Они взялись, возмужали, выросли и теперь участвуют в созда-

нии пейзажа, их видно из нашего села. По непонятной случайности их до сих пор не срубили.

Когда он мне рассказал про свой хутор (были еще и другие подробности), я решил съездить на место прежнего хозяйствования русского крестьянина — посмотреть поближе дубки и само место, и вдруг попал на невероятные россыпи шампиньонов. Видимо, земля на месте хутора сильно перемешана с навозом, в том числе и с конским, потому что было у хуторянина несколько лошадей и несколько коров. Был и огород, который уваживали, был и двор, где навоз лежал кучами, был сарай, на месте которого перегнила сенная труха, и вот на столь уваженной почве теперь высыпали бесчисленные шампиньоны. Я брал только молодые и все равно не мог собрать всего урожая.

Теперь я должен рассказать совершенно фантастический случай, связанный с шампиньонами. Если бы существовала грибная цивилизация, если бы грибы вели свою историю, отмечали бы наиболее выдающиеся случаи из нее, а также наиболее выдающиеся грибные личности, то, несомненно, был бы воздвигнут памятник трем шампиньонам, выросшим в городе Москве в 1956 году. Могли бы даже и люди воздать должное этим шампиньонам, если не памятником среди столицы, то запечатленностью в сердцах и памяти. Потому что вот пример, на котором можно учиться.

Событие состояло в том, что осенью 1956 года на тридцатый девятый год советской власти, на Манежной площади, в трех шагах от стены Манежа, три шампиньона пробили из-под земли асфальт толщиной в несколько сантиметров, разворотили его, как взрывом, и вышли на свет божий.

Конечно, почва около Манежа под мертвым асфальтом уважена в течение веков: ведь в Манеже держали лошадей. Но какова сила жизни, каково стремление кверху, к свету, к солнцу, к воздуху, на свободу!

Спрашивается: почему же они не могли совершить свой подвиг раньше? Можно ответить, что в этот год создались благоприятные условия, может быть, в какую-нибудь трещинку просочилась вода. Но можно ответить и так: копили силы.

Как бы то ни было, когда в каком-нибудь деле становится очень трудно и кажется, что не поднимешь, не сдвинешь с места, и полная, бесконечная безнадежность, я вспоминаю о трех нежных, мягких, ранимых шампинь-

онах, разворотивших, словно граната, бесчувственный мертвый асфальт, который не сразу поддается даже отбойному молотку. Воистину эти три гриба заслужили памятник!

\* «Однажды мы были очевидцами колоссальной силы того же шампиньона. Дело было в 1963 году, примерно в конце августа. После работы я и жена решили пойти в кино. Взяв билеты примерно за час до начала сеанса, мы пошли по улице, как говорят, подышать свежим воздухом. Проходя мимо одного из домов, мы обратили внимание, что примерно на высоту 10—15 сантиметров приподнята большая плита асфальта. Я шутя сказал жене: «Смотри, вот где куча печериц (так у нас на Украине называют шампиньоны)». Своим словам я не придал серьезного значения. Но жена, подойдя, нагнулась и посмотрела под плиту асфальта. Видя, что выражение ее лица меняется, я также решил заглянуть под плиту. Картина была потрясающая. Действительно, куча печериц дружными усилиями сорвала с места кусок тротуара и приподняла его. Мы с женой с трудом (!) перевернули плиту асфальта, и наши глаза разбежались. Короче говоря, с собой в кино в срочной купленной «Экономической газете» мы несли килограмма 3—3,5 шампиньонов, причем один из них имел шляпку около двадцати сантиметров в диаметре и ножку в руку толщиной. Этот гриб и его собратья были перекручены от невероятных усилий, имели выступы и наросты, однако выглядели молодцами»\*.

## VIII

На сорок первом году своей жизни я решил ликвидировать большое белое пятно в своей биографии — поохотиться за сморчками. В самом деле, каких только грибов я не собирал, в каком только виде я их не пробовал! Но всегда висел на душе тяжелый груз, постоянно точила одна и та же мысль — сморчки.

Ведь как мудро устроено в природе. Только что сошел снег. До первых июньских колосовиков, до основных августовских россыпей, до хрустящего осеннего рыжика так далеко, что еще невозможно и помыслить, и вдруг оказывается, что и теперь, ранней весной, вырастают прекрасные грибы. Грибные подснежники! Как-то даже не верится. Зарождаясь в ледяной весенней земле, сморчки будут нести эстафету по апрелю и маю, чтобы передать ее белянским

дождевикам, бархатным подосиновикам, дружным ранним маслятам.

У нас в селе, насколько я помню, никто никогда не собирал сморчков. То ли непривычно ходить в лес сразу после снега, то ли потому, что сморчок редок и коротко его время и нужно ловить заветный час, охотников почти не встречается. Но тот, кто собирает, постоянен в своей привязанности к сморчкам и ждет апреля с большим нетерпением. У нас таким любителем сморчков был покойный Андрей Михайлович Симеонов, высокий сутулый старик с рыжими усами. Я был еще маленький, сам не видел, но слышал много разговоров о том, что Андрей Михайлович считает сморчок самым наипервейшим грибом. Наверно, он знал сморчковые места, мог бы подсказать, если бы я позаботился пораньше.

Сморчок для меня нечто таинственное. Подозреваю, что этот гриб, так же как папоротник или хвощ, — пережиток, остаток иных эпох, иного состояния земли. Недаром он растет одновременно с цветением волчьего лыка, реликтового ископаемого кустарника.

Легко представить себе среди гигантских полупрозрачных хвощей студенистые ноздреватые башенки, странные бугристые образования. Впрочем, я никогда не видел сморчков, так что представить их мне в любом виде было нелегко. Один раз, несколько лет назад, во время бездумной прогулки по лесу, попалось под палку нечто студенистое, какая-то набрякшая водой синевато-серая дрожалка. Я сшиб ее палкой и пошел дальше. Шагов через десять меня осенила догадка: наверно, это и был сморчок. С тех пор ничего похожего не попадалось мне больше на глаза. Идти же нарочно по сморчки все как-то не мог собраться с духом.

Моя жена чрезвычайно мнительна по отношению к грибам. Когда она училась в медицинском институте, им читали лекции по гигиене питания. Почему-то у нее в памяти после этих лекций осталось впечатление об ужасной коварности этих грибов. Правда, что бледная поганка, как помним, коварна, но нельзя же зловецкие качества бледной поганки переносить на все остальные грибы. Как-то в разговоре, не помню по какому поводу, я упомянул о сморчках. Тут же мне было сказано, что никогда в нашем доме не должно появиться ни одного сморчка, что этот гриб смертельно опасен и только очень опытные охотники могут позволить себе охотиться за сморчками.

— Да ведь все говорят: сморчки, сморчки — вкусный гриб, значит, едят, пробуют. В чем же дело?

— Дело в том, что рядом со сморчком растут строчки, которые не отличишь от сморчков неопытным глазом. А они-то, строчки, и таят в себе ужасную мучительную смерть. — Тут же по-медицински назван был яд, отравляющий организм, гелвелловая будто бы кислота, а также первые признаки отравления. Сухость во рту, перерождение печени, паралич и так далее.

Я усомнился. Мне хотелось заступиться за невиданные мною пока еще сморчки, и я полез в книжку-определитель. Готовясь посрамить медицину, я начал перелистывать страницы и споткнулся о примечание, набранное, правда, мелким шрифтом, но тем не менее: «Все виды сморчковых грибов в свежем состоянии подозрительны в отношении их ядовитости. Вследствии этого перед приготовлением пищи рекомендуется разрезать их на части и опустить минут на пять — семь в кипящую воду или облить кипятком и дать постоять под крышкой минут десять. После этого грибы вынимают, отжимают и далее поступают, как обычно. Воду же, содержащую в себе растворенное ядовитое вещество, выливают прочь. После такой обработки сморчковые многими считаются вполне безвредными...» Тут я поднял было торжествующий взгляд на свою оппонентку. Но торжество мое длилось недолго. Дальше в книжке было написано: «Однако этот вопрос окончательно еще не решен. Особенно в отношении пользующегося дурной славой строчка обыкновенного, который нами здесь и указывается как в числе съедобных, так и ядовитых...»

Крыть было нечем, остался только один аргумент — опыт. На него-то я и рассчитывал.

Весна в этом году развивалась необыкновенным образом. Мы выезжаем в деревню в последних числах марта, чтобы успеть проскочить по зимнему пути и застать всю весну, начиная с капелей, через полное таяние снегов до цветения яблонь. В первых числах апреля все рушится, плывет, курится паром. Поют жаворонки, расцветает мать-и-мачеха, грачи хлопотливо таскают на старые липы тяжелые ветки, отламывая их на старых же полуразвалившихся ветлах. Мы запоздали в этом году, ехали с огорчением, что многое уже пропущено, но попали неожиданно под устойчивые двадцатиградусные морозы с обжигающими северными ветрами.

Нетерпение мое было велико. Я несколько раз совался

в лес, но все было рано. То придешь, а в лесу еще тонкой дотаптывающей корочкой лежит снег, то убедишься, ткнув острой палкой, что земля, освободившаяся от снега, тверда, потому что не оттаяла. Не может быть, чтобы грибы росли из мертвой, окаменелой земли.

К этому времени я запасся самыми первыми сведениями из книжки, а именно, что сморчки растут в апреле и мае, редко, но местами довольно обильно в широколиственных лесах, ивняках, на более или менее плодородной почве. Значит, в хвойные леса, куда ходишь по осени за рыжиками, меня теперь не тянуло.

В широколиственных лесах устилала землю ровным слоем слежавшаяся, как войлок, серая прошлогодняя листва. Она осела под тяжестью зимнего снега, к ней прилипла перепутанная паутина. В ранневесеннем лесу гораздо просторнее, чем летом, когда каждый листок мешает смотреть вдаль, и даже просторнее, чем зимой, когда на ветвях, на кустах, на пнях полно снега. Весной видно далеко во все стороны, если, конечно, это не еловая частель, а вот такое осиновое либо березовое раздолье, по которому я теперь с наслаждением бродил. Под ногами как подметено. Всякий гриб, если бы он высунулся из-под ровной слежавшейся листвы, выделялся бы на ровном месте, был бы виден издалека.

Лесу я уделял три часа в день. За это время я успевал обойти столько, что ноги начинали всерьез гудеть. У нас леса не так чтобы очень велики, не бескрайни, казалось бы, где устать. Но в рвении я обходил вокруг каждый ивовый куст (написано в книге, что сморчки особенно любят ивняк), шел все время зигзагами, колесил, кружился, петлял, изощрялся. Увы, лес был абсолютно пуст. То есть он был пуст, с моей грибной точки зрения. Сам по себе он жил бурной весенней жизнью.

Однажды я остановился и вдруг услышал, что вокруг все шуршит, как будто идет легкий дождичек. Чем больше я вслушивался, тем сильнее и явственнее становилось шуршание. Причину его я разгадывал недолго. В этом месте среди осин и берез росли невысокие ели. Теперь с них на плотную, как бы даже звонкую слипшуюся листву обильно сыпались отжившие иглы. Впервые в жизни я наблюдал иглопад. Ветра не было. Значит, иглы падали сами по себе. Значит, им было положено в это время падать. По всему лесу, если хорошенько прислушаться, был слышен шелестящий, как дождичек, иглопад. Я поставил ладони.

и тотчас на них упало несколько отживших невесомых иголочек.

Прошлой осенью я паткнулся в лесу на две яблони. Одна из них на склоне лесного оврага в зарослях калины бросилась мне в глаза крупными желтыми яблоками. Я ее несильно тряхнул. Обычно, когда тряхнешь, слышен дробный стук о землю: одно яблоко падает первым, потом два вслед за ним, потом несколько штук сразу, потом одно или два с опозданием. На этот раз все яблоки словно только и ждали, когда их тряхнут — обрушились в один стук. Я собрал их в грибную корзину, наполнив ее доверху, и мы сварили из них отличное янтарно-прозрачное варенье. Яблоня оказалась яровой антоновкой. Но как она, привитая, попала в лесную глухомань на склоне буерака?

Вторая яблоня стояла на ровном месте среди поляны. Я набрел на нее неделей позже. Все яблоки упали сами и лежали теперь в зеленой траве, образуя желтый круг. Это была лешовка. Мелкие продолговатые плоды с бугорками у основания веточки были, конечно, очень кислы и вяжущи. Но опавшие, поднятые с осенней остывшей земли, они все же держали в себе какую-то тонкую затаенную сласть.

Теперь, весной, я наведалься к обеим моим знакомым. И под одной, и под другой яблоней я нашел по несколько яблок. Они были твердые, сочные, но насквозь коричневые. Я надкусил одно и услышал во рту прохладную винную крепость.

Что особенно радовало глаз в этом апрельском лесу, что делало мои прогулки поистине праздничными — это удивительные среди серого еще однообразия цветы, пробивающиеся сквозь лиственный войлок. Они росли чаще всего в осиннике. Они, может быть, не поражали бы яркостью где-нибудь среди июньского разноцветья, но теперь они так и горели, так и сверкали, как драгоценности. На одном стебельке покоились, свисая вниз, разноцветные венчики. Один венчик красный, другой венчик синий, третий фиолетовый.

Как и большинство людей, живущих на земле среди цветов и любующихся их красотой, я не знаю названия большинства из них. Не знал я и теперь, как называются эти ранние весенние гости. То есть, вернее, может, я забрел к ним в гости. Они обитали здесь на правах законных и старинных жителей леса. Правда, тем они похожи на гостей, что отцов ли и — нет. В конце мая я не встречал уж своих весенних знакомцев.

Так как я заранее предполагал, что где-нибудь обязательно придется упомянуть об этих цветах, нужно было узнать их название. Я очень опасался, что, может быть, они называются как-нибудь неинтересно, как-нибудь казенно, по-научному, и название их больше годится для научной статьи, нежели для легкомысленных заметок о весеннем лесе.

Моя десятилетняя дочь, которую всегда я учил разным земным названиям, впервые научила меня. «Да это же медуница!» — воскликнула она, как будто все эти десять лет она только и делала, что собирала медуницы. Я обрадовался. Какое дивное название. Можно сказать, что мне повезло. Медуница!

Чтобы проверить сведения, полученные не из столь уж надежного источника, я полез в ботанический атлас Монтеверди. Нашел на цветной таблице мой цветок, читаю название: «Легочница лекарственная». Фу-ты, грех, отдает аптекой и приемным покоем. Легочница... Это скорее подходит для названия болезни, нежели для свежего, бесконечно прекрасного среди пепельной прошлогодней листвы цветочка.

Безо всякой надежды я заглянул еще в книгу о лекарственных растениях нашей страны. Перечитываю длинный указатель названий. Никакой легочницы нет. Нахожу медуницу, и что же? Да, это она, моя медуница, ее разноцветные бубенчики. Рассказано даже, что сначала... да вот не угодно ли просветиться вместе со мной: «...Многолетнее травянистое растение семейства бурачниковых. Имеет тонкое ползучее темно-коричневое корневище с длинными шнуровидными придаточными корнями. Стебли высотой пятнадцать — восемнадцать сантиметров, листья цельнокрайние, заостренные, иногда с буроватыми пятнами. Цветы средней величины, правильные, обоополье, диморфные, сидящие на коротких цветоножках, расположенных на верхушках цветonosных стеблей. Венчик опадающий, воронковидный, первоначально красный, затем фиолетовый, а под конец синий. Цветет в апреле, мае. Трава применяется в народной медицине в качестве слизистого, мягчительного». Но оставим ученую книгу, пока снова не запахло амбулаторией. Главное, мы выяснили, что все-таки — медуница и почему на одном стебельке разноцветные бубенчики. В другой книге я прочитал, что синие цветки посещаются только случайными неопытными пчелами, потому что сласти в них уже нет.



Но сласть сластью, а красота красотой. В неприбранном в безлистном и бестравном лесу цветы медуницы были для меня как дивная сказка. Они и теперь стоят перед моими глазами. И, может быть, в следующую весну я пойду в лес не ради сморчков, но ради того, чтобы взглянуть на цветущие медуницы.

В буреке мне попадались кусты калины. Я удивился, увидев на голых ветвях все такие же ярко-красные, все такие же каленые прошлогодние ягоды. Они перезимовали в лесу и, наверно, были зимой во время морозов как звонкие камешки, а теперь оттаяли, но все еще не упали на землю. Удивительнее того, что их не склевали птицы — большие охотницы до всякой полезной ягоды. Каждая ягода была как крепкий кожистый мешочек, наполненный чем-то жидким, этаким крохотный бурдючок. Я клал ягоду в рот, прокусывал ее, и содержимое выливалось мне на язык. Тут же попадалась и косточка, которую я выплевывал. Содержимое мешочка было прохладным и очень вкусным. По вкусу это больше всего походило на клюкву, но только гораздо слаще, или, вернее сказать, что клюква гораздо кислее, потому что и теперь, после морозов, калину трудно было назвать сладкой ягодой. Есть ведь знаменитая поговорка: «Калина сама себя хвалила — я с медом хороша. Мед сказал — а я и без тебя неплох». Несправедливо. Сходите в апреле в лес, и вы поймете, что апрельскую калину не нужно противопоставлять меду, у каждого свой вкус, у каждого своя прелесть. И, может быть, в следующую весну я пойду в лес не ради сморчков и даже не ради медуниц, а ради того, чтобы насобирать прошлогодней калины.

Однако что же мои сморчки? В том-то и дело, что сколько я ни ходил, как ни вглядывался, мне не попалось ни одного сморчка. Попадались прошлогодние онята и валуи, темно-коричневые, засохшие на корню, мумии прошлогодних грибов.

Известно, для того чтобы увидеть в лесу нужный гриб, птицу, притаившуюся в ветвях, птичье гнездо, орех на ветке, одним словом, все, что редко попадает и так или иначе прячется от глаз, надо держать в воображении то, что ищешь. Олдридж в своей книге о подводной охоте рассказывает, что, когда ему хотелось в подводных скалах увидеть зеленушку, он держал ее перед внутренним зрением, и тогда она попадалась скорее.

Я знаю это правило и всегда пользуюсь им, когда что-нибудь ищу в лесу, но вот беда, я никогда не видел живого

сморчка. Значит, теперь в моем воображении вставляли только картинки, только нарисованные сморчки, а это, согласитесь, не одно и то же, что настоящий гриб, среди настоящих деревьев. Некоторое время я думал, что оттого и не могу разглядеть сморчка среди листвы, что не представляю, как он должен выглядеть. Правда, здравый смысл говорил другое: ведь прошлогодние сухие валуи и опять я тоже не держу в воображении, однако они попадают мне то и дело. Что-то тут не так. Но что? Казалось бы, все условия соблюдены. Время? То самое — апрель. Лес? Тот самый — лиственный, с примесью черной ольхи, ивняка, осины — самый сморчковый лес. Старание? О, старания было больше, чем нужно. В один день я обошел всю правую сторону Журавлихи. В другой день перешел на правый берег реки в подосинник, что подымается на гору и поэтому располагается несколькими ярусами один над другим. В третий день я пробрался за Крутовской овраг и ходил по снегиревской стороне и дошел чуть ли не до Снегирихи. В четвертый день я бродил по Самойловскому лесу. На пятый день я вернулся снова в Журавлиху и ходил по ней кругами и зигзагами, пока наконец не выбрал на опушке леса сухого, нагретого апрельским солнцем пригорка и не устроился на нем отдохнуть, потому что был уже совсем без ног.

Дремучая ель осенила меня своими длинными черными лапами. Ветерок тянул с юга. Он легко, неназойливо обдувал, и я чуть ли не задремал, привольно раскинув праздные руки. Я любил в эти дни отдыхать вот на таких пригретых пригорках. Земля вокруг еще сырая, холодная. Сначала, если сесть на нее, словно бы ничего, но потом услышишь, как из глубины земли уверенно, устойчиво поднимается холод. А на пригорке, к припеку, чем больше лежишь, тем теплее становится. Иногда я зажигал маленькую теплинку, не для тепла, для забавы — очень люблю глядеть на ручной огонь. Положишь несколько сухих словых веточек тоньше карандаша, подложишь под них сосновую ветку с сухими рыжими иглами, поднесешь спичку. Сухая, белесая, выгоревшая на солнце, вымокшая от дождей и под снегом, выветрившаяся на ветру трава начнет выгорать вокруг теплинки. Интересно следить, как крохотные красные хищные зверьки врасынную начинают свой бег во все стороны, как безошибочно они перепрыгивают с травинки на травинку, впиваются в нее. Травинка взвизгивает на дыбы, как олень, на загрявок к которому прыгнул кровожадный

соболь, извивается в агонии и падает черным невесомым пеплом.

Я даю выгореть сухой траве на полметра вокруг основного огонька, потом приструниваю огненную конницу, этих все более разгульных, все более беспощадных, более многочисленных зверьков. Я приструниваю их обыкновенной сосновой веткой либо даже своей палкой. На том месте, где прекратился бег огненного лоскутка, завивается тонкая струйка душистого лесного дыма. Посредине черного выгоревшего круга моя теплинка горит спокойным ровным пламенем. Я подкладываю в нее палки потолще, чтобы можно потом сидеть не подкладывая.

Стоит, стоит ходить в весенний лес и впредь, если не ради этих проклятых заколдованных сморчков, то ради того, чтобы на сухом пригорке посидеть и поглядеть на теплинку.

В этот раз на опушке я увидел, что ко мне, издали улыбаясь, идет пастух. Всегда, когда охотник, рыбак или грибник возвращается пустой, ему досадно встречаться с людьми, которые будут заглядывать в ведро, сумку, корзину. Правда, я в эти дни слегка хитрил. Не брал кузовка, но клал в карман авоську. Если и ничего не найду — не беда. Я ведь просто ходил на прогулку. Если же найду — в авоську поместится не меньше, чем в кузовок.

Пастух присел около теплинки и тотчас вызвал меня на полную откровенность, можно сказать, вывернул наизнанку. Не заметив как, я начал ему жаловаться, что вот который день хожу и хоть бы один сморчок. Наверно, потому, что поздняя весна. Все ведь в этом году запаздывает на три недели.

— Да ты что?! — удивился пастух. — Вчера Игнат принес с Прокошинской горы бадью верхом. Такие крупные, ядреные. Да сегодня еще Катюшка Громова на той же горе мимоходом фартук набрала. Слышь, Иван очень любит жареные. Да их там на горе-то! Ты ступай скорее туда. Ты там наберешь сколько тебе надо. Вчера Игнат целую бадью приволок.

Прокошинскую гору я знал. Тем большее недоумение вызвал у меня рассказ пастуха. На Прокошинской горе стоят очень редкие сосны и очень частые сосновые и еловые пни. Между пнями груды валяются полуистлевшие сучья. Груды, некогда пышные, теперь осели, распластались, меж сучьями пробилась трава, которая обычно растет на порубках: иван-чай да крапива. Попадаетея

и лесная малина. Некоторые кучи хвороста в свое время сожгли. Пепелища на их месте тоже заросли травой. Вокруг пней и хвороста в неправдоподобном изобилии растет земляника. Ближе к пням она мелкая, суховатая, ближе к хворосту в высокой траве — крупная и сочная. Благоприятная земляничная гора.

Мне, рыскавшему в эти дни по влажным широколиственным лесам, и в голову не приходило наведаться на Прокошинскую гору. Признаться, и теперь, идя к ней, я не очень-то верил рассказу пастуха. Наверно, решил подшутить. Будет смотреть мне вслед, пока я не дойду до сопковых пней и горелых мест, а потом покатится со смеху. Недоверчиво обошел я вокруг первого пня, прошел дальше и вдруг замер от восхищения. То есть восхищаться, может, было вовсе нечему, потому что если нужно было бы придумать совершенное грибное уродство, грибного квазимодо, то, верно, нельзя было бы придумать ничего лучше увиденного мною теперь некоего коричневого образования.

Но я и не оговорился. Действительно, первый увиденный мною сморчок восхитил меня сначала одним тем, что я его увидел, а потом я нашел даже в нем своеобразную красоту. Может же быть красивой лягушка, хотя с детства она служила нам символом чего-то уродливого, неприятного, мерзкого, до чего противно дотронуться, а не то что взять в руки и полюбоваться.

То, что росло передо мной теперь, больше всего напоминало по виду аккуратно очищенное ядро грецкого ореха. Цвет темно-коричневый, размер с хороший кулак. Нечто мозговидное, с извилинами, с глубокими пазухами, в которых прохлаждались улитки. На срезе похожее на хрящ, белое, с легким фиолетовым оттенком.

Восторг золотоискателя, наткнувшегося вдруг на обильную неспясаемую жилу, охватил меня. Почти около каждого пня я находил по два, по три этих нелепых детища не всегда нам понятной природы. В самом деле, мало ли обыкновенных с ножками и шляпками грибов. Теперь вот понадобились еще эти уроды, эти очаровательные, эти восхитительные уроды, эти сочные крепыши. Зачем-то они нужны природе, и нужны именно теперь, в апреле, как только растает снег. Этой маленькой тайны мы никогда не узнаем. Да и что нам за дело. Главное, что авоська моя полна, набита битком. Пастух восторженно машет мне издали, и я гордо поднимаю авоську вверх. Впервые за все эти дни я возвращаюсь домой с добычей, да еще с какой.

В сущности, много ли надо для того, чтобы человеку стало радостно.

Мои дочки, увидев полную авоську диковинных грибов, запрыгали, захлопали в ладоши. Жена отнеслась к сморчкам более сдержанно, но все же и она удивилась, что наконец-то я добился своего, чего хотел. Да и просто так нельзя было не удивиться, впервые в жизни увидев такие необыкновенные грибы. Тем не менее жена спросила:

— А ты уверен, что среди этих сморчков нет ни одного строчка?

— Что за вопрос? Вчера Игнат набрал целую бадью. Да еще Катя Громова насобираала целый фартук. Игнат бывший лесник, неужели он не знает, что такое сморчки.

— Я вижу теперь, что это сморчки, но дело в том, что мы никогда не видели строчка и не знаем, чем он отличается...

Содержимое авоськи мы высыпали на стол, и все четверо дружно принялись за разборку. Теперь у нас не было разнообразия в ассортименте. Одни сморчки. Мы резали их как можно мельче, тщательно очищали от земли в глубоких складках, от притаившегося там то муравья, то улитки. Хрупкая плоть наших грибов резалась великолепно, и вскоре перед нами стояла большая кастрюля коричневого крошева.

Варили мы это крошево очень тщательно, кипятили, сливали воду, снова кипятили. Потом, откинув в дуршлаг, начали жарить. Хозяйка все время приговаривала, что она в рот не возьмет эту отраву, а я говорил, что и не надо, что я испробую сначала на себе, только ради бога поджарь.

Грибы очень сильно уварились. От полной кастрюли осталась едва ли треть, но все же на сковороде они распределились толстым слоем. Тогда мы еще не знали, как нужно правильно готовить сморчки. Мы просто жарили их в масле как можно дольше. Грибы беспрерывно трещали, взрывались, как в печке сырые дрова. Стрельба несколько смущала нас, но мы утешались тем, что, вероятно, как раз в это время и выходят из грибов все зловердные и ядовитые соки.

Когда грибы хорошенько поджарились, все стали смотреть на меня, осмелюсь ли я поднести вилку ко рту. Но я не только поднес, но стал энергично жевать плавающие в горячем масле черненькие комочки. Жена, естественно, не позволила мне испытывать судьбу одному и, желая разделить любую участь, тоже начала есть.

Мы ели, стараясь понять, на что это похоже по вкусу. Когда я уже решил про себя, что это похоже больше всего на жареные бараньи кишки, я спросил у жены, что думает она. «Жареные бараньи кишки», — без запинки ответила моя сотрапезница.

Девочек в это время позвали гулять подружки. Мы решили оставить им грибов на сковороде, чтобы они попробовали потом. Сам я пошел к себе на диван и стал прислушиваться, не начинаю ли я умирать от действия таинственных и беспощадных ядов. Лениво взял я тут же лежавшую книжку Васильчикова о съедобных и ядовитых грибах. Как же так, думал я, Васильчиков утверждает, что сморчки нужно искать в широколиственных, и я потратил столько времени. А оказывается, на сухой горе, на порубке, около пней да горелого хвороста. Вот и верь после этого научным книгам. Да, точно. Ошибки нет. Вот они, сморчки... Надо же допустить такую ошибку в книге. А вот и злополучные, пользующиеся особенно дурной славой, строчки: «Мозговидные, темно-бурые, несколько фиолетовые на срезах...» Что такое?! (Я даже подпрыгнул на диване.) «На вырубках, около сосновых пней, на пожарищах...»

Тотчас я почувствовал некоторую сухость во рту и в гортани и даже вроде бы легкое головокружение. Снова я побежал на кухню. Я боялся, что, может быть, девочки уже съели остатки грибов, что, может быть, жена уже валяется на полу в мучительных корчах. Но все на кухне шло своим чередом.

— Знаешь, — сказал я, — подождем давать девочкам грибы до завтра. Мало ли... А уж завтра, если с нами ничего не случится...

— А что такое, раскрывай, ты что-то знаешь.

— И знать нечего, это были обыкновенные строчки.

Вопреки здравому смыслу, мы расхохотались. Я думаю, больше всего нас успокаивало отсутствие слухов о скоропостижной смерти мужика Игната, насобравшего целую бадю, а также и Кати Громовой, насобравшей целый фартук.

Впоследствии я убедился, что наши местные жители вовсе не различают сморчков и строчков, но все, что растет похожее на гриб в апреле и раннем мае, называют сморчками. Оно и проще.

Более того, на рынке в Москве я видел потом большие кучи строчков и сморчков, лежащих либо по отдельности, либо перемешанных между собой, но все равно все это

называлось одним словом — сморчки. У московских хозяек мы узнали, как нужно по-настоящему готовить сморчки (строчки, сморчки конические, сморчки обыкновенные, сморчковую шапочку и прочее). Сначала мы действовали правильно. Грибы нужно прокипятить, а потом вымыть в свежей воде. Оказывается, яд, если он там и есть (гельвеловая кислота), хорошо растворяется в горячей воде. Затем грибы нужно немного обжарить в сливочном масле, залить сметаной и тушить в духовке. Тогда они гораздо меньше напоминают вкус жареных бараньих кишок, тогда они очень нежны на вкус и вполне заслуживают, чтобы за ними охотиться.

\* Дополнения читателей о сморчках и строчках.

«В отношении строчков и сморчков. Все они (а не только строчки) ядовиты. Яд у них находится в поверхностном слое шляпки. Для удаления яда их буквально на 5 минут достаточно опустить в кипящую воду. Долго варить и жарить их, безусловно, не следует, а то не то что бараньими кишками, а еще невесть чем покажутся. Резать их тоже не надо, даже самые крупные строчки после бланшировки надо слегка обжарить и полить сметаной. Это очень вкусно».

«Хочу сказать о строчках и сморчках. Попробуйте приготовить их следующим образом. Целыми, только принесенными из леса отварить их в бурно кипящей воде минут 10—15 (воды должно быть в два раза больше, чем грибов). Выложите строчки на решето или дуршлаг, облейте холодной водой. Нарежьте грибы помельче, положите в глиняную плошку. Приготовьте два-три яйца, взбитые в молоке. Залейте рубленые грибы, посолите, перемешайте, запекайте в русской печи или в духовке. Когда будете подавать на стол, на румяную корочку грибов полейте растопленное масло по вкусу. Так готовила грибы моя мама».

«Прочитав ваши «Письма» о грибах в журнале «Наука и жизнь», я с удивлением заметила, что такой эрудированный специалист, как вы, оказался совершенно беспомощным при приготовлении сморчков! А ведь существует абсолютно точный рецепт, да какой — литературный! Если он вам не известен, то советую и как повару, и как писателю познакомиться с этой очаровательной вещицей. Это «Сморчки» Терпигорева (изд-во Маркса, т. IV). А судя по ва-

шему дилетантскому подходу к обработке и приготовлению этих редких грибов, вы с рассказом Терпигорева не знакомы. Прочитайте обязательно. Во-первых, получите удовольствие. Терпигорев чудесный писатель. Кажется, лет 10 назад кое-что из его вещей переиздавали. Отбор был сделан очень официальный, по БСЭ, а редактор, как большинство без вкуса и самостоятельного мышления многое упустил. Во-вторых, сможете насладиться сморчками по рецепту XIX века» \*

Я пишу эти строки в деревне. У меня нет под руками Терпигорева, «Сморчки» которого я действительно не читал. Что ж, может быть, к лучшему, может быть, и некоторые читатели заинтересуются рассказом Терпигорева и через такой пустяк, как сморчки, познакомятся с писателем, которого я тоже считаю великолепным и незаслуженно забытым.

Но что же все-таки настоящие классические сморчки, растущие в широколиственных? Неужели я потом так и не встретил их в наших лесах?

После того как мы по ошибке наелись строчков, мне нужно было уехать по делам в Москву. Я пробыл в городе две недели. За это время в лесу пробивалась трава, распустились листья, папоротники из завитков, похожих на вопросительные знаки, развернулись в широкие опахала. Казалось бы, ранняя весна, как таковая, прошла. Действительно, на злополучной горе с сосновыми пнями и горелым хворостом я не встретил больше ни одного строчка. Даже трудно было представить, что именно здесь-то в изобилии росли эти симпатичные уродцы. Их время прошло, и никакая сила не заставит их показаться снова в неурочное, в не запрограммированное для них время.

Зато в лиственном лесу мне то и дело стали попадаться эдакие изящные, поздравятые восточные минареттики, сооруженные природой из желтоватого с фиолетовым оттенком материала. Вот они какие, настоящие классические сморчки! Ничего бесформенного, мозговидного, безобразного. Полная симметрия. Прямая трубчатая ножка, довольно высокая, овальное тело, заостренное кверху. Если тело округлое — сморчок обыкновенный, если очень уж заостренное — сморчок конический.

На склоне оврага под старыми лесными ивами мне попался большой выводок очень странных сморчков Нож-



ка неестественно высокая, апельсинового цвета, на самом кончике ножки непропорционально маленькая, сморщенная, как бы приклеенная всеми краями, шляпочка. Я нарезал этих желтых грибов полкорзины и дома точно выяснил, что, оказывается, я познакомился еще с одной разновидностью сморчков, а именно, с так называемой сморчковой шапочкой. Но весна действительно кончилась. Просторные без листьев леса, шуршащие иглопады, теплички на обогретых сухих пригорках, прошлогодняя калина, первые цветы медуниц и волчьего лыка, первые и последние, теперь уж удивительные проявления природы, я бы даже сказал — чудеса природы, которые в простоте душевной мы называем пренебрежительным словом «сморчки», — все это было теперь позади.

Наступила пора, с точки зрения грибника, выходить из волглых лесов на зеленые косогоры и луговины, где, принимая грибную эстафету, вот-вот появятся такие белые, такие заметные среди зеленой, еще не подросшей травы, такие крепкие по своей молодости дождевики.

# ГРИГОРОВЫ ОСТРОВА



ЗАМЕТКИ О ЗИМНЕМ УЖЕНИИ РЫБЫ





К этому приобщаются все по-разному. Вот, например, как приобщилась Мария Федоровна, женщина лет пятидесяти, этакая хлопотливая московская домохозяйка, по виду которой нельзя было бы сказать, что она тоже приобщилась к этому.

Я встретил ее у моего приятеля. Она сдавала ему комнату. Ну а я пришел к приятелю в гости. Пили чай, разговаривали. В разговоре я непароком упомянул что-то, относящееся к этому. Может быть, были произнесены и непосредственно сами магические слова, само название дела. Так или иначе, но Мария Федоровна вдруг вышла за перегородку и вернулась, держа в руках круглую банку из-под кетовой икры. В банке помещалась рыбка средней величины, вырезанная из пробкового материала, а в нее со всех сторон воткнуты всевозможные, разнообразнейшие мормышки.

— Мария Федоровна, неужели, возможно ли?

— Нет, ты погляди, что за «клопик»!

«Клопик» действительно был превосходен. Он был изящен, поворотлив и для своего размера очень-очень тяжел. А ведь для мормышки и нужно, чтобы как можно меньше размером и как можно тяжелее.

— А что за «овсинка»! — продолжала между тем хозяйка необыкновенной коллекции. — Не успеешь опустить, как бросаются плотва и густера. Это ведь нарочно для плотвы «овсинка». — И она, любовно держа на ладони, рассматривала мормышку в виде овсяного зернышка.

— А эта какова?!

Крохотная капелька, красенькая с одной стороны, светленькая — с другой, так и играла на свету, так и переливалась. Так и представлялось, как она тонет, уходя в зеленоватую толщу воды и унося с собой ярко-рубинового лакомого мотыля. А там, возле дна, ждет ее красноперый горбатый окунь.

— Мария Федоровна, но если вы не ругаете мужа за это увлечение, то вы удивительная женщина. Все жены ругают за это своих мужей. Да оно и понятно. Целую неделю муж и жена на работе. Мало видят друг друга. И наконец приходит воскресенье. Тут-то и провести время вместе — схо-

дить в кино, в театр, в музей, в гости к знакомым, дома посидеть, наконец, принять гостей. Но, оказывается, муж только и ждал воскресенья, чтобы надеть валенки с галошами, ватные штаны, шубу (а поверх шубы брезент), шапку, рукавицы, взять этот ненавистный, этот проклятый ящик. эту нелепую, уродливую железную палку, острую на конце, и уйти из дому в три часа ночи. А частенько и с вечера.

— А то как?! — возбудилась вдруг Мария Федоровна. — А я, думаете, не кляла? А я, думаете, дорогу не заступала? Да еще переживаешь целый день, как бы не утонул. По первому льду до греха недолго.

Тут Мария Федоровна на некоторое время замолчала, а потом уж и высказалась до конца:

— Я ведь три (с таким ударением на слове «три») ступени прошла.

— Какие же, Мария Федоровна, ступени?

— Сначала я вязала узлы. Как начнет он собираться в свою отлучку, я все простыни, все белье из комода — в узел. Если уйдешь, бесстыжие твои глаза, то я из дому долой. И не жди меня больше, и не жди, не вернусь..

Он, известное дело, усмехается, пешню в руки, ящик через плечо и пошел. Нечего делать, не целый же день на узле сидеть, развязываю. Снова все распределяю по комоду. И простыни, и белье...

— Значит, это и была ваша первая ступень?

— Она и есть. После нее я стала менять свою стратегию. Соберется он утром, станет завтракать, я ему к завтраку четвертинку. Ну, думаю, сейчас он выпьет, обмякнет, разогреется и не захочется ему на целый день на мороз. А захочется обратно в постель. Он, проклятый, четвертинку выпьет, усмехнется и пошел. Нет, погоди, я тебе в другой раз — пол-литра. После пол-литра уж никуда нельзя, кроме как спать. Но он и тут приспособился. Половину сейчас, за завтраком, выпьет, а другую половину пробочкой заткнет и — в карман.

— А какая же, Мария Федоровна, была ваша третья ступень? Снова меняли свою стратегию?

— Неуж. Если ты, говорю, не хочешь со своей женой дома сидеть, то я с тобой буду ездить на эту твою... рыбалку. А чтобы каждое воскресенье поврозь — того не допущу... Ну и что же, съездили мы три воскресенья, на четвертое он, смотрю, не собирается. В кино, говорит, ходим, Иван Ивановича в гости позовем, в шашки давно не играли. Ну и ладно, думаю, не поедем. А червячок так и сосет, так

и сосет. Спать легли — спать не могу. Степан, говорю ему, Степан, а может, съездим хоть на полденька, опустим мормышку. Погода тихая, теплая, обязательно будет клев. Ну хоть недалеко, хоть в Хлебниково или хоть в Водники.

— Спи, говорит, старуха, сказал — не хочу, да и мотыля нет.

— Что ты, Степан, мотыля я уж с четверга запасла. Крушный такой, что твои спички. Живой. Я уж его и крахмальцем пересыпала... Так-то вот и кончилась моя стратегия.

Мой друг и земляк, а в будущем учитель по этой части, Саша Косицын, как и каждый человек, родившийся на нашей маленькой Ворще, тоже сначала и представить не мог, чтобы зимой можно было ловить рыбу удочкой.

Когда приехал он учиться на высшие офицерские курсы, расположенные на берегу большого подмосковного озера, то, конечно, из окна каждый день видел заснеженную ровную скатерть озерного льда, окаймленную ровными зимними кустиками. Так было в будние дни.

— В воскресенье посмотрел я в окно, — рассказывает Саша, — и сильно удивился: зачем на озеро навозили навозу? Этакие ровные черные кучки. Точь-в-точь как у нас на полях. Посмотрел через час — прибавилось. Столько появилось черных кучек, что хватило бы на удобрение целому колхозу. Но зачем они оказались на льду? Взял лыжи, поехал на озеро — посмотреть. Подъезжаю ближе к первым черным кучкам и глазам не верю: вроде бы люди. Подъезжаю еще ближе, так и есть — старичок. Прорубочка возле него (тогда еще не знал, что это называется лункой). В прорубочку он опустил некую мудреную снасть, сидит. А возле него, на снегу, скрючившись от мороза, закованные окуньки, окуньки, окуньки.

Но это, конечно, нельзя считать крещением Саши. Крещение он получил впоследствии, на Плещеевом озере, в солнечный мартовский день (в конце марта), когда на льду собирается уж талая вода и можно снимать шубу и даже загорать.

В конце марта, придя в понедельник в какое-либо московское учреждение (например, в министерство), вы сразу можете определить, кто вчера был на льду. Лица у этих людей горят пунцовым, свежим загаром.

Однажды я был на приеме у довольно высокопоставленного лица. Дело у меня было очень самолюбивое, и я никак

не мог сразу выйти на прямую линию разговора. Пока начальник разговаривал по телефону, я немного успокоился и даже обратил внимание на то, что лицо у него так и горит, так и пылает.

— Ну так в чем же ваше дело? — сухо спросил он, положив трубку и поднимая на меня свои в общем-то не строгие глаза.

— Дело я сейчас расскажу, но нельзя ли узнать, как вчера — удачно или нет?

Вопрос был рискованный, так сказать, игра ва-банк, потому что неизвестно все-таки доподлинно, что он делал вчера: может быть, играл в карты, может быть, ужинал с друзьями, может быть... мало ли что может быть.

— А у вас? — в свою очередь спросил меня начальник.

— Да про нас-то что говорить. Мы пустые не приезжаем. Килограммов восемь я привез.

— Не может быть! — даже подпрыгнул мой собеседник. — А где? Где?

— В Конакове, конечно, на Григоровых островах.

— Черт возьми, а мы поехали в «запретку», знаете, там, за Завидовом, на Шошу и Ламу, одним словом, и, поверите ли, ни черта! Уж я и так, я и этак. И в полводы, и на шевеление в грунте, и на потяжку... Ведь лесочка у меня (знакомый из Парижа привез) поль-поль восемь. Казалось, уж чего бы ей надо. Какая же у вас была мормышка? Вот я вам сейчас свою покажу.

Он полез в бумажник, достал оттуда кусочек картонки с наколотыми в нее мормышками.

— Посмотрите, на Птичьем рынке покупал, по рублю за штуку. Чего бы ей еще?!

— Э-э, нет. Хотя это и с Птичьего рынка... Вот я вам сейчас покажу... Один мой приятель, старый рыбак, у себя дома отливает их... Вот она, голубушка, удивительно ловкая<sup>1</sup> и ни одного схода... Если хотите, попробуйте в следующее воскресенье!

Пальцы у него, когда он принимал от меня мормышку, дрожали, как будто он брал... Впрочем, тут и сравнивать не с чем — уникальная кустарная мормышка!

Надо ли говорить, что я просидел в кабинете начальника еще около часу и что дело мое в последние полминуты решилось в нужную сторону.

---

<sup>1</sup> Распространенное среди рыбаков новое словообразование от «ловить».

Но я отвлекся и не досказал, что мой учитель Саша свое крещение получил на Плещеевом озере, в солнечный талый мартовский день, надергав на лунки в течение дня триста восемьдесят ершей.

Хорошо, когда посвящение новичка в зимнюю рыбалку начинается с такого, пусть и ершиного, клева. Тут он гибнет сразу и прочно, на всю жизнь. Если даже потом и будет ловиться по десять штук в день, все равно рыбак будет надеяться и ждать своего часа, своего дня, когда жаркое солнце на льду, и талая вода под рыбацким ящиком, и триста восемьдесят поклевков в день.

Впрочем, было бы большой несправедливостью, если бы только одного Сашу Косицына я считал своим учителем в этом деле. Есть человек, который в течение нескольких лет исподволь взрыхлял и готовил почву. Мы с ним встречались редко, потому что часто ли можно встретить в Москве на улице случайно одного и того же человека. Помогала, правда, нашим встречам общность профессии: он ходил по редакциям и издательствам, я ходил по издательствам и редакциям. Нет-нет да и встретимся.

Литератор по профессии (поэт, но главным образом переводчик), Герман Моисеевич Абрамов представляет собой тот редкий, совершенный тип рыболова, когда рыбалка не воскресное развлечение, а почти вторая профессия, когда рыбацкая страсть поставлена на теоретическую основу и подкована на все копыта.

Именно Герман Абрамов отлил ту мормышку, которой я поразил впоследствии начальствующее лицо, будучи у него на приеме.

Герман немного глуховат, поэтому разговаривает громче обычного. Встретимся где-нибудь возле Новослободского метро.

— Ну, как дела? — спросит Герман на всю улицу. — На рыбалку не собираешься?

— Нет, я люблю летом, в июле, когда кувшинки на воде, а кругом мята.

— Мята — ерунда! — кричит Герман. — Сейчас я покажу тебе мормышку. Сам отливал. Кроме того, я придумал новую систему сторожка. Я теперь делаю сторожки из часовой пружинки. Хочешь, зайдём ко мне, покажу, я тут недалеко живу.

Среди улицы я разглядывал некий свинцовый шарик с крючком, впаянным в него, и делал вид, что мне инте-



решно, что и я не лыком шит и что-нибудь понимаю в этом свинцовом шарике.

— У нее очень своеобразная игра, — разъяснял между тем Герман. — Окунь ее очень любит.

Казалось странным, почему окунь должен любить свинцовую штучку.

— Ну, если не хочешь зайти, бывай. А то зайдем. Если хочешь, я снаряжу тебе удочку с моей системой сторожка. Это будет не рыбалка, а ювелирная работа.

Так уж всегда бывает в жизни. Сколько раз звал меня Герман к себе — все некогда да некогда. Когда же понадобилось, когда появилась нужда, сам через издательство узнал адрес Германа, сам пришел к нему без приглашения да еще и с просьбой.

Вся семья Германа — жена и двое взрослых сыновей — ютилась в небольшой комнате в старом доме внутри мрачноватого краснокирпичного двора. Тесно и душно было в комнате, но Герман встретил меня радушно, по своему обыкновению, громко заговорил:

— Ну вот, я знал, что когда-нибудь придешь. Наверно, решил приобщиться к зимней рыбалке?

Герман угадал. В ближайшее воскресенье Саша Косицын уговорил меня выехать с ним на лед (на его стареньком, истрепанном по разным водоемам «Москвиче»), и теперь нужно было обзавестись всем необходимым. Не помешала бы и лишняя консультация.

Герман выдвинул несколько ящичков в сооружении, похожем на комод, и перед глазами открылась картина, которая, как я теперь понимаю, ввергла бы в трепет любого рыбака. Тут были деревянные формы для отливки летних крупных грузил. Отлитые грузила — то сигарообразные, то в форме вытянутого ромба — лежали тут же. Бесформенные кусочки свинца ждали своей очереди. В других дощечках были выдолблены аккуратные формочки для отливки мормышек. Яркие медные пластиночки, серебряный полтинник, изрубленный на куски, напильнички для зачищения мормышек после отливки, наждачная бумага для осветления их, суконочки для окончательной шлифовки, крохотные брусочки для заточки крючков, иголки для прочности отверстий в мормышках, ну и сами мормышки, наконец: мормышки «клопики», мормышки «гробики», мормышки «капельки», мормышки «рыбий глаз», мормышки «красненькие», мормышки «комбинированные», мормышки «шестигранные», мормышки «дробинки», мор-

мышки разнообразные и многочисленные — представляли собой целую коллекцию, которую, верно, пришлось бы собирать годами. Да ведь у Германа коллекция и накопилась не за год, не за два, а может быть, за тридцать лет его рыболовной деятельности.

Особый отдел в его хозяйстве составляли блесны. Боже мой, каких только форм, каких только оттенков тут не было!

— Блесну чисти так, — учил Герман. — Свинцовую, исподнюю, сторону — острием иголки, видишь, она сразу начинает играть; наружную, медную, сторону — шкурочкой. В банке, которую берешь с собой на лед, обязательно должны быть шкурка и иголка. Иголка понадобится также, чтобы развязывать узел на леске.

Тут ведь в чем вся тонкость и все существо? Мормышка должна быть как можно меньше. Но если маленькую мормышку привязать к толстой леске, то она будет плохо тошуть, не даст игры, не передаст игру на сторожок. Значит, леска должна быть как можно тоньше. Но тогда ее оборвет крупный окунь. Значит, леска должна быть и тонкой, и прочной. Если кто-нибудь из твоих друзей поедет за границу, ничего не проси привезти, проси леску ноль десять, то есть в одну десятую миллиметра толщиной. Я, например, леску кипячу в крепком чае. Она делается золотистой и более прочной. Кипятить нужно двадцать минут. Однако давай снаряжать тебя по порядку.

(Здесь я хотел бы и читателя посвятить в тонкости и детали снаряжения.)

— Валенки с галошами у тебя есть?

— Валенки есть, а галоши разве обязательно?

Герман даже руками всплеснул от моего невежества.

— Да ведь стоит тебе пробить лунку во льду, как из лунки пойдет вода, и вокруг образуется лужа. Так можно ли без галош?! Придется тебе сегодня же покупать галоши. Дальше: ватные штаны?

— Есть, — ответил я, как на солдатской перекличке.

— Рубаха длиной до колен?

— Почему именно до колен?

— Потому, что короткая при движении будет выбиваться из-под ремня, и спина там, где ремень, станет забнуть. Свитер, шапка-ушанка, чтобы уши можно опускать? Все есть. Хорошо. Перчатки с отрезанными пальцами?

— То есть как же?

— У перчаток должны быть наполовину отрезаны

напалки для большого, указательного и среднего пальца. Тогда ты сможешь надевать мотыля на крючок и вообще манипулировать пальцами, не снимая перчаток. Главные, действующие, пальцы — на свободе. Кроме перчаток, нужны меховые рукавицы, очень-очень просторные, чтобы попадать в них руками на лету и сбрасывать их без затруднений. Эти рукавицы должны быть на шнуре, который вешается на шею и продевается в рукава шубы. Знаешь, как у детей варежки, чтобы дети их не потеряли. Насадив мотыля и опустив мормышку в воду, ты сразу можешь прятать руки (прямо в перчатках) в рукавицы, а в случае поклевки тебе ничего не стоит, так сказать, выпрыгнуть из рукавиц<sup>1</sup>.

Итак, с одеждой покончено. Не забудь только прихватить с собой большую тряпку. Ее во время ловли будешь затыкать за голенище. Она необходима, чтобы после каждой пойманной рыбы вытирать руки. Особенно после ерша на пальцах остается обильная слизь. Ну а ящик?

— Какой ящик? Может быть, я все удочки положу в портфель?

Герман смеялся долго и заразительно. После этой моей промашки в его голосе невольно появилось не то дружеское покровительство, не то доброжелательная снисходительность. Так иногда разговаривают взрослые с детьми.

— Портфель никак не годится. Бывают специальные рыбацкие ящики. Они делаются с двумя отделениями: в одно кладется пойманная рыба, в другое — запасные удочки, мормышки, мотыль, глубомер и прочее снаряжение. Обычно в ящике прodelывается окошечко, чтобы немедленно прятать пойманную рыбу. Ящик приспособлен для того, чтобы на нем сидеть, не возить же на рыбалку еще и стул. Сидишь, а окошечко — под тобой, между валяными сапогами, очень удобно прятать.

— Да зачем прятать?

— Сразу всего тебе не расскажешь. Сам потом поймешь, зачем нужно прятать. Итак, продолжаем. Носят ящик на ремне через плечо. Иногда приделывают к нему полозья и возят его по льду, как салазки. Чтобы ящик был всегда чистый, а не вонял рыбой, ты должен шить мешок

---

<sup>1</sup> Герман описывал мне идеальное снаряжение и оснащение рыбака-зимника. Сам он был экипирован кое-как и всегда на рыбалке зяб. Правда, удочки у него были в полном блеске. Он был как чеченец в описании Лермонтова: бешмет весь драный, а оружие в серебре.

из клеенки. В этом мешке и будешь держать пойманную рыбу, а уж мешок — в ящик. Так, значит, ящика у тебя нет? Подожди, мой сосед, тоже рыбак, собирался продавать ящик собственного изготовления. Ты же понимаешь, что значит ящик, сделанный для себя?

Через несколько минут Герман внес в комнату аккуратный сундучок, более высокий, нежели широкий и длинный. Сундучок был окрашен в голубой (сероватый, впрочем) цвет, а сверху обит клеенкой. Под клеенкой было мягко — вата или хлопок — для того, чтобы удобнее сидеть. Дно сундучка по углам оковано медными пластинками, вертикальные грани оторочены кожей. Широкий брезентовый ремень мягко ложится на плечо, не режет, не давит. Два отделения, как говорил Герман.

— Ну вот, если хочешь, бери! Старик просит пятьдесят рублей<sup>1</sup>. Магазиновый стоит столько же, но разве можно сравнить?

(Между прочим, этот ящик служит мне исправно и теперь, и расставаться с ним я пока что не собираюсь.)

— Значит, ящик теперь у тебя есть, поздравляю! Не каждый рыбак начинает с таким ящиком! Насколько я понимаю, в бумаге завернута пешня?

— Да, по дороге к тебе я завернул на Неглинную.

— Покажи.

Мы развязали шпагат, развернули грубую, местами промаслившуюся бумагу и обнаружили там три составные части пешни: две целиком железные, одну наполовину из дерева. Герман с ловкостью фокусника соединил все три части, свистил их, и у него в руках появилось довольно изящное орудие для прорубания льда. Верхняя часть орудия — деревянная круглая рукоятка, вроде как у лопаты, средняя часть — круглый металлический стержень, на конце — полукруглая лопаточка — острие. Герман прикинул пешню так и сяк (показалось мне, что он сейчас начнет долбить лунку в деревянном полу): и замахивался ею, как бы ударить, и вскидывал, прищулив глаз, и пальцем пробовал острие, и подбрасывал в руке, чтобы прислушаться к тягести инструмента. В конце концов он сказал:

— Это не пешня, а ерунда. Этой бы пешней по голове того, кто ее делал. Но не горюй, сейчас мы все исправим.

С этими словами Герман взял молоток, поставил пешню на пол и начал ударять по ней молотком в том месте, где

---

<sup>1</sup> Дело было давно, при старом масштабе цен.

кончается широкая лопаточка и начинается круглый стержень.

— Вот так ее, вот так, она у нас будет забористая, она у нас будет въедливая. Ты понимаешь, что они делают? Они не делают угла. Поэтому, когда пробиваешь лунку в толстом льду, пешня стремится на конус, лунка все сужается, острее все время соскальзывает с ледяной стенки к середине. Теперь, после нашей, казалось бы, незначительной операции, она будет забирать вширь, назад, срезать ледяную стенку, потому что мы ей сообщили угол. Теперь нужна для пешни бечевка. У меня есть кусок электрического шнура, сейчас мы его используем.

Герман положил пешню на пол, заставил меня встать рядом с ней прямо, чуть ли не по стойке смирно, и привязал шнур так, чтобы я мог держаться за него, ничуть не нагибаясь, ничуть не приседая, тогда как пешня лежала бы на полу.

— За этот шнур будешь волочить пешню по льду, меняя место лова. Иногда приходится идти километры. Она очень легко скользит по льду и снегу. А так ведь таскать ее тяжело и неудобно. Прежде чем начать пробивать лунку, ты должен три раза обернуть шнур вокруг кисти своей правой руки. Обязательно. И обязательно не меньше трех раз. Дело в том, что, когда ты ударяешь пешней в лед, она испытывает большое сопротивление и твои руки постепенно привыкают к нему. Но однажды пешня не встретит сопротивления, то есть лед кончится, проломится последняя его тонкая пленочка. В этот момент в девяносто девяти случаях из ста пешня выскальзывает из рук и летит на дно.

— Неужели так много случаев?

— На моих глазах, правда за всю практику, ушло под лед не меньше двадцати пешней. Некоторые удавалось забagrить за шнурок и вытащить. Две я утопил собственноручно. Так что я знаю, о чем говорю: три раза вокруг правой руки каждый раз, перед тем как начать пробивать лунку. Но пошли вперед. Шумовка — один из самых приятных инструментов. Она у тебя, конечно, уже есть.

— Нет... Шумовка? Впрочем, кажется, у нас на кухне... Если это та самая шумовка, которой женщины снимают накипь с супа, то я попрошу у жены...

— Так. Понятно. — Впервые в голосе Германа послышалось что-то вроде жалости. — И все-таки пошли вперед. Так и быть, дарю тебе шумовку собственного изготовления.

Пошарив под тем самым комодообразным сооружением

где хранились мормышки, Герман достал шумовку. На гладко обструганную палку длиной в полметра насажена очень отлогая, почти совсем плоская, медная ложка, поменьше чайного блюда. В ложке — отверстия, каждое величиной с копейку.

— Это моя любимая шумовка.

— Нет, зачем же ты ее мне, если она любимая?

— Бери, бери, я от души. Надеюсь, ты уже догадался, что этой штукой вычищают ледяную крошку из только что проделанной лунки. Ну и если лунку обильно засыпает снегом. А бывает, что ее то и дело затягивает свежим ледком. Сначала опустишь шумовку до конца лунки и всю лунку хорошо прошуровешь, тогда лед всплывет. Тут его будешь собирать и отбрасывать от лунки подальше, чтобы не мешался.

— Какая в нем помеха?

— О милый, все узнаешь. За ледяные кусочки, неряшливо разбросанные около лунки, постоянно будет цепляться леска. А так как леска очень тонкая, а ледяные кусочки очень острогранны... В общем, отбрасывай подальше. Даже ту сухую крошку, что насорится, пока ты рубил, нужно отодвигать подальше.

Когда лунка совсем очистится, когда ты вычерпнешь из темной хрустальной воды последний кристалл зеленоватого льда, сердце твое возрадуется, ибо настал вождеденный миг и ничто уж не может тебе помешать опустить мормышку, — секунда, о которой ты мечтал почти целый год. А если это не перволедок, то пусть хоть и одну неделю ты мечтал об этой секунде... Иной раз неделя стоит года.

Многие любят ловить из чистой лунки, она и правда приятна для глаз, аккуратная, чистая лунка, во-вторых, видать, как тонет мормышка, в-третьих, видать, когда рыбу подтаскиваешь к лунке. Но я делаю иначе и тебе советую: наплюй на приятность. Как только очистишь лунку ото льда, сразу запороши ее легким снежком, затемни, занавесь занавесочкой. Может быть, рыба, кто ее знает, боится яркого света. Запорошив, в середине лунки в снегу проткни дырочку рукояткой шумовки, в эту-то дырочку и опускай мормышку.

— А как же, если рыба?

— Рыба проскочит сквозь снежок, не беспокойся. Я да же, вот видишь, вожу специальную палочку для проделывания этих дырочек, а то неприятно, когда у шумовки мокрая рукоятка. — И Герман показал мне изящную, слег-

ка коническую палочку, окрашенную в яркий красный цвет.

— Почему красная?

— Чтобы не забыть на снегу, не потерять. Ну что же, вот мы и перед чистой лункой. Можно, как я уже сказал, опускать мормышку. Почти все так и делают. Но я тебя ведь учу настоящей рыбалке, рыбалке, так сказать, высшего, профессорского класса. Итак, заведи себе глубомер. Важно сразу найти дно, чтобы положить на него мормышку, и от него уж танцевать, как от печки. Искать дно легонькой мормышкой очень неудобно, будешь не уверен: то ли она лежит на дне, то ли легла на какую травинку, то ли ее относит течением. Поэтому в самом начале лова к мормышке хитроумным способом пристегивают вот эту гирилку. Она сразу покажет, где дно, а где трава. Итак, купи себе глубомер, он стоит несколько копеек. А теперь самое главное — удочки...

Одну удочку Герман подарил мне из своих, причем опять из самых любимых и ловких. Она была оснащена сторожком системы «Германа Абрамова», то есть из часовой пружинки. Другую он соорудил на моих глазах от начала до конца.

Как бы попроще рассказать, что такое зимняя удочка? Впрочем, вот вам устройство зимней удочки. (Особых случаев, вроде уникальной и сложной системы сторожка, мы не берем, а берем то, что у каждого рыбака на водоеме, тем более что система сторожка из часовой пружинки себя в конце концов не оправдала. Герман сам первый от нее отказался, успев, правда, снабдить пружинными удочками всех своих друзей-рыболовов.)

Итак, берется ровный прямоугольный кусок пенопласта, материала настолько легкого, что кажется как бы невесомым. Кто не видел его, могу сказать, что он похож на губку, но только твердый — режется ножом или пилой, как дерево. Для удочки нужен такой брусочек, чтобы его удобно было держать в руке, то есть длиной примерно в ладонь, ну и каждая сторонка что-нибудь сантиметра в четыре.

На этом бруске, вдоль его, прорезывается ножом не очень глубокая ровная канавка, именно в эту канавку будет наматываться леска длиной пять, десять, двадцать метров, у кого сколько есть и кто на какой глубине рассчитывает ловить. Но, как бы там ни было, меньше десяти метров наматывать не следует.

В торец бруска вклеивается гибкий прутик длиной

с карандаш или с два карандаша, но не более. Прутик можно поставить и деревянный, но он быстро сломается, поэтому сейчас все рыбаки ставят пластмассовые, а еще точнее — хлорвиниловые прутики, а где их берут — неизвестно. Хлорвиниловый прутик очень прочен и очень гибок, так что его можно считать вполне идеальным материалом для зимней удочки.

Когда хлорвиниловый поводок прочно и глубоко вклеен в пенопластовую рукоятку<sup>1</sup>, а на нее намотаны уж десять метров тонкой и крепкой лески, удочка в основном готова. При помощи резинового колечка на кончике хлорвинилового поводка укрепляется грубая щетинка с петелькой на конце. Длина щетинки в среднем с обыкновенную спичку. В петельку-то как раз и продевается конец лески, намотанный на брусок-рукоятку. Значит, прежде чем попасть в воду и уйти на дно, леска обязательно должна быть пропущена через петельку сторожка (щетинка с петелькой на конце называется сторожкой). Обыкновенно укрепляют еще на конце сторожка, там, где петелька, что-нибудь яркое — красненькое, синенькое, желтенькое, чаще всего кусочек цветной изоляции электропровода.

Остается теперь на конец лески привесить все-таки и, как бы там ни было, главное в удочке — мормышку.

Случилось, что одну из моих книг перевели на немецкий язык. Перед тем как книге выйти в свет, издатель прислал мне письмо с вопросами. В частности, ему неясно было, что такое мормышка. Так что, может быть, стоит рассказать в двух словах о ней, хотя в начале этих записок о мормышке уже шла речь.

В воде живет небольшое, округлое насекомое — мормыш. Это лакомая пища всех рыб, а особенно окушей. Так как добывать мормыша трудно, то рыбаки придумали делать подобие этого насекомого из свинца и в него же впаивать маленький, но прочный крючок. Тут и крючок, тут и приманка, тут и грузило — все собрано в одном месте, на конце тонюсенькой лесочки.

Дальнейшая эволюция пошла по двум направлениям. Во-первых, рыбаки давно отступили от формы мормыша,

<sup>1</sup> Впрочем, не всегда его вклеивают намертво. Иногда вставляют его в гнездо, а когда кончается лов, вынимают. Таким образом, удочка получается разборная. Иногда даже, когда рукоятка достаточно длинна, просверливают в ней глубокое отверстие и прячут хлорвиниловый поводок в рукоятку, засовывая его туда тонким концом. Но все это, на мой взгляд, лишние хлопоты. Должна быть цельная, прочная удочка, правда, такой длины, чтобы укладывалась в ваш ящик.



естественного насекомого, живущего в водоеме. От него осталось только одно общее название — мормышка. Сами же мормышки пошли все новых форм, новых размеров, новых названий. «Клопик средний», «клопик мелкий», «клопик тяжелый» (для большой глубины), «клопик красненький», «клопик светленький» — это мормышки плоские, действительно похожие на клопа. Мормышка кругленькая так и называется — «дробинка». Некоторые окрашивают ее в черный цвет; некоторые — в красный, некоторые оставляют свинцового цвета. Мормышка-«капелька», пожалуй, самая распространенная форма мормышки. Она имеет точную форму капли. Крючок впаивается с остренького конца. Остренький кончик около крючка обыкновенно окрашивают в красный цвет. Иногда делают ее наполовину свинцовой, а наполовину одевают либо в медную, либо в серебряную оболочку, тогда она играет на разные цвета и тем самым будто бы привлекает рыб.

Ну а дальше уж от лукавого: «гробики», «рыбий глаз», «пшеничное зернышко», «овсинка», «шестигранные», «восьмиугольные»... Я даже встречал кривые, изогнутые наподобие дуги. Короче говоря, тут уж кто во что горазд.

Во-вторых, отступление от живого мормыша кончилось тем, что на крючок, впаянный в мормышку, стали насаживать дополнительную наживку, а именно: чаще всего и повсеместно — мотыля, очень красивого (чистого рубинового цвета) червячка, размером (если он крупный) как раз в полспички.

— Кстати, а мотыльница у тебя есть? — спросил Герман, когда с устройством удочки было покончено.

— Да ладно уж, я в бумажку или в спичечный коробок.

— Так. Понятно, — в который раз за этот день произнес Герман и полез под комод за мотыльницей. — Мотыля береги пуще своего глаза. Если нет нигде в магазинах (а так бывает перед воскресеньем!), научу, где взять. Садись на первый трамвай и поезжай на Тимирязевские пруды. Там на льду постоянно сидят старики-мотыльщики. Ведром они зачерпывают донный ил и промывают его в решете. Ил уходит с водой, а в решете остается чистый, свежий, живой, только что из воды (э, да ты еще ничего не понимаешь!) мотыль! Он ведь стоит дороже, дороже любой свинины.

Если едешь на рыбалку на один день, нужно купить мотыля на рубль, не больше. Если же купишь на два рубля, то хватит и соседу, и на подкормку, еще и останется. (Мо-

жет быть, именно здесь стоит заметить, что, когда мы потом стали приобщать к рыбалке Ивана Стаднюка и возложили на него покупку мотыля, он для первого раза и в таком первоначальном рвении приобрел мотыля ровно на сорок пять рублей.)

— Значит, купил ты мотыля, — учил Герман. — Заверни его в чистую белую тряпочку и положи в холодильник. Еще лучше, если смешаешь его со спитым чаем, с этими размокшими чайками, тогда он делается живее, дольше не гибнет. Вообще же лучший способ хранения мотыля такой: кладут его в женский чулок и опускают в уборную в верхний бачок, где собирается вода. Так как воду часто спускают, то она всегда проточная, свежая, холодная. Там мотыля можно держать неделями. Но это в редких случаях. Обычно покупашь в пятницу для воскресенья. Достаточно в чай и в холодильник.

Ну, конечно, тебе во время первой поездки расскажут два анекдота, связанные с мотылем. Первый состоит в том, что рыбаки с вечера выпили, закусили (а было уже темно-вато), легли спать. Утром встали, чтобы идти на лед, смотрят: красная икра цела, а мотыля нет. Второй анекдот состоит в том, что сидит рыбак, и все думают, что у него флюс, а это он, оказывается, мотыля отогревает. Так вот, чтобы не было такого случая, мотыльницу, выйдя на лед, держи всегда за пазухой. Насадил одного и снова за пазуху. Канительно, зато мотыль всегда будет цел. Впрочем, так привыкаешь к этому движению (после каждого мотыля — за пазуху), что будешь делать механически. Ну, мотыля сейчас у меня нет, поэтому, как он насаживается, показать не могу, твой друг покажет тебе на льду. А вот как мормыжить... Эх, жаль, что нет у нас ванны. Все рыбаки тренируются, опуская мормышку в ванну. Ну, хорошо, сейчас я принесу ведро с водой.

Свободного ведра тоже не оказалось в хозяйстве Германа. Поэтому пришлось налить воды в обыкновенное цинковое корыто. Мы поставили корыто посреди комнаты, воду же носили трехлитровыми банками.

— Важна естественность, натуральная обстановка, — говорил Герман, таская воду.

Наверно, со стороны было смешно глядеть, как двое взрослых и в общем-то серьезных людей водружают посреди комнаты корыто с водой, чтобы забрасывать в него удочку. Нам было не до смеха, мы были исполнены сосредоточенности и деловитости.

— Ну и вот. Начинаешь виток за витком сматывать леску с удочки. С каждым витком мормышка будет уходить в глубину. Теперь наблюдай за сторожкой. Пока мормышка тонет, щетинка слегка наклонена вниз, мормышка ее оттягивает, наклоняет. А вот щетинка выпрямилась, находится в горизонтальном покое, это значит, что мормышка легла на дно. Приподымешь на сантиметр, опять наклонится сторожок. Опустить — выпрямится. Это будет твоё главное движение в течение всех десяти часов, пока ты будешь сидеть на льду. Самое важное — положить мормышку на дно (действительно, наша мормышка лежала на дне цинкового корыта). Теперь не спускай глаз со сторожка, начинай пошевеливать мормышку, поднимать ее ото дна, сообщай ей дрожание, игру, вертлявое движение (целое искусство хорошо мормыжить). Таким образом мы дразним окуня, обманываем его, и он в конце концов бросается на приманку. Сторожок резко, молниеносно нагибается вниз. — Герман дернул левой рукой за леску, и щетинка, естественно, наклонилась вниз до вертикального положения. — Следует короткая подсечка, то есть короткий рывок сверху, и рука услышит, что там, в глубине, на дальнем и тайном конце удочки, висит тяжеленькая живая рыбка.

Этого ощущения мы не могли испытать, сидя над цинковым корытом, но вообразить было можно.

Теперь осторожно, аккуратно, без рывков, ровными потяжками нужно поднять рыбу к лунке, провести ее сквозь лунку, и она окажется на белом морозном снегу, темно-зеленая, с ярко-красными плавниками и яркими полосками поперек.

В одном и том же мире существует множество своеобразных микромиров. Нет, я сейчас говорю не о том, что каждая семья как бы своеобразный мир и (что семья!) каждый человек — это целая вселенная со своими законами, интересами, открытиями, монументами славы и могильниками.

Нет, я говорю сейчас не об этой относительности. Но вот, например, существует так называемый Птичий рынок. Многие ли москвичи знают, где он находится. Многим ли известно, что он действует один раз в неделю, в воскресенье, и, наконец, многие ли бывают на нем или побывали хотя бы однажды в жизни. А ведь между тем есть люди, множество людей, которые ездят на Птичий рынок каждое

воскресенье. Из этих-то людей и составляется там толпа, сквозь которую почти невозможно пробиться. Это самый многолюдный, самый тесный, самый оживленный рынок в Москве.

Птичьим он называется условно. Правда, что там продают в клетках и щеглов, и канареек, и даже подчас соловьев. Правда, что там есть ряды только с птичьим кормом: конопляное семя, овес, обыкновенные семечки, сушеная рябина и прочее. Правда, что там в воскресенье толпятся все голубятники Москвы со своими всевозможными голубями. Но ведь есть другое.

Породистого щенка, милого ежа, белку, кролика, кошку, наконец, — все можно купить на Птичьем рынке. И все же не это его главное, особенное лицо.

Главное на Птичьем рынке составляют ряды аквариумистов. Вот здесь и начинается особенное, здесь-то и начинается тот своеобразный мир, о котором мне захотелось упомянуть лишь затем, чтобы потом рассказать о другом микромире, еще более своеобразном. Например, мы живем и не знаем, что у русских аквариумистов произошло событие огромной важности. Сергей Образцов (один из самых заядлых аквариумистов Москвы, завсегдагай Птичьего рынка) привез из Лондона парочку рыбок дотоле неизвестных и не виданных. Кто-то, наверно, выпросил у него парочку мальков. И вот уже через год редчайшие экзотические экземпляры проникли на Птичий рынок по баснословной на первых порах цене. А через два года почти все порядочные аквариумисты имели в своих аквариумах этих рыбок.

Или разве мы знаем, кто в последний раз был удостоен международного звания короля гуппи за выведение самого красивого самца гуппи, этой крохотной и действительно красивой рыбки, происходящей откуда-то с индонезийских островов.

А то вдруг прошел слух: все аквариумисты Германии перешли на фильтрацию воды в аквариумах.

— Вы представляете себе, да, да, все немцы фильтруют свои аквариумы, — слышится в одном конце Птичьего рынка.

В другом конце почти то же самое:

— Да что ты понимаешь, темнота. Вот на немцев погляди, давно уж фильтруют. Значит, что-нибудь да соображают. Каждое дело идет вперед, двадцатый век, техника. Так что не задумывайся, бери эту помпочку, и прошу

недорого, и работает бесшумно. А если насчет току, то счетчик при ее работе даже и не крутится, лишнего расхода не будет...

Каких только рыбок нет на свете, а вместе с тем и на Птичьем рынке. То из черного бархата, то с ярчайшими красными полосами, то с ажурными продольными полосками, то ярко-зеленые, то ярко-синие, то ярко-сиреневые, то как бы из жемчуга, то горящие крохотными бриллиантами, то с рубиновой полоской вдоль изящного тельца, то все пестрые, то как бы из одного большого рубина. Все это сочетается с яркой и разнообразной зеленью водорослей, которые если начнешь перечислять по названиям, исписешь несколько страниц. Тут же и готовые аквариумы, и речной песок для аквариумов, и обогреватели, и подсветка, и разные стеклянные и резиновые трубочки для очистки аквариумов, и чего-чего только нет. Но самое яркое, конечно, — те сотни или даже тысячи людей, которые за день перебиваются, перетолкуются возле аквариумных рядов и для которых в этот воскресный день нет другого интереса, как эти рыбки, эти водоросли, эти стеклянные и резиновые трубочки. Может быть, он и не купит ничего, может быть, ему и не нужно ничего покупать (давно уж все есть), но и поглядеть на все — для него самая первая, самая большая радость.

Это отступление насчет аквариумов и особого мира аквариумистов в общем-то мало оправдано. Разве что с точки зрения противоположности. Недаром Герман Абрамов, когда пришел ко мне домой еще раз взглянуть на все мое снаряжение, увидев первым делом аквариум, грустно покачал головой и сказал:

Да, либо аквариум забросишь, либо зимнего рыбака из тебя не выйдет. Нельзя одной рукой разводить рыбок и ухаживать за ними, а другой — вытаскивать их из лунки десятками и сотнями штук.

Помилуй, Герман, я ведь не собираюсь опускать мормышку в аквариум.

— Так-то так, но очень уж разные психологи...

Но я хотел сказать о другом. Точно так же, как в воскресенье, вместо того чтобы заниматься обыкновенными воскресными делами, люди едут толкаться на Птичий рынок... Впрочем, что я?! Как я могу сказать, что это точно так же.

Я не знаю, можно ли в этом удостовериться, но я убежден, что каждую неделю, примерно так со среды, москов-

ская телефонная сеть в зимние месяцы получает дополнительную нагрузку за счет рыбаков-подледников. Один рыбак, пристрастившись, помнится, умолял всех нас, его друзей, чтобы мы звонили ему насчет рыбалки не раньше пятницы, а то он уже со среды (с нашего звонка то есть) отбивается от дела, готовит снасти, пробует их в ванной, заготавливает провиант и думает только о предстоящем выезде.

Так же как для страстно влюбленного человека приятно, когда говорят при нем о женщине, которую он любит, и так же, как ему самому приятно говорить о ней, так и рыбак-подледник от разговора о рыбалке получает большое наслаждение. Кроме того, надо ведь сколотить компанию, кроме того, надо ведь сколотить такую компанию, чтобы кто-нибудь был «лошадник», то есть с машиной, на которой можно было бы выехать на водоем.

Это, конечно, своего рода аристократизм. Большая часть москвичей-фанатиков выезжает на водоем по железной дороге.

В ночь с субботы на воскресенье на вокзалах Москвы, в особенности на Савеловском и Ярославском, появляются люди, одетые хоть и разнообразно, но все же как бы чуть ли не в форме. Почти как десантники. Или как водолазы.

Москвичи в это время все больше в туфлях да модных пальто. Зябко. Надо бежать бегом, подняв воротник, а чуть приостановишься на остановке, стучи носками туфель ногу об ногу, прыгай на одной ноге, колоти ладонью о ладонь в тонких перчатках. Потуже запахивай полы пальто и отвороты на груди. Ан сзади, из-под низу забирается мороз. Неудобно городскому человеку в морозные ветреные ночи, если окажется так, что нет поблизости никакого транспорта.

И вдруг шествуют среди спешащей и зябнущей толпы неторопливые люди в валенках с галошами, тяжелых шубах (и брезентовых плащах поверх шуб). В таком наряде они немного неповоротливы. Точь-в-точь как водолаз на суше, зато хорошо будет сидеть десять часов на одном месте под метелью или снегопадом.

У каждого, как нам теперь доподлинно известно, ящик через плечо, на котором можно посидеть возле кассы или на перроне в ожидании поезда. В руках — пшени, вроде как оружие.

Добропорядочные москвичи разъезжаются из театров, гасят телевизоры, выключают радио, ложатся спать. Затя-

хает, затухает заснеженный зимний город. Чем больше, чем глубже он засыпает, тем больше накапливается на вокзалах людей в шубах и валенках, с деревянными ящиками через плечо. Спите, москвичи. Завтра, когда вы будете открывать глаза и сладко потягиваться в своих теплых постелях, эти чудачки с ящиками будут уж сидеть на льду, на водоеме, встретив зимний рассвет. (Многие, многие тысячи чудачков на всевозможных подмосковных водоемах в радиусе не менее двухсот километров.)

Вам непонятна эта причуда (десять часов на льду), а им непонятно, как можно лежать и нежиться в постели, когда на земле рассветает и начинается уж мало-помалу активный окуневый клевишко. За десять часов происходит такая вентиляция всего организма, из таких глубоких его уголков выветривается все застоявшееся и затхлое, что потом целую неделю вы ходите, как новорожденный, и работаете десятеро.

Рыбак-подледник бывает разный: рыбак-пенсионер, рыбак — рабочий и служащий, рыбак-военный, рыбак-министр, так сказать, государственный деятель, рыбак-интеллигент (ну, конечно, и местный рыбак — совершенно особая категория).

На поездах (на озеро Сенеж, в Хлебниково, в Водники, на Яхрому, под Иваново) выезжают все больше пенсионеры, «безлошадники», люди, не связанные ни с каким учреждением.

Рыбак — рабочий, служащий и военный — хорошо и четко организован. Завод ли, министерство ли, воинская часть ли (а также и военные академии) выделяют к субботе специальные служебные автобусы, на которых едут любители уж не в Водники и Хлебниково, а к отдаленным водоемам: на Плещеево озеро, на Истру, на озеро Неру, на реку Сару.

Рыбак — государственный деятель выезжает в ЗИЛлах.

Рыбак-интеллигент чаще всего группируется по пять-шесть человек вокруг одной частной «Победы» или «Волги».

Местные рыбаки ходят пешком, а по первому льду гоняют на велосипедах.

Кроме вокзалов, большое скопление рыбака-фанатика в ночь с субботы на воскресенье отмечается возле метро «Скопел». Они сидят там на ящиках и, поднимая руки, просят, чтобы их подвезли те самые служебные и военные автобусы, о которых только что шла речь.

Для меня на первых порах не было вопроса о транспорте. Меня взялся приобщать к подледному лову мой друг Саша Косицын, а у него в то время был старенький-престаренький «москвичонок», состарившийся главным образом по пути к различным водоемам. На своем «Москвиче» можно выезжать не с вечера, а перед утром, часа так примерно в три-четыре.

Надо бы выспаться перед выездом. Все готово, все уложено в ящик. Но уснуть перед выездом почти невозможно. Я думал, что это только у меня такое волнение, такая нервная организация, но в тот же день Саша мне признался, что он еще ни разу не спал как следует в ночь перед выездом.

Началось все с большой неудачи. Когда Саша подъезжал к моему дому и пересекал трамвайную линию, у «Москвича» лопнула задняя рессора. Машина сразу дала косою крен на правую сторону, нижняя часть кузова едва-едва не чертила по асфальту.

Втайне я побаивался десятичасового морозного сидения, и мне, еще вовсе не рыбаку-фанатику, выспаться в теплой постели пока что нравилось больше, чем вся эта нелепая затея — ехать что черт знает куда среди зимней ночи.

В расстройстве походили мы вокруг верного Сашиного «Москвича», совершившего на этот раз столь непредвиденный подвох, и пошли на стоянку такси консультироваться.

На стоянке дремало десятка полтора машин с шашечками. Тонкая поземка омывала черные, застуженные шины колес. На наш стук водитель такси опустил боковое стекло. Его заспанное лицо выражало неудовольствие. Даже ему в эту ночь дремать хотелось больше, чем ехать.

— Что делать? А что делать? Если рессора лопнула, делать нечего. Надо по краешку, около тротуара, со скоростью двадцать километров тянуть в гараж. До гаража, конечно, потихонечку доедете, ничего страшного.

— А как вы думаете, если на водоем, на рыбалку... как думаете, не дотянем?

Сердитый водитель, верно, подумал, что мы над ним начинаем смеяться, и молча поднял стекло, отгородился от нас мелким морозным рисунком.

— Попробуем проедем метров сто, может быть, ничего, — робко, с затаенной надеждой предложил Саша. — Обидно. Ночь разломалась, да и утро уж скоро. Пока ехали бы, пора опускать мормышку.



Тихонечко стронулись с места. Ничего, едем. Саша и сам, наверно, не заметил, как набрал скорость до нормальной. Ничего. Главное — избегать неровностей, чтобы на толчках кузов не чертил дорогу. Вот уж и Дмитровское шоссе. Вот уж осталась позади Москва. Едем. Хоть и без рессоры, а едем, черт возьми. Нельзя же, в самом деле, откладывать рыбалку, к которой целую неделю готовились. И мотыль пропадет. Нельзя. Едем. Перегоняют рыбаки-интеллигенты на «Волгах» и «Победах», но все же едем и мы и, конечно, доехали до водоема.

Саша научил меня, что, идя по водоему, нужно ударять впереди себя пешней, пробуя крепость льда. И вот я, ударив черное гладкое стекло, впервые вступил на лед в качестве рыбака. По черному стеклу проступило белое матовое пятно, а от него брызнули в разные стороны белые прямые трещинки.

— Смело иди, видишь, пешня лед не пробивает, — одобрил меня Саша. — Сантиметров семь уже намерзло, хорошо.

По гладкому, еще не заснеженному льду поземка летела ускоренно и прямо, не юлила, как на земле, огибая всевозможные там неровности.

Все было серо вокруг — и лед, и снег по берегам водоема, и небо, зимнее, низкое небо, и сумерки зимнего утра — все было серо и однотонно и, верно, навеяло бы печаль и грусть, если бы не важность, не волнение момента.

— Перейдем на ту сторону водоема, — предложил Саша. — Здесь что за ловля.

— Разве не одно и то же?

— Как-то не то, чтобы приехать и сразу около машины бить лунки. Кажется, на том берегу лучше.

На середине встретились рыбаки, торопливо пересекавшие водоем нам навстречу.

— Куда вы? — любопытствовал я у них.

— Туда, на тот берег. — И они показали место, где одиноко и сиротливо промерзал насквозь наш «москвичок».

На водоеме, если даже и нет поземки, не надо определять, откуда дует ветер. Тут есть под руками самый надежный флюгер, потому как если и сидят хоть бы три рыбака, все они сидят точно к ветру спиной. Если их не три, а триста или пятьсот (бывает черным-черно на водоеме), значит, все триста или пятьсот спин обращены к ветру. Причем точность тут не приблизительная, а абсолютная. Стоит только сесть на один градус наискосок, и то уж начи-

нает задувать со стороны, невольно не заметишь, как поправишься на этот самый градус. Если ветер повернет на четверть горизонта, пятьсот спин рыбаков повернутся на столько же. Разве что в конце марта, когда жарко на льду и можно загорать, перестает действовать этот флюгер. Тут уж сидят кто во что горазд, кто как лучше любит, чаще всего лицом к солнцу: жаден человек до солнечного лучика, особенно до мартовского. Ведь в мартовском солнце, так же как в мартовском огурце, есть своя особенная, ни с чем не сравнимая прелесть.

Теперь был не март, теперь было сумрачно и мела ноябрьская поземка. А редкие рыбаки сидели ссутулившись, согнувшись над лунками: первые зимние холода переносятся куда тяжелее главных.

Лед был тонок. Пешня пробила его с трех ударов. В середине прорубки (простите, лунки) оказался цельный круглый кусок льда, который я выбросил шумовкой. Помня о советах Германа, валенками, как бы танцуя, я отогнал от лунки ледяную крошку, сел к ветру спиной и... Но тут выяснилось одно досадное обстоятельство — я не умею надевать на крючок мотыля. Крохотный рубиновый червячок оказался довольно вертким. Пальцы же мои на морозе — недостаточно точными. Я зацепил было мотыля крючком, но, значит, не в том месте, и он вдруг весь вытек, осталась никчемная прозрачная кожица.

Терпеливо Саша показывал, разъяснял мне, как нужно класть мотыля на кончик большого либо указательного пальца левой руки и как зацеплять за самую черненькую головку, чтобы он не вытек, а остался цел, и притом чтобы извивался на крючке, играл, приманивал рыбу. Но, конечно, понадобилось немало рыбалок, прежде чем я научился мгновенно нанизывать мотыля по нескольку штук на крючок на любом ветру и морозе.

Надо сказать, что в этот первый выезд я занимал с самого начала скептическую позицию. Это, между прочим, и придавало главную энергию Саше, решившему разубедить меня, вернее, убедить меня, что зимняя ловля куда интереснее и добычливее летней.

Еще в дороге я нет-нет да и подогревал Сашино рвение.

— Нет, не верю, чтобы зимой на удочку клевала рыба, по-моему, одни разговоры.

Саша не находил слов выразительно ответить на эту глупость.

Теперь, над чистой лункой, скепсис мой воспрянул с новой силой. Мне и правда казалось мертвой, безжизненной темная вода подо льдом. Страшно подумать — окунуть в нее палец. Какая уж там активная (по выражению Саши) жизнь. Судьба, увы, работала не на Сашину правоту, а на мое невежественное заблуждение.

Не могло быть никаких сомнений: мормышка лежала на дне. Вот я поднимаю на сантиметр кончик удочки, и сторожок сгибается, значит, мормышка отделилась от дна. Именно в этот момент на нее должен бросаться окунь. Но ничего не происходит. Я поднимаю удочку еще выше, потом опять опускаю — и тишина.

— Что-то не стучит, — сетует Саша, сидя по правую руку. — Давай попробуем на шевеление мормышкой в грунте. Начинаем не то чтобы поднимать мормышку, отделяя ее от дна, а пошевеливать там ее едва-едва. Наверно, на дне держится, хотя бы и тонкий, слой ила, значит, мормышка наша шевелится в иле, распуская вокруг себя крохотное облачко мути.

Но и к этому нашему изощрению вполне равнодушны окуни.

— Никогда такого не бывало, — смущенно бормочет Саша. Он, конечно, больше всего хочет теперь, чтобы я хоть увидел поклевку, ладно уж вытащить рыбку. — По первому льду — и ни одной поклевки. Не может быть. Давай попробуем на «дыхание».

Саша кладет удочку на колено правой ноги и редко, глубоко вдыхает. Во время вдоха удочка невольно, вместе с рукой, приподымается, во время выдоха опускается опять.

Подо льдом в зимней воде никаких признаков жизни.

— Никогда такого не бывало. Давай лучше клюнем сами.

Мы идем под бережок от ветра, открываем наши ящики и прямо на снегу расставляем еду. Все застыло, заледене-ло — и ливерная колбаса, и соленые огурцы, и бутерброды с маслом, и разные консервы. Холодна, конечно, и бутылка. Но ничего не поделаешь: крещение есть крещение. Говорят, что зимняя рыбалка без этого не бывает. Рассказывают даже среди рыбаков и охотников анекдот. Расположились рыбаки на ночлег (ну, или охотники на привале) и устроили конкурс на самую невероятную историю.

— Насадил я на мормышку мотыля, опустил в лунку и пошел к товарищу. Прихожу, на удочке тяжело. Оказыва-

ется, на мотыля схватил малек, на малька — окунь, на окуня — щука.

— Эка невидаль, все может быть.

— Опустил я в лунку глубомер, ка-ак схватит, вытаскиваю... лещ на семь килограммов. — Тут будто бы почесали в затылке слушатели. Очень уж чудно, чтобы лещ схватил на свинцовую гирьку. Однако... кто его знает... может, лещ какой сумасшедший попался, наверно, рыба ведь тоже бесится, с ума сходит, все может быть.

— Половили мы, половили, сели перекусить. Разложили еду, достали бутылку коньяку четыре звездочки. Хвать-похвать, открыть нечем. Штопора нет, гвоздя нет, ну хоть плачь. Так и положили бутылку обратно в ящик...

— Э, нет, тут ты, брат, заливаешь, этого не бывает!

Но если уж зашла речь о спиртном и если забегать вперед, то из своего опыта я должен сказать, что пить спиртное на льду, во время лова, ни в коем случае не следует. Сначала вам покажется, что водка вас согрела. Однако через полчаса (так как усиливается теплоотдача организма) вы станете зябнуть еще хуже. Начнется мелкая неумемная дрожь, с которой не будет средства справиться.

На лед пужно возить в термосе горячий чай или кофе. Лучше всего согреться движением. Три лунки, прорубленные во льду средней толщины, вполне согревают вас.

У нашего друга Коли Губернаторова хватает мужества и терпения возиться на льду с разными спиртовками, на которых он разогревает консервы, жарит яичницу и кипятит чай, как дома на кухне.

А чтобы рыбаки-читатели не приняли меня за ханжу и проповедника полной трезвости, скажу, что ничего не может быть приятнее стаканчика водки, когда после десятичасового сидения на морозе вы приедете на ночлег в добротное, хорошо натопленное помещение. Но об этом будет речь где-нибудь дальше, когда дойдем мы наконец и до Григоровых островов.

На другой день утром ко мне пожаловал Герман Абрамов. Ему не терпелось узнать, каково мне сиделось на ящичке, купленном с его помощью, каково рубила пешня, которой он сообщил пужный угол, каково действовали удочки, сооруженные им.

Я рассказал о полной нашей неудаче и о том, что вообще вчера не было там никакого клева и что только один местный рыбак поймал десяток окуньков, а другие как ни

обрубали<sup>1</sup> его со всех сторон — ничего не получилось. Саша — в стремлении доказать мне и чтобы я сам поймал — даже просил рыбака-удачника, чтобы тот отодвинул ящик, и хотел на месте его ящика бить лунку. Но рыбак, конечно, не подвинулся, напротив, выругался.

Герман только говорил время от времени:

— Так. Понятно. Бывает. Ясно.

Однако он, видимо, почувствовал, что теперь-то и решается вопрос: быть мне рыбаком-подледником или не быть. Положение он, конечно, оценил как почти безнадежное, катастрофическое, иначе не принял бы столь решительных, чрезвычайных мер.

— Так. Понятно. Собирайся. Сегодня вечером мы поедем на Сенеж. Переночуем в Доме рыбака, а завтра выйдем на лед.

— Да ведь бесклевьье... Везде ведь, наверно, одинаково. Да и вообще это все авантюра, чтобы зимой из-под льда на удочку...

— Так. Понятно. Собирайся. В шесть часов вечера выедем на поезде.

По-стариковски Герман облился потом, пока шли в Солнечногорское от станции до Дома рыбака. Нельзя сказать, чтобы в Доме рыбака было привлекательно и уютно. Грязноватый коридор, грязноватые комнаты, плохо заправленные койки, на которые, видимо, ложатся поверх одеял в грубой рыбацкой амуниции. Впрочем, что сетовать: тепло, не дует, есть старик, у которого можно взять чайник с кипятком, а удовольствие стоит всего шесть рублей за ночь.

Рыбаки-пенсионеры (в будний день не бывает других на водоеме) вернулись со льда и теперь пили чай.

— Ну, как ловится рыба? — приветствовал их с порога Герман своим громким, от глуховатости голосом. Рыбаки ничего не ответили на это первое приветствие, и по одному этому можно было судить, что дела не блестящи. Один все же смилостивился:

— За целый день три поклевки. Не пойдем, в чем дело. Может быть, погода собирается ломаться. Не было бы

---

<sup>1</sup> Обрубить рыбака — пробить лунки рядом с его лункой. Обрубают того, у кого хорошо ловится. При этом распугивают рыбу, и тогда уж не ловится ни у кого. Поэтому рыбаки стараются не показывать улова, а тотчас прячут пойманную рыбу в ящик, оставляя на льду несколько мелких, непривлекательных рыбешек.

завтра-сырой метели. Ведь перед ненастьем за два дня прекращается всякий клев.

— Ну вот видишь,— упрекнул я Германа,— стоило тащиться в такую даль.

— Не обращай внимания. Они не знают.— (Последнее было сказано только для меня, то есть, с точки зрения Германа, шепотом, на самом же деле на всю комнату.) Уверенность Германа была наивна, но тверда. Не поверить в нее было невозможно.

В комнату приходили новые рыбаки, отсидевшие день на льду. Все они говорили, что нет никакого клева и что все они с пустыми руками. После каждого такого рыбака я смотрел на Германа вопросительно, а Герман неизменно отвечал:

— Не обращай внимания, они не знают.

— Это что же такое мы не знаем?! — возмутился один рыбак.

— Не там ловите. Надо идти по плотине до берез. Дойдешь до третьей березы, сворачивай на лед. Отмерь по льду пятьдесят шагов, руби лунку. В самое глухое бесклеье будете с рыбой.

— Герман, что же ты наделал? Зачем рассказал свой секрет? Теперь они все завтра сядут там, где ты сказал, а нам ловить будет негде.

— Ты думаешь? А мне как-то не пришло в голову.

Утром мы пошли к злополучной третьей березе. Восемь рыбаков сидели кучкой, отмерив ровно пятьдесят шагов от березы, как научил их Герман. Все они энергично работали руками кверху — вниз, то есть таскали рыбу. Эх, Герман, Герман!

Снегопад все усиливался. Пришлось, прежде чем рубить лунку, расчищать место от снега.

Как и вчера, размотал я удочку, как и вчера, положил мормышку на дно. И только положил, только собрался приподнять ее хотя бы на сантиметр, как сторожок мой дернулся вниз. Я рванул удочку кверху и услышал, что к мормышке вроде бы прицепилась тяжеленькая гирька. О, как осторожно, с какой тщательностью я вытягивал наверх моего первого зимнего окунька. Наконец мордочка его высунулась из заснеженной лунки.

Окуnek оказался маленьким и щупленьким, но не зря гласит народная мудрость: лучше маленькая рыбка, чем большой таракан.

Дрожащими от волнения руками скорее опустил я мор-

мышку на дно, вот собираюсь ее приподнять — стук! Новенький окуnek оказался на мормышке. (Между прочим, выражение о зимнем клеве: «стучит», «стукнул», «не стучит» — очень точное, ибо во время поклевки через всю удочку к руке передается короткий, энергичный толчок, вроде как удар — окунь стукнул.)

Засим началась чисто механическая работа. Заправляешь удочку в лунку — не так-то это просто: тончайшая леска путается на ветру, ее относит в сторону, а в стороне она цепляется за бугорки, осколки льда и прочее, — потом следует кивок сторожка, потом вытаскиваешь леску опять на лед, стараясь, чтобы она ложилась кольцами, а не путалась как попало. Потом снимаешь окунька, отбрасываешь его в кучу, поправляешь или надеваешь мотыля и снова заправляешь удочку в лунку.

Начал лепить обильный мокрый снег с ветром. Снег то и дело залеплял лунку, и тут вступала в дело шумовка. Самих нас совсем залепило и замело, а мы как заведенные вытаскивали абсолютно одинаковых щупленьких окуньков.

В конце ловли пришлось глубоко разгрести снег, для того чтобы собрать весь улов. Разумеется, все окуньки были пересчитаны, и оказалось их у меня сто девятнадцать штук.

Герман торжествовал. Герман обещал мне в дальнейшем золотые горы, потому что он знает все водоемы под Москвой, и не просто знает, и именно вот так: от какого дерева сколько шагов отмерить. Правда, было и у него слабое место, или, лучше сказать, мечта.

Несколько раз, в то время как мы таскали мелочь, Герман глубоко вздыхал и мечтательно, почти с горечью говорил:

— Эх, есть на земле водоем, и не так чтобы очень далеко. Но очень уж трудно добираться, с пересадками. А потом еще пешком километров пятнадцать или двадцать. Туда нужно только на машине. Но все равно когда-нибудь соберемся. Я-то уж тридцать лет собираюсь — не соберусь.

— Какое такое место?

— Это мелочь что! — не слыша меня, мечтал Герман. — Это одна забава. Там вдруг подходят окуни и ломают у мормышек кованые крючки. А уж лески рвут — я не говорю. Ты представляешь: кованый крючок — и пополам... Мечта моей жизни.

— Да как называется то место?

— Есть на Большой Волге в Калининской области городок Конаково... Волга перегорожена плотиной, затопи-

ла окрестные луга. Местами образовались глубокие заливы в лесу, местами образовались острова, местами в водохранилища впадают небольшие речки. Эх, да что говорить, сердце начинает болеть, как вспомнишь про Конаково. Ты представляешь себе: кованный крючок — и пополам?!

— Да ведь ты не был там!

— Правильно, не был. Но верные люди говорили.

На обратном пути с зимнего лова в электричке ли, в машине ли, как только чуть-чуть согреешься, невозможно не уснуть. Мне снился дергающийся вниз сторожок и окуневые мордочки, высывающиеся из заснеженной лунки. А Герману скорее всего снились заливы возле города Конаково.

В эту зиму я больше ни разу не собрался на лед. Видимо, не так еще сильно зацепила меня эта зимняя рыбалка. Да и обстоятельства складывались неблагоприятно. Но все же именно этой зимой получилась у меня ну, что ли, предпосылка для дальнейшего хода событий.

На съезде российских писателей в коридоре познакомили меня со славным писателем-патриархом Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым, тончайшим знатоком и нашей русской природы, и нашего русского слова. Тут, конечно, разговор о весне, об охоте, о рыбной ловле. Я ввернул в разговор, что вот, мол, мечтаю когда-нибудь побывать в одном месте, называется что-то вроде Конакова. Иван Сергеевич руками всплеснул от неожиданности:

— Да у меня же там дом! А когда бы вы хотели?

— Поздней осенью.

— Это плохо. Я в это время уж в Ленинграде. Но вот сейчас я напишу записку племяннику Борису Петровичу. Вы просто так, погулять, отдохнуть?

— Что вы, я рыбак-подледник.

— Тогда попадете в точку. Там действительно прервосходные рыбы пастбища.

Вот как! Ни больше ни меньше как рыбы пастбища. Не просто водится рыба, не просто ее там много, а пастбища, то есть, значит, стада, табуны, косяки, отары. И, между прочим, записка к Борису Петровичу у меня в кармане. Жаль, вот только теперь весна и записке придется бездействовать до глубокой осени. Ладно, будем готовить снасти!

...Разумеется, Саша успел поставить новую рессору, и от дому мы отъехали без приключений. Однако на окраи-



не Москвы выяснилось, что отказало освещение. Опять короткая консультация с водителем такси.

— Ничего не поделаешь, — как и в прошлый раз, говорил водитель, — надо около тротуара, со скоростью двадцать километров, ехать домой. (Как не понимают люди, что, если несколько месяцев собирались туда, где «превосходные рыбы пастбища», и если уж завтра, не далее чем завтра, можно увидеть, как дергается сторожок, откладывать поездку нельзя!)

Хорошо, что пока еще сумерки. По разъезженным, но теперь окаменевшим подмосковным дорогам ищем некую автобазу, где, может быть, сумеют починить «Москвич». Какие-то бараки, строящиеся дома, неподвижные в этот час краны, заборы... (Сидеть бы сейчас в консерватории, слушая музыку, или в кино, или интересная книга, или просто попить чайку в семейной обстановке.)

— Стой, Саша, вон какие-то широкие ворота, может быть, это и есть автобаза.

Ворота закрыты. Нужно идти в проходную к вахтерам. Саша — Герой Советского Союза. Теперь это помогло бы, но мы в рыбацкой одежде, в нелепых шубах, ни у него, ни у меня никаких документов, кроме прав водителя, да и права-то несолидные, любительские.

В проходной топится железная печка, на ней закоптелый чайник. Вахтер — небритый рыженький мужичонка в стеганке, подпоясанной солдатским ремнем.

— Да вы что, граждане, рехнулись совсем? Могу ли я постороннюю машину ночью на территорию пропустить? Да и разошлись уже все, нынче ведь суббота, вот и товарищ инженер подтвердит.

В будку, со стороны «территории», вошел молодой мужчина (значит, инженер), впрочем, тоже в стеганке.

— Да вот мы... на рыбалку... Герой Советского Союза... писатель... понимаете, какая незадача.

— Семеныч, открой ворота, там еще остались ребята, поглядят.

Заехали в огромное крытое помещение, где множество машин, эстакады для их ремонта, станки. Полутемно, пустынно, тоскливо. (Наши жены, наверно, думают, что мы далеко, во всяком случае, едем. Им и в голову не придет, что мы сидим на автобазе и русский паренек озабоченно копается во внутренностях Сашиного «Москвича».)

Для рабочих базы, тех нескольких человек, что не ушли

еще домой, наш «Москвич» — разнообразие и развлечение. Все они собрались вокруг, разговариваем.

— А правда ли, говорят, что в прошлом году автобус с рыбаками под лед ушел?

— Не автобус, а грузовая машина с фанерным верхом.

— Ну и как же?

— Мы там не были. Говорят, грузовик попал на полынью, затянутую свежим ледком, и тогда как передние колеса зацепились уж за твердый лед, задние проломили корку, и машина встала вертикально.

— Ну а рыбаки как же?

— Ну... и рыбаки, куда же денешься, к тому же в шубах.

— Говорят, фары в воде долго светились?

— Нет, фары остались снаружи. Сказано, машина встала вертикально. Дверца из фанерного кузова была сзади, как раз на дверцу машина-то и встала.

— Да, история.

— Да. Там ведь если не захлебнешься, заледенеешь.

— А вот вы не поверите, братцы, — заговорил вдруг пожилой уж человек, — что я в войну, держась за обломок бревна (а бревно в льдину вмерзло), восемь часов в воде сидел.

— Ври больше, — горячо возразил паренек, так примерно сорок первого года рождения. — Не способен на это человек. Ледяная вода... Переохлаждение организма... Полчаса, и готов...

— Какие вы ученые — переохлаждение! А я говорю, восемь часов в зимней воде просидел.

— А почему?

— Светло было, чуть шевельнешься — очередь. Или снаряд. Простреливалась вся река. Товарищ мой не выдержал, отпустил бревно, поплыл. Через десять метров накрыли, как все равно горстью гороха бросили. Думаю, пуль пять в него шлепнулось. А я восемь часов сидел.

— И жив остался? Не поверю.

— Так вот же я, разве не видишь, что жив.

— Врешь, — начал всерьез горячиться паренек военного года рождения. — Переохлаждение организма. Чудес, папаша, на свете не бывает.

— Ах ты щенок, это я-то вру? Чудес не бывает! А Москва! Немцы в семи верстах были — не чудо? А вся война? Где ты был в сорок первом году?

Спор становился все горячее. Но «Москвич» уже светился всеми фарами и подфарниками. Так мы и не дослушали спора между двумя русскими людьми насчет того: может ли человек просидеть, не двигаясь, восемь часов в воде, или все-таки чудес не бывает?

Из тьмы со стремительной скоростью летели нам навстречу белые хлопья снега. Они вылетали, казалось, из одной точки. Но чем ближе подлетали к стеклу, тем больше рассыпались веером, так что только некоторые снежинки шлепались о наше стекло, другие обтекали машину вместе с ветром, вместе с темнотой, снова смыкавшейся сзади автомобиля.

Как ни подхлестывал Саша «Москвича», время было потеряно на автобазе, да и дорога ослизла от снегопада. К тому же немного поплутали, запутавшись в трех последних деревнях. Все это кончилось тем, что к дому Бориса Петровича мы приехали за полночь. Огня уже не было. И если бы хоть чуть потеплее было в неотопляемом «Москвиче», право, мы не решились бы стучаться к незнакомым, не ждущим нас людям.

На третий стук засветились окна. Борис Петрович, открыв, не спрашивая, кто мы, пустил в избу, а там уж и спрашивать не пришлось. Во-первых, по наряду увидел, что рыбаки, во-вторых, я поторопился вручить ему ту самую, полгода хранимую, записку.

Хозяин дома оказался мужчиной за сорок, с лицом красным и обветренным, как у старого полярника. Его жена Клавдия Георгиевна, выйдя из-за перегородки, так и осветила всю комнату радушием и гостеприимством. Тотчас появились на столе свойские грибки, свойская капуста и, уж конечно, свойские жареные окуни. Ого, если бы вот тот окунь попался нам с Германом на Сенеже, было бы событие на весь Дом рыбака, да и на все достопамятное озеро Сенеж.

Между прочим, Борис Петрович сказал нам, что мы завтра должны подняться в шесть и тогда он сам проводит нас на нужное место.

Надо ли говорить, что зимой в шесть утра так же темно, как и в любой другой час ночи. Не начинало брезжить, когда мы, попив чаю, с трудом разогрели машину, тронулись еще дальше, хотя считали вечером, что Борис Петрович — край нашего пути и что дальше ехать некуда. Ехать же, оказывается, нам пришлось еще километров двенадцать.

— Теперь слева от нас все время Волга. — Борис Петро-

вич кивнул головой налево. — Теперь мы едем все время по самому ее берегу.

Но ничего, кроме начинающей сереть мглы, мы не могли увидеть слева. Зато по дороге мы то и дело видели пешеходов, идущих вперед спешащей, уверенной походкой, как бы боящихся опоздать к началу очень важного или интересного.

— Густо рыбаки нынче идет, — заметил Борис Петрович. — Это все наши местные ребята.

Местные рыбаки были одеты не как мы: не в тяжелые шубы, а облегченно, все больше в короткие тужурки. Да оно и понятно: десять — двенадцать километров пешком в нашей одежде не пройдешь. Потом мы увидим, как местные рыбаки будут энергично перебегать с места на место в поисках обильной лунки, в поисках матерых окуневых стай, делая перебежки по километру и более, тогда как мы все больше на одном месте. У местных рыбаков редко встречаются деревянные ящики, но почти сплошь железные банки (по форме — сплюснутое ведро), на которых они и сидят. Не знаю, почему такая мода и почему это удобнее деревянного ящика.

Мы думали, что чем дальше мы теперь едем, тем будет все пустынное и дичее, как вдруг показалось скопление автобусов, грузовиков, легковых машин разных марок, всего, вероятно, более ста. Скопление было беспорядочным, радиаторами в разные стороны, как если бы пробка на переправе и уже начинается паника. Борис Петрович ответил на наше недоумение.

— Мыс. Дальше и мы не поедем. Дальше только водоем. Вот в январе можно будет ездить по льду, теперь придется пешком.

От скопления машин с горочки спускались на белую многокилометровую скатерть водоема черные вереницы людей. Они шли сначала все по одной тропе, а потом километрах в трех от мыска разбредались в разные стороны, густо заполняя даже такое большое пространство, как перегороженная плотиной, затопившая окрестные берега матушка-Волга.

— Ну-с, наша дорога особая. Вешайте ящики через плечо, пешни поволокем за веревочки. Держитесь за мной.

Борис Петрович повел нас не по общей тропе, по которой почти бегом (как золотая лихорадка) уходили на лед все новые и новые вереницы людей, а правее, вроде бы

даже и не по льду, потому что в этом направлении не было льда, а была бугристая, заснеженная земля.

Вскоре мы поняли, что идем, пересекая многочисленные, глубоко врезавшиеся в сушу заливы, этакий лабиринт заливов. Местами поверх льда торчал сухой темно-желтый камыш. Он железисто шелестел под зимним ветерком или когда мы задевали за него, пробираясь к цели. Местами вдруг открывались светлые участки льда, с пузырьками вмерзшего в лед воздуха. Сквозь лед, как сквозь аквариумное стекло, виднелись коричневые густые водоросли. Местами мы опять выходили на сушу, может быть, пересекали остров, и тогда вместо камыша нас встречали сосенки, мелкий березничок, кусты можжевельника.

Я уж говорил, да это и само собой понятно (нужно только напомнить), что идти в одежде зимнего рыбака тяжело. Мы сильно нагрелись, и дорога (то есть расстояние, ибо мы шли без тропы) стала казаться слишком длинной, как вдруг перед нами, словно в сказке, вырос ладный бревенчатый дом.

— Ну вот, — сказал Борис Петрович, — здесь живет Володя Винокуров со своей матерью Варварой Ивановной. Вы можете приезжать сюда в любое время — и днем и ночью, всегда будет ночлег, горячая уха, чай.

Володя Винокуров стоял на крыльце, разглядывая нас с высоты четырех ступеней. Большой черный пес — сибирская лайка — рвался с цепи, жаждающая познакомиться с пришельцами.

Изба, куда мы вошли, была по типу просторной крестьянской избы, и только обстановка ее противоречила обыкновенному быту обыкновенной крестьянской семьи. То есть никто не сказал бы, что здесь живет пахарь и сеятель со своей работающей женой да кучей белоголовых ребятишек. Ружье с патронташем, висевшее на стене, пустые ружейные гильзы, валяющиеся на столе и на подоконниках, старая, кофейного цвета, пятнистая охотничья собака, зимние удочки и зимние жерлицы, во множестве лежащие там и тут, пешня, стоящая возле порога, ну и другие, может быть, не сразу уловимые приметы говорили о том, что здесь живет вовсе не пахарь, а охотник и рыбак, скорее всего егеря, как оно потом правильно и оказалось.

Около русской печи отгорожены в одну сторону кухня, в другую — спальня. Две железные койки студенческо-солдатско-больничного образца стояли на виду в передней

горнице, три койки за перегородкой в спальне. Ну, и чтобы сразу же представить жильцов: Володя Винокуров, лет тридцати, такой же обветренный и красный, как и Борис Петрович, только гораздо худощавее; Варвара Ивановна, высокая и костистая старуха за восемьдесят, расхаживающая по избе босиком. Потом оказалось, что иногда она и на улицу выходит босиком, например, чтобы дать корма Кузе — той самой сибирской лайке, что сидит на цепи.

В этот дом, к его обитателям, мы еще вернемся вечером. Тогда будет время познакомиться с ними поближе. Теперь мы на скорую руку перекусили, и Борис Петрович поставил перед Володией вопрос ребром: где сегодня будем ловить?

— Так ведь если по-настоящему ловить, надо бы на Корчеву.

«Эх, Герман Абрамов, Герман Абрамов. Ты мечтал о самом лишь Конакове. А вот мы заехали далеко за Конаково, потом еще дальше зашли пешком, на этот прямо-таки сказочный островок со сказочной избушкой на нем, а теперь вот пробираемся еще дальше, и ждет нас некая неведомая Корчева!»

Но и на Корчеве, правда небольшими группками, там и сям чернели точки рыбаков. Совсем рассвело, день вошел в полную силу. Впрочем, мало было силенок у этого позднего ноябрьского дня. Серое плоское небо распространилось низко, как потолок, над плоским же, без бугорка, водоемом. Может быть, Волга и мерцала бы голубыми снегами, может быть, она полыхала бы голубым морозовым огнем, если бы простиралась над ней глубокая чистая синева и солнышко висело посредине.

Небо как бы бросало тень на чистые, ослепительно белые, в сущности, снега. И вот они, чистые и ослепительно белые, тоже казались серыми, почти темными, а вовсе не голубыми.

Голые прутья краснотала, которые прекрасно сочетались бы с возможной голубизной, торчащие из снега на нашем берегу, да черненькие цепочки деревьев на дальнем, противоположном берегу Волги — вот и все разнообразие пейзажа.

Саша по своей проворности и опытности первый прорубил лунку, первый опустил мормышку. Мы занимались каждый своим делом и не обращали на него внимания. Вдруг он вскрикнул. Оглянувшись, как по команде, мы

увидели Сашу, полного растерянности. В руках он держал то, что осталось от удочки.

«Это вам не Водники какие-нибудь, а Корчева», — торжественно светилось в глазах у наших гостеприимных хозяев.

— Какая лесочка-то была?

— Ноль десять!

— Ноль десять здесь не годится. Да и мормышки поставьте тяжелее. Глубоко. Маленькая долго будет тонуть.

Судорожно стал я заправлять удочку в лунку. Крохотная мормышка — гордость фирмы Германа Абрамова — тонула лениво, почти не тонула. Володя Винокуров понаблюдал за моими действиями, сжалился и довольно грубо мне выговорил:

— Говорю, ставь тяжелую мормышку.

Я поставил, и свинцовая капля бойка пошла в глубину. Но вот странно, и эта капля перестала тонуть. Леска, которая так и текла в лунку, вдруг остановилась и легла на лунке кольцом. Чудно. Судя по глубомеру, мормышка не прошла и половины расстояния.

— Да у тебя уж сидит, тащи!

Я потянул вверх, и правда — услышал тяжесть. Значит, окунь взял «с полводы» и так и стоял с мормышкой во рту. Оттого-то она и не тонула. Окунишка был приличный, «из ровных». На Сенеже нужно вытащить штук пять, чтобы сравняться с этим.

Итак, прелесть и драгоценность водоема проявилась с первых минут. Главная прелесть в том, что есть чего ждать. Да, иной раз и здесь повадятся вешаться на крючок мелочь, вроде как на Сенеже или в Водниках. Но там сиди хоть сто лет — ничего другое уж не возьмет. А здесь отойдешь метров двадцать, сделаешь повую лунку — и вдруг пойдет «мерный», или «ровный», или «горбыль», а потом вдруг и «лапоть». А потом, если верить фольклору, и кованный крючок пополам.

Стоит пояснить, что у рыболовов существует свое разделение окуня. Мелочь, ну она и есть мелочь, — поперек ладони длиной; «ровный», или «ровненький» — потяжелее, посолиднее, потолще, похож на рыбу; «мерный» — еще солиднее, таскать его одно удовольствие; «горбыль» — вовсе хорошая рыба, ее и людям не стыдно показать.

Обыкновенно, когда показываешь «горбыля», люди

ахают: «Ах, какая хорошая рыба! Где вы ее взяли?» «Лапоть» есть лапоть, едва пролезает в лунку, сам почти черный, перья — темно-алые, полос уж почти не видно; дальше по шкале идут редкие экземпляры, названия им придумать невозможно. Они выше всяких названий. Они — мечта.

Но все же самое большое удовольствие, когда попадешь на стаю мерных, тяжелых окуней и чувствуешь, что стая устойчивая, и начнешь беспрерывно таскать одного за другим.

К часу дня клев стал затихать и вовсе прекратился. Мы начали ходить с места на место в поисках добычливых лунок. Поглядев вдаль, можно было заметить, что и другие рыбаки там, в своей дали, тоже меняют лунки.

— Ходит рыбак, — резюмировал Саша, — клев прекратился.

Саша, увидев, что какой-нибудь рыбак, даже и вдалеке от нас, энергично работает руками, тотчас бежал туда, чтобы немедленно «обрубить». У него вообще принцип — где рыбак, там и рыба. Он любит прилипнуть к куче, занимая там самую ловкую лунку.

Я пошел искать удачи вдоль бережка и вдруг заметил в одном месте, что вроде как ручеек впадает в водоем. Все подо льдом и под снегом. Может быть, просто сухая канава, но, может, и ручеек. Немедленно я прорубил лунку в трех метрах от устья предполагаемого ручейка.

В это время на льду произошло заметное событие. Появилась новая группа рыбаков. Впереди шел молодой человек в белом военном полушубке и нес пешню и ящик; сзади шел молодой человек в белом полшубке и нес чемодан (скорее всего с провиантом); между ними шел пожилой человек в новой похрустывающей канадской шубе. Он нес удочку. Группа расположилась метрах в пятидесяти от меня. Молодой человек с пешней прорубил лунку, другой молодой бросился шумовкой вычерпывать лед. Потом я потерял из виду своих соседей, ибо у меня вдруг пошел беспрерывно мерный окунь.

Очнулся я оттого, что молодой человек в белом полушубке, запыхавшись, прибежал ко мне.

— Скажите, пожалуйста (самая вежливая интонация), на какую мормышку вы ловите?

Я показал. Молодой человек убежал. Некоторое время у соседей царил сосредоточенность. Перевязывали мор-



мышки. Через четверть часа молодой человек в белом полушубке прибежал снова.

— Скажите, а сколько мотылей вы насаживаете на крючок?

— А вы?

— Изощраемся. Насаживаем одного мотыля — и того колючком, то есть за голову и за хвостик.

— Ну а я насаживаю сразу по четыре мотыля, и всех за голову.

Еще через четверть часа (около моей лунки яркими красками горела грудка окуней) прибежали оба молодых человека в полушубках.

— Скажите, а где берет: со дна, с полводы, а может быть, у самого льда? Так ведь тоже бывает. Говорят, что водяные жучки примерзают ко льду, и вот окунь поднимается со дна и отщипывает, буквально отгрызает от льда этих жучков.

Я признался, что берет на разной глубине, но преимущественно на четверть от грунта.

— А мы уж и так и сяк, и на шевеление в грунте...

Мне тоже захотелось пошевелить мормышкой в грунте, хоть и не было в этом пужды при таком-то клеве. Вот мой «клопик» улегся в тонкую пленочку пла, вот я его сейчас с боку на бок... Вот немного приподниму... Однако отчего же не поднимается? Зацеп? Жаль. Хорошая была мормышка. Нет, вроде пошло. Скорее всего зацепился за тяжелую гнилушку, и вот гнилушка отделилась от дна, выдержала бы только леска.

Началось все с половины воды: и леску, и удочку, и мою руку вместе с ними потянуло вниз так, что рука окунулась в лунку и я едва не отпустил удочку. Бессознательно я удерживаю удочку посередине лунки, чтобы ни в коем случае она, натянутая до предела, не чиркнула по кромке льда. Секунды две отдыхали и я, и окунь. Потом я стал его тихонечко поднимать, потом все повторилось: до половины воды супротивник шел как чурка, в нужном месте уперся, остановил мою руку и уверенно притянул ее к самому льду.

Надо бы кричать сразу, но я онемел от счастья. Раз пятнадцать мы играли, кто кого перетянет. С каждым разом мне удавалось подтягивать добычу все ближе и ближе к лунке. Когда наконец я подтянул ее совсем, выяснилось, что рыба в лунку не пролезает. Вот тут-то я закричал.

Оглянувшись, я не увидел никого поблизости от себя, кроме человека в канадской шубе. Его подручные в белых полушубках, как на грех, куда-то отлучились в это время.

— Эй, товарищ! — закричал я. — У меня окунь в лунку не пролезает! Помогите!

Скорее всего человек, страдающий от бесклевья, принял мои слова за насмешку, во всяком случае, он поглядел в мою сторону и снова уткнулся в лунку. Что со мной случилось, не знаю. Наверно, это от сознания, что такое в жизни больше не повторится. Но я вдруг закричал и заругался благим матом.

Смотрю, и нелегко ему в канадской шубе, при полноте, при возрасте, а бежит, задыхается.

— Ну что у вас, что-нибудь серьезное?

— Надо расширить лунку, только осторожнее, не ударьте по леске.

Работа была не из простых. Второпях, в азарте, в горячке. Леску, в сущности, не видать, она сливается со льдом и водой. В лунке после первых ударов пешней образовалось ледяное крошево.

В это время и Саша прибежал на шум. Он сразу понял, что происходит.

— Дай подержаться, дай подержаться, — умоляющим голосом просил он. Сладко было бы ему послушать хоть одну секунду, как ходит на удочке большая рыба. Но я сам ни за что не мог бы выпустить удочку из рук.

— Тихонечко поднимай, вводи его в лунку, а я поддержу шумовкой.

Саша погрузил шумовку глубоко в лунку и отрезал окуню путь в родную стихию, если бы даже в последний момент и не выдержала леска. Вместе с крошевом льда шумовкой Саша выворотил рыбинку на снег. И тут нам самим не поверилось, что такая рыба могла попасться на столь хрупкое и примитивное сооружение, как моя зимняя удочка.

Сосед, пришедший мне на помощь, радовался больше меня, как будто именно он поймал окуня и больше уж ему ничего не нужно.

— А знаешь ли ты, кто это? — спросил меня потом молодой человек в полушубке, придя посмотреть добычу.

— Откуда мне знать?

— Маршал Н.

— Быть не может! Ах, какая пеловкость, я ведь его, кажется, того... по-русски...

— Ну ладно, рыбаки все равны. Главное, что он доволен.

По обратному пути на остров только и разговоров было что о моей удаче. Спорили, между прочим, сколько он потянет. Я говорил, что в нем будет не меньше полутора килограммов, Саша давал на триста граммов меньше. Борис Петрович убеждал нас, что это самый типичный килограммовый окунь. Володя шел молча и ухмылялся.

Вскоре к нам присоединились местные рыбаки, разговор принял другое, интересное, я бы даже сказал, необыкновенное направление. То есть направление-то, может быть, и обыкновенное, но вещи говорились при этом удивительные.

Местные рыбаки, узнав в Борисе Петровиче своего знакомого, во всяком случае, тоже местного, стали расспрашивать, где мы ловили.

— Да ведь что, — отвечал им Борис Петрович, — сначала мы попробовали у собора, потом перешли на угол Главной улицы и Базарной, а потом уж сидели возле женской гимназии.

— Ну а этого где он выворотил?

— Этого там, далеко, ближе к городской тюрьме.

— Нет, я замечал сколько раз, что хорошо берет, вот знаете, около собора речка текла, ручеек, мостик через него, а на другом берегу луговинка, тут еще старушки богомолки все отдыхали, поздней обедни дожидаясь. Вот на этой луговинке, ближе к ручейку, на самой кромочке отменный бывает клев!

— Интересно. Надо когда-нибудь попробовать.

Сначала, слушая этот разговор, я подумал, что нас с Сашей разыгрывают. Но нет, говорят серьезно. Борис Петрович обстоятельно объяснил:

— Разве вы не знаете, что был такой город Корчева? Небольшой купеческий городок, однако все как следует: и собор, и трактиры, и разные магазины, и гимназии, и базар, и сады с огородами, и ремесленники, и герани на окнах, и извозчики, и гостиница, и богоугодные заведения... Когда образовалось Московское море, которым мы теперь идем, город подвергся затоплению: ведь все, что вы теперь видите, — Борис Петрович показал на ледяные просторы, — все это затопленная земля: луга, овраги, перелесочки, деревни. Так что ничего чудного нет. Просто мы помним,

где что было: где ручеек, где мост через ручеек, где базар, где больница.

Мы только мечтали про себя, что сейчас придем, отдадим Варваре Ивановне рыбу и хорошо, если бы она сварила уху. Однако к нашему приходу огненная (даже пару не видно) уха была готова. Варвара Ивановна сварила ее в ведре, предназначавшемся для этой цели, да так в ведре и поставила на стол. Когда мы спросили, из какой рыбы Варвара Ивановна сварила уху, Володя повел нас через сени в холодную избу, и мы увидели наваленную грудой на полу рыбу, таких же окуней, как и наши. Их было, вероятно, килограммов сто, не меньше.

— Долго ли мне, — объяснил Володя, — на час выбегу — бадья. Теперь уж не хожу — девать некуда. Только ради вас на лед вышел. Съедем, снова буду ловить.

— Да тут на всю зиму.

— Рыбаки, вроде вас, остапавливаются. После неудачного дня подбросишь ему в ящик десятка три, чтобы жена в Москве обрадовалась. Конечно, рыба у меня здесь, как дрова...

Мы поскорее ушли из холодной избы, чтобы не развратиться. А то насмотришься на эту грудку, и пропадет интерес таскать по одному окуньку из морозной лунки.

Перед огненной ухой, с мороза (и больше уж не идти на мороз), нельзя было не выпить по стопочке. Володе мы, правда, налили стакан, правильно посчитав, что ему, живущему на острове, на свежем воздухе, наша мерка была бы маловата.

— Варвара Ивановна, а вы что же с нами, а? Приобщились бы.

— Разве уж маненечко... половиночку...

Налили стаканчик и старухе. Она выпила его с видимым удовольствием, закусила городской едой: колбаской, буженинкой, маслицем.

Окуней в уху было положено без жалости, оттого уха благоухала и радовала.

— Варвара Ивановна, может быть, еще с нами по одной?

— Еще?!

— Ну а что: печка рядом.

— Разве уж маненечко... половиночку...

После мороза, ухи и ста граммов сон сшибает немедленно и наверняка. Я устроился за перегородкой, в спальне,

и последней моей, уже туманной мыслью было: завтра с утра опять можно идти на лед, опять будет клев и разнообразные, от мелочи до латя, окуни. Какое счастье!

А ночью мне снилась Корчева. Как в немом кино, безмолвно ходили по улицам люди, одетые не по-нашему, но в картузах, с лаковыми козырьками, в сборчатых поддевах и сапогах. Купчихи и купеческие дочки — в длинных платьях, с разноцветными шальями на плечах, как бывает только на картинах Кустодисва. Тут же извозчики (пассажирка под зонтиком), гимназистки в белых фартучках. В трактире степенные мужики пьют чай «парами», время от времени они стучат крышкой чайника, подзывая полового. Но вместо полового к ним подплыл вдруг мой окунь и человеческим голосом проговорил:

— Не там ловите. Надо около собора, на поляне, где старухи богомолки поздней обедни дожидаются...

Между прочим, в моем окуне оказалось всего лишь семьсот граммов с небольшими граммами...

Теперь чаще всего мы ездили на остров без заезда к Борису Петровичу, чтобы не беспокоить его каждый раз. На остров к Варваре Ивановне и Володе мы приезжали иногда и совсем поздней ночью. Да еще в метель, снегопад не сразу отыщешь милый нам уютный островок среди других островов и заливов. Особое место в нашем быту на острове занимали ночные невольные бдения.

Дело в том, что зимой темнеет рано. В четыре часа, в пятом пора уходить со льда, и, значит, к шести с ухой покончено.

В это время нас сваливал крепкий сон. Помню, в первый раз я проснулся и стал ждать рассвета. Чувствовал, что больше не усну. Поворочался с боку на бок час или полтора, слышу, и товарищи мои начали ворочаться. Спрашиваю у соседа по койке:

— Иван, сколько времени?

— Половина десятого.

Чтобы не мучиться всю ночь, помнится, мы тогда встали, разогрели чай, начали рассказывать кто что может и только в первом часу уснули снова, на этот раз до утра.

Между прочим, именно во время этих бдений кто-то из друзей высказал мысль: «А что, если бы Литфонд купил эту избу и устроил бы Дом рыбака для писателей?»

— Ну вот. Сейчас ты приезжаешь сюда в любое время дня и ночи, а тогда полгода будешь ждать очереди: все путевки проданы!

Здесь же, на острове, Иван проводил испытания нового способа ловли, соответствующего двадцатому веку и, так сказать, вполне достойного современного этапа развития человечества.

В «Рыболове-спортсмене» Иван вычитал, что нужно взять стеклянную литровую или пол-литровую банку, налить в нее воды, пустить в воду несколько штукек мотыля, провести в банку электрическую лампочку и все это наглухо закрыть. Лампочка должна быть соединена с батарейкой, хранящейся в кармане рыболова. В нужное время банка с горящей лампочкой опускается на дно. Главная идея, по мнению автора, состоит в том, что окуни будут хорошо видеть мотыля, плавающего в банке, а также и малька. Они будут собираться стаями, обступая банку со всех сторон, желая полакомиться или, может быть, просто созерцая. Отчего же не предположить у окуней обыкновенной любознательности. Тут-то рыболов и должен рядом с призрачным, скрытым за стеклом банки мотылем опускать рыбе под нос своего, вполне доступного, но зато насаженного на крючок мотыля.

Неизвестно, как клевало у автора статьи, но Иван определенно клюнул на его идею. Целую неделю он испытывал техническое рационализаторское приспособление в ванной, а затем перенес опыты на естественный водоем в район Григоровых островов на Большой Волге, а попросту говоря, на наш излюбленный островок.

Скорее всего рыба разбежалась от банки с лампочкой, видя или интуитивно чувствуя подвох, потому что у нас у всех не клевало, оттого что была поглощена необыкновенным зрелищем и ей было не до этого. Может быть, именно любознательность отбивала у нее аппетит.

Однажды Саша Косицын рассказал нам, как случайно встретился с автором статьи и тот ему чистосердечно признался, что выдумал электроосветительный способ для того, чтобы напечатать статейку и получить гонорар.

Весной по последнему льду не было смысла ездить на Григоровы острова. Начиная с февраля Иваньковская плотина постепенно сбрасывает воду из Московского моря, и вода отступает со временно оккупированной территории.

Она уходит с лугов, которые отягчались некогда густыми приволжскими травами, из оврагов, из лесов, порубленных на скорую руку перед затоплением, из старенького купеческого города Корчевы.

Лед садится тогда на землю, вздыбливается холмами. Точно так же, как сквозь одеяло угадываются формы тела спящего человека, сквозь толщу осевшего снега начинают проступать изначальные черты рельефа. Как западней, говорят, захлопывает тогда на отмелях несметное количество всевозможной рыбы. Резко обозначается тогда извечное русло Волги с крутыми бережками (сказано ведь, что меж крутых бережков Волга-речка течет).

Тогда съезжаются на русло любители половить ершей. Мы один раз поймали каждый по восемьсот штук за день. Между прочим, когда нам надоела под конец чисто механическая работа по выдергиванию небольших ослизлых рыбок со дна на лед, мы занялись арифметикой и, сосчитав автобусы, стоящие на мысу, помножив все это на наш улов, пришли к выводу, что в этот день с Волги в Москву было увезено не меньше семи тысяч килограммов ершей.

Один раз весной мы попробовали изменить излюбленному водоему и поехали на Тростнянское озеро.

День был хоть и мартовский, но ветреный, холодный, неприятный. К тому же, где бы мы ни рубили лунок, где бы ни опускали мормышки, ни у кого из нас не дрогнул сторожок. Как будто в целом озере не осталось ни одной рыбины. Наконец прохожий (тропинка по озеру от села до села) все нам толково разъяснил:

— Теперь рыба сосет струю, а вы, чудак, поймать хотите.

— Как так — струю?

— Очень просто. Снег тает, под лед ручейками просачивается талая вода. Вот на этих-то струях и держится теперь вся рыба. Да вы вон куда поглядите!

Мы поглядели в сторону села, расположенного над озером на горе, и увидели, что из села к озеру бегут люди, как будто пожар или кто-нибудь утонул. Нужно было узнать, в чем дело.

Недалеко от озера длинной шеренгой стояли жители села: и мужчины, и женщины, и мальчишки. Из узкой грязной канавы, сочащейся у их ног, они небольшими сачками вместе с черной торфяной жижей выгребали крупную серебряную плотву. У иных рыбаков находились

помощники — мальчишки или девчонки, которые сразу рыбу убрали в мешки. Но вообще-то она лежала вдоль канавы большими шевелящимися грудями. Такой крупной, такой ровной плотвы мы не видавали отродясь.

— Чего стоите, покупайте, жены довольны будут. Мы недорого возьмем.

Самые деликатные из нас арендовали сачки по цене двадцать рублей за час, чтобы все же как-никак своими руками.

Мы с Сашей без канители отобрали и побросали в ящики десятка по полтора самых крупных и самых красивых. Этого хватило, чтобы дома с краями наполнить большой эмалированный таз.

До сих пор жена нет-нет да и скажет:

— Что вы ездите на эти Григоровы острова! Съездили бы опять туда, откуда, помнишь серебряная плотва. Это был самый лучший твой улов за все годы.

Обыкновенно в начале ноября начинаем звонить по междугородному, вызывая Бориса Петровича.

— Рановато, — отвечает обыкновенно Борис Петрович. — Заливы, правда, встают, вчера я видел — мальчишки бегали по заливам.

— Можно ли пробраться на остров?

— Думаю, что рановато. Волга, во всяком случае, гуляет.

В последнюю осень не хватило нашего терпения, и, услышав, что заливы встают, мы выехали на Григоровы острова.

На мыске мы пришли в отчаяние. Волга гуляла, как летом. Нигде никаких признаков льда, даже возле берега. А вот на валивах, как ни странно, лед. Как будто нарочно для нас наморозили искусственным способом.

Пошли гуськом, поодаль друг от друга, скользящей походочкой, мелким шажком. Не путешествие, а балет. Миновали залив, миновали протоку. Чем ближе к острову, тем тоньше ледок — гнется, трещит, пружинит. А сам такой светленький, чистенький, как будто его и нет.

Перед последней протокой пришлось задуматься, потому что по протоке гуляла вода. Легкий ветерок (день был теплый, как бы даже летний) слегка рябил воду и справа, и слева. Лишь в середине, против нас, горло протоки перехватило ледком. Впрочем, какой там ледок, не ледок,



а пленочка. Казалось (так на самом деле и было): водяная рябь, плескаясь и колебля воду, съедала потихоньку ледяную перемычку. А к вечеру (как мы потом увидели) съела ее совсем.

Остров, вот он, на другом берегу протоки. Больше нет никаких преград между ним и нами, кроме как вода. Впрочем, почему вода. Какой-никакой, но есть ледок. Дела не так уж плохи. Неужели возвращаться в Москву от самой цели путешествия. Каких-то пятьдесят или тридцать метров — чепуха.

Пешнями мы срубили средней величины ольху, обрубили сучья. Получилась длинная жердь, почти бревно. Теперь можно ползти по льду, а жердь толкать впереди себя на всякий случай. Если провалишься, за нее держаться, за ней выплыть на остров, бегом к избе, чтоб не замерзнуть. План четкий и ясный. Однако кто же первый? Нас было четверо. Взгляды наши как-то сами собой собрались все на Саше. Рассуждали мы так: во-первых, ты потяжелее нас, потолще, и уж если ты не провалишься, то проползем и мы. Во-вторых, и самое главное, — ты же Герой Советского Союза! Кто же, как не ты, должен подать нам всем пример?

Саша вдруг лег на берег плашмя, и не лег, а как-то очень шустро упал, как падают на учениях в армии, и по-армейски грамотно, как если бы показывал новобранцам или сдавал экзамены, по-пластунски устремился вперед. Вот так, как эту жердь, он и толкал впереди себя пулемет, меняя огневую позицию где-нибудь под озером Балатон.

Прополз он благополучно. Но слегка, пущенная им обратно, доскользила только до середины ледяного пространства. На середине же, медленно повернувшись, как стрелка часов (чтобы еще подальше от нас оказался ее конец), остановилась.

Я тоже ведь когда-то ползал по-пластунски и тоже показывал новобранцам, как это делается. Но, право, теперь я меньше всего думал, высоко ли поднимается у меня задняя часть (именно на это обращают внимание в армии), а думал я о том, когда же пальцы мои дотронутся до такой, казалось бы, близкой ольховой жерди. Ведь и последние полметра могут разверзнуться под тобой. Особенно неприятно во время такого путешествия громкое, под самым животом, потрескивание льда и белые стрелы трещин, разбегающиеся в разные стороны.

Володя обрадовался нам, посадил нас всех в моторную лодку, и мы через Волгу ушли к устью реки Бабни. Володя уверил нас, что Бабня вся стоит и лед надежный.

Как ни странно, Бабня стояла. Небо было по-летнему голубое, и лед был голубой, и тепло было, как летом, и все было необыкновенно, неповторимо в этот день, не говоря уж о клеве. Такой клев, наверно, никогда больше не встретится на нашем рыбацьем пути.

Что бы такое значило? Сидишь с удочками где-нибудь в Журавлихе или где-нибудь на тихом лесном озере. Желтые кувшинки, белые лилии, которые, правда, не распустились еще в ранний рассветный час, но воображение уж видит их — частые, свежис, голубоватые, потому что прямо над ними ничего нет, кроме яркой, безоблачной синевы. Сквозь деревья пробиваются и ложатся на воду первые розовые пятна — заря.

Тепло. Пахнет речным туманом, который успел оторваться от воды и путается теперь в вершинах прибрежных деревьев, в верхушках черного елового леса на том берегу.

Пахнет мятой-травой. Наверно, вытирая руки пучком травы, размял стебель мяты, и вот теперь разливается в неподвижном воздухе ее крепкое, с холодком, благоухание.

Прислушаешься — птицы поют, приглядишься — сонные капли росы на траве и цветах. Благодать. К тому же сейчас, может быть, в следующую секунду, дрогнет как в зеркало внятный поплавок и, морщина зеркало и разрезая его, уверенно пойдет вкось под широкий гляцевитый лист кувшинки.

— Саша, у тебя как, берет?

— Хорошо берет.

— И красота какая. И тишина. И запахи. И тепло.

— Да, благодать... Но это все же не то. Вот погоди, придет ноябрь, начнется стужа, перволедок...

Не раздражай, не бреди душу, словно не дожدهшься, когда придет ноябрь.

— А помнишь, как мы один раз выехали в тридцатисемиградусный мороз? Мотыль примерзает к пальцам, пальцы к мормышке, лунку каждую минуту затягивает льдом.

— Фанатики: Я тогда сбежал с половины дня. С Варварой Ивановной варил уху.

— Красота.

— А помнишь, как один раз ехали на твоём «Москвиче» по тонкому льду и открыли дверцы, чтобы, если рухнет, повиснуть на дверцах?

— Фанатики. Жаль мне «Москвича»-то, наверно, новый хозяин перекрасил его и номер другой. Может, и встретишь на улице, не узнаешь.

— А помнишь, как у Аркадия на мормышку щука взяла?

— Не бреди.

Солнце поднялось выше. Оно начинает пригревать. Оно просвечивает тихую речную воду.

— Эх, брат, словно не дождешься, когда придет ноябрь, и стужа, и первый лед. Да мороз бы покрепче, да махнуть бы на Григоровы острова!

1963

TPABA



Ньютон объяснил — по крайней мере так думают, — почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над другим, бесконечно более трудным вопросом: а как оно туда поднялось?

*Джон Рескин*

Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет.

*К. Тимирязев*

Колокольчики мои,  
Цветики степные.

*А. К. Толстой*

Строго говоря, я не имею никаких оснований братья за эту книгу. У меня нет ни осведомленности ботаника, чтобы я мог сообщить миру нечто новое, неизвестное современной науке, ни опыта, скажем, цветовода, чтобы я мог поделиться им, ни накопленных веками, а может быть, во многом интуитивных знаний знахаря, чтобы я мог обогатить народную медицину.

После пятого класса средней школы я уже не считал на цветках лепестков, не разглядывал в лупу тычинок и пестиков, не опылял кисточкой, не засушивал цветов для гербария. Я не выращивал цветов в теплицах или на клумбах. Я не собирал таинственных трав, чтобы развешивать их на чердаке, сушить, а потом варить из них зелье и пить от разных болезней.

Некоторые травы я, правда, собирал, но все больше зверобой, зубровку, мяту и тмин, которые очень хороши для домашних настоек.

Леонид Леонов, всю жизнь разводивший кактусы и создававший время от времени бесценные коллекции этих удивительных растений, мог бы, вероятно, рассказать нечто интересное из жизни кактусов.

Рядовой работник ВИЛАРа, выезжающий каждое лето в экспедиции на поиски лекарственных трав, мог бы поделиться своими наблюдениями, присовокупив к ним несколько приключений, неизбежных во всякой экспедиции.

Индийские ученые, установившие, что травы воспринимают музыку, что музыка влияет на самочувствие и рост трав, что классическая музыка стимулирует их рост, а джаз угнетает, — эти ученые смело могут братья за перо, ибо они имеют сообщить человечеству нечто новое, несслышанное, потрясающее.

Я же умею только мять траву, валяясь где-нибудь на опушке леса, набрать букет и поставить его в кувшин, сорвать цветок и поднести его к носу, сорвать цветок и поднести его женщине и просто смотреть на цветы, когда они расцветут и украсят землю.

Я косил траву, возил ее на телеге, и тогда она называлась сеном.

Я выдергивал одни травы, оставляя другие, и это называлось прополкой.

Я ел траву, когда она была щавелем, заячьей капустой, а также спаржей, луком, укропом, петрушкой, чесноком, сельдереем...

Я бродил по траве, когда на нее упадет роса. Я слушал, как шумит трава, когда подует ветер. Я видел, как трава пробивается из черной апрельской земли и как она увядает под холодным дыханием осени. Я видел, как трава пробивается сквозь асфальт и часто поднимает, разворачивает его, как это можно сделать только тяжелым ломом.

Чаще всего это была трава. Просто трава. Сознание выделяет из нее обычно несколько травок, знакомых по названиям. Крапива и одуванчик, ромашка и василек. Еще десятка два-три. Валериану, пожалуй, не сразу отыщешь и покажешь в лесу. С ятрышником дело будет еще сложнее. Когда черед дойдет до вероники и белокудренника, не спасует только специалист.

Однажды я записал смешную историю, как мы с другом пытались выяснить название белых душистых цветов, растущих около речек и в сырых оврагах. Лесник, к которому мы обратились, обрадованно сообщил нам, что это «бела трава». Теперь я знаю, то была — таволга. Но лесник не знает этого до сих пор, и «бела трава» для него вполне подходящее и даже исчерпывающее название.

Тут невольно я вспоминаю гениальную книгу Метерлинка «Разум цветов». Метерлинк говорит, что отдельное растение, один экземпляр может ошибиться и сделать что-нибудь не так. Не вовремя расцветет, не туда просыплет свои семена и даже погибнет. Но целый вид разумен и мудр. Целый вид знает все и делает то, что нужно.

Все как у нас. Поведение отдельного человека может иногда показаться неразумным. Человек спивается, ворует, лодырничает, может даже погибнуть. Отдельный индивид может не знать что-нибудь очень важное, начиная с истории, кончая названием цветка. Отдельный Серега Тореев может не понимать, куда идет дело и каков смысл всего происходящего с ним самим. Но целый народ понимает и знает все. Он не только знает, но и накапливает и хранит свои знания. Поэтому он богат и мудр при очередной скудости знаний отдельных его представителей. Потому он остается бессмертным, когда погибают даже лучшие его сыновья.

Мой сотоварищ по перу Василий Борахвостов, узнав, что я собираюсь писать книгу о травах, стал посылать мне время от времени письма без начала и конца, с чем-нибудь интересным. Обычно письмо начинается с фразы: «Может, пригодится и это...» Или сразу идет выписка из Овидия, Горация, Гесиода.

Чтобы подтвердить свою мысль о поэтичности и мудрости народа, несмотря на невежественность отдельных людей, выписываю полстранички из борахвостовского письма.

*Теперь о траве (эти названия я собрал за 50 лет сознательной жизни, но мне не понадобилось). Русский человек (надо сказать — народ. — В. С.) настолько влюблен в природу, что эта его нежность к ней заметна даже по названиям трав: петрушка, горюцвет, касатик, гусиный лук, баранчик, лютики, дымокурка, курчавка, чистотел, белая кашка, водосбор, заманиха, душичка, заячья лапка, львиный зев, мать-и-мачеха, заячий горох, белоголовка, богородицы слезки, ноготки, матренка, одуванчики, ладаница, пастушья сумка, горечавка, поползиха, иван-чай, павлиний глаз, лунник, сон-трава, ломонос, волкобой, лягушатник, маргаритки, мозжатка, росянка, ястребинка, солнцегляд, майник, соломонова печать, стыдливица, северница, лисий хвост, душистый колосок, ситник, гулевник, сабельник, хрустальная травка, журавельник, копытенъ, пужичка, сныть, пролеска, подморенник, чистяк, серебрянка, жабник, белый сон, кавалерийские шпоры, горький сердечник, буркун, сухареврик, девичья краса, калачики, волгоцвет, золотой дождь, таволга, бедренец, купырь, золотые розги, мордовник, куль-баба, ласточник, румянка, наперстянка, богородская трава, белорез, царь-зелье, жигунец, собачья рожа, медвежье ушко, ночная красавица, купавка, медуница, анютины глазки, бархатка, васильки, вьюнки, иван-дамарья, кукушкины слезки, незабудка, ветреница, кошачья лапка, любка, кукушкин лен, барская спесь, бабий ум (перекати-поле), божьи глазки, волчьи серьги, благовонка, зяблица, водолюб, красавка... Сколько любви и ласки!*

Конечно, хоть и за пятьдесят лет, Борахвостов собрал не все. Достаточно заметить, что в списке нет хотя бы колокольчиков, мышинной репки, птичьей гречки, ландыша, солдатской еды, столбцов, земляники, манжетки, купаль-



ницы, зверобоя, чтобы понять, как список не полон и как можно его продолжать и продолжать. Но зато в нем есть иные истинно народные названия, не встречающиеся в ботанических атласах.

Важно и другое. Читая все эти названия трав, отчетливо понимаешь, насколько народ знает больше, чем мы с тобой, ты да я. И что, пожалуй, мы с тобой (ты да я) просуществоем на свете зря, если не добавим хоть медной копейки в драгоценную вековую копилку, коли иметь в виду не названия трав (которых мы с тобой безусловно не добавим), но всяких знаний, всякой культуры, всякой поэзии, всякой красоты и любви.

\* \* \*

### БОРАХВОСТОВ

*Я, видимо, больной человек, если я что-либо захочу узнать, то обязательно должен докопаться до нуля.*

*То же вышло и с золототысячником. Он не давал мне покоя.*

*Не может быть, чтобы наш русский народ назвал траву золототысячником. Это не в какие ворота не лезет. Это произошло, видимо, в эпоху нашествия немцев на Россию при Петре I или при Екатерине II, которые «втихаря» колонизировали Русь, предоставляя лучшие земли немецким переселенцам. Так, например, появились немцы Поволжья и колония Сарепта (знаменитая сарептская горчица) в Сталинградской области...<sup>1</sup>*

*Или же золототысячник появился у нас (название, конечно) в то время, когда наша интеллигенция стала изучать немецкий язык.*

*Но ведь у нас в истории были времена, когда — слава богу! — не было интеллигенции, а народ — слава богу! — был, и трава тоже — слава богу! Значит, наш народ как-то называл ее. Наши древляне не ждали, пока придут немцы и назовут эту траву, а мы потом переведем ее на наш кондовый язык.*

<sup>1</sup> Приводя здесь выдержки из писем моего любезного корреспондента, я оставляю на его совести подобные исторические экскурсы и оценки, некоторые рискованные суждения (не о травах), а также эмоциональные сопоставления русского народа с другими просвещенными народами, мне лично несвойственные.

И я стал копать. И докопался. Народ ее называет и до сих пор «игольник», «грыжник», «травенка» и «турецкая гвоздика» в зависимости от области, края.

Так же в свое время я интересовался происхождением названия «бессмертник». Оказывается, в этом опять винограда наша — на этот раз не интеллигенция, а аристократия. Привыкнув с детства балакать по-французски, они названия этих цветов (травы) просто перевели с французского. Там она называется «иммортели», это в переводе и означает — «бессмертник». А наш великий народ называет эту траву «неувядка», «живучка». Куда там французикам тягаться с нами в любви к природе. «Бессмертник» и «неувядка» — канцелярица и поэзия!

Еще нашел я тебе о траве в некоторых книгах. Вот «Записные книжки» Эффенди Каписева.

«Как бедны мы, горцы! Как беден наш язык! Виноград у нас называется «черный цветок», подсолнух у нас называется «пышный цветок», розу у нас зовут «многознающий цветок» (с. 198).

Это я привел для сравнения с нашими многообразными и многочисленными названиями трав. А теперь — Куприн:

«Для своего обихода, для своих несложных надобностей, русский крестьянин обладает языком самым точным, самым ловким, самым выразительным и самым красивым, какой только можно себе представить. Счет, мера, вес, наименование цветов, трав...» (К у п р и н. Бредень).

*Примечание.* И это писал человек, знавший немецкий и французский!

— Вы бы, мужички, сеяли мяту. Э... вы бы мяту сеяли (Л. Толстой. Плоды просвещения).

*Примечание.* Так аристократ Вово учил крестьян сельскому хозяйству.

Снова Куприн:

«Обхожу его (древнеримский цирк.— В. С.) по барьеру. Кирпич звенит под ногами, как железный, кладка цементная, вековая, в трещинах выросла тонкая трава, иглистая, жесткая, прочная, терпкая. Вот и теперь она лежит предо мной на письменном столе. Я без волнения не могу глядеть на нее» («Лазурный берег»).

«Потом Зоя затуманилась, развздохалась и стала мечтательно вспоминать Великую неделю у себя в деревне.

— Такие мы цветочки собирали, называются «сон». Синенькие такие, они первые из земли выходят. Мы делали из них отвар и красили яйца. Чудесный выходил синий цвет» («По-семейному»).

*Примечание.* Зоя — проститутка.

«Сегодня тройца. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее, длинную, хрустящую под ногами, толстую траву, всюду: в коридорах, в кабинетах, в зале» («Яма»).

*Примечание.* У нас в Волгоградской области посыпают полы богородской травой, на Украине — чабрецом. Есть о травах и у Марко Поло, но я не выписывал, а память изменяет, начинается склероз. Да и читал-то я его лет сорок назад.

Жером Бок. «Книга трав» издана в 1557 году. Есть в нашей библиотеке (в библиотеке Центрального Дома литераторов.— В. С.). В ней много интересного, вплоть до средневекового салата из крапивы, листьев фиалки и репейника. Без уксуса (тогда еще не знали его) и без масла (оно в то время считалось роскошью). В салат для остроты прибавляли хрен.

*Я еще покопаюсь в записных книжках. Привет!*

\* \* \*

Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем тогда, когда его начинает не хватать. Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово «дорожить». Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о нем, пока нормально и беспрепятственно дышим. Но все же, неправда,— замечаем. Даже и наслаждаемся, когда потянет с юга теплой влагой, когда промыт он майским дождем, когда облагорожен грозowymi разрядами. Не всегда ведь мы дышим равнодушно и буднично. Бывают сладчайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь глотки воздуха.

По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожа-

луй, у воздуха никого на земле ближе, чем трава. Мы привыкли, что мир — зеленый. Ходим, мнем, затаптываем в грязь, сдираем гусеницами и колесами, срезаем лопатами, соскабливаем ножами бульдозеров, наглухо захлопываем бетонными плитами, заливаем горячим асфальгом, заваливаем железным, цементным, пластмассовым, кирпичным, бумажным, тряпичным хламом. Льем на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щелочи. Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? Подумаешь! Сколько там травы? Десять квадратных метров. Не человека же засыпаем, траву. Вырастет в другом месте.

Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл крапик, и вся жидкость из радиатора вылилась на землю, там, где стояла машина — на лужайке под окнами нашего деревенского дома. Антифриз растекся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на земле, оказывается, получился сильный ожог. Среди плотной мелкой травки, растущей на лужайке, образовалось зловещее черное пятно. Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом уж плешина снова затянулась зеленой травой.

Под окном, конечно, заметно. Я жалел, что поступил неосторожно, испортил лужайку. Но ведь это под собственным окном! Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. Если же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в придорожной канаве, да, господи, мало ли на земле травы? Жалко ли ее? Ну, высыпали шлак (железные обрезки, щебень, бой-стекло, бетонное крошево), ну, придавили несколько миллионов травинок. Неужели такому высшему, по сравнению с травами, существу, как человек, думать и заботиться о таком ничтожестве, как травинка. Трава? Трава она и есть трава. Ее много. Она везде. В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне... Разве что вот в пустыне ее поменьше. Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы нет. Страшное, жуткое, безнадежное зрелище! Представляю себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой может оказаться после какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша земля, обнаружившего на обугленной поверхности планеты единственный зеленый росточек, пробивающийся из мрака к солнцу.

Не помню где, в воспоминаниях какого-нибудь революционера, я вычитал трогательную историю о травинке.

Арестанту, заключенному в одиночке, принесли из большого мира стопу книг. Кроме самого арестанта, в камере не было ничего живого. Каменные стены, железная кровать, тюфяк, набитый, мертвой теперь, соломой, табуретка, сделанная из бывшего живого дерева.

Ученый человек тотчас прервет меня и скажет, что плесень в углу тоже есть жизнь и разные там бактерии в воздухе... Но не будем педантами. Забудем даже про то, что в тюремном тюфяке могли водиться совсем уж живые существа. Будем считать условно, что, кроме самого арестанта, никакой жизни в камере не было. И вот ему принесли стопу книг. Он стал книги читать и вдруг увидел, что к книжной странице прилипло крохотное, право же, меньше булавочной головки, семечко. Арестант аккуратно это семечко отделил и положил на лист бумаги.

Непонятное волнение охватило его. Впрочем, если вдуматься, то волнение арестанта можно понять.

Как дышим воздухом, точно так же бездумно мы обдуваем головки одуванчиков, раздавливаем в пальцах созревшую ромашку, пересыпаем с ладони на ладонь сухое зерно, лузгаем семечки подсолнуха, щелкаем кедровые орешки.

Но в особенной обстановке, в безжизненном (как мы условились) каменном мешке, в оторванности от обыденной жизни планеты, арестант посмотрел на семечко другими глазами. Он понял, что перед ним на листе бумаги лежит величайшее чудо из всех возможных чудес и что все это поистине величайшее чудо (и в этом еще дополнительное чудо) помещается в крохотной, едва различимой соринке.

При своем тюремном досуге арестанту не трудно было вообразить, что, допустим, оголилась земля и осталось от бывшего пышного изобилия, от роскошного даже, как бы праздного зеленого царства, одно это, последнее, случайно прилипшее к книжной странице, семечко.

Ну да, в одной коричневой легковесной шелушинке могут скрываться гигантский сосновый ствол, крона, подобная зеленому облаку, и даже впоследствии целая сосновая роща. Или бело-розовые яблоневые сады, если взять глянцевое, лаковое, остренькое с одного конца зернышко яблока, или колосящееся пшеничное поле, если взять столь знакомое всем пшеничное зерно.

Но как узнать, что скрывается в семечке, если оно не знакомо нам по своему внешнему виду? Сумев увидеть

и понять в семечке великое чудо, наше сознание невольно делает еще один шаг и тотчас натывается на глухую, абсолютно черную, непроницаемую завесу, отдаляющую нас от тайны тайн.

Если бы в распоряжение арестапта, обладающего таинственным семечком, были отданы все современные химические и физические лаборатории мира с их сложными реактивными, утонченными анализами и электронными микроскопами, если бы эти лаборатории изучили каждую клетку семени, если бы они после клетки добрались потом до молекулы, до атома, до атомного ядра, если бы они даже расщепили все атомы, из которых составлено семя, они все же не сумели бы приподнять черной завесы и не узнали бы, какое растение (какой формы листья, какого цвета, какого вкуса плоды) заключено в семечке, так просто лежащем на листе бумаги перед вопрошающим, но беспильным взглядом человека.

Короче говоря, все ученые мира, вооруженные современными знаниями и современной техникой, не смогли бы все равно помочь тому арестанту и прочитать ту программу, которая вложена в семечко и у которой только две судьбы в этом мире. Либо погибнуть вместе с семечком при неблагоприятных условиях, либо включиться, прийти в действие, в осуществление и тогда показать, проявиться и сделаться видимой для простого человеческого глаза. И тогда чудо превратилось бы в повседневность и будни: одуванчик, подорожник, ромашка с белыми лепестками, ядреная морковка или душистый укроп (порезать в суп).

Завеса остается непроницаемой.

Что из того, что мы вмешиваемся в жизнь растения, скрещиваем, создавая всякие черемухо-вишни, картофеле-томаты и много всего мичуринского. Все равно мы манипулируем при этом с видимыми результатами тайной программы, с цветами, почками, ветками, а не с самой программой, зашифрованной надежным шифром.

Так радиотехник может уметь починить приемник, хорошо разбираясь в проволочках и гаечках, но ничего не знать о теоретической сущности радиоволн. Так наши пращурь пользовались огнем, не сознавая, что тут происходит соединение веществ с кислородом, бурное окисление, сопровождаемое выделением тепла и света. Так мы пользуемся теплом и светом напрапалу, все еще не зная их конечной, а вернее, начальной сути.

Но подобные рассуждения увели бы нас далеко, а глав-

ное, совсем развеяли бы ту обстановку романтичности и таинственности, которая создалась в одиночной камере Шлиссельбургской крепости, когда заключенный обнаружил в книге неизвестное, случайное семечко. У заключенного не было другого способа разгадать тайну, кроме как посадить семечко в землю и предоставить дальнейшее самой природе.

Тюремный ли режим тех времен допускал подобные саптименты, по сговору ли со сторожем, но у арестанта появилась банка с землей. Дрожащими руками человек опустил семечко в землю, и оно тотчас потерялось в ней. Теперь, если бы человек снова захотел отыскать семечко и отдельно положить его на бумагу, то вряд ли ему это удалось бы. Семечко измазалось в земле, само стало как земля, слиплось, слилось с остальной массой, относительно огромной, если даже и всего-то земли было там — треснутый негодный горшок.

В красивой классической легенде узник поливает цветок в темнице своими слезами. В нашем, не столь уж романтичном случае обошлось без слез, но можно было из своей кружки отдавать немного цветку. Впрочем, пока еще не цветку, а черной земле, хранящей тайну поглощенного ею семечка.

Если бы я обладал точными ботаническими знаниями, я написал бы, на который день произошло прорастание семени и как именно выглядел первый высунувшийся из земли росточек. Из книжки, прочитанной мною давным-давно и наполовину забытой, явствовало лишь, что семечко, найденное прилипшим к странице, в конце концов проросло и что это очень обрадовало человека. Дело было не только в том, что затея удалась, но и в том, что та завеса, которая, как мы предполагали, абсолютно непроницаема для человека, вдруг прираздвинулась сама собой, показав сокровенное и чудесное.

Чудо, к которому мы так привыкли только потому, что оно происходит вокруг нас всегда в миллионно-миллиардном повторении, но тем не менее все-таки самое подлинное чудо, начало происходить и разворачиваться на глазах у потрясенного узника, как награда за его внимание и терпение.

Первым делом из земли показалось нечто нежно-зеленое и при тщательном рассмотрении (без рук, без дотрагивания, конечно, — замерла душа) нечто собранное в комочек, в щепотку и покрытое прилианными серебристыми

ворсинками, отчего и выглядело вовсе не столько зеленым, сколько серебристым.

Счастливым сеятель (если можно назвать счастливым человека, сидящего в тюрьме, но все равно счастливый относительно того маленького дела, о котором идет речь), наверное, наблюдал за развитием растения, как теперь наблюдает иногда замедленная кинокамера, в объективе которой наглядно разворачиваются листья и раскрываются бутоны цветов. Нам приходится следить за растениями рывками, и вот, во-первых, обнаруживается, что серебристый росток подрос еще и развернулся вдруг в два самостоятельных отдельных листа. Листья при этом получились не простые, а стропенные, разрезанные. Три овальных, зубчатых по краям плоскости сходятся в одной точке, образуя розетку. Можно и так сказать, тонкий стебелек, поднявшись из земли и дорастя до определенной высоты, растроился, разбежался на три жилки. Каждая жилка сделалась осью зеленой овальной плоскости. Три жилки, три плоскости, а в целом — один тройной лист. Сверху он получился почти темного зеленого цвета, и если не глянцевый, то, во всяком случае, гладкий, снизу же матовый, серебристый. Стебелек, вознесший лист над черной материнской землей, — тонкий, круглый в сечении и весь покрыт мелким нежным пушком. Зачем ему этот пушок, мы не знаем (растут же другие без пушка!), но, значит, зачем-нибудь нужен.

Два стебелька подняли два листа, подставив тем самым свету две огромные, грандиозные, в масштабах посеянного зернышка, зеленые плоскости. Эти светоуловители сразу же начали действовать. Сверхсложная и сверхточная химическая лаборатория заработала на всю мощь. Вскоре двух светоулавливающих плоскостей оказалось мало, и были выставлены еще две дополнительные плоскости. Потом появился и быстро перерос все растение еще один тонкий стебель. Однако он не торопился увенчивать себя листом, но разделился на два отдельных, еще более тонких стебелька. На конце каждого из них возникло по островерхой зеленой шишечке, очень похожих на миниатюрные церковные луковки.

Эти луковки-маковки росли не по дням, а по часам, набухали, что-то распирало их изнутри, словно некие гномы под землей день и ночь работали насосами, нагнетая подземную силу и в листья, и в стебель, и в островерхие шишечки. И вот — стебелек держится прямо, не сгибается



и не никнет. Огромные зеленые плоскости, сочные и потому, безусловно, тяжелые, держатся горизонтально, а не повисают, как тряпки. Островерхние шишечки раздуваются и, того гляди, лопнут.

Настал день, когда шишчатые бутончики действительно не выдержали внутреннего напора, лопнули, и два ослепительно белых цветка озарили сырую тюремную камеру.

Напрасно было бы гадать и спрашивать, где взяло растение такой нежный и белый материал, как оно сумело извлекать такие чистые тонкие лепестки, по пяти на каждом цветке. Где взяло оно и яркого желтого материала на круглую шишечку в середине цветка и на крохотные булавочки, натканые в эту шишечку со всех сторон.

Сравнительно с самим собой семечко подняло эти цветы на головокружительную высоту, если учесть, что стебель у куста лесной земляники около двадцати сантиметров, а семечко земляничное в одном миллиметре уложится не четыре ли раза.

Значит, цветок цветком, кустик кустиком, но больше всего это похоже на мощный зеленый взрыв неведомой энергии, сконцентрированной и сжатой, до времени упакованной в весьма экономную портативную упаковку мельчайшего семени.

Кустик был красив, а вернее сказать — прекрасен. Два листа, протянувшихся горизонтально, держались почти около земли. Три стебля росли прямо вверх и поддерживали там каждый по листу... Еще один стебель держал два белых цветка. Все вместе радовало глаз законченностью, стройностью и той разумностью, которая не поддается анализу и объяснению, но которая воспринимается тем не менее человеком, может быть, потому, что и сам он содержит в себе частицу все той же разумности, а вернее, является ее частицей.

Откуда ни возмись, проклюнулся и быстро вытянулся новый гибкий стебель, значительно тоньше остальных, снабженный на конце утолщением. Этот стебель не стремился держаться прямо, в нем не было жесткости, которая позволила бы потом держать лист или цветок. Он вытягивался в длину, но все время тяготел к земле, словно искал соприкосновения с ней.

Сколько ни гадал терпеливый наблюдатель, что разовьется из утолщения на конце этого нового, странно ведущего себя стебелька — цветок или лист, ничего не выходило. Чем длиннее вытягивался стебель, чем дальше уносил он от

куста свою утолщенную головку, тем настойчивее искала головка желанной влажной земли. Но витала она в бесплодной пустоте, потому что в поисках земли стебель унес ее за пределы той банки, или того горшка, где расцвел коренной куст. И ежели новоявленный садовод догадался подставить под шарящую в пустоте округлую головку новую банку с землей, то она дотронулась до нее, раздвинула паружные комочки, вонзилась в глубь земли, пустила корни. Так растение, преодолев свою корневую прикрепленность к одному месту, сделало шаг в пространство. Шаг небольшой, но зато надежный.

Конечно, шагнуло растение и тогда, когда сумело прилепить свое семечко к книжной странице и когда книгу увезли, может быть, за тысячу верст от того места, где семечко выросло, и передали в тюрьму, а оно все ждало своего часа и, как нетрудно это понять, могло бы ничего не дожидаться. Но это даже не шаг, а целый космический перелет.

Правильно ли написать о растении, что оно «сумело прилепить свое семечко»? Не сознательно же оно его прилепило? Да. Но зачем оно вырабатывало сложную сочную, ароматную ягоду? Только затем, чтобы этой ягодой кто-нибудь напитался. Проще всего, если склюет птица. Тогда — путешествие на крыльях. Птица уронила бы семечко, пролетая над лесом, и это был бы для растения тоже шаг, в пространстве. Собственно, на птицу и был основной расчет, а вовсе не на книжную страницу. Но так же, как у людей, бывают, оказывается, и у семян необыкновенные, приключенческие, прямо-таки фантастические, судьбы. Например, пролежать сорок веков в гробнице египетского фараона, а потом прорасти в парижской лаборатории. Согласимся, что и наше семечко постигла именно такая приключенческая судьба.

Но растение полно реализма. Оно не доверяет случаю. Романтика ему ни к чему. Оно выбрасывает гибкий стебель с шишечкой на конце и в десяти — двадцати сантиметрах от себя укореняет новый куст. На птицу надейся, а сам не плошай. Маленький шажок, но зато надежный.

Арестант, в своих изданных впоследствии воспоминаниях, утверждал, что у него в жизни ни до тюрьмы, ни в тюрьме (естественно), ни после тюрьмы не было радости более полной и острой, нежели та, которую подарила ему земляника, выросшая в разбитой плошке.

Глоток воздуха, когда человек задыхается. Зеленая

живая травинка, когда человек совсем отрезан от природы. А вообще-то — трава. Скобли ее ножами бульдозеров, заливай мусором, заливай горячим асфальтом, глуши бетоном, обливай нефтью, топчи, губи, презирай...

А между тем ласкать глаз человека, вливать тихую радость в его душу, смягчать его нрав, приносить успокоение и отдых — вот одно из побочных назначений всякого растения, и в особенности цветка.

Какой-то восточный мудрец учил: если хочешь быть здоровым, как можно больше смотри на зеленую траву, на текучую воду и на красивых женщин. Некий практик захотел уточнить: нельзя ли ограничиться только третьим, а травой и водой пренебречь? «Если не будешь смотреть на зеленую траву и текучую воду, на женщин не захочется смотреть само по себе». Так ответил мудрец.

Но, любуясь и даже наслаждаясь растением, не каждый, может быть, вспоминает, что перед ним, кроме того, сверхсложный работающий химический кабинет.

В книге о грибах под названием «Третья охота» я истратил порошок, отпущенный мне для прославления земляники. Переписывать, пусть свое же, из одной книги в другую излишне. Лучше я перепишу частично то, что говорит о землянике Михаил Андреевич Носаль, которого я назвал бы знахарем с высшим образованием.

*При чтении перечня болезней, которые лечат ягодами и листьями, а также стеблями земляники, собранными в цвету, у читателя невольно возникает вопрос: почему же так полезна земляника? Ответом на этот вопрос в известной степени может служить ознакомление с богатым химическим составом, которым обладает невинная дикая ароматная ягода. Как свидетельствует ряд источников, в составе земляники прежде всего известны:*

*1. Многие натроны и кислоты (яблочная, лимонная, хинная). 2. Дубильные вещества. 3. Салицил. 4. Пигменты, или красящие вещества. 5. Летучие масла. 6. Сахары. И, наконец, 7. Витамины, особенно витамин С. Из всех известных мне дикорастущих лекарственных растений я не знаю более богатого, пожалуй, по химическому составу растения, чем наша земляника. В землянике, я уверен, имеются и другие, еще не изученные лечебные вещества. Вот почему она так полезна.*

*Земляничный сезон обыкновенно продолжается у нас от 3-х до 4-х недель. Если бы мы правильно использовали этот*

сезон несколько лет кряду (года 2—3), мы бы реже нуждались в курортах... На курорты раньше имели возможность ездить не все больные. Однако приходилось наблюдать, что и без курорта больные вылечивались земляникой. Лечение земляникой в народе популярно.

Многие в народе знают, что такое земляника, пользуются ею и от нее получают исцеление.

При лечении земляникой просто едят ее сырую, но не вареной или сушеной. Едят одну или с молоком, сливками, молодой сметаной, с сахаром (иногда с вином). Из личной практики и наблюдений над самим собой прихожу к заключению, что ее можно и нужно есть так много, чтобы на третьей неделе она настолько надоела, что нужно заставлять себя есть ее. Давайте ее детям, давайте много. Не жалейте средств на приобретение земляники. Не считайте ее баловством или роскошью, а считайте ее необходимой, как хлеб, крупа, картофель.

...Не умаляя достоинства чая, как общеизвестного напитка, скажу одно, что, если бы прижился такой же напиток из листьев земляники, как чай, здоровье людей при этом только выиграло бы...

...По действию на организм похожа на землянику еще одна ягода — черника. Кнейп по поводу этих ягод оставил нам такой афоризм: «В том доме, где едят землянику и чернику, врачу нечего делать».

\* \* \*

## БОРАХВОСТОВ

Володя, может, пригодится и это...

О траве лук — личные наблюдения. Народу исстари известно, что «лук — от семи недугов», «кто сеет лук, тот избавится от мук», «лук да баня — все правят». Это его целебное действие я наблюдал лично. В 1935 году меня черти носили (по командировке Главзолота) около двух лет по золотым приискам Якутии и Дальнего Востока. Так летом мы (старатели и я) спасались от цинги диким луком.

Во время войны, когда наша дивизия дралась на Ленинградском направлении, то во время блокады кое-кто из дистрофиков находил в себе силы перейти через линию фронта. Кормить их солдатской пищей было бесполезно. Они умирали от нее. Их кишки уже присохли к спине. Но в одной деревне нашлась старуха, которая спасала дистро-

фигов от смерти. Она перетирала зеленый лук в зеленую кашу, сдабривала его сметаной и кормила их этой жевкой. Только одним луком. И больше ничем. Порция — не меньше миски. Я думал, что они «дадут дуба», а получилось наоборот. После лечения этим заслуженным деятелем знахарства они на другой день уже могли принимать нормальную шамовку.

Еще о луке:

В средние века, в эпоху крестовых походов, лук был очень дорог. Он считался панацеей от всех болезней. О его стоимости можно судить по тому, что в 1250 году французы выменивали своих пленных у сарацинов по цене 8 (восемь) луковиц за одного человека.

В древности лук служил наглядным пособием по астрономии. Учитель разрезал луковицу и по ее слоистому строению объяснял строение вселенной, якобы состоящей из нескольких сфер — оболочек, окружающих землю.

Теперь трава — перец. О ее целебных свойствах Ф. Ф. Талызин (врач-биолог, советник по вопросам медицины в Представительстве СССР при ООН) в своей книге «Под солнцем Мексики» пишет (с. 61): «Заметив действие на меня перца, дон Плетч (мексиканский врач) поясняет обычай пользования им в каждом блюде.

— Видите ли, — говорит он энергично, — направляя картошку с перцем в рот, — в Мексике довольно часты желудочно-кишечные заболевания, дизентерия и летние диареи (понос. — В. С.). Чтобы избежать их, тут принято широко добавлять в пищу перец. Он наилучший защитник от болезней. Советую и вам побольше перчить содержимое тарелки».

Жозуэ де Кастро в своей книге «География голода» пишет: «Хронически недоедающие люди почти не замечают отсутствия пищи. Чувство голода у них ослаблено, а иногда и вовсе исчезает. Чтобы возбудить притупленный аппетит, хронически голодающие народы часто вынуждены стимулировать его различными возбуждающими средствами, такими, как перец и прочие острые специи, что, например, имеет место в Мексике».

Записки, сделанные мной, когда я был еще студентом рабфака. Интересуясь народной медициной, я побеседовал со старухой — 93 года — казачкой, известной в то время знахаркой, которая была неграмотна и ни хрена не знала в анатомии, но великолепно вправляла вывихи.

Вот ее рецептура:

Донские степи, как известно, покрыты полынью. Поэтому она была ингредиентом любой микстуры.

Так, например, расстройство желудка народ лечил полынью с небольшой примесью травы-дивины (что это за трава, я не знаю).

От простуды лечили той же полынью, но только настоянной на водке, с примесью белоголовника или золототысячника.

Полынь же входила в настойку, которой лечили больных коклюшем, рожей, дизентерией и лихорадкой. Подорожником пользовали гнойные раны, нарывы и зубную боль.

От кашля хорошо помогал настой на репьях, выданных из собачьих хвостов. Когда я поинтересовался у колдуньи — почему именно из собачьих хвостов? Она объяснила, что собаки уносят на своих хвостах только самые спелые репы.

Камни в печени и мочевом пузыре лечили соком редьки. Жар сбивали малиной, липовым цветом и бузиной.

Людей, покусанных бешеными собаками, лечили соком молочая. Технология лечения укушенных бешеными собаками была такова:

Знахарка ставила на стол икону и перед ней разжигала в миске древесные угли. Помешивая их серпом (а не чем-нибудь еще), она шептала:

— Царь-огонь разгорается. Царь-железо накаляется. Царь-железо царь-огню покоряется. Репей-трава прилипчива. Больное сердце сбивчиво. Сердце на место стань! Хворь бесова перестань! Уйди болезнь лихого зуба, дурного духа бешеной собаки! Будь мое слово крепким, твердо-крепким, тверже самого твердого белгорюч-камня. Шел на Голгофу Иисус Христос, крест тяжелый на себе нес. Ты помахай, Иисус, крестом — мясоедом, и постом! Отгони хворости-напасти от бешеной пасти! Аминь, аминь, аминь!

А потом на рану прикладывались листья подорожника...

Теперь — забавное о траве.

Я не знаю, как это делается у вас во Владимирщине, а у нас на Волге и Дону если хозяйка не желает, чтобы курица стала наседкой, то как только она «распалывается» и начинает взохтать, то ее ловят и, обнажив задницу, бьют крапивой. Это помогает. Будущая наседка теряет всякий интерес к воспроизведению потомства и продолжает нести яйца...

...Кузмичевскую траву поставлял главным образом Бузулук, в окрестностях которого ее очень много. Она якобы помогала от 40 (сорока) болезней...

...Душевные болезни и ипохондрию древние лечили чемерицей. Об этом есть как у древних греков, так и у римлян. Видимо, нет дыма без огня...

...В Японии выведены съедобные сорта хризантем. Из их лепестков делают салат. Высушенные лепестки идут на врачевание. Ими лечат простуду и употребляют как аппетитные капли...

Луговая и степная трава настолько отличаются друг от дружки, что это понимают не только люди, но и скотина. Траву она предпочитает степную, а сено — луговое. Это я знаю по своему личному опыту, когда пас коров и овец. Мой хозяин, как опытный крестьянин, выбрал место для своего хутора на грани луга и степи, и скотина, выгоняемая мной на рассвете, обычно тянулась в степь, а не на луг, а хозяин предпочитал луг, а не степь: больше нагула, больше молока, и оно лучше по вкусу, ибо все женщины Волгограда и до сих пор, покупая молоко, спрашивают:

— Степное или луговое?

Или, не доверяя торговцам, пробуют.

А мясо — наоборот, лучше степное.

Научного объяснения этому, то есть разницы между лугом и степью, я не знаю, но думаю, что степи моей области слегка солоноваты и та трава, что там растет, имеет соленый привкус, то есть является чем-то вроде салата, приготовленного природой. Луговая же почва каждый год промывается полой водой в течение двух месяцев, но зато «ассортимент трав» там лучше и они «жирнее».

Мясо в сыром виде, конечно, нельзя отличить степное от лугового. Поэтому женщины задают продавцам коварный вопрос:

— Из какого района ваше мясо?

Но продавцы тоже не дураки. Они говорят то, что нужно...

...Собаки и кошки лечатся травами.

Снова Куприн.

«—...Помнишь, как мы с тобой — тебе было одиннадцать лет, а мне десять,— как мы ели с тобой «просвирки» и какие-то маленькие пупырышки на огороде детской больницы?»

— Конечно, помню! Такой сочный стебель с белым молоком.

— А свербигус? Или свербига, как мы ее называли?

— Дикая редька?

— Да, дикая редька... Но как она была вкусна с солью и хлебом!» (А. К у п р и н. Травка.)

...Пифагор был вегетарианцем. Он поучал жить на подножном корму. Питаться травкой. Овидий отобразил это в своих «Превращениях»: «Не оскверняйте, люди, своих уст нечистой пищей! Есть у нас деревья, есть яблоны, склонившие ветви свои под тяжестью плодов, есть на лозах зрелый виноград, есть сладкие овощи, которые можно употреблять в пищу, если сварить их в воде».

...Толстой (Лев, конечно, ибо в литературе было много Толстых, но только один из них Лев, даже с маленькой буквы) любил, чтобы в его кабинете всегда лежала охапка сухой травы (сена).

Пока все. Но где-то есть еще кое-что записанное. Привет. Борахвостов В.

\* \* \*

Лежать на траве. Опуститься, опрокинуться навзничь, раскинуть руки. Нет другого способа так же полно утонуть и раствориться в синем небе, чем когда лежишь на траве. Улетаешь и тонешь сразу, в тот самый миг, как только опрокинешься и откроешь глаза. Так тонет свинцовая гирька, если ее положить на поверхность моря. Так тонет напряженный воздушный шарик (ну, скажем, метеорологический зонд), когда его выпустишь из рук. Но разве есть у них та же стремительность, та же легкость, та же скорость, что у человеческого взгляда, когда он тонет в беспредельной синеве летнего неба. Для этого надо лечь на траву и открыть глаза.

Еще минуту тому назад я шел по косягору и был причастен разным земным предметам. Я, конечно, в том числе видел и небо, как можно видеть его из домашнего окна, из окна электрички, сквозь ветровое стекло автомобиля, над крышами московских домов, в лесу, в просветах между деревьями и когда просто идешь по луговой тропе, по краю оврага, по косягору. Но это еще не значит — видеть небо. Тут вместе с небом видишь и еще что-нибудь земное, ближайшее, какую-нибудь подробность. Каждая земная подробность оставляет на себе частицу твоего внимания,



твоего сознания, твоей души. Вон тропа огибает большой валун. Вот птица вспорхнула из можжевелевого куста. Вон цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля. Вот мельница. Она уж развалилась.

Ты идешь, а окрестный мир снабжает тебя информацией. Эта информация, по правде говоря, не назойлива, не угнетающа. Она не похожа на радиоприемник, который ты не волен выключить. Или на газету, которую утром ты не можешь не пробежать глазами. Или на телевизор, от которого ты не отрываешься в силу охватившей тебя (под влиянием все той же информации) апатии. Или на вывески, рекламы и лозунги, которыми испещрены городские улицы.

Это иная, очень тактичная, я бы даже сказал — ласковая информация. От нее не учащается сердцебиение, не истощаются нервы, не грозит бессонница. Но все же внимание твое рассеивается лучами от одной точки ко многим точкам.

Один лучик — к ромашке (не погадать ли на старости лет — и тут далеко уводящая цепочка ассоциаций), второй лучик — к березе («Чета белеющих берез»), третий лучик — к лесной опушке («Когда в листе сырой и ржавой рябины заалеет гроздь»), четвертый — к летящей птице («Сердце — летящая птица, в сердце — щемящая лень»), и пошла лучиться, дробиться душа, не скудея, не истощаясь от такого дробления, но все же и не сосредоточиваясь от многих точек к одной, как это бывает в минуты творчества, в минуты — вероятно — молитвы, да еще вот когда остаешься один на один с бездонным небом. Но для этого надо опрокинуться в летнюю траву и раскинуть руки.

Между прочим, хватит у неба глубины для тебя и в том случае, если по нему будут неторопливо и стройно двигаться белые полчища облаков. Или если эти облака будут нежиться в синеве неподвижно. Но лучше, конечно, чистая синяя бездна.

Лежишь на траве? Купаешься в небе? Летишь или падаешь? Дело в том, что ты и сам потерял границы. Ты стал с небо, а небо стало с тебя. Оно и ты стали одно и то же. Не то летишь, возносясь, и этот полет по стремительности равен падению, и это падение равно полету. У неба не может быть ни верха, ни низа, и ты это, лежа в траве, прекрасно чувствуешь.

Цветочная поляна — мой космодром. Жалкими представляются отсюда, с цветочной поляны (где гудит только

шмель), бетонированные взлетные дорожки, на которых режут неуклюжие металлические самолеты. Они режут от бессилия. А бессильны их в том, что они не могут и на одну миллионную долю процента утолить человеческую жажду полета, а тем более его жажду слиться с простором неба.

Вот, допустим, — прозой пересказываю к случаю свое давнее стихотворение, — ты не в силах больше терпеть. Ты жил на земле и с усладой смотрел на белые плывущие облака. Вся твоя сущность тянулась ввысь. Улететь в небо, раствориться в нем, что может быть желаннее, слаще? Судорожно отсчитываешь ты тридцать рублей, нетерпеливо толчешься у весов, где сдают чемоданы, потом около трапа, по которому поднимаются в самолет. Скорее садись в кресло. Уши твои забивает грохотом. Каждая твоя клетка неприятно и болезненно вибрирует вместе со стенками самолета.

Ну что же, вот она, твоя синь, вот они, твои облака. Скопление сырости и тумана. По стеклу иллюминатора бегут бесконечные капельки воды. Около желудка тошнотворно сжимает. Назовите мне человека, который, летя в самолете, вожаделенно смотрел бы вверх, на небо, а не вниз, на землю.

Внизу между тем лес, похожий больше на мох. Речка словно серебристая нитка. Около речки — зеленая поляна. Какая-то букашечка там, среди поляны. Человечек! Он лежит на траве, раскинув руки, и смотрит вверх, в небо. Господи! Скорее туда, на землю, где трава и цветы. Лечь и раскинуть руки...

Моряки, как бы они ни тосковали по морю, хорошо знают, что море прекрасно только тогда, когда у него есть берег.

Человек сам как трава, как растение, на которое извечно действуют две противоположные силы: тяжести, привязанности, прикрепленности к земле и стремления вверх, полета, роста.

У прорастающего семени появляются два ростка. Один неукоснительно стремится вниз, а другой кверху. Один превращается в корни, которые все глубже будут зарываться в землю, другой в стебель, а то и в ствол, который будет тянуться выше в небо. С одной стороны, растение тянет к себе центр земли, а с другой стороны — центр солнца. Поэтому растение не обвисает, подобно мертвому бесчувственному шнуру. Пока оно живо, то есть пока оно способно подвергаться воздействию внешних космических сил и вос-

принимать их, оно будет натянуто в пространстве. Оно растягивается в противоположные стороны двумя, казалось бы, враждебными, а на самом деле согласованно действующими силами.

Как хмель, украшающий дачную террасу, растет вдоль шпагатных струн, натянутых для него человеком, так всякая травинка, всякий стебель и ствол растут вдоль незримого силового луча, натянутого между двумя точками — центром земли и центром солнца.

Скажут: но бывают же кривые, изогнутые стебли? Где же их скольжение по прямому лучу? Где же их стремление к свету, где же их прямизна?

Отвечу: прямизна их — в стремлении. Все они рождены, чтобы быть и расти прямыми. Однако внешние случайные, привходящие, чаще всего механические силы заставляют их сворачивать с прямого пути. И все же, если взглянуть на искривленный, на уродливый стебель (ствол), нетрудно заметить, что, может быть, он и искривился только для того, чтобы обойти внешнее грубое препятствие, а потом снова подчиниться лучу.

Кроме того, в его стремлении вверх таится глубокое, с трагическим оттенком противоречие. Чем больше стебель растения подчиняется тяготению вверх, чем длиннее (выше) он становится, тем больше строительного материала приходится ему употреблять, строя самого себя, тем он становится тяжелее в самом земном и вульгарном смысле этого слова. Стебель начинает сгибаться в дугу. Жизнь принимает характер борьбы, она протекает отныне между поползновением и порывом. Береза стремится кверху, а ветви ее свисают вниз. Налившийся ржаной колос сгибает в лебединую шею прямой, как стрела, целеустремленный стебель. Созревшие яблоки не только сгибают, но и ломают сучья.

Возьмем уже упомянутый хмель. Вся жизнь его является примером титанической непрерывной борьбы между пресмыканием и полетом.

В дедовом саду был уголок между двором и старой рябиной, где водился хмель. Строго говоря, ему был отведен даже не уголок сада, а участок тына, протяженностью в десять шагов, по которому он и завивался из года в год. Тын в этом месте был нарочно сделан в два раза выше, нежели по всему остальному саду. Кажется, дед устанавливал здесь еще и дополнительные высокие колья, чтобы было хмелю куда расти.

Хмель живописно украшал дедов сад. Рядом с ним стояли пчелиные ульи, так что уже здесь невольно и случайно пока соседствовали хмель с медом, предназначенные впоследствии друг для друга.

Соединялись они в бочонке, в котором варилась «кумушка» — медовая, хмельная (от слова «хмель») брага. Хмель этой браги, по общему мнению всех гостей, бил в двух направлениях: и в ноги, и в голову. Голове он придавал легкость и веселость, а ногам тяжесть и неподвижность. Головой — словно вскочил бы и — плясать, порхать с платком по просторным и чистым половицам, а ноги невозможно сдвинуть с места и оторвать от пола.

«Неужели? — думаю я теперь. — Неужели два своих состояния, две своих крайности: тяжелую, удручающую пресмыкаемость и легкость, граничащую с полетом (на восемнадцатиметровую высоту), хмель сообщает потом и нам; и мы говорим его именем: хмель, хмельной, захмелел, хмельная голова, во хмелю, похмелье...»

Дедов сад постепенно нарушался. От прежнего протяженного тына остался только тот его десятишаговый отрезок, где вился хмель. Когда я стал возобновлять дом и сад, то новый забор провел, отступя на три шага от старого, и вот внутри сада получилась у меня весьма живописная, декоративная, как сказали бы теперь, гнилушка, все еще напоминавшая своим видом старый тын. Вокруг этой реликвии густо разрослись хмелевые лианы.

Надо бы этот обломочек старого сада оберегать и хранить. Но он, как и все остальное в саду, был пущен на произвол судьбы и однажды зимой под тяжестью снега рассыпался, теперь уж на форменные гнилушки. Оставалось их собрать и сжечь в печке.

Когда собирали остатки тына — ранней весной, — хмель сидел затаившись в земле. Ведь он каждый год вырастает заново. Мы как-то и забыли про него, пока он сам не напомнил нам о себе, превратив заросли малины в одну непролазную зеленую мочалку. С какого бы конца ни подошел, куда бы ни протянул руку за малиной, всюду натыкаешься на хмель. Он расплзался от того места, где раньше стоял тын, во все стороны, цепляясь за все на своем пути, и все ему было мало. Окончание каждой ползущей зеленой змеи было ищущим, шарящим и, что поразительнее всего, смотрящим вверх. Ползет по земле, а смотрит в небо!

Пришла идея украсить хмелем ту часть дома, которая выходит в сад. Сказано — сделано. Впрочем, чтобы сделать это, надо было ждать либо поздней осени, либо ранней будущей весны, и вернее всего, весны, когда хмель еще не вырос в длинные змеи, но уже проклюнулся из земли и обозначил себя: видно, где врезать в землю острый железный заступ. Вот еще одно обстоятельство в жизни хмеля: каких бы ни достиг похвальных результатов за лето, на какую бы ни вскарабкался высоту, на будущий год все приходится начинать сначала. Но неправда, не совсем напрасно прошел год. В земле выросли на какую-нибудь толику, пустили новые отростки, укрепились еще больше толстые, глубокие корневища. За этими корневищами мы и пришли теперь с острым заступом. Раздвинув стебли малины, мы увидели, как из черной перегнойной земли высовываются тут и там острые, сочные, яркие ростки хмеля. Мы стали обкапывать землю вокруг побегов, и лопата вскоре паткнулась на древовидные, толщиной не с руки, еще при дедушке росшие корни. Хмель угнал их в землю на трехметровую глубину, и мы не пытались, конечно, выкорчевывать хмель со всеми его корнями. Мы брали обрубки корневищ, горизонтальные, с тремя-четырьмя вертикальными ростками на них, и укладывали эти обрубки в землю вдоль бревенчатой стены нашего дома. Ложе для этих обрубков мы сначала выстилали перегнойной землей из того же малинника, из того же места, откуда взяты были обрубки.

Первый год пересаженный хмель болел. Побег он выпустил тонкие, хилые, листья мелкие, а вскоре на него набросилась тля. Эта травяная вошь, как и человеческая, набрасывается на больных, хилых, съедаемых тоской или другим душевным недугом.

На второй год, переболев и освоившись на новом месте, хмель показал свою силу.

Я наблюдал за ним. Уже с первых шагов ему приходилось решать дополнительную задачу по сравнению, скажем, с близрастущими одуванчиками и крапивой. У одуванчика есть, наверно, свои, не менее сложные, задачи, но все же на первых порах ему нужно просто вырасти, то есть создать розетку листьев и выгнать трубчатый стебель. Влага ему дана, солнце ему дано, а также дано и место под солнцем. Стой на этом месте и расти себе, наслаждайся жизнью.

Другое дело у хмеля. Едва-едва высунувшись из земли,

он должен постоянно озираться и шарить вокруг себя, ища, за что бы ему ухватиться, на какую бы опереться надежную земную опору. На молодом побеге хмеля больше всего заметно действие тех сил, о которых говорилось немного раньше. Естественное стремление всякого ростка расти вверх преобладает и здесь. Но уже после пятидесяти сантиметров жирный, тяжелый побег льнет к земле. Получается, что он растет не вертикально и не горизонтально, а по кривой, по дуге. Эта упругая дуга может сохраняться некоторое время, но если побег перевалит за метр длины и все еще не найдет, за что ухватиться, то ему волей-неволей придется лечь на землю и ползти по земле. Только растущая, ищущая часть его будет по-прежнему и всегда нацелена кверху. Хмель, ползя по земле, хватается за встречные травы, но они оказываются слабоватыми для него, и он ползет, пресмыкаясь, все дальше, шаря впереди себя чутким кончиком. Что делали бы вы, очутившись в темноте, если вам нужно было бы идти вперед и нащарить дверную ручку. Очевидно, вы стали бы совершать вытянутой рукой вращательное, шарящее движение. То же самое делает растущий хмель. Его шершавый, как бы сразу прилипающий кончик все время совершает, продвигаясь вперед или вверх, однообразное вращательное движение по часовой стрелке. И если попадется по пути дерево, телеграфный столб, водосточная труба, нарочно поставленный шест, любая вертикаль, нацеленная в небо, хмель быстро, в течение одного дня, взлетает до самого верха, а растущий конец его снова шарит вокруг себя, в пустом пространстве. Не выяснен вопрос: чувствует ли хмель возможную опору на некотором небольшом расстоянии и ползет ли в ее сторону? Есть предположение, подтверждаемое практикой, что побеги хмеля ползут по земле, предпочтительнее в сторону близко расположенных опор. Во всяком случае, когда мы натянули на наш дом параллельными струнами шпагат и когда хмель, немедленно воспользовавшись нашей помощью, полез по нему с проворностью матросов, карабкающихся по вантам, все же некоторые побеги, успевшие отклониться от стены, мне пришлось пригибать к шпагату и как бы показывать этот шпагат побегам, подобно тому как слепых котят тыкают мордочками в соски матери.

Дорастая до крыши, ветви хмеля начали шарить вокруг, но натыкались лишь друг на дружку. Они сплетались, перепутывались, свисали беспорядочными, праздными

кудрями. Силы еще были, а высоты больше не было. Хмель залезал во все щели, в неплотно прикрывающиеся окна, под застреху, под тесовую обшивку.

Один побег я с самого начала не захлестнул на шпагат, и можно было наблюдать, как он, бедняга, день за днем пластается, ковыляет, ползет по земле, обремененный собственной силой, собственной тяжестью, как он вынужден переползать и тропинку, и лужайку, и помойку; и пора бы уж изнемочь и отказаться от цели, но самая нежная, самая чувствительная часть зеленой шершавой змеи все время продолжала быть начеку, все смотрела вверх, в синее теплое небо, в высоту, по которой так тосковало все растение в целом.

Этот хмель напоминал человека, переползающего гиблую трясины и почти уж засосанного ею. Тело его увязает в воде и грязи, но голову он из последних сил старается держать над водой. И взгляд его, полный тоски, устремлен вверх.

Я бы сказал тут, кого еще мне напомнил этот хмель, если бы не было опасности переключиться от невинных замечаний о траве в область психологического романа.

Достаточно сказать, что вот я лежу на траве и каждая моя клетка льнет к земле, и, между прочим, блаженно, радостно льнет, а какая-то иная часть меня рвется в синюю бездну. Да, я ползаю, погрязая и пресмыкаюсь. Но самое лучшее во мне, самое ищущее и чуткое, всегда нацелено вверх, и, может быть, это лучшее и чуткое нашарит еще какую-нибудь опору, и тогда недорастроченные силы устремятся в последнем рывке завоевывать зыбкую высоту которой жажду...

...Вчера я пересказал вслух соображения насчет двух сил, действующих на растение и растягивающих его вверх и вниз. Слушательница — моя дочь, — получившая уже достаточное количество доек по физике, чтобы задавать осмысленные вопросы, спросила:

— Следовательно, у растения есть точка, где эти силы уравновешивают одна другую и на которую не действуют никакие силы? Наверно, эта точка испытывает состояние невесомости и блаженства? Неужели такая точка на растении никак и ничем не обозначена?

— Может быть, именно в этой точке на растении возникает цветок...

Привет, Володя!

Кое-что раскопал для тебя в старых книжках.

«Флора».

Юная, маленькая, нежная, богиня цветов, столько же привлекательная, как и самые цветы, и столь же улекательная, как аромат их. Она страстно любила Зефира, который, как ни был ветрен, по преданию, платил ей взаимно неизменной любовью; они были неразлучны вместе; когда Борей сгоняет с полей Зефира — нежная Флора лишает те поля даров своих. Царство ее — вечная весна!» «Волхв., или Полное собрание гаданий с краткой мифологией». М., 1838 (есть у нас в библиотеке).

#### «Гадание»

«В июле месяце можно набрать двенадцать различных цветов, сплести из них небольшой венок и положить на ночь в головы под подушку. Суженый непременно приснится. Должно при этом заметить, что делается только раз в неделю: именно с понедельника на вторник» (там же, с. 265).

«Когда созреет хлеб, должно взять три различных колоса с той десятины, которую еще не начали жать, обернуть их во что-нибудь льняное или шелковое и, ложась спать, укрепить поясом этот сверток так, чтобы он был прямо против сердца, и сказать — суженый, ряженный, приходи ко мне рожь жать.

Суженый верно явится» (там же, с. 265).

«В семик, когда завьют венки, оставить свой, как он есть; потом вплести в него еще несколько цветков, стараясь, чтобы в нем было семь разных сортов растений; ложась спать, надеть венок на голову и три раза проговорить:

— Суженый, ряженный, явися ко мне сам! Я тебе украшенный венок свой отдам!

Суженый приснится. Только должно заметить, что, проговорив эти слова, не должно после ни с кем разговаривать в этот вечер» (там же, с. 266).

Я еще наткнулся на кое-что...

Наговор. (Даю, так сказать, технологию присушки.)



*Из-под правой ноги, из-под самой пятки нужно вырвать клоч травы (какой безразлично) и положить ее под матицу (потолочная балка), приговаривая следующее заклинание:*

*«И как трава сия будет сохнуть во веки веков, так чтоб и он, раб божий (имярек), по мне, рабе божьей (имярек), сохнул душой и телом и тридесатью суставами. Чтoб мне, красной девице, быть для него милее светлого месяца, красного солнышка, роднее отца-матери, дороже живота (жизни). Спать бы ему не заспать, есть ему не заесть, пить бы ему не запить, гулять бы не загулять без меня, красной девицы. И как рыба белуга без воды бьется-мечется, так чтобы и он, раб божий (имярек), без меня бился-метался».*

*Примечание. Говорят, что действовало. Не знаю. Я не пробовал. Но меня присушивали. Так я полагал, когда был волжским грузчиком, ибо деваха та была неказиста. Но потом, с годами, я понял, в чем дело.*

*Это тоже о траве...*

*Царское правительство ежегодно весной, когда особенно часто умирали чахоточные, устраивало «День белого цветка» (ромашки). По улицам ходили парочки — гимназисты и гимназистки, студенты и студентки — с жестяными кружками, опечатанными сургучными печатями, и побирались в пользу больных туберкулезом...*

*...О значении цветов.*

*Желтые — разлука и измена, красные — любовь, белые — уважение, невинность. А у древних греков роза служила символом тайны. Если над столом висела роза, следовательно, все, что будет здесь говориться, должно остаться в тайне.*

*...Еще нашел в записных книжках, что существует книга Скальеро Метьюза «Полевые и лесные цветы». Привет!*

\* \* \*

*...Итак — лежать на траве. Но почему именно на траве? Что же, если не нравится, ложитесь на пыльную дорогу, на кирпич, на обрезки железа, на кучу минерального удобрения, на сучковатые доски. Можно, конечно, расстелить на земле плащ. Но я бы советовал — на траве. Эти минуты сделаются, может быть, лучшими, памятными минутами вашей жизни.*

*Недавно я ездил в Белоруссию. Янка Брыль и Пимен Папченко приветили меня в Минске и решили показать*

мне, хоть немного, родную землю. Они раздобыли на три дня казенный автомобиль, и мы помчались на запад.

Поездка захватила три области: Минскую, Брестскую и Гродненскую. Мы обошли кругом озеро Свитязь и любовались сквозь прозрачную воду его белым песчаным дном. У лесничего в погребе мы пили квас из березового сока. Мы сидели на берегу Немана в предвечерней тишине и видели, как бултыхнулся жерех в десяти метрах от нас. Мы осмотрели несколько полуразрушенных церквей. Мы обедали в Новогрудке ядерной редиской и щами из свежего щавеля. Мы ночевали в Любиче, в тихой деревенской гостинице. Мы осмотрели замок Радзивиллов в Несвиже, а также прекрасный радзивилловский парк, где меня поразила необыкновенная высота самых обыкновенных деревьев: берез, лип, дубов, вязов и даже рябин. В костеле, в подвалах костела мы осмотрели фамильный склеп Радзивиллов. Около города Мир (старое название) мы любовались восстанавливаемыми руинами замка и зарослями шиповника, омывающими руины, подобно розовому прибою. Мы побывали на родине Адама Мицкевича и взбирались на так называемый Курган Бессмертия, который насыпали поляки, принеся сюда землю в горстях со всех уголков своей страны. Наконец, мы просто ехали три дня по красивой земле Белоруссии.

Янка Брыль, как инициатор поездки и как уроженец тех мест, все время говорил нам с Пименом Панченко:

— Ну что? Какова земля? С вас за такие виды надо бы брать по гривеннику с каждого километра.

Таким образом определялась шутливая цена окрестным пейзажам. Иногда Янка Брыль уточнял, когда попадался очень яркий луг (дело было в июне) или очень красивый изгиб реки:

— За этот километр я с вас возьму по сорок копеек.

Иногда мы сами, восклицая, опережали хозяина:

— За этот километр даем рубль!

Между тем разговаривали, вспоминали, делились мыслями, признавались в желаниях и мечтах. Так, например, Янка Брыль вдруг сказал:

— Хотите верьте, хотите нет, лет двадцать уже мечтаю полежать во ржи!

— И за чем дело?

— Да вы сами-то когда лежали в последний раз?

— Давно. Не вспомнишь когда.

— Так же и я. То — одно, то — другое.

Большая часть жизни проходит в городе, в поездах, в самолетах, в гостиницах. Считаю, что важнее просидеть три часа на собрании или в ресторане, нежели пролежать эти часы во ржи. Проходят годы, а мечта остается мечтой. Она все отодвигается. Думаешь: ничего, успею. А потом — инфаркт, инсульт или, не дай бог, прихватит рачок, и прощай рожь навсегда...

Мы ехали в это время по узкой полевой дороге, а справа и слева от нас колыхалась высокая, почти уж цветущая рожь. Должно быть, потому и зашла о ней речь.

— Может быть, не надо больше откладывать? — робко посоветовал я. — Отойди на двадцать шагов от дороги и ложись.

— Разве я об этом говорю? — удивился и даже обиделся Янка Брыль. — Разве так нужно лежать во ржи? Чтобы я лежал, а вы сидели в машине и ждали? И поторапливали меня: ну скоро ли, наверно, уж належался?

— Я знаю, что так во ржи не лежат. Но все-таки, если двадцать лет не удавалось, то, может быть, лечь хоть на три минуты?

— А вы?

— Что мы? Ляжем тоже.

Машина остановилась. Трое взрослых, более того, пожилых людей пошли в тихую зеленую рожь, расходясь веером, чтобы отдалиться на несколько шагов друг от друга. Потом я опрокинулся на спину, и в мире не осталось ничего: ни друзей, ни машины, ни Белоруссии, ни Москвы. Высоко в небе, почти не склоняясь надо мной, стояли колосья.

Внизу, где я лежал, был микроклимат и микромир. Он состоял из зеленого полусвета, прохладной тишины, свежести, пахнувшей молодой сочной рожью. Гораздо выше меня, в тех сферах, где находились колосья, струился легчайший ветерок. Его не хватало на то, чтобы шевелить сами колосья, но трепетали на ветерке пыльники — продолговатые серые мешочки, как бы приклеенные к колосьям. На каждом колосе их было по десять, а то и больше, и все они трепетали, вытягиваясь в одном направлении, и можно было предугадать, как через день-другой из них полетит пыльца, и ветерок будет развеивать ее, оплодотворяя все это поле.

Конечно, не о таком, минутном, лежаши во ржи мечтал поэт Янка Брыль (то, что он пишет прозу, не имеет значения), конечно, это было эрзац-лежание во ржи, суррогат.

Однако суррогатными были лишь наши обстоятельства, а рожь была настоящая, и утро было настоящее, и жаворонок над нами (один на всех нас троих) был самый подлинный, неподдельный жаворонок.

Рожь доказала нам свою власть и силу. Вечером, подъезжая к Минску, стали вспоминать весь проделанный путь — замки, озера, реки, города, деревни, костелы, склепы, рестораны...

— Объявляется конкурс. Давайте оценим по нашей шкале не километры, а отдельные эпизоды путешествия. Что поставим на первое место?

— Рожь! — воскликнули мои друзья. — Рожь, лежание во ржи и песню жаворонка над нами.

— Цена?

— Сто рублей!

На втором месте оказалось озеро Свитязь.

\* \* \*

#### БОРАХВОСТОВ

*Копаясь в старых записных книжках эпохи своего студенчества, случайно наткнулся на высказывания Лукреция о травах. Посылаю, может, сгодится.*

*Кроме того, почему распускается роза весной.*

*Летом же зреют хлеба, виноградные осенью гроздьи?*

*Не иначе как потому (перевод, конечно, хреновый, хотя издание «Академии»), что*

*Когда в свое время сольются*

*Определенных вещей семена (Лукреций и й. О природе вещей).*

*Без дождей ежегодных в известную пору  
Радостных почва плодов приносит никогда*

*не смогла бы.*

*Да и природа живых созданий, корму лишивши,*

*Род умножать свой и жизнь обеспечить была бы  
не в силах (там же).*

*В самом начале травой всевозможной*

*и зеленью свежей*

*Всюду покрылась земля изобильно,*

*холмы и равнины,*

Зазвенели луга, сверкая цветущим покровом (там же, Изд-во АН СССР, 1946, с. 327).

«Володя!

Я сейчас занимаюсь «повторением пройденного». Перечитываю свои записные книжки. В них я наткнулся еще на античную траву. Это — Вергилий.

Мальчик прекрасный, сюда! О, приди!

Тебе лилии в полных

Нимфы корзинах несут, для тебя

белоснежной наядой

Бледных фиалок цветы («Фиалок цветы» — перевод не ахти, но это не я, а Шервинский)

и высокие сорваны маки,

Соединен и нарцисс с (три «с» подряд)

анисовым цветом душистым

(О в и д и й. Сельские поэмы. «Академия», 1933, с. 28).

Травы, что мягче, чем сон,

и источники, скрытые мхом,

И осенивший редкою тенью зеленый кустарник,

Вы защитите от зноя стада (там же, с. 49).

Высохло поле. Трава, умирая от порчи воздушной,  
Жаждет... (там же).

Прежде всего, выбирай для пчел

жилище и место,

Что недоступно ветрам (затем, что препятствуют ветры

Пищу к дому нести), где ни овцы,

ни козы-бодалки

Скоком цветов не сомнут, где корова,

бредущая полем,

Утром росы не стряхнет и поднявшихся

трав не притопчет (там же, с. 119).

Этот мой интерес к травам объясняется тем, что в 1918—1919 годах я был пастухом у нас под Царицыном — Сталинградом — Волгоградом. Получив высшее образование, я решил узнать, как интеллигенция называет травы, которые я видел и которые щипала моя скотина.

Еще немного античности.

Спорить давай, кто скорей: сорняки

из души я исторгну

*Или же ты — из полей, и кто чище:  
Гораций иль поле? (К в и н т Г о р а ц и й Ф л а к к.  
Полн. собр. соч. «Academia», 1936, с. 307).*

*Вот пасут пастухи жирных овец стада,  
Лежа в мягкой траве; тешат свирелью слух (т а м ж е,  
с. 163).*

*Вот в чем желанья были мои, необширное поле,  
Садик, от дома вблизи непрерывно текущий источник.  
К этому — лес небольшой (т а м ж е, Сотулы, 1958,  
с. 167).*

*...Сивилла сказала, что может  
Пеньем и травами мне горечь любви облегчить.  
(Алб. Л е в и й Т и б у л. Любовные элегии, 1961).*

*Идет молва, что она (Венера.— В. Б.) одна обладает  
зловредными травами... Она сказала мне, что ее чары и тра-  
вы властны потушить огонь моей любви (Т и б у л. Элегии,  
1912, с. 5, 6. Переведено прозой).*

\* \* \*

У растения во время любви поднимается температура. В особенности это происходит у тех растений, которые цветут пышными крупными цветами. У викторин-регии, у магнолии, например. В белых, бело-розовых брачных одеждах, величественные, роскошно раскрывающиеся навстречу неизбежному и самому главному, одурманивающие воздух вокруг себя крепкими ароматами, эти царицы, эти клеопатры, эти жрицы любви распаяются настолько, что температура внутри цветка получается на целых десять градусов выше температуры окружающего воздуха, или температуры того же цветка, но только в спокойном состоянии.

Но и у самого скромного цветочка, у любого из наших луговых, лесных, полевых цветов все равно наступает возбуждение, сопровождающееся повышенной температурой, пусть и не такое бурное, как у тропических красавиц.

Выражение насчет любви у растений звучит на непривычный слух вульгарно, как метафора либо поэтическая

вольность. Существует даже термин — антропоморфизм. То есть приписывание животным и растениям человеческих свойств и человеческих чувств.

Однако дело не в антропоморфизме, но в истинной сути происходящего.

Возьмем несколько разных пар, то есть несколько женских и мужских особей, соединяющихся велением закона жизни. Их соединение принято называть любовью<sup>1</sup>.

Испанец поет серенады своей возлюбленной, дерется из-за нее на шпагах, пробирается по шелковой лестнице в заветное окно. Навстречу ему тянутся нежные руки возлюбленной. Страстный шепот, объятия. Любовь.

Жених и невеста приезжают из загса. Свадебный пир, провозглашение здоровья, песни и пляски. Потом молодые остаются одни. Страстный шепот, объятия. Любовь.

Воображение и память подскажут нам десятки и сотни известных (хотя бы из литературы и других видов искусства) любовных пар. Влюбленные разлучающиеся, гибнущие, упивающиеся счастьем, путешествующие, ревнующие, изменяющие, раскаивающиеся...

Влюбленные на балу, в церкви, в театральной ложе, в корчме, на берегу моря, в уединенной хижине, на войне, на службе, на трудовой вахте... Какое нагромождение событий, переживаний, восторгов, слез, надежд, ожиданий, разочарований, взаимных упреков, встреч, прежде чем влюбленные останутся одни и обнимут друг друга. Любовь.

Два огромных тяжелых лося сходятся в поединке. Самка ждет в стороне, независимо пощипывая траву. Два лебедя, два волка, два зубра (он и она)... Двое сходятся, чтобы из двух разрозненных единиц образовать пару.

В книге о дельфинах написано, что любовное желание у дельфина-самца возникает после того, как самка несколько раз дотронется до него своими лапами. Все это, очевидно, тоже — любовь.

Может быть, внешняя надстроечная сторона тут проще, чем в случае с испанцем, поющим серенады, звякающим шпагой и карабкающимся по шелковой лестнице. Или чем в случае с Карениной и Вронским. Или чем в случае с Дубровским и Машенькой Троекуровой.

---

<sup>1</sup> Здесь и далее имеется в виду половая любовь, а не любовь как философская, нравственная, религиозная и т. п. категория.

Но с другой стороны, был я однажды в доме отдыха. Десятки пар разбредаются после кино по обширному темному парку, и не слышно ни серенад, ни звякашья шпаг.

Внешняя сторона события может быть очень разной. Назвать остров или пролив именем любимой женщины и взять женщину, не поинтересовавшись, как ее зовут. Посвятить женщине поэму и дать ей рубль. Преодолевать ради нее тысячеверстные расстояния и не проводить до троллейбусной остановки. Застрелиться из-за женщины и обложить ее матом.

Совершают государственные карьеры, становятся великими художниками, производят грандиозные ограбления, поют песни, спиваются, изменяют отечеству (Андрей из «Тараса Бульбы»), попадают в руки врагов (какого-нибудь атамана в кинофильме ловят непременно, когда он идет к женщине)... Тысячи романов уже написаны, тысячи еще будут написаны, и все это называется любовью, вернее, внешней, событийной, декоративной, надстроечной частью любви. Потому что ученые говорят, и в частности наш великий ученый К. А. Тимирязев, что «брак на всех ступенях органической лестницы, начиная водорослью и кончая человеком, представляет одно и то же явление: это слияние... двух клеточек в одну».

Я уж думаю, иногда вырисовывается странное, фантастическое предположение: а может быть, реально в основе, и существуют-то на земле эти самые половые клетки, может быть, они-то (а ведь они живые организмы) и есть основное, реальное население мира? Эти существа умеют создавать для себя очень сложные обиталища, которые, кроме удобства, еще и обеспечивают им практическое бессмертие. Ибо обиталища время от времени отмирают и истлевают, а половые клетки (вместе с генами и хромосомами) продолжают существовать во времени и пространстве, воссоздавая себе все новые и новые обиталища.

Но оставим шуточки и вернемся к неоспоримой истине: любовь у человека, любовь у дельфина и любовь у цветка по своей сокровенной сути ничем не отличается одна от другой — она есть соединение двух половых клеток.

Вокруг этих клеток, вокруг факта их соединения существует разный антураж. Чем дальше от них, тем антураж различнее, непохожее, но чем ближе к самому непосредственному соединению их, тем различие все больше утрачивается.

Скаканье на тройках, тайное венчание в ночной сель-



ской церкви; игры двух подвижных существ в теплой морской воде; утонченное ароматное цветенье ночной фиалки. Это все еще как будто далеко одно от другого. Но все равно дело сквозь любовную шелуху должно идти к двум клеткам, и чем ближе оно к ним будет подвигаться, тем общее, однороднее, похожее будет становиться любовь. А все эти тройки, игры, благоухания останутся позади, осыплются сами собой. У цветка это произойдет весьма наглядно, когда осыплются лепестки, в других случаях не так уж буквально и зримо. Дело закончится прикосновением, соединением и слиянием.

Причем, как утверждает К. А. Тимирязев, «сущность этого явления, химизм этого процесса для нас почти неизвестен». «Почти» употреблено ученым из осторожности. Зато все ученые сходятся на том, что каков бы ни был этот процесс, в нем нет никакой принципиальной разницы.

Но если это так — а это так, — то нет и никакого иносказания, никакого антропоморфизма в том, что мы употребляем слово «любовь» применительно к растению, к цветку. Напротив, может быть, нужно идти в приписывании качеств и свойств от цветка к человеку. Да мы так и делаем на каждом шагу, отнюдь не называя это фитоморфизмом. Такого и слова-то не существует в человеческом языке. Сейчас оно впервые появилось написанным на бумаге.

Но разве мы не говорим о какой-нибудь женщине, что, полюбив, она расцвела? Или разве мы не говорим о женщине, что она преждевременно увяла? Или разве мы не говорим о подрастающем поколении: молодо-зелено? Не называем его порослью? Не называем кого-нибудь пустоцветом? И разве то, что мы называем человеческой любовью (вся событийная сторона любви), не есть цветенье нашей души? И как вернее сказать — цветок ли расцветает подобно душе влюбленного человека или душа влюбленного раскрывается и расцветает подобно цветку?

Цветенье души проявляется в поступках. Мужчина становится ласковым, нежным, предупредительным. Он приглашает ее в кино, на футбол, на хоккей. Он начинает лучше учиться или работать. Он следит за своей внешностью. Он томится, грустит, улыбается, ликует. Все это (если брать не отдельного влюбленного «антропоса», а человека, как такового) должно найти себе обобщенное выражение, должно проявиться в каком-нибудь локальном образе. И оно действительно перерастает и воплощается в слово и в музыку. Слово и музыка — вот обобщение цвете-

ния человеческой души. «Лунная соната», «Я помню чудное мгновенье...», сонеты Петрарки...

Но разве цветок менее удачное, менее яркое и выразительное обобщение того же самого?

Ни поэт, ни живописец, ни музыкант не нашли бы столь образного, столь лаконичного и — главное — столь наглядного выражения своей любви, как если бы они воплотили ее в живой благоухающий цветок и, показав людям, заявили: вот какова моя цветущая душа, вот какова моя любовь!

И люди изумились бы и были бы потрясены, потому что ничего прекраснее и чище цветка нет и быть не может.

Подсознательно мы так и делаем, даря своим любимым цветы. Разве мы не передаем вместе с цветами намека на то, что и я, мол... и у меня, мол, в душе... и моя, мол, любовь похожа на этот цветок, приближается к нему?!

Украсить землю цветами — это значит украсить ее любовью.

Когда бы созвали самых великих художников и сказали им, что существует во вселенной голый серый камень и что нужно украсить его разнообразно и одухотворенно, с тем чтобы красота облагораживала, поднимала, делала лучше и чище, разве могли бы они, эти художники, придумать что-нибудь прекраснее обыкновенного земного цветка?!

Но дальше встает вопрос: сумели бы эти художники или нет додуматься до цветка, если бы они никогда его до сих пор не видели, не знали бы, что это такое, то есть если бы не было в их распоряжении образца?

Важно именно принцип и образец. Постом-то, оттолкнувшись от образца, они насочиняли бы, наконструировали бы и василек, и ромашку, и незабудку, и ландыш, и одуванчик, и подсолнух, и клевер, и кошачью лапку, и шиповник, и сирень, и жасмин.

Постепенно они дошли бы до каких-нибудь экстравагантных заумных форм, до расщепления формы, до цветка абстрактного, то есть, по-русски говоря, беспредметного, до какого-нибудь там кубизма в цветах. В этом нет никакого сомнения.

Сомневаюсь я в другом: что они смогли бы с самого начала додуматься до цветка, так сказать, изобрести цветок, если бы в их руках не было образца.

Смотрю на цветок жасмина. Его чистота, нежность и тонкость неправдоподобны. Глаз не устает любоваться им. Кроме того, он источает неповторимый во всей много-

образной природе только ему, жасмину, присущий аромат. Его конструкция проста и строга, он построен по законам геометрии. Его четыре лепестка, расположенные крестобразно, вписываются в условный круг.

Все это — и белые лепестки, и желтая серединка цветка, и даже сам аромат, — все это создано при использовании девятиста двух (или сколько их там теперь открыли?) элементов менделеевской таблицы, путем гениальных комбинаций.

Ни один элемент в чистом виде жасмином не пахнет. Ни один элемент не может произвести такого же эстетического воздействия, то есть такого же очарования, какое производит живой цветок.

Ну конечно. Ведь и буквы, будучи рассыпанными, тоже не значат ничего. Возьмем хотя бы такой бездушный и бесчувственный, бесцветный набор букв: в, з, ы, э, ш, х, о, м, у, д, н, и, о, ы, р, а, д, с, в, к, о, у, ь, н, о, м, р, о, к, н, ж, ы, и, й, ж, у, ь, и, е, я, ж, у, ь, и, е, я, ж, с, ч, б, ш, ь, о, ч, н, х, а, т, и, у, с, п, ы, ж, я, н, е, м, ж, л, е, н, в, о, у, г, б, и, в, з, д, я, з, с, а, д, з, е, в, з, ю, о, е, о, г, и, п, р, ш, о.

Увидим ли мы, читая эти буквы, какую-нибудь картину, тем более прекрасную? Услышим ли аромат темной горной ночи, ее тишину? Возникнет ли перед нами мерцание звезд, почувствуем ли мы в гортани прохладу ночного свежего воздуха, а в сердце — неизъяснимую тревогу и сладость?

Но вот буквы меняются местами, группируются, соответствующим образом комбинируются, и мы читаем, шепчем про себя, повторяем вслух:

Выхожу один я на дорогу,  
Сквозь туман кремнистый путь блестит,  
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,  
И звезда с звездой говорит.

Не аналогичным ли образом должны группироваться и перегруппировываться элементы менделеевской таблицы, чтобы из их безобразной и бесчувственной россыпи получился живой и душистый цветок жасмин?

Теперь задаем себе вопрос: сколько миллионов лет нужно встряхивать на подносе рассыпанные буквы, чтобы они сами собой сложились в конце концов в гениальное лермонтовское четверостишие? Или в поэму «Демон»? Или в сонет Петрарки? Или в целого Гете? И не придем ли мы к выводу, что для того, чтобы из рассыпанных букв получилось гениальное стихотворение, нужен, как ни печально в этом признаться, — поэт.

Итак, оправдав кое-как понятие «любовь» применительно к цветку, возвращаемся к первой фразе этой главы: «У растения во время любви поднимается температура». Наука, конечно, объясняет это как может. Она говорит, что в цветах появляется усиленная химическая деятельность. Они жадно поглощают кислород, выдыхая углекислоту, и это-то усиленное дыхание и сопровождается заметным повышением температуры всего цветка, в особенности тычинок.

Во-первых, говоря об учащенном и усиленном дыхании, не проще ли было бы сказать, что цветок возбужден. Во-вторых, объяснение правильное, но разве полное?

Оно очень характерно для нас, людей. Именно в такой степени мы объясняем большинство явлений, в суть которых пропикнуть пока не удастся. Естественно, что при учащенном дыхании, при возбуждении, организм разогревается. Но дыхание-то почему становится чаще и глубже — вот вопрос?

Можно вспомнить и еще подобные же объяснения подобных не совсем изученных явлений природы. Общеизвестно, что листья мимозы, если до них дотронуться, мгновенно складываются. Почему? Так это же очень просто! Там, где листья примыкают к черенкам, а черенки к стеблю, находятся особые утолщения, подушечки. Клетки этих подушечек переполнены соком и находятся в напряженном состоянии. В момент дотрагивания до листа, то есть в момент раздражения, они вдруг теряют напряженность, делаются вялыми, неупругими, они уже не в состоянии поддерживать черенок, и он падает, пригибается. Можно найти и прочесть подробное описание этого механизма, очень сложного и очень точного. Но все же после тщательного исследования наука устами добросовестного Тимирязева заключает: «Итак, в конечном анализе, причина занимающего нас явления сводится к быстрому выталкиванию воды из переполненных ею тонкостенных клеточек раздражительной ткани, вследствие чего эта ткань так же быстро утрачивает свое напряжение. Но почему же раздражение имеет следствие выталкивание воды и какие силы заставляют клеточку переполняться водой? На этот вопрос мы пока еще не в состоянии дать ответа...»

Общезвестно, что одуванчик закрывает свой цветок в пасмурную погоду и перед ветром. Почему? Очень просто:

«Не трудно убедиться, что это зависит от действия света и темноты.

Объяснить все подобного рода явления мы можем неравномерным ростом и напряжением тканей верхней и нижней или наружной и внутренней части движущегося органа. Мы видели, например, что свет задерживает рост, следовательно, под его влиянием наружные части будут задержаны в росте, внутренние их обгонят и будут стремиться выгнуться наружу, цветок раскроется; но теперь большему освещению будут подвергаться эти внутренние или верхние части; наружные (или нижние), затененные, в свою очередь, опередят их в росте, цветок закроется».

Получается все очень складно, за исключением мелочи. Если дело только в росте тканей и в воздействии на них света и тени, то почему же одуванчик то закрывается, то открывается, а рядом цветущие цветы — василек, ромашка, земляника — не поддаются разъясненной нам механике и держатся открытыми в самые темные ночи и холодные росы?

Будем ли мы чистосердечно признаваться, что «мы пока еще не в состоянии дать ответа», или будем изощряться, но не можем допустить одного, а именно, что растение способно чувствовать и на самом деле чувствует, коль скоро оно отвечает на внешние раздражители. И уж конечно, язык наш не повернется произнести, что растение может быть разумно. Не один экземпляр растения, а целый биологический вид.

Способные на дерзкие эксперименты и обобщения, мы не осмеливаемся, однако, произнести два слова, которые поэт и мыслитель осмелился сделать заглавием своей замечательной книги: «Разум цветов».

Но разум предполагает мозг, чувствительность, наличие нервов или хотя бы нервных клеток. Ни того, ни другого у растения как будто нет.

Действительно, как бы ни были таинственны и удивительны процессы, происходящие в человеке (мы говорим сейчас лишь о биологических процессах, а не о психической, не о духовной жизни и не об абстрактном мышлении), как бы ни было удивительным поведение любого четвероногого или пернатого, а невежество всегда может найти себе лазейку в объяснении этого поведения и сослаться на мозг.

Да, есть пульт управления, есть верховная инстанция, которая всем руководит. По бесчисленным проводам бегут в этот центр разные сигналы и донесения, а обратно бегут распоряжения, приказы, сигналы, предписания к действию. Сложно, очень сложно, подчас непостижимо, но все

же очевидна и понятна хотя бы схема. А тут? Никакого мозга даже в зародышевом состоянии, ничего напоминающего мозговой центр у растения нет, а между тем им что-то руководит, определяя пропорции веществ, сроки, характер поведения.

Ну что же, представим себе человека (пресловутого марсианина, что ли?), у которого понятие о музыке обязательно связано со струной. Вне струны он не может представить себе музыкального звука. И вот ему в руки дают предмет. Он вертит этот предмет в руках так и сяк и наконец возвращает его нам, говоря, что никакой музыки тут быть не может, потому что нет струны.

А между тем в руки ему давалась флейта — прекрасный музыкальный инструмент.

Не в таком ли положении находимся мы по отношению к растениям. Если нет мозга, если нет нервных путей, значит, не может быть ни чувствительности, ни разума. А между тем растение живет, осуществляет сложные химические процессы, строит само себя, заботится о продлении вида, о потомстве, путешествует, завоевывает пространство, осуществляет грандиозную, основополагающую для всей жизни на земле задачу фотосинтеза, то есть превращение солнечного света в органическое вещество, и, наконец, оно чувствительно в самом вульгарном смысле этого слова, если реагирует на свет, на температуру, на влажность и даже — иногда — на прикосновение, не говоря уж о том, что в момент любовного акта начинает дышать чаще и глубже. Струны нет, а флейта поет.

Пищу с тревогой на сердце. Щемит сердце так, как если бы увлекся во время морского купания, оглянулся, а берега нет. И может быть, не хватит сил вернуться обратно, к твердой почве.

Мало ли что — красивое сравнение с флейтой, мало ли что — Тимирязев. Это было давно. Наука идет вперед. В растерянности обозревая зыбкие волны, шарить глазами: на что бы опереться, за что бы ухватиться рукой. Теперь бы доску, обрубок бревна, не говоря уж о спасательном круге. И вот попадаете под руки отрадная, твердая опора.

В статье доктора географических наук, профессора Московского университета И. Забелина вижу строки, которые ничем не выделены в газетном столбце («Литературная газета», статья «Опасные заблуждения»), но мне эти строки показались напечатанными жирным шрифтом.

«Мы еще только начинаем познавать язык природы, ее душу, ее разум. За семьюдесятью семью печатями для нас «внутренний мир» растений: сегодня само это понятие звучит сказочно, но в той или иной форме он, видимо, существует».

Ладно. Оперся, передохнул. Но опора в общем-то зыбкая, эмоциональная, вроде моей струны. Натянуть бы эту струну на железные колки эксперимента и доказательств. Снова вокруг бездонная хлябь, но не я же один плаваю в открытом море. И вот уж не просто плавучий предмет под рукой, но иная картина: твердая палуба под ногами, сухая удобная одежда, глубокие кресла в капитанской каюте, в широких, сужающихся кверху бокалах темное золото согревающего напитка.

— Не угодно ли сигару, сударь?

— Благодарю.

— Это из моей гаванской коллекции...

Итак, газета «Правда», 1970 год. Репортаж В. Черткова «О чем говорят листья».

«А знаете; растения разговаривают. Я сам был свидетелем этого. Да ладно бы разговаривают, а то ведь и кричат. И это только кажется, что они безропотно встречают свои невзгоды и молча переносят обиды. При мне ячменный побег буквально вопил, когда его корень окунули в горячую воду. Правда, «голос» растения уловил лишь специальный и очень чуткий электронный прибор, который рассказал о «неведомых миру слезах» на широкой бумажной ленте.

Перо прибора, словно обезумев, виляет по белой дорожке. Ячменный побег в предсмертной агонии, хотя, если посмотреть, ничего не говорит о его плохом состоянии: листочек не сник и по-прежнему зелен. Но «организм» растения уже непоправимо болен — какая-то его, будто даже «мозговая», клетка уведомляет нас об этом своими сигналами, что фиксируется на ленте...

...Лауреат Государственной премии профессор И. И. Гунар, заведующий кафедрой физиологии растений Тимирязевской академии, проделал со своими сотрудниками сотни опытов, и все они подтверждали наличие в растениях электрических импульсов, подобных нервным импульсам человека.

— Мы полагаем, — говорит профессор, — что координация внутренних процессов и уравновешивание их с внешней средой осуществляются у растений при помощи сложной раздражительной системы, под контролем которой

находятся все процессы их жизнедеятельности... Очевидно, растения принимают сигнал, передают его по особым каналам в какой-то центр, где информация принимается и обрабатывается, а потом уж дается команда исполнительным элементам, которые, в свою очередь, имеют обратную связь с «приемщиком сигнала» извне.

Пока ученые не нашли все звенья этой системы, но она, как говорит профессор, обязательно есть...

Приборы должны рассмотреть многие электрические явления в растениях, которые являются глашатаями процессов возбуждения и торможения — это основы жизнедеятельности всего живого. Уже ясно, что эти явления не просто какие-то частые феномены или нечто побочное, сопровождающее какой-либо физиологический процесс, а что они закономерны. В растениях заложены элементы памяти. Об этом тоже свидетельствуют наши опыты... надо внимательно изучить клетки корневой шейки, именно здесь, как мне кажется, должен быть заложен центр сбора всей информации».

Об элементах памяти сказано вскользь. Но ведь написано же черным по белому в газете, расходящейся тиражом в несколько миллионов экземпляров, а никто не звонил друг другу в возбуждении, никто не кричал в телефонную трубку захлебывающимся голосом:

— Слышали? Растения чувствуют, растениям больно, растения кричат, растения все запоминают!

Другой профессор, академик из Новосибирского академгородка, рассказывал моей знакомой москвичке Галине Ильиничне Балиной (указываю ее девичью фамилию во избежание досужих читательских писем, обращающихся обычно за разъяснением подробностей).

— Не удивляйтесь, — говорил академик, — мы проводим многочисленные опыты, и все они говорят об одном: у растений есть память. Они умеют накапливать и долгое время хранить впечатления. Одного человека мы заставили несколько дней подряд мучить и истязать куст герани. Он щипал ее, обрывал листья, колот иглой, делал надрезы, капал на живую ткань кислоту, подносил к листьям зажатую спичку, подрезал корешки... Другой человек бережно ухаживал за тем же кустом герани: поливал, рыхлил землю, опрыскивал свежей водой, подвязывал отяжелевшие ветки, лечил ожоги и раны.

Потом мы подсоединили к растению электрические приборы, которые фиксировали бы и записывали бы на



бумаге импульсы растения и смену этих импульсов. Что же вы думаете? Как только «мучитель» приближался к растению, стрелка прибора начинала бесноваться. Растение не просто «нервничало», оно боялось, оно пребывало в ужасе, оно негодовало, и, если бы его воля, оно либо выбросилось бы в окно, либо бросилось бы на мучителя.

Но стоило ему уйти, а на его место прийти доброму человеку, как кустик герани умиротворялся, его импульсы затухали, стрелка прибора чертила плавные и, можно сказать, ласковые линии.

— Теперь я понимаю, почему зацвела моя герань! — воскликнула другая добрая женщина, услышав об этих опытах. — Дело в том, что я на все лето уезжала из Москвы. Ухаживать за своими цветами поручила соседке. Она и ухаживала, и поливала их время от времени, выставив за окно. То ли кустик герани далековато стоял — не дотянуться, то ли соседка махнула на него рукой по той причине, что он захирел в первый же летний месяц и было видно, что не жилец, но даже и тогда, когда неожиданно вынал ранний снег, соседка не убрала его в тепло.

Однако хозяйка, возвратясь домой после длительных летних странствий, пожалела герань. Тем более что у нее с этим цветком было связано что-то личное и лирическое. Она взяла его в комнату, оборвала сухие листочки, полила, обладала. И вот полусохшее, безнадежно больное растение на третий уже день выбросило алый цветок. А как, скажите, оно еще могло приветствовать свою добрую хозяйку и ее возвращение, как еще могло отблагодарить за любовь и за ласку, за спасение жизни?

Конечно, ничего не зная о столь чудесных опытах, о которых тут было вскользь рассказано, можно смело говорить, что цветенье этой гераньки — совпадение и случайность. Но зная об этих опытах, можно, пожалуй, рассказать и о том откровенном случае, с которого начался разговор между Галиной Ильиничной Балиной и профессором из Новосибирского академгородка, то есть, вернее, с которого их разговор перешел на цветы.

Галина Ильинична была в гостях у своих дальних родственников и осталась там почевать. Ее положили в небольшой уютной комнате. Она читала немного перед сном, а потом погасила свет. Она уже засыпала. Уже сознание ее находилось на той зыбкой грани между явью и сном, когда, как видно, ворота его (сознания) наиболее беззащитны, незаперты, распахнуты. Вдруг безотчетный ужас

охватил Галину Ильиничну. С криком выбежала она из комнаты к людям. Она не могла ничего объяснить, по зубы все еще стучали о край стакана, а сама она вздрагивала и всхлипывала.

Ночевала она вместе с хозяйкой, а утром ей признались, что в той маленькой уютной комнате, где ее положили сначала, две недели тому назад удавилась сестра хозяйки, пятидесятилетняя женщина...

— Ну вот и дошли до мистики, до загробной жизни, до привидений и духов. — Так сказал бы, пожалуй, всякий рядовой, считающий про себя, что все он знает, то есть невежественный человек. Однако профессор из Академгородка, выслушав Галину Ильиничну, вдруг серьезно спросил:

— Скажите, а не было ли в той комнате цветов?

— Там, где я легла спать?

— Да. Где на вас напала смертельная тоска и смертельный ужас.

— Там... там было много цветов.

— Тогда не надо удивляться. Дело в том, что цветы аккумулируют в себе настроение людей, живущих с ними вместе, их психическое состояние. Мало того что аккумулируют, сохраняют очень долгое время. Мало того что сохраняют, способны, как вы сами убедились, передавать это настроение другим людям.

— Но это... так непривычно. Это же сверхъестественно.

— Напротив, очень даже естественно. Если плохое или хорошее настроение может передаваться от одного человека к другому, почему же оно не может передаваться цветку. Ведь он живой, не менее чем мы с вами.

После этого-то профессор и рассказал о тех опытах с «мучителем» и «доброжелателем», которые, какими бы ни показались фантастичными, есть уже достояние науки.

Придя из этих гостей домой, я сказал жене и дочерям:

— Знаете что? Или ухаживайте за цветами как следует, или лучше в доме их не держать.

— Мы и так за ними ухаживаем. Поливаем, пересаживаем, все как следует, — ответила мне жена.

— Надо ухаживать за ними еще лучше. Надо подходить к ним не между делом и в спешке, а с любовью, надо их ласкать и жалеть, надо подходить к ним в хорошем настроении. Дело в том... короче говоря, дело в том, что они живые!

## БОРАХВОСТОВ

Володя, я еще наткнулся кое на что... Даю выписку из недавней газеты. Ученые Канады... высказали предположение, что на урожайность пшеницы (как ты знаешь, эту пшеницу в Канаде мы покупаем. — Б. В.), помимо чисто биологических факторов, влияет и... направление рядков посева. Посеянная вдоль географической широты — на запад или на восток, — пшеница, по их утверждению, растет заметно быстрее и дает лучший урожай, чем посеянная по меридиану: с юга на север. Как полагают исследователи, это удивительное явление объясняется чувствительностью растений к силовым линиям магнитного поля земли.

А вот это из моих записных книжек.

...Зверобой, железняк, тимьян, золототысячник, чернобильник, шалфей, просвирник, ромашка, наперстянка, стародубка и анютины глазки — по народному поверью — бывают целебными лишь в том случае, если они сорваны после очередной «воробьиной ночи».

Тогда я стал интересоваться — почему? Интеллигенты объясняют это тем, что атмосферическое электричество влияет на жизнь растений.

Методо-технология лечения, кроме приема внутрь, заключается в том, что такую траву или ее корни надо завернуть в чистую тряпочку и после соответствующей обработки знахаркой, произнесшей шепотом слова таинственного наговора, необходимо подвесить на гайтан натурального креста.

Говорят, помогает. Сам носил, но не понял. То ли помогла трава на шее, то ли крепкий ребячий организм, но излечился от лихорадки, которая трепала больше двух месяцев.

...Какие-то травы зашивались в пояса и носились на животе. Это от желудочных болей.

От головы хорошо помогали травы, которые клались на ночь под подушку.

...Будучи на Дальнем Востоке, я узнал, что для того, чтобы женьшень не потерял своих магических целебных свойств, искатель женьшеня не должен быть вооруженным. Выкапывать корень он обязательно должен только лопаточкой, сделанной из кости...

...Травы чувствительны к музыке. Сын мне пишет (он

работает атташе в нашем посольстве в Индии), что индийские ботаники установили, что определенным подбором мелодий (два «что» подряд — не ахти, но это не я, а Борахвостов. — В. С.) можно ускорять и замедлять рост трав. После семилетних опытов они установили, что самыми «музыкальными» травами являются табак и рис.

*Примечание.* Ну, это, может, трава растет от индийских мелодий, а от иных скорее завянет!

...Травы, растущие на скалах, разрушают их. Это происходит потому, что корни трав выделяют угольную кислоту, которая обладает способностью растворять некоторые породы камня.

...Травяные часы.

Цикорий открывает свои лепестки в 4—5 часов утра и закрывает в 14—15 часов. Шиповник открыт с 4 до 19; мак с 5 до 15; картофель с 6 до 15; лен с 6 до 17; белая кувшинка с 7 до 19; кислица с 9 до 17...

...Ежегодно растения земли связывают около 150 миллиардов тонн углевода с 25 миллиардами тонн водорода и выделяют примерно 400 миллиардов тонн кислорода.

Для сравнения тебе: один современный самолет «боинг», например, перелетая из Нового Света в Старый, сжигает 48 тонн чистого кислорода. Привет!

\* \* \*

Нашли и вскрыли гробницу Тутанхамона. То попадались все разоренные, разграбленные захоронения египетских фараонов, и вдруг нашлась нетронутая гробница: все цело, все как сейчас положено.

Археолог Картер пишет, передавая свои первые впечатления от соприкосновения с древностью.

«Что, однако, среди этого ослепительного богатства произвело наибольшее впечатление, это хватающий за душу веночек полевых цветов, положенных в гроб молодой вдовой. Вся царская пышность, все царское великолепие

---

<sup>1</sup> Спешу поправить Борахвостова. Я читал об этих опытах индийских ботаников в наших газетах. Индийские мелодии не имеют никаких преимуществ перед европейскими. Наиболее воспринимаемой и благотворной для трав оказались музыка Мендельсона, Штрауса, Чайковского. Джазовая музыка производит на травы угнетающее действие.

поблекли перед поблекшим пучком цветов, которые еще сохранили следы своих давних свежих красок. С неотразимой силой они напомнили нам, каким мимолетным мгновением являются тысячелетия»<sup>1</sup>.

В книге «Жизнь и творчество Тютчева» К. Пигарев утверждает:

«То, что Тютчев, по собственному признанию, начал впервые чувствовать и мыслить среди русских полей и лесов, имело, несомненно, очень большое значение для его будущего развития как поэта. В частности, когда над землей сгущались сумерки, он любил бродить по молодому лесу вблизи сельского кладбища и собирать душистые почные фиалки. В тишине и мраке наступающей ночи их благоухание наполняло его душу «невыразимым чувством таинственности» и погружало в состояние «благоговейной сосредоточенности». В этих прогулках зарождалось то обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое станет со временем отличительной особенностью тютчевской лирики».

Итак, букетик полевых цветов потряс ученого-археолога больше, чем вся ослепительная, золотая, царская роскошь.

Ночная фиалка наполнила душу поэта (вспомним также, что у Блока есть поэма «Ночная фиалка») невыразимым чувством таинственности и погрузила ее в состояние благоговейной сосредоточенности. От нее зародилось обостренное, проникнутое романтикой восприятие природы, которое сделалось отличительной чертой лирики одного из великих русских поэтов. И все это наделал скромный лесной цветок, называемый в обиходе ночной фиалкой, а более научно — любкой двулистой. В народе же в разных местах ее еще называют любка, ночница, любви-меняне-покинь...

Она относится к орхидеям, очень интересным цветам. Говорят, если разглядывать каждый цветок в отдельности, можно увидеть много интересного. Метерлинк посвящает орхидеям целую главу в своих несравненных записках «Разум цветов».

«У орхидей мы найдем самые совершенные и гармонические проявления разума цветов. В этих измученных

---

<sup>1</sup> Выписано из книги Зенона Косидовского «Когда солнце было богом».

и странных цветах гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царства».

Конечно, чем пристальнее и кропотливее исследование, тем больше удивительного обнаружишь. Хотя тот же Метерлинк, вероятно, прав, говоря, что тут, как и во всех вещах, истинное великое чудо начинается там, где останавливается наш взгляд. Может быть, осознавая это, Пришвин прямо и говорит:

«Разве я не понимаю незабудку: ведь я и весь мир чувствую иногда при встрече с незабудкой, а спроси — сколько в ней лепестков, не скажу. Неужели же вы меня пошлете изучать незабудку?»

В основе каждой гармонии лежит алгебра, но разве, любясь прекрасной женщиной, мы вспоминаем об анатомии и стремимся увидеть за ее чертами и линиями чертежно-конструкторскую графику скелета, а за синим туманом взгляда черное зияние пустых костяных глазниц?

В цветке, как ни в каком другом произведении природы, сосредоточен колоссальный обобщающий момент, поэтому он воздействует на нас непосредственно, прямо, минуя анализирующую инстанцию и обращаясь к тому самому, что является нашей подлинной сутью.

Цветок воспринимается нами, как и прекрасное стихотворение, когда мы постигаем одновременно и смысл и музыку и второй смысл и поэтический заряд и не считаем про себя чередование ударных и безударных слогов.

Археолог Картер даже не пазвал нам, что за цветы были в гробнице Тутанхамона, тем более он не считал на них лепестки. Они пронзили его сразу наповал, для того чтобы затмить блеск и силу золота, притом не в слитках, а в древнеегипетских изделиях, отличающихся, как известно, изяществом и высокой художественностью, для этого нужно обладать — согласитесь — огромной силой воздействия на нашу психику, на нашу душу.

Цветок засохший, безуханный,  
Забутый в книге вижу я,  
И вот уже мечтою странной  
Душа наполнилась моя:  
Где цвел? Когда? Какой весной?  
И долго ль цвел? И сорван кем,  
Чужой, знакомой ли рукою?  
И положен сюда зачем?  
На память нежного ль свиданья,  
Или разлуки роковой,

Иль одинокого гулянья  
В тиши полей, в тени лесной?  
И жив ли тот, и та жива ли?  
И ныне где их уголок?  
Или уже они увяли,  
Как сей неведомый цветок?

Зададимся вопросом: какой еще предмет можно было бы положить в книгу «на память нежного свидания или разлуки роковой»? И какой предмет, найденный поэтом в книге, мог так же вдохновить и подвигнуть его на написание стихотворения, украшающего теперь нашу отечественную лирику? Красивая ленточка? Сторублевая бумажка? Прядь волос; наконец? Дешево, смешно или пошло. Сколько бы мы ни искали, окажется, что в данном случае цветка нельзя заменить ничем!

Есть в русской поэзии также и «Ветка Палестины». И опять, ища и перебирая разные вещи, мы очень скоро убедимся, что никакой предмет, принесенный из святых мест, из Иерусалима, не остановил бы поэтический взор гениального юноши, не всколыхнул бы его души, не высек бы стихотворной искры, как это сделала простая древесная ветвь.

Неужели под беседой, под взаимным разговором, а тем более под взаимным влиянием можно понимать исключительно только разговорную речь. Как будто нет безмолвного разговора глаз. Как будто животное (даже котенок) не умеет внушить нам, чтобы его обогрели и накормили? Что ж удивительного, что и цветок может передать нам нечто и даже наполнить нашу душу, по признанию Тютчева, «невыразимым чувством таинственности». Притом надо заметить, что именно это чувство мог внушить именно этот, а не другой цветок. Придеремся к слову и возьмем это самое «невыразимое чувство таинственности».

Может ли такое чувство внушить ромашка? Василек? Колокольчик? Лютик? Полевая гвоздичка? Кошачья лапка? Одуванчик?

Каждый цветок внушит нам какое-нибудь свое, другое чувство: наведет задумчивость, разбудит мечту, создаст ощущение душевной легкости, светлости, чистоты... «Невыразимым же чувством таинственности» могла наполнить душу только ночная фиалка, любка, ночница, цветок, на котором как будто действительно лежит печать волшебства.

Дело не в тютчевском антураже: близко сельское кладбище, собирал и упивался ароматом в лунные ночи. Дело

в самом цветке. И не пришло ведь в голову ходить в лунные ночи за иван-чаем, за зверобоем, за тмином...

В любом травнике можно найти подробное описание ночной фиалки. Например, так: «Семейство орхидные. Многолетнее травянистое растение с двумя продолговатыми овальными корнеклубнями: старым — крупным и дряблым и молодым — меньшего размера, сочным. Стебли прямостоячие, ребристые, при основании с буроватыми влагалищами, с двумя продолговатыми эллиптическими, суженными к основаниям, листьями. Цветы мелкие, белые, неправильные, сильно душистые, с длинными изогнутыми шпорцами. Цветки усиливают аромат к вечеру и в ночное время. Высота 20—60 сантиметров. Время цветения июнь — июль. Местообитание: растет в смешанных и широколиственных лесах на лесных полянах и опушках, а также среди зарослей кустарников и на сыроватых лесных лугах. Химический состав: корнеклубни содержат слизь (до 50 процентов), крахмал (до 27 процентов), сахар (1 процент), белки (до 5 процентов) и минеральные соли».

Не правда ли, исчерпывающая характеристика. Скажем так: Анна Петровна Керн. Рост 170 (все цифры условны), объем груди — 90, объем талии — 60, объем бедер — 100, зубов — 32. Нос прямой, глаза серые...

Но было же что-то и такое, что заставляло волноваться мужчин от одного только ее присутствия, хотя бы рядом сидели другие, не менее красивые женщины и у каждой из них было по тридцать два зуба.

Одновременно пишется светлое и целомудренное «Я помню чудное мгновенье», и одновременно говорится про нее в частном письме — «вавилонская блудница».

Сказано это, по-моему, в сердцах, и прежде всего на самого себя, за невозможность противиться той таинственной и сладкой силе, которую излучала эта женщина, вероятно, помимо своей воли. Такова уж она была.

Пришвин пишет: «На мое чутье у нашей ночной красавицы порочный запах, особенно под конец, когда исчезнут все признаки весны и начинается лето. Она как будто и сама знает за собой грех и стыдится пахнуть при солнечном свете. Но я не раз замечал: когда ночная красавица потеряет первую свежесть, белый цвет ее потускнеет, становится чуть-чуть желтоватым, то на этих последних днях своей красоты она теряет свой стыд и пахнет даже на солнце. Тогда можно сказать, что весна этого года совсем прошла и такой, как была, никогда не вернется».



В другом, то ли более раннем, то ли просто предварительном варианте сказано у Пришвина еще резче: «...на мое чутье обыкновенная наша лесная почная красавица скрывает в себе животную сущность...» (!) (Сравните с Метерлинком: «В этих измученных и странных цветах (орхидеях, к которым и относится любка.— В. С.) гений растения достигает своих высших точек и пробивает необычным пламенем стенку, разделяющую царства».)

Добавьте к этому, что в старинные времена, во времена суеверий и знахарства, наивных представлений и детской непосредственности восприятия природы, именно эти цветы считались приворотным зельем, и «...молодежь пользовалась ими для любовных чар» (М. А. и М. Н о с а л ь. Лекарственные растения и способы их применения в народе).

Но лучше всего идите в начале лета на лесную поляну. В обрамлении светлых берез и темных елей вы увидите траву и цветы. Теперь самое место и время было бы сказать, как и говорилось не один раз во многих книгах, что вы увидите «ковёр из цветов», «озеро цветов», «цветочный прибор», «кипение цветов», «пир цветов», «роскошное убранство», «буйное пюньское разноцветье», «огромный букет», «царство красок и ароматов»... Но все равно, что бы мы теперь ни сказали, все будет приблизительно и бледно, поэтому лучше сказать как и есть на самом деле: вы увидите траву и цветы, а еще точнее — цветущие травы.

Некрасивых цветов на свете нет. И если, слившись в целую лесную поляну, они ласкают наш взгляд пестротой и свежестью сочных и ярких красок, то при разглядывании каждого цветка вы будете поражены сверхточной, идеальной формой каждого венчика, каждого лепестка и каждой жилки на лепестке.

Вы пойдете по цветам, потому что по ним, оказывается, можно так просто идти, можно мять и даже срывать, и будете уходить все дальше по золотому, розовому, лиловому, синему, голубому, белому, затененному, залитому солнцем, жужжащему пчелами и шмелями.

Невозможно идти и отделять цветок от цветка. Они сольются для вас в общую картину, в поляну, в опушку, во многие плывущие перед вашими глазами лесные поляны. И вдруг вы остановитесь, потому что вас остановит перед собой этот лесной цветок. Я не знаю, зачем ему это надо, но он действительно остановит вас.

Сейчас, конечно, стираются грани, но этот цветок выделяется, как если бы на прежнем деревенском гулянье,

нарядном и разноцветном, появилась заезжая гостья в длинном белом платье и в белых перчатках почти до плеч.

Как если бы в табуне крестьянских лошадей появилась белоснежная арабская кобылица, как если бы тонкая фарфоровая чашка среди фаянсовой и глиняной посуды... Так возникнет перед вами почная фиалка среди остальных лесных цветов.

При всем том вовсе нельзя сказать, например, про незабудку, что она простушка, про ромашку, что она деревенщина, про колокольчик, что он наивен. Все другие цветы исполнены своего благородства. Недаром кто-то из немецких, кажется, ботаников воскликнул про тысячелистник, совсем не бросающийся в глаза: «Достаточно вам увидеть этот цветок, как вы поймете, что находитесь в хорошем обществе».

Но есть в почной фиалке какой-то оттенок, нечто такое, что сразу выделяет ее из остальных цветов. Не хотелось бы соглашаться с М. М. Пришвиным, что это «нечто» оттенок порочности. Правда, что оттенок порочности выделяет и притягивает. Но ведь может и оттолкнуть. Нет, просто этот цветок «из другого общества».

Немудрено было бы выделиться таким образом из всей лесной поляны нарциссу, тюльпану, гиацинту, ирису, другому садовому чуду, выведенному путем столетнего отбора и скрещивания. Условия равны. Речь идет о столь же диком, о столь же лесном цветке, как и все окружающие его соседи и соседки.

Вот повод посудачить соседкам, когда разольет любка в полночь свой аромат и когда начнут слетаться к ней почные бабочки: «потайная она, эта любка. При луне с почными бабочками свадьбу свою справляет. То ли дело мы, остальные цветы. Мы любим, чтобы пчелы. Чтобы пчелы и солнышко».

Не прав и еще раз не прав даже такой тонкий наблюдатель, как Пришвин. Не отцветая пахнет любка сильнее всего, а в первые минуты цветения, когда в почной темноте раскроет она каждый из своих фарфорово-белых цветочков (зеленоватых в лунном луче) и в неподвижном, облагороженном росой лесном воздухе возникает аромат особенный, какой-то нездешний, несвойственный нашим лесным полянам.

Ну, ландыш еще. Но ландыш пахнет, если его поднести к лицу, к носу и нарочно понюхать. Этот же непривычный аромат заструится из лунного света в лунную тень, на-

полнит поляну, утечет за мохнатую ель, просочится через орешник, поднимется в воздух, где то вспыхивают, то погасают, перелетая из света в тень, беленькие, то теперь тоже зеленоватые ночные бабочки.

Дай вам бог каждому, кто читает эти строки, увидеть хоть раз в жизни, как расцветает в безмолвном и неподвижном лунном свете ночная фиалка, ночная красавица, ночница, любя-меня-не-покинь...

Вы скажете, что видели эти цветы у торговок возле входа в метро связанными в большие пучки, по цене двухгривенный за пучок. И ставили даже в воду. И они стояли у вас, пока не пожелтели (а стебли успеют к этому времени в воде осклизнуть).

Тогда и я вам скажу, что видел сказочных морских рыб, ярких как цветы, — лежало полтонны в цинковом ящике на рыбзаводе.

Видел я и тропических бабочек, приколотыми к картону, видел и тропических зверей в зоопарке в клетках. Но признаюсь, что не видел ярких морских рыб, плавающих среди кораллов и водорослей, не видел тропических бабочек, летающих над тропическими цветами, не видел леопарда, притаившегося на древесном суку, а тем более в прыжке с этого дерева, не видел я и тигра, промелькнувшего в уссурийских папоротниках и рыкнувшего на меня, прежде чем исчезнуть в таежных зарослях.

Не говорите же и вы, выбрасывая раскисший в застарелой воде пучок травянистого вещества, что имели счастье видеть любку двулистную, ночную фиалку, и что вдыхали ее аромат.

Между прочим, ее родственнички в такой близкой степени родства, как если бы двоюродные братья и сестры, — все ятрышники: лиловый, шлемовидный, мужской, болотный, мясокрасный, дремлик, кукушкины слезы и даже любка зеленоцветная, хотя и имеют точно так же спаренные клубеньки, то более овальные, то более круглые, хотя и обладают почти теми же разнообразными свойствами, все же почему-то не вышли в такие же люди, как ночная красавица. Чего-то не хватило им, не досталось, какой-то толтики. Здесь, как и во всяком искусстве, знаменитое «чуть-чуть» отделяет просто талантливое от гениального.

И получилось словно в старой крестьянской семье: все дети остались при доме, при земле, а одна дочь учится в губернском городе в образцовой женской гимназии.

Или в старой мещанской семье: все дочери — кто за чиновника, кто за купца, а одна — княгиня.

Все похоже у бедных родственников: и цветы, и клубеньки, и образ жизни, и места обитания — близкие родственники, братья, сестры. Но аромат не тот, впечатление не то, очарование не то, какая-то внутренняя сущность не та. И вот особняком стоит наша ночная фиалка от всех ятрышников.

Между прочим, благодаря этому цветку я обнаружил в себе черту, роднящую меня, как отдельного индивидуума, с целым человечеством, но тем не менее отвратительную черту. Вот как было дело. Но сначала — оговорка и отступление.

Александра Михайловна Колоколова, врач, травница и замечательный во всех отношениях человек, однажды, несколько лет тому назад, постучалась в мою комнату, где я жил тогда в доме отдыха в Карачарове. Не успел я моргнуть, как эта на седьмом десятке женщина оказалась передо мной на коленях. Впрочем, не успел я моргнуть второй раз, как она быстро встала с пола и начала говорить:

— Видели? Хотите, встану на колени еще раз?

— Но, помилуйте, Александра Михайловна! Что с вами?

— Я слышала, вы собираетесь писать книгу про целебные травы.

— Это не совсем так. Про целебные травы, вернее, про целебные свойства трав, я писать не собираюсь и не могу. Я же не знахарь, не травник, не народный лекарь. Я просто хочу написать...

— А! Значит, и правда хотите!

— Да что тут плохого?

Александра Михайловна сделала новый порыв опуститься на колени.

— Владимир Алексеевич, дорогой, прошу вас, не пишите про травы.

— Почему?!

— Я читала вашу книгу про грибы, знаю, как вы пишете. Получается очень наглядно и убедительно. Не пишите. Хотите, еще раз на колени встану? Вы не представляете, что будет. Все ринутся в леса, на луга, на поля. Истребят все, уничтожат цветы, траву, всякую зелень.

— Кажется, вы преувеличиваете силу убедительности моих книг. Грибы ведь никто не истребил.

— Грибы собирают испокон веков. Создалось равновесие. Потом остается грибница. Она в земле. За травами пока что охотятся только некоторые знатоки и любители. Многие травы приходится брать с корнями. И ежели хлынет масса... поверьте мне, истребят зверобой, истребят кипрей, истребят подорожник, истребят каждую целебную траву...

Так вот, Александра Михайловна, я действительно не буду даже упоминать про целебные свойства трав, но вовсе не потому, что разделяю ваши опасения, но потому, что действительно не имею права. Я не доходил до этих свойств своим умом или опытом. Я только читал о них в травниках и других специальных книгах. Зачем же я буду теперь переписывать из чужих книг в свою сведения вроде тех, что ромашкой хорошо мыть голову, подорожник надо прикладывать к нарывам и ранам, а спорыш замечательно пить от камней в почках?

Просто у меня, за полвека почти, накопились некоторые личные отношения, некоторые чувства к тому или другому цветку, а выражать чувства — моя основная профессия.

Вся эта оговорка понадобилась мне для того, чтобы не распространяться здесь, зачем мне однажды понадобилось добыть некоторое количество клубеньков почпой фиалки, которые, как мне говорили, если сорвать их в определенное время и в определенных условиях и соответствующим образом обработать...

Но стоп! Иначе зачем же было делать пространную оговорку.

Так всегда у человека и получается: сперва красота, очарование, сказка, поэзия, душевный трепет, созерцание и любование, а потом вдруг — корысть. И уж если появилась и заговорила корысть, то ни красота природы, ни разум, ни даже чувство самосохранения не властны остановить и заглушить ее.

Как раз перед этим я читал книгу француза Дорста «До того, как умрет природа». Да и вообще, если попадется на глаза газетная, журнальная статья, просто заметочка, всегда обратишь внимание, а то и вырежешь. В результате всей этой информации невольно перестанешь идеализировать человечество и с тревогой будешь следить, как плоскость, по которой мы скользим, становится с каждым днем все наклоннее и наклоннее.

Порча системы жизнеобеспечения на земле идет по

нескольким, но, надо сказать, основным, коренным, направленностям:

1. Отравление и загрязнение пресных вод.
2. Порча мирового океана.
3. Порча земной атмосферы.
4. Истребление и порча зеленого покрова земли.
5. Истребление животных и птиц, вплоть до полного безвозвратного истребления многих биологических видов.
6. Уничтожение верхнего, плодородного слоя земли, называемого почвой, который подвергается все большей эрозии.
7. Опустошение недр, последствия чего пока еще не ясны.

Если бы какие-нибудь вселенские диверсанты были посланы уничтожить все живое на земле и превратить ее в мертвый камень, если бы они тщательно разработали эту свою операцию, они не могли бы действовать более разумно и коварно, чем действуем мы, живущие на земле люди и не только не считающие себя диверсантами, но мнящие себя друзьями природы.

Где-нибудь в ЮНЕСКО есть, наверное, исчерпывающие цифры, характеризующие нашу деятельность по всем семи названным направлениям. У меня нет этих цифр, да и ни к чему они здесь, в заметках.

Говорят, что мы сбрасываем в Мировой океан ежегодно 10 000 000 тонн нефти. Говорят, Рейн несет в своих водах каждые сутки столько же ядовитых химических веществ, сколько могут перевезти 1000 железнодорожных составов. Говорят, одна только средней мощности электростанция, работающая на мазуте, выбрасывает в сутки в окружающий воздух 500 тонн серы, в виде серного ангидрида, который, соединяясь с любой водой, тотчас дает серную кислоту.

Цифры, если их собрать, потрясающи; картина, если ее нарисовать, — ужасна.

Остановиться уже нельзя. Но я сейчас думаю не о точке остановки, а о точке начала, о той пружине, которая дала первый толчок и подвинула человека на этот пагубный путь.

Лев, нападая на стадо антилоп, убивает только одну. Сытый лев пропускает мимо себя стадо антилоп, не пошевелив ухом. Ястреб не будет заниматься бесцельным истреблением птиц, например, перепелят. Он схватит одного и улетит, чтобы насытиться, утолить голод, утолить потреб-

ность в пище, запрограммированную в нем от века. Насекомоядная птица по своей прожорливости могла бы съесть сразу всех ну каких-нибудь там личинок, однако ее возможности ограничены самой природой.

Но вот я разглядываю картинку в книге Дорста «До того, как умрет природа». Люди расстреливают стадо бизонов с поезда. Тысячи туш остаются лежать и гнить в степи, потому что людям нужны были только шкуры. Врезавшись в одуревшее стадо бизонов на летящем поезде, люди стреляют, пока есть патроны либо пока есть бизоны.

Лежище котиков. Люди ходят между беззащитными зверями и палками избивают их. Избиение продолжается до тех пор, пока есть силы или есть котики. Как можно больше убить, как можно больше схватить.

Истреблена морская корова, истреблена птица гага, истреблены — фактически — зубры, если не считать нескольких штук в Беловежской пуще. Под угрозой истребления киты, слоны, страусы, крокодилы, носороги, многие виды животных и птиц.

Бей, пока есть патроны, бей, пока видишь, бей, пока шевелится, бей, если можно убить и... положить в карман гладкий холодный кружочек золота.

Да, как ни печально это осознать, но первым толчком, подвинувшим человека на путь так называемого технического прогресса, была неутолимая, ненасытная жадность.

Можно оскорбиться и обидеться в этом месте, но перешагните уязвленное самолюбие, посмотрите внимательно на действия человека в разные эпохи и в разных условиях, проанализируйте его действия от охотника за жемчугом до Александра Македонского, от золотоискателя на Аляске до Наполеона, от собирателя грибов до собирателя миллионов, и вы увидите, что именно жадность была основным двигателем человеческой истории.

Покажите мне охотника, который, имея возможность убить двух уток, убивает только одну, или человека, который, имея возможность взять три рубля, берет только один.

Есть, правда, попадаются и вовсе не охотники. Бывает даже, отдают другим людям последний рубль. Но таких людей мало, и не они, к сожалению, двигают наш прогресс. Они только помогают нам оставаться людьми, когда это трудно и почти невозможно.

На такие, примерно, размышления навело меня чтение книги Дорста «До того, как умрет природа».

И вот мне понадобилось некоторое количество клубеньков любки двулистой, ночной фиалки. Я надеялся, что они окажут благотворное действие на здоровье одного близкого мне человека.

Все лесные поляны, где можно встретить этот цветок, я знал. Иной раз во время предвечерней прогулки сделаешь большого крюку, чтобы в холодеющем уже воздухе наклониться над белой башенкой цветка и вдохнуть аромат. Иногда я срывал их несколько штук и дома ставил в воду.

Тем не менее задача моя оказалась не из легких. Дело в том, что клубеньки надо добывать только осенью, когда цветов уже нет и растение не выделяется среди других трав, не бросается в глаза издали, за пятнадцать — двадцать шагов. Я думаю, если ползать по лесу на коленях, и то едва ли обнаружишь те два глянцевитых листочка, льющихся к земле, благодаря которым любка и называется двулистой.

Воображение во время охоты всегда работает на охотника. Идешь по грибы и заранее рисуешь себе, как под темной елью стоят шоколадные белые грибы. Или видишь как наяву оранжевые блюдца рыжиков в зеленой траве. Говорят, такое охотничье воображение помогает охотникам обнаружить тетерева, затаившегося в древесной кроне, зайца, слившегося со снежной белизной, любую дичь, тот же боровик под еловой тенью.

Но часто в жизни все оказывается не так, как рисовало воображение. Заглядываешь под еловые лапы, а там темная пустота. Кажется, не может не быть под такой классической елью белого гриба, а его нет и нет. Найдешь его потом под какой-нибудь елочкой-замухрышкой.

Так и теперь, собираясь на эту необыкновенную для меня охоту, я воображал, что как только приду на нужную поляну, так и увижу знакомые (разглядывал летом) листочки, под которыми в земле таятся два загадочных клубенька, никогда в жизни мною не виданных. Но уже сама сентябрьская поляна не походила на ту, которую я запомнил с июня месяца. Все цвело и блистало здесь тогда. Ничего не стоило нарвать красивый букет. В который раз соблазнишься и колокольчиками, подивившись, как можно было оперировать и распорядиться, строя цветок, столь тонким и нежным лиловым материалом. Соблазнишь-



ся напрасно, как известно, потому что, пока несешь до дома, колокольчики сникнут, словно детские воздушные шарики, из которых утекает воздух. Ничего, долго будут стоять в кувшине другие цветы. Не заказано и на другой день прийти на ту же поляну и вновь увидеть ее все в том же летнем цвету.

Никаких цветов я не увидел теперь на сентябрьской поляне. Не сочный травостой по колена, а приземистая густая щетка травы, с торчащими там и сям сохлыми стеблями бывших цветов, не непременно, перегретое солнцем гуденье пчел и шмелей, а сероватая тишина нахмурившегося денька. Уже и листья кое-где поддались желтизне, и одна березка, уступившая, сдававшаяся раньше других (может, сорт, а может, какая-нибудь березовая болезнь), папорочила на поляну желтых листочков.

Быстрыми шагами начал я ходить по поляне, надеясь тотчас и обнаружить предмет охоты. Но перепутавшаяся трава казалась однообразной. Я был слеп, как слеп непросвещенный человек, глядящий на небо, усыпанное звездами. От горизонта — одинаковое небо и одинаковые светлые точки. Ну, мигают, некоторые поярче, покрупнее, а в целом — хаос. Рассыпаны звезды, как горох, без всякого порядка. Много-много что увидит на небе непросвещенный человек, так это ковшик Большой Медведицы, так и я сразу отличил, конечно, на лесной поляне крапиву, выросшую на куче истлевшего хвороста.

Но мне нужна была теперь не Большая Медведица, даже не какой-нибудь там Телец. Мне нужна была Вега — благородная и таинственная звезда!

Долго я бродил по поляне и даже чуть не ползал по ней, а два знакомых листа не давались мне.

Я уж делал и так. Отойду на край поляны, окуну ее взглядом и стараюсь вспомнить, где поднимались летом на высоких стеблях белые цветы. Скорее иду в то место, разглядываю, шарю, перебираю траву руками, ничего похожего нет. Исходил середину поляны, обшарил края, постепенно стал удаляться в глубину леса, где густая тень, где реже трава, где больше под ногами черной земли.

Иногда попадались (еще и на поляне) парные листья, как будто похожие на те, что я ищу. У меня не было никаких копальных орудий, кроме ножа, правда, острого, крепкого. Всадив его в землю, я вырезал вокруг находки

землю по окружности, подковыривая, и земля вынималась бочончком величиной с обыкновенный стакан. Я разминал землю, обнажал корешки и не находил ничего, кроме мочки густых мелких корешков или одного стержневого корешка, похожего на тщедушную петрушку или, если хотите, на мышиный хвостик.

Да и бывают ли эти клубеньки? Не сказка ли, не фантазия ли они? Впору было отчаяться и идти домой с пустыми руками.

Но сказалась старая школа рыболова-поплавочника, способного целый день просидеть над неподвижным кусочком пробки, плавающим на воде около кувшинного листа. Знал я, как рыболов-поплавочник, и то, что терпенье всегда вознаграждается.

В стороне от поляны, в тенистом лесу, искать стало легче. Не было травяной путаницы. Травинка от травинки растут отдельно и отдаленно. Может быть, эти два листка? Может, эти? А вот эти я уже проверял.

Мне приходилось писать в другом месте, что валуи, например, можно издали принять за белый гриб, обмануться, но что когда увидишь настоящий белый гриб, его с валуем ни на каком расстоянии не спутаешь. Вест от него исключительностью, подлинностью, благородством. Так получилось и теперь. Как я мог сомневаться? Как я мог какие-то шершавые, матовые, покрытые ворсинками, изборозжденные прожилками листья принимать за листья почной фиалки?

Вот они, мои два листа! От одной точки на черной земле они растут в строго противоположные стороны. Около самой точки они совсем узкие. Зато становятся все шире и в широком дальнем конце плавно округлены. Если бы перевернуть лист узкой частью кверху, он напомнил бы продолговатую каплю. Но я смотрел на листья сверху, и мне они напоминали крылья огромной зеленой бабочки, которая, может, и улетела бы, если б не корешки, вросшие в землю.

Чистотой зеленого тона, глянцевиостью и четкостью формы листья произвели на меня какое-то нездешнее, залетное впечатление. Правда, надо было еще убедиться, что я нашел именно то, что искал. Я все еще разглядывал листья, а клубеньки оставались в земле.

Встав для удобства на колени (вот где понадобилось бы перекреститься, если бы на моем месте был настоящий знахарь-дед), я вонзил нож в землю в пяти сантиметрах от

растения, и мне показалось, что листья вздрогнули. Осторожно стал я обрезать землю по окружности. Под ножом перерезались и трещали мелкие корешки, и лопнул с натугой чей-то толстый корень, вероятно, протянувшийся от молоденького деревца, которые росли тут во множестве. Этот корень я перерезал с большим трудом. Подковырнув ножом и вынув земляной бочонок, я поставил его рядом с черной зияющей раной, которую я только что своими руками нанес земле.

Тут надо правильно понять мои ощущения.

Копаем землю заступами под гряды, копаем ямы и врываем в землю столбы. Роем карьеры, котлованы, шахты, открытые рудники, поднимаем взрывами тысячи, миллионы тонн земли, сокрушаем скалы, срываем горы. А тут всего-то ковырнул ножом, и вот уж называется это — зияющей раной! Смешно! Тем не менее ощущение мое было точным. Я знал, что вместе с комком земли изъял из земли живые клубеньки, из которых на будущий год выросла бы ночная фиалка.

Отойдя на несколько шагов, я решил запечатлеть микропейзаж. Небольшая тенистая елочка. В метр высотой. Поодаль от нее толстый зеленый ствол осины. Сама осина где-то там, наверху, и нам теперь не важна. Между елочкой и осиновым стволом вторглась в наш микроинтерьер и распростерлась, вроде опахала, ореховая лоза. Под ней-то, как под крышей, и расцвела бы на будущий год в зеленоватой тени белая ночная фиалка. Теперь уже не расцветет. Никогда. Я ее не просто сорвал, но искоренил.

Осторожно, ощупывая пальцами каждый комочек, каждый тоненький корешок (по это все были еще не ее корешки), я стал разминать и дробить землю. Вдруг мои пальцы нащупали твердые гладкие и прохладные округлости, и мне показалось, что я кощунственно прикоснулся к чему-то тайному, запретному, интимному. Земля вся обсыпалась наконец, и сахарно-белые, похожие на женские груди клубеньки обнажились.

Действительно, один из них был сероватый и дряблый. Как будто кожа сделалась ему велика. Другой был ядреный, крепкий и сочный.

Вниз от каждого клубенька тянулся тонкий хвостик — корешок, а от свежего клубня нацеливался вверх тупоконический росток. Именно ему надлежало весной пробить крышу темницы, выгнать высокий прямой стебель, на

котором и расцвели бы цветы. Уж с осени он приготовился к выполнению своей задачи.

Я держал на ладони белый клубенек, который благодаря коническому ростку, напоминающему колпачок, и тонкому корешку удивительно походил теперь на гномика. Я держал его на ладони и еще раз дивился великому чуду. Где-то хранились в нем (в семечке есть хоть зародыш) будущие ночные фиалки с их очарованием, ароматом, семенами. Тянулась от этого клубенька цепочка фиалочьих поколений назад на миллион веков и цепочка фиалочьих поколений вперед на миллионы-миллионы веков.

Правда, для этого именно экземпляра я прервал, перерезал ножом миллиополетнюю цепочку, уничтожив одним движением ножа результаты миллиополетних усилий природы.

Остались на земле другие экземпляры ночной фиалки. Конечно. Но принципиально от этого ничего не меняется. Кто-то убил последний экземпляр морской коровы, последний экземпляр гаги. Кто-то убьет последний экземпляр кита и лебедя. Мало ли что другие экземпляры. Но ведь именно от этого тянулись назад и вперед цепочки поколений. А теперь осталась только одна цепочка — назад. Нитка перерезана, и перерезана она мной.

«Ну ладно, природа не пострадает», — сказал я себе, кладя клубенек в карман.

Вскоре мне попались две разновидности ятрышника, и я их тоже вырезал из земли. У одного из них были округлые клубеньки, за которые ему дали в народе не совсем приличное прозвище. У другого ятрышника клубни напоминали двух нагих обнимающихся людей.

Все это было интересно и удивительно, но любка двулистная мне больше не попадалась.

Незаметно из старого смешанного леса я перешел в мелкие частые сосенки. Было тут что-то вроде просеки, узкого длинного ложка. На этом ложке я снова увидел любку. Наклонившись к ней, увидел еще, потом еще, потом сразу пять, потом больше. На коленях я стал переползать от одной любки к другой, нож вонзался, подковыривал, земля осыпалась, клубеньки обнажались, один из них отбрасывался, другой клался в карман.

Мой охотничий азарт усугубился, видимо, тем, что долгие поиски были бесплодными и я даже терял надежду. Рука стала болеть, затекать, я памял мозоль, но был как

в чаду. Каждая новая пара листьев казалась мне крупнее предыдущей (а значит, и клубеньки будут крупнее), и я полз на коленях дальше и снова вопзал свой нож, резал, рвал, разминал землю, оголял клубенек, клал в карман.

Ни о чем я теперь не думал, и неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта Варфоломеева почва, но вдруг у меня сломался нож. Переломился около рукоятки. Я с сожалением повертел его в руке, отбросил в сторону, распрямился и оглянулся назад. То, что я увидел, поразило меня, как громом. Исковерканная, истерзанная полоса земли тянулась за мной. Было похоже, что тут рылась свинья. Еще час назад на поляну приятно было смотреть. Она радовала глаз ровной зеленью, чистотой. Я увидел ее и в будущем июне, какой она была бы вся в цветущих фиалках и какой будет теперь, когда я ее за один час совершенно обесцветил.

Бизоны, расстреливаемые с идущего поезда, котикки, избиваемые палками, пока не опомеет рука, липучие дикие гуси, загоняемые в загоны и избиваемые палками же, огромные кедры, срубаемые ради кедровых шишек, рыбы, черпаемые из рек и морей миллионами тонн... Все, все припомнилось мне на обезображенной мной лесной поляне. Тогда я окончательно понял, что я человек и ничто человеческое мне не чуждо.

А то, что мне снятся до сих пор те белые креневские клубеньки, те цветущие под луной почные фиалки, это мое уж личное дело. Может быть, избивателям котиков тоже снятся потом их симпатичные недоуменные мордочки, а также их, с набежавшей слезой, ничего не понимающие глаза, в которых наивная доверчивость граничит со смертельным ужасом.

\* \* \*

Оказавшись в гостях, я осматривал дачу и дачный участок. Тут были только цветы. Никакой там клубники, ранней редиски или салата. Одни цветы. Нарциссы, пионы, астры, присы, георгины, флоксы, примулы, тюльпаны, розы. Одни уже цвели, другие набирали бутоны, третьи ждали своего позднего осеннего часа.

Под конец нашей цветочной экскурсии меня привели в помещение, называемое теплицей. Нечто вроде сарайчика. Глядя снаружи, можно было подумать, что там хра-

нятся разные садовые инструменты, кое-какие строительные материалы (мешок цемента, ящик со стеклом, столбик кирпичей, немного тесу, да еще в углу ворох стекловаты...), на самом же деле ничего подобного в сарайчике не было. Прежде всего это оказался не летний продувной сарайчик, а теплое, душноватое даже, помещение. Посредине, занимающая все пространство, возвышалась, как если бы миллиардный стол, земля. Кругом опоясывала эту своеобразную грядку, это своеобразное поле узкая траншея, по которой можно было ходить вокруг гряды и смотреть на нее со всех сторон. Теперь смотреть было не на что, в теплице ничего не росло.

— Четырнадцать квадратных метров, — пояснил хозяин. — Искусственный климат. Урожай по желанию — в любое время года. Но я приурочиваю к первому января.

— Огурцы или помидоры? Оно конечно, к новогоднему столу свежий огурчик — цены нет. То же и помидор...

— Ну, что вы! Огурцы — это грубо и дешево.

— Так, вероятно, клубника? Она и земляника — почти одно и то же. А известно, что «земляника в январе» стала поговоркой, эталоном, символом роскоши.

— Нет, и земляники я не выращиваю в этой теплице, — засмеялся хозяин.

— Тогда о каком новогоднем урожае вы говорите?

— Цветы. Тюльпаны. Вот о каком урожае. По два, по три рубля за цветок. Эти четырнадцать метров приносят мне пять тысяч рублей дохода.

Я вспомнил, что и правда зимой бывают такие цены на тюльпаны. В самый новогодний вечер я видел однажды, как в дальнем углу большого шумного магазина у женщины, не успевающей онасливо стрелять глазами по сторонам, считать деньги и отдавать цветы, расхватывали огненные гвоздики по четыре рубля за штуку.

Но и в обычное время, и в самые будние дни Москва поглощает огромное количество цветов, и цены на них всегда высокие.

Во Владимире на базаре, в очереди за телятиной, впереди меня стояла молоденькая девушка с тремя гладиолусами в руках. Женщины спрашивали у нее — почем купила. «За три рубля», — отвечала девушка. Никто из простых владимирских женщин, стоящих за телятиной, не удивился, что такая может быть цена на гладиолусы. Скорее они сокрушались о ценах на телятину, за которой стояли.

Итак, три рубля за цветок. При каких обстоятельствах мы могли бы платить три рубля за одну картофелину, за одно яблоко, за один апельсин, в конце концов? Очевидно, что при условии острой нехватки и даже голода. Авитампнозы, дистрофия, пухнут детишки, война, блокада. Тогда, конечно, отдашь и три рубля за одну картофелину, отдашь и больше. В нормальной же обстановке не всякий, я думаю, человек (из нормально работающих и зарабатывающих) купит для себя один апельсин за три рубля. Слава богу, таких цен на апельсины нет. Сообразуясь с потребностью, цены установлены: на апельсины — один рубль сорок копеек, а на картошку — гривенник за килограмм.

Но отчего же москвичи платят по рублю, по два и по три за один цветок? Отчего вообще люди платят за цветы деньги? Наверно, оттого, что существует потребность в красоте. Если же вспомнить цены, о которых сейчас говорилось, то придется сделать вывод, что у людей теперь голод на красоту и голод на общение с живой природой, приобщения к ней, связи с ней, хотя бы мимолетней, в чем-то искусственной в своей городской квартире.

Тем более что в цветах мы имеем дело не с какой-нибудь псевдокрасотой, а с идеалом и образцом. Тут не может быть никакого обмана, никакого риска. Хрустальная ваза, фарфоровая чашка, бронзовый подсвечник, эстамп, акварель, вышивка, кружево, ювелирное изделие... Тут все зависит от мастерства и от вкуса. Вещь может быть дорогой, но некрасивой, безвкусной. Надо и самому, покупая, обладать если не отточенным вкусом и чувством прекрасного, подлинного, то хотя бы понятием, чтобы не купить вместо вещи, исполненной благородства, вещь аляповатую, нонпезную, пошлую, лишь с претензией на благородство и подлинность. Или попадется подделка под другую эпоху, подделка под великого мастера, подделка под красоту. Человек на это способен.

Но природа жульничать не умеет. Согласимся, что цветочек кислицы — не тюльпан. С одним тюльпаном можно прийти в дом, а с одним цветочком кислицы — скудно. Но это лишь наша человеческая условность. Приглядимся к нему, к цветочку, величиной с ноготок мизинца, и мы увидим, что он такое же совершенство, как и огромная, по сравнению с ним, тяжелая чаша тюльпана, а может быть, даже изящнее ее... Что касается подлинности, то вопроса не существует. Но, конечно, лучше, когда красоту

не надо разглядывать, напрягая зрение, а когда она сама бьет в глаза. Мимо цветочков кислицы можно пройти, не заметив их, а мимо тюльпана не пройдешь. Недаром, как известно, он был одно время предметом страстного увлечения цивилизованного человечества, чтобы не сказать — массового психоза. Начертим канву хотя бы редкой пунктирной линией.

Первые сведения о тюльпане исходят из Персии. Известно также, что его любили турки и что разведение тюльпанов было одним из любимых (может быть, поневоле) занятий прелестных обитателей турецких гаремов. Тут тюльпанами любуются, тут в честь них устраиваются праздники, тут еще не подозревают, что, пробравшись сквозь стражу и сквозь узорные золоченые решетки, они, тюльпаны, словно пестрое войско, хлынут в Европу и завоюют ее. Впрочем, нашествие вовсе не походило на лавину, на вторжение чужеземного войска. Оно скорее подкралось, как болезнь, которая хотя и принесена извне, развивается изнутри.

Как все известно о начале великих событий и великих войн, точно так же известно, что в Западную Европу тюльпаны попали в 1559 году. Германский посол при турецком дворе Бусбек привез несколько луковиц на родину в Аугсбург. Уже в этом году у сенатора Гарварта расцвел первый цветок тюльпана. Вскоре он украшает роскошные сады средневековых богачей Феггеров. Отсюда он распространяется по Европе, подобно пожару, захватывая все новые народы и земли.

Вот им увлекаются в Германии маркграфы, графы, курфюрсты, придворные медики, богачи-любители, коронованные особы.

Вот среди любителей и ценителей тюльпанов мы находим уже Ришелье, Вольтера, маршала Бирона, австрийского императора Франца II и французского короля Людовика XVIII. И тут происходит еще одно примечательное событие: тюльпановый пожар перескакивает в Голландию. Вдруг эта страна уравновешенных, то что называется, положительных, а пуще того, расчетливых людей вспыхивает, как сухая солома. Правда, с расчета-то и началось. Заметив, что тюльпановые луковицы находят спрос и сбыт у немцев и других народов, голландцы решили воспользоваться, как теперь сказали бы, рыночной конъюнктурой, не подозревая, что сами вскоре падут ее жертвой. Сначала луковицы выращивали садоводы, но очень скоро этим стало



заниматься все население страны. Торговцы всячески поддерживали и поощряли новое зачатие. Луковицы стали скупать, перекупать, перепродавать. Образовалось нечто вроде биржи с ее биржевой игрой. В дело пошли уже не сами луковицы, но расписки на луковицы. Расписки, в свою очередь, перекупались и перепродавались, причем цены на них доходили до фантастических размеров. Одни люди разорялись, другие внезапно богатели, третьи расчетливо богатели. По стране гуляло 10 000 000 тюльпановых расписок.

Некоторые, не вчиняясь в рискованную игру, наживали деньги на более скромном товаре: на глиняных горшках для тюльпанов, на деревянных ящиках для выращивания. Ящиками пользовались те из голландцев, у которых не было садовой земли. На биржах собирались тысячи разных людей: миллионеры и рыбаки, купцы и швейи, бароны и ремесленники, высокосветские дамы и прислуга, старики и подростки... Шли в дело фамильные драгоценности и домашний скарб, шли под залог коровы и дома, земельные участки и рыболовные снасти. За одну знаменитую луковицу уплачено 13 000 гульденов, за другую знаменитую луковицу — 6000 флоринов, за третью луковицу пошло 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 жирных быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки масла, 4 пуда сыра, связка платья и один серебряный кубок.

За выведение редкого сорта (размера и цвета) назначались огромные премии, а успех выведения превращался чуть ли не в национальное торжество. Сохранилось описание праздника по поводу выведения черного тюльпана. У Н. Ф. Золотницкого, в свою очередь перенесавшего откуда-то описание этого праздника, читаем:

«15 мая 1673 года рано утром в Гаарлеме собрались все гаарлемские общества садоводов, все садовники и почти все население города. Погода была великодушная. Солнце сияло, как в июле.

При торжественных звуках музыки шествие двинулось по направлению к площади Ратуши. Впереди всех шел президент гаарлемского общества садоводства М. Ван-Синтес, одетый весь в черно-фиолетовый бархат и шелк под цвет тюльпана, с громадным букетом; за ним двигались члены ученых обществ, магистры города, высшие военные чины, дворянство и почетные граждане. Народ стоял по бокам шпалерами.

Среди кортежа на роскошных носилках, покрытых белым бархатом, с широким золотым позументом, четыре почетные члена садоводства несли виновника торжества — тюльпан, красовавшийся в великолепной вазе. За ним гордо выступал выведший это чудо садовод, а направо от него несли громадный замшевый кошель, вмещавший в себе назначенную за вывод этого тюльпана премию города — 100 000 гульденов золотом.

Дойдя до площади Ратуши, где была устроена грандиозная эстрада, вся убранная гирляндами цветов, тропическими растениями и хвалебными надписями, шествие остановилось.

Музыка заиграла торжественный гимн, и двенадцать молодых, одетых в белое, гаарлемских девушек перенесли тюльпан на высокий постамент, поставленный рядом с тронном штатдгальтера.

В то же время раздались громкие крики народа, возвещавшие о прибытии принца Оранского.

Взойдя в сопровождении блестящей свиты на эстраду, принц Оранский обратился к присутствующим с речью, в которой изобразил интерес, представляемый для садоводства получением тюльпана столь редкой и своеобразной окраски, как черная, и, провозгласив имя столь отличившегося садовода, вручил ему пергаментный свиток, на котором было начертано его имя, и его заслуга, и крупная сумма, подаренная ему городом.

Восторгам народа не было конца, и счастливец понесли в триумфе по улицам. Празднество закончилось грандиозным шествием, устроенным лауреатом своим друзьям и садоводам Гаарлема».

Согласитесь, что наш знакомый дачник, выращивающий тюльпаны на четырнадцати квадратных метрах и потом продающий их полутайком по два рубля за штуку, выглядит жалким кустарем-одиночкой по сравнению с размахом средних веков.

Можно рассказывать точно так же не о биржевой игре на тюльпанах и не об ажиотаже вокруг них, но об истинных любителях этого цветка.

Это средневековое любительство оставило множество трагических и комических случаев, курьезов, яркий след в искусстве, в том числе в поэзии и литературе вообще.

Но такое шествие, такое передвижение цветов не похоже разве на всякое другое передвижение и шествие, которым охватываются и захватываются все новые про-

странства, будь то нашествие орд и чужеземного войска, будь то шествие чумы и холеры, будь то нашествие идей и мод.

Конечно, хотя и были жертвы во время завоевания Европы тюльпанами (многие разорились), все же не было при этом кровавых побоищ и пожаров, трупного смрада и вдовьих слез. Должны же чем-нибудь отличиться цветы от гуннов, татар и турецких янычаров!

Но помимо нашествий и, так сказать, цветочной эпидемии, помимо возведения время от времени в культ какого-нибудь одного цветка (лилия на гербе и на военных знаменах Бурбонов, война Белой и Алой розы), цветы имеют над людьми незаметную, но постоянную власть. Потребность в них была велика во все времена. Более того, по отношению общества к цветам и, если позволительно будет так выразиться, по положению цветов в обществе можно было бы во все времена судить о самом обществе и о его здоровье либо болезни, о его тоне и характере.

Возьмите древних. Сначала все идет хорошо. Греки любят гирлянды из цветов, «плетение которых составляло не только особое ремесло, но даже доведено было до степени художества. Девушки и женщины, умевшие плести с особым искусством гирлянды из роз, делались знаменитостями: с них снимали портреты и делали мраморные бюсты, точно так же, как в наше время это делается относительно знаменитых артистов и поэтов».

«Первая вязальщица венков в Древней Греции, красавица Глицерия из Сикциона, была увековечена знаменитым греческим живописцем Паузиасом, написавшим ее портрет. Впоследствии за одну лишь копию с этой картины Лукулл заплатил несколько тысяч».

Венком из роз украшается невеста. Розами убрается дверь, ведущая в ее дом, лепестками роз усыпается брачное ложе.

Розами усыпается путь возвращающегося с войны победителя и украшается его колесница. Ими же украшаются гробы умерших, урны с прахом и памятники, в особенности Афродиты.

В Риме роза сначала — эмблема храбрости. Она как бы орден, дающийся за проявление геройства. Лежону, который первым ворвался в неприятельский город, разрешается во время триумфального шествия нести в руках розы. Но когда один из командиров позволил солдатам

украсить себя розами после незначительной победы, то получил за это строжайший выговор.

Меняла, незаслуженно украсивший себя венком из роз, посажен в тюрьму по приказанию сената.

Итак, государство в расцвете и силе — во всем мера. Цветы, в частности розы, в большой цене, однако без каких-либо патологических отклонений. В дальнейшем нетрудно проследить, как с разложением государственной крепости, с интуитивным ощущением надвигающегося конца, отношение к цветам принимает черты излишества и болезненности.

Уже Клеопатра принимала у себя Марка Антония, насыпав на пол ширшественного зала розовых лепестков слоем в один локоть.

На посылках проконсула Верреса лежали матрас и подушки, набитые розовыми лепестками.

У Нерона во время пиров сыпались с потолка миллионы розовых лепестков.

Розовыми лепестками усыпалась поверхность моря, когда патриции отправлялись на прогулку. Целое озеро было усыпано однажды лепестками роз.

На одном из императорских пиров столько лепестков насыпалось с потолка, что все гости задохнулись под ними.

Все улицы Рима были пропитаны запахом роз, так что непривычному человеку становилось дурно.

Разве это не своеобразный барометр, не своеобразная характеристика времени? Возьмите для сравнения Париж в начале этого века. Не даст ли нам его цветочная жизнь понятие о жизни, пульсе, тоне этого богатого и блистательного, в чем-то, как говорится, капиталистического, в чем-то с демократическими традициями города?

«Кто не был ранним утром на центральном цветочном рынке в Париже, тот не сможет себе и представить той суеты, той кипучей деятельности, какая царит там в это время.

Сотни фургонов, нагруженных снизу доверху цветами, съезжаются со всех окрестностей Парижа, сотни фургонов везут цветы с вокзалов железных дорог, присылаемых из Ниццы, Грасса, Лиона и других южных городов.

Целые сотни, тысячи людей занимаются разгрузкой, разборкой, расстановкой и продажей цветов, другие сотни, тысячи — их покупкой, сортировкой и разноской по Парижу...

Цветы расходятся по городу благодаря множеству всевозможных разносчиков цветов и продавщиц букетиков, встречающихся всюду, на всех улицах и бульварах.

...Число таких торговцев в самом Париже насчитывается до 4000 да в окрестностях около 2000. Так что 6000 одних только этого рода торговцев развозят ежедневно цветы по Парижу и окрестностям.

Далее следует продажа цветов в киосках, представляющих собой, так сказать, переход от разносчиков и рыночного торговца к дорогим цветочным магазинам...

...Что же касается до тех больших цветочных магазинов, которые являются у нас (то есть в России того же времени. — В. С.) главным центром цветочной торговли, то такие, конечно, имеются в Париже, но они уже почти не пользуются цветами, привозимыми на центральный рынок, а держат только более редкие экзотические растения или особенно роскошно выращенные цветы, разводимые в собственных теплицах и садоводствах.

Число таких магазинов в Париже доходит до пятисот. При этом замечательно, что почти вся торговля цветами ведется здесь исключительно женщинами.

Причины тому весьма ясны: для составления бутоньерок, венков, букетов, плато и разного рода жардиньерок требуется много вкуса, много изящества, а в этом отношении женщины, конечно, неизмеримо превосходят мужчин...

...Эталажи парижских цветочных магазинов являются истинным наслаждением для глаз. Особенно же они поражают зимой, когда сквозь гигантские зеркальные окна взор околоченного от холода зрителя видит перед собою всю роскошь тропиков или знойного юга, увеличенную искусной группировкой растений и полным артистического вкуса подбором цветов и аксессуаров.

Спрашивается: сколько же тратится Парижем и его летучим чужестранным населением ежегодно на цветы?

На это точная статистика отвечает следующее.

В хорошие года в Париж ввозится на 30 000 000 франков цветов... Они все расходятся по рукам, по домам положительно всего Парижа.

Кого вы только не встретите в Париже! Молодую ли девушку, пожилую ли даму, мужчину ли, ребенка ли — у всех почти увидите всегда цветы или в руках, или на груди, или в петлице.

Войдете ли вы в комнату скромного работника или работницы — вы увидите на окне или в стаканчике цветы. Войдете ли вы в богатый дом — увидите их не только всюду расставленными в роскошных вазах, жардиньерках, но и украшающими обеденные столы, украшающими все гостиные, будуары и даже лестницы.

Цветы встречают в Париже и новорожденного, провожают и покойника. Цветами украшаются, идя в театр, на бал, на скачки. Цветами приветствуют именинника, цветами убирают невесту, цветы подносят артистам. Ими украшают торжественные обеды, ими убирают экипажи, ими убирают могилы. Словом, нет в Париже события, веселого или печального, где бы их не было...

...Такова роль цветов в Париже, во всей Франции, можно сказать, во всем современном цивилизованном мире»<sup>1</sup>.

По логике повествования теперь полагалось бы мне описать состояние цветочной торговли в современной Москве, но хватит ли моего воображения и скудости моих изобразительных средств?

Прежде всего, надо сказать, что в отношении к цветам москвичи ни в чем не уступают остальному цивилизованному миру. Точно так же, как и в Париже, как и везде, у нас цветами и встречают новорожденного и провожают покойника, приветствуют именинника и убирают невесту, подносят цветы артистам и украшают ими обеденные (банкетные) столы.

Правда, я не встречал лестниц, украшенных цветами. Но когда-то в старом семиэтажном московском доме по Уланскому переулку, где живет моя сестра Екатерина Алексеевна, я обнаружил на лестничных поворотах перил некие излишества, что-то вроде площадок или, скажем, гнезд, и поинтересовался, зачем это, мне сказали, что, бывало, здесь стояли цветы. То ли площадки, то ли вазы с цветами. Предполагаю, что площадки. А на самих ступеньках будто бы лежала ковровая дорожка. Но по-моему, это вздор. Если на лестнице так просто стояли цветы в площадках, то почему же никто не уносил их в свою квартиру? А если лежала ковровая дорожка, то почему ее в первые же три дня не изрезали на отдельные коврики? Или не скатали в рулон и не увезли? И как могли цветы и дорожка сочетаться с этими

---

<sup>1</sup> Н. Ф. Золотницкий. Цветы в легендах и преданиях. Изд. А. Ф. Девриена.

немытыми стеклами, накопившими на себе слой слипшейся пыли в палец толщиной, и с этими мрачными темными побитыми стенами? И с этим запахом в подъезде (москвичи знают, отчего это происходит), и с этим лифтом, исцарапанным внутри острым гвоздем?

С такими сомнениями я пришел к одному старожилу этого дома, и он неожиданно стал меня заверять, что действительно цветы на лестнице были и дорожка была, более того, жильцы будто бы оставляли внизу в подъезде галоши и зонтики.

Последнее убедило меня больше всего, потому что и сейчас иногда оставляют москвичи внизу детские коляски.

Трудно сказать, почему исчезли цветы с лестничных площадок московских домов. Поиски причин увели бы нас слишком далеко. Назову одну: изменилось отношение к лестнице. Я бывал во многих больших городах и видел, что там (речь идет не о трущобах, а о средних нормальных жилых домах) лестница является началом квартиры, в то время как у нас она является продолжением улицы. Большая принципиальная разница.

Отношение к лестнице изменилось, но к цветам нет. Цветы москвичи по-прежнему любят. Это для них где-нибудь там, на юге, утрамбовывают в чеходан мартовские ветки мимоз, а также розы, предпочтительно в бутонах, чтобы не помялись, не истрепались. Сплюснутые и слипшиеся извлекаются розы из чеходанов на московских рынках. Встряхиваются, расправляются. У иных полураспустившихся роз стараются пальцами вывернуть лепестки, чтобы выглядела пышнее, ярче. Стараются их опрыснуть водой, чтобы освежить, оживить. Но все это помогает мало. В чеходанной утрамбованной темноте и духоте розы задыхаются, умирают. Купленные и принесенные в московскую квартиру, они редко пробуждаются от глубокого обморочного состояния. Не помогает даже реанимация, в приемы которой входят обламывание и расщепление стеблей, обливание стеблей горячей водой и растворение в вазе таблеток аспирина. Бутоны часто так и остаются бутонами, темными, с мертвенным оттенком, а полураспустившиеся розы быстро осыпают на скатерть свои бессильные лепестки.

Впрочем, в конце лета на всех рынках Москвы можно купить превосходные розы, выросшие и расцветшие у нас в Подмосковье. Тогда хороши, свежи и другие цветы —

питомцы дачных участков Малаховки и Лобни, Краскова и Салтыковки, Болшева и Сходни... Какие прекрасные маки, садовые ромашки, ирисы, нарциссы, тюльпаны, гиацинты, левкой, лилии расставлены тогда на прилавках московских рынков.

Отшумят тут же — по сезону, — благоухая, вороха черемухи, сирени, жасмина.

Ландыши появляются в Москве раньше, чем в подмосковных лесах, — привозят из более южных областей, даже и с Украины. Случайно на углу метро, в подземном переходе через улицу, у теньки, опасно поглядывающей по сторонам, можно в Москве, и не заезжая на рынок, купить иногда букетик почной фиалки, незабудок, купальниц, полевых ромашек и васильков. Это и хорошо. Не всегда человек заранее знает, что вечером ему понадобятся цветы. Не всегда есть время днем купить их. Как же быть, если рынки в семь часов закрываются? Фактически они расходятся еще раньше.

Есть в Москве два-три полулегальных базарчика, где можно пойти цветы в неурочное время, то есть когда рынки закрыты. Точно так же в некоторых капиталистических странах, где проституция официально запрещена, содержатся полулегальные соответствующие заведения, о которых полиция прекрасно осведомлена, но на которые она смотрит сквозь пальцы. Как бы не видит.

До недавних пор такой цветочный базарчик существовал около Белорусского вокзала. Надо было пройти тоннелем под мост, под Ленинградский проспект, и там начинался ряд палаточек и прилавков, где цветами торговали до поздней ночи. Но потом этот базарчик внезапно прекратился. Сейчас существует он у «Сокола». Около Белорусского вокзала осталась только традиция. Можно обнаружить рядом с продавщицами мороженого и газированной водой двух-трех наиболее отчаянных теток, которые из обширной сумки извлекают для вас несколько астр, а то и роз.

Да, но есть же в Москве цветочные магазины, которые некогда, если верить Золотницкому, являлись «у нас главным центром цветочной торговли». Их, конечно, не пятьсот, как в Париже в начале века, но все-таки более сорока.

Я давно не бывал в цветочных магазинах, и мне пришла в голову мысль посмотреть некоторые из них. Тут мы случайно разговорились с писателем Радовым, и он рассказал



мне историю, которая настораживала. Ему понадобились цветы. Не знаю, почему он не обратился на рынок. В Союзе писателей есть человек, в обязанности которого входит доставать цветы для многочисленных писательских похорон и юбилеев. У этого человека, естественно, широкие связи с разными цветочными магазинами. После соответствующего звонка в крупнейший магазин и разговора с директором Радову было обещано 10 (десять) гвоздик. Явившись лично, Радов сумел выпросить еще одну и таким образом ушел с одиннадцатью гвоздиками.

Я стал задавать Радову вопросы, над которыми он расхохотался. Я спрашивал, почему, если не оказалось гвоздик, он не купил гладиолусы, тюльпаны, маки, лилии, розы, хризантемы, нарциссы, пионы, астры?

Смеется Радов своеобразно. Сначала в нем, в глубине, рождается хрип (как у старинных часов перед боем), который тянется долго. Если не очень смешно, все может так и кончиться этим хрипом. Но теперь Радов хохотал от души. Мои вопросы, как он говорил, были наивны. Заинтригованный, я сам поехал посмотреть на цветочные магазины. Пока едем до первого из них, вновь всплывают в памяти строки: «Эталажи... цветочных магазинов... истинным наслаждением для глаз... Сквозь гигантские зеркальные окна... всю роскошь тропиков или знойного юга... искусной группировкой растений... полным артистического вкуса подбором цветов и аксессуаров...»

Боже мой! Трудно представить себе столь же унылое зрелище, как московский цветочный магазин! Пахнет похоронами и провалившимися премьерами. Вид и атмосфера этих магазинов вместо радости и наслаждения (цветочный магазин!) навевает безотчетную тоску. Они почти не отличаются друг от друга ни обстановкой, ни этими, как их... аксессуарами, ни ассортиментом, ни тем более ценами. В деревянных ящиках растет несколько больших растений — пальмы, лавровые деревца, кактусы.

— Продаются ли эти растения и сколько стоят?

— Это наш инвентарь.

Так ответили мне продавщицы трех магазинов. Значит, в четвертом можно не спрашивать. Что же продается? В глиняных плошках комнатные растения двух-трех видов. Именно те, которые сейчас почти никто не держит в своих квартирах. Например, елочка. А цветы как таковые? Цветок в петлицу, цветок для подарка, букет цветов?

В магазине у «Сокола» в этот день торговали хризантемами. Штук двадцать хризантем стояло около продавщицы в ведре, в воде. Скоро кончатся. Вид у хризантем помятый, потрепанный. Но берут. Оглядывают цветок со всех сторон, мнут, колеблются, но берут. Ничего другого ведь нет. Ничего. Только хризантемы, больше похожие на астры. Бело-лилового и блекло-желтого цвета. Они измяты, полузавяли. Пока есть в продаже те, белые крупные хризантемы, это никто не берет.

Через четверть часа я уже в другом конце Москвы в цветочном магазине у Сретенских ворот. Вместо белых хризантем в ведре несколько белых гладиолусов. Мелкие, жалкие, полузавяли. На прилавке кустистые желтоватые и лиловые хризантемы. Трогают, оглядывают и кладут опять на прилавок.

Магазин на проспекте Калипина (так называемый Новый Арбат) отличается от других. Он просторен, его интерьер организован по-современному. Даже маленький бассейн посреди магазина. Инвентарь расставлен с большой фантазией. Но, подойдя к прилавку, я вижу опять те же самые мелкие, похожие на астры, кустистые хризантемы бледно-желтого и бледно-лилового цвета. Поскольку их никто не берет, продавщицы пошли на хитрость. Они к этим совсем невыразительным и несвежим цветам присоединяют гвоздички и таким образом штампуют букеты, завернутые в целлофан. Гвоздички немного оживляют букет, но они сами помяты и блеклы. Кроме того, они никак не сочетаются с той невольной добавкой, с той «общественной нагрузкой», которую им навязали. Получились вместо букетов стандартные венички. Не представляю, кому можно и как можно преподнести такие цветы. Но других цветов нет. Я подозвал продавщицу, молодую полную девушку с пышной русой косой, которая за отсутствием торговли оживленно болтала с подружкой — кассиршей, и сказал ей примерно следующее:

— Я знаю, что московские продавщицы, прежде чем встать за прилавок, учатся в специальных школах или на курсах. Вы, наверно, учились тоже. У вас прекрасная профессия и прекрасное звание, вы цветочница. Так как же вы могли выложить на прилавок и предложить нам эти чудовищные, эти бездарные, эти безграмотные пучки растений? Разве вы не понимаете, что цветы в этих пучках не сочетаются друг с другом, не смотрятся, вопиют к вашему

вкусу, вашей совести. На кого вы рассчитываете? На какой вкус? На какой уровень безразличия и равнодушия? Зачем же веками существовало искусство составлять букеты, зачем это искусство прославлялось поэтами, зачем лучшие букетчицы ваялись в мраморе великими скульпторами? Для того чтобы дело пришло к этому жалкому, тоскливому пучку цветов, который вы под названием букета пытаетесь всучить мне за, между прочим, один рубль семьдесят копеек.

Впрочем, в последнем я не прав. Продавщица вовсе не пыталась мне ничего всучать. Выслушав меня и не удостоив не только ответом, но и шевелением брови, она решительно, резко, зло покидала пучки цветов в ведро, затем повернулась и гордо и независимо, под возмущенный ропот остальных покупателей, пошла снова к кассирше, не подозревая, конечно, что уходит прямо на эту страницу.

Что же было в решительных ее жестах, когда она кидала букеты в ведро? О, тут было много всего по желанию и на выбор.

— Никто вас не просит покупать эти цветы. Не хотите, не надо.

— Ишь ты, нашелся грамотей. Если каждый будет учить...

— А пошли вы все... осточертело давным-давно!..

— Сама знаю, что цветы эти дрянь, но что же мне прикажете делать?

— Прекрасно вы все понимаете, и нечего притворяться наивненькими...

И все-таки я не понимал. Не понимаю, как может в цветочном магазине не быть цветов?!

— Почему же? Цветы у нас есть, — ответила мне другая, более спокойная продавщица в другом магазине. — Вы можете заказать букет, или корзину, или венок... Очень часто заказывают у нас корзины для подношения артистам на сцену. Венки, конечно, для похорон.

— И если я захочу преподнести корзину или букет любимой актрисе, ваш магазин берется исполнить для меня такой букет?

— Конечно.

— Простите, а какие там будут цветы? Надо полагать, какие захочу я, ваш заказчик и покупатель?

— Еще чего!

— То есть как?

— А так. Цветы будут такие, какие окажутся в тот день на базе или в магазине.

— Но если моя актриса любит тюльпаны и терпеть не может гвоздик. Вы знаете, при виде гвоздик она... вы знаете, это ведь цветок крови...

— Чего?! Преподнесете, и будет довольна.

— Но это никак невозможно, чтобы гвоздики...

— Гражданин, сказано вам — какие будут на базе. Да вы не волнуйтесь, они вам соберут, и будет красиво.

— Я понимаю, но у цветов есть символика. Вас, наверно, учили? Хризантема, например, цветок печали и смерти. Лилия — непорочности. Ведь именно с лилией архангел Гавриил... благовещенье... Нарцисс — символ влюбленных в себя, камелия — цветок бесстрастия, незабудка — цветок постоянства и верности, омела — вечное обновление. Ее, знаете ли, дарят в Новый год и на рождество, ландыш служит эмблемой нежности, безмолвного излияния сердца, роза — поклонение и пламенная любовь, фиалка — скромность и обаятельность... А вы мне — какие будут!

Знаете, как написано в одной книжке: «Влетает в магазин как буря какой-то иностранец и, показывая на часы, говорит: «Сейчас пять часов, в семь мне нужна во что бы то ни стало корзина самых редких орхидей, но помните, ровно в семь часов. Что это будет стоить?»

Вот как, милая девушка, нужно торговать цветами. Как думаете, сможет мне ваш магазин не к семи часам, а хотя бы к Новому году приготовить корзину самых редких орхидей?

— Разыгрываете вы меня, гражданин, по глазам вижу. А если хотите цветы по своему выбору — ступайте на рынок.

Так я понял, что москвичи сидят на своеобразном цветочном пайке, когда человек покупает не то, что ему хотелось бы купить, но то, что предлагает магазин и что человек покупать вынужден. И только рынок, опять же, сглаживает немного атмосферу и обстановку пайка.

Впрочем, когда слишком много цветов, это тоже... в некотором роде другая крайность.

Во время большого какого-то праздника в одной республике нас, приехавших на этот праздник московских гостей, завалили цветами. Не успеem выйти из самолета — навстречу бегут школьники с букетами в руках; не успеem прийти на фабрику — навстречу бегут девочки с букетами

в руках; не успеем приехать в совхоз — цветы, собираемся уезжать из совхоза или с фабрики — опять цветы. У нас не хватало рук, чтобы держать тяжелые букеты. В гостиницах, в автомобилях, в салонах самолетов не хватало места, чтобы положить цветы. Это были осенние жирные георгины и астры, связанные в округлые снопы. Их были тонны. Оказывается, если цветов тонны, то они начинают производить впечатление силоса.

Иногда я вижу, как артисту или артистке на сцену чинно выносят корзину с цветами (какие оказались на базе). Таких корзин набирается несколько штук, и появляется подозрение: уж не сам ли артист их заказал. Очень они одинаковы. Впрочем, что я? База-то у всех магазинов одна!

В то же время иногда летит на сцену один цветок. Или маленький букетик фиалок. Если бы я был на сцене вместо артиста, для меня такой цветок и такой букетик, упавший на серые пыльные доски, был бы дорожке чопорных корзин, перевязанных шелковыми красными и белыми лентами.

#### ИЗВЛЕЧЕНИЯ

И. Б у н и н. О цветах и травах в стихах разных лет.

...Есть на полях моей родины скромные  
Сестры и братья заморских цветов:  
Их возрастила весна благовонная  
В зелени майской лесов и лугов.  
Видят они не теплицы зеркальные,  
А небосклона простор голубой.  
Видят они не огни, а таинственный  
Вечных созвездий узор золотой.

Веет от них красотой стыдливою,  
Сердцу и взору родные они...

*1887 (то есть очень раннее)*

\* \* \*

Понял я, что юпой жизни тайна  
В мир пришла под кровом темноты,  
Что весна вернулась — и незримо  
Вырастают первые цветы.

*1889—1897*

\* \* \*

Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет,  
Колокольчики, ландыши в чаще зеленой цветут;  
На рассвете в долинах теплом и черемухой веет,  
Соловьи до рассвета поют.

Скоро троицын день, скоро песни, венки и покосы..  
Все цветет и поет, молодые надежды тая...  
О весенние зори и теплые майские росы!  
О далекая юность моя!

1900

\* \* \*

А на селе с утра идет обедня в храме:  
Зеленою травой усыпан весь амвон,  
Алтарь сияющий и убранный цветами  
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.

\* \* \*

Крушный дождь в лесу зеленом  
Прошумел по стройным кленам,  
По лесным цветам...

После бури молодея  
В блеске новой красоты,  
Ароматней и пышнее  
Распускаются цветы...

1888

\* \* \*

Темной ночью белых лилий  
Сон неясный тих.  
Ветерок ночной прохладой  
Обвевает их.  
Ночь их чашечки закрыла,  
Ночь хранит цветы  
В одеянии невинном  
Чистой красоты.

1893

\* \* \*

Пахнет медом, зацветает  
Белая гречиха...  
Звон к вечерне из деревни  
Долетает тихо...

1892

\* \* \*

Из зреющих хлебов, как теплое дыханье,  
Порою ветерок касается чела.  
Но спят уже хлеба. Царит кругом молчанье.  
Молчат перепела.

1897

\* \* \*

Веет утро прохладой степною...  
Тишина, тишина на полях!  
Заросла повиликой-травую  
Полевая дорога в хлебах.

В мураве колеи утопают,  
А за ними, с обеих сторон,  
В сизых ржах васильки зацветают,  
Бирюзовый виднеется лен.

Серебрится ячмень золотистый,  
Зеленеют привольно овсы,  
И в колосьях брильянты росы  
Ветерок зажигает душистый.

И вливает отраду он в грудь,  
И свекает с души он тревоги...  
Весел мирный проселочный путь,  
Хороши вы, степные дороги!

#### КАНУН КУПАЛЫ

Не туман белеет в темной роще —  
Ходит в темной роще богоматерь.  
По зеленым взгорьям, по долинам  
Собирает к ночи божьи травы.

Только вечер им остался сроку,  
Да и то уж солнце на исходе:  
Застят ели черной хвоей запад,  
Золотой иконостас заката.

Уж в долинах сыро, пали тени,  
Уж луга синеют, пали росы,  
Пахнет под росой медуница,  
Золотой венец по роще светит.

Как туман, бела ее одежда.  
Голубые очи точно звезды,  
Соберет она цветы и травы  
И снесет их к божьему престолу.

Скоро ночь — им только ночь осталась,  
А наутро срежут их косами,  
А не срежут — солнце сгубит зноем,  
Так и скажет сыну богоматерь:

«Погляди, возлюбленное чадо,  
Как земля цвела и красовалась!  
Да недолог век земным утехам:  
В мире Смерть, она и Жизнью правит».

Но Христос ей молвит: «Мать! Не солнце —  
Только землю тьма ночная кроет.  
Смерть не семя губит, а срезает  
Лишь цветы от семени земного.

И земное семя не иссякнет.  
Скосит Смерть — Любовь опять посеет.  
Радуйся, Любимая! Ты будешь  
Утешаться до скончанья века!»

\* \* \*

Зато все ярче и нежнее  
Живая неба бирюза;  
И смотрят, весело синяя,  
В кустах подснежников глаза...

\* \* \*

...Полями пахнет — свежих трав,  
Лугов прохладное дыханье!  
От сенокосов и дубрав  
Я в нем ловлю благоуханье...



\* \* \*

...Поздним летом в степи на казацких могилах  
«Сон-цветок» в полусне одиноко цветет.  
Он живой, но сухой. Он угаснуть не в силах,  
Но весна для него не придет...

\* \* \*

...Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод,  
Меж заводей цветов, в волнах травы плывет,  
Минуя острова багряного бурьяна...

\* \* \*

...Растет, растет могильная трава,  
Зеленая, веселая, живая,  
Омыла плиты влага дождевая,  
И мох покрыл пенужные слова...

\* \* \*

Брат в запыленных сапогах  
Швырнул ко мне на подоконник  
Цветок, растущий на парах,  
Цветок засухи — желтый донник.

Я встал от книг и в степь пошел...  
Ну да, все поле — золотое,  
И отовсюду точки пчел  
Плывут в сухом вечернем зное...

\* \* \*

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,  
И лазурь, и полуденный зной...  
Срок настанет — господь сына блудного спросит:  
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомнив только вот эти  
Полевые пути меж колосьев и трав —  
И от сладостных слез не успею ответить,  
К милосердным коленям припав...

Муза, крапиву воспой...

На мой взгляд, крапива — одно из самых любопытных растений. Во-первых, зачем ей жалиться? А между тем природа ничего напрасно не делает. На что уж бесполезной у нас считается слепая кишка. Атавизм, пережиток, излишество. Начали в Америке удалять ее в младенческом возрасте, чтобы потом взрослому человеку не нужно было хлопотать и заботиться. И что же? Развитие ребятишек без слепой кишки пошло ненормальным путем. Заметили нежелательные отклонения. Пришлось отказаться от самонадеянного вмешательства в дела природы: молодые американцы растут все с аппендиксами.

Пчелиное жало объяснено, змеинный яд понятен, ядовитые колючки некоторых рыб не вызывают никаких кривотолков. Но зачем жжется крапива? Защищая себя? От кого? Почему другие соседние травы обходятся без такой защиты и процветают? Да и какой вред крапиве, если ее съест какое-нибудь травоядное существо? Чтобы ее извести, нужны не благодущная корова, не лось, не коза, а железо, огонь, терпенье и многие годы.

Шипы на розовом кусте, но ведь там цветок, и какой! Каждый, кто увидит, потянется сорвать и понюхать. Но и шипы на розе появились, надо полагать, задолго до человека. И оказались они, между прочим, с точки зрения защиты от человека, праздными. Человек все равно выращивает и срезает розы и вывел 7000 (семь тысяч) сортов. Нет, непонятная, непонятная трава крапива. Кстати, насчет невзрачности ее я не согласен. Один раз сидели на лавочке и разговорились.

-- Ну, знаешь! Это надо уж до чего дойти, чтобы утверждать, будто крапива красавица! Тогда не надо было бы выращивать георгины, нарциссы, маки... Крапива сама везде растет, только любуйся.

Я отошел за угол дома, сорвал три высоких свежих стебля крапивы, унес их в дом, поставил в высокую узкую вазу, установил около золотистой тесовой стены. Свет падал удачно, сбоку: не плоское, а объемное освещение. Пригласил друзей-спорщиков.

Зубчатые, немного никнувшие листья, расходящиеся парно во многих местах четырехгранного стебля, полно-

кровная.<sup>1</sup> темная зелень, сила и мощь в сочетании с несомненным чувством личного достоинства произвели на всех нас, смотрящих, сильное впечатление. Мы стояли и любовались. Чем дольше любовались и вглядывались, тем больше хотелось смотреть. Реплики стихли. Наступило безмолвное созерцание.

— Она прекрасна! — сказал наконец поэт Василий Федоров. — Она прекрасна, и пятна нет на ней.

— А зачем же мнем и не смотрим?

— Кто-то из великих мужей сказал, что если бы селедки было мало, она считалась бы самым тонким и редким деликатесом.

— Ничего, скоро будет! — пошутил один из нас, уже безотносительно к нашей красивой крапиве и разрушая атмосферу очарования.

Но можно ли крапиву не мять? С первых шагов (если в деревне) преследует ребяташек досадная, злая трава — крапива. Мяч закатился обязательно в крапиву. Надо лезть и доставать, обжигаясь. Рвешь малину (в особенности в лесу), руки и ноги острекает крапивой. Провинился — можно получить крапиво́й по ногам, а то и повыше, тем более если провинился перед чужими людьми, например, залез в огород. Пошлют полоть гряды: попадетса под руки чрезмерно злая мелкая крапивка, которая и растет только в грядках вместе с сорной травой. Белые на руках волдыри нестерпимо горят, а потом, опадая, зудят и чешутся.ловишь рыбу на удочку, захочешь вытереть руки о траву (не спуская глаз с поплавка), непременно попадешь руками на злую приречную крапиву.

Но там же, около утренней реки, близ воды, дышащей теплом и туманом, в кустарнике, во влажном утреннем микроклимате, до чего же хорошо пахнет крапива!

Саша Косицын, когда в Москве начнем вспоминать наши места и речку, текущую через лес, все время обращается к одному и тому же вопросу:

— Слушай, чем это пахнет, какой травой, когда сидишь утром у воды? На мяту как будто не похоже...

— Мятой пахнут руки, когда вытираешь их о траву. А в воздухе пахнет обыкновенной крапивой.

— Да ну?!

---

<sup>1</sup> В слове «полнокровная» нет никакой метафоры. Сейчас найдена и доказана идентичность растительного хлорофилла и животного гемоглобина.

И вот теперь еще один немаловажный вопрос.

Крапива водится в кустарниках, по берегам речек, в зарослях лесной малины, в лесных оврагах, называемых у нас буераками.

В чистом поле, среди ржи, овса, гречихи, гороха, крапивы не видать. На чистом лугу, среди луговых цветов и трав, крапивы не встретишь. Вдоль проселочных, полевых дорог крапивы нет. Она изменяет своим местам обитания только для того, чтобы поселиться около человека.

Как только признак какой-нибудь человеческой деятельности, как только человеческое жилье, крапива уж тут как тут. Главным образом ее привлекают признаки строительной деятельности.

По существу, крапива — лесная трава. Но ведь медуница не выходит из леса на стук человеческого топора или молотка. Ландыш не выманишь из-под сени леса. Кислица, грушанка, лесной колокольчик тверды в своих привязанностях и привычках. Но крапива немедленно покидает свои буерачные, береговые, овражные уголья и появляется перед человеком, как только почувствует его близость.

Выкопайте колодец среди чистой поляны, вокруг которой на километр не росло ни одной крапивинки, тотчас ваш колодец окружит зеленой толпой неизвестно откуда взявшаяся крапива. Поставьте сруб, соорудите погреб, поднимите забор, сложите поленницу дров, высыпьте корзину щепок или другого мусора, крапива уж тут как тут!

Может быть, она знает, что где есть человек, там возможны и разные человеческие бедствия: пожар, война, голод, болезнь? Может быть, она заранее предлагает себя на выручку как весьма питательная и целебная трава (во много раз питательнее капусты)? Ведь она особенно буйствует там, где действительно замечается человеческое бедствие, неблагополучие. О, раздолье крапиве от края и до края России на месте исчезающих домов, деревень и сел! Ну, положим, крестьяне-то многие, колхозники уезжают из деревень не от голода, не от чумы, не от крайней нужды, а по очень сложным причинам, благодаря очень сложным процессам, происходящим теперь, уезжают в города, накопив денег и покупая в городах дома, уезжают, засасываемые растущей промышленностью (и потому, что ослабли корешки, привязывающие к земле, а то и пооборвались), но крапива, конечно, не может разобраться во всех социологических тонкостях. Она видит, что исчезают дома, оставляя

после себя ямы и кирпичные трубы, она думает, что тут бедствие, неблагополучие, и набрасывается, и растет, и жирует на покинутых пепелищах, в то время как бывшие хозяева домов благополучно работают на заводах, ходят в кино, забивают «козла», потягивают пивко у фанерных киосков. Не умнее же крапива наших социологов и экономистов, которые утечку деревни считают не бедствием, а неизбежным, закономерным процессом?

Или, может быть, крапива набрасывается на следы человеческой деятельности из других побуждений. Может быть, природа велит ей: «Иди и все исправь. Сделай как было». И вот на брошенных местах, на ямах от бывших домов крапива будет расти десятки лет, пока всякий след человека не переработает в себе так, что будет здесь опять бескрапивное, но и безмусорное место. Зарубцется рана, сотрется след. Правда, говорят, что и до сих пор ученые-археологи именно по крапиве определяют стоянки древних викингов в Европе. Но что природе пятьсот лет и куда ей торопиться?

В присланной мне тетради одного профессора, впрочем, я вычитал следующие, не очень привычные для нормальной современной научной речи слова о крапиве:

«Растет на почве, испорченной человеком, исправляя ее, подготавливая для других растений. Это сильное растение, но замкнутое. Оно не выказывает своей силы вовне, например, в виде цветов, а заключенную в ней красоту выявляют бабочки, личинки которых питаются листьями крапивы («павлиний глаз», «крапивница»). Крапива напоминает некоторых людей, которые делают нужную работу, делают много хорошего, но не показывают этого» (см. с. 54 этой тетради).

На странице пятьдесят четвертой я прочитал еще и следующее. Как говорится, за что купил, за то и продаю.

«Крапива растет всюду, где есть люди. Она стоит перед нами, исполненная серьезным, даже несколько отчужденным спокойствием, глубоко связанная с теми силами, внешним выражением которых является ветер. Самое важное и самое существенное в крапиве — это живущий в ней сильно выраженный железистый процесс. Этот процесс придает крапиве, с ее темно-зелеными листьями, такой исполненный достоинства вид.

Сущность крапивы в том, что в ней совершается процесс, обратный процессу образования крови в человеке. Она — страж интернированного в крови человеческого су-

щества, регулируя действие силы тяжести и обратной ей силы подъема... Медицина применяет ее для очистки крови...»

Дальнейшее оставлю в тетради на той самой пятьдесят четвертой странице, равно как и на совести профессора.

Каждый год в мае я боюсь прозевать крапивный сезон. Крапива едва ли не самая первая показывается из черной бестравной в то время земли и растет очень быстро. Значит, если принять нашу шутовскую первую теорию, что крапива идет на выручку человека, то в этом мы найдем полное совпадение, потому что если бы выпала голодная зима и если бы пережившие ее люди стали с вожделием и надеждой глядеть, чем им поможет весна, природа, то первыми она увидела бы яркие сочные кустики крапивы, растущие не по дням, а по часам, так и прутья из земли, словно вот именно спешат на выручку.

Очень важно приехать в это время в деревню, чтобы захватить крапиву молодой, нежной и сочной.

Вооружившись ножницами и посудой, например решето, я иду в сад. Там и тут под вишеньем, около старой избушки, около малины сотворились из мягкого апрельского теpla и волглоy земли, соткались из солнечного воздуха и налились соком и зеленью кустики крапивы. Они пока что выглядят как кустики, а не как сплошные высокие заросли. Возьмешься пальцами левой руки остороженько за верхушку, а ножницами чиркнешь под третью пару листьев. Оставшееся в левой руке бросишь в решето или блюдо.

Когда суп, какой бы он ни был, готов и можно нести его на стол, надо бухнуть в кипящую кастрюлю ворох свежей, мытой крапивы. И как только кипенье в кастрюле, усмиренное на несколько минут прохладной крапивой, возобновится, снимают кастрюлю с огня; разливают густое, зеленое хлебово по тарелкам. Весенняя, майская целебная и питательная еда готова. Крапива остается и в тарелке ярко-зеленой, кажется даже еще ярче, чем росла на земле. Она как живая, только что не жалится.

Правда, Володя Дудинцев запротестовал, когда я поделился с ним столь простым и эффективным рецептом.

— Нет. Надо откинуть ее и протереть через дуршлаг или решето, а в тарелку обязательно положить половину крутого яйца. И положить его желтком кверху.

— Зачем?

— Ну, как же... красиво.

Муза, крапиву воспой... Но все же настоящую оду крапиве я вычитал в травнике В. Махлаюка. И написана она там суховатыми деловыми словами. И никакой поэтический этюд не заменит в данном случае точных конкретных знаний. Вот она, эта ода.

«Применение. Крапива широко применяется в народной медицине разных стран. Русская медицина использовала ее еще в XVII веке и высоко ценила как хорошее кровоостанавливающее и ранаозаживляющее средство.

Крапива обладает мочегонным, слабительным, отхаркивающим, противосудорожным, противовоспалительным, «кровоочистительным», кровоостанавливающим и ранаозаживляющим средством. Она усиливает деятельность пищеварительных желез и выделение молока у кормящих женщин. Крапива увеличивает процент гемоглобина и количество эритроцитов в крови. Имеется указание, что отвар листьев может понижать содержание сахара в крови.

В русской народной медицине и народной медицине других стран водный настой и отвар крапивы применяют при болезнях печени и желчных путей, почечнокаменной болезни, дизентерии, водянке, хронических запорах, простудных заболеваниях, болезнях дыхательных путей, геморрое, остром суставном ревматизме, подагре. Настои крапивы употребляют также, как внутреннее «кровоочищающее» средство, улучшающее состав крови при лечении различных кожных заболеваний (лишаев, угрей, фурункулов). Отвар листьев с ячменной мукой пьют при грудных болях.

В смеси с другими травами крапиву используют при туберкулезе легких. Листья крапивы входят в состав различных желудочных, слабительных и поливитаминных сборов.

Водный настой крапивы издавна применяют при геморроидальных, маточных и кишечных кровотечениях.

В последние годы крапиву стали применять и в научной медицине при маточных и кишечных кровотечениях в виде жидкого экстракта. Клиническая проверка показала, что он не вызывает никаких вредных явлений. Жидкий экстракт обладает также мочегонным, противолихорадочным и противовоспалительным действием. Для повышения свертываемости крови рекомендуется применять смесь жидких экстрактов крапивы и тысячелистника. Кровоостанавливающее действие крапивы объясняется наличием в ней

особого антигеморрагического витамина К, а также витамина С и дубильных веществ.

Отвар корневищ и корней крапивы двудомной в народной медицине применяют внутрь при фурункулезе, геморрое и отеках ног, а настой корней — как сердечное средство. Обсахаренные корневища крапивы употребляют также при кашле.

Настой корней жгучей крапивы применяют для лечения туберкулеза. Настой цветков крапивы двудомной в виде чая пьют от удущья и при кашле для отхаркивания и рассасывания мокрот.

Крапива является не только внутренним, но и наружным кровоостанавливающим средством и ранозаживляющим средством. Инфицированные раны скорее освобождаются от гноя и быстрее заживают, если их присыпать порошком крапивы или прикладывать к ним свежие листья. Отвар всего растения применяют наружно для обмывания и компрессов при опухолях. Высушенные и размельченные листья используют при носовых кровотечениях, а свежими листьями уничтожают бородавки.

Во Франции настоей крапивы втирают в кожу головы для роста и укрепления волос при их выпадении.

Еще в отдаленное время крапиву в народной медицине употребляли в качестве кожного раздражителя (то есть фактора рефлекторной терапии).

Листья крапивы благодаря содержанию в них фитонцидов обладают свойством сохранять быстропортящиеся пищевые продукты (например, выпотрошенная рыба, набитая и обложенная крапивой, сохраняется очень долго).

Молодые побеги крапивы (стебли и листья) используют для приготовления зеленых щей. На Кавказе из вареных измельченных листьев крапивы, смешанных с толчеными грецкими орехами и пряностями, готовят вкусные национальные блюда.

Крапива является также весьма ценным кормом для домашних животных. Она стимулирует их рост и развитие. Коровы, получая крапиву, дают молока больше и лучшего качества. У кур увеличивается яйценоскость.

Из лубяных волокон крапивы можно изготовить грубые ткани и веревки (готовили раньше. — В. С.).

Крапива обладает многосторонним действием на организм человека и заслуживает широкого применения в медицине». Уф!



## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М. Метерлик

«Они интересны и непонятны. Их туманно зовут «сорными травами». Они ни на что не нужны. Там и сяма, в глуши старых деревень, некоторые из них ждут еще на дне банок аптекаря или торговца травами прихода больного, верного традиционным настойкам. Но неверующая медицина пренебрегает ими. Их больше уже не собирают по обрядам старины, и наука «знахарок» изглаживается из памяти добрых женщин. Против них объявили беспощадную войну. Крестьянин их боится, плуг их преследует; садовник их ненавидит и вооружился против них звонким оружием: лопатой, граблями, скребком, киркой, мотыгой и заступом. На больших дорогах, где они ждут последнего убежища, прохожий давит их, телега их мнет. Несмотря на все — вот они, постоянные, уверенные, кишащие, спокойные, и все они готовы откликнуться на призыв солнца. Они следуют за временами года, не ошибаясь ни одним часом. Им неведом человек, истощающий силы, чтобы покорить их, и как только он отдыхает, так они вырастают на его следах.

Они продолжают жить — дерзкие, бессмертные, непокорные. Они наполнили наши корзины чудесными переродившимися дочерьми, но сами бедные матери остались тем же, чем были сотни тысяч лет назад. Они не прибавили к своим лепесткам ни одной складки, не изменили формы пестика, не изменили оттенка, не обновили аромата. Они хранят тайну какой-то упорной власти. Это вечные прообразы.

Земля принадлежит им с начала мира. В общем, они олицетворяют неизменную мысль, упрямое желание, главную улыбку земли. Вот почему их надо спросить. Они, очевидно, хотят нам что-то сказать. Кроме того, не забудем, что они первые, — вместе с зарей и осенью, с весной и закатами, с пеньем птиц, кудрями, взором и божественными движениями женщины, — научили наших отцов, что на земном шаре есть бесполезные, но прекрасные вещи».

\* \* \*

Тем, кто приезжает ко мне в гости в Олепино, я даю заполнить анкету. Не гостиничную, не служебную: год и место рождения, национальность и образование, — но

свою, придуманную анкету — шестьдесят шесть вопросов. Она интересна и мне, и тому человеку, который ее заполняет. Потому что надо же хоть раз в жизни сесть над белым листом бумаги и задуматься о том, какие у тебя любимые цветы, дерево, явление природы; какой исторический подвиг тебя наиболее восхищает, какую книгу ты ценишь больше других, судьба какого исторического лица представляется тебе наиболее трагичной или в чем ты видишь идеал государственного устройства...

Так вот о цветах. Чаще всего в анкете отвечают друзья: ромашка, василек, ландыш, роза. Встречается незабудка, есть анютины глазки, есть гладиолус, гвоздика, донник... Если продолжать эту анкету, начнут встречаться, вероятно, жасмин, сирень, черемуха, хризантемы, мак... Естественно, есть более или менее установившийся круг популярных и любимых цветов.

Но однажды за чашкой чая в Москве зашел разговор о цветах, в частности, о любимых. Помнится, так был поставлен вопрос: если бы заказать художнику картину, чтобы висела в доме, какие цветы вы предпочли бы видеть изображенными на картине?

— Лютик! — воскликнула Татьяна Васильевна. — Я бы хотела лютик!

Ее восклицание прозвучало неожиданно. Почему — лютик? Но с другой стороны — почему бы и нет?

Я стал вспоминать лютики, их глянцевые, лаковые лепестки, хотел представить, как они выглядели бы, написанные художником, но представился мне не букет лютиков, а наш летний луг. Ведь именно по этим цветам можно узнать летом, где и как текли через наш луг весенние мутные воды. Сначала они текут по дну оврага узким и бурным ручьем, потом, попадая на плоский луг, разливаются мелкой ширью, но все же не теряют лица потока. Всегда даже на ровной земле найдется ложбинка чуть-чуть поглубже остального места, а такую ложбинку всегда найдет вода. Так, то разливаясь, то вновь сужаясь, то дробясь на несколько полос, то вновь собираясь в одну, вода добирается до крутого берега реки. Здесь она снова предстает мускулистым хлещущим потоком и падает с шумом в большую речную воду, чтобы потеряться в ней, но зато в конце концов достичь моря. Потечет вода к далекому Каспию, частица ее (ну хоть стакан), возможно, не безызвестным Волго-Дном попадет и в Черное море, и, сделавшись соленой и синей, гуляя там на белопенном просторе, забудет

вода наш зеленый лужок, и как текла через него, пробираясь к реке, и как ходил по ней Серега Тореев в резиновых сапогах, и как ваш покорный слуга перепрыгивал через нее, опираясь на можжевельную витиеватую палку, и как успела она косым отражением отразить и подержать в себе крутой бугор с темными елочками на нем, и как пахла апрельская луговая земля, по которой она текла. Но луг ее не забудет до самой осени. Там, где она текла темными потоками, загустеет трава, золотыми потоками зацветут лютики. И получается, что лютики — это воспоминание земли о весенней воде.

Конечно, эти дружные лаковые цветочки цветут не только на лугу, на месте мутных весенних ручьев, но и в саду, и около дороги, и на лесных полянах. Они, выражаясь казенно, активно участвуют в создании летней цветочной гаммы и тем не менее как-то умудряются не бросаться в глаза. Мимо поляны, цветущей лютиками, пройдешь, не обратив на нее особенного внимания, как никогда не прошел бы мимо поляны, цветущей купальницами, ромашками и даже одуванчиками. Но Татьяна Васильевна воскликнула: «Лютик! Я бы хотела лютик!» — и с этим ничего не поделаешь. Попал в любимые.

То же самое случилось у меня несколько раз со стихами и рассказами. Про некоторые думаешь: включать их в сборник или не включать? Не очень-то удались. Без них и сборник как будто цельнее, крепче. Пожадничаешь и оставишь, не выбросишь. А потом приходит читательское письмо. Оказывается, стихотворение, которое не хотел включать, кому-то (пусть хоть одному человеку) понравилось больше других.

То же самое случается и с людьми. Строишь — невзрачная, некрасивая девушка, пожалеешь даже ее, а она, глядь, замужем पहले красавицы. Значит, для самой дурнушки дело не безнадежно. Всегда найдется человек, который разглядит в ней некую, только ему одному видную красоту и полюбит.

А вовсе некрасивых цветов, как известно, не бывает.

\* \* \*

Одуванчики цветут с весны и до осени. В течение целого лета не выберешь дня, когда нельзя было бы увидеть этот цветок. Но все же бывает в мае пора, когда разливается по земле их первая, самая дружная, самая яркая волна.

Москвичи, поезжайте в Коломенское! В ранние утренние часы солнце смотрит там со стороны Москвы-реки, со стороны знаменитого Вознесенья, и вам придется пройти сначала всю зеленую поляну до музея, до вторых ворот, а потом оглянуться.

Справа вы увидите старинную медоварню, сложенную из неправдоподобных толстых бревен, темных, словно пропитавшихся медом, с которыми столь удачно сочетается омывающая их зеленым прибором трава.

Прямо, на противоположном от вас конце ровной поляны, на другом ее как бы озерном берегу, стоит белосахарная, с очень синими (во всяком случае, синее майского неба) куполами Казанская церковь. Все пространство между вами и ней (а справа бревенчатая медоварня) мягко и ласково ослепит вас чистым теплом золото одуванчиков.

Немудрено и в других местах увидеть цветущие одуванчики и даже в таком количестве и в такой, я бы сказал, равномерной распределенности, но не везде в золотое озеро их глядится душистая бревенчатая медоварня и сахарно-голубая церковь. Кажется, что и одуванчики здесь не расцвели вчера, а остались вместе с самим Коломенским от семнадцатого века.

Со всех сторон, из-за вишневых садов, из-за дубового парка, из-за Москвы-реки и со стороны шоссе, надвигается шум и скрежет наступающего города, который с каждым годом все туже стягивает кольцо. И уже дрожит и надтреснуто дребезжит от этого грохота одуванчиковая коломенская тишина. Скоро, не выдержав напора, она расколется, разлетится вдребезги. Торжествующий и злорадствующий шум нахлынет и погребет ее под собой, возможно, вместе с одуванчиками.

Один мой знакомый высказал в разговоре мысль, что всякий цветок так или иначе видом своим или, по крайней мере, схемой стилизует солнце. Слово миллионы маленьких детей взялись рисовать его кто как может. У всех получается по-разному, но в основе каждого рисунка — кругленький центр, а от него в разные стороны — лучи. Кругленький центр то маленький, то большой, лучи то узкие, то широкие, полукруглые, то их много, то пять или шесть, то они белые, то красные, то синие, то как само солнце.

Мысль приблизительная, но позабавиться можно. Хотя и некуда деть при этом ни клеверной шапки, ни орхидей, ни

всех так называемых мотыльковых, ни злаков, ни какой-нибудь там кошачьей лапки. Но вот что правда, то правда — одуванчик срисован с солнца.

Не будем сейчас думать о том, что, сорвав и держа стебель, мы держим вовсе не один цветок, а соцветие, корзину, как выражаются ботаники, и что один цветок представляет из себя тонюсенькую трубочку с зазубренными краями (неужели вы пошлете меня изучать незабудку!). Но, глядя на поляну и видя ее всю золотой, невозможно освободиться от впечатления, что некий художник-гигант окунал свою кисть прямо в солнце и разбрызгивал его по зеленой земле.

Еще больше это похоже на бесчисленные зеркальца, в каждом из которых отражается солнце. Сходство дополняется еще и тем, что, когда солнце уходит надолго или на ночь, одуванчики закрывают свои цветы, гаснут, поляна отражает теперь лишь монотонное потемневшее небо.

Поворачиваются за солнцем в течение долгого дня почти все цветы, но закрываются при отсутствии солнца очень редкие, и в том числе, и в первую очередь, одуванчики.

Никто не знает (и, вероятно, никогда не узнает), зачем понадобился одуванчику стебель в виде тонкостенной трубки вместо обыкновенного, зеленого шершавого стебля. Но зато всякий знает, зачем у него появится потом округлая пушистая головка. В человеческое сознание это растение входит, может быть, больше именно этой пушистой головкой, нежели самим цветком. У него и название не по цветку (скажем, могло бы быть желтоцвет, солнцезцвет, солнечник и т. д.). А — одуванчик.

Когда Александру Твардовскому понадобилось найти для поэмы «Дом у дороги» признак жизни, земного бытия и земной радости, то от имени новорожденного человека он произнес такие слова:

Зачем мне знать, что белый свет  
Для жизни годен мало?  
Ни до чего мне дела нет,  
Я жить хочу сначала.

Я жить хочу, и пить, и есть,  
Хочу тепла и света,  
И дела нету мне, что здесь  
У вас зима, не лето...

Я на полу не двигал стул,  
Шагая вслед неловко,  
Я одуванчику не сдул  
Пушистую головку.

Я на крыльцо не выползал  
Через порог упрямый  
И даже «мама» не сказал,  
Чтоб ты слыхала, мама.

Как видите, наш скромный «протеже» один удостоился встать рядом с такими многозначимыми вечными ценностями, как свет, тепло, первый шаг, первое слово и даже мама.

В самом деле, при слове «одуванчик» не большинство ли увидит мысленным взглядом не желтый цветок (хотя бы и с пчелой, старательно ползающей по нему), но белый пушистый шарик, а некоторые наиболее внимательные еще и белую приплюснутую лепешечку в черных дырочках, которая остается после того, как дунешь на одуванчик и целый парашютный десант начнет медленно опускаться на землю с высоты вашего роста, вашей поднятой вверх руки.

Парашютный десант. Парашют мы изобрели в двадцатом веке. Одуванчик изобрел его миллионы лет назад. Можно утверждать, что природа нашла его на ощупь, сослепу, но прежде надо положить один-единственный парашютик на ладонь или на лист бумаги и разглядеть его по возможности в лупу.

Мы увидим, что вся графика этого удивительного приспособления достойна самого точного и красивого чертежа. Не говоря об инженерных, математических расчетах. Вес семечка, длина ножки, площадь зонтика — все находится в строгом математическом соответствии, и если бы современные инженеры при помощи логарифмических линеек и счетных машин взялись рассчитать подобный воздухоплавательный аппарат с точки зрения оптимальности его пропорций, то они пришли бы к пропорциям и формам аппарата, который вы держите на своей ладони и которые во множестве летают по воздуху в ветреный летний день.

Впрочем, есть варианты. У мать-мачехи тоже парашют, но ворсинки у нее начинаются прямо от семечка и расходятся конусом, отчего все приспособление похоже на мяч бадминтона, называемого еще волапчиком. Козлобородник ближе к одуванчику, но так как семечко у него тяжелее

и больше, то и весь парашют, согласно конструкторским перерасчетам, соответственно увеличен в размерах. Есть и совсем «ленивые» варианты — бесформенный клочок пуха, а семечко спрятано в серединке. По сравнению с этим комочком пуха парашют одуванчика — как если бы сверкающее четкими никелированными спицами велосипедное колесо рядом с кругляшом, отпиленным от бревна, который тоже может катиться по земле, и катали, бывало, насадив его на гвоздь и прикрепив к палке.

Представляю себе разговор, когда, разработав проект и все рассчитав, инженер-конструктор принес чертежи на утверждение какому-нибудь конструктору главнее его.

— Все хорошо, — сказал главный конструктор, — но если семечко, отлетев по ветру, уже упало на землю, стоит ли ему подниматься снова и лететь дальше?

— Понял. Сейчас поправлю.

На новом чертеже семечко, гладкое в первом случае, было снабжено мелкими острыми зубринками, чтобы крепче держаться в почве.

— Вот видите, мелочь, а из-за нее могло нарушиться равновесие в природе. Хорошо. Утверждаю. Да будет так.

И миллиарды веселых белых пушинок полетели по ветру над зеленой землей, чтобы бесконечно зажигались на ней все новые и новые цветы, похожие на маленькне солнышки.

Между прочим, салат из молодых листьев одуванчика, как о том пишут во многих книгах, действительно съедобен и, наверно, питателен. Чтобы удалить из листьев их горьковатый вкус, французы рекомендуют класть их на полчаса в соленую воду. Тут дело вкуса. Из лука, например, мы не стараемся удалить горечь, но лишь смягчаем ее сметаной, маслом, другими овощами и травами.

\* \* \*

Возьмите три сердечка, какими их рисуют, когда хотят пронзить стрелой на открытке, или какими обозначают червовую масть на игральных картах, и три эти сердечка соедините остриями в одной точке. Сделайте эти соединенные сердечки нежно-зелеными, посадите их на тонкий стебелек пяти-семисантиметровой высоты — и вы получите кислицу, или заячью капустку, изящное, милое растение.

ице, украшающее тенистые, преимущественно хвойные, а еще преимущественнее еловые леса.

У других трав листья сидят на стебле по всей длине (как у крапивы) или расположены розеткой около самой земли (как у одуванчика), а здесь — особенно. Стебелек гладкий, словно стеклянный, полупрозрачный, розоватый, а ближе к земле темно-розовый до красного. Нет на нем ни чешуйки, ни ворсинки. Он весь как медная проволочка. Венчается же тремя листочками, о которых шла речь.

Листочки, под воздействием тайного механизма, нагнетающего в них упругость и силу, то распрямляются и держатся горизонтально земле, то все три поникают и повисают вдоль стебелька.

Заросли непоникшей кислицы больше всего похожи на пруд, затянутый ряской, потому что все листочки держатся плоско, на одном уровне и образуют ровную зеленую гладь, светло-зеленую, светяще-зеленую, контрастно-зеленую в царстве темных, почти черных тонов замшелого елового леса. Стволы деревьев темно-коричневы, хвоя темная, сумрачная, воздух сам — полумрак. Только кислица и светится около земли, как если бы устроили снизу скрытую электрическую подсветку.

Взяв за листочки, легко выдернуть растеньице вместе с длинненьким стебельком, который чем ниже, тем краснее, но, с другой стороны, прозрачнее, стекловиднее. Надергав несколько штук, свернешь их в комок да и отправишь в рот, станешь жевать. Кислота щавеля покажется грубой и какой-то шершавой после тонкой, острой, с примесью явственной сластинки кислоты заячьей капусты. Но, как и щавеля, много не съешь. Да, говорят, и не нужно есть ее в большом количестве.

Считается, что эта трава — барометр, и очень точный. К дождю складывает свои листочки. Зная это, я стал поглядывать на нее в лесу. Вижу — листочки сложены. Вот беда. Завтра нужна была бы хорошая погода. Прошел сто шагов — листочки развернуты. Что за притча!

Несколько дней морочила мне таким образом голову кислица. Потом однажды, выйдя на обширные заросли ее, я догадался, в чем дело. На ровной зеленой плоскости лежала ровная лесная тень. Но были и светлые пятна, от солнца, пробивавшегося сквозь еловые ветви. И вот ясно было видно, что в тени листья кислицы расправлены и блаженствуют, а в солнечных пятнах поникли, словно боясь



обжечься. Ну и правда, очень нежная эта травка. Нельзя ей выставляться на яркий и горячий солнечный свет.

В мае кислица выгоняет еще один стебелек, тоньше своего основного стебля. Он поднимается выше зеленой плоскости листьев, но все равно в лесной тени был бы почти не виден, если бы на нем не распускался очаровательный белый колокольчик.

Белый-то он белый, но если сорвать и разглядеть на свету, весь окажется в сиреневых прожилках и, как водится, желтенькие тычинки в глубине колокольчика.

Таким образом, вот картинка в еловом лесу: ровная «ряска» кислицы, а над ней на невидимых стебельках повисают в темном воздухе мириады маленьких колокольчиков.

Нисколько не хуже, когда около старого трухлявого пня встретишь иной раз отдельную стайку кислицы с шапку величиной, но яркую, свежую, и несколько колокольчиков, парящих над ней. Тогда жалеешь, что только один ты и увидел эту маленькую лесную сказочку.

\* \* \*

Травка, о которой пойдет речь, так неказиста и незаметна, что, конечно, никто, кроме специалистов-ботаников и знахарей (а в средние века ею очень интересовались еще и алхимики), не выделял бы ее из общей летней травы, если бы не маленькая особенность, не одно ее чудесное свойство.

Цветов у нее как бы и нет. Даже собравшись несколько штук в один клубочек, они не производят впечатления цветка: Клубочек получается величиной с ягодку лесной земляники, а цветом зеленовато-желтоватый. Этакая невзрачная шишечка. Что уж говорить про каждый отдельный цветок, зелененькую спичечную головку. А между тем — семейство розоцветных.

Смотришь и думаешь, неужели это в буквальном смысле бесцветное существо (зеленый цвет — не цвет для цветка) прямая и близкая родня царице цветов, и не просто родня, но из одного с ней семейства.

В одной любопытной книжке (на русском языке ее нет) я вычитал более поэтическое, чем научное, соображение, будто все цветы делятся на две основные сферы и строятся по двум основным схемам: пятилучевой и шестилучевой.

Во главе первой группы (независимо от принятой

ботанической классификации) стоит роза (пять лепестков), во главе второй — лилия (шесть лепестков), и так они царствуют, две царицы цветочного царства. И как бы ни был мал иной цветок (незабудка, например, или ландыш), все равно либо та, либо другая схема, то или другое подданство.

Попробую процитировать в приблизительном переводе с немецкого:

«Кульминациями этих двух классов являются возглавляющие их Роза и Лилия. Они — королевы в своем царстве. Подобно Солнцу и Луне, господствует Роза и Лилия в царстве растений. Они несут в себе сияние прадревних культур. Мудрецы Востока старались пад их введением в культуру. Все лилии несут в своем цветке шестиконечную звезду Заратустры. Но все плоды и ягоды происходят от розы. Из них выделены и наши хлебные злаки...»

Трудно принимать всерьез подобные рассуждения, тяготеющие к космическому происхождению земных растений и даже всей жизни на земле, но сама по себе идея двух великодушных цариц невольно привлекательна и красива.

Впрочем, говоря о нашей маленькой травке, мы имели в виду сухую научную классификацию, по которой без всяких дополнительных и едва ли не метафизических идей манжетка обыкновенная безоговорочно принадлежит к семейству розоцветных.

Представим себе, что соберется розоцветное семейство ну хоть на выставке, если бы люди захотели устроить такую выставку. Почетное тронное место заняла бы, конечно, роза — семь тысяч сортов и столько же цветовых оттенков. Бархатные, шелковые, просвеченные солнцем, с темной тенью, залегающей в складках лепестков, белоснежные, желтоватые, желтые, пурпурные, пунцовые, бордовые, алые, черные, лиловые... Не хочет быть роза только голубой. Ну, это уже ее дело.

В сторонке скромно расположится, придя на сбор розоцветных, шиповник, называемый, правда, в ботанике розой собачьей, но от которого и произошли, собственно говоря, все семь тысяч махровых сортов. Как будто съехались городские красавицы в модных нарядах, ослепляют и завораживают, но, храня достоинство, сидит в сторонке приодетый для праздника деревенский дед, от которого и пошло все это яркое, пышное потомство.

Не ударит в грязь лицом на празднике розоцветных

и яблоня, когда белой невестой встанет она на весенней тихой заре и розовато светится и манит пчел.

Не бедной родственницей на речном берегу, над темной лесной водой, заглядевшись в черное зеркало, обольется белым цветом черемуха.

Ярко-розовый персик (цветущее дерево), миндаль, вишня и слива — у каждого дерева своя статья, у каждого цветка своя пора, свое место под солнцем, своя тихая безмолвная гордость.

Спустимся ниже. Кустик лесной земляники, пришедший на смотр розоцветных, скромнее, конечно, цветущего миндаля, но он с достоинством предстал перед светлые очи самой царицы: хотите гоните, а я — ваш. А в общем-то, если посмотреть, чем мои пять белых и чистых лепестков отличаются от таких же белых лепестков цветущего вишеня? Их больше. Белыми облаками лежат они среди весенней земли, украшая и преображая вид деревень, небольших городов, всего пейзажа. Но, зайдя в сосновый лес, разве не обрадуетесь вы, увидев целые поляны в нашем белом цвету?

Все так. Но что это там у порога за невзрачная травка? Замухрышка и замарашка? Как смела она войти сюда, к розоцветным? Гоните нахалку вон!

— Я не виновата, — чуть слышно ответила бы невзрачная травка. — Я ваша родня. Я — розоцветная, поглядите в любую книжку.

— У тебя и цветка-то путного нет.

— Что поделаешь. Цветок есть, только он очень мал. Я уж стараюсь, собираю несколько цветков в один клубочек, но и клубочек мой не похож на настоящий цветок, а похож на зеленую жесткую еще ягоду моей далекой сестрицы лесной земляники. Но я должна сказать, что люди меня знают, выделяют из остальных трав и по-своему любят.

— За что же? Не за родство ли с нами?

— Нет. Дело в том... Что у меня листья.

— Ну покажи, какие такие у тебя особые листья?

— В ученых книгах их называют многолопастными, городчато-игольчатыми, но это ни о чем еще не говорит. Лучше вы поглядите сами.

Наклонившись или подняв до себя, мы увидели бы лист, который не только вам хорошо знаком, но который не однажды пробуждал в нас огонек восторга. Причем восторг этот относился не к листу, не к растению в целом,

а к лугу, через который мы шли к косогору, на который мы смотрели, к утренней заре и, наконец, просто к жизни.

Резной по краям листочек собран в гармошку и свернут воронкой. Покрыт мелкими волосками.

— Ну и что особенного в твоём листе? — может быть, стали бы спрашивать знатные родственницы скромную манжетку. Лист как лист. Все дело, что похожа на воронку.

— На горстку. В моем листе собирается влага. Средневековые алхимики считали, что это самая чистая влага, которая только может быть на земле. Они надеялись, что именно при помощи ее научатся превращать простые вещества в благородное золото. Иногда это моя собственная влага, иногда небесная роса, иногда капли дождя. Со всех ваших листьев вода, как вы знаете, скатывается, а в моем листе собирается. Поэтому, когда люди идут по росистой земле, они видят большие округлые капли светлой влаги, иногда настолько большие, что можно даже схлебнуть губами. Мои ворсинки не дают росе растекаться по всему листу и делать его просто мокрым. У меня так: весь лист сухой, а в середине, на дне воронки, — округлый упругий шарик, который от собственной тяжести становится плосковатым, сплюснутым, но все равно округлым и серебристым. Я ничего не говорю, красива капля небесной влаги и просто на стебле, на колосе, а тем более на розовом лепестке, но все же без сверканья моих полновесных и драгоценных капель земля проиграла бы в своей красоте.

Если есть на свете роса, значит, кто-то должен собрать ее, чтобы всякий мог насладиться вкусом. Но и роса — это еще не напиток по сравнению с той влагой, которую выделяю и дарю миру я сама. И птицы пьют с моих листьев, и дети, и некоторые взрослые, у которых не все еще выхолстилось и заглохло в душе, для которых не все еще свелось к граненому стакану, для которых лес не просто стройматериал и дрова, луг не просто центнеры сена, небо не просто место, где летают самолеты и спутники. А главное — которые не ленятся еще и не стыдятся опуститься на колени перед малой травинкой, держащей в себе каплю влаги, а в капле влаги, между прочим, и луг, и лес, и само небо.

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

М е т е р л и н к. Разум цветов

«Если встречаются незадачливые и неловкие растения и цветы, то отсюда не следует, что они совершенно лишены мудрости и изобретательности. Все ревностно стремятся совершить свое дело: у всех великолепная, самолюбивая мечта наполнить и завоевать поверхность земного шара, умножая на ней до бесконечности тот вид существования, который они собою представляют. Чтобы достигнуть этой цели, им приходится вследствие закона, прикрепляющего их к почве, преодолевать большие трудности, чем те, которые препятствуют размножению животных. Поэтому большинство из них прибегают к хитростям, к комбинациям, к приспособлениям, которые в смысле механики, баллистики, передвижения, наблюдений, хотя бы, например, над насекомыми, часто предшествовали изобретениям и познаниям людей».

«Если для нас бывает трудно открыть среди обременяющих нас законов тот, который с наибольшей тяжестью давит на наши плечи, то для растений в этом отношении сомнений не существует: это тот закон, который осуждает их на неподвижность со дня рождения их и до самой смерти. Им гораздо лучше, чем нам, рассеивающим свои силы, известно, против чего восставать в первую очередь... Мы увидим, что цветок дает человеку героический пример неповиновения, отваги, упорства и изобретательности. Если бы мы приложили половину той энергии, которую развил маленький цветок нашего сада, для того чтобы освободиться от различных давящих на нас неизбежностей... то должно верить, что наша судьба была бы весьма отличной от того, что она представляет из себя теперь».

«...воздушный винт клена, прицветники липы, воздухоплавательный снаряд чертополоха, одуванчика, козлобородника, разрывные коробочки молочаев, необычные приспособления ослиного огурца, волокнистые прицепки пушицы и тысяча других неожиданных и поразительных механизмов... нет ни одного семени, которое не изобрело бы какого-нибудь вполне своеобразного способа, чтобы избежать материнской тени...»

Есть в этой доброй толстой головке (речь идет о маке. — В. С.) осторожность и предусмотрительность, достойная

самых больших похвал. Известно, что она заключает в себе тысячи маленьких черных семян, крайне мелких. Надо рассеять эти семена насколько возможно удобней и дальше. Если бы коробочка, содержащая их, лопнула, упала или открылась бы снизу, драгоценная черная пыль образовала бы бесполезную кучку у подножия стебля. Но она может выйти наружу только через отверстия, проколотые наверху оболочки. Головка, созрев, нагибается на своей подножке, «кадит» при малейшем ветерке и буквально рассеивает, даже с движениями сеятеля, семена в пространстве».

«Когда наступает время цветения (речь идет об одном водяном растении. — В. С.), осевые мешочки наполняются воздухом: чем более этот воздух стремится выйти, тем плотнее запирает он клапан. Наконец он облегчает удельный вес растения и выносит его на поверхность воды. Только тогда распускаются прелестные маленькие желтые цветки... Но вот оплодотворение закончено, развивается плод, и роли меняются; окружающая вода давит на клапаны мешочка, вдавливая их, проникает в полость, оттягивает растение и заставляет его вновь спуститься на дно.

Не любопытно ли видеть собранным в этом маленьком, с незапамятных времен существующем аппарате некоторые из самых плодотворных и недавних человеческих открытий: механизма клапанов, давления жидкости и воздуха и закона Архимеда, изученного и использованного?.. Инженер, который первый привязал к потонувшему судну подъемный аппарат, не подозревал, что аналогичный прием практикуется уже в течение тысячелетий... пришедшие последними на эту землю, мы только находим то, что всегда существовало; мы, подобно удивленным детям, повторяем путь, который жизнь прошла уже до нас».

\* \* \*

Как размножается папоротник? Дети до шестнадцати лет не допускаются.

Да господи! С пятого класса каждый знает, что папоротник никогда не цветет, а размножается спорами. Поэтому и легенда родилась в народе, будто он все-таки цветет в ночь на Ивана Купала, то есть с шестого на седьмое июля по новому стилю. И надо идти в полночь в глухой лес и смотреть на папоротник. И когда он зацветет огнем, то схватить, и это будет разрыв-трава.

Но это все сказки — добавит школьник, потому что

папоротник размножается спорами. На обратной стороне листа вырастают ржавые бугорки. Если положить папоротник на бумагу этой стороной, то через некоторое время на бумаге останется коричневая пыль. Даже и не разглядишь, что это пыль, просто лист пойдет бурыми пятнами, сделается как бы грязным. Это и есть споры. Пятьдесят миллионов спор от одного экземпляра папоротника. Теперь представьте себе большой хвойный лес с ореховым подлеском, заросший внизу широколиственными и как бы экзотическими папоротниками, и постарайтесь прикинуть то количество нулей, которое потребуется, чтобы выразить арифметическим числом общее количество спор, просыпаемых ежегодно на землю. А ведь должно еще остаться место для семян кислицы, для клубней любки, для пуха одуванчиков, для крыльчаток вяза и клена, для косточек черемух, для шишек сосен и елей, для всех деревьев и трав, мхов и грибов (тоже споры), число видов которых тоже выражается при помощи многих нулей.

Что ж тут удивительного, скажет иной человек, что пятьдесят миллионов спор. Природа щедра. Икринки в утробе налима, щуки и осетровой самки тоже исчисляются миллионами. Природа хочет гарантировать продление и существование вида. Тогда интересно задуматься, сколько от одной любой пары живых существ, извергающих в океан биосферы миллионы и миллиарды своих зародышей, должно в конце концов произойти и остаться на земле в конце концов этого своеобразного потомства?

Здравый смысл подсказывает, что от слонов и осетров, от горьких лопухов и медведей, от воробьев и муравьев, от саранчи и мышей не должно в конечном счете происходить больше двух штук, и ни на одну сотую долю больше.

Два от двух — это допустимый природный максимум. Если будет два с четвертью (мышонка, котенка, василька, ромашки, крапивы, лягушки, карася или комара), то этот вид, как нетрудно догадаться, через некоторое время завалит и задавит своей биологической массой все пространство, отведенное для жизни на земле.

Итак, сколько бы ни было миллионов икринок, спор, семян — все погибнет, чтобы оставить после себя два, максимум два экземпляра живых существ.

Но мы отвлеклись. Мы решили взглянуть, как размножается папоротник, и предупредили при этом, что дети до шестнадцати лет не допускаются. Между тем как раз дети нам и говорят: подумаешь — папоротник! Всякому школь-

нику известно, что папоротник размножается спорами. Коричневые бугорки на обратной стороне листа... картина ясна.

Ясна-то ясна. Но оказывается, из спор новые папоротники не вырастают. Сначала происходят события, которые куда как чудеснее, если бы папоротник вдруг и правда зацвел огнем. Не буду внушать вам, что все это я открыл сам в результате многолетних наблюдений при помощи современных микроскопов. Тогда я был бы не «литератор скромный», а ботаник и доктор биологических наук, никак уж не меньше.

Нет, все проще. Все идет от не утраченной еще до конца способности удивляться. Это и чудно, и чудесно. Общие процессы нашего времени касаются и меня. И только некий здоровый консерватизм — врожденный или благоприобретенный, я не знаю — удерживает еще меня на плаву (или, скажем, на отвесе горы), когда все катится мимо: и камни, и комья, и дорогие товарищи мои, а я ухватился за крепкий обнаженный корень сосны, и повис, и остановился, и в глазах у меня вместо катастрофического мелькания неподвижный микропейзаж: ствол сосенки, каменная щель, из которой этот ствол растет, пятно зеленого мха на камне и белое меловое пятнышко от высохшей птичьей капли.

Кто-то из русских писателей в начале века сказал (приблизительно): «Произошло два события одинаковой важности: люди научились летать и люди разучились удивляться этому».

В Писательском (!) клубе в фойе смотрели в телевизоре, как впервые люди ходят по Луне. По другой программе должен был начаться хоккей. То и дело слышались голоса: хватит! Давай переключай! Подумаешь, ходят!..

Без удивления и я сажусь в самолет, беру в рот леденец, откидываю кресло. Иногда только спохватишься: мать честная! Иногда только на пролетающий самолет посмотришь глазами моих деревенских пращуров ну хоть четырнадцатого, пятнадцатого веков (наше село упоминается уже в двенадцатом): зашумело, загрохотало, все высыпали из домов, бегут к церкви, не поймут, в чем дело. Вдруг из-за леса вылетает чудовище: крылья — не крылья, морда — не морда, ноги — не ноги. Пресвятая мать-богородица! Конец света... Может быть, кто-нибудь тут же и умер бы от внезапной тоски.

Советский писатель свидетельствует, как ругалась старушка во Владивостокском аэропорту. «Билет на



ТУ-134 брали, а нам ТУ-104 подсунули. Теперь лети на такой рухляди. Не полечу!» Вот тебе и все удивление.

Не знаю от чего больше зависит горестная утрата способности удивляться — от роста культуры, от глубины знаний, от цивилизованности или от какого-то всеобщего оупения чувств, от обжорства этим самым техническим прогрессом.

Нет, я тоже перестал удивляться лунному грунту, зондированию Венеры, чудовищным скоростям на земле. Но парашютику, одуванчика я — представьте себе — все еще удивляюсь. Я и книгу-то эту пишу, может быть, только для того, чтобы вы оторвали на минуту свой утомленный взгляд (а он у вас утомленный) от непрерывного, бесконечного мелькания (телевизор, кино, автомобили, поезда, самолеты, прохожие, огни реклам, лифты, руки продавщиц, двери троллейбусов, эскалаторы, телефонные диски, весь мелькающий мир, когда вы мчитесь сквозь него со скоростью автомобиля, поезда, самолета) и остановили бы его, свой утомленный взгляд, на огромной неподвижной капле влаги, скопившейся в сборчатом и ворсистом листе манжетки. Или на парашютике одуванчика тоже неплохо остановить свой взгляд.

Вы подняли пушистый цветок над головой (кто же это сказал красиво и точно: «Одуванчик из солнца уже превратился в луну...»?) и дунули на него. Пушинки бойко и дружно взмывают вверх, потом, относимые ветерком, начинают наискось падать, опускаться на землю. И пока вы следите за ними, пока они летят, сначала беленькие и четкие на фоне синего неба, а потом переплывают на фон зеленой травы, что-то успеет дрогнуть, оттаять в вас. Проклюнется из мертвого холода слабый, первый, но симптоматический толчок душевного пульса, и вы поймете, что душа в вас жива, но только она заморожена, анестезирована...

Ну, так как же размножается папоротник, если из спор новые папоротники не вырастают? И при чем тут дети до шестнадцати лет? И зачем же тогда существуют споры?

Споры созревают и высыпаются на влажную землю. В лесу она всегда влажная, а если нет, то пойдет дождь — и она станет влажной. Это важно, потому что для всякого прорастания нужны два условия: тепло и влага.

— Значит, споры все-таки прорастут?

— Да, они прорастут, но не для того, чтобы из них вырастали сразу новые, пусть и крохотные папоротнички. Из споры вырастает всего лишь зеленая пластиночка вели-

чиной с ноготь мизинца и даже еще поменьше. Она похожа на сердечко и называется у ботаников заростком. Если ходить в лес, в те места, где растут папоротники, и поискать там в середине лета (в общем-то действительно в день Ивана Купалы), то можно эти зеленые бляшки найти и разглядеть. Но в первый год вы увидите не сами заростки, а розеточки новых молодых папоротников, уже начавших развиваться, так сказать, на базе заростков.

Перевернув розеточку, увидишь и заросток, но уже сморщенный, потемневший, отработанный и непухлый. Наглядитесь на него хорошенько, запомните его, чтобы на будущий год легче было обнаружить где-нибудь у корней трухлявого пня, а то и на самом пне.

— Значит, из споры вырастает заросток, а из заростка папоротник? Что же тут особенного? Бесполое размножение...

— Далеко не так. От руки человека, от спины человека не отпочкуется новый человек. Он может вырасти только из половой женской клетки, и притом оплодотворенной.

— Но у него нет цветка, нет мужских тычинок и женского пестика, нет пчелы, которая перенесла бы пыльцу...

— Но у него есть заросток. Зеленая бляшка, величиной с ноготок мизинца и похожая на сердечко. Так вот на этой зеленой бляшке вырастают рядом два органа, один женский, другой мужской... Между прочим, над лесом пролетает самолет, чудо техники двадцатого века, не хочется ли вам задрать голову и поглядеть, как он там летит в облаках? Смотрите, как интересно: два крыла, окна, хвост... Не хочется? Интереснее поглядеть на бляшку? Тогда смотрите... Женский половой орган (выписываю): «...по своей форме несколько напоминает бутылочку, в расширенной, утолщенной части которой располагается женская половая клетка — яйцеклетка, шейка же занята канальцевыми клетками, которые при созревании осклизняются».

Мужской половой орган «...округлой формы, полый внутри, он имеет оболочку, которая при созревании сперматозоидов раскрывается, позволяя им выйти наружу».

Дальнейшее, очевидно, не трудно угадать. Если есть женский орган, похожий на бутылочку со специально осклизлым горлышком и таящий внутри себя яйцеклетку, и есть мужской орган, округлый и наполненный сперматозоидами, то им осталось соединиться, и тогда...

Но как им соединиться, если они оба на одной плоской бляшке? Соединиться им никак не дано. Чем не шекспиров-

ский трагизм? И близко, и созрели, и предназначены друг для друга, но разделены неподвижностью, практической недосыгаемостью, обречены на танталовы муки.

Между тем в верхушках деревьев начинается робкое вначале шуршание дождя. Теплый июльский дождик с набежавшей тучки прошел охлаждающей полосой по зеленому лугу, по желтоватому полю и задел стеклянно-туманной кисеей, волочащейся по земле вслед за тучей, старый сосновый лес. На иголочках повисли светлые крупные капли. Перекапывая все ниже, сливаясь из трех в одну и отяжеляясь, они достигают нижних древесных ветвей, а потом и травы, а потом и земли. И вот одна прохладная капля упала случайно и накрыла собой всю зеленую пластиночку, похожую на сердечко.

Сразу же уточним, что это могла быть не капля дождя, а капля росы. Даже еще лучше. Еще спокойнее, без ненужного удара и расплеска, она охватила бы собой зеленую площадочку, накрыв ее подобно тому, как капля купола небес накрывает землю.

Я не случайно употребил это, в общем-то банальное, сравнение, потому что для сперматозоидов, дождавшихся своего часа и извергнутого мужским половым органом в эту прохладную каплю воды, она, правда, по обширности, округлости и прозрачности должна напоминать свод небес, если бы, конечно, они могли воспринять ее во всем трепетном, дрожащем, просвеченном блеске. Ну или, по крайней мере, для них это Черное море, океан, в который выплывают они дружной, многочисленной стаей. Они, оказывается, снабжены жгутиками, похожими на штопор, и обладают способностью передвигаться в воде.

Им некогда любоваться тем океаном, в который они попали, некогда наслаждаться неожиданной свободой, у них есть главная и неотложная задача — найти осклизлое горлышко женской бутылочки, незамедлительно проникнуть в нее, а там найти яйцеклетку, с которой соединиться и слиться. И тогда произойдет еще одно чудо — чудо оплодотворения («химизм которого нам неясен»), а потом уж и вырастает новый папоротник.

Сеанс окончен, зажигайте свет, пусть вбегают все дети. Мы видим теперь только старый пенек, на который падает косою луч летнего последождяевого солнца, капли недавнего дождя, который ушел дальше и не знает, наверно, что натворил невзначай, и широкие резные листья папоротников, растения, немного отличающегося от всех других трав,

но все же вполне привычного нашему глазу и не удивляющего нас, когда мы его видим, отправляясь в лес по грибы или по орехи.

Но все же, пока дети еще не вбежали, хочется задать самому себе один вопрос, на который пока никто не ответил. Если бы я был ботаником, и поскольку уже есть электрические приборы, улавливающие и записывающие импульсы растений, в частности, боль, то я употребил бы все усилия, чтобы на этот вопрос получить ответ. Есть ли у растений оргазм и в какой момент он возникает? Когда цветок принимает пчелу? Когда пыльца расстается с тычинкой? Когда пыльца попадает на пестик? Когда она прорастает сквозь пестик? Когда он сливается с яйцеклеткой? Когда лопается мужской орган, выбрасывая сперматозоиды? Когда сперматозоиды находят горлышко женского органа? Когда проникают в него? Но что до этого листьям взрослого папоротника?

Между тем где-то должна существовать та манящая, призывная стадия, которая вложена природой как надежный саморегулятор во всякий организм, дабы он, несмотря ни на какие препятствия, стремился породить подобный себе организм. Может быть, это самое гениальное изобретение природы, после которого она может позволить себе иногда вздремнуть на диване или в глубоком кресле: все равно живые творения теперь ничем уж не остановишь, оргазм смонтирован в них и делает свое дело. Нет никаких сомнений, что он присутствует всюду, где есть то, что мы называем половым размножением, включая и папоротник, и подсолпух, и василек, поскольку, как мы знаем, в течении этого процесса у них, у рыбы, у бегемота и у гомо сапиенс, нет никакой принципиальной разницы.

\* \* \*

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

### М. Метерлик

«Тычинки, спокойные и покорные, ждут в желтом венчике (речь идет о процессе оплодотворения у руты); размещенные кругом вокруг толстого и коренастого пестика. В брачный час, повинаясь приказу супруги, которая явно делает что-то вроде призыва, один из самцов приближается и касается стигмата, потом то же делает третий,

пятым, седьмой, девятый, пока не кончится весь печетный ряд. Затем очередь четного ряда: второго, четвертого, шестого и т. д. Это прямо любовь по приказу. Этот цветок, умеющий считать, казался мне столь необычным, что я сперва не мог поверить ботаникам и старался не раз проверить его чувство чисел. Я установил, что он ошибается очень редко».

«...Наш механический гений существует со вчерашнего дня, в то время как механика цветов функционирует уже тысячелетия. Когда цветок появился на нашей земле, вокруг него не существовало никакой модели, которой он мог бы подражать. В ту пору, когда еще мы знали только мотыгу, лук, в недавние времена, когда мы изобрели колесо, блок, таран, в то время, — так сказать, уже последний год, — когда нашими шедеврами были катапульти, часы и ткацкое искусство, шалфей уже изобрел вращающиеся перекладкины и противовес своих точных весов. Кто еще менее ста лет тому назад мог подозревать о свойствах архимедова винта, употребляемого кленом и липой со дня рождения деревьев? Когда удастся нам построить столь же легкий, точный, нежный и верный парашют, как у одуванчика? Когда откроем мы секрет вставлять в столь хрупкую ткань, как шелк лепестков, такую могущественную пружину, как та, которая бросает в пространство золотистую пыльцу дрока? А момордика, или «дамский пистолет», кто разъяснит нам тайну ее чудесной силы?.. Ее мясистый плод, похожий на маленький огурчик, обладает замечательной живучестью, необъяснимой энергией. Как бы слабо ни прикоснуться к нему в момент его зрелости, он внезапно ковульсивным сокращением отрывается от своей плодоножки и выбрасывает в отверстие, образованное разрывом, слизистую струю, смешанную с зернами, со столь удивительной силой, что она отбрасывает семена на четыре, пять метров от родимого растения. Это действие столь же необычно, как если бы нам удалось, сохраняя те же пропорции, выбросить одним спазматическим движением все наши органы, внутренности и кровь на полкилометра от нашей кожи или нашего скелета...»

«Пусть говорят по поводу орхидеи, как по поводу пчелы, что это природа, а вовсе не растение или насекомое вычисляет, комбинирует, украшает, выдумывает и рассуждает, — какой интерес может иметь эта разница для нас?

Важно уловить характер, качество, обычаи и, быть может, цель общего разума, из которого вытекают все разумные акты, совершающиеся на этой земле».

«Природа, когда хочет быть прекрасной, нравиться, давать радость и казаться счастливой, делает почти то же, что делали бы мы, если бы располагали ее сокровищами. Я знаю, что, говоря так, я говорю отчасти как тот же епископ, который поражался, что провидение заставляло проходить большие реки около больших городов».

«Не будет, думается мне, слишком смелым утверждать, что нет существ более или менее разумных, но есть общий, рассеянный разум — нечто вроде всемирного тока, — проникающий различно, в зависимости от того, хорошие ли они или плохие проводники разума — встречающиеся ему организмы. Человек является до сих пор на земле тем видом жизни, который оказывает наименьшее сопротивление этому току, но ток этот не обладает другой природой, не исходит из другого источника, чем тот, что проходит в камне, в земле, в цветке или в животном... Но это тайны, вопрошать которые — довольно праздно; потому что мы пока еще не располагаем органом, который мог бы воспринять ответ».

\* \* \*

Если правда, что существует спор между прозой и поэзией, то вот точка, о которую ломаются копыя. Причем вот странный случай, когда при всей очевидности прозаической правоты легкомысленная поэзия остается победительницей.

Давно втолковвали людям, что это растение вредоносный и злой сорняк, а люди, когда спросишь о любом цветке, продолжают твердить по-прежнему: василек. Просветительский агрономический разум вскипает в бессильной ярости перед чудовищной обывательской тупостью, а тупой обыватель (обывательница) очарованно смотрит на синий-синий цветок и срывает его, не только не испытывая никакой враждебности и ненависти, но радуясь и любя. И ничего уж тут с этим не поделаешь. Такова власть красоты.

Сорняк, да красив! Да полно, сорняк ли? Такой ли уж сорняк? И что такое сорняк?

«Хищник — это животное, поедающее другое животное, которое вы хотели бы съесть сами» (У. О. Нагель).

«Дело в том, что нет ни растения, ни животного, а есть один нераздельный и органический мир» (Тимирязев).

Может быть, мы не разгадаем многих тайн, пока будем считать, что рожь и василек — два нераздельных растения, а не один биологический организм.

Эта мысль не моя, хотя я и не взял ее в кавычки. Я ее вычитал в ученой статье, но по непростительной оплошности почему-то не записал и теперь воспроизвел приблизительно, по памяти, но за смысл, разумеется, ручаюсь.

Есть еще о сорняках у замечательного белорусского писателя Янки Брыля.

«— Скажи ты, браток, что это делается? И семя дали сортовое, и химвпрополка у нас, а осота — сплошь полно. Так и прет, так и прет!..

— А что ты хочешь? Тогда, при единоличестве, как ты на посев выезжал? Баба тебе и фартук помоем беленько, и перекрестишься ты, и, став на колени на пашне, наберешь того жита... ну просто праздник у тебя! А теперь? Только мать да перемать один перед одним... Вот сорняк и лезет!»

В сказанном — народный толк — мало любви к земле (Янка Брыль. Горсть солнечных лучей. «Советский писатель», 1968, с. 62. Перевод с белорусского Дм. Ковалева).

Согласимся, что и действительно только от нерадивости земледельца сорняки на его ниве могут заполнить поле и победить злаки. Только по своей нерадивости земледелец создает (вернее, допускает) равные условия для сорняков и для злаков (демократия, что ли?), но истинный, хороший земледелец делать этого никогда бы не стал. Он знает, что при одинаковых условиях сорняки победят. Так что когда увидите где-нибудь близ дороги поле, сплошь заросшее ромашкой, осотом или теми же васильками (а такие поля вы увидите всюду), то не сваливайте вину на ромашки и на васильки, а смело обвиняйте хозяев данного поля.

Но, кроме того, если признать философию белорусского крестьянина, разговор которого подслушал чуткий писатель, а именно что похабные, мерзкие, матерные слова оборачиваются на поле сорняками, то неужели можно

представить себе, будто грубое, грязное слово может превратиться в изящный и чистый василек? Никаким образом, никогда!

В колючий жабрей — возможно, в осот полевой — допустим, но в чистый и ясный василек? Нет, в этот цветок явно вложена какая-то иная идея.

Если бы он был злостным сорняком, то крестьяне (русские, немецкие, всякие) давно бы, задолго до появления начитанных агрономов, возненавидели его и эту свою неприязнь сумели бы передать детям, воспитать в поколениях крестьянских детей, как это произошло, скажем, с мышью, со зверьком вообще-то милым и симпатичным, если бы не воспитание, перешедшее в плоть и в кровь.

Полевка-малютка, выющая себе гнездо на стебле ржи, — казалось бы, трогательная картина. Чем этот, с наперсток величиной, зверек не милее, не симпатичнее такой же крохотной лесной птички? Однако при слове «птичка» мы слышим в себе доброжелательную симпатию и умиление, а при слове «мышонок» — отвращение, брезгливость и немедленную готовность убить, пресечь.

Василек же мы любим и любуемся им едва ли не больше, чем самим колосом ржи. Поэзия победила пользу? Но дело в том, что поэзия тут только тогда и возникает, когда васильки расцветают во ржи. Я видел васильки, растущие на городских клумбах и на газонах. В них не только не было никакого очарования, на них было почему-то неприятно смотреть. Они выглядели выцветшими, хилыми, производили даже неряшливое впечатление, тщетно было бы искать в них той полной, сочной и как бы прохладной синевы, какая свойственна им, когда они цветут на своем месте — во ржи.

Между прочим, именно василек может научить нас, что в произведении искусства все изобразительные средства должны гармонировать и небрежение хотя бы одним из них резко ослабляет художественную силу произведения.

Берем другой цветок, который по схеме, по чертежу почти не отличается от нашего василька. Он так и называется «василек», но с добавлением словечек «перистый и фригийский» и тяготеющий не к хлебным полям, а к лугам и кустарникам.

Да, чертеж тот же самый, не соблюдены только два условия: размер и цвет. Фригийский василек крупнее, и лепестки у него лилово-пурпурные и темно-красные. И вот уж средний читатель начнет сейчас думать, о каком



таком цветке идет речь. Вероятно, вспомнит. Но разве нужны такие же усилия, чтобы вообразить василек обыкновенного василькового цвета?

Говорилось о неприязни, которая должна была бы, казалось, существовать у крестьян к васильку как к траве бесполезной и сорной. Но мало того что не было никогда такой неприязни, василек с древних времен участвовал во многих красивых обрядах и празднествах.

Во Владимирской губернии в некоторых местах был обычай, называемый «водить колос». То ли обычай, то ли хороводная игра, то ли поэма, но выраженная не в словах, а во внешнем действии.

Около троицына дня, когда начинает колоситься рожь, выходили на околицу девушки, парни, молодые женщины, подростки. Молодые люди становились все лицом друг к другу и брались за руки крест-накрест, как берутся, когда хотят образовать сиденье «стул», чтобы нести человека, например подвихнувшего ногу.

По соединенным таким способом рукам пускали идти маленькую девочку в васильковом венке. Задние пары, по рукам которых девочка уже прошла, перебегали вперед. Так девочка, не касаясь земли, доходила до ближнего поля. Впрочем, оно колосилось всегда где-нибудь поблизости от крайних деревенских домов. Тогда девочка прыгивала на землю, срывала несколько колосков, бежала с ними в село и бросала их возле церкви. Шествие к ржаному полю сопровождалось песней.

Зажиточный сноп, который ставили иногда в переднем углу, тоже украшали васильками или васильковым венком.

Если же вы будете настаивать, что все-таки василек не больше чем вредитель, то тем удивительнее скажу я, что он сумел, несмотря на свою вредоносность, внушить нам, людям, расположение к себе и даже любовь.

Относительную пользу тоже нельзя сбрасывать со счетов. Василек — прекрасное средство для укрепления глаз. У Монтеверде читаем, что васильковые «цветы дают пчелам обильный взятки меда даже в самую сухую погоду».

Вспоминаю, как Иван Александрович Крысов — пчеловод из-под Вятки — удружил мне ведро василькового меда, цвета зеленоватого янтаря. Бывает такой янтарь, похожий на виноград.

Грешно говорить про хлеб, но я бы то драгоценное ведро зеленоватой тягучей жидкости не променял ни тогда, ни

теперь задним числом, а вероятно, даже и в голодовку, на ведро уважаемой мной сыпучей ржи или муки из нее.

Но дело вовсе не в этой относительной пользе василька. Я подозревал, что она существует, и действительно набрел в специальной литературе на сведения о васильке и о его роли на хлебной ниве, подтверждающие безошибочность крестьянской интуиции, благодаря которой они и относились к васильку во все века с несомненной симпатией, вопреки поверхностной очевидности.

Наука — вещь многослойная. Копнут снаружи, ухватятся за первое звено цепочки закономерностей и думают, что ухватились за истину. Но цепочка повела в глубину, во тьму, и уже третье звено ее опровергает скоропалительные заключения и все выворачивает наизнанку.

Но прежде чем говорить о полезности василька, придется сказать сначала несколько слов о почве.

Почва — это то, что все люди зовут обыкновенной землей, в самом прямом смысле слова. Но когда требуются более строгие формулировки, то приходится тем же людям искать уточняющие слова вроде: «Поверхностный горизонт земной коры, измененный совокупной деятельностью агентов выветривания при одновременном накоплении органических веществ... Самостоятельное естественноисторическое тело — продукт окружающей природы, живущий и закономерно изменяющийся под влиянием внешних условий... среда, служащая для питания растений» (Брокгауз и Ефрон).

А также: «Поверхностный слой земной коры, несущий на себе растительный покров суши земного шара и обладающий плодородием. Образование почвы и развитие растительного покрова неразрывно связаны между собой» (БСЭ).

Специалисты — биологи — смотрят на почву еще и своим особенным взглядом. Они считают, что почва — это живой организм, обладающий специфическими условиями жизнедеятельности и развивающийся по собственным законам.

Хорошая, здоровая почва содержит, оказывается, на одном гектаре до 800 килограммов червей (до 15 миллионов штук), а также около 4000 килограммов бактерий актиномицетов и простейших. Все эти тысячи килограммов бактерий (не будем переводить их на штуки) занимаются тем, что превращают минеральные соединения из нерастворимого состояния в растворимое, усваиваемое растениями.

Известно, что всю существующую почву несколько раз уже пропустили через себя дождевые черви. А если бы не пропустили, она не была бы такой, как сейчас, а возможно, и вообще не была бы почвой. Дождевые черви — главная фабрика гумуса в почве, без которого почва погибает и становится бесплодной землей. Подземные труженики — дождевые черви — дают почве удобрений не меньше, чем все пасущиеся на земле коровы. Но у них есть и еще одна задача: проникая глубоко в землю, они выносят оттуда в пахотный слой нужные минеральные вещества. Известны случаи, когда почва, в которой не было дождевых червей, оказалась бедной кальцием, в то время как под ней, на доступной червям глубине, лежал известняк.

Итак, почва — это биологический организм, от здоровья которого зависит его жизнедеятельность, а в первую очередь произрастание всевозможных растений. Теперь возьмем несложный пример. Допустим, мы заинтересованы, чтобы в лесу водилось побольше рябчиков, жизнь которых связана с хвойными деревьями. Замечаем, что хвойные деревья хиреют, их становится меньше, а вместе с тем редеют и рябчики. У нас два пути. Один путь — подкармливание рябчиков искусственно, химическими питательными таблетками, скажем, рассыпая их по лесу с самолета. Второй путь — ухаживать за хвойными деревьями, умножать их, улучшать их, всячески заботиться о них и тем самым способствовать многочисленности рябчиков.

Возьмем еще одно дополнительное условие: допустим, что от химических таблеток, рассыпаемых для рябчиков, хвойные деревья погибают и вымирают. Спрашивается — какой выбрать путь, если мы хотим, чтобы были рябчики. И не только для нас, но и для наших внуков. Всякий здравомыслящий человек скажет, надежным путем надо считать второй путь — путь ухода за хвойными деревьями.

Точно так же и в сельском хозяйстве надо работать совместно с природой, а не против нее. Переносить закономерности фабричного производства целиком на сельское хозяйство нельзя. Главной рабочей силой здесь являются солнце и микрофлора почвы. Поэтому главное состоит в том, чтобы создать наилучшие условия для их деятельности. Не подкормка растений, а питание почвы. Подкормка — это допинг, при котором, как известно, достигаются временные, даже и неожиданные результаты, но весь организм в целом работает на истощение, на износ.

Между тем разумное, цивилизованное человечество идет по заведомо ложному пути. По принципиально ложному пути. Только и слышно на земном шаре: подкормка растений, минеральные удобрения, гранулированные удобрения, суперфосфаты, химическая прополка.

Нетрудно догадаться, что вся эта химия убивает в почве все живое — и бактерии, и червей, то есть, по существу говоря, убивает почву. Кроме того, она ухудшает коллоидные свойства почвы, ее структуру. Кроме того, она, вся эта химия, используется крайне неэффективно, незначительно, потому что тотчас уходит в нижние слои почвы и переходит в нерастворимое состояние. Например, фосфор, вносимый в почву, используется на два процента.

Хороший гумус связывает большое количество воды и постепенно отдает эту воду растениям. В минерализованной же почве вода не задерживается. А не надо забывать, что на каждый килограмм зерна для его созревания требуется пятьсот литров воды.

Убитая почва начинает подвергаться эрозии. Говорят, что в США не меньше одной трети всей почвы затронута этим губительным процессом. Говорят, что минеральные удобрения делают богатыми отцов и бедными детей. Говорят, что если европейские страны и Америка будут и дальше опираться в сельском хозяйстве на минеральные удобрения, то в конце концов они превратятся в новую пустыню Сахару.

Животные поедают растения. Продукты выделения животного мира должны возвращаться растениям через почву, однако переработанные ее очень сложной и многообразной жизнедеятельностью; простой метод — вали в землю как можно больше навоза — тоже не соответствует уже уровню нашей цивилизации. Навоз хорош для растений только в переработанном почвой виде. И вот тут-то человек может почве помочь, компостируя и ферментируя органические отходы пужным образом. Это — будущее сельского хозяйства, если мы хотим еще пожить на земном шаре. При уходе за почвой мы сталкиваемся с замечательным явлением, ради которого пришлось сделать столь далекое и скучное (но, надеюсь, не бесполезное) отступление. Замечено, что в содержимое компостов полезно добавлять настои некоторых трав: валерианы, одуванчика, крапивы, ромашки, тысячелистника. Замечено, что экстракты некоторых растений даже в очень больших разведениях оказывают влияние на жизнедеятельность бакте

рий, находящихся в почве. И, наконец, замечено, что таким действием обладают не только экстракты, но и выделения в почву из корней живых растений.

Опыт показал, что если к ста семенам пшеницы добавить двадцать семян сорняка-ромашки, то произойдет угнетение пшеницы. Если же добавить к ста семенам только одно семечко, то пшеница вырастет лучше, чем если бы она выросла совсем без этого сорняка. Такие же результаты получаются, если взять вместо пшеницы рожь, а вместо ромашки васильки!

А что значит на сто стеблей ржи один василек, на сто золотых колосьев одна синяя яркая головка? Я не подсчитывал специально, но неужели на одном квадратном метре умещается всего сто стеблей? Не двести, не триста ли? То есть именно та картина, которая обычно радует глаз. Больше — впечатление засоренности, неряшливости поля. Меньше или когда совсем нет — чего-то как будто не хватает.

О симбиозе, о взаимопользовности сожительства разных видов растений и животных написано много книг. Сожительствовают грибы и деревья, грибки и водоросли, гидры и водоросли, мы помним классически школьные симбиозы рака-отшельника и актинии, крокодила и птички, пасущейся в его раскрытой пасти...

Симбиоз василька и ржи не так заметен. Но разве ничего не значит, что трудно подобрать другой земной цветок, который так же удачно сочетался бы с золотом ржи, как это делает василек?

Земледельцу же остается заботиться только о соотношении ржи и василька на поле, а это как будто в человеческих силах.

\* \* \*

Тишина — вот самый большой дефицит на земном шаре. Постоянное рычание и тарактенье разнообразных моторов, движков, компрессоров, автомобилей, тракторов, мотоциклов (один мотоциклист, проезжая по ночному городу, заставляет вздрогнуть и проснуться примерно двадцать тысяч человек), поездов, самолетов, лифтов, отбойных молотков и других механизмов, от шума которых современный человек не спасается даже в своем жилище, и даже ночью оглушают планету и делают ее, строго говоря, мало

пригодной для жизни. Только величайшая невзыскательность и приспособляемость человека к обстановке, к среде, к условиям существования позволяют еще ему кое-как отправлять его не только биологические, но и общественные функции. Но это стоит нервов, нервов и нервов. И сердца. И психики. Поэтому наряду с тишиной становится дефицитной на земном шаре и валерьянка.

Прибавьте к этому современные скорости, современную вибрацию, современное мелькание мира перед глазами, прибавьте смертельно-ядовитые нервные газы, которые ежедневно в больших количествах вдыхает каждый городской житель (а теперь большинство людей живет в городах), прибавьте к этому вечную спешку, вечное ощущение «некогда», «не успеваю», то есть ощущение острого цейтнота, из которого шахматист выходит через час, хотя и проиграв партию, а современный человек выходит только вместе со смертью (преждевременной из-за того же цейтнота и вышеперечисленных обстоятельств), прибавьте к этому ежедневное добровольное облучение вредными лучами перед экраном телевизора, прибавьте к этому вечную нехватку денег, прибавьте к этому переизбыток всевозможной информации, злоупотребление антибиотиками, снотворными средствами, никотином, кофе и алкоголем. Прибавьте к этому всеобщее и постоянное стояние в очередях, прибавьте к этому скученность, обусловленную городами, и вы поймете, почему в аптеке трудно купить натуральный валериановый корень.

В каплях и таблетках валериана, слава богу, бывает, да и как бы можно было жить без нее, учитывая все те условия, которые я перечислил. И хорошо также, что она бывает в настойках, а не в экстрактах, ибо чистое лекарственное вещество, извлеченное из растения, оказывается еще не все, и два течения в фармацевтике, парацельсовое и галеновое, до сих пор не решили спора. Парацельс считал, что достаточно извлечь из растения основной препарат и давать его в виде порошка или таблеток. Сторонники Галена считают, что нужно применять настойки и вытяжки, в которых присутствует все, что есть в растении.

«Ценность этих препаратов заключается в том, что наряду с известными или еще неизвестными нам действующими веществами из лекарственного растения извлекаются другие полезные вещества, роль которых в организме нам

еще не совсем ясна: присутствие их благотворно влияет на физиологическую активность основных действующих веществ» (М. В. С а л о. Медицина и растение. М., «Наука», 1968).

То есть, видимо, полезнее выпить стакан валерианового чая, нежели съесть таблетку, содержащую экстрагированное лекарственное вещество. Но где же взять валериановый корень?

В ВИЛАРе (Всесоюзный институт лекарственных растений) научный работник мне сказал: «С валерианой вопрос решен. Мы ее будем выращивать, как капусту».

Это и хорошо. Но я тотчас вспомнил изыскания Борахвостова, который раскопал где-то, что корень женьшеня, выросший в тайге, стоит пять тысяч рублей килограмм, а корень, выросший на плантации, всего лишь восемь рублей. Чем-нибудь обусловлена такая разница?!

Вероятно, семечко в естественных условиях прорастает только там, где находит необходимым условия для будущего растения, где есть в почве тот самый сложный комплекс веществ, который нужен, чтобы женьшень стал женьшенем, а валериана стала валерианой. Японские ученые предполагают, например, что настоящий, таежный женьшень выбирает места с повышенной радиоактивностью почвы.

Недаром всякое растение на земле знает свое место. Одно любит глину, другое растет на жирном черноземе, малина обожает древесную труху, ландыш расцветает в еловой тени, кипрей на лесных, открытых солнцу порубках.

Соседство других растений имеет не меньшее значение. Уже был разговор, что ромашка и василек полезны для пшеницы и ржи (в малых дозах), потому что их корни выделяют в почву нечто, что усваивают корни рядом растущих злаков.

Около тридцати лет назад советский ученый Борис Петрович Токин сделал открытие, которое по праву должно было бы называться открытием века. Он открыл фитонциды.

Каждое растение выделяет некие летучие вещества, которые либо благотворно, либо губительно влияют на окружающую растительную среду, в первую очередь на микроорганизмы, витающие в воздухе, но и на соседние растения тоже. В то время как нам для того, чтобы стерилизовать

рану, нужно прибегать к йоду, к марганцовке, к борной кислоте или, по крайней мере, к кипяченой воде, раненый древесный лист сам окружает себя стерильной зоной, излучая фитонциды и убивая в непосредственной близости всех бактерий, какие только тут окажутся. Вареное яйцо, облучаемое фитонцидами хрена, не протухает годами. Гектар можжевельного леса выделяет за сутки тридцать килограммов летучих фитонцидов. Не удивительно поэтому, что одни травы и цветы могут расти в можжевельном лесу, а другие не могут.

Многие любители цветов, вероятно, замечали, что некоторые цветы нельзя соединять в одной вазе. Какой-нибудь один цветок быстро увядает, как бы задушенный, умерщвленный своим невольным соседом. Чтобы убедиться в этом, достаточно поставить в вазу пышноцветущие свежие розы и тюльпан. Увидите, как тюльпан расправится с розой (не напомним ли вам, что тюльпан является подданным шестилепестковой лилии?).

Настоящие огородники знают, что иные огородные культуры хорошо соседствуют на грядках, а иные плохо и что есть так называемые бордюрные растения, которые хорошо разводить вокруг грядки и вдоль огородной тропинки. Глухая крапива, эспарцет, тысячелистник, укроп. ...Но обо всем этом можно прочитать в специальных книгах. Важно то, что соседство растений не безразлично каждому из соседей.

Можно выращивать целебные травы и на плантациях. Но создайте валериане на своей плантации ту же в тончайших тонкостях почву, что и на сыроватой низменной лесной поляне, или в овраге, или в кустах на речном берегу, окружите ее теми же травами и цветами, раскиньте над ней те же ольховые и черемуховые ветви, создайте ей такое же соотношение солнца и тени, такую же влажность в почве и воздухе, поселите неподалеку крапиву и зонтичные, напускайте на нее своевременно прохладный белый туман, что обычно поднимается от реки или стелется по дну оврага, заставьте в росистые ночи петь над ней соловья, соблюдайте еще десятки неведомых нам условий, тогда, может быть, и на плантации вырастет та же самая валериана, что застенчиво розовеет на той волглой лесной поляне, где ей понравилось вырасти и расцвести.

Желая добыть корень подлинной дикой валерианы, я пошел в лес и там в буераке нашел ее, растущую в тени. Вот растение, которому в наш суматошный век, в век истре-



паных нервов, семейных скандалов, внезапных сердечных, изнурительных бессонниц и сдвинутой с места психики, надо бы поставить большой красивый памятник. В то время когда я старательно вынимал валериановый корень из земли и бережно отряхивал его мочку, за спиной послышался легкий кашель. Так покашливают, когда хотят обратить на себя внимание. Я обернулся и увидел незнакомого старичка с грибной корзиной в руке. Старичок глядел на корень в моих руках, на изломанное и брошенное теперь за ненадобностью тело самого растения и качал головой.

— Что-нибудь не так? — спросил я, имея в виду свои действия.

— Не вовремя берешь ты эти корни. Теперь еще утро. А их надо копать, дождавшись сумерек и чтобы на небе был новорожденный месяц.

Старик помолчал и добавил:

— Ущербный месяц тоже ничего, хорошо. А вот полная луна не годится. Нельзя. Сила не та.

— У луны?

— У корня.

— А филин должен ухачь или можно без филина?

Старичок обиделся и даже перешел на «вы».

— Как хотите, ваша полная воля. А растение, оно ничего вам не скажет, хоть утром его бери, хоть вечером, хоть в дождь, хоть в солнце.

Я понял, что старичок поделился со мной из самых хороших чувств и очень дорогим своим секретом, поделился потому, что впервые, может быть, встретил в этих местах второго после себя человека, заинтересовавшегося травой не только как кормовой базой с точки зрения центнера на гектар, но учитывая ее особые индивидуальные свойства.

Почему получается, думал я потом, что, именно соприкасаясь с травами, с цветами, с корнями, человек всего склонен ударяться в разные суеверия. Новорожденный месяц ему понадобился! Сумерки! Хорошо я ему насчет филина-то ввернул. Разве далеко от этих сумерек и новорожденного (ущербного) месяца до поверья, например, что женьшень надо выкапывать только костяной, но ни в коем случае не железной лопаткой и нельзя быть при этом вооруженным?

Тогда я не задумывался еще, что человек склонен считать и считает на самом деле суевериями и мистикой

все, что не может пока уложить в привычные рамки своих микроскопических знаний и представлений. И что «много есть вещей на свете, друг Гораций, которые даже и не снились нашим мудрецам».

Попробуйте проделать следующий несложный опыт. Для того чтобы исключить случайность, проделайте его многократно и выявите тенденцию. Например, восемьдесят случаев из ста можно считать законом.

Возьмите пять порций дистиллированной воды и кипятите ее отдельными порциями по двадцать минут в одной и той же посуде на разном источнике тепла: электричество, газ, уголь, дрова, солома. Потом в каждой из этих вод (остывших, конечно) в строго одинаковых условиях замочите какие-нибудь семена, скажем, пшеницу. Потом эти семена в разных условиях пусть прорастут у вас. Измерив длину листочков, вы убедитесь, что длина у них разная. Самые короткие будут у тех зерен, которые замачивались в воде, нагретой электричеством. Потом пойдут последовательно: газ, уголь, дрова, солома. Остается сделать вывод, что от соломы исходит самая благоприятная для растений теплота.

Если вы затем подвергнете испытанию не топливо, а посуду, то получите следующую цепочку (от худшего к лучшему): алюминий, железо, олово, медь, стекло, эмаль, фарфор, глиняный горшок, золото.

После всего этого утверждение деда насчет ущербной луны покажется грубым реализмом.

В книгах вы увидите, проявив интерес, что древние вавилоняне собирали белену и дурман только ночью; что еще Плиний в своей восемнадцатой книге «О естественной истории» (Натюргешихте) много говорит о влиянии фаз луны на растения, животных и человека.

В конце концов вы набредете на сведения, что при полнолунии в растения всасывается больше воды, чем в другое время. Стволы деревьев в полнолуние более влажны, водянисты, бревна и доски из них получают худшего качества, быстрее гниют и легче поражаются всякими грибочками и древоточцами. В старину лесорубы придерживались обычая рубить лес лишь в новолуние. В тропиках это соблюдают и до сих пор. Например, в Бразилии до сих пор существует обычай ставить на бревнах клеймо с указанием фазы луны, при которой дерево срублено. Плиний тоже упоминает, что дубы валят при убывающей луне.

Да и что удивительного! Если луна заставляет совершать приливы и отливы такой гигантский организм, каковым является наш земной океан, если приливы эти под влиянием луны происходят даже и в твердом веществе земли (в Москве, например, почва под влиянием луны опускается и поднимается почти на полметра), то тем легче повлиять ей, луне, на движение соков в дереве или в малой травке.

Теперь представьте, что вы всего этого не знаете, а дед подходит и говорит: «Не руби дерево в полнолуние, его шашель съест». Разве вы не посмеетесь над его темнотой? Разве вы не увидите в нем суеверного человека, мистика?

Но если не мистика, что тепло от соломки лучше тепла от электричества, что дуб надо валить не в полнолуние, а на ущербе луны, то, может быть, не мистика и то, что валериановый корень надо выкапывать в сумерки, при новорожденном месяце, и даже то, что женьшень надо выкапывать костяной, а не железной лопаточкой. Просто в луне мы уже разобрались, и нам теперь все тут ясно, а в костяной лопаточке пока еще не разобрались. Вдруг и ей, костяной лопаточке, есть какое-нибудь свое неожиданное объяснение, которое будет казаться нам потом до смешного простым.

\* \* \*

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

### Т и м и р я з е в. Жизнь растений

«Наиболее выдающаяся черта в жизни растения заключена в том, что оно растет».

«Убедившись, что в прорастающем семени совершается в существенных чертах такой же процесс дыхания, как и в живом организме, мы вправе сделать еще шаг далее и спросить...»

«Таково известное мангровое дерево, обитающее по побережьям тропических морей, обыкновенно в полосе, заливаемой приливом. Семена этого живородящего растения прорастают в плоде и, еще будучи на материнском растении, образуют длинный, тяжелый и приостренный корень. Достигнув известной стадии развития, они отрываются и, вонзаясь этим корнем в вязкий ил, прямо без всякого перерыва продолжают свое существование».

«Помножим это число на среднюю длину волосков и получим действительно колоссальную цифру — 20 километров, или около двадцати верст. Таков путь, который пробегает в объеме почвы величиной с обыкновенный цветочный горшок корень пшеницы со всеми его волосами».

«Наконец, существуют и такие растения, как, например, лишайники, которые в виде пенек или накипи поселяются на голой поверхности камней, говорят, даже на поверхности полированного стекла, и разрушают эти вещества, добывая из них необходимую минеральную пищу».

«Это дало Брауну повод к остроумной шутке, что растение обладает, по-видимому, более обширными сведениями по физике, чем мы готовы допустить».

«Но как объясним мы причину этого поднятия воды иногда на громадную высоту — 300 футов?»

«Десятина овса испаряет за все лето от 100 000 до 200 000 пудов воды, десятина смешанной луговой травы — около 500 000 пудов».

«Первый вопрос, который должен бы естественно представиться при наблюдении этого явления, но который, вероятно, мало кому приходит в голову, — до такой степени мы привыкли к этому явлению, — это вопрос: почему корень и стебель растут в противоположные стороны, один — в землю, другой — в воздух, один — вниз, другой — вверх?»

«В сердцевине так называемых саговых пальм отлагаются запасы крахмала, которые можно считать пудами; в клубнях картофеля отлагается также крахмал; в корнях свекловицы отлагается в изобилии сахар; в кочанах капусты или в корнях репы — разнообразнейшие питательные вещества; наконец, в мясистых листьях описанной выше агавы отлагаются в течение нескольких лет запасы сахара. Одним словом, нет почти растительного органа, который не мог бы сделаться вместилищем, складом питательных веществ».

Она родня ландышу и потому ядовита. Но мало ли что? Ядовит и ландыш.

Помню, впрочем, как осыпались, отцветая, отжив (отболел?), растопыренные лепестки и оставалась на стебле шишчатая головка, которая темнела потом, и мы вытряхивали из нее на ладонь мелкие черненькие семена, гораздо мельче маковых зерен, и слизывали эти семена языком. Называлась она у нас почему-то лазоревый цвет. Настоящее ее имя — купальница — я узнал из книг. Никто в наших местах ее настоящего имени не знает.

Цветы ярко-золотые, недаром их в некоторых местах называют фонариками. Когда выйдешь на поляну с цветущими купальницами и помотришь на них еще издали, то прямых и высоких стеблей не видно, они сливаются с общей зеленью. Кажется тогда, что купальницы висят в воздухе. И кажется еще, что если бы сделалось темно, то эти цветы все равно было бы видно — настолько ярки.

В лесу, где поляна забежала под тенистый полог дремучей ивы и где образовалось под пологом ветвей нечто похожее на грот, с десятков купальниц-великанов освещали это темноватое даже в летний полдень пространство и вправду как настоящие фонарики. Во всяком случае, когда по моему недосмотру дочка сорвала их все, там стало темно и мрачно.

Нераскрывшиеся бутоны — капустообразные кочанчики величиной с лесной орех — зеленого цвета. Ничто не предвещает как будто солнечной яркости. Но и в распутившихся еще лепестках, когда лесной орех превратится размером своим в средней величины мандарин, и в таких распутившихся лепестках сквозит первоначальная зелень, и эта зеленоватая примесь создает ощущение прохлады и свежести.

Со мной в деревенском доме жили тогда две мои сестры. У одной из них подошел день рождения. По этому случаю я нарвал в лесу солнечный сноп купальниц. Чтобы было всем сестрам по серьгам, для другой сестры я сорвал три веточки ландыша.

Роскошны и праздничны были мои купальницы. Но когда я распределял подарки, то невольно поймал себя на следующем отчетливом ощущении. Мне показалось вдруг,

что одной сестре я вручаю добротную, тяжелую медную сбрую, а другой бриллиантовую брошь или ниточку жемчуга. Ну сбрую не сбрую — чеканные медные украшения, столь любимые современной молодежью.

Купальница на меня не обидится. Она знает, что я ее люблю. Но свое промелькнувшее ощущение я, как писатель, обязан выразить по возможности точно.

\* \* \*

Сначала я познакомился с листьями ландыша. Мой дед постоянно читал толстые книги, вода по строчкам лупой величиной с чайное блюдце. Закладками ему служили засушенные в тех книгах ландышевые листья. Высыхая, они приобретают золотистый оттенок и становятся как бы шелковыми. Я и сейчас думаю, что не может быть лучшей книжной закладки, чем засушенный ландышевый лист.

Взяв меня в лес, сестра прилегла отдохнуть на поляне, что-то там расстелив, а меня послала в ближайшие деревья, чтобы я поискал ландышей. Сколько мне было лет, я не знаю, но, очевидно, что мало, если живого ландыша я до тех пор, оказывается, не видел. Я спросил у сестры, какие бывают ландыши, и она ответила коротко и мудро:

— Самые лучшие. Когда увидишь, не ошибешься. Белые колокольчики.

Вооруженный таким напутствием, я шагнул в древесную тень на поиски «самого лучшего». И хотя мне не полагалось далеко отходить (сестра начинала аукать и звать обратно), все же и на ближайших метрах своих жизнь тотчас поставила меня перед сложным выбором, потому что под сероватым пологом леса то и дело стали попадаться разнообразные белые колокольчики, и все они были (а я их благодаря младенческому росточку видел очень близко и как бы укрупненно) один лучше другого.

Теперь, зная ту лесную поляну и приходя на нее в такой же весенний день, я могу с точностью разобраться во всех соблазнявших меня тогда белых лесных колокольчиках. Вот они все тут как тут.

Почему бы не потянуться мне тогда к нежному колокольчику кислицы, лиловатому от тончайших сиреневых прожилок. Пожалуй, даже скорее розовому, несмотря на то

что прожилки сиреневого цвета. Они настолько тонки, что у них не хватает густоты и силы заявить о своем настоящем цвете, и они создают цветочку кислицы лишь розовый колорит. Достояна удивления чистота и тонкость ювелирной работы, но все же внутреннее чувство подсказывает, что нужно пройти мимо и наклониться над другим белым цветком.

Я разглядываю беленькие же, очень похожие формой на ландышевые колокольчики цветы брусники. Глянцевые листочки, медовый аромат, все, как говорится, при них, но чего-то, однако, не хватает, чтобы срывать и ставить в вазочки и прославляли в стихах.

Или что сказать о грушанке, которую можно было бы считать ложным ландышем, как бывают ложные грибы: ложный опенок, ложная лисичка, ложный шампиньон. Прямостоящая ветка грушанки усажена белыми колокольчиками. И растет грушанка в таких же лесных местах, где ландыш. Но почему-то у нее вместо смело очерченных эллипсоидных листьев невразумительные округлые листья. У ветки нет того классического изгиба, а торчит она прямо. И колокольчиками она усеяна со всех сторон, а не с одной только стороны, по внутренней линии изгиба. И цветы грушанки развернуты, и слишком вылезают из них тычинки, придавая всему цветку оттенок даже неряшливости. И вот в результате того, что в одном месте «слишком», а в другом «чуть-чуть не хватает», весь цветок на конкурсе красоты никогда не достиг бы пьедестала почета.

Кому совсем чуть-чуть «не хватает» до ландыша, так это его ближайшей родственнице — купене. Даже и листья похожи. Но зачем вместо двух выразительно расходящихся от земли зеленых лопастей патыкано на длинную ветку в несколько этажей пять — семь пар тех же самых листьев? Зачем колокольчики так удлинены, нарочито вытянуты, превращены из округлых в некие белые трубочки, собраны в связочки по несколько штук, как ключи на кольце, и так висят?

Да, если в поисках единственно гениального решения художник (конструктор) комкал и бросал эскизы-черновики, которыми был неудовлетворен, то купена — последний черновик, побелив который наконец-то можно было откинуться с облегчением и счастливо закурить, разминая сигарету пальцами, все еще дрожащими от последнего творческого усилия. Черновики кончились — создан ландыш.

— Какой он?

— Самый лучший. Когда увидишь, не ошибешься.

У кого-то из прозаиков записано, как он, никогда не слышавший соловья, решил узнать его сам, по голосу, и как сначала принимал за соловьиные то одну, то другую птичью песенку. Но вдруг все пропало, исчезло, замерло. Огромные золотые обручи покатились по благоговейно онемевшей земле. Запел соловей.

Такое же чувство очевидной исключительности и непохожести ни на что другое испытал и я, когда, не соблазнившись другими цветами, остановился перед волшебной веточкой ландыша, расцветшего в зеленоватой еловой тени.

Выдержав первый экзамен на чувство прекрасного (при подсказке такого цветка, как ландыш, не так уж трудно было выдержать), я вынес из леса на залитую солнцем опушку, пестреющую лиловыми, желтыми, синими, красными цветами, веточку как бы даже не солнечного, а лунного цветка.

Он был как русалка среди играющих румяных деревенских красавиц, как призрак среди пирующих пьяных рыцарей, как бледная невеста в фате среди пышущих здоровьем и весельем подруг. И если было сказано, что роза и лилия царствуют в цветочном царстве, как дневное и ночное светило на земле, то ландыш — самый преданный, самый верный и приближенный рыцарь лилии.

А между тем — вы не поверите! — это вовсе подземное растение, и цветы ему, можно сказать, не нужны. Растение живет и размножается под землей (вегетативно), так что если вы увидите стайку ландышей в лесу, нужно иметь в виду, что вы видите одно-единственное растение, как если бы яблоню с многими цветами и листьями. Обратимся к более точному языку ботаники.

«Каждый знает, как много встречается в лесу ландышевых листьев, или, точнее, нецветущих стеблей с изящными кистями цветков. Если подсчитать, какой процент стеблей ландыша цветет по отношению ко всем встречающимся на любом участке леса, то даже в самых урожайных на ландыши местах мы получим совершенно ничтожные цифры. Окажется, что в лучшем случае один цветущий ландыш попадается на сотню нецветущих, а то и еще реже. Если же мы придем в лес осенью и посмотрим, сколько найдется в нем плодоносящих стеблей, несущих крупные оранжевые



ягоды, то окажется, что их в лесу найти гораздо труднее, чем цветущие растения, и не потому что они мало заметны, значительная часть цветов опадает после цветения, не завязывая плодов. Вместо ягод в таких случаях мы находим на стебле лишь засохшие цветоножки.

На что указывает этот факт? Очевидно, семенной способ размножения мало надежен для ландыша и у него должен быть какой-то другой способ размножения, обеспечивающий ему возможность такого широкого распространения в лесу.

Раскопки вокруг стеблей ландыша легко убеждают в справедливости такого предположения. В поверхностном слое почвы на глубине 6—8 см расходятся во все стороны тонкие белые шнуры, местами дающие густые борозды белых корешков. Это — корневища ландыша, представляющие собой подземные стебли. Образуя под землей мощную сетку, они соединяют друг с другом довольно далеко отстоящие стебли, в результате чего большое количество ландышей оказывается в действительности одним сильно разросшимся экземпляром... несомненно, что такой способ размножения является более надежным, чем семенное воспроизведение, особенно в условиях леса. Где цветенье сильно подавлено и где молодым всходам приходится выдержать суровое соревнование в борьбе за жизнь... Мы видим, таким образом, что ландыш ведет интересную подземную жизнь. Под землей целиком проходит первый год его жизни, здесь же постоянно находятся его подземные стебли, живущие много лет подряд, в то время как надземные побеги существуют лишь в течение нескольких летних месяцев» (А. К о ж е в н и к о в. Весна и осень в жизни растений, 1950, с. 126—129).

— Значит, что же получается! — должен воскликнуть на этом месте всякий поэт, романтик, жрец красоты. — Получается, что цветы для ландыша бесполезны, что его цветенье лишено забот о потомстве, то есть, по существу, всяких забот, потому что других забот у растения и нет, получается, что цветы для ландыша — чистое искусство! Не потому ли они так прекрасны?

Конечно, забота о семье, о тепле, о крове, об одежде, забота, короче говоря, о хлебе насущном во все времена была могучим двигателем всякого труда, в том числе и труда художника. Заботясь и зарабатывая, он писал быстрее и больше, из-под его пера или кисти появлялись рассказы за рассказом, роман за романом, полотно за полотном... Но все

же самые совершенные, смелые и вдохновенные образцы художества возникали тогда, когда дух преобладал над немедленной пользой, когда цель была, но отстояла немно-го подальше, вовсе брезжила вдалеке, как зовущий свет, как ощущение правильности пути и как стремление дойти до заветной цели.

Скажем, что и у ландыша не вовсе бесцельны цветы, хотя ничего не случится, если в этом году они не дадут семян. Над ним, говоря современным жаргоном, не каплет. Но время от времени копающееся под землей растение должно освежиться, обновиться, пройдя через грозную, ослепительную, но радостную вспышку, по-нашему — любви, а по-научному — полового процесса.

В свое время и в своем месте было провозглашено: «Пусть цветут все цветы». Несколько позже было добавлено: «За исключением ядовитых». Так вот ландыш — ядовит. Это общеизвестно. Но столь же общеизвестно, что вытяжка из него помогает работе человеческого сердца.

По-моему, не меньше вытяжки помогает работе человеческого сердца и сама красота его цветов, внушающих нам дополнительный стимул к жизни. Потому что среди немногих вещей, которые в конце концов будет жалко покидать на земле, найдет себе место и ландыш, весенний лесной цветок, прекрасный и совершенный образец вдохновенного творчества природы.

\* \* \*

Как бы сменяют друг дружку целые цветочные цивилизации, по меньшей мере народы.

То скифы господствуют в южных русских степях, то их сменяют татары. А то еще были хазары, печенеги и половцы. То угро-финны расселяются от Невы до Урала: чудь, мурома, меря и весь, то славянские племена: вятичи, кривичи, древляне, поляне.

Гора от нашего села к реке никогда не бывает занята высоким луговым разноцветьем, травостоем, потому что на ней пасут скотину. Она постоянно покрыта плотной, мелкой травяной щеткой, вроде как подшерстком, сквозь который вырастают время от времени в виде ости (если уже мы взяли это сравнение) другие временные растения. Они-то и напоминают мне смену разных народов.

В конце апреля — в начале мая зеленая ровная поверхность нашей горы разукрашивается по всей своей ширине и длине крохотными синими (лиловатыми, впрочем) цветочками. Эти цветочки не поднимаются над основной постоянной травкой, напротив, они даже ниже ее и как бы вкраплены в зелень.

Они (разновидность фиалки, какая-нибудь там фиалка опущенная или фиалка собачья) не бросаются в глаза и не видны издали. Подходишь к горе и видишь перед собой зеленую раннемайскую гору, которая сейчас тебя плавно и ровно, как на крыльях, спустит к реке. Но, поглядев под ноги, обнаружишь в траве свежие и неожиданные в ту бесцветную пору синенькие крохотные цветочки. Увидишь сначала один цветочек около огромного и тупого своего башмака (как если бы пятиэтажный дом собирался наступить на девочку, играющую на тротуаре), тотчас увидишь и второй и третий и вдруг радостно обнаружишь, что вся гора расцвела этими цветочками, кое-где образующими густые коврики. Садись поблизости и любуйся. Если пойти в это время на другие косогоры, на склоны оврагов и холмов, всюду обнаружишь это тихое, скромное цветенье весенней земли, запутавшееся в густой травяной щетинке.

Скромный и мирный народец покажет миру, заявит о себе и исчезнет с поприща, как будто его не бывало. Останется только в воспоминаниях, в лучшем случае в стихотворении, в песне, если вовремя попадет на глаза внимательному поэту. Как помним, именно об этих цветочках вспоминает девица из повести Куприна (называли их «сон» и красили ими пасхальные яйца).

На место незаметных синеньких цветочков хлышет и обольет всю гору яркая, горячая волна племени одуванчиков. Этим не надо разглядывать, раздвигая пальцами траву вокруг. Выбежишь на линию, с которой начинается уклон горы, и даже зажмуришься от обилия жаркого золота, от обилия солнца и в небе, и на земле.

Но пройдет некоторое время, схлынет и эта волна. Покроется гора тонкой и блеклой позолотой манжетки, которую мы в детстве называли еще божьей росой, за то что собирает в своих листьях большие прохладные капли.

Даже и не позолота, а так себе — желтоватый тон. Но, конечно, если идти по горе, в росистое утро, не намотришься на сверкающие бесчисленных самоцветов, которые

дробят в себе так и сяк на составные радужные цвета белый свет и сиянье солнца.

Но однажды увидишь гору еще и в новом неожиданном украшении. Нет в помине лиловых цветочков, нет в помине ярких одуванчиков, нет в помине желтоватой манжетки. Теперь словно полупрозрачный белый газ накинули на зеленую траву, на зеленую гору. Легкое воздушное покрывало поддерживается на некоторой высоте крепкими стебельками, все более разветвляющимися кверху, словно нарочно для того, чтобы удобнее было держать на себе, пусть и невесомую, белую вуаль. Из земли поднимается один стебель, потом он ветвится на два, на три, а те, в свою очередь, достигнув предела своего роста, разбегаются на ажурные зонтики. Каждая «спица» зонтика оканчивается крохотным беленьким цветочком. Если бы разглядеть этот цветочек в отдельности, увидели бы, что он несколько похож на бабочку (величина — в половину спичечной головки). Но кто же будет разглядывать в отдельности такой цветок? Воспринимается сразу весь зонтик, а еще проще — целая гора. Цветет тмин.

Не знаю кто как, а я люблю зонтичные. Мне нравится сама конструктивная схема зонтичного растения. Если растение обращено к небу, к космосу для того, чтобы улавливать энергию, свет, волны, импульсы, точно так же, как мы пытаемся при помощи металлических антенн улавливать радио- и телеволны, то посмотрите на зонтик тмина, или дягиля, или обыкновенного огородного укропа — какая четкая и разумная схема!

• Один стержень (стебель) делится вдруг на множество лучей, направленных по сторонам и кверху. Растение как бы подставляет себя солнцу и небу. Именно так, похоже, мы подставляем раскрытые ладони под первые капли давно ожидаемого дождя. Но стремление взять от неба как можно больше заставляет каждый лучик, каждую «спицу» зонтика разделиться еще на лучи, образовать новый, самостоятельный зонтик. Как если бы при жажде прикоснуться к дождю и воспринять его на кончике каждого нашего пальца выросло бы еще по ладони с растопыренными пальцами. У нас это было бы безобразно и уродливо, у зонтичных получается красиво, ажурно, стройно.

В конце-то концов каждое почти растение разветвляется на все более и более мелкие ветви, дабы превратить себя в антенну и дабы антенна эта получилась наиболее эффективной, но согласитесь, что не у каждого растения мы

встречаем такую стройную и ясную схему. Словно прочие растения набрасывал свободным и фантазирующим карандашом раскованный в своем творчестве художник, а зонтичные вычерчены прилежным и педантичным чертежником.

На каждом кончике этой сложной и экономной антенны присело по крохотному мотыльку с белыми или зеленоватыми крылышками. Отдельный цветочек надо разглядывать в увеличительное стекло, а в целом — белая кипень около тына и даже вот белая газовая вуаль над просторным склоном холма, ведущего к нашей речке.

Зонтичные для меня — признак полнокровного лета, вошедшего в силу. Если бы я был художник и если бы захотел написать этюд под названием «Лето», я бы изобразил тот угол нашего запущенного беспризорного сада, где около покосившегося тына белой пеной, белыми клубами поднимаются душистые зонтичные травы.

С весны — тын, да земля, да куст крыжовника около тына. Но вдруг вскипает белая волна и захлестывает и топит под собой и землю, и крыжовник, и сам забор. Надо поднять руку, чтобы достать до верхушек трав.

Лет семь назад я провел три недели в Дании. На одной крестьянской ферме я увидел некое зонтичное растение, поразившее меня своими размерами. Право же, в нем было не менее трех метров. На такую высоту оно поднимало зонты, мало чем отличающиеся в размере от настоящих дождевых зонтов, от которых и получило название все это зонтичное семейство.

Я спросил у фермера, нельзя ли набрать семян. Фермер ухмыльнулся, как, вероятно, ухмыльнулся бы наш крестьянин, если бы у него попросили семян репейника, горького лопуха. Тем не менее я набрал горстку семечек, завернул их в бумагу и положил в спичечный коробок. Я предвкушал удивление наших деревенских жителей, которые вдруг увидели бы где-нибудь около своего огорода огромное растение — каждый зонтик по тележному колесу.

Около дома была площадка, маленький пустырек, освободившийся, когда сломали некоторые дедовские постройки. Мы решили засадить эту площадку по краям шиповниковыми кустами и рябинами, а в середине вишневыми деревьями. Тут на рыхлую землю я и выбросил дальние, можно сказать, заморские семена.

Сначала я колебался. Вспоминались разные поучительные истории. Как заполонила все водосемы Европы случайно завезенная канадская элодея (прилипла к днищу корабля), прозванная даже потом водяной чумой. Как американская семья путешествовала по Африке, и мальчик привез домой две улитки, и как мать мальчика выбросила этих улиток за окно, и как они вскоре съели растительность целого штата. Некоторые странички о сорняках из книги Александра Васильевича Цингера «Занимательная ботаника» тоже не давали покоя.

«Что такое сорные травы? Ученые-специалисты разделяют их на несколько различных категорий, но мы, не вдаваясь в подробности, будем называть сорными травами все те растения, которые независимо от нашего желания и даже наперекор нашим стараниям засоряют поля, луга, огороды и сады...

Представьте себе, что мы с вами на глобусе стали очерчивать области естественного распространения различных видов растений. Из тех примерно 250 тысяч видов высших растений, которые изучены, подавляющее большинство видов было бы отмечено на нашем глобусе лишь небольшими участками, а иногда всего каким-нибудь одним островком. Наберется лишь немного десятков таких растений, которые расселились если не по всему свету, то на половине суши и более... Это — весьма важная особенность многих из тех трав, которые мы старательно искореняем с огородных грядок и с садовых клумб. Они — «граждане мира», космополиты. У каждого из них есть, конечно, своя родина, то место, где когда-то впервые выросал тот или иной вид, но они отлично уживаются и далеко за пределами этой родины: и в северном полушарии и в южном, и в Старом и в Новом. Почему? Может быть, они отличаются особой неприхотливостью, невзыскательностью к условиям жизни? Нет! Любой отличный садовник ботанического сада скажет вам:

— Сорная трава отлично растет там, где мы ее стараемся уничтожить, но на приготовленных для нее грядках, несмотря на все наши заботы, зачастую одни только... ярлыки с названиями... Быстроту и упорство размножения сорных трав лучше всего можно было проследить в тех случаях, когда они вторгались и заполняли новые для них местности. Среди очень распространенных наших сорняков есть чужеземцы... Возьмем, например, невзрачный канадский мелколепестник, в песча-

ных местностях заполнивший все пустыри, залежи, дороги, берега рек... Это — один из знаменитых «завоевателей» Европы. Он случайно попал в Париж в середине семнадцатого века. Сохранились сведения, что его хохлатыми плодами было набито привезенное в 1655 году из Канады чучело птицы. Щепотка плодов случайно разлетелась по ветру, семена попали на подходящую почву. Проросшие растения развились, и в результате лет через сорок мелколепестник сделался по всей Европе самым обыкновенным растением.

За последние полвека, уже на моей памяти, — пишет далее А. В. Цингер, — и отчасти на моих глазах произошло вторжение к нам другого американского растения — пахучей ромашки... Она стала распространяться по Европе с начала 70-х годов прошлого столетия... ботаники полагают, что ее семена были завезены с американским зерном. На моей памяти пахучая ромашка заполнила Тульскую губернию. Я отлично помню, как отец мой ездил на ботаническую экскурсию на берег Оки, километров за 60 от наших мест, и привез оттуда первый экземпляр пахучей ромашки, которая заняла тогда одно из почетнейших мест в его гербарии. Прошло лет пять, и американскую ромашку можно было легко найти по всей линии Московско-Курской дороги, прорезывающей наш район с севера на юг. Прошло еще пять лет, и она стала встречаться все дальше от железнодорожной линии, а еще лет через пять все края дорог, все незаезженные улицы деревень, все дворы, все пустыри сплошь были заселены американской эмигранткой. Ступая по коврам пахучей ромашки, в нескольких шагах от дома, было смешно вспомнить радость отца, нашего «редкостную новинку».

Мне тоже стало мерещиться по ночам, как наше село, наши поля и сады окружают со всех сторон полчища трехметровых гигантов, наступающих стеной и заполняющих все вокруг. Вот уже нет ни деревенек на склонах холмов, ни разнотопных полей ржаных, ячменных, картофельных, гречишных, клеверных, гороховых, овсяных и льняных, нет ни тропинок, ни дорог между этими полями, но всюду — ровные непроходимые заросли трехметрового зонтичного сорняка, вроде сплошного леса, вроде тайги. Люди разбежались в другие места, замерла вся жизнь, на корню истлевают брошенные дома, чьи крыши едва выглядывают из дремучих зарослей.

Американская ромашка — пустика! Каких-нибудь де-

сять — пятнадцать сантиметров от земли, мягкий коврик под босыми ногами. Другое дело, когда древовидные растения, высеянные моей легкой преступной рукой, начнут распространяться вдаль и вширь, завоевывать луга, берега рек, овраги, поля, дороги, деревни...

Но дело было сделано, семена брошены в почву, раскиданы по земле. Теперь их обратно не соберешь...

На другой год никаких необыкновенных растений на моей площадке не проросло. Потом начали разрастаться деревья и кусты, которые, как редко я их ни сажал, через три года перепутались, образовали густоту, колющую мешанину, усугубляющуюся летом крапивой, репейником и всякой другой травой.

Однажды мне понадобилось залезть в эту зеленую гущу для того, чтобы попытаться спасти куст жасмина, совсем затененный соседними деревьями.

Едва ли не ползком я пробрался под непропицаемый для солнца полог рябиновых и вишневых ветвей и увидел, что под их пологом не растет даже трава.

Куст жасмина погибал. Торчали сухие палки, и только два зеленых побега говорили о том, что борьба за существование продолжается и пульс еще бьется.

Я знал, конечно, что в конце июня пересаживать растения нельзя. Но этот куст был мне очень дорог. Увидев, что он еще жив и борется, мне захотелось оказать ему немедленную, хотя бы рискованную помощь. В конце концов, если окопать растение со всех сторон подалее от стволов, от стеблей и как можно глубже, если выворотить его потом вместе с глыбой материнской земли и опустить эту глыбу бережно в большой таз, и бережно перенести, и бережно поместить в заранее вырытую яму в хорошем месте, а потом поливать и ухаживать... поболит, перестрадает, но для своего же блага.

С жасмином я так все и сделал и тогда увидел, что, загораживаемые сухим жасминным кустом, то есть в еще большей и глубокой тени без всякого травяного соседства, из влажноватой гладкой земли растут два большие, продолговатые, пятилопастные, на толстых черенках лопуха, совсем не похожие на какие-нибудь наши местные лопухи.

Я рассказал о своей находке за столом во время обеда, и моя сестра Екатерина Алексеевна, человек очень внимательный к природе, меня огорошила.

— Это растет какое-то твое заморское растение. А ты



развѣ не знал? И прошлый год оно там росло, и три года назад. Только оно не вырастает как полагается, потому что ему там очень плохо.

Если нельзя пересаживать среди лета древесный куст или деревце, то тем более нельзя этого делать с травянистым растением. Но удачная пересадка жасмина вдохновила меня на дальнейшие садовнические подвиги, а вернее сказать — глупости. Мой пересаднический зуд подхлестывался воображением, которое почему-то не рисовало, как засыхает и гибнет неведомое растение, уже перенесшее несколько лет тяжелых невзгод, но рисовало только радужные картины: как хорошо этому растению на новом месте, как оно радуется и, достигнув той, памятной мне, высоты, набирает огромный зонт, расцветает и, благодарное, сыплет мне в пригоршни щедрые многочисленные семена.

Как ни глубоко я окопал со всех сторон несчастное растение, оно не хотело колебаться, и, взяв еще поглубже, я с отдачей в сердце услышал, как под острым железом хрустнул толстый и сочный корень.

Сестра же и начала ухаживать за обоими новоселами. Тотчас она их полила и сказала, что будет поливать каждый день утром и вечером.

На другое утро я пошел поглядеть на свои растения и увидел, что оба чувствуют себя хорошо. За жасмин я и не опасался. Но благополучие неизвестного растения показалось мне мнимым. Ведь даже и сорванный цветок, поставленный в воду, не вянет несколько дней.

С другой стороны, почему ему завянуть? Ему, правда, пришлось проделать принудительную эмиграцию, но ведь из каких условий в какие? Или не главное, что из плохих условий в хорошие, а главное, что из привычных в непривычные? Обращались же с ним по возможности бережно. Не выдернули ведь, не бросили на новое место — расти как знаешь. Пересадили вместе с материнской землей. Корень, правда, пришлось перерубить. Но у какого эмигранта не перерублены корни? Однако выживают, живут. Без крупцы материнской земли. Отрождаются и живут. Тем более что за моим «эмигрантом» предполагался уход.

Через три дня сестра пришла из сада, заметно отводя взгляд.

— Ну как наш «датчанин»?

— Да ведь, кажется, ничего. Большой лист, правда, прилег на землю. Я его загородила газетой. Может быть, ему слишком жарко?

— Там рассеянный свет. А под газетой вовсе не будет никакой жизни. Газету надо убрать.

Но, увы, газета была уже как белая простыня, которой накрывают с головой только что отошедшего человека, покойника.

Второй лист пока продолжал держаться, не сникал, не обвисал, как тряпка. Значит, шел снизу, от корней некоторый напор соков, который заставляет стебли трав стоять вертикально и быть упругими, а листья деревьев держаться даже горизонтально, что гораздо труднее.

Перерубленные корни борются там, в земле. Им нужно питание, идущее сверху, чтобы успели зарубцеваться раны, чтобы успели вырасти новые, аварийные корешки. Из всех сил они стараются поддержать один лист, ибо с двумя справиться им не под силу.

Но вот и второй лист дрогнул и сдал. Некая слабость, вялость разлилась по нему. Так начинает слабеть волейбольный мяч, когда из него через незаметную дырочку начинается утечка воздуха.

Корни не в силах больше поддерживать лист в напряженном, живом, рабочем состоянии. Лист, в свою очередь, перестает подавать корням то, что им нужно. Растение погибает. Какой выход оно может найти из создавшегося положения? Какие меры принять? По-видимому, на наш человеческий взгляд, — никаких. Положение его безвыходно.

Какое же именно растение загублено мной, я мог только гадать. Судя по ботаническим атласам, это мог быть какой-нибудь из борщевиков. Например, Монтеверде пишет: «Борщевик пушистый. Крупное зонтичное, ветвистый стебель которого достигает 2—3-х метров. Листья большие, сверху голые, снизу пушистые, пластины их перисто-рассечены на 5—7 крупных перисто-лопастных долей... Дико растет в лесах Крыма и Закавказья; разводится в садах. Цветет летом. Из других наших исполинских борщевиков в садах чаще разводится борщевик волокнистый, встречающийся в гористых лесах Крыма и Кавказа...»

А мог быть и каким-нибудь из наших борщевиков. Например, вырос бы он у меня, выхоженный с таким трудом, привел бы я к нему наших мужиков поглядеть на заморское диво, а мужики бы рассмеялись: «Да вон в Крутовском овраге, в лесу, такого дива сколько угодно!» Для новеллы лучшего конца, пожалуй, и не придумаешь.

Однако, пока я лазал по ботаническим атласам, жизнь продолжалась. Там, где сходились около земли два увядших листа, вдруг появился острый, желтоватый, похожий на волчий клык росток. Через два дня он поднялся до десяти сантиметров, а потом еще через несколько дней стал длинным, зеленым, сочным и развернулся в новый лист. У основания этого нового листа прокусил землю еще один волчий клык. Растение победило все невзгоды, в том числе и мою глупую безвременную пересадку с места на место. Теперь не будем гадать. Теперь растение само расскажет о себе все, что мы сумеем воспринять, глядя на него и сравнивая с другими растениями.

...Тмин, в связи с которым мне вспомнилась эта история, среди зонтичных считается карликом. Много-много, если он поднимет свои зонтики на полметра от земли, и то где-нибудь среди высокой травы, в кустах, около прясла. Тмин семидесяти сантиметров ростом надо считать из ряда вон выходящим. На открытом же, приотптанном скотиной месте, вроде нашей горы, он поддерживает ту самую «вуаль» своего цветения на высоте чуть-чуть повыше обыкновенного школьного карандаша.

Должны были приехать друзья, и мне понадобилось три горсти тминных семян, чтобы приготовить настойку.

Однако, как и во всяком деле, когда ходишь просто так, кажется — вся земля засеяна тмином, но когда надо насобирать, он куда-то весь исчезает.

Сосед подсказал:

— Ступай на место бывшего вашего залога.

— Почему?

— Как же? Дедушка Алексей Митрич, бывало, идет по дороге, увидит тмин, сощипнет — и в карман. А потом на своем залоге рассеет. Подсевал, значит. От тмина и сено душистее, коровы с аппетитом едят, и молоко полезнее, и так, если понадобится, в огурцы, в капусту, в графинчик. А то и в хлеб добавляли...

Я подумал, что насчет дедушки — фантазия моего соседа, но, придя на то место, где раньше был наш залог, я действительно увидел изобилие тмина, оттесненного, правда, тракторными и автомобильными колесами, буграми и ямами, и тотчас насобирал несколько горстей его замечательных душистых и целебных семян.

Хотя и случайно, но так и получилось, что подсевал дедушка для своего внука.

Берем Махлаюка: «Пижма обыкновенная. Народные названия: полевая рябина (большинство областей РСФСР), трилистник (Сибирь), горлянка (Тульская, Воронежская области), девясильник желтый (Пермская, Кировская обл.), маточник (Воронежская обл.), пижма дикая, горлинка (УССР)...»

Ну, во-первых, если уж говорить о народных названиях, то вряд ли кто именно так и скажет по-книжному: «полевая рябина». Получилось бы очень искусственное неточное название. Скажут (в большинстве областей РСФСР) не полевая рябина, а рябинник. И в этом есть тонкость. Пусть не садовая, не черноплодная, не невеженская, не лесная, не гранатовая — полевая, но все-таки никаких ягод. Правда, что листья этой травы немного похожи на рябиновые, а кисть цветов похожа на желтую рябиновую кисть. То есть, значит, цветы похожи на ягоды. Ну, значит, и есть — рябинник. Трава, напоминающая рябину.

Что касается названия «пижма», то я за сорок семь лет своего существования на земле ни разу не слышал этого слова из уст других людей, но исключительно читая в книгах. Вероятно, оно употребляется только на Украине и в более южных российских областях.

Мое лирическое отношение к этой траве вполне объяснимо. Рябинник для меня почти всегда синоним и как бы олицетворение тревожной грусти. Это позднелетний, предосенний цветок. Когда растут васильки и ромашки, колокольчики, незабудки, купальницы и ночные фиалки, когда небо звенит жаворонками, а ольховые кусты около реки соловьями, когда кажется, что лето длится долго, если не всегда, и что все еще впереди, рябинник тогда только набирает листву, кустится, не бросаясь в глаза пешеходу и не оказывая никакого внимания на его настроение. Когда же рябинник достигнет своей метровой высоты и распушит ярко-желтые кисти своих цветов, обозначив собой все тропинки, дороги, межи, края полей, канавы, границы сельских кладбищ, тогда поздно думать о лете, надо считать, что оно прошло. Расцвет рябинника для лета как приговор, как запоздалый диагноз распространенной теперь болезни, когда уж ничем нельзя помочь, даже и радикальным ножом хирурга.

Нет, вокруг еще много тепла и света, еще нет никаких очевидных признаков осени, холодных ветров, морозящих

дождей, черной земли, черной темени. Все сияет, зеленеет, золотеет, дышит зноем, утопает в небесной лазури. Но сердце над расцветшим рябинником знает уже вопреки бездумному летнему полдню, что где-то в очень большой глубине природа дрогнула, надорвалась, надломилась и песенка, как ни грустно, спета. Цветы рябинника на земле как крик журавлей в небе, как желтый лист, вдруг упавший на речную воду при внезапном и сильном порыве ветра.

А казалось бы — мощное, пышущее здоровьем растение, не томный цветочек, не худой стебелек, сгибаемый ветром и так и сяк.

Зацветает рябинник. Не успели оглянуться, уже зацветает рябинник. Не успеешь оглянуться, как уже торчат из-под снега его сухие темные стебли. Ведь если торчит из-под снега какая-нибудь трава, то в первую очередь рябинник. И зимний ветер тихонько звенит в его пересохших ломких стеблях, и птички шелушат его почерневшие кисти, роняя на снег мелкий мусор и мелкие, как пыль, семена.

\* \* \*

Сколько бы мы ни убеждали широкие массы трудящихся, что они совершают грубую ошибку, называя ромашками цветы, которые на самом деле называются поповником, но мы не заставим их отказаться от первичного, освященного веками и даже искусством (песнями, во всяком случае) представления о ромашке как о крупном цветке с желтой плоской серединкой и с крупными белыми лепестками по краям.

«Давай погадаем на поповнике?» Так, что ли? «И не выросла еще та ромашка, на которой я тебе погадаю». «И не вырос на земле тот поповник...» Нет уж, пусть лучше все мы ошибаемся, но останемся с ромашкой.

А между тем книга пишет о цветке, на котором мы гадаем, обрывая белые лепестки, что у него, у этого цветка, «цветочные корзинки одиночные, крупные, белые, похожие на ромашку». Вот так. Лишь похожие на ромашку.

Но, товарищи и дорогие друзья! В конце концов название цветам даем мы, люди, не зная, как они называются на самом деле. В конце концов мы переименовываем

целые города. Так ли уж сложен даже с точки зрения чистой науки вопрос. — считать поповник разновидностью ромашки и наряду с другими разновидностями, с ромашкой аптечной, душистой, римской, собачьей, непахучей, розовой и мясо-красной, писать еще, скажем, ромашка крупная?

Интересен в связи с ромашкой (простите, с поповником) еще и такой вопрос. Если все в природе целесообразно (так оно и есть), то мы, встречаясь с каким-нибудь явлением, всегда вправе спросить: а зачем?

— Зачем дереву листья?

— Чтобы улавливать солнечную энергию и углерод, чтобы выделять кислород, чтобы испарять влагу, чтобы осуществлять фотосинтез.

— Зачем растению корень?

— Чтобы устойчивее держаться в почве и усваивать из почвы нужные вещества.

— Зачем тычинки и пестики?

— Тычинки вырабатывают пыльцу, а пестик является женским органом размножения.

— Зачем одуванчику парашютик, клену крылышки, репейнику колючки-зацепки, ковылю пушистая ость, землянике сладкие сочные плоды?

— Чтобы удобнее распространять по белому свету свои семена.

— Зачем цветам аромат?

— Вопрос неясный и спорный. Последние опыты показывают, что в приманке насекомых он играет третьестепенную роль. Высказывались предположения, что он предохраняет цветы от озябания, но цветы пахнут и в жаркое время. Можно предполагать, что аромат создает вокруг цветка микроклимат, микросферу (нечто вроде скафандра), но многие цветы не пахнут и тем не менее прекрасно себя чувствуют. А может быть, это средство связи между цветами? Может быть, обычный экземпляр ночной фиалки лучше себя чувствует и лучше растет, если знает, что неподалеку на земле растут другие экземпляры этого же вида? Одним словом, вопрос неясный и спорный.

— А зачем поповнику (то есть ромашке) белые длинные лепестки?

— На этот вопрос ответа нет.

Архитектурное излишество? Чистое искусство? Неизвестная нам необходимость? Не знаем.

Если приманивать насекомых, то одуванчик — весь желтый — делает это лучшим образом. Да и мало ли желтых цветов, к которым прилетают пчелы, шмели, мухи, бабочки. Ромашка вполне могла бы обойтись своей желтой серединкой. Ведь это и есть ее цветы, а про белые лепестки говорится, что они хотя и пестиковые (по происхождению), но ложные и в процессе размножения никакого участия не принимают.

В природе много разных загадок. Так, например, многие поколения ученых пытаются разгадать, почему кукушка откладывает яйца в чужие гнезда. Зачем птицы совершают перелеты почти через весь земной шар. Не меньшую загадку представляют неожиданные, фантастические миграции некоторых грызунов, когда несметные полчища леммингов устремляются даже в океан, где гибнут.

Секрет, подобный ромашкиному, не столь вопиющ, из ряда вон выходящ и очевиден. Он как бы незаметен на скользящий поверхностный взгляд, но он такой же правомочный секрет в ряду других секретов, которые природа нам преподносит.

Счастливая случайность для нас, что ромашки цветут яркими белыми лепестками. Представьте себе, сколько бы мы потеряли, если бы это растение спохватилось и решило избавиться от праздного украшательского излишества и цвело бы только желтыми плотными, похожими на пуговицы лепешечками. Кошмар!

С ромашкой связано и еще одно мое ощущение. Красив и пышен цветок хризантемы, а я его не очень люблю. Я знаю, что хризантема так или иначе, рано или поздно выведена, произошла от ромашки. Поэтому, когда я держу в руках мохнатую шапку, состоящую из сотен перепутавшихся, как мочалки, лепестков, я все равно сквозь эту махровую путаницу вижу первоначальную четкую схему ромашки, и ромашка каждый раз загораживает для меня хризантему, мешает ее воспринять и полюбить.

\* \* \*

«И вот былинку понесла река», — проходит ритмичным повтором в романе Леонова «Русский лес».

«И в небе каждую звезду, и в поле каждую былинку», — благословляет А. К. Толстой.

В песне жалуется девица, что она сирота, «как былинка в поле». И никак не могла бы девица в песне сослаться на

какой-нибудь другой цветок. Как незабудка в поле, как ромашка в поле, как колокольчик в поле... Почему-то все эти цветы (а их ряд можно продолжать) не несут дополнительного заряда грусти и тревожной тоски. Такой заряд несет в себе другое слово — былинка.

А в сущности, что такое былинка? Среди двухсот пятидесяти тысяч видов трав и цветов (или сколько их там?), известных человеку и обозначенных названиями, никакой былинки нет и не было. Что такое былина? Нечто близкое, обобщенное, вроде «животины», применительно к животным?

Может быть, так оно и есть. Может быть, народ прозвал былинкой всякую одинокую, сиротливую травинку, а тем более засохшую, прошлогоднюю.

И все же одна из самых известных трав так прямо и называется в наших местах — былина. И если сказать кому-нибудь: «Я пойду и нарву былинки», — никто не подумает, что нарву сурепки, дягиля, молочая. Но все так и поймут, что я пошел за былиной. Растение это — обыкновенная горькая полынь.

Нетрудно вообразить, какое возражение вызовет последняя фраза у ботаника, потому что она и впрямь ботанически неграмотна. «Какую же полынь, — строго спросит ботаник, — вы имеете в виду: обыкновенную или горькую?» Ибо существуют на свете полыни: обыкновенная, австрийская, горькая, метельчатая, цитварная и еще другие полыни.

Ботаник прав. Но если не вдаваться в тонкости, то для народа всякая полынь прежде всего горька, и всякая горькая полынь вполне обыкновенна.

И вот вам пример, как можно завоевать популярность, не будучи ни ландышем, ни васильком, ни фиалкой, не бросаясь в глаза желтыми, белыми и красными цветами, ни даже хотя бы сочной зеленью, как крапива. Как будто нарочно, чтобы исключить всякую внешнюю привлекательность, полынь родится серого цвета, который, как известно, является символом вопиющей бесцветности.

И чем же она завоевала свою популярность? Не сладостью ли плодов, подобно землянике? Не вкусом ли листьев и стеблей, подобно салату, капусте, щавелю, сельдерее? Не сочностью ли корней, подобно моркови, петрушке и редиске?

Но на полыни не растет никаких ягод. Но вся полынь, начиная от невзрачных цветочков и кончая деревянистыми



корнями, вполне несъедобна не только для человека, но и для животных — ее не ест никакая домашняя скотина. Даже другие растения сторонятся ее и растут всегда на почтительном отдалении.

Чем же завоевала полынь широкую, всеобщую популярность? Своей неповторимой полынной горечью! И еще раз повторю — вот вам пример. Уж если вы хотите быть горьким и несъедобным, будьте образцом горечи и несъедобности, неким идеалом горечи, будьте последовательны в своей горечи, идите по пути горечи твердо и до конца. Лишь в этом случае вы добьетесь признания, даже уважения своего качества, если даже оно не больше чем полынная горечь. Ну, правда, помогает полыни и ее неповторимый, забываемый, если уж кто растер в пальцах и понюхал, запах.

На стихотворение Майкова «Емшан» ссылаться уж как будто и неприлично, оно становится общим местом. Но ведь факт же, что хана, забывшего свою родину ради чужой стороны, не могли возвратить никакие соблазны, пока не понюхал он лукаво присланный ему пучок сухой полыни.

Путешествуя по казахстанским и киргизским степям, я так надышался полынью, что вполне понимаю хана, вспомнившего через аромат засохшей травы весь огромный и сложный комплекс родины и тотчас помчавшегося на коне в родные пределы, навстречу широким и светлым, сухим и терпким горьковатым ветрам.

Горечь полыни приносили на своих губах и в складках одежды киевские дружины, воевавшие половцев. Вкус полыни будет долгие годы сопровождать воспоминания тех лет, когда вздымались и опускались конармейские клинки и сквозь степную полынную пыль медленно проступали красные пятна степных закатов.

Пишу сейчас за городским стеклом, в окружении ничем не пахнущих городских предметов, а слышу запах степи под Акмолинском, Атбасаром, Кустанаем и еще дальше — в предгорьях Тянь-Шаня и Алатау. Жесткое киргизское седлецо, тяжелая камча на руке, пиала с кумысом, принятая из рук гостеприимной хозяйки, княжечный дымок костра, уже приправленный ароматом вареной баранины, мягкая кошма в теплой юрте, предчувствие полной луны над разогретой днем, но странно остывающей ночью степью и полынь, полынь, полынь... Велика и устойчива власть ее запаха над нашей памятью. Не зря эту траву у нас еще называют — былина.

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

### Т и м и р я з е в. Жизнь растений

«Растение питается для того, чтобы расти, растет для того, чтобы питаться, т. е. увеличивать поверхность принимающих пищу органов. Эти два совместных процесса могут длиться очень долго, у некоторых растений тысячелетиями, но тем не менее им наступает предел, хотя, собственно говоря, мы не в состоянии объяснить себе необходимость подобного предела, мы не в состоянии понять, почему бы один и тот же растительный организм не мог существовать неопределенно долгое время».

«Для поддержания растительных форм необходимо, чтобы они от времени до времени обновлялись посредством процесса слияния двух отдельных клеточек. Значение, смысл, необходимость этого закона существования двух полов для нас совершенно темны: это только эмпирический закон, основанный на совокупном свидетельстве всех нам известных фактов».

«В кокосовых плодах замечательны следующие особенности: наружная кожа непроницаема для морской воды, а толстый волокнисто-мочалистый слой содержит воздух, что и поддерживает орех на поверхности моря. Далее следует очень твердая скорлупа и большая полость, наполненная водянистой жидкостью — кокосовым молоком. Эта жидкость составляет большой запас пресной воды для потребностей зародыша в течение его далекого морского плавания, совершенно так, как это делают моряки для дальних экспедиций».

«Другой способ... основывается на обоюдной пользе, на привлечении животных известными частями плода, годными в пищу. Таковы сочные и мясистые плоды, например, земляники или косточковые плоды вишни, черемухи, персика, малины и т. д... необходимо, чтобы мякоть плода привлекала животное как лакомая пища и бросалась ему в глаза и в то же время, чтобы семена были защищены так, чтобы могли проходить без вреда через пищевой канал животного. Это осуществляется таким образом: пока семена развиваются и еще не образовали толстой защищающей

их оболочки, вкус плодов своим избытком кислот и разных терпких, вяжущих веществ не привлекает животных, да и к тому же они мало заметны, так как не отличаются цветом от листьев. Но когда семена созрели и получили защищающую их оболочку, в плодах накапливаются сахаристые, крахмалистые и другие питательные вещества, и окраска плодов бросается в глаза. Особенно распространен яркий красный или желтый цвет. Этот способ разнесения семян вместе с извержениями животных выгоден для растения еще и тем, что почва в ближайшем соседстве оказывается богато удобренной».

«...вся листовая поверхность клевера в 26 раз превосходит площадь земли, занимаемую этим растением, так что десятина, засеянная клевером, представляет для поглощения лучей солнца зеленую поверхность в 26 десятин. Другие растения дают более высокие цифры. Эспарцет имеет листовую поверхность в 38, а люцерна в 85 раз более занимаемой ими площади. Смешанные травы, по всей вероятности, дали бы еще более высокие цифры».

«Но тут-то именно, на этом кажущемся пределе, физиолог начинает смутно сознавать, что его задача не исчерпана, что из-за всех этих частных вопросов всплывает один общий, всеобъемлющий вопрос: почему все эти органы, все эти существа так совершенны, так изумительно приспособлены к своей среде и отправлению? Чем поразительнее факт, чем совершеннее организм, тем неотвязчивее вопрос: да почему же он так совершенен? Как, каким путем достиг он этого совершенства? Неужели стоило сделать такой длинный путь для того, чтобы в конце его услышать лаконический ответ: не знаю, не понимаю и никогда не пойму. Правда, естествоиспытатель охотно, быть может, охотнее и откровеннее других исследователей всегда готов сказать: не знаю; зато тем настойчивее хватается он за первую возможность объяснения, тем ревнивей охраняет он те области знания, куда успел уже проникнуть хотя бы слабый луч света».

«Жизнь растения представляет постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного, наоборот, представляет превращение химического напряжения в теплоту и движение. В одном заводится пружина, которая спускается в другом».

«Дрова горят, животные горят, человек горит, все горит, а между тем не сгорает. Сжигают леса, а растительность не уничтожается; исчезают поколения, а человечество живет. Если бы все только горело, то на поверхности земли давно не было бы ни растений, ни животных, были бы только углекислота да вода.

Очевидно, в природе должно существовать явление обратное горению, т. е. превращение веществ, вполне сгоревших, в вещества, вновь способные к горению. Рядом с образованием углекислоты должен существовать и обратный процесс разложения этой углекислоты, образованной повсеместным горением».

«В природе должен существовать процесс, который этот испорченный воздух вновь превращает в хороший. Не принадлежит ли эта роль растению?»

«Животные поглощают кислород и выделяют углекислоту; растения поглощают углекислоту и выдыхают кислород... растение и животное представляют химическую антитезу».

«Это роль посредника между солнцем и животным миром. Растение, или, вернее, самый типичный его орган — хлорофилловое зерно, — представляет то звено, которое связывает деятельность всего органического мира, все то, что мы называем жизнью, с центральным очагом энергии в нашей планетной системе. Такова космическая роль растения».

«Это превращение простых, неорганических веществ, углекислоты и воды в органическое, в крахмал, есть единственный, существующий на нашей планете, естественный процесс образования органического вещества. Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или в человеке, прошли через лист, произошли из веществ, выработанных листом. Вне листа, или, вернее, вне хлорофиллового зерна, в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического».

Привыкли считать, что солнце у всех одно и земля одна. И тут есть две крайности. Так и можно считать едиными и солнце, и землю, если приподняться, отвлечься и вести разговор на уровне общих процессов, на уровне там поглощения углекислоты, процессов в хлорофилловом зерне, в прорастающем семечке. Но в другой крайней точке, можно сказать, нисколько не преувеличивая, что у каждого отдельного растения (не вида, а именно растения, экземпляра) своя земля и свое солнце. На этот одуванчик падает тень от садовой избушки, а на этот одуванчик — не падает. У этого под корнями оказался обломок кирпича, а у этого в корнях оказалась гнилушка. Мимо этого во время дождя всегда бежит ручей, а мимо этого не бежит. Этот оказался на южном склоне оврага, а этот — на северном. Этот в кустах, а этот на чистом месте. Этого облучает своими жесткими фитонцидами близко стоящая черемуха, а этого осеняет мягкая широкошумная липа. Затем начинается более широкая разница: в кислотности почвы, во влажности воздуха, в количестве годового тепла, в господствующих ветрах, в морозах и паводках, в высоте над уровнем моря, в географической широте...

Что же делать одуванчику, который вынужден расти в тени садовой избушки и которому больше бы нравилось расти на открытой поляне, где и растут его многочисленные соплеменники. Очевидно, ему нужно перебраться, перебежать к ним из тени на солнце. Незабудке, случайно оказавшейся на сухом косогоре, совершенно необходимо сбегать вниз на дно оврага, где постоянно сочится вода. Валериане, выросшей на полевой меже, необходимо срочно перебраться в приречные кусты. Пижме, выросшей в приречных кустах, необходимо срочно перебраться на полевую межу.

Убегая из одних микроусловий и задерживаясь в других, постепенно переселяясь, путешествуя по земле, распределяясь и перераспределяясь, сортируясь и группируясь, растения выбрали себе те места, те условия на земле и под солнцем, где им больше по вкусу, и теперь, обозревая растения в какой-нибудь книге, мы можем точно их разделять и говорить так: «Распределение растений по их месту обитания. Опушки и лесные поляны. Суходольные луга. Заливные или сырые луга. Сорные места, пустыри. Встречающиеся около жилья. Встречающиеся вдоль дорог. Степи

и степные склоны. Берега рек, озер, прудов. Лиственные и смешанные леса. Горы, каменистые склоны, скалы...»

Получается, что незабудкам, выросшим на суховатом склоне, с одной стороны, нельзя сбежать на дно оврага, и никто до сих пор не видел бегающую незабудку. Но с другой стороны, посмотрите, все они в конце концов сбежали с горы и растут в низине, на влажном месте, там, где им больше нравится. А кошачьи лапки, семена которых занесло в низину, на влажное место, в конце концов сумели выкарабкаться на косогор, туда, где как можно суше.

Всюду растет трава. Всюду она цветет, не одна, так другая. Но все же с понятием «трава» у нас сочетаются в первую очередь те места на земле, которые, кроме всего, специально предназначены для роста цветущих трав. Здесь травы поднимаются зеленой стеной, разливаются пестрым половодьем. Здесь же они ложатся под острыми косами во время обильных утренних рос. Росную траву легче режет коса, потому и косят ее во время росы. Но теперь, с изучением чувствительности растений, можно считать установленным фактом одно замечательное совпадение. Во время холодной росы, в ранние часы утра, травы как бы немевают, становятся как бы анестезированными, менее чувствительными и ложатся на землю с меньшей болью.

Но если рассуждать строже, то почему именно луга надо иметь в виду, когда мы говорим о траве? А поля? Разве на полях не трава? В чем же разница? А в том, что эти травы культурные. Точно так же как мы домашнего поросенка не считаем за зверя (за вепря), и корова для нас — не лосиха, так и овес с горохом и клевер вроде бы не трава. Прирученные, одомашненные растения.

И вот растут себе луговые дикие травы и не знают, что вокруг них развертываются словесные бои, происходят научные конференции и даже международные конгрессы. Случайно включив телевизор, я увидел крупным планом одного знаменитого председателя колхоза, пресыщенного уже известностью и славой и оттого бросающего свои слова с непреложной директивной безгловостью:

— С лугами пора покончить. Все разровнять, все распахать, все засеять культурными травами и пустить косилки!

Растут и не знают луговые травы, что, может быть, так вот, в одночасье, и решится их судьба. Понравится эта смелая, как бы дерзкая идея — распахать луга, засеять их

какой-нибудь одной культурной травой, — и начнется искоренение десятков и сотен разнообразных прекрасных трав, несущих земле, миру и нам, конечно, людям, что-нибудь драгоценное, индивидуальное, на других непохожее.

Выпишу только некоторые растения, которые растут на наших заливных сырых и суходольных лугах, чтобы напомнить о великом многообразии, о богатстве природы, доставшейся в наше распоряжение.

Алтей, белозер, белоус, василек, вероника, гвоздика, горец, девясил, колокольчик, кукушкин цвет, кровохлебка, лапчатка, лютик, марена, мыльнянка, мята, окопник, очиток, подмаренник, подорожник, плакун, сердечник, серпуха, сивец, сурепка, стальник, сусак, таволга, хвощ, частуха, чихотная трава, чемерица, мник, щавель, бедренец, борщевник, герань, горчак, душица, донник, желтушник, зверобой, земляника, разные клевера, козлобородник, коровяк, молочай, нивяник, цикульник, фиалка, цикорий, шалфей, бессмертник, грудница, грыжник, прострел, цин, чабрец, воробейник, болиголов, астра, адонис, переступень, манжетка, зубровка, купальница, чистотел, сныть, пустырник, золототысячник, яснотка, ятрышник, любка, ягель, валерьяна и множество, множество разных чудесных трав.

На необъятных, как говорится, просторах нашей Родины, по берегам больших рек, разливающихся весной, подобно морям, по берегам небольших рек и речушек лежат сенокосные луга, сенокосные угодья. Все равно не миновать нам упоминать какие-нибудь цифры, начнем же с этой. В Российской Федерации имеется восемьдесят шесть миллионов сенокосов и пастбищ — по данным за 1971 год. Значит, в эту цифру уже не входят луга, затопленные человеком, в частности, не входит волжская пойма, которая ликвидирована вся целиком, за исключением небольшого прогалка от Нижнего Новгорода (Горького) до Чебака. А всего в эту цифру не входит полтора миллиона гектаров затопленных земель.

Казалось бы, оно и немного по сравнению с восьмьюдесятью шестью миллионами. Но разве один гектар традиционного, находящегося под руками приволжского луга, не вошедшего теперь в цифру, не стоит десяти и даже ста гектаров (вошедших в цифру) кочковатых лугов где-нибудь на окраине республики Коми или вятской земли, в неудобном комарином углу?

Если взять данные за 1971 год, то увидим, что куль-

турных и улучшенных сенокосных угодий, лугов и пастбищ набирается в Российской Федерации немногим больше четырех миллионов. Ну а четыре миллиона и полтора уже можно сравнивать.

Поскольку ведомость попала нам в руки, поинтересуемся, как подразделяются эти восемьдесят шесть миллионов гектаров лугов и пастбищ. А вот как.

Чистых лугов и пастбищ — шестьдесят восемь миллионов (я опускаю десятые и сотые доли), заросших кустарником и мелколесьем — четырнадцать миллионов, покрытых кочками — сто шестьдесят тысяч, засорено камнями около шести миллионов, заболоченных около пяти миллионов, засоленных — миллион с третью, избыточно увлажненных — более миллиона. А всего требующих мелиорации и улучшения — сорок миллионов гектаров. Для сравнения можно вспомнить, что это приблизительно две «целины».

Восемьдесят шесть миллионов гектаров лугов и пастбищ в одной только пусть и самой большой республике, а там еще Украина, Белоруссия, Тянь-Шань и Алатау, степные и высокогорные пастбища Казахстана и Киргизии, луговые угодья Прибалтики, молдавские степи...

Считается, что у нас в Российской Федерации двадцать семь миллионов гектаров сенокосной площади (остальные от восьмидесяти шести миллионов — пастбища). В 1940 году выкашивалось тридцать два миллиона гектаров, то есть площадь обширнее контрольной официальной и расчетной. Откуда брались пять миллионов гектаров? Очень просто. Маленькие овражки, полевые межи, лесные опушки и поляны. Всегда можно пройти косою по дну и склонам небольшого овражка, не причисленного к сенокосным угодьям, глядишь, выросло четыре копны сена, немного огрубленного осокой или сдобренного душистой таволгой. Там четыре копны, да там четыре копны, да там десять копен, да там пусть хоть одна копна, набирались их по России миллионы, потому что, повторяю, — пять миллионов гектаров обкашивалось сверх расчетных двадцати семи миллионов.

В 1965 году колхозники выкосили уже не тридцать два, а двадцать один миллион гектаров. К 1971 году эта цифра сократилась до шестнадцати миллионов, то есть сократилась, по сравнению с 1940 годом, в два раза.

«Фактически укосная площадь естественных сенокосов в хозяйствах Калининской области за период с 1960 года по 1968 год сократилась на 45, Ленинградской на 38, Вологод-



ской на 20 процентов. В целом по РСФСР эти площади сократились с 23,8 миллиона гектаров в 1960 году до 18,5 миллиона гектаров в 1968 году». (П. Усынин и Кладовые кормов. — «Советская Россия», 1970, 28 апреля).

Это свидетельство интересно тем, что оно принадлежит начальнику Управления лугов и пастбищ Министерства сельского хозяйства РСФСР П. Усынину (тогда он занимал этот пост), но сам по себе 1968 год уже нам неинтересен, если у нас есть 1971-й.

Нетрудно догадаться, что если меньше косим, то меньше и сена. Если взять даже самый средний урожай естественных трав, пу, скажем, семь центнеров с гектара, то, помножив, получим недостачу — сто двенадцать миллионов центнеров лугового сена. Этим сеном можно прокормить всю зиму 6 720 000 коров.

Я спросил в министерстве: почему стали меньше выкашивать лугов? Мне ответили: потому что стало меньше кос. Ответ неожиданный и простой. Конечно, их стало меньше не из-за того, что не успевают вырабатывать, но от того, что меньше стало в деревне рук, которые этими косами могли бы махать.

— Все же в прошлом году продано четыре с половиной миллиона кос, — порадовались в министерстве. — Но, знаете, не все ведь эти косы будут активными. Много кос покупают дачники, чтобы содержать в порядке свой дачный участок.

Сокращение сенокосов происходило и по другой причине (кроме убыли косцов), а именно: по запущенности луговых угодий и по их естественной порче. Цитированный нами П. Усынин пишет в той же статье: «Отчего так получается? Из-за крайней (крайней. — В. С.) запущенности, низкой продуктивности природных кормовых угодий. Отсутствие должного внимания и несоблюдение простейших (простейших. — В. С.) правил эксплуатации привело к тому, что большие площади естественных сенокосов и пастбищ заросли кустарниками и мелкоколесьем, покрылись кочками и заболотились».

Кандидат сельскохозяйственных наук А. Дударь со своей стороны подтверждает это положение на примере лугов Северного Кавказа (статья «Лугу нужен технолог». — «Правда», 1971, 25 января). «Степное разнотравье год от году редет. Там, где некогда (когда некогда? — В. С.) луг давал до тонны превосходного сена с гектара, теперь получают 2—3 центнера.

Парадоксальное явление — у лугов, этих бесценных кормовых угодий, нет хозяина. Во многих колхозах и совхозах специалисты имеют весьма приблизительное представление о состоянии лугов и пастбищ, не знают (забыли, что ли? — *В. С.*) их потенциальные возможности. За редким исключением в хозяйствах, располагающих большими площадями естественных угодий, нет даже планов использования этих богатств, не разработана простейшая (опять — простейшая! — *В. С.*) технология ухода за ними.

Улучшением лугов надо заниматься грамотно. Иначе это вызовет порчу угодий, которые потом придется исключать из дальнейшей эксплуатации. Пример такого «улучшения» — распашка легких почв на зимних пастбищах «Черные земли», которая привела к сильной ветровой эрозии. Пески из Прикаспия двинулись в глубь калмыцких степей. Только продолжительный отдых и интенсивное залужение пашни многолетними травами способны возродить пастбища».

В приведенном отрывке А. Дударь коснулся и другого, наверно, все-таки главного вопроса — урожайности луговых угодий.

В министерстве я спросил у специалиста: какой урожай травы на лугу он считал бы если не оптимальным, то желательным? Работник министерства подумал, подумал и сказал: «Семьдесят центнеров зеленой массы с гектара — это было бы хорошо».

Для людей, слышавших о зеленой массе впервые, поясню, что урожай травы исчисляют тройко. Можно свешать траву как таковую, и это будет зеленая масса. Можно траву сначала высушить, превратить в сено, и тогда цифра будет другая, а именно: из пяти килограммов травы получается один килограмм сена. А еще иногда исчисляют урожай в условных кормовых единицах. За одну кормовую единицу принята питательность одного килограмма овса. Тогда получается, что трава лесная содержит 0,17 кормовых единиц, то есть 100 граммов такой травы заменяют 17 граммов овса. Килограмм травы заменяет 170 граммов овса. И таким образом, чтобы полностью заменить один килограмм овса, нужно взять травы лесной 5900 граммов, почти 6 килограммов.

Сено, оказывается, питательнее свежей травы. Так, например, одну кормовую единицу содержит: лугового сена 2,4 килограмма, заливного — 2,1 килограмма, степного — 1,9 килограмма.

Один килограмм овса заменяет: картошки 3,3 килограмма, моркови — 7,7 килограмма, свеклы сахарной — 3,8 килограмма, турнепса и кормового арбуза — 11 килограммов, кабачков — 14,2 килограмма.

Изучение подобных таблиц дело не только интересное, но и полезное. Так, дойдя в таблице до разных соло, я понял все значение так называемых средних цифр и условных эквивалентов, которыми очень часто питается статистика. Оказывается, килограмм пшеничной соломы содержит 0,20 кормовой единицы и, таким образом, питательнее и ценней как корм почти всех свежих только что скошенных и еще обрызганных росой сочных, папичканых всевозможными фитонцидами, витаминами, эфирными маслами, глюкозидами, алкалоидами, хлорофиллами, ферментами и нектарами трав. Питательнее моркови, кормовой свеклы, тыквы, более чем в два раза питательнее кормовой капусты, вико-овсяной смеси, люцерны, эспарцета, равноценна клеверу красному и кукурузе. Вот что такое обыкновенная солома с точки зрения кормовой единицы. Правда, можно догадаться, что кормовой арбуз, морковь, красный клевер и свекольную ботву корова будет уплетать с большей охотой, нежели ржаную солому, но зато если вам надо написать отчет о заготовке кормов, то очень удобно этот отчет выразить в условных кормовых единицах. Вот жаль только, что молоко должно быть не условным молоком, а натуральным, питательным и душистым.

О том, что молоко зависит от корма, напоминать, наверное, не надо. Но все же упомяну о двух случаях. Утрачено качество швейцарского сыра на его родине в Швейцарии оттого, что коров стали кормить однообразными, унифицированными кормами вместо горного швейцарского разнотравья. Ценность особого, знаменитого барабинского масла зависела, оказывается, не от рецепта его приготовления и не от породы скота, но от особого букета трав, обитающих в барабинской степи. О кормовых единицах тогда не имели никакого представления.

Можно кормить человека одним свиным салом (огромное количество калорий!), не давая ему ни ягодки, ни петрушечки, ни гриба, ни огурца, ни молока, ни хлеба, ни рыбы, ни редьки, ни мяса, ни капусты, ни яблока. Четверо наших ребят, оказавшиеся в океане в бедственном положении, как известно, съели гармонь, которая тоже содержала, наверное, подобно соломе, какую-то часть кормовой единицы, а может быть, и целую кормовую единицу.

Я всегда вспоминаю об этих фактах, когда вижу, что луговое разнотравье постепенно подменяется травами сеянными, занимающими пахотные земли, то есть поля, где полагается расти хлебам: ржи, пшенице, ячменю, также гречихе, льну, гороху, а из кормовых культур тому самому овсу, который является кормовой единицей.

Какие же обстоятельства побуждают наших современных земледельцев занимать пахотные земли под травы, под зеленый корм? Несколько обстоятельств. Вот первое из них: укосная площадь сократилась в два раза. С тридцати миллионов гектаров до шестнадцати. Второе обстоятельство — чрезвычайно низкая урожайность наших лугов вследствие их запущенности и отсутствия, как мы недавно цитировали, простейшего ухода, простейших правил пользования.

Но улучшение лугов дело очень хлопотливое и трудоемкое. Надо срезать кочки, надо изводить кустарник, надо подсевать нужные травы, надо заводить дождевальные установки, надо организовывать, где это можно и нужно, лиманное поливание, которое, говорят, широко практиковалось в прежние времена, надо, наконец, удобрять.

Об уходе за лугами пишут немало. Для примера несколько выписок.

«На XXIV съезде КПСС подчеркивалась необходимость всемерного укрепления кормовой базы как одной из главных предпосылок дальнейшего ускорения развития животноводства... Огромный кормовой резерв — повышение продуктивности естественных лугов. Значительная часть угодий находится пока в запущенном состоянии, но планы залужений сенокосов и пастбищ выполняются далеко не везде».

«Близится пора сенокоса»  
(Передовая статья газеты «Правда»,  
1972, 11 мая.)

«Получать дополнительные корма, наращивать их производство только на пашне — нельзя. Это может привести к сокращению посевов зерновых культур... Немедленно создать 1 150 000 гектаров высокопродуктивных лугов и пастбищ. Задача реальная, посильная, но она требует четкой организации дела, расторопности, высокой ответственности. Не все, к сожалению, готовы принять и выполнить эти требования... Во вторую весну пятилетки луговые, все земледельцы Российской Федерации вступили

ли с твердой решимостью достигнуть более высоких рубежей в кормопроизводстве. В этом помогает им развернувшееся массовое соревнование в честь 50-летия Союза ССР».

«Наши луга и пастбища»  
(Передовая статья газеты «Советская  
Россия», 1972, 28 апреля.)

«Не зная, в каком состоянии пастбища, нельзя приниматься за их исцеление... Как за эти годы изменился растительный клевер, каков нынешний состав трав — ясности нет. Было время, когда здесь родили и прорастали такие высокоценные кормовые растения, как житняк, прутняк, грубая люцерна, типчак и другие, и с каждого гектара собирали до сорока центнеров кормовой массы, а теперь выпасы оскудели, урожайности на многих участках снизились... Луга — огромный источник дешевых кормов, большой резерв для увеличения производства молока, мяса, шерсти».

«Лугу нужен технолог». А. Дударь,  
кандидат сельскохозяйственных наук,  
Ставропольский край («Правда»,  
1972, 25 января.)

Из этих выписок картина, по-моему, проясняется. Урожай трав на обширнейших российских лугах чрезвычайно низок, а повышать его — дело хлопотное. Оно требует «четкой организации, расторопности, высокой ответственности». Но корма нужны, потому что надо выполнять план по мясу и молоку. Где же их взять? Очень просто — сеять траву на пашне, отняв эту пашню у зерновых культур, у хлеба. А где же взять хлеб? Об этом пусть заботится государство. Где-нибудь да возьмет! Оказывается, из-за плохого состояния лугов одна третья часть пашни идет под травы.

«И что удивительно,— пишет П. Усынин в газете «Советская Россия», — даже в хозяйствах лесолуговой зоны, где хороши природные кормовые угодья, посевы кормовых трав стали, по сути дела, основным источником грубого и зеленого корма... В 1969 году под кормовыми культурами было занято в Вологодской области 54,5, Псковской — 48, Калининской — 37, Смоленской — 35 и Рязанской — 34 процента основных площадей. В то же время обеспечение скота кормами в зимовку 1969/70 года по хозяйствам этих областей не превышает 60—80 процентов потребности».

Теперь назовем еще одну цифру. Всего под кормовые

культуры в РСФСР занято тридцать шесть миллионов гектаров пашни. А в Казахстане распахано под пашню двадцать миллионов гектаров травы. Встречные перевозки.

Не будем уж говорить о побочных результатах такой перевозки, как-то эрозия распаханых почв в местностях с сильными ветрами, нарушение биологического равновесия на грандиозном участке планеты, огромное количество перемолотой техники... Нет, в эти проблемы мы вдаваться не будем. И так уж мы увлеклись и далеко отошли от главного и скромного предмета нашей книги — от травы, которая называется, как видим, то травой-муравой, то верблюжьей колючкой, то ночной фиалкой, то бурьяном, то незабудкой, то крапивой, то колокольчиком, а то ковылем, то по-обиходному — цветами, а то по-агрономически — разнотравьем, а то по справедливости — чудом, то по производственному — зеленой массой.

\* \* \*

В Главном Ботаническом саду (в Москве) много сотрудников, много и телефонов. Я обзавелся номером одного из них, и это оказался телефон девушек — экскурсоводок в оранжерее. Трубку снимала то одна, то другая, и вскоре я стал различать девушек по голосам, по крайней мере двух экскурсоводок — Галю и Любу — я узнавал сразу. Надо-едал же я им одним и тем же вопросом: «Когда зацветет виктория-региа?»

Вернее сказать, этот вопрос я задал при первом разговоре, при первом телефонном знакомстве, а потом они уже знали, зачем я звоню, и мне достаточно было спросить: «Ну, как?»

Меня уверили, что события надо ждать не раньше конца июня, а то и июля и что мне сразу же позвонят и вообще будут держать, что называется, в курсе. Поэтому, когда я так, на всякий случай набрал номер в последних числах мая (скорее для поддержания знакомства и чтобы меня не забыли) и услышал, что она вчера уже отцвела, то я воспринял это чуть ли не как предательство. Не со стороны виктории-регии, конечно, но со стороны девушек — экскурсоводок, обещавших предупредить меня о столь выдающемся событии. Ведь в других, я слышал, городах и странах, особенно в Германии, о предстоящем цветенье виктории-регии извещается даже в газетах. И в Ленинграде, кажется, тоже. Ну, не на первой странице, не там, где выполнение производственных норм и планов, не рядом

с политическими событиями, а где-то в конце и не в главной, возможно, газете, а лишь в вечерней, но тем не менее.

Однако девушки, разочаровав меня, тут же и успокоили:

— Да вы не волнуйтесь. Это ведь отцвел только первый бутон. Теперь она будет цвести бутон за бутоном до сентября. Звоните, интересуйтесь...

Вот я и звонил и надоедал своим коротким вопросом: «Ну, как?»

— Приезжайте, — наконец было сказано мне, — бутон уже начал раскрываться, сегодня вы все увидите.

— В котором часу?

— Да хоть сейчас. Чем скорее, тем лучше.

Мы привыкли время дня расписывать по событиям и часам. Значит, так. В час дня мне надо быть в одной редакции. В половине первого я обещался заехать в книжный магазин. Сейчас половина одиннадцатого... как раз успеем заскочить в Ботанический сад, взглянуть на чудо из чудес — на викторию-регию и мчаться дальше по лабиринтам и заранее расчерченным клеткам московского дня.

Тут привмешался еще дополнительный психологический момент. Такое событие, такое зрелище! Хочется кого-нибудь им угостить. Звоню одному приятелю (поэту), торопливо, захлебываясь сообщаю:

— Понимаешь, виктория-регия, чудо из чудес... Один раз в жизни, надо же посмотреть... Царица... в белоснежных одеждах... Я сейчас еду, хочешь?

— В котором часу?

— Да сейчас же... Хватай такси и жми к входу в Ботанический сад. Знаешь, где башенки...

— Какие башенки?

— Ты что, никогда не бывал в Ботаническом саду?

— Не бывал. Какие башенки?

— Ладно, таксист найдет. Через тридцать минут встречаемся. А в половине первого и мне надо в другое место.

— Нет. Сейчас не могу, — вдруг вспомнил приятель. — Обещали запчасти. Амортизатор. Редчайший случай, никак нельзя упустить. Давай завтра.

— Завтра будет уже поздно.

— Жаль, но сейчас я не могу. Понимаешь... амортизатор. Умелец принесет на дом и сам же поставит. Не могу

Скорее звоню другому приятелю (редактору):

— Виктория-регия... Чудо... Посмотреть хоть раз в жизни.

— Пожалуй, я смогу подскочить, а куда?  
— Ботанический сад... Желтые башенки, знаешь?  
— Знаю, но, по-моему, они не желтые, а белые. Хорошо, через тридцать минут буду, не опаздывай. А то у меня в двенадцать часов летучка, а потом подписывать номер...

Так, между делами и хлопотами помчались мы с разных концов Москвы к белым (или какие они там?) башенкам у входа в Главный Ботанический сад, надеясь в порядке все той же московской суеты взглянуть на чудо, на царицу в белоснежных одеждах, вдохнуть на бегу ее аромат и мчаться дальше и говорить потом, что мы видели, как цветет виктория-регия.

День был жаркий, душный, и, уже выходя из машины, мой приятель вытирал платком виски, лоб и шею. Он был постарше меня и поплнее. Кроме того, гипертония. Кроме того, вчера вечером ему как лицу официально пришлось принимать иностранного гостя, и теперь он больше всего мечтал о бокале холодного какого-нибудь напитка.

А время начинало поджимать. Быстро, через обширный розарий, насыщенный густым ароматом тысяч пышно цветущих роз, мы шли к так называемой фондовой оранжерее Главного Ботанического сада. В плотных розовых испарениях мой приятель почувствовал себя совсем плохо, но главное было впереди.

Как только нас провели в помещение собственно оранжереи, так и охватило нас влажное, душное тропическое тепло, по сравнению с которым летний московский день — сама прохлада и легкость. Пальмы и кактусы, кофейные деревья и какао, лианы и гигантские молочаи, орхидеи и рододендроны, бананы и бамбук, агавы и юкки — все это дышало, цвело, пахло в парной атмосфере искусственных тропиков, и я (не принимавший накануне иностранного гостя) понимал, что мой спутник здесь долго не выдержит.

Между тем мы вошли в помещение с бассейном, имитирующим уголок мелкой тропической заводи с антуражем из тропических же растений по берегам.

Такого потока парной воды, какой представляет собой Амазонка, нет больше на земном шаре. На двести пятьдесят километров в ширину расплескивается этот поток, прежде чем исчезнуть в необъятном (и парном же) Атлантическом океане. На протяжении тысяч километров Амазонка течет



не в строгих берегах, но дробится на протоки и рукава, образует обширные заливы и заводи. Нетрудно догадаться, как прогревается вода в амазонских заводях, если они почти не текут и по глубине меньше метра, по колено человеку, когда бы мог там оказаться человек и когда бы он рискнул встать на илистое дно в почти горячую воду, кипящую разными ядовитыми тварями. Надо полагать, эти заводи обширны (в масштабах самой реки), иначе не водилась бы там (и только там) виктория-регия, один экземпляр которой в полном и пышном его развитии занимает водную поверхность в сотни квадратных метров.

Можно представить себе состояние немецкого путешественника и ботаника Генке, когда он в 1800 году, пробравшись на весельной лодке в глухие амазонские джунгли и выехав однажды из тенистой протоки, увидел вдруг первым из европейцев на широких просторах тихой заводи эту гигантскую лилию... «Силы небесные, что это?!» — закричал будто бы он.

Генке долго не мог уехать из чудесного тропического затона, не мог оторваться от созерцания царицы цветов, обнаруженной им, не мог покинуть ее. По пути же к людям, в обыденный человеческий мир с его городами и государствами, академиями и музеями, книгами и газетами, он погиб, ничем не раздробив в своей душе неправдоподобный и как бы даже приспавшийся образ амазонской красавицы. Только его спутник испанский монах отец Лакуэва, разделивший с Генке созерцание сказочного цветка и уцелевший, добравшийся до людей, рассказал потом о виденном чуде.

Когда же девятнадцать лет спустя второй европеец, а именно француз Бонплан, увидел, стоя на высоком берегу, заводь с огромными цветами и листьями, он в безотчетном восхищении едва удержался от того, чтобы броситься в воду.

Еще через восемь лет француз же д'Орбиньи третьим из цивилизованного мира лицезрел царицу цариц<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Тем не менее честь названия вида принадлежит другим ученым. Англичанин Роберт Шомбург назвал ее (нимфея виктория), а Линдлей в 1837 году поправил Шомбурга и дал виду окончательное название — виктория-регия — то есть виктория царственная, виктория королевская. Виктория — в честь английской королевы, а царственная — по существу.

Иногда называют ее *Victoria amazonica* (амазонская, по месту обитания и обнаружения).

причем заросли ее простирались на целые километры.

Ну а у нас тут не обширная заводь, а бассейн, если мерить на квадратные метры, то метров, пожалуй, сорок, то есть, скажем, десять метров в длину и четыре в ширину. В тесной клетке сидит пленная царица под стеклянным потолком, в искусственно подогретой воде, а корнями — в кадке с землей, погруженной в воду.

Да, виктория не цвела<sup>1</sup>. Ее бутон продолговатый, овальный, заостренный кверху, величиной ну, скажем, с две ладони взрослого человека, если сложить их ладонь к ладони, а потом в середине между ними образовать пустоту, как бы для яблока, бутон этот, правда, слегка раздался, приоткрыв четыре щелочки (по числу зеленых чашелистиков), и уже показалось в этих щелочках нечто ярко-белое и словно шелковое, но до цветения было еще далеко.

— Да вы подождите, — ободряли нас девушки, она ведь если начнет раскрывать цветок, то быстро... Погуляйте у нас, посмотрите на другие растения... Мы вас проводим, покажем. А она тем временем расцветет. Она, может быть, и сейчас бы уже цвела, но, видите, погода нахмурилась, солнце скрылось за облаками, а она очень чувствительна...

Гулять и разглядывать другие растения нам было некогда. У него летучка, подписывать номер, а у меня... Я-то мог бы отменить свои дела, остаться и ждать до по-

---

<sup>1</sup> Объяснимся и уточним. В московском Ботаническом саду культивируется в неволе, то есть в оранжерейных условиях, виктория круциана (*Victoria cruziana*), разновидность виктории-регии, отличающаяся от нее незначительными видовыми признаками.

Существует множество разновидностей березы, картошки, несколько разновидностей льна (голубое цветенье) или белого гриба. Однако если бы демонстрировать на другой планете, то на любую разновидность смотрели бы обобщенно, как просто на березу, на картошку, на лен, на белый гриб. Право же, виктория круциана отличается от виктории-регии не больше, чем белый гриб еловый от белого гриба борового или лен-кудряш от льнадолгунца, а может, даже и меньше.

Мы, не ботаники, привыкли к сочетанию слов виктория-регия, и писать все время виктория круциана даже сопротивляется рука. В то же время называть викторию круциану викторией-регией было бы ошибкой, неточностью. Поэтому в дальнейшем в очерке будем называть растение просто викторией.

бедного конца, но уж если приехали вместе... В душе я пожалел, что приехал не один.

— В другой раз, в другой раз.

— У вас маленьких никого нет?

— Как же нет? А Наташа! Шесть лет, седьмой.

— Так вы привозите ее, сфотографируем сидящей на листе виктории. Получится очень красиво. Вы сами фотографируете? У вас есть фотоаппарат? Советуем. Такая возможность.

— Как это на листе? Я думал, что об этом только в книгах пишут.

— Что вы! Больше семидесяти килограмм выдерживает лист виктории, плавая на воде. А девочка... Это же получится настоящая дюймовочка!

...Наташу мы одели в нарядное голубое платье. Но этого было мало. Я терпеть не могу любительских фотографий. Из-за этого, собственно, я перестал заниматься фотографией, хотя начинал одно время, когда работал в «Огоньке», и даже сам иллюстрировал некоторые свои очерки. Я и до сих пор люблю фотографию, особенно черно-белую, хожу на выставки, листаю фотоальбомы, издающиеся в разных странах. Но я люблю фотографию именно как искусство и терпеть не могу любительских фотографий, где ни плана, ни кадра, ни освещения, ни композиции, не говоря уж о мысли. Поэтому и бросил, что надо либо заниматься всерьез, либо не заниматься совсем.

Между тем идея сфотографировать девочку на листе виктории понравилась мне. Тогда я вспомнил свои огоньковские годы и всех фотомастеров этого журнала, с которыми приходилось вместе работать, и стал думать, кому бы позвонить. Замечательный пейзажист Борис Кузьмин.. Великолепный мастер Тункель (путешествовали с ним по Албании и по Киргизии), Миша Савин... А вот что, позволю-ка я, пожалуй, Галине Захаровне Санько. Не только потому, что месячная поездка в Заполярье как-никак сдружила нас, а потому, что ведь ей принадлежит этот очаровательный снимок, обошедший тогда многие журналы и выставки: девушка в военной форме (гимнастерка, юбка, сапоги) сидит в лодке и держит на коленях букет белых водяных лилий. Вокруг лодки все те же лилии.

«Я как увидела, — рассказывала Галина Захаровна, —

думаю, это то, что надо. Добавили лилий в букет, велела ей юбочку подобрать немного повыше, чтобы коленочки показать, а коленочки у нее были первый сорт, глазки попросила потупить...»

Эта знаменитая в свое время фотография (семь тысяч писем с просьбой прислать адрес девушки, главным образом от солдат) по прямой ассоциации, поскольку виктория близкая, хотя и царственная, родственница наших кувшинок, тотчас привела меня к воспоминанию о Галине Санько. Делом одной минуты было узнать ее телефон.

— Володечка, как это вы вспомнили обо мне? — послышался как будто не изменившийся, характерный, немного скрипучий голос Галины Захаровны. — Ведь не звонили двадцать пять лет...

— Да так уж вот, вспомнил. Между прочим, есть просьба...

— Я стала тяжела на подъем. Кроме того... В котором часу это будет? В двенадцать? Имейте в виду, что в половине второго мне надо опять быть дома. Ко мне придут.

— Я за вами заеду, и я же отвезу вас обратно. Вам не придется ни о чем беспокоиться. За время и транспорт отвечаю я.

— На таких условиях я согласна и даже рада буду сделать это для вас.

— В половине двенадцатого — я около вашего дома, диктуйте адрес...

Крупная, полноватая Галина Захаровна изменилась за двадцать пять лет меньше, чем можно было предполагать. Ее увесистый кофр с аппаратурой был уже собран, я повесил его на плечо, и мы пошли к машине.

Прогнозы девушек-экскурсоводок были самые оптимистические: «Приезжайте скорее, а то прозеваете!» Тем не менее, войдя в помещение бассейна, я опять увидел все такой же бутон, правда, четыре щели с проглядывающей в них белизной были пошире, чем в первый раз, но все же это был не цветок, а бутон.

Тут впервые подошла ко мне (без нее и нельзя было бы теперь обойтись в рассуждении фотографирования) Вера Николаевна, милая тоненькая женщина, хозяйка виктории, то есть научная сотрудница, за которой закреплено

это растение и вообще весь этот уголок водяных тропиков.

— Удивляюсь, зачем они гоняют вас сюда по утрам, — сказала Вера Николаевна, — не знают, что ли? Наверное, не знают. Экскурсии они водят по многим помещениям оранжереи, и все быстрее, быстрее. Дело в том, что по ней можно проверять часы, она распускается в четыре двадцать.

Ну вот, опять я связан обещанием с другим человеком. Обязан отвести Галину Захаровну домой. И Наташе будет скучно здесь: четыре часа до цветенья, да четыре часа во время цветенья. Да и сам я, откровенно говоря, не мог в этот день распорядиться таким продолжительным временем.

Но все же особой спешки сегодня не было, и, пока Галина Захаровна ходила вокруг бассейна и взглядывала на него со всех сторон профессиональным, наметанным взглядом, прикидывая точки зрения и ракурсы, я мог подробнее разглядеть растительность в этом маленьком тропическом водоеме. Первыми бросаются в глаза разноцветные кувшинки. Они здесь не как наши, желтые «кубышки», производящие несколько кургузое впечатление, и даже не как наши белые водяные лилии с коротковатыми лепестками, но изящные, умопомрачительной красоты цветы, поднимающиеся из воды на тонких стеблях. Лепестки у них длинные, узкие и заостренные, образуют... как бы это сказать... не розетку, подобно нашим кувшинкам, но бокал. Нежно-розовые, ярко-розовые, красные, лиловые, они цвели там и сям в бассейне, причем цветы не лежали на воде, как обычно бывает у кувшинок, но отстояли от водяного зеркала, были подняты над ним, как будто специально для того, чтобы лучше в нем отразиться.

В воде плавали небольшие черепахи и радужно поблескивали всеми цветами от синего до ярко-зеленого, от пурпурного до ярко-желтого крохотные рыбешки гуппи.

В одном месте поднимались из воды стебли лотоса с округлыми листьями, не лежащими на воде, но находящимися довольно высоко над ее поверхностью. На отдельном стебле среди этих листьев подобно наконечнику стрелы (и очень похож на него) выступал из воды лотосовый бутон.

— Советую не полениться и приехать, когда этот бутон распухнет, — сказала Вера Николаевна, — это произойдет еще не скоро, месяца через два. Он делается большим.

А цветок по красоте не уступит любому из этих, в том числе и нашей царице.

(Забегая вперед, скажу, что я ездил смотреть на лотос, и тоже несколько раз. Неудача состояла в том, что в те дни, когда ему цвести, отключили по каким-то причинам подогрев воды в бассейне, и лотос, совсем уж собравшийся расцвести, остановился в стадии бутона, готового вот-вот раскрыть свои лепестки. Бутон был розовый, островерхий, достигший размеров наконечника уже не стрелы, а копья. Я, когда подошел, стал искать его глазами около воды, где он находился сначала, но, оказывается, стебель поднял его почти на метр, сравнительно с тем днем, когда мы приезжали в оранжерею с Галиной Захаровой).

Были там и еще какие-то экзотические растения с большими листьями, с лопухами, но они не цвели, и я их не запомнил. К тому же, водяное чудо, ради которого мы приехали, затмевало все и требовало смотреть лишь на него.

На воде лежали яркие свежей сочной зеленой яркостью листья размером с обыкновенный круглый обеденный стол. Они были не овальные, не продолговатые, не сердцевидные, по именно круглые. Про наши кувшинки тоже можно огрубленно сказать, что у них листья круглые, но круглые ли они? Эти, на которые мы теперь смотрели, можно бы выверять циркулем, раздвинув его на метр. Да, каждый лист был около двух метров в диаметре. Каждый лист имел по краю строго перпендикулярный заборчик, высотой сантиметров около семи. Не то чтобы край листа производил впечатление загнутого кверху, нет, нет, лист обнесен по краю, по всей своей окружности строго перпендикулярным и, как видим, довольно высоким заборчиком.

Таких листьев на воде в тот день лежало восемь, и они занимали почти всю поверхность бассейна. Стебли расходились от одной точки радиально — ведь здесь рос единственный экземпляр виктории. Я увидел, что от той же точки в воде расходятся черешки, которые не оканчиваются листом, и спросил у Веры Николаевны, что это значит.

— Обрезаем. Если не обрезать, где бы они поместись? Ведь только после того как она выгонит двадцатый лист, начинают появляться бутоны. А всего она дала бы листьев восемьдесят.

— Какую же площадь заняли бы листья одного только экземпляра виктории?

— Посчитайте... Если принять для удобства диаметр листа за два метра... Радиус умножьте на 3,14 (число «пи»), значит, площадь листа получится около трех квадратных метров, да еще придется учесть промежутки между листьями... Я думаю, если бы ее не теснить, метров четырехста под солнцем она бы себе захватила.

— Отрезаете лист за листом и куда их деваете?

— Прimitивно выбрасываем.

— Такое чудо природы?!

— Что же с ними делать? Поросят у нас нет, коровы тоже не держим. Они, ее листья, снизу в острых шипах и грубых прожилках до нескольких сантиметров толщиной, как веревки. У регии весь лист снизу красного цвета, а у нашей красные только прожилки. Один из главных отличительных видовых признаков.

Однако займемся делом.

Вера Николаевна принесла большой, но легкий фанерный диск, окрашенный в зеленый цвет. Этот диск она положила на лист виктории, и он занял как раз всю площадь листа, словно бы вырезан точно по мерке.

— Для устойчивости, — пояснила хозяйка виктории, — считается, что лист выдерживает семьдесят килограммов, даже больше, и это правда. Но только если груз распределить ровно по всей поверхности, например, насыпать ровным слоем песку. Или положить вот такой фанерный круг, а на него уж и груз. Если же ходить по листу ногами, то, сами понимаете, он будет проминаться, прогибаться, колышаться, зачерпнет воды и скорее всего порвется. Прочный-то он прочный, и плавучесть у него великолепная, но все же это ткань живого листа, а не какая-нибудь деревяшка. Такую девочку, как Наташа, он легко выдержал бы и без фанерки, но она испугается, если он под ней будет колышаться и гнуться, так что давайте уж лучше с диском.

Вера Николаевна пыталась установить в воде алюминиевую стремянку в шесть ступенек, чтобы встать на нее и пересадить девочку с края бассейна на лист, но что-то не ладилось со стремянкой, тогда Вера Николаевна махнула на нее рукой, подобрала под поясок свое легкое платье, сделав из него мини, и так вошла в воду.

Галине Захаровне все было мало. Она и забегала отсюда, и пригибалась там, то и дело щелкая затвором камеры, и все ей было мало.

Я давно знаю эту дотошность, цепкость, въедливость, а вернее сказать, добросовестность фотохудожников-профессионалов. Помню, как в Киргизии перед Тункелем прогнали отару по долине раз пятьдесят взад-вперед, пока мастер удовлетворился кадром, а молодая киргизка-учительница, которую ему хотелось снять говорящей, сто раз начинала одну и ту же фразу: «азыр арифметика»... то есть, видимо, «начинаем урок арифметики». У меня до сих пор в ушах это «азыр арифметика», хотя прошло с тех пор двадцать шесть лет.

Но Наташа вдруг сникла на листе виктории, то ли боязно было ей там сидеть, то ли надоело. На бесконечные: «А теперь сюда погляди, деточка... А теперь сюда, деточка... Ну взгляни, ну улыбнись, деточка...» — она угрюмо и упрямо смотрела вниз, не поднимая своих синих спящих глазок. Скорее всего она боялась, хотя потом свое настроение объяснила очень просто. Будто бы на лист подтекла вода и ей будто бы жалко было замочить свое новое платье.

...После всех этих поездок, а вернее сказать, наскоков в Ботанический сад я понял только одно: мы живем в одном, в своем темпе и ритме, а виктория — в своем... Нам скорее надо мчаться в магазин, в редакцию, в центр города, на встречу с друзьями, по разным делам, нам некогда или скучно стоять на одном месте и глядеть на цветок три четыре часа, а виктории никуда ни спешить, ни бежать не надо. У нее свое представление о времени и о смысле бытия. Значит, для того чтобы войти с ней хотя бы во внешний контакт, надо принять ее условия игры, подчиниться ее темпу и ритму. Поэтому на третий раз я приехал к ней один, полностью освободив остатки дня и вечер, с намерением простоять около цветка столько часов, сколько понадобится.

Анекдот про японцев (действительный случай, звучащий анекдотически) стал уже общим местом. Как они привезли европейских туристов на поляну, с которой хорошо видна гора Фудзияма, и оставили их там на несколько часов. А когда туристы возроптали: «Мы приехали Японию смотреть, а не сидеть без дела на одном месте», японцы вежливо возразили и показали программу. В программе было написано: с девяти утра до одиннадцати тридцати — любование.



Так вот — любование. В этом весь секрет постижения красоты. Согласитесь, что если человека привезти на берег моря, показать ему катящиеся валы прибоя, а через минуту увезти от моря подальше — это одно. Если же человек просидит на берегу несколько часов или проживет несколько дней, то это, согласитесь, совсем другое. Все сходится на том, что на море можно смотреть часами, равно как на огонь или на водопад. Весь комплекс моря с его синевой, запахом, шелестением или грохотом волн, игрой красок, шуршанием гальки, с необъятным простором, с корабликами, проплывающими вдаль, с чайками и облаками — все это наполнит вас, очистит, облагородит, останется навсегда, чего не произойдет, разумеется, если взглянуть и тотчас уйти или увидеть из окна поезда.

Каждый раз, когда я видел что-нибудь очень красивое в природе: цветущее дерево, цветочную поляну, светлый быстрый ручей, уголок леса с ландышами в еловом сумраке, закатное небо с красивыми облаками, россыпь брусники вокруг старого пня, ночную фиалку среди берез, каждый раз, когда я видел что-нибудь красивое в природе, у меня появлялось чувство, похожее на досаду. «Господи, — говорил я, — такое мне дано, но ведь с этим же что-то делать надо!» А в это время идешь куда-нибудь по делу, хотя бы по грибы или на рыбную ловлю, и проходишь мимо красоты с чувством неудовлетворенности и досады: что-то надо было с этим делать, раз оно тебе дано, а ты прошел мимо, не зная, что делать.

Потом я понял, что нужно: остановиться и смотреть. Любоваться. Созерцать. Остановиться, не на двадцать минут (которые тоже можно считать продолжительным временем), потому что если остановишься на двадцать минут — не избавишься от зуда движения, так тебя и будет подмигивать двинуться дальше, нет, остановиться перед красотой надо, не думая о времени, отключившись от времени, остановиться не меньше чем на два часа. Только тогда красота как бы пригласит тебя в собеседники, только тогда возможен с ней глубокий духовный контакт, а значит, и радость удовлетворения.

Это касается и красоты другого порядка. С удивлением смотрю я на толпы туристов, поспешно и в тесноте пробегающих по залам картинной галереи. Что же можно увидеть, что же можно постичь? Название картин? Рамы? Внешний сюжет? Суриков часами сидел в одиночестве перед грандиозным полотном А. Иванова в Третьяковской галерее.

Павел Дмитриевич Корин проводил в неподвижности часы перед полотнами Сурикова, в частности перед «Боярыней Морозовой», а также перед мастерами Возрождения Италии.

Однажды, будучи еще студентами, мы с товарищем (теперь известным писателем) провели эксперимент, уговорились и простояли полдня перед картиной Левитана «Над вечным покоем», хоть и до этого знали ее наизусть. В конце концов я почувствовал в себе поднимающуюся волну тревоги, любви, тоски, безотчетной готовности к любому свершению. В это время товарищ повернулся ко мне, и я увидел в его глазах слезы. А сколько раз до этого останавливались перед картиной, говорили: «Да, здорово» — и бежали дальше?

Сергей Никитин, писатель, живший во Владимире, рассказывал мне о его, так сказать, отношениях со знаменитой церковкой Покрова на Нерли.

«Первый раз мы приехали к ней человек пять: Сергей Ларин, Никифоров, другие наши писатели. Захватили, конечно, выпить, два пол-литра. Расположились на травке, выпили, закусили. Ну, друзья, поглядели, хватит, поехали домой. Поставили галочку в уме: видели Покров на Нерли. А теперь я приезжаю один. Посидишь часа три-четыре напротив нее на бережке, чтобы и отражение ее тоже видеть, и словно светлой водой омоешься. Я постепенно к этому пришел, а сперва все насоком. Привезешь гостя какого-нибудь показать, обойдем вокруг нее с разных сторон, взглянем, и делать больше нечего — обратно в город. А теперь как на свидание к ней езжу, когда на душе тяжело, или тревога какая, или неудача... Красота душу лечит...»

Тем более все это касается древнерусской живописи. «Не понимаю я красоты этих икон и никогда не пойму!» — то и дело слышишь от людей, не чуждых как будто искусству, культуре, образованных, по крайней мере. Не угодно ли часы, часы провести перед одной-единственной иконой (да еще учтя, что художник создавал ее в расчете на полумрак и специальное освещение — на огонек лампы или свечи), вместо того чтобы категорически заявлять об отсутствии в иконе красоты и духовности. Надо дожидаться — повторю, — когда красота сама пригласит тебя в собеседники, а не скользить по ней суетливым, поспешным взглядом.

В четыре часа пополудни Вера Николаевна ввела меня

в помещение к виктории. С нами вошла и еще одна сотрудница оранжереи, Татьяна Васильевна. Втроем мы остановились на краю бассейна с той стороны, с какой хорошо был виден бутон. Он находился от нас метрах в четырех-пяти. Строго вертикально и как бы даже напряженно поднимался он из воды, округлым основанием касаясь ее зеркала, а острым концом глядя в тусклый стеклянный потолок. Край гигантского листа виктории находился совсем близко от бутона, так что можно было предположить, что если цветок раскроется во весь свой тридцатисантиметровый размах, то одной стороной ему придется упереться в край листа, в его вертикальную стенку, и, видимо, наклониться. Если это произойдет, то наклонится он в нашу сторону. Но пока ничто не мешало бутону стоять четко и прямо.

Бутон в этот раз набух больше, чем в предыдущие мои приезды, так что щели между чашелистиками раздались до сантиметра.

С какой быстротой ни раскрывался бы на наших глазах цветок (розы, одуванчика, любого другого растения), все равно глазом этого движения не увидишь, как не увидишь, например, движения часовой стрелки. Всего час нужно пройти ей от цифры до цифры (очень заметное расстояние), и вы видите, что она это расстояние прошла, но движения ее, как такового, вы все же не видели, хотя бы и смотрели на циферблат неотрывно. Точно так же было и с нашим цветком. Я не видел, не улавливал, как двигаются чашелистики и двигаются ли они, но я видел результат их движения: белые щели между ними расширились и расширились.

Я всегда знал, что растение — живое существо, которое нарождается, растет, вступает в пору зрелости, цветет, оплодотворяется, плодоносит, стареет и, наконец, умирает. Но я впервые увидел, что передо мной действительно живое, шевелящееся существо, шевелящееся не от ветра, а само по себе.

Сработал некий механизм, откуда-то каким-то образом поступила команда — и части цветка пришли в движение. Я посмотрел на часы, на них было четыре двадцать. Не скрою, что озноб и трепет пробежали по мне, словно я прикоснулся к какой-то великой священной тайне.

— Но почему, почему именно в это время? — спросил я ученых-ботаников, разделявших со мной созерцание вик-

тории.— Теплее в оранжерее не стало. Часто ведь именно теплота включает в растениях разные механизмы. Светлее или темнее тоже не стало. Что же сработало, что дало сигнал, где это реле, которое включило викторию, почему именно в это время?

— Так вот же она себя ведет.— Замечательно ответила Вера Николаевна. Эту фразу в тот день я услышу еще несколько раз.

— Но вы же ботаники, ученые, скажите мне — где? Я понимаю: запрограммированность, наследственность, генетический код... Но где? У нас, у людей, хоть мозг, на который можно сослаться. Но вот — листья, вот — стебли, корни, бутон. Семечко, в котором — можно бы предполагать — упакована программа дальнейшего поведения растения, семечко это давно исчезло, проросло, остатки его сгнили, семечка больше нет, скажите же мне, где скрыта программа? Где руководящий центр? Откуда возьмется генетическая программа, которая будет упакована в новом семечке? Откуда пришла команда чашелистикам прийти в движение? Почему после двадцатого листа? Почему в этот час? Почему, где и как?

— Вы можете задать нам еще тысячу «почему», «где» и «как», мы все равно ничего не сможем ответить. Так уж она себя ведет.

— Ведь даже если предположить, что в природе существует какой-то высший или сверхвысший разум (чего мы с вами, разумеется, предположить не можем), все равно нельзя же предположить, что он управляет и командует каждым экземпляром растения в отдельности. Чепуха, вздор. Но тогда — почему, где и как? Извините меня, но я не нахожу для всего этого другого определения, кроме короткого слова — чудо.

Между тем четыре зеленых чашелистика отогнулись настолько, что сверху острые концы их разомкнулись, и в образовавшееся пространство высунулись белоснежные концы лепестков, собранных в плотную щепоть, столбик. Причем лепестки эти, собранные в щепоть, оказались вдруг значительно длиннее чашелистиков, в которые они были до сих пор упакованы.

Был момент, когда «упаковка» отогнулась уже очень сильно, обнажив лепестки во всей их белизне и величине, а лепестки между тем все еще оставались собранными вместе, словно бы слиплись. Вдруг весь этот столбик из лепестков явственно вздрогнул, встряхнулся и разредился.

Тотчас три лепестка с одной стороны и один лепесток поодаль первыми отделились от своих собратьев, отлипли и отогнулись на сантиметр-другой. Подобно все той же часовой стрелке, они незаметно по движению, но заметно по результатам движения начали отгибаться все больше и больше, стремясь принять горизонтальное положение и догнать зеленые чашелистики. И другие лепестки то один, то сразу два стали отделяться от общего пучка и отгибаться вслед за первыми.

Где-то, в научной даже статье, я однажды прочитал, что цветок виктории-регии напоминает цветок магнолии. Вот уж чего он не напоминает, так именно цветок магнолии, если не считать, конечно, что оба большие и белые. Цветок магнолии — белая фарфоровая чаша из нескольких крупных лепестков, а у виктории этих лепестков десятки (около семидесяти), они длинные и сравнительно узкие, ложатся слой на слой, причем каждый верхний слой покороче нижнего, так что самые длинные лепестки — это те, что первыми легли на зеленые чашелистики. Кроме того, и чашелистики и лепестки цветка виктории, можно сказать, переусердствуют в своем распускании и перегибаются за горизонтальную плоскость, несколько выворачиваются. Весь распутившийся цветок напоминает не чашу, а тарелку, перевернутую вверх дном.

— Она сейчас усиленно дышит, — комментировала события хозяйка виктории. — То есть в несколько раз интенсивнее обычного.

— Еще бы... ведь это любовь, акт любви.

— Температура цветка сейчас градусов на десять выше окружающего воздуха и остального растения.

— И вы по-прежнему будете утверждать, что она бесчувственна, что она не живое существо?

— Мы этого и не утверждаем. Как это она не живая, если цветет? Вон еще отгибаются лепестки...

— А кто ее опыляет?

— У нас никто. Растение однодомное, и женские и мужские органы в одном цветке. Сначала в оранжерее мы опыляли ее кисточкой, но теперь и этого не делаем. Все равно пыльца каким-то образом попадает на пестик, и оплодотворение происходит, получают семена. На родине, на Амазонке, виктории помогают опыляться насекомые, конечно, ночные бабочки, ночные жуки. Ведь недаром она распускается перед вечером, в косых лучах солнца. Это ночной цветок. Говорят, что множество жуков наползает

в цветок, а потом перед утром он быстро закрывается и заклопывает жуков, как в ловушке.

— А потом?

— Потом, на другой день, в те же предвечерние часы цветок раскрывается вторично, только уже не белый, как сейчас, а розовый. Жуки вылетают на свободу.

— Гуманно с ее стороны. Царица Тамара, как помним, после брачной ночи женихов велела сбрасывать в Терек. Да и Клеопатра... Что-то похожее рассказывают про нее.

...Не перед телевизором, не на стадионе мы сидели и не в кино, а между тем часы пролетали незаметно, и прошло уже три часа. Рабочий день в оранжерее и вообще в Ботаническом саду давно закончился, все служащие ушли домой. Пришла ночная дежурная и несколько удивилась нашему позднему пребыванию здесь. Татьяна Васильевна несколько раз порывалась сходить к телефону, позвонить домой о том, что задерживается, да так и не оторвалась от цветка.

Вечернее безлюдье и тишина придавали событию некоторую таинственность, интимность. Распустившийся огромный цветок еще более прекрасным отражался в воде. Действительно, ему пришлось упереться в край листа и несколько наклониться в нашу сторону, как бы доверительно и щедро показывая себя.

— Смотрите, он розовеет! Он явственно розовеет.

— Посмотрели бы вы на него завтра. Он будет ярко-розовый.

Белое, начинающее розоветь, живое чудо покоилось на воде и отражалось в ней. На улице, поверх стеклянного потолка стало заметно темнеть. Но здесь в укромном зеленом уголке от распускающегося цветка стало как будто светлее. Рядом с ярким белым цветком словно бы ярче сделалась зелень листьев. Вдруг все помещение под стеклянным потолком наполнилось дивным ароматом — виктория царственная, виктория амазонская, виктория круциана (будем точными) расцвела.

Мы простояли над ней еще около часа. Уходить не хотелось. Сообщницы моего созерцания и любования, постоянные сотрудницы, научные работники Ботанического сада и этой оранжереи признались мне, что они впервые так вот, по-настоящему разглядели викторию и прониклись ее красотой.

— Все на ходу, на бегу, — объяснила Вера Никола-

евна. — Лепестки сосчитать — пожалуйста, кисточкой опы-  
лять — пожалуйста, отцветший бутон в воде марлей обя-  
зать, чтобы семена потом не рассыпались, — пожалуйста,  
лишние листья отрезать и выбросить... Хлопочешь, бега-  
ешь, суетишься. Взглянешь — еще не распустилась. При-  
бежишь через два часа — распускается, бежишь дальше...  
Очень, очень мы вам благодарны!

— Вот так новости! Это я вас должен благодарить.

... С неохотой оторвались мы от созерцания чуда. Едва  
ли не на дыпочках и разговаривая едва ли не шепотом,  
тихонько пошли из оранжерей.

— Значит, утром, вы говорите, она закроется, а к  
вечеру раскроется снова, но будет уже не белая, а ро-  
зовая.

— Ярко-розовая.

— А потом?

— Закроется еще раз и расцветет на третий день  
багрово-красная. И это будет конец цветения. Цветок ля-  
жет набок и начнет погружаться на дно, чтобы там, у дна,  
вызревали плоды.

— Белый цветок первого дня — закрывается, розовый  
цветок второго дня — закрывается, а красный последнего  
дня цветенья? Прежде чем погрузиться в воду, он закрыва-  
ется тоже?

— Иногда закрывается, а иногда нет.

— Почему?

Вера Николаевна пожала плечиками.

— Так уж она себя ведет.

\* \* \*

Трава — сено, трава — цветы, трава-мурава, трава —  
красота, трава — пища, трава — одежда, трава — строи-  
тельный материал, разрыв-трава, плакун-трава, трын-тра-  
ва, трава — неотъемлемая часть природы, трава — загадка  
природы, трава — жизнь... Какие-нибудь и еще можно  
назвать граци у такого понятия, как трава. И все же когда  
я говорил, что собираюсь написать о траве, то в первую  
очередь переспрашивали: «Как, собираешься писать о це-  
лебных травах? Как интересно! Между прочим, есть в Во-  
логодской области одна старуха...»

Даже ведь и Борахвостов, посылая мне свои записочки,  
нажимал на лечебные свойства, на пользование травами, на

исцеление, на заговоры. Так уж получилось, что с понятием о травах связано у людей понятие о их лекарственности, целебности и едва ли не магической могущественности.

В исследованиях о травомедицине (на современном языке она называется фитотерапией) то и дело наталкиваясь на стремление выяснить или, по крайней мере, задаться вопросом, как далеко, в какую седую древность восходит траволечение, и узнаешь, что еще в Древнем Египте, что еще в Древней Греции, что еще в Вавилоне и во времена шумерской культуры... Но, по-моему, на этот вопрос есть и другой, более однозначный ответ. Человек, с тех пор как он существует на земле, знает, что трава бывает полезная и вредная, ядовитая и целебная. Человек начинал с того, что питался травой (плодами, листьями, корешками), все вокруг себя он перебрал и перепробовал на зуб, так ему ли не знать, от которой травы живот болит, а от которой проходит.

Впрочем, ничего не хочу упрощать. Травы, то холодея под росами, то разогреваясь на солнце, колеблемые ветром и омываемые дождем, поблескивающие под луной и хрустящие от мороза, травы, вступающие в общение со всеми без исключения химическими элементами, сущими на земле, а сверх того — со светом, с космическими излучениями и друг с другом, воспроизводят в своих бесчисленных лабораториях такое количество сложнейших химических соединений, что и до сих пор на уровне современной химии и медицины эти соединения изучены очень мало. То и дело читаешь в современных травниках про какую-нибудь траву, растущую у нас под ногами: «химический состав не изучен». На что уж сирень, которой полны палисадники, которая — рубль большой букет, которая красуется в вазонах на каждой дачной веранде, и то читаем о ней в книге Н. Г. Ковалевой «Лечение растениями» (1971): «Растение мало изучено. В цветах найдены эфирное масло, феногликозид, сирингин, сирингопикрин, фарнезол, в коре и листьях — горький гликозид сирингин».

Не думаю, что с самых первых шагов человек, хотя он и был ближе к природе, чем мы с вами, разбирался лучше нас в феногликозидах и фарнезолах. Дело шло, по-видимому, на уровне прикладывания подорожника к нарыву или на уровне черемуховых ягод при расстройстве желудка. Или как олени поедают маралий корень во время гона, дабы вернее и полноценнее исполнить закон продления



вида, или как заболевшая кошка ищет и ест нужную ей траву.

Были на земле люди, были и человеческие болезни. Но не было на земном шаре ни одной таблетки, ни одного шприца, ни одной ампулы. Были одни только травы.

Закон состоит в том, что если есть «да», то, значит, есть и «нет». На всякий яд должно быть противоядие, потому что организм природы един. Это еще в древних ведах записано, что «действительное едино, лишь наши мудрецы дают ему различные названия».

Швейцарец (медик и химик) Парацельс, живший в пятнадцатом — шестнадцатом веках, прямо считал, что если природа произвела болезнь, значит, она произвела и средство против нее, причем искать это средство надо здесь же, поблизости от больного. Парацельс был против иноземных лекарственных трав. Это-то уж, наверное, слишком, но можно согласиться со средневековым швейцарским ученым: от каждой болезни, как бы она ни была страшна, в природе есть верное средство. Надо только его найти или в чистом виде, или путем комбинирования различных средств.

На что агрессивен, вернее, неприступен чеснок! Он убивает вокруг себя все возможные и сущие на земле бактерии и бактерии. Ведь что такое эта головка чеснока для бактерий? Неприступная, несокрушимая крепость. Даже и не крепость, а некий излучающий центр, который убивает на расстоянии. Нельзя не только нанести ему урон, но и приблизиться к нему. Летучие вещества — фитонциды, как это нам понятно теперь, убивают все живое вокруг, как нас убили бы неведомые лучи, исходящие от неведомой звезды, если бы мы захотели к ней приблизиться, или как нас убило бы солнце при попытке приблизиться к его поверхности.

Но, однако, нашлась одна бактерия, которая все же пожирает чеснок. Это чесночница, превращающая крепкую, сочную, смертоносную, неприступную и несокрушимую головку чеснока в мелкую сероватую сухую пыль. Крепость побеждена и рухнула. Она превратилась в порошок. На категорическое «да» нашлось категорическое «нет».

Итак, был человек со своими болезнями и были травы, таинственно заключающие в себе лекарства от этих болезней. И было это равноценно тому, как если бы оказались

друг перед другом гениальная книга и существо, не умеющее читать.

Как начиналось освоение книги, как оно шло, мы не знаем в подробностях и в последовательности. Мы не знаем и того, в какой степени освоена нами эта книга теперь. То ли мы еще учимся читать и разбираем по складам некоторые слова, то ли уже проступают для нас из прочитанного некоторые явления и факты. Так дикарь стал бы осваивать письмо Толстого. Написано: дуб, гостиная, Наташа Ростова, орудие, выстрел, смерть, любовь, Наполеон, Москва...

Но ведь должна еще наступить та стадия, когда начнут пониматься не только отдельные слова, не только сами явления, вычитанные в тексте, но и связь между этими явлениями. Сначала внешняя сюжетная связь, а потом все более глубокие, сокровенные связи. А потом уж проясниться и философия Льва Толстого.

Как бы там ни было, сначала между человеком и травмами, между болезнью и лекарством не стояло никаких посредников. Ни больниц с многочисленным персоналом, ни огромных фармакологических комбинатов. Я не говорю, что это было лучше, я просто говорю, что так было. Человек находил и рвал траву, как собаки и кошки, заболев, убегают и находят для себя какие-то травы. Я много раз видел, как они их едят.

Но правы Ильф и Петров, говоря, что, если в стране обращаются какие-либо денежные знаки, значит, непременно есть люди, у которых этих знаков накоплено много.

Точно так же и с травами: если появились у людей крупницы знаний, драгоценные, воистину золотые крупницы, значит, постепенно нашлись люди, которые насобирали много этих крупниц. Могло получиться и так, что при стихийном распределении обязанностей (охотник, специалист по каменным топорам, хранитель огня) некоторые люди сделались исключительными носителями этих знаний. Они распоряжались ими при жизни, они могли распорядиться ими и на будущее, то есть передать другому человеку по своему выбору или не передать, а унести с собой, в могилу. Они могли называться жрецами, мудрецами, колдунами, ведунами, ведьмами, чаровницами, знахарями... Но они были у всех народов и во все времена. Более того, официальная медицина всех времен, если, конечно, можно так выразиться, всегда опиралась на опыт, накопленный по крупицам. Несколько фраз из предисловия Н. Г. Кова-

левой к ее же книге «Лечение растениями»: «Лечение целебными травами всегда привлекало к себе внимание человека...

Знакомство человека с их лечебными свойствами относится к глубокой древности...

Первые записи о лекарственных растениях встретились в наиболее древнем из известных нам письменных памятников, принадлежащих шумерам, жившим в Азии на территории нынешнего Ирана за 6 000 лет до н. э. ...

Лекари Шумера из стеблей и корней растений изготавливали порошки и настои...

Вавилоняне, пришедшие на смену шумерам в XI веке до н. э., а затем ассирийцы широко использовали растения в лечебных целях...

Вавилоняне применяли сотни лекарственных растений...

Вавилоняне уже тогда заметили, что солнечный свет вредно действует на лечебные свойства собранных растений, поэтому высушивали их в тени, что рекомендуется и современными руководствами по сбору и сушке лекарственных растений...

Источниками сведений о фитотерапии в Египте служат изображения лекарственных растений и иероглифы на стенах храмов, саркофагах и пирамидах. При раскопках захоронений египтян находят остатки сохранившихся до наших дней растений...

Опыт египтян в лечении растениями внимательно изучали врачи Древней Греции, в медицине которой часто использовались растения...

Первое дошедшее до нас обстоятельное сочинение о лекарственных растениях, в котором приведено научное обоснование их применения, принадлежит... Гиппократу. В нем он описал 236 лекарственных растений, которые применялись тогда в медицине... (Он) считал, что лекарственные вещества содержатся в природе в оптимальном виде и в виде соков оказывают лучшее действие на человеческий организм...

В Древнем Риме медицина развивалась под сильным влиянием греческой. В народной медицине римлян... широко использовались дикорастущие, а позднее и сельскохозяйственные растения...

Лечение растениями широко применялось и в странах Восточной Азии: в Китае, Индии, Японии, Корее...

Первая китайская книга о лекарственных растениях, в которой приведены описания 900 видов растений, датирована 2500 г. до н. э. ...

Известный фармаколог, живший в VI веке, Ли Шичжень в 52-х томах своего произведения описал 1892 лекарственных средства, главным образом растительного происхождения...

Издавна использовались растения для лечения и в Индии...

На Цейлоне большой популярностью пользуются врачи народной медицины...

В Монголии, которая располагает богатой флорой...

Тибетская медицина возникла примерно на 3000 лет до н. э. ...

Данные о народной медицине Африки...

В Болгарии произрастает свыше 3000 видов растений, из которых около 500 применяются...

В аптеках Польши всегда имеется большой ассортимент галеновых препаратов...

Французская народная медицина накопила большой интересный и полезный опыт...

Издавна применялось лечение растениями и в Англии...

В Италии, Австрии, Голландии...

В странах Южной Америки...

В Центральной Америке, Австралии...

Одна из самых ранних славянских травниц называлась прекрасным именем — Добродейя. Речь идет о внучке Владимира Мономаха Евпраксии Мстиславовне. Читаем в заметочке в популярном журнале: «С детских лет Евпраксия проявляла интерес к народной медицине, изучала свойства трав, умела готовить лекарства из них. Среди ее пациентов были люди знатные и крестьяне. Очевидно, Евпраксия им успешно помогала, летописи сообщают, что ее прозвали Добродеей».

Но позвольте, что значит: «с детских лет проявляла интерес... изучала?..» Ни с того ни с сего начала наугад рвать то эту траву, то эту и наугад давать разные травы больным людям? Проще предположить, что в детстве кто-то передал ей те золотые крупицы знаний, о которых мы говорили, а вместе со знаниями заронил интерес, привил любовь. В лесную избушку на берегу Днепра бегала княжеская дочка к какой-нибудь знахарке (от слова «знание», «знать»), на княжеском ли дворе какая-нибудь нянька

оказалась носительницей редкостных знаний и выбрала смышленную княгинюшку как наследницу, монашка ли в киевском монастыре, известный ли официальный врач Руси, грек Иоанн Смер, выписанный из Царьграда дедом Добродеи Владимиром Мономахом, успел благословить и напутствовать... Но скорее лечение травами было тогда более обыкновенным делом, чем нам теперь представляется. Вероятно, существовала определенная медицинская культура, и оставалось только вобрать ее, обобщить накопленный опыт. На пустом месте Добродея возникнуть не могла. Читаем в заметке дальнейшие сведения о ней.

«Евпраксию рано просватали за византийского царевича Алексея Комнина, и когда ей исполнилось 15 лет (значит, пятнадцатилетняя девчонка врачевала знатных и крестьян! — *В. С.*), она со свадебным поездом отправилась в Царьград. Здесь, по обычаю страны, ей дали новое имя — Зоя. Овладев греческим языком, она серьезно занимается изучением трудов знаменитых греческих медиков Галена, Гипократа, беседует с учеными-современниками.

Здесь в Византии Евпраксия и написала свой научный труд — единственный сохранившийся древнерусский лечебник.

Написанный на греческом языке, он в значительной степени основан на опыте народной медицины Древней Руси.

Сочинение Евпраксии состоит из пяти частей. Первая содержит общие сведения о гигиене, рассматривает влияние времен года и разных климатических условий на организм. Отдельные главы повествуют о движении и покое, о сне и пробуждении, о пользе бани, «которая очень предохраняет здоровье и укрепляет тело».

Следующую часть можно было бы назвать гигиеной матери и ребенка. Затем Евпраксия пишет о разумном подходе к питанию. Две последние части посвящены внутренним и наружным болезням.

В конце прошлого столетия русский историк Х. М. Лопарев нашел это сочинение в Италии, во Флорентийской библиотеке Лоренцо Медичи, и установил, что автором труда является наша Мстиславна. Он пишет: «Трактат Зои имел для своего времени важное значение, это доказывает факт пользования им со стороны греческих медиков, которые ставили Зою рядом с другими врачебными знаменито-

стями» (Н. Григорьев. Киевская Добродея. — «Работница», 1967, № 7).

Можно найти где-нибудь и вычитать, сколько лекарственных трав использовала в прошлом народная медицина Грузии (372 травы), как обстояло дело с народной медициной в Армении, какого мнения был о целебных травах Авиценна, и заодно узнать, что в Риге уже в 1291 году существовало две аптеки, торговавшие травами.

Я думаю, если поинтересоваться уже не из книг, а у живых людей, наверное, мы узнаем, что лечились травами и ненцы-оленоводы, и манси, и эвенки, и тунгусы, и алеуты, и каждый народ, живущий среди трав и деревьев.

Нельзя сказать, что современная, сверкающая хромированной аппаратурой и ослепляющая белизной халатов медицина вовсе отрекается от трав и растений. Да и как бы она отрекалась, если большая часть ее средств идет от растений. Хина — это кора дерева, опиум — это мак. Атропин, сердечные средства из наперстянки, анис, мята и ландыш, не говоря уж о валериане, даже и пенициллин — плохо было бы без всех этих средств современной медицине.

Не напрасно один очень крупный современный медик воскликнул, что он отказался бы быть врачом, если бы не было наперстянки!

Вытяжки, экстракты, настойки, соки, сиропы, все эти витаминные и лекарственные шарики доступны каждому человеку, стоит ему только зайти в аптеку.

Почти в каждой аптеке существует отдел, где торгуют травами. Тмин, зверобой, мята, анис, полынь, крапива, пустырник, можжевельниковая ягода, медвежье ушко (толокнянка), подорожник, березовые почки, липовый цвет, тысячелистник, кукурузные рыльца, шалфей, бессмертник, ромашка, девясил, шиповник, кора крушины, мать-мачеха обыкновенны и повседневны в любой аптеке. Конечно, не всегда могут оказаться там корень валерианы, аир и калган, золотой корень или салеп, но, скажите, с чем только не может быть временных перебоев! Я хочу сказать, что в целом торговля травами налажена хорошо.

Есть ботанические сады, где изучают и возделывают целебные травы. Есть многочисленные кафедры при крупных университетах, где тоже занимаются травами, есть Академия наук СССР, есть Академия медицинских наук

СССР, есть академии наук в союзных республиках, есть фармацевтические институты, есть Центральный аптечный научно-исследовательский институт, есть, наконец, ВИЛАР — Всесоюзный институт лекарственных растений, который только и занимается целебными травами, рассылает экспедиции в разные концы страны, выращивает сотни и тысячи растений, рекомендует, внедряет. Есть, наконец, многочисленные издания — замечательные книги о лекарственных растениях, доступные каждому человеку в СССР...

И вот, оказывается, вместе со всем этим есть, встречаются, существуют знахари и знахарки. Мне это показалось столь забавным, что я стал искать случая непременно познакомиться хоть с одним, хоть с одной из них.

В самом деле, когда не было книг, выходящих соты-сячными тиражами, когда не было в каждом селе медпункта, когда знания могли передаваться только устно от одного человека к другому и копилка знаний вовсе не представляла из себя книги в ширпотребовском картонном переплете или хотя бы рукописного травника, существующего в единственном экземпляре, тогда можно было представить себе эту копилку... У меня лично понятие о знахарях, о травниках связывалось с замшелой избушкой где-нибудь в дремучем лесу или избой в деревне (обязательно на краю деревни), наполовину ушедшей в землю. И встретит сгорбленная старушка или старичок-лесовичок, и полезет старуха на полку за божницу или покопается в старом сундуке, достанет кусочек сухой травы. Поколдует над ним, плюнет, а потом уже даст в руки и расскажет, как пользоваться.

Никогда не приходилось встречаться с знахарями, а литература, кино, вообще искусство создали такое вот идиллическое представление о них.

Вспомним знаменитое полотно Михаила Васильевича Нестерова. Изображен лес. Землянка в лесу. Вокруг цветущие летние травы. Русская женщина, молодая и красивая, присела около землянки на лавочке, а из землянки выползает дед с пронзительно синими глазами. Пан. Дух природы. Колдун, знахарь. Женщина исполнена решимости, но одновременно сквозят в ней смущение и надежда. Называется картина «За приворотным зельем». Таинственно и красиво. Разве трудно дорисовать теперь внутренность старикова жилища, пучки трав, свисающие там и тут, мешочки с травами? Велика ли может быть такая

землянка, просторно ли в ней? Каков размах знахарского дела? Гадать об этом не надо. Старик выходит из своего жилища, пригибаясь. Низкий потолок, и свету в землянке мало. Старик знает свое дело и дает щепотку приворотного зелья (сухой травы, корешков) или пузырек — настойку в готовом виде.

Существует еще и такой литературный образ собирателя трав. Раскрываю том Алексея Константиновича Толстого:

Пантелей-государь ходит по полю,  
И цветов и травы ему по пояс.  
И все травы пред ним расступаются,  
И цветы все ему поклоняются.  
И он знает их силы сокрытые,  
Все благие и все ядовитые,  
И всем добрым он травам, безвредным,  
Отвечает поклоном приветным,  
А которы растут виноватые,  
Тем он палкой грозит суковатою.

По листочку с благих собирает он,  
И мешок ими свой наполняет он  
И на хворую братию бедную  
Из них зелье варит целебное.  
Государь Пантелей!  
Ты и нас пожалей,  
Свой чудесный елей  
В наши раны излей.

В наши многие раны сердечные;  
Есть меж нами душою увечные,  
Есть и разумом тяжко болящие,  
Есть глухие, немые, незрящие,  
Опоенные злыми отравами,—  
Помоги им своими ты травами!..

Вот я и говорю: ну какой можно было представить себе размах знахарского дела, если он ходит по полю, срывает по листочку и кладет в мешок? Пусть хоть и осмьинный мешок (что мало вероятно, исходя из нарисованного поэтом образа, легче вообразить небольшую суму через плечо), все равно, много ли натолкаешь травы в мешок?

Я никак не мог освободиться от этих масштабов, когда один молодой журналист (не буду говорить где, около какого большого города) повез меня к настоящей будто бы знахарке, с которой будто бы он, Сергей, хорошо знаком. Воображались мне избушка, землянка, сума через плечо, старуха с клюкой, с носом, врастающим в подбородок,



и седыми космами, но не вязалось с воображаемыми картинками уже одно то, что ехали к знахарке на такси.

— Отшельница? Хижина? — пытался расспрашивать я. Но чем больше Сергей рассказывал о Митрофанихе (фамилия ее допустим что Митрофанова), тем настойчивее внедрялось в мое сознание слово «усадебка».

— Странно, что к знахарке на такси, не так ли?

— Что тут странного? Она и сама в летнее горячее время, когда для сбора трав дорог каждый день, нанимает такси.

— ???

— Ну да. Заключает договор с таксомоторным парком на все лето. Утром ежедневно ей присылают машину.

— Но ведь это же...

— Насчет денег, что ли? Тридцать рублей в день, — и спокойно добавил, как о незаслуживающем внимания: — Деньги у нее есть.

О нестеровский старичок, вылезаящий из темной землянки, о государь Пантелей, обрывающий по листику и кладущий оные листики в суму: снился ли вам подобный размах? Небось такси не простаивает, ежели тридцатка-то в день. Надо, наверно, эту тридцатку на худой конец оправдать. И еще один мотив: техника двадцатого века на службе у знахарки! И ехали мы отнюдь не в лесные дебри, а в благоустроенный поселок поблизости большого города.

— Вы-то как с ней познакомились?

— Немного интересуюсь травами. Но, конечно, не на уровне лечения, хотя бы самого себя, а на уровне составления домашних бальзамов.

— Сколько же вы берете трав?

— До сорока. Зверобой, аир, калган, кровохлебка, пустырник, мята, полынь, девясил, тмин, душица... Надо на каждой из сорока трав сделать спиртовой экстракт, а потом смешивать их в нужных пропорциях и разбавлять до желаемой крепости. Или в чай по одной ложке...

— Бог с вами! Такое добро — и в чай? Я тоже составлю себе бальзамы, и тоже до сорока составных частей. Впрочем, можно и восемьдесят... Значит, только бальзамы и послужили причиной знакомства с этой, как ее, Митрофанихой?

— Не только. Однажды попробовали ее судить за то, что занимается лечебной практикой, не имея медицинского образования и диплома. Суд привлек внимание прессы, а я — журналист.

— Умер, что ли, кто-нибудь от ее трав?

— От трав, если, конечно, не брать явно ядовитых, умереть невозможно. Пользы может не быть, но и вреда не будет. Пей мяту, крапиву, шалфей, подорожник — ну какой от них вред?

— Осудили?

— Не удалось. Свидетелей человек восемьдесят вызвали в суд. Но поскольку и правда никакого вреда они от бабки не получили, то наговаривать на нее не стали. Однако врачебной деятельностью заниматься ей запретили, и состоялось сожжение трав.

— Вот сюжет для живописного полотна!

— Но травы разве виноваты?

— Я все понимаю, но поймите и закон. Действительно, не имея медицинского образования и диплома, заниматься врачебной практикой... Если каждый начнет...

— Вы можете мне дать какой-нибудь совет? Ну хотя бы по составу бальзамов? Или по диете, если я случайно пожалуюсь вам на печень? Сразу скажете: не ешьте три «ж»: жир, желток, жареное. Не так ли? Может быть, это тоже медицинский совет? И как же не имея диплома...

— Разные вещи. Во-первых, это советование я никогда не сделаю своей профессией, главным делом жизни. Во-вторых, я за этот совет не возьму с вас пятерку.

Между тем мы подъехали. Глухой забор. Тесовые ворота и рядом калитка. Большая кнопка электрического звонка. Усадьба. Эту кнопку и нажимают все, кто захотел бы обратиться к Митрофанихе, к бабе Сопе. Но я, пожалуй, буду называть ее просто Софьей Павловной.

Нам открыла другая женщина, молодая, никак не подходящая по возрасту на роль хозяйки такой усадьбы. Видел я потом на усадьбе и еще женщин, можно сказать — целый штат. Будто бы бывшие пациентки из благодарности приходят и помогают. Приходится верить. Но без этих вспомогательных женщин нельзя было бы понять, как одинокая на восьмом десятке Софья Павловна управляет с заготовкой, сушкой и сортировкой трав, упаков-

кой их в ящики, как она успевает отправлять многочисленные посылки с травой в разные концы страны, как ведет обширную (любой министр позавидует) переписку.

Пройдя в калитку, мы оказались во дворе, который был бы чрезвычайно широким и просторным, если бы справа не стояло двух сараев. Левее — сам дом. Крыльцо. На крыльце Софья Павловна, полноватая, розоволицая, синеглазая старуха, — платок на плечах, руки на животе, приветливая улыбка на губах. А в глубине глаз все же и вопрос: кто такие, зачем пожаловали? Но при виде Сережи тревога в глазах погасла.

Свои многие впечатления (мы провели у Софьи Павловны полдня) я сейчас разгруппирую, чтобы дать понятие о каждой группе.

Сад и огород. Шел дождь, под ногами на тропинках было склизко и грязно. Трава и кусты обдавали водой, поэтому с садом и огородом мы ознакомились очень бегло. Больших деревьев я как-то не запомнил. Но есть там кусты малины, смородины, есть и вишенье. По сторонам тропинок растут разные травы, которые в другом саду можно было бы считать за сорняки, за запущенность огорода, но которые здесь росли со смыслом, были посеяны хозяйкой. На грядках я видел и ландыши, и любку двулистную, и наперстянку, но, конечно, не огород является поставщиком сырья для Софьи Павловны.

Сараи. На чердаки обоих сараев мы забирались по обыкновенным приставным крестьянским лестницам. Чердаки завешаны и заложены сушащимися травами. Заготовка их поставлена на широкую ногу. Я думаю, если бы сложить все травы вместе, получилось бы несколько центнеров. Много пижмы, тысячелистника, зверобоя, болиголова, пустырника, ромашки, мяты, тавологи, тмина, укропа, кровохлебки, крапивы, чистотела, кипрея, дягиля, васильков.

При всем том на чердаках, где развешаны и разложены десятки трав, чистота и порядок. Смешанный аромат трав вдыхаешь жадно, ненасытно, даже крикаешь от удовольствия, словно пьешь очень вкусный и вместе с тем крепкий напиток.

На земле перед лестницей нас заставили разуться, да и правда было бы кощунством ходить по такому чердаку в уличных башмаках.

Склады. Высушенные травы Софья Павловна хранит

в больших картонных коробках, которые берет в продовольственных магазинах. Там они освобождаются из-под разного импортного товара. Картонными коробками заставлены коридоры в доме, терраса, чуланы, сени — все, кроме трех жилых комнат. На каждой коробке сделана четкая надпись: айр, подорожник, одуванчик, валериана.

Комнаты. Чистые, опрятные комнаты: одна — вроде горницы, другая — кухня. И в той и в другой есть иконы. Некоторые в хороших окладах. Подарки. Большую комнату мы обошли и осмотрели, а в маленькой сели за стол. Есть, кажется, еще и спальня, но мы туда не ходили.

Стол. Всевозможная деликатесная рыба. Пелядь (сырок), муксун, стерлядь-сыроежка, сосвинская селедка, осетрина, икра черная и красная, коньяки лучших сортов, разнообразные кагоры и собственные настойки и наливки, которые только и пригубливает из рюмочки сама хозяйка.

— Присылают. Не выбрасывать же! — коротко пояснила нам хозяйка ассортимент стола.

Теперь — главная группа впечатлений. В разговоре я убедился, что у Софьи Павловны есть пусть и своеобразное, но медицинское мышление. Речь зашла о больном с раковой опухолью, который четвертый год уж пьет лекарственных сборы Софьи Павловны.

— Что же, надеетесь?

— Так ведь рак! Не бог же я! Однако четыре года если не лучше, то и не хуже.

— У моего знакомого в Москве есть подозрение на опухоль, чтобы ему помочь, чем укрепить организм?

— Организм! Организм укрепишь, а опухоль куда денешь? Организму лучше и опухоли лучше.

— С какими больными чаще приходится иметь дело?

— Да ведь время-то какое? На месте не посидят. Все куда-то едут, торопятся, суетятся, опаздывают. На все нужны нервы. А где нервы, там и болезнь. Думают, язвы от еды, а она от нервов. И сердца никудышные от того же, и желчь, и камни... — Софья Павловна задумалась. — Мужчин много обращается. Плачут. В семье ведь как? Всякое может быть, ругань и опять мир после ругани. А уж если этого самого нет, мирись не мирись...

— Отчего такое поветрие?

— Те же нервы, я думаю. И потом — винище. Пьют без памяти, а хотят здоровыми и крепкими быть.

— Помогаете?

— Отчего же не помочь! Вон на днях ящик коньяку один привез. Дочь родилась. А хотел вешаться...

Вообще же складывалась следующая картина ее деятельности. Первый бесспорный факт. Люди обращаются к ней уже с готовым диагнозом, найдя ее по сельским, районным, а то и городским поликлиникам. Обращаются, прослышав о ней и рассуждая очень просто: вреда не будет, а может быть... Так что определять болезнь, исследовать организм, делать многочисленные и сложные анализы (кровь, моча, кислотность желудочного сока, бронхоскопия, рентген, электрокардиограмма, реакция Перке или Манту) — все это уже сделала за нее официальная медицина с ее современным оборудованием. В некотором смысле можно сказать, что современная знахарка невольно паразитирует на теле официальной медицины.

Во-первых, повторим: диагноз известен заранее. Но, во-вторых, известны заранее из многих книг и целебные свойства трав. В этих книгах все травы разложены по полочкам. Вот они, эти полочки.

1. Тонизирующие, возбуждающие и общеукрепляющие (перечислено 80 трав).

2. Успокаивающие — 105 трав.

3. Применяемые при бессоннице — 47 трав.

4. Болеутоляющие — 218 трав.

5. Применяемые при головной боли — 63 травы.

6. Противосудорожные и противоспазматические — 88 трав.

7. Отвлекающие (средства рефлекторного действия) — 12 трав.

8. Применяемые при нервных и психических заболеваниях — 142 травы.

9. Сердечно-сосудистые — 94 травы.

10. Применяемые при атеросклерозе — 82 травы.

11. Применяемые при гипертонии — 49 трав.

12. Повышающие кровяное давление — 117 трав.

13. Применяемые при удушье и одышке — 45 трав.

14. Желудочно-кишечные. Возбуждающие аппетит и улучшающие пищеварение — 80 трав.

15. Слабительные — 146 трав.

16. Рвотные — 16 трав.

17. Противорвотные — 24 травы.
18. Применяемые при язвенной болезни — 41 трава.
19. Применяемые при различных желудочно-кишечных заболеваниях — 153 травы.
20. Вяжущие — 149 трав.
21. Мочегонные — 242 травы.
22. Потогонные — 100 трав.
23. Уменьшающие выделение пота — 11 трав.

В таком же духе перечисляются еще многие и многие травы, как то: применяемые при водянке и отеках, желчегонные, действующие на обмен веществ, кроветворные, кровоостанавливающие, жаропонижающие, молокогонные, противоглистные, применяемые при ревматизме и подагре, укрепляющие волосы... вплоть до отпугивающих насекомых, мышей и крыс.

В каждом разделе мы видим десятки и даже сотни рекомендуемых трав. Вопрос с травами настолько ясен, что обычно в южных городах (например, в Кисловодске) на базаре есть целые ряды травниц. Красиво засушенные, не перемолотые в труху, а цельными снопиками лежат тут тысячелистник, душица, чабрец, земляника, бессмертник. Грудками (на рубль) наложены калганый корень, девясил, аир. Клубеньки ятрышника, высушенные на ниточке, идут по три рубля пятьдесят копеек за десяток. Облепиховые ягоды — сорок копеек стакан. Но главное, на бумажках карандашом накорябано: «от давления», «от головной боли», «от геморроя», «от язвы желудка». Начинаешь спрашивать, как пользоваться, ответ один:

— Купите, тогда и расскажу.

Стоит истратить рубль, чтобы услышать наставления травниц. Но, вклинившись раза два в ее частоговорку и перерасспросив и поставив ее в туник (а это сделать нетрудно), заставляешь ее протянуть руку под прилавок. Тебе протягивают все ту же книгу о лекарственных травах: Носаля, Махлаюка, Серегина с Соколовым.

Итак, известен диагноз, известно и действие трав. Что остается на долю знахарки? Выбрать несколько трав соответствующих болезни, скомбинировать их, то есть составить то, что в государственных аптеках называется сборами (почечный сбор, желудочный сбор, желчегонный сбор и т. д.), вручить этот сбор больному и... получить деньги. Софья Павловна так и делает. Больше того, во многих

случаях она действует заочно, не видя пациента в глаза. И даже не во многих, а в большинстве случаев. Больной присылает письмо, в котором подробно описывает свою болезнь. Так, как в поликлинике ему сказали. Баба Соня собирает травы и посылает их посылкой. Наложенным платежом. Просто и хорошо. Сергей говорит, что очень часто баба Соня не берет денег заранее.

— Вот погоди,— говорит она,— если поможет моя трава, тогда и заплатишь.

И будто бы идут потом от благодарных пациентов ящики итальянского вермута, дорогие коньяки, красная рыба, икра, наличные деньги.

Думаю, что альтруизм (человеколюбие) не исключается из побуждающих мотивов Софьи Павловны. Действительно, ей за семьдесят, два века не проживешь, на ее век, наверное, ей уже хватит. Можно было бы и приостановить бурную деятельность. Значит, помимо денег есть и другое — любовь к травам, быть может, а то и к людям. Но, с другой стороны, на чистом альтруизме нельзя было бы арендовать на летние месяцы ежедневно такси (тридцать рублей в день, девятьсот рублей в месяц, да еще содержать штат помощниц).

Тут к Софье Павловне пришел молодой мужчина за очередной, как выяснилось, порцией лекарства. Софья Павловна взяла из его рук большой мешок, который называется картофельным, и пошла ходить между своих картонных коробок. Остановившись, она взглядывала испытующе то на одну коробку, то на другую; словно прицеливалась или дожидалась наития, потом запускала руку, вынимала большую горсть травы и клала ее в мешок. Пригоршня (две-три пригоршни) служила ей мерой вместо наивных аптекарских весов, миллиграммов и кубических миллиметров. Отсюда горсть и отсюда горсть. Отсюда. Теперь отсюда. Теперь этой добавить. И этой тоже... Парень ушел, унося на плечах мешок, набитый сушеными травами. Хватило бы корове два раза наесться.

Я посмотрел на Софью Павловну с новым любопытством. «Вреда не будет,— как бы сказал мне ее взгляд,— все травы проверены, вредных среди них нет!»

Еще раз пройдя по комнатам Софьи Павловны и осмотрев их, я увидел то, что непременно надеялся увидеть: стопу книг о лекарственных растениях.

Конечно, каждый врач, каждый там нейрохирург должен читать и читает книги по своей специальности, и в этом нет ничего странного, а тем более предосудительного. Напротив, было бы странно видеть современного врача, не читающего книг по своей специальности.

Но, с другой стороны, если своя болезнь человеку заранее известна и если свойства трав изложены в книгах, то на чем же зиждется потребность людей обращаться к Софье Павловне и ей подобным. Платить втридорога неизвестно за что. И это при бесплатной-то медицине, при всем ее могуществе и всеобщем уважении к ней! Не действует ли здесь врожденное, инстинктивное или из поколения в поколение дошедшее до нас доверие к травам, подсознательная надежда на то, что природа не подведет, выручит и спасет, особенно когда говорят «нет, нет и нет». Доверие это обосновано. На природу действительно можно положиться. В ней есть все, что нужно человеку для здоровья и жизни: и целебные вещества, и пример жизнестойкости, и красота.

## ИЗВЛЕЧЕНИЯ

Т и м и р я з е в. Жизнь растений

«Значит, лист, в котором мы признали уже единственную естественную лабораторию, где изготавливается вещество на оба царства природы, тот же лист и в том же самом процессе усвоения углерода запасает на них энергию солнечного луча, становится, таким образом, источником силы, проводником тепла и света для всего органического мира».

«Ни один растительный организм не испытывал на себе человеческой несправедливости в такой степени, как лист...

Эта вековая несправедливость, эта черная неблагодарность освещена даже поэзией. Каждый из нас, конечно, еще с детства знает басню Крылова «Листы и корни», и, однако, эта басня основана на совершенно ошибочном понимании естественного значения листа. Крылов оклеветал в ней листья, и потому в качестве ботаника, значит, адвоката растения, я возьму на себя их защиту и попытаюсь предложить взамен крыловской другую басню, конечно, менее поэтичную, но зато более согласную с природой и заключа-



ющую более строгую мысль. Смысл крыловской басни всякому известен. Корни — это те,

Чьи работают грубые руки,  
Предоставив почтительно нам  
Погружаться в искусства, в науки,  
Предаваться страстям и мечтам.

Листья — это мы, «погружающиеся в искусства, в науки», мы, пользующиеся воздухом и светом и на досуге «предающиеся страстям и мечтам». Признавая только за корнями трудовую, производственную деятельность, Крылов видит в листьях один блестящий, но бесполезный наряд и, выставляя им на вид всю пустоту их существования, требует от них, чтобы они хоть были благодарны своим корням.

Но справедливо ли такое мнение? Точно ли листья, настоящие зеленые листья, существуют для того только, чтобы шептаться с зефирами, чтобы давать приют пастушкам и пастушкам? Точно ли листья одной благодарностью в состоянии платить корням за их услуги? Мы знаем, что это неверно. Мы знаем теперь, что лист не менее корня питает растение. В прошедшей беседе мы видели, что случилось с листьями и всем растением, которым корни отказали в том железе, которое они с таким трудом добывают из земли. В следующем мы увидим, что случилось бы и с корнем, если бы ему листья отказали в той воздушной, неосязаемой пище, которую они добывают при помощи света.

Итак, листья Крылова совсем не похожи на настоящие листья, если сравнение с его бесполезными листьями может быть только позорно и оскорбительно, то сравнение с настоящими листьями вполне лестно.

Но если изменяется содержание басни, изменяется и ее мораль. Какую же мораль выведем мы из нашей басни? Мораль эта может быть одна. Если мы желаем принять на свой счет сравнение с листом, то мы должны принять его со всеми его последствиями. Как листья, мы должны служить для наших корней источниками силы — силы знания, той силы, без которой порой беспомощно опускаются самые мощные руки. Как листья, мы должны служить для наших корней проводниками света — света науки, того света, без которого нередко погибают во мраке самые честные усилия.

Если же мы отклоним от себя это назначение, если свет наш будет тьма или если, подобно вымышленным листьям

баснописца, мы не будем платить нашим корням за их услуги услугами же, если, получая, мы не будем ничего давать взамен, тогда мы будем не листья, тогда мы не вправе будем величать себя листьями, тогда в словаре природы найдутся для нас другие, менее лестные сравнения. Гриб, плесень, паразит — вот те сравнения, которые в таком случае ожидают нас в этом словаре. Такова мораль, которую мы можем извлечь из знакомства с листьями, не теми, которые создало воображение поэта, а настоящими, живыми листьями, — мораль, быть может, более суровая, но зато согласная с законами природы».

«Мы с удовольствием открываем, что явления движения не только не отсутствуют, но даже очень распространены в растительном мире».

«Но если растение способно двигаться, то не может ли оно и чувствовать? Если под чувствительностью разуметь отзывчивость к раздражению, то есть раздражительность, возбудимость, то мы должны признать эту способность и за растением».

«Заставляя растение вдыхать пары эфира или хлороформа, мы можем анестезировать его точно так же, как анестезируем человека во время тяжелой хирургической операции. Для этого стоит только горшок с мимозой покрыть стеклянным колпаком и под этот колпак положить губку, смоченную эфиром или хлороформом. Пробыв некоторое время под колпаком, мимоза утратит способность к движению: как бы мы ее ни раздражали, она не станет складывать своих листочков, но, простояв несколько времени на воздухе, не зараженном вредными парами, она вновь приобретет свою чувствительность. Чтобы опыт удался, нужно только не оставлять растения слишком долго под влиянием анестезирующего вещества, иначе оно более уже не поправится, а погибнет безвозвратно. Но то же оправдывается и над человеческим организмом...»

«Еще один последний вопрос: обладает ли растение сознанием? Но на этот вопрос мы ответим вопросом же: обладают ли им все животные? Если мы не откажем в нем всем животным, то почему же откажем в нем растению? А если мы откажем в нем простейшему животному, то

скажите, где же, на какой ступени органической лестницы лежит этот порог сознания? Где та грань, за которой объект становится субъектом? Как выбраться из этой дилеммы? Не допустить ли, что сознание разлито в природе, что оно глухо тлеет в низших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека? Или, лучше, не остановиться ли там, где прерывается руководящая нить положительного знания, на том рубеже, за которым расстилается вечно влекущий в свою заманчивую даль, вечно убегающий от пытливого взора беспредельный простор умозрения?»

\* \* \*

В детской книге «Увлекательная астрономия», написанной В. Н. Комаровым, есть одно замечательное место. Речь идет о возможных встречах разных цивилизаций, отстоящих друг от дружки на миллиарды световых лет, и о том, смогут ли эти цивилизации, встретившись, понять друг друга. Автор рассуждает логично:

«Представьте себе, что разумные обитатели какой-либо планеты на своем корабле прилетают в нашу солнечную систему и совершают посадку на поверхности естественного спутника Земли — Луны. Медленно шагают они в своих причудливых скафандрах среди лунных гор и долин, внимательно разглядывая незнакомую местность. Но что это там впереди? Какая-то странная конструкция, напоминающая раскрывающийся лепесток. Внутри лепестка контейнер непонятного назначения. В его верхней части прозрачный глазок. К небу торчат какие-то гибкие пруттики. Что это? Причудливая игра природы? Один из ее удивительных капризов!

— Вы, конечно, догадываетесь, — продолжает В. Н. Комаров, — что речь идет о советской космической станции «Луна-9». Но и космонавты с другой планеты не верят в чудеса. А случайное объединение атомов и молекул в подобный аппарат было бы самым настоящим чудом. Вывод один: здесь побывал разум. Этот аппарат — посланец разумных существ. Он сделан их руками...»

«Точно так же, если бы мы с вами, — заканчивает автор «Увлекательной астрономии», — высадившись на поверхность незнакомого небесного тела, увидели там, скажем, автомобиль, мы, без всякого сомнения, могли бы сказать, что это — проявление разума».

Можно предположить и такую ситуацию. Пришельцы из других миров высадились на Землю. Космонавты видят, стоит конструкция — аппарат. Прямой стержень, достаточно прочный, чтобы поддерживать всю конструкцию, и достаточно гибкий, чтобы не ломаться при ветре и при других внешних случайных воздействиях. На стержне укреплены горизонтальные плоскости, обращенные к солнцу, к свету. Нетрудно догадаться о назначении плоскостей: они улавливают солнечную энергию. Разумные космонавты тотчас обнаруживают, что солнечная энергия, уловленная хитроумными приспособлениями (плоскости способны менять свое положение в пространстве, дабы всегда быть обращенными к свету), тотчас начинает путем фотосинтеза перерабатываться в сложнейшие органические вещества, которые распределяются по нужным местам. Внутри аппарата циркулирует жидкость. В определенный момент аппаратом производится небольшой, совсем уж чудесный аппаратик, которому задается точная программа на воспроизведение будущего нового аппарата.

Космонавты видят, что вся конструкция и все действия незнакомого аппарата основаны на точных законах математики, геометрии, механики, химии, физики, что аппарат умеет взаимодействовать с космосом (собственно, на этом взаимодействии и основана его деятельность), с Землей, с окружающей средой, с другими, похожими на него аппаратами, что он не только взаимодействует со средой, но и организует ее в своих интересах.

Какой же вывод сделают разумные обитатели космоса, увидев ваше земное растение?

Нахожусь во власти странного ощущения. Идя по луговой тропинке, по меже, по лесной опушке, по всякой земной дороге, временами воображаю себя пришельцем из какой-нибудь далекой галактики и с первозданным удивлением разглядываю конструкции и модели, называемые здесь то деревом, то травой, то лютиком, то ромашкой, то подсолнухом, то березой. В каждой из этих моделей я готов увидеть великое чудо. Но в чудеса я не верю, и тогда мне остается только одно: согласиться с воображаемыми космонавтами из книги В. Н. Комарова и предположить, что здесь, в этих сложных и во многом еще не понятных мне, не изученных мною, таинственных для меня зеленых сооружениях, а вернее, в зеленых живых существах, действительно «побывал разум».

Возвращаясь к первым строкам «Травы», приходится признать еще раз, что отсутствие полезных, конкретных знаний не полностью восполняется наивным удивлением и не задумываясь иногда невозможно и узнать.

Мы остановились на минуту перед великим чудом земного растения, мы любимся им, мы вспоминаем слова одного философа, кажется, Джона Рёскина: «Ньютон доказал (по крайней мере, так считают), почему яблоко упало на землю. Но он не задумался над другим, бесконечно более важным вопросом: а как оно туда поднялось!»

*1972—1978*

**АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  
ПОМЕЩЕННЫХ В 1—4 ТОМАХ СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ**

	т.	стр.
А горы сверкают своей белизной...	1	53
Аргумент	1	144
Аритмия ( <i>Из П. Бочу</i> )	1	174
Аксаковские места ( <i>Очерк</i> )	3	277
Барометр	2	380
Безмолвна неба синева...	1	64
Белая трава	2	93
Белый медведь	1	202
Береза	1	63
Боги	1	46
Большое Шахматово ( <i>Очерк</i> )	3	334
Бродячий актер Мануэл Агурто ( <i>Из П. Бочу</i> )	1	182
Букет	1	116
Бутылка старого вина	2	300
«Бывает так: в неяркий день грибной...»	1	78
В лесу	1	61
В Рыльском монастыре на празднике болгарской поэзии	1	141
«В своих суждениях беспристрастны...»	1	84
В узел связаны нити	1	92
Варвара Ивановна	2	116
Варшавские этюды	2	357
Вдоль берегов Болгарии прошли мы...	1	57
Венок сонетов	1	154
Верну я...	1	182
Ветер	1	74
Ветла	1	100
Воды	1	64

Возвращение	1	71
Волки	1	151
«Вон с этой женщиной я долго целовался...»	1	103
«Восхваление Гомера»	2	290
Владимирские проселки ( <i>Лирическая повесть</i> )	1	215
Время собирать камни ( <i>Очерк</i> )	3	418
«Все смотрю, а, верно, насмотреться...»	1	80
Встреча	2	357
Выводок	2	152
Глубина	1	179
Голова	1	94
Голос ( <i>Из П. Бочу</i> )	1	185
Ното sapiens. Поездка на озеро Севан	2	282
Городская весна	1	47
Гравюра пана Россальского	2	372
«Греми, вдохновенная лира...»	1	183
Григорьевы острова. Заметки о зимнем ужении рыбы	4	259
Грузия ( <i>Венок сонетов</i> )	1	164
Грузовики	1	72
Гуси шли в неведомые страны...	1	34
Давным-давно	1	149
Дамоклов меч	1	108
«Двадцать пять на двадцать пять»	2	312
Девочка на качелях	1	106
Девочка на уресе моря	2	271
Деревья	1	68
Дирижер. Рапсодия Листа	1	110
Дождь в степи	1	17
«Дорога влажною была...»	1	31
«Дуют метели, дуют...»	1	25
«Ждет семени земля...»	1	103
«Жизнь моя, что мне делать с нею...»	1	144
Жить на земле...	1	118
Журавли	1	45
Журавли улетели...	1	176
Забор, старик и я	1	32
Закон набата	2	100
Звезда	1	99
Звездные дожди	1	70
Здесь гуще древесные тени...	1	26

Здравствуйте	1	112
Зимний день	2	122
<b>И вечный бой...</b>	1	131
И звезда с звездой говорит...	2	60
Идет девчонка с гор...	1	58
Идут кровопролитные бои	1	140
Имеющий в руках цветы...	1	84
«Итак, любовь. Она ли не воспета...»	1	77
<b>Как выпить солнце</b>	1	89
«Как растают морозные...»	1	22
Кактусы	1	205
Капля росы ( <i>Лирическая повесть</i> )	1	433
Каравай заварного хлеба	2	7
Колодец	1	41
Комбинированный вагон	2	157
Корабли	1	33
Кувшинка	2	131
Кумыс	2	215
Ледяные вершины человечества	2	174
Летний паводок	2	97
Лозунги Жанны д'Арк	1	189
Лось	1	20
Мед на хлебе	2	413
Мерцают созвездья...	1	175
Мне странно знать...	1	29
Мокрый снег	2	253
Моченные яблоки	2	107
Мошенники	2	51
Мститель	2	84
Мужчины	1	153
Мы сидим за одним столом	1	128
<b>На базаре</b>	1	21
«Наверное, дождик прийти помешал...»	1	23
Надежда	1	148
Над ручьем	1	20
Над черными елями серпик луны	1	76
На лыжне	2	66
На пашни солнцем залитые...	1	63
«На потухающий костер...»	1	27
Наполеоновские пушки в Кремле	1	19
«На смиренной лошади каурой...»	1	145
«Наша дама»	2	74




Неглинка	1	195
Не прячьтесь от дождя	1	87
Ножичек с костяной ручкой	2	81
<b>О, глаза чистоты родниковой!</b>	1	82
О скворцах	1	56
Обиженная девочка	1	101
Облака	1	97
Образ ( <i>Из П. Боцу</i> )	1	181
Олепинские пруды	2	225
Ольха	1	146
Она еще о химии своей...	1	188
Осенняя ночь	1	51
Ответная любовь	1	83
От меня убегают звери	1	106
Очаг	1	130
<b>Память (<i>Из П. Боцу</i>)</b>	1	177
Паша	2	334
Певец	1	59
Песочные часы	1	185
Петухи	1	39
Письма из Русского музея	3	5
Погибшие песни	1	30
Подворотня	2	89
Под одной крышей	2	164
Полеты	1	90
Посещение Званки ( <i>Очерк</i> )	3	257
«Последний блик закатного огня...»	1	53
«Постой. Еще не все меж нами!..»	1	23
Потеря	1	204
Поэма Шамиля	1	192
«Прадед мой не знал подобной резвости...»	1	48
Прекрасная Адыгене ( <i>Повесть</i> )	4	5
Приговор ( <i>Повесть</i> )	2	431
Пробуждение	1	80
<b>Работа («Велели очерк написать...»)</b>	1	50
<b>Работа («Что нам надо уметь?...»)</b>	1	130
Разрыв-трава	1	85
Распоряжение	2	305
Родник	1	18
Роса горит	1	62
Рыбий бог	2	393

Саши	1	178
Свидание в Вязниках	2	21
Север	1	174
Седина	1	172
«Седьмую ночь без перерыва...»	1	29
Серафима	2	31
Сержант запаса	1	40
Синие озера	1	180
Сказка	1	125
Скучным я стал, молчаливым...	1	52
Слово	1	114
Снимаю трубку...	1	23
Солнце	1	95
Сорок звонких капелей...	1	135
Сосед	1	104
Сосна	1	61
Специальность	1	199
Стрела	1	181
Счастливый колос	2	236
Счастье	1	73
Та минута была золотая...	1	54
Так стриж в предгрозье...	1	35
Теперь-то уж плакать нечего...	1	60
Трава	4	311
Третьи петухи	1	67
Третья охота	4	145
Три белоснежные хризантемы	2	197
Тропа нацелена в звезду...	1	66
Трость	2	348
«Ты за хмурость меня не вини...»	1	30
У зверей	1	150
У моря	1	54
«У тех высот, где чист и вечен...»	1	19
«У тихой речки детство проводя...»	1	77
Увидеть белку	1	200
Угон самолетов ( <i>Из Р. Гамзатова</i> )	1	173
Урок телепатии	2	182
Утро	1	70
Уходило солнце в Журавлиху...	1	36
Цветы («Спросили про цветок любимый у меня...»)	1	122
Цветы («Я был в степи и два цветка...»)	1	81
Цивилизация и пейзаж ( <i>Очерк</i> )	3	483

Чаепитие рядом с птицей, сидящей в клетке	1	207
Чайка	1	25
Человек пешком идет по земле	1	113
Черные доски. Записки начинающего коллекционера	3	99
Чтобы дерево начало петь...	1	120
Яблоко	1	87
Яблони	1	43
Яблонька, растущая при дороге	1	24
Ягода	1	102
Я родился	1	211
Ястреб	1	142
«Я тебе и верю и не верю...»	1	27
Я шел по родной земле, я шел по своей тропе	1	5

---



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕКРАСНАЯ АДЫГЕНЕ. <i>ПОВЕСТЬ</i> . . . . .	5
ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ	
ТРЕТЬЯ ОХОТА . . . . .	145
ГРИГОРОВЫ ОСТРОВА. <i>ЗАМЕТКИ О ЗИМНЕМ УЖЕНИИ РЫБЫ</i>	261
ТРАВА . . . . .	311
Алфавитный указатель произведений, помещенных в 1—4 томах Собрания сочинений . . . . .	513

**Солоухин В. А.**  
С60 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4. Прекрасная Адыгене: Повесть; Третья охота; Григоровы острова; Трава: Этюды о природе.— М.: Худож. лит., 1984.— 519 с.

В том, завершающий Собрание сочинений В. Солоухина — талантливого писателя, лауреата Государственной премии РСФСР, вошли повесть о покорении горной вершины «Прекрасная Адыгене» и этюды о родной природе: «Третья охота», «Григоровы острова», «Трава».

С 4702010200-325 подписное  
028(01)-84

ББК 84Р7  
Р2

**Владимир Алексеевич**

**СОЛОУХИН**

Собрание сочинений в четырех томах

Том четвертый

Редактор *Н. Иванова*

Художественный редактор

*Е. Ененко*

Технический редактор

*Т. Фатюхина*

Корректоры

*Н. Замятина, В. Широкова*

ИБ № 3534

Сдано в набор 06.01.84. Подписано к печати А 13946. 24.09.84. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага для глубокой печати. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,3. Усл. кр.-отт. 27,3. Уч.-изд. л. 28,99. Тираж 100 000 экз. Изд. № III — 1322. Заказ № 1254. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

